ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

КРАСНЫЙ ЛИК

мемуары и публицистика

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ КРАСНЫЙ ЛИК мемуары и публицистика

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сборник произведений известного российского писателя Всеволода Никаноровича Иванова (1888–1971) включает мемуары и публицистику, относящиеся к зарубежному периоду его жизни в 1920-е годы. Автор стал очевидцем и участником драматических событий отечественной истории, которые развернулись после революции 1917 года, во время Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке. Отдельный раздел в книге посвящён политической и культурной жизни эмиграции в Русском Китае. Впервые собраны статьи из эмигрантской периодики, они публиковались в «Вечерней газете» (Владивосток) и в газете «Гун-Бао» (Харбин). Эти статьи отражают эволюцию ярких, оригинальных взглядов В. Н. Иванова на вопросы русской истории и культуры.

- Всеволод Иванов
  -
  - «Красный лик» русской истории
  - МЕМУАРЫ
    - В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
    - I. Перед концом. По городам Западной Сибири
    - II. Разъезд
    - III. Конец Омска
    - IV. На линии ж.д. Мстительные эсеры. Поезда мёртвых
    - V. Поток переворотов
    - VI. Брошен Томск
    - VII. Предательство Зиневича. Бой под Красноярском. Ночь под Рождество
    - VIII. Окружены в Голопупове. Формирование отрядов. Ночные Лебедев и Сахаров
    - IX. Наступление. Бой под Зимой. Красная информация. К Иркутску
    - X. Иркутск, по слухам, занят. Станция Иннокентьевская. Кругом Иркутска
    - XI. Через Байкал в Читу
    - XII. Итоги
  - ПУБЛИЦИСТИКА. 1921–1922
    - От большевиков к национальной власти
    - Советская Россия в Приамурское временное правительство
      - Павшим

- Причастный тайнам
- Экспедиция в Россию
- Парикмахерская демократия
- Три кита
- В Хабаровск
- Военкомов наган
- От общественности к государственности
- Мёртвая вода
- Будни революции
- Пекин. Фарфоровое молчание
- В народном собрании
- Новая революция
- Кроль, Оленин и Ко
- К единению!
- Старые меха, новое вино
- Цена крови
- Почему же молчит Кроль?
- Певец на полдне
- В стереоскоп
- Декларация премьера
- О вчерашней декларации
- Против социалистов!
- О бутербродах
- Наши Катилины
- Первый или Второй совет
- Победа Демсоюза
- Вчера в Нарсобе
- Президиум большинства
- Глупые предатели
- Выстрел в Милюкова
- Равнение на ДВР
- Соввласть на закате
- Кулаками машут
- Чекисты-объединители
- Мстители
- В глубокие воды
- О царе-брюнете
- Сибирские комбинаторы
- Будет война
- Первое мая
- Россия на барахолке
- Троцкий или Россия?
- Semper Idem
- К приезду генерала Дитерихса

- Ярость
- Ловля воробьёв, или Замечательное интервью
- Арапы печатного слова
- Меркуловщина
- Новое откровение
- Грядущая кровь
- Параллельно
- Потревоженные цари
- Бумажки на заборах
- Живящие слёзы
- Вокруг Земского собора
- Новый этап национально-общественной мысли
- Собор открыт
- Конструкция власти
- Конструкция власти
- Мечтатели
- Приамурское временное правительство
- Гонения на церковь
- Больной Ленин
- Сазоновские идейки
- Объединение
- Погром, разгул и революция
- Пилатствующие эсеры
- Мисс Гаррисон
- Советская дипломатия
- Отъезд С. Д. Меркулова
- Социалистические тарантулы
- Монархизм
- О жертвенности
- Отрывочные мысли
- Отравленные
- Что мы теряем

○ ПУБЛИЦИСТИКА. 1928–1929

- Град Китеж и Монт-Сальват
- О фашистской государственности
- Памяти адмирала Колчака
- Во что обошлась русская революция
- Два лика Византии
- Столица и провинция
- Ставка на кур
- О новой культуре
- Над кем смеётесь?

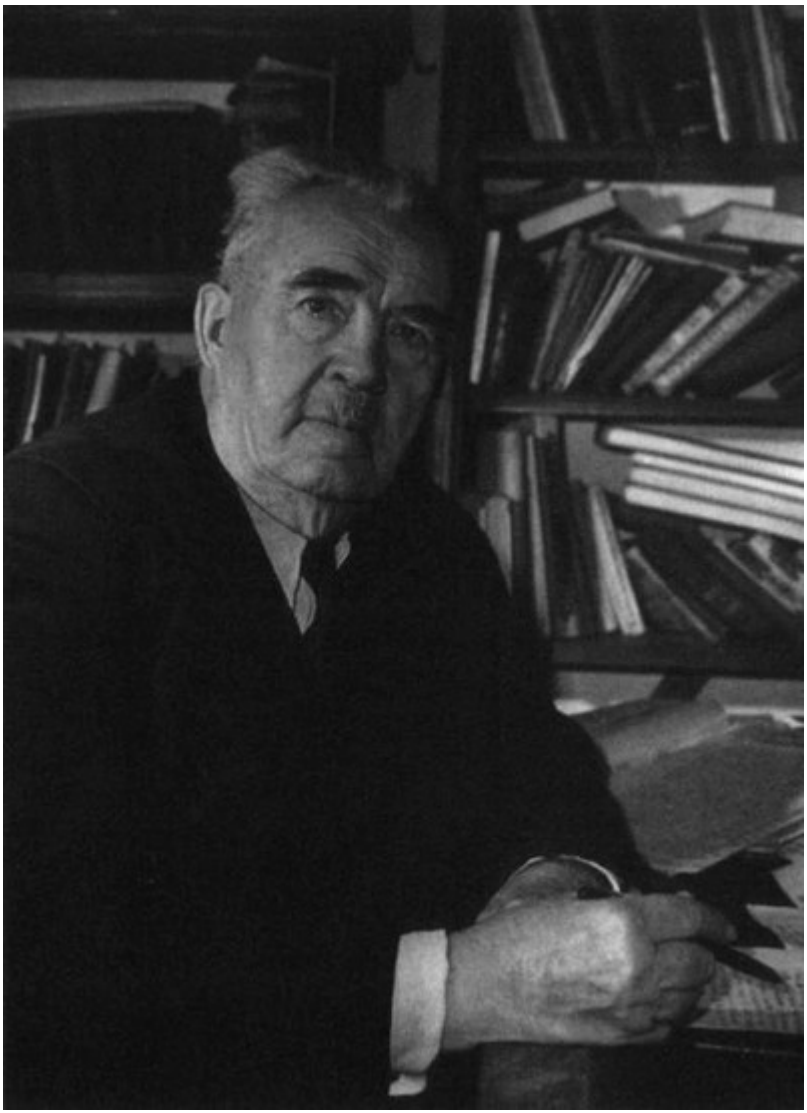
- О спецах
- Заметки на полях сердца
- В минуты упадка духа
- Темучин
- Темучин
- Экзамен эмиграции
- Когда и как эмиграция вернётся домой
- Св. Сергий Радонежский
- Торжество веры
- О русской душе
- Смотр верных
- Борьба за свободного человека
- Пытка колоколом
- Парагвайский опыт отцов иезуитов
- Осанна Горького
- К толпе!
- За чтением Розанова
- У дома Ипатьева
- Масоны и СССР
- Из дорожной тетради
    - 1. В автомобиле по Шаньдуну
    - 2. В Чифу
    - 3. На Юмжд
    - 4. По местам войны
- Интеллигентное подхалимство
- Работа Троцкого
- Ленин
- Двадцать пять лет Русско-японской войны
- Украинский вопрос в Европе
- О старости
- Возврат на родину
- Зачарованные петухи
- Хвост Ленина
- Варяги
- Запад или Восток?
- Горькая доля
- Золотые табакерки
- Ганди
    - 1. Два пути
    - 2. Махатма
    - 3. Русский плуг
- Дальневосточные перспективы
- Старый знакомец
- Министр-коммунист Ван Ань-ши

- Сталин
- Письмо из деревни
- Финал русской интеллигенции
- Власть земли
- Горячие ключи
- Пути китайской революции
- Кризис евразийства
- Обскурантизм или гуманизм?
- К новой России
  -
  - Приход объективности
  - Диалог о старом и новом
  - Драма в лесу
- Наука и религия

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29

○ 30
○ 31

Всеволод Иванов
КРАСНЫЙ ЛИК



Всеволод Никанорович Иванов

«Красный лик» русской истории

Я сидел за письменным столом,
пытаясь спасти Россию.

Всеволод Иванов. Исход

Заметки о литературном наследии Всеволода Иванова

В истории русской литературы, начиная от Серебряного века и до наших дней, известно немало Ивановых. Талантливые поэты и писатели — они обогатили отечественную культуру настоящими шедеврами. В этой плеяде блистает Всеволод Никанорович Иванов (1888–1971), замечательный автор исторических повестей, романист, поэт, публицист, редактор ряда газет и общественный деятель. Прежде всего следует отметить, Всеволод Иванов — энциклопедическая личность, обладающая высоким интеллектом и знаниями, он привнёс в литературу самобытную творческую мысль. Именно поэтому его называют мыслителем, и даже — философом. В произведениях Иванова всегда присутствует широта сознания, необычные художественные образы и исторические параллели. Из таких образов и сравнений рождается неоспоримая истина.

Всеволод Иванов родился 7/19 ноября 1888 года в Волковыске Гродненской губернии в семье учителя рисования и чистописания, прибывшего из Москвы. С уездным городком Волковыском связаны первые детские впечатления. Они напитывали душу красотой природы, чуткостью и отзывчивостью. Духовным воспитанием ребёнка занималась мать, Ольга Николаевна Доброхотова, происходившая из владимирских поповичей. Благодаря ей получены основы религиозного мировоззрения. В 1897 году, когда мальчику шёл девятый год, семья переехала в Кострому. Там будущий писатель получил начальное образование и поступил в Костромскую гимназию. Вскоре, через год проживания на новом месте, родители развелись, и Всеволод Иванов остался на попечении отца, который снял новую квартиру на улице Нижняя Дебря. В пору творческой зрелости, по возвращении из эмиграции на родину, в Хабаровске был написан автобиографический роман-хроника «На Нижней Дебре» (1958). Этот роман повествует о духовном взрослении юноши, ставшего непосредственным участником революционно-политических событий в начале XX столетия в

Костроме.

Как писатель-историк Всеволод Иванов начал формироваться во время учёбы в Костромской классической гимназии, где преподавались латынь и греческий язык. Там культивировались национальные культурные традиции, идущие от прославления героев Отечественной войны 1812 года, от Царскосельского лицея и его кумира Пушкина. Именно встреча с Пушкиным, писал Иванов, сыграла важную роль в жизни, он «словно морская волна, подхватил меня и швырнул в поток жизни моего народа»[1]. Перед юношей встал воочию «процесс истории человечества» через рождение новых форм бытия. Постепенно складывалось историческое мировосприятие, позволившее приобрести в будущей писательской работе целостное мышление.

Молодой задор и жизнелюбие подвигли Всеволода Иванова к поискам истины. Он открывал для себя источники литературной классики. «Серебряный век» русской культуры обусловил его внутреннюю свободу, сформировал изящный стиль словесности. Весной 1904 года на масленицу шестнадцатилетний юноша отправился в Москву, чтобы осуществить давнее желание — посмотреть спектакли московских театров. Он побывал в Большом театре на балете «Конёк-горбунок», в театре Незлобина смотрел историческую пьесу Островского «Сон на Волге», а в Художественном театре — пьесу Чехова «Вишнёвый сад». Излишне говорить, что домой гимназист вернулся, неся за спиной «целый рюкзак впечатлений».

Художественная концепция «Вишнёвого сада» породила бурю душевных эмоций, вызвала несогласие и полемику со знаменитым писателем. Чехов преподал тогда урок гуманизма. Молодой человек запомнил этот урок на всю жизнь: «Нельзя сводить счёты с прошлым, иначе не останется сил для постройки будущего. Прошлое — наш главный союзник в постройке будущего»[2]. Спустя четверть века, будучи в эмиграции в Китае, Иванов в газете «Гун-Бао» опубликовал очерк с названием «Две борьбы за Вишнёвый сад» (1929), где на правах литературного критика затронул крайне важный нравственно-философский аспект чеховской драмы. Можно ли одержать победу, сражаясь за добро с помощью зла? Этот риторический вопрос автор очерка адресовал читателю и предложил решить его самостоятельно. Следует добавить, что в идейном плане на протяжении всей жизни Иванова самым близким ему писателем оставался Ф. М. Достоевский. В юной душе он произвёл нравственный переворот своими произведениями «Бесы» и «Преступление и наказание».

Образование Всеволод Иванов продолжил на историко-

филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. Время учёбы пришлось на 1906–1911 годы, когда после войны с Японией и первой русской революции наступило относительное затишье. В России начался бурный расцвет культурной жизни. Творческая биография Иванова складывалась вполне удачно. В гущу студенческой повседневности ворвались имена поэтов Александра Блока, Андрея Белого, Константина Бальмонта, Валерия Брюсова. Прозвучал «бронзовый голос мужественного Николая Гумилёва». Неожиданное потрясение вызвала поэзия Сергея Городецкого, который «явился глашатаем, трубачом эпохи». С Петербургским университетом свою судьбу в тот же период связали Саша Чёрный, Борис Пастернак, Осип Мандельштам. Несомненно, уникальная атмосфера столицы повлияла на художественные пристрастия студента Иванова, опробовавшего свои силы на ниве поэзии. В эмиграции поэтический дар проявился в полной мере. Однако он никогда не забывал о временах петербургского Парнаса. В его эмигрантской публицистике отдано должное почитание ключевым фигурам русской поэзии — Блоку и Гумилёву, написаны литературные очерки к трагическим памятным датам.

Памяти Блока посвящена статья в «Вечерней газете» (Владивосток) под названием «Причастный тайнам» (1921, 26 авг.). Она обращена к поэме «Двенадцать». Советские литературоведы, которые завладели наследием Блока, сразу же придали произведению «революционно-романтический» пафос. Подобное официальное толкование существовало на протяжении семидесяти лет. Но Всеволод Иванов уже на 20-й день после смерти поэта дал поэме собственную трезвую оценку. Он отвергает романтику революции. Никакой светлой радости в революции нет. За Христом новыми русскими путями идут двенадцать новых апостолов. Но они — не евангельские братья, восприемники Святого духа, а красногвардейцы, «легкомысленные, беспечные варяги». Это другое понимание реальности. По площадям Петрограда, как простые, бедные люди, шествуют «живые апостолы, хмельные, озябшие». Из такого необузданного революционного рвения возникла иная апостольская вера, давшая начало жестокому материалистическому порядку. Иванов пытается осмыслить скрытое содержание «Двенадцати». Он пишет о мистическом созерцании поэтом подлинной, «тоскующей реальности». Своим сосредоточенным взглядом, доходящим до ясновидения, Блок проникает в будничную жизнь, которая соединяется с образом Христа и которая, по сути, есть сам Христос.

Другую статью, «Певец на полдне», Иванов посвятил Николаю

Гумилёву. По форме — это литературный этюд, он был прочитан на вечере памяти поэта весной 1922 года. Как и предыдущая статья, этюд опубликован в «Вечерней газете» (1922, 9 марта). Здесь автор, говоря о Гумилёве, проявил себя таким же настоящим поэтом, мастером изящного слова, как и тот, о ком он говорил и писал. Выступление на вечере во Владивостоке, в помещении театра «Золотой Рог» Иванов начал радикально. И слушатель, и читатель слышал надрывные, тревожные суждения, в которых сквозит едва уловимый сарказм: «Меньше одним пленительным человеком. Больше погребальных масок, больше чтимых предков на алтарях нашего быта. Больше простора для убийц с низкими лбами… И ещё больше простора для творцов новой жизни. Конечно, Гумилёв — певец на полдне, и должен был умереть»[3]. Этюд о Николае Гумилёве написан вдохновенно. За акварельными переливами слов проступает живой образ искателя жизни — абиссинской, военной, охотничьей, поящей допьяна своими силами. «Поэт яркого полдня», с холодной улыбкой следивший за «бледными красками смерти». На глазах Иванова ушёл ещё один русский поэт, первый акмеист, «певец вечной жизни».

В университете Всеволод Иванов успешно освоил образовательный курс истории, учился у известного профессора С. Ф. Платонова. Лекции помогли возродить юношеские прозрения, установив причинно-следственные связи ряда исторических фактов. Кроме того, довелось прослушать общий курс методологии истории, прочитанный академиком А. С. Лаппо-Данилевским. На летних семестрах 1909 и 1910 годов состоялась стажировка в германском университете в Гейдельберге, где студент Иванов участвовал в научных семинарах у известных философов Вильгельма Виндельбанда и Генриха Риккерта. Оба профессора возглавляли Баденскую школу философии истории, провозгласившую приоритет социально-моральных ценностей в обществе. Впоследствии писатель посвятил своим немецким учителям литературный труд «Дело человека: Опыт философии культуры» (1933), написанный и изданный в Харбине.

После учёбы Всеволод Иванов попал на военную службу солдатом Полоцкого 18-го пехотного полка в Тамбове. Годы, проведённые в университете, сотни прослушанных лекций не дали того, что было получено в армейской казарме. Служба в царской армии стала важным этапом в формировании гражданской позиции, чувства ответственности за окружающих людей. Его моральное кредо сложилось с полным пониманием жизни: «Нет, не за идеи нужно стоять насмерть, а за живую

землю, за живых людей, за живое государство»[4]. Осенью 1913 года по окончании военной службы Иванов получил звание прапорщика и вернулся в Петербург, чтобы держать выпускные экзамены за университетский курс.

С началом Первой мировой войны Всеволода Иванова снова призвали на военную службу, в запасный пехотный батальон. Служба проходила в Вятке, Петрограде, Перми. На Урале он задержался надолго, там успешно продвигался по службе и был назначен начальником учебной команды. Известие об открытии в 1916 году в Перми отделения Петроградского университета дало новые надежды в творчестве. В Пермском университете начали преподавание столичные знаменитости: философ Л. В. Успенский, кадетский лидер Н. В. Устрялов, библиотекарь и философ Н. В. Фёдоров, молодой историк Г. В. Вернадский, профессор Д. В. Болдырев, лингвист, поэт и мыслитель Ю. Н. Верховский. С некоторыми из них ещё в Петербурге сложились дружеские отношения. Знаменательной стала короткая встреча Иванова в Перми с петербургским другом, прапорщиком Сергеем Касьяновым. С фронта Касьянов писал длинные письма о тяжёлых боях и нудных сидениях в окопах, о пьянстве и своих «победах» над сёстрами милосердия. Душевные излияния друга послужили для Иванова ценным художественным материалом. В 1916 году началась публикация серии его рассказов «Любовь и служба Касьянова». В них с убедительной достоверностью воссозданы события войны, дополняющие всем известные сухие исторические факты. К рассказам о «Касьянове» время от времени добавлялись новые истории. Так, через 12 лет в газете «Гун-Бао» был помещён рассказ «Снег» (1929, 1 янв.).

Февральская революция застала Всеволода Иванова в Перми, где он заболел оспой и в решающий исторический вечер февраля 1917-го лежал в горячке. Невзирая на революционный накал и бушующие страсти, связанные с отсутствием хлеба в Петрограде, после выздоровления писатель вернулся к службе, но Временному правительству присягать не стал. Тем не менее он выполнял воинские обязанности по доставке украинцев на фронт. Армейская жизнь продолжалась до драматических событий очередной Русской революции. В октябре пришлось принять кардинальное решение, снять погоны и демобилизоваться из армии. А в феврале 1918 года Иванов приступил к преподаванию в Пермском университете. Одновременно осваивал профессию журналиста. Ко времени работы в университете, уже год как он публиковался в местных либеральных газетах «Народная свобода» и «Пермские губернские ведомости». Университетское окружение дало прилив творческих сил, несмотря на то что приходилось

вести полуголодную жизнь и, выкручиваясь из нелёгкого интеллигентского положения, ездить в деревню и менять там личные вещи на продукты. Общение с профессорами Успенским и Болдыревым на «чужих» ночных квартирах (собирались все вместе в дни так называемых красных арестов) подвигало к мысли о поиске национальной идеи. В один из таких вечеров, после обсуждения философской проблемы Премудрости Божией Софии, у Всеволода Иванова родились стихи. Квинтэссенция стихотворения заключена всего в двух строчках: «Маячит вдалеке крылатая София / Над Русью бедною державный правя лёт»[5].

К концу 1918 года в Перми произошла смена власти. Вытеснив большевиков, туда вошла Сибирская армия под командованием адмирала Колчака. Всеволода Иванова призвали на военную службу и направили в газету «Сибирские стрелки», которую вскоре ему пришлось возглавить в качестве редактора, будучи уже в Омске. В ставку главнокомандующего сибирскими войсками он выехал в мае 1919-го. С этого времени фактически начались испытания в жерле гражданской войны. В Омске Иванов перешёл на работу в Русское бюро печати (РБП), где главным директором был А. К. Клафтон, а рядовыми директорами пермские профессора Н. В. Устрялов и Д. В. Болдырев. Как пропагандистский орган Колчака, РБП занималось прессой и боролось со стихией разгоравшейся революции. В августе была открыта «Наша газета», и РБП поручило её редактировать Иванову. Редакционная статья первого номера от имени главного редактора сразу же задала высокий тон и определила будущую линию издания. На страницах газеты, наряду с политикой и экономикой Сибири, освещалась и духовная, церковная жизнь, большое внимание было уделено культуре. Именно культура и религия, провозгласившие заповеди мира, по мнению редактора, могли вновь собрать из обломков воедино российское государство. Этому главному жизненному тезису подчинена вся дальнейшая деятельность.

Судьба Всеволода Иванова в 1919 и 1920 годах связана со скитаниями по Сибири. Перипетии войны, ледовый поход от Омска до Читы вместе с отступающей Белой армией и беженцами — эта человеческая трагедия отразилась на его жизни и творчестве. Всё пережитое им являет собой братоубийственное разделение, и оно нашло отражение в мемуарной брошюре «В Гражданской войне: Из записок омского журналиста» (Харбин, 1921). Записки — не просто воспоминания по свежим впечатлениям, а настоящий документ эпохи, летопись бесчеловечной русской истории. Белая армия разбилась о неприступный Красноярск, но Иванову повезло, он остался жив,

если лишения, которые довелось претерпеть, можно назвать везением. Из-за обострившегося ревматизма ног ему пришлось осесть в Чите, а оттуда в конце февраля 1920-го поездом отправиться в Харбин. Так начался период эмиграции. Правда, на некоторое время эмиграция прервалась. Следуя гражданскому долгу и отзываясь болью за гибнущее отечество, Иванов возвратился во Владивосток, где взялся за прежнее ремесло журналиста и газетчика. Во Владивостоке он находился с апреля 1921 по октябрь 1922 года.

За короткий период жизни в Приморье Всеволод Иванов получил известность как профессиональный журналист и талантливый публицист и, кроме того, как крупный деятель в области газетного дела. В мае 1921-го под его началом — издателя и редактора — была основана на паях частная «Вечерняя газета». Первый номер вышел в дни образования Приамурского Временного правительства (26 мая 1921), которое пришло к власти стараниями Дальневосточной армии генерала В. О. Каппеля и атамана Г. М. Семёнова. На волне переворота предприятие оказалось весьма успешным. Иванов писал в мемуарах о своём карьерном возвышении во Владивостоке, которое началось с курьёзного происшествия. В день выхода газеты он сам разносил экземпляры, вручая всем свежую печатную продукцию, и оказался лицом к лицу с министрами нового правительства в здании компании «Денни Мотт и Диксон». Ему налили бокал шампанского и здесь же выдали удостоверение уполномоченного по печати Приамурского правительства. Так Иванов стал не просто журналистом, но и чиновником, водворившись в Доме правительства и получив кабинет с телефоном и балконом на Амурский залив. С этого момента работы прибавилось — появился правительственный указ о выпуске «Известий Приамурского правительства» и новой газеты «Русский край».

Освоив за несколько лет искусство журналистики, Всеволод Иванов публиковал в газетах острые материалы, затрагивающие проблемы повседневной жизни — от политики и экономики до истории и культуры. Особенно его волновало нравственное состояние нации. В 1921 году в газете «Русский край» появился очерк «Кровь царя», в котором осмысляется факт трёхлетней давности — убийство большевиками императора Николая II. Бесчеловечная страница российской истории перевёрнута и забыта, но автор буквально кричит о творящейся несправедливости и жестокости. Личная ответственность превращается в гражданскую позицию. Эта позиция ярко и сильно выражена в нескольких строчках: «Пусть так же животворна да

будет кровь русского царя нашим внукам: — Ибо она на нас и на детях наших!»[6]. Даже спустя годы царская тема не отпускает. К 10-летию гибели императорской семьи Иванов пишет краткие воспоминания «У дома Ипатьева» (ГБ, 1928, 17 июля). И снова он повторяет ту же мысль о пролившейся крови, которая обагрила русский народ.

Что касается политической обстановки в Приморье, то в этом вопросе журналистское перо Иванова было на редкость хлёстким и точным. Его заметки посвящены братьям С. Д. и Н. Д. Меркуловым, возглавлявшим Приамурское правительство, генералу М. К. Дитерихсу, который пришёл к власти в результате очередного переворота в июне 1922-го, руководителям движения сибиряков-областников, подхватившим власть из рук правителя Дитерихса за три дня до падения Владивостока. Последний сюжет имеет отношение к дискуссии о сибирской автономии с известным в Сибири кооператором и лидером областников А. В. Сазоновым (ВГ, 1922, 21 авг.). Широкий спектр общественно-политических взглядов Иванова, отражённых в приморской печати, ещё требует своего кропотливого анализа.

Отъезд в эмиграцию из Приморья пришёлся на 22 октября 1922 года, когда красные вышли на рубеж 2-й Речки (сегодня это район города Владивостока), тесня казаков генерала Ф. Л. Глебова и войска генерала В. М. Молчанова. Всеволод Иванов погрузился на японский коммерческий пароход «Фузан Мару» и покинул бухту «Золотой Рог». Трагический исход постиг растерзанную родину. Путь лежал через Корею — сначала в Японию (с конца 1922-го), затем в китайский Шанхай, а в 1924 году писатель перебрался в уже знакомый Харбин. Вынужденная остановка в корейском Гензане была использована для написания пространного очерка «Крах белого Приморья». Позже, в 1927-м, эта интересная историческая работа издана отдельной брошюрой.

В Русском Китае Иванов заявил себя как публицист и писатель исторического жанра. Он печатается в газетах «Заря», «Гун-Бао», «Русское слово», «Рупор», «Свет», в альманахе «Рубеж» и других изданиях. На протяжении десятка лет отзывается буквально на каждое повседневное событие, будь то образование марионеточного государства Маньчжоу-Го или приезд на Дальний Восток прославленного баса Фёдора Шаляпина. Писатель окунается в культурную среду Харбина, за которым закрепилась слава дальневосточной столицы русской эмиграции. Иногда город на реке Сунгари называли даже «восточным Петербургом», поскольку строительство КВЖД и главного административного центра железной дороги происходило под непосредственным управлением царских властей (улицы в Харбине имели

петербургские названия, например Садовая, Большой проспект, Первая и Вторая линии).

Иванов сблизился там с известными поэтами и писателями Арсением Несмеловым, Алексеем Ачаиром, Леонидом Ещиным, Василием Логиновым, др. Часто они встречались на квартирах, образуя неформальное сообщество. Этот цех старших поэтов способствовал развитию литературного поколения, объединённого в кружок «Молодая Чураевка». Из него выросла поэзия восточной ветви русской эмиграции. Молодёжь собиралась в залах Христианского Союза молодых людей на Садовой улице, там же проходили городские собрания и культурные вечера, которые часто посещал Всеволод Иванов. Дружба с поэтами развила ещё одну сторону многогранного таланта Всеволода Иванова — поэтическое дарование. Из-под его пера вышло несколько сборников небольшого формата: «Сонеты», «Беженская поэма», «Дама в сером», «Поэма еды». Последнее произведение вызвало бурную дискуссию в печати. Поэтический сборник «Сонеты» (Токио, 1922) увидел свет во время короткого пребывания в Японии и впоследствии переиздавался несколько раз в Китае. Стихи носят, с одной стороны, личностный, биографический оттенок, а с другой — пронизаны русской историей, тоской по родине и верой в будущую Россию. Прекрасно владея несколькими восточными языками, Иванов изучал древнюю поэтическую культуру Китая, переводил стихи на русский язык. Часто выступал с докладами. Один из его докладов в Обществе изучения Маньчжурского края как раз назывался «О китайской поэзии» (ГБ, 1928, 16 июня). Среди переводов — комедия Гуань Хан-чина «Строптивая жена, или испытание поэта» (ГБ, 1928, 31 марта).

На вечере по случаю «Дня культуры» в июне 1934 года, проходившем ежегодно в Харбине, Иванов познакомился со знаменитым русским художником Н. К. Рерихом, который прибыл в Маньчжурию в составе возглавляемой им научной экспедиции Департамента агрикультуры США по сбору семян засухоустойчивых трав. Они сразу же сблизились и подружились. Сближение произошло на почве известной Рериху и уже прочитанной им к тому моменту книги Иванова «Мы». Именно общая евразийская платформа и сходное восхищённое отношение к Азии, с её древнейшей культурой, положившей начало мировой цивилизации, вызвало обоюдную симпатию. Рерих организовал в Харбине Комитет Пакта и Знамени мира, задачей которого явилось объединение эмиграции во имя сохранения культурных сокровищ. В состав членов Комитета был приглашён и Всеволод Иванов. Его работа на ниве культуры не ограничилась участием в

заседаниях, а вылилась в небольшую, но важную статью об охране памятников «Что такое Пакт Рериха?».

Сотрудничество с Рерихом в полной мере выявило давно дремавшее чувство любви к родине. В Рерихе было всё русское, от его картин с образами храмов и святых, из которых наиболее почитаемым всегда оставался преподобный Сергий Радонежский, до пламенных речей в Харбине в защиту русской культуры. За несколько лет до их встречи, в 1931 году Иванов официально поступил работать в советскую газету «Шанхай Геральд» (выходила на русском и английском языках) и получил советский паспорт. Он также выполнял поручения для посольства СССР, составлял обзоры литературы по Китаю. После получения паспорта его статьи через ТАСС стали попадать в центральные московские газеты «Известия» и «Правда». С началом Великой отечественной войны, в 1941-м Иванова пригласили на радиостанцию «Голос Родины» в Шанхае, в качестве политического обозревателя, где он выходил в эфир трижды в неделю. Выступления вызывали огромный интерес, особенно у японцев.

Сближение с родиной естественным образом привело к возвращению из эмиграции. Произошло это не сразу, хотя мысли о репатриации, вероятно, появились вместе с советским паспортом, и даже раньше. В газете «Гун-Бао» Иванов опубликовал свои размышления «Когда и как эмиграция вернётся домой» (1928, 11 апр.), где он сравнивал феномен изгнанничества в разных странах и остановился подробно на французском опыте эпохи Наполеона. Вывод на основании исторических параллелей предсказывал возвращение русских домой через поколение, 20–25 лет. Дальневосточная эмиграция готова была к тому, что известный писатель, рано или поздно, отправится к большевикам. Радикально настроенные эмигранты, особенно после травли Рериха в Харбине (художника ложно обвинили в принадлежности к мировому масонству), принялись и за Иванова. Ему даже пришлось выступить в газете «Заря» с опровержением слухов о своём возвращении в Советский Союз (1935, 14 июля). Но Иванов всё-таки вернулся в СССР. Произошло это в феврале 1945-го, ещё до окончания войны, и в августе того же года он поселился в Хабаровске, где целиком посвятил себя литературной работе. Вошёл в Союз писателей, печатал книги и, таким образом, занял достойное место в отечественной культуре, развивая жанр исторической повести.

Литературное наследие Всеволода Иванова достаточно обширно, и по разнообразию жанров, и по количеству написанного. Им созданы масштабные исторические

произведения: «Мы» (1926), «Сказание об Антонии Римлянине» (1934), «Чёрные люди» (1963), «Императрица Фике» (1968), «Александр Пушкин и его время» (1970). Первое из них «Мы» — достаточно известное в мире зарубежной литературы, оно имеет развёрнутый подзаголовок «Культурно-исторические основы русской государственности». Это — историко-философская публицистика, которая поднимает вопрос вековых взаимоотношений Востока и Запада. В эмигрантской среде книга имела большой успех, а её автор получил признание как евразиец. Основная идея произведения состоит в том, что российская и восточная государственность и великодержавность неразрывно связаны. Эта идея проиллюстрирована на примере взаимопроникновения монгольской империи Чингисхана и Московской Руси, когда создавались потоки экспансии на Запад и обратно на Восток. Исторический труд «Императрица Фике», своего рода трилогия об императорах, обращена к русской истории — царствованию Ивана III, Петра Великого и Екатерины II. Здесь автор выступает как профессиональный историк. Он облекает в художественную форму итог своих поисков и размышлений о непростой, переломной эпохе в строительстве самодержавия на Руси. Последнее из вышеупомянутых произведений, посвящённое творческой биографии Пушкина, представляет поэта как государственного человека, который верит в прогресс России и национальные силы русского народа, в том числе крестьянства. Государь и крестьяне выходят у поэта на передний край истории. Иванов восхищён Пушкиным, его великим умом и историческим кругозором.

Историческую прозу Всеволода Иванова дополняют философские работы: «Философия Владимира Соловьёва» (1931), «Дело человека: Опыт философии культуры» (1933), «Рерих — художник, мыслитель» (1937). В основу книги о Владимире Соловьёве положена лекция Иванова, прочитанная им в мае 1931 года в Харбине, в Педагогическом институте, на памятном заседании по случаю 30-летней годовщины со дня смерти русского философа. В то время личность Соловьёва ещё не получила достаточно весомую оценку историков, и изданная работа стала провидческой с точки зрения его роли как религиозного философа и вклада в сокровищницу национальной мысли.

Книга «Дело человека» обращена к осмыслению окружающего мира и внутренней природы индивидуума. Автор исследует пути познания — науку, искусство, историю и религию. Взятые воедино, в синтезе, они только и могут приблизить человека к истине. Продолжая тему поиска гармоничной личности, Иванов в

1935 году пишет очерк о Николае Рерихе (напомним, они познакомились годом ранее в Харбине). В художнике ему видится идеал человека, который охраняет «явившуюся в мир красоту». Нерв повествования затрагивает отношение Рериха к России. Первая главка называется «Россия и Рерих». Автор провозглашает, что есть Россия и как с ней связан Рерих: «Россия — грандиозна. Неповторяема. Россия — полярна. Россия — Мессия новых времён. Россия — единственная страна в мире, которая величайшим праздником своим славит праздник утверждения Жизни, праздник Воскресения из мертвых, радуясь на заре весеннего расцветающего дня, с огнями крестных ходов под утренним яхонтовым парчовым заревым небом. И Рерих связан с этой Россией… связан с ней своим огромным искусством, ведущим к постижению России. Ибо только через искусство, да ещё через веру можно постичь Россию»[7]. Достигая пика в осмыслении творческой биографии художника, Всеволод Иванов делает зеркальный разворот и новую главку называет: «Рерих и Россия». Он пишет о том, как художник созидает своё отечество. Слово «стройка» обретает новые смыслы. Иллюстрацией этой мысли является картина «Город строят». Главный лозунг Рериха: «Красоту надо возродить!»[8]. В 1930-е годы с Гималаями, где живёт и творит художник, выковывается крепкая связь. Она настолько крепкая, что спустя десятилетия, в средине 1960-х, Иванов шлёт в Индию сыну художника, Святославу Рериху, привет и книжные дары.

Особняком в творчестве Иванова стоят автобиографический роман «1905 год: Роман молодой души» (1929) и мемуары «В Гражданской войне» (1921) и «Крах Белого Приморья» (1922). Примечательны именно брошюры о гражданской войне в Сибири и на Дальнем Востоке. Это малоизвестная страница в биографии Всеволода Иванова. Братоубийственная бойня показана без прикрас. Воспоминания обнажают реалии жизни, показывают не только трагедию защитников отечества, но и нравственную деградацию белых офицеров, спровоцированную войной, воспроизводят события, непосредственным участником которых был автор.

В поздний советский период, живя в Хабаровске, Иванов опубликовал цикл повестей о Китае, куда вошли «Тайфун над Янцзы» (1952), «Путь к Алмазной горе» (1956), «Дочь маршала» (1968), др. После первых успехов и торжества китайского коммунизма писатель предложил по-новому взглянуть на культуру и психологию древнего соседа. Он резюмировал свой писательский порыв лаконичной фразой: «Мир ничего не знает о Китае!». При этом показал себя настоящим знатоком китайской

цивилизации и предложил узнать о ней гораздо больше, чем было известно до сих пор. После пограничного инцидента на острове Даманский, ему пришлось даже обратиться с письмом к председателю Совета министров СССР А. Н. Косыгину для разъяснения позиции по Китаю.

Всеволод Иванов не только мастер художественного слова и учёный с глубокими познаниями истории, но и политический обозреватель и рецензент, художественный критик и эссеист, получивший популярность на Дальнем Востоке в кругу эмигрантов. Ему приходилось живо реагировать на происходящее во всём мире, не говоря уже о жизни русской колонии в Китае. Он писал даже фельетоны (под псевдонимом «Доктор Финк»). Однако на сегодняшний день публицистика Иванова остаётся практически неизвестной. Этот жанр творческого наследия до сих пор не востребован историками. Лишь в Харбине когда-то вышла книга «Огни в тумане» (1932), где автором собраны отдельные, избранные газетные публикации. Всего опубликовано 58 статей, в то время как общее количество исчисляется многими сотнями и даже тысячами. Полный учёт публицистики ещё не проведён.

В настоящем издании представлены очерки, статьи, путевые заметки, передовицы газет, написанные на злобу дня. Большинство публикуемых материалов не утратило актуальности и сегодня. Всякие изменения в обществе, будь то Октябрьский переворот или ненасильственный переход власти, что происходило при завершении советской эпохи (по существу, бескровная революция), имеют сходный характер. Это закономерный исторический процесс. В послереволюционном периоде 1920-х годов, как в зеркале, отражается наше время. Именно поэтому читать публицистику Иванова всегда интересно и поучительно.

Открывает книгу документальный очерк «В Гражданской войне: Из записок омского журналиста». Этот текст публиковался в «Вечерней газете» (Владивосток), начиная с номера от 17 июня 1922 года. Но ещё раньше, в 1921-м, в Зарубежье его представила газета «Заря», выходившая в Харбине под редакцией М. С. Лембича. Очерк был издан в виде отдельной брошюры. По сей день важный источник о гражданской войне в Сибири остаётся малодоступным даже для специалистов. В советский период книга находилась в библиотечном спецхране. Теперь исследователи и читатели получают доступ к новым страницам отечественной истории. Конечно, период правления адмирала А. В. Колчака уже достаточно хорошо изучен, но детали событий, составляющие фактуру войны, дают более ясное представление о ней.

Непреходящей ценностью является личный опыт Иванова как участника боевых переходов по Сибири. Многого стоит ужасающее описание гибели русских офицеров и солдат — зимние «поезда мертвецов». Штабеля человеческих трупов на железнодорожных станциях, уложенные квадратами, как вязанки дров, на сильном морозе от тел с лёгкостью отламывались хрупкие руки и ноги. Или утонувшие в Байкале боевые кони, скованные сильным ночным морозом, в утренних лучах солнца из-подо льда торчали одни лошадиные головы. А мерзости военного быта, пьянство и насилие?.. всего было предостаточно, как со стороны красных, так и со стороны белых! Такие исторические детали, касающиеся жизни конкретных людей, дают отрезвление потомкам и делают их более чуткими и сострадательными.

Публицистика в томе разбита на два раздела. Первый — это статьи из «Вечерней газеты» за период с мая 1921 по октябрь 1922 года. Своё журналистское перо Всеволод Иванов обращает к будням революции и гражданской войны. Он не просто участник событий, происходящих на сибирских окраинах России, а летописец судеб политиков, генералов и простого народа. Практически в каждом номере ежедневной газеты появляется какая-нибудь статья. Небольшие политические реминисценции, написанные, что называется, с колена, на одном дыхании, красочны, образны и часто доходят до гениальности. По крайней мере, в них сразу чувствуется незаурядная личность автора.

По разумению Иванова, Русская революция имеет несколько ликов, они переменчивы от времени и условий жизни. «Один — праздничный, красный, сияющий, обращённый к массам. Это — лик лозунгов, заманиваний, обещаний… Грандиозная социалистическая революция превращается в грандиозное жульничество» — такой вывод делается в заметке «Троцкий или Россия?»[9]. Следует оговориться, здесь «красный» — в смысле красивый. Другой лик относится к закулисным манёврам и злостным комбинациям советской власти. На смену праздникам приходят будни, и выявляется лик «хитрый и злобный». Многоликая власть скрывает свою истинную природу. Там, в глубине, под маской, она лишена всяческих различий, не добрая и не злая. Непостижимый «Красный Лик». Этими словами Иванов заканчивает последнюю статью «Что мы теряем» (ВГ, 1922, 16 окт.), написанную за несколько дней до эмиграции.

Тематика публикаций в «Вечерней газете» довольно разнообразна. В центре многих статей — деятельность Приамурского правительства братьев Меркуловых, представляющего единственный островок белой власти в

Приморье. Лейтмотивом проходит тема Земского Собора. Такое внимание в печати объяснимо. Борьба за Приамурскую государственность разворачивалась вокруг Земского Собора, органа, который и выбирал правительство на Дальнем Востоке. Под пристальный взгляд прессы попадали известные политические деятели и военные чины. Портреты статского советника Н. Л. Гондатти, генерала М. К. Дитерихса, премьера В. С. Колесникова, монархиста В. Ф. Иванова ярко прописаны в статьях главного редактора «Вечерней газеты».

Поверх политических распрей в Приморье, Всеволода Иванова больше всего беспокоит судьба самой России. Он пытается ответить на вопросы, волнующие мыслящую интеллигенцию, — что такое революция, почему разорена страна и откуда появилась «философия купленных рабов». Этим вопросам посвящены статьи: «Чекисты-объединители» (ВГ, 1922, 13 апр.), «Россия на барахолке» (ВГ, 1922, 12 мая), «Больной Ленин» (ВГ, 1922, 17 авг.), «Погром, разгул и революция» (ВГ, 1922, 30 авг.), др. Иванов вступает в заочную полемику с В. И. Лениным. Острая, едкая статья выражает непримиримую позицию автора по отношению к большевикам, революции и, конечно, к её вождям. Ленинская тема задевает за живое. В последующие годы Ленину будет посвящена ещё не одна публикация. Большинство из них представлены в издаваемой книге. И рядом с Лениным — Сталин, Троцкий, Горький.

Второй раздел тома включает печатные материалы из газеты «Гун-Бао», 1928 и 1929 годы. Это благодатный период для Иванова как автора. Имея непререкаемый авторитет журналиста, он постоянно выступает на страницах издания, делает политические обзоры, пишет литературные рецензии, освещает культурные события. К тому же 7 декабря 1928 года Всеволод Иванов принимает пост главного редактора «Гун-Бао». Стиль его писаний постепенно меняется, возможно, благодаря некоторой устойчивости, приобретённой эмиграцией на чужбине. Становилось очевидным, что советская власть пришла надолго и не собирается сдавать позиции. В СССР началась насильственная коллективизация, репрессии и ссылки в Сибирь. Новые пути, которыми проходили соотечественники на родине, требовали и новых исторических оценок. Иванов переходит от коротких, сжатых заметок к пространным размышлениям, углубляется в каждую проблему с полной душевной самоотдачей. Он берёт крупные планы, обращаясь к отечественной истории и делая ревизию собственных взглядов. Серия из одиннадцати очерков посвящается России. Первый из них повествует о приходе на Русь греческого православия (ГБ, 1928, 19 февр.). Последующие очерки

посвящены скандинавскому игу, монгольскому завоевателю Чингисхану, святому Сергию Радонежскому, византийскому влиянию на Московское царство. Русская история представляется в виде совокупности духовных импульсов, влияющих на современное общество (перекличка с теорией этногенеза).

Отталкиваясь от прошлого, Всеволод Иванов смотрит в будущее. Талант историка, обладающего аналитическим мышлением, даёт ему право высказать самые потаённые мысли. В марте и апреле 1929 года публикуется серия из пяти очерков «К Новой России». Название очень напоминает лозунг. Но лозунг, поднятый вверх, находится на расстоянии вытянутой руки. В этом смысле его обращение похоже на провидческие формулы философа Ильина о России. Не случайно будущему устройству жизни Иванов посвящает несколько пространных, можно даже сказать, витиеватых статей. Он пытается размышлять вместе с читателем, предлагая смотреть на происходящее вокруг объективно. Именно «объективность» делается ключевым понятием. Из-за недостатка этого качества коммунистическая идея повсеместно превращается в фикцию. Да, коммунизм, как идея, хорош, но интеллигенция воспринимает только внешнюю сторону, призыв, который разбивается о повседневность. Требуется возрождение старых традиций. Новая Россия жива простым народом, действующим практично и ясно. У русского мужика есть и культура, и миросозерцание, связанное с православием. Именно в таком смысле новая Россия каким-то образом примыкает к старой России. Автор сам не понимает до конца, как это происходит, но интуитивно чувствует и облекает своё чувство в форму сна. «Помните, — говорит Иванову вымышленный собеседник, — вы уж писали как-то, что видели сон о том, как Ленин, гуляя, беседует с Сергием Радонежским»[10].

Что же происходит на самом деле? Революционный порыв сменяется периодом военного коммунизма. И затем начинается осуществление «мечты», строительство коммунизма настоящего. На сцене мирового театра, по образному выражению Иванова, «готовится к постановке пьеса русской мечты». Она выше «Синей Птицы». А что может быть выше?! Ставится «Красная Птица». В этом и есть вся советская власть — светлую мечту довести до абсурда. Итог авторских размышлений, на первый взгляд, парадоксален. Но лишь на первый взгляд. Русским людям требуется «идеальная красота жизни». И подобное сознание, охватившее умы и претворённое в быт, социум и педагогику, — заложит устои «Новой России» (ГБ, 1929, 27 марта). Как это созвучно учению Рериха о Красоте!

Мысли Иванова о красоте связаны с культурой в широком понимании, не с лубочной культурой, а с духовным строительством, которое включает в себя и экономику, и политику, наконец, саму власть, с её чиновничьим аппаратом. Вызывает восхищение то, как анонсируется предстоящая постановка в Харбине прославленной оперы Римского-Корсакова «Сказание о граде Китеже». Сравнивая Китеж с Монсальватом, Горой Спасения (из оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль»), он рассуждает о западном и восточном, то есть русском, мышлении. Налицо два способа восприятия жизни. Одно идёт от прагматики, порождённой католической церковью, другое — от веры в чудо, от мистического православия, пришедшего на Русь из пустынь Сирии, Палестины и Египта. Легенда о граде Китеже соответствует духу нашего народа. Но к поиску правды и вере нужно добавить волю и действие. Только тогда наступит чудесное преображение России…

Очерки Всеволода Иванова читаются с большим воодушевлением. Они оригинальны своими выводами, как, например, только что упомянутый «Град Китеж и Монт-Сальват» (ГБ, 1928, 15 янв.). Простая рецензия порой превращается в философскую доктрину. Исторические аналогии и обобщения вызывают ощущение современности. К сожалению, формат издания не позволяет представить творчество писателя в более полном объёме. Публицистика Иванова — это не просто полезное чтение для учёного или обывателя, в хорошем смысле слова, но необходимый сегодня программный кодекс, что делать в жизни каждого дня и как обустроить Россию. Будем надеяться на новые открытия.

Владимир Росов,

Государственный музей Востока

МЕМУАРЫ

В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
(*Из записок омского журналиста*)

Светлой памяти адмирала А. В. Колчака,
профессора Дм. В. Болдырева и А. К. Клафтона
с великой болью посвящает эти записки — автор.

Вот уже год, как пал Омск. Пал так неожиданно, так бесславно, так легко, что едва ли победа эта вплела новые лавры в венок беспардонных победителей.

Мне, к сожалению, не попадались под руку те номера советских газет, в которых «они» описывали свои триумфы, но не думаю, чтобы триумфы эти были чрезвычайны. Правда, наверное, подчёркивался народный характер этого падения, оттенялась лёгкость занятия городов по телеграфу; но, как люди умные, дальновидные и хитрые, властители современной России не могли не понимать, что падение Омска не значило падения Омского дела.

Истекший год принёс много упрёков, много злобных слов по адресу Омска. Окончание «щина», вместе с «зубатовщиной», «атаманщиной», «керенщиной», революционным манером образовало «колчаковщину». «Колчаковщина» в том проклятом широком просторечии, которое, как фон, образует собою подоплёку политики момента, означает бездарность отдельных лиц, стоявших у власти, незначительность сил и дарований, старые методы управления, восстановление старого, механическое, безотчётное гальванизирование безвозвратно умершего и сохранившегося лишь в сибирских захолустных головах, бесконечное фантазёрство беженского элемента, смотревшего на своё пребывание в Сибири как сытое приятное историческое partie de plaisir[11] невдалеке от правительства, с честью и удобствами, и, наконец, чеховское — «в Москву, в Москву» — слово, владевшее всеми, от первого генерала до последнего солдата. А затем, и по преимуществу, — это интриги, интриги и интриги всех и против всех.

Всё это и называлось, и называется «колчаковщиной». Но как только попытаемся мы эту интеллигентски-презрительную приставку срастить с именем покойного адмирала, то сразу увидим, что она отскакивает от него, как масло от воды…

В трагедии незаметной и обыденной последних дней Омска, в этой поднявшейся мути полнейшей неосведомлённости, эвакуационно-панических настроений, слухов, в чехарде высоких лиц, поспешной сменой бестолково старавшихся спасти положение, было, однако, несколько блестящих, высоких, трагически простых моментов.

В августе месяце 1919 года собравшийся в Омске Казачий Круг объявил мобилизацию сибирских казаков. Торжественное заседание этого Круга в присутствии Верховного Правителя было назначено в театре «Аквариум». Толпы по обыкновению обедавших в «Аквариуме» в этот сияющий, тихий, праздничный день немало были смущены, когда большое помещение было закрыто для публики… Обедавший со мной пышноволосый, декоративный чиновник министерства иностранных дел и поэт Валерий Язвицкий страшно, по обыкновению, торопился и убежал на Круг часа за два до его начала.

Пошёл и я. В чёрном сюртуке, выбритый, так не вязавшийся с летним днём И. Н. Шендриков пропустил меня. В здании летнего театра было полутемно, со струйками солнца как на сеновале, многолюдно. Пришлось, по обыкновению, ждать. И вот, в сопровождении блестящей свиты, среди белых платьев дам, с только что сегодня вручённой булавой в руках пришёл атаман П. П. Иванов-Ринов.

Начались речи. Бывший предсовмин П. В. Вологодский долго выкрикивал беззубым ртом об «угнетении», «угнетённой Сибири» и свободную Сибирь полагал исключительно именно в сотрудничестве со свободной Россией. Милый А. И. Булдеев, редактор «Сибирской Речи», торопливо за сценой-павильоном натягивал сюртук, в котором и произносил свою речь. Звонка, необычайна по своему содержанию была речь безвременно угасшего Дм. В. Болдырева о большевизме как силе дьявольской и о Св. Кресте как оружии против него. «Не пройдёт и двух недель, — заключил он с большим подъёмом, — и вы услышите, как встанут на защиту новые силы, силы Св. Креста».

И вот среди невероятного разнообразия этих речей, начиная от библейского тона Болдырева и до кокетливо-игривого «мы казаки-простаки, красно говорить не умеем» генерала Хорошкина, публика и депутаты встали. Взошёл адмирал. Сутулая фигура в неловко сидящем защитном френче, в ещё более неловких больших сапогах. Глухой, отрывистый голос адмирала говорил прямо и просто:

— Я один ничего не в силах сделать. Я звал и зову всех, кто любит Россию, к ней на помощь. Делайте же… Казаки вот начали, и это хорошо.

Что можно было сказать против этих умных слов!

Несколько недель спустя, С. Ауслендер передавал мне о том огромном впечатлении, которое произвела на него речь Верховного на собрании беженцев в зале женской гимназии. Актовый зал был набит битком, но не омской публикой, а беженцами. Собрание, соответственно этому, происходило в более повышенной атмосфере. После речей таких вождей беженства и старообрядчества, как Мельников, как талантливый беллетрист П. К. Дробинин, точно так же вышел адмирал. На этот раз его речь была ещё более мрачна по содержанию, он беспощадно констатировал у широких кругов русского общества полное отсутствие и способности, и желания делать своё непосредственное дело.

— Вы можете вернуться в свои родные места, — говорил он, — но это зависит только от вас самих и от вашего желания. Никто не может помочь вам, кроме вас самих. Берите в руки ружья…

Эпитет «благородный» к имени адмирала Колчака узаконен уже обычаем, и это приращение упорно мешает «колчаковщине». Не в Колчаке, видно, дело, почему пал Омск. Колчака винят только те, которые единственно принудительную диктатуру считают единственным средством для избавления от всяческих бед: если покойный адмирал и мыслил диктатуру, то единственно в форме не насилования чужой воли, а в виде её зажигания, увлечения с собой.

Зажигание русской воли! Не об огнеупорности ли её плачет теперь на груди у Ленина Максим Горький? Воля эта никак упорно не хочет загораться. Вся русская революция до сих пор была свидетельницей этого. Не загорается она и теперь, хотя Ленин, как таран, по выражению Горького, разбивает вековые, сложившиеся устои, бедствиями вызывая её на это, и в этом сильнодействующем средстве удивительно сходясь с покойным М. О. Меньшиковым, в одном из своих фельетонов голод называвшим стимулом к работе для русского человека. Вы, конечно, легко поймёте, сколько дружной брани обрушилось тогда на голову Меньшикова, хотя бы со стороны социал-демократического «Современника» с Максимом Горьким.

Адмиралу глубоко противно было насилование воли, как глубоко противно было и безволие. Зажигать он не мог. Он был человек личного долга, способный не покинуть своего поста, с честью умереть, что он блестяще и доказал. Демагогом он сам быть не мог. И поэтому, может быть, как говорил С. Ауслендер, в его речи звучали такие ноты: «Не хотите, так как хотите — чёрт с вами».

И если говорить об Омске как о «колчаковщине», тем самым выдвигая на первый план фигуру Колчака, то это служит и оправданием Омского дела: если и погиб Омск, то не значит, что погибло то, о чём говорил и думал этот угрюмый, нервный, честный и добрый человек, адмирал Колчак.

Прошёл год, и мы видим, что положение ничуть не изменилось. Сменились люди, территория, действующие силы, но проблемы остались нетронутыми. Мы так же далеки от гражданского мира, как были и в Омске, если ещё не дальше: там надежда сломить большевиков организованным как-никак фронтом несла за собою смену большевизма чем-то готовым. Раздробление фронта вызвало не прекращение гражданской войны, а просто стихийное разлитие её по всему пространству, ибо нет налицо организованной победы большевизма. Гражданская война, это олицетворение большевизма, и не могла остановиться, пока не изжит сам большевизм.

Зато тем ярче выдвигаются лозунги, под которыми мог подписаться хороший, честный Омск, живой Омск, Омск адмирала Колчака как личности, Омск того воодушевления, тех первых взрывов воодушевления, которыми сопровождались первые его успехи и которые просачивались даже к нам, туда, в Москву, сквозь китайскую стену большевистской цензуры. Омск не такой, каким он был в летописях злопамятных, всё критикующих людей, а такой, каким он должен быть. Омск, сходивший, как некая определённая власть, на освобождаемые города, со своими активными борцами, со своим офицерством, своим солдатством, честными мобилизациями интеллигенции — такой Омск не изжит, да и не может быть изжит: его время — впереди, не как, конечно, географического центра, а как комплекта морально политических чаяний и понятий. Но для этого надо выстрадать его.

В нём была и сила, и жизнь.

Попытки Советской власти в мае, июне и в июле месяцах текущего года вздувать национализм — что это, как не реминисценция Омска? Роль Брусилова — что это, как не работа под патриотизм патриотов Омска? А война с поляками и её лозунги — что это, как не Омск с обратным знаком, Омск антихристов? Поверьте, большевики, которые всегда отлично учитывают силы врагов, не взяли бы оттуда орудия себе, если бы слабым было это орудие!

Это для них. А для нас? Теперь здесь, на Дальнем Востоке, стоя перед неудержимо рассыпающейся храминой русского дела, — разве мы не видим, что те же кличи зовут к объединению и, увы, всё те же силы мешают общему делу, что и в Омске? Разве

лозунги Врангеля не зрели в недрах Омска? Не повторялся ли земельный закон генерала Врангеля в том виде, каким бы он был в Омске, если бы тому не помешали то дикие знаменитые выходки недоброй памяти генерала Лебедева на заседании Совета министров, то скопища таких безрассудных и неспособных к политике зубров, вроде Союза землевладельцев?

Но длятся не только идеи Омска, не только живёт он у нас и у них; продолжается и трагедия Омска, трагедия безволия и неспособности русских людей к простой и дружной работе. Разве разыгравшаяся у нас на Дальнем Востоке история с претензией генерала Лохвицкого на пост командарма Каппелевской армии — не типичная омская история, с тою только разницей, что тут она вызволена на свет Божий прессой, чего нельзя было сделать в Омске? А трения дальневосточных разных кругов между собой, а борьба за власть не самых крупных персонажей, нет, они достаточно умны, чтобы не держаться за неё, а тянущихся к ним безответственных элементов, думающих этим подогреть своё положение и этим только компрометирующих своих патронов?

Всё это есть, и трагедия Омска перманентна, т. е. остаётся. И потому писать об Омске — о его последних днях — не значит писать историю былого, ушедшего в прошлое, а значит писать всё то же: о подымающихся и падающих надеждах, о гибели смелых и сильных людей, о кознях им из коварства, злобы, расчёта, а больше глупости, о средствах борьбы, её удачах и неудачах, одним словом — о печальных и радостных этапах, по которым идём мы разными путями, но все к одной цели — великой России.

I. Перед концом. По городам Западной Сибири

Конечно, повторилась обычная история. Никто не знал ни дня ни часа, когда разразится катастрофа. И если сматывались и благополучно уезжали чехи, французы, если серебристо-белый обаятельный капитан Субербьель ещё в июле устраивал прощальные обеды a la russe, с водкой и кулебяками, то нам, простым смертным, этого знать было не дано. Всё это «сеяло панику».

Чего там — паника! Приходит раз капитан при штабе генерала Нокса Мак Куллах в Бюро печати и говорит пишущему эти строки:

— А вы не знаете? Скоро вы уедете из Омска.

— Почему?

— Дело идёт очень плохо. Ленин и Троцкий работают, как черти. А у вас только ссорятся…

Что тут было делать? Пришлось развести руками, сказать несколько истин насчёт переменчивости военного счастья, но капитан Мак Куллах поехал-таки домой через Советскую Россию, после чего и опубликовал в Англии свои сведения об убийстве царской семьи…

Даже больше того. Нельзя было использовать грозившую опасность для известной пропаганды. Когда ещё в июле месяце, в связи с крепнувшими успехами большевиков в Сибири и головокружительными успехами генерала Деникина, порождавшими в известных омских кругах опасения, как бы он, спаси Господи, не пришёл раньше нас в Москву, возникла вполне понятная мысль, что большевики лезут в незнавшую большевизма Сибирь для того, чтобы проложить себе дорогу в Афганистан из угрожаемой Москвы, — наше Бюро печати выпустило афишу. В ней в довольно ярких выражениях было указано, как врезается «в Сибирь, за хлебом» Красная армия (между прочим, лозунг был угадан), описывалось, как подходит к Москве Деникин, и заключалась она призывом к сибиряку-мужику — взять в руки винтовку и защищать своё достояние. Расклеена афиша эта была по Омску утром ижевцами и воткинцами, которые, вообще, занимались у нас агитационной работой, привлечённые и сорганизованные неутомимой гр. А. Н. Ланской, как вскоре оказались и следствия. Начались звонки по телефону от разных лиц, а пуще учреждений — с запросами — нами ли выпущена афиша.

— Нами!

На это указывалось, что она производит «обратное действие». Обыватель пришёл в панику, вследствие чего на рынке на 40–50 % понизились в цене товары. В банках стали выбирать вклады. А часов в десять к нам уже прилетел на автомобиле милейший генерал Рябиков, второй генерал-квартирмейстер Штаба Верховного Главнокомандующего.

Началось обсуждение афиши. И если Н. В. Устрялов тогда соглашался, что она резковата, Д. В. Болдырев мрачно шагал по кабинету, то в лице А. К. Клафтона, расстрелянного, как известно, «за организацию общественного мнения», — афиша нашла себе горячего защитника.

— Хорошо, я так и доложу генералу Лебедеву, — сказал, наконец, генерал Рябиков, когда Клафтоном были исчерпаны все доводы. — Только знаете ли что? Вам лучше выпустить какую-нибудь другую афишу, да и заклеить эту. Ну её, знаете, к Богу.

Русское Бюро печати контр-афиши не выпустило. Выпустил её «Осведверх», это удивительно никчёмное учреждение, тогда возглавляемое ласковым полковником Клерже. Но так как выпуск этот шёл в «срочном порядке» через все инстанции, то поспел только через несколько дней. Конечно, в них было написано «ничего подобного» и налеплены они были уже на лохмотья наших афиш.

Таким образом, легко понять, что никто не знал ни дня ни часа, когда разразится катастрофа. Генерал Дитерихс, принявший командование над армией, вырабатывал планы. Мобилизация казачества, не исполнившего затем боевой задачи, которая заключалась в рейде к Петропавловску в тылу у противника, шумиха с карпато-руссами, мобилизация беженцев, серьёзное и глубокое движение в дружинах Св. Креста, поднятое Д. В. Болдыревым, беспрестанные поездки адмирала на фронт — всё это затянуло картину, не позволяло видеть действительности.

И когда в середине сентября месяца 1919 года я выехал в Ново-Николаевск для организации там отделения стяжавшей большую популярность и действительно удачной «Нашей Газеты», печатавшейся в Омске в 80 000 экземплярах и посылавшей стереотипы с курьерами во фронтовые типографии, я был совершенно спокоен.

До Ново-Николаевска подвёз меня в своём вагоне генерал Голицын, который ехал с Д. В. Болдыревым в Ново-Николаевск и Томск по организации дружин Св. Креста. В чудесный осенний день приехали мы в Ново-Николаевск, и вечером на другой день довелось мне быть на проповеди Дмитрия Васильевича в Соборе.

Явление было изумительное. Чувствовалось, что поднимается

постоянная, значительная сила, подымается сама толща народа. И если впечатлению вредила слащавая манерная речь о. Жука, этого западного священника, слегка на католический манер, то тем более впечатление производил своей речью Болдырев.

Когда мы возвращались с ним обратно на извозчике в вагон, он, охваченный ещё не угасшим возбуждением, рассказывал мне, как где-то в Тверской губернии посетил он какого-то старца-отшельника. И так много мистической силы, мистической экспрессии было в его рассказах, что вёзший нас извозчик вмешался в разговор.

Болдырев с Голицыным уехали в Томск, где вскоре уже открылись изумительные симптомы против как христианского, так и мусульманского антибольшевистских движений…

Первое выразилось в заявлениях со стороны некоторых представителей православной церкви об её «аполитичности». Второе — в появлении в томских газетах писем и статей некоего инженера-мусульманина, движение мусульман-беженцев против большевиков, а, следовательно, — в помощь Омску, старавшегося использовать для выговаривания себе национальной автономии и этот вопрос предлагавшего «пока что обсудить». Покойная маститая академическая «Сибирская Жизнь», с ныне расстрелянным Адриановым во главе, усердно печатала эти тонко составленные большевистские статьи.

Я ещё остался в Ново-Николаевске. Обстановка меня глубоко поразила. Эти 400 вёрст от Омска до Ново-Николаевска легли плотным рубежом между омскими идеями и местными. Приходилось соприкасаться с кругами кооперативными, беженскими, Земсоюза, административными, торгово-промышленными — всюду было одно — какая-то сонная, торчащая, как ёж, подозрительностью во все стороны тугая жизнь…

Во главе Земского Союза в Ново-Николаевске стоял Ф. М. Дьяков, молодой председатель Пермского Губернского Земства, один из тех немногих людей, с которыми можно делать дело, несмотря на разницу политических убеждений. Но и работа Земского Союза шла как-то непроворно. Не было ни охоты, ни жара, а, что самое главное, было особенно подчёркнуто — это стремление к аполитичности, и это-то в политической войне!

— Ну, что у вас в Омске? — такими словами приветствовал меня мой приятель по Перми В. И. Киснемский, присяжный поверенный, отсиживавшийся от большевиков в своё время где-то на сеновале на дворе, бежавший из Перми, а теперь, по его словам, «окопавшийся» от мобилизации интеллигенции в Земсоюзе. — Погромы устраивать собираетесь?

Дело было в следующем. Приехавший в Ново-Николаевск Ф. М. Мельников в своей речи на агитационном собрании в пользу крестоносного движения сделал несколько выпадов в сторону евреев. Этого было достаточно, чтобы всё то движение, которое поднимал, которым жил Д. В. Болдырев, — было выброшено за борт, списано со счетов этими типичными представителями российской интеллигенции. И главное-то — ведь ни одного погрома не было. А славы — сколько хочешь…

И сколько ни говори, сколько ни разубеждай, сколько ни зови помочь — ничего. Кто-то от века дал этим людям прирождённое, естественное право на роль судьи — и всё тут.

С другой стороны, конкретная, не идеальная действительность являла вид печальный. Представители власти на местах держали себя так, что вспоминался анекдот Тэффи о французском короле и крестьянине:

— Крестьянин встретил своего короля, — рассказывает она, — и тот спросил его:

— А ты знаешь, кто я?

— Нет.

— Я — король, — сказал король и удалился, не причинив крестьянину ни малейшего вреда.

Общение с властью на местах было, однако, не столь благополучно. Известна история с управляющим Ново-Николаевским уездом В. М. Сыэрдом и начальником 6-го участка милиции Галаганом, которые высекли кооператоров и о которых покойный В. Н. Пепеляев издал свой крутой приказ. Но нет конца неожиданностям, неисчерпаема бездна досадных, прискорбных анекдотов!

Кооперация в Ново-Николаевске, много положившая сил и средств на то, чтобы сбросить в мае месяце 1918 года большевиков, как известно, поставляла на войска одежду — шубы, шапки, рукавицы, валенки и т. д., а равным образом и продовольствие. Как организация общественная, хотя и широко вступившая на путь «частной инициативы» в делах завязывания сделок, она, конечно, не очень была любима военным начальством, возлюбившим дикую систему реквизиций и под шумок, поднятый и раздуваемый коммерсантами, протягивавшим свои частные делишки. Биржевой комитет Ново-Николаевска также был очень недоволен конкурентами — кооператорами, и вот в Ново-Николаевске разыгрывается трагикомедия танцующих на вулкане людей. Проводимые «экстренные» меры по ночной охране города потребовали известного количества лошадей. Биржевой комитет, развёрстывая, разумеется, «удружил» кооперативам. Те запротестовали, указывая, что они и так уже

достаточно обложены, а лошадей у них совсем мало, и лишь в конце сослались на своё формальное право не подчиняться развёрстке биржевиков, так как они не являются частным торговым заведением.

Этого было достаточно. Была пущена соответствующая бумажка, и начальник гарнизона генерал Платов, где-то подцепивши революционной фразеологии, в официальной бумаге констатировал о нежелании кооперации нести жертвы на престол отечества, почему-де она и «покрывает себя позором».

— Позвольте, — возмущался председатель Закупсбыта, у которого я просил типографской краски для газеты, — почему — позором? Разве у нас не готово 30 000 полушубков? 100 000 пар варежек? А валенки? Мы рискнули и выписали из Англии медикаментов чуть не на миллион рублей. Они уже в устье Оби. Разве всё это не нужно армии? Разве наша типография Закупсбыта не работает на Осведверх?

Взволнованному кооператору, кабинет которого был украшен пенатами — портретами Брешко-Брешковской, Керенского и ещё кого-то, я обещал описать всю эту действительно возмутительную историю в газетах, за что и получил из-под полы краску. Другим путём типографской краски даже «правительственному» Русскому Бюро печати достать было нельзя.

Осведверх, имевший в Ново-Николаевске восемь независимых друг от друга представителей, начиная с англизированного, но вечно пьяного д-ра Кривоносова и до подпоручика Соколова, о котором речь будет ниже, имевший свою труппу, свой здоровенный мужской хор (ей Богу!), какую-то газету и проч., и проч., реквизнул в Ново-Николаевске всю краску, всю бумагу.

Во главе бумажного дела стоял недоброй памяти вышеупомянутый подпоручик Соколов, присланный для наблюдения за печатанием из Омска. Он накопил под собою до 8000 пудов бумаги, почти всю типографскую краску, и когда кругом всё выло от безбумажья — он всем хладнокровно показывал телеграмму из Омска:

— Держать трёхмесячный запас.

Он старался. Он держал шестимесячный запас, и я глубоко убеждён, что и теперь ещё красные газеты в Ново-Николаевске печатаются на его бумаге. По моим сведениям, там были ещё какие-то вагоны с бумагой.

Нам, Русскому Бюро печати, этот субъект не дал ни фунта ни краски, ни бумаги.

Лишь благодаря известной решительности управлявшего уездом М. М. Плохинского получил я какое-то небольшое количество бумаги для начала газеты.

Я намеренно взрезаю толщу русской действительности по одной линии своих действий, стараясь не разбрасываться в стороны. И теперь, год спустя, так ярко встаёт в памяти нелепая тина апатии, нерешительности, отсутствия предприимчивости…

Газета в Ново-Николаевске начала выходить под редакцией абсолютно глухого А. Н. Южакова, при хромом секретаре Ушакове… Только энергии заведовавшего Ново-Николаевским отделом Русского Бюро печати Я. Л. Белоблоцкого обязаны мы тем, что она не закрылась после первых же номеров из-за отсутствия бумаги. И кому только он не посылал циркулярных телеграмм!

Из Ново-Николаевска с последним пароходом проехал я с тою же целью в Томск. Это было изумительное путешествие, при чудесной тихой тёплой осенней погоде; зеленоватое небо, пески, стаи лебедей на песках. Вечером — закат, пылающий, багровый, струящийся в чёрной воде в глубоких берегах Оби, чеканящий на своём фоне чёрные лесистые угрюмые острова.

И в эту красоту могучей, сибирской таёжной природы ворвался всё же крик гражданской войны, крик боли.

Был день Покрова. К ночи уже подвалил пароход к крутому высокому берегу, осветив его прожектором. На берегу под звёздное небо уходило бледно-зелёное в электрическом свете дерево, пылал красный огонь костра, и симметрически расположились группы пёстро одетых крестьянских девушек. Ни дать ни взять — сцена из оперы. Они шутили, пересмеивались под страшный вопль матери, провожающей мобилизованного первенца — сына. Она лежала, распластавшись у самой воды, перемежая вопли с одним только:

— Только, Ванюшка, уж служить довелось — так служи. Не бегай!

Не знаю я, убежал этот Ванюшка или нет… А сколько убежало и не Ванюшек, а куда постарше и годами, и чином!

А в рубке 1-го класса всё шло своим чередом. Со мной ехала одна милая пара, супруги П. Буфет уже был на зиму закрыт, и Катерина Ивановна кормила нас на убой единственно по доброте своего сердца. Но был пунктик у этой совершенной женщины: страшно не любила она беженцев.

— Ну куда бежать, — говорила она, — и зачем? Разве так уже страшны большевики? Слава Богу, у нас в Томске мы уже нагляделись. А потом эти претензии: «Мы — беженцы». Скажите, пожалуйста!

И мне немного стыдно было за то глухое чувство злорадства, которое шевельнулось в душе, когда в декабре того же года я увидел её в Томске собирающей свои вещи для «эвакуации». Она

была и не горда больше, и не авторитетна, увы.

На пароходе ехало ещё несколько профессоров Томского Технологического Института, а также один любопытный старик, архитектор, томский домовладелец Лялин. Страстный охотник, рыбак, возвращающийся с богатой добычей домой, он был одет в лохмотья с той элегантностью, с которой могут делать это только охотники. На мой вопрос, нет ли у него убитых лебедей, он ответил мне с шармом старого доброго времени:

— Мой друг! Я — охотник-эстет. Я не стреляю поэтому ни лебедей, ни диких коз.

Так вот, этот самый эстет в продолжение нескольких часов ругательски ругал адмирала Колчака за те порки, которые якобы он «приказывал» проводить повсеместно. Мне даже никак догадаться не удалось, откуда у этого старца такая мысль, но он дебатировал её страстно и необыкновенно долго, не признавая никаких аргументов и всё относя на счёт Верховного.

Или, может быть, это просто атавизм, отрыжка от старого времени — как доброе, так и злое приписывать одному человеку, как делает это весь наш народ, демонстрируя этим воочию свою монархичность, единоначалие?

И в таких густых сиреневых провинциальных тонах оказался весь Томск.

Я не скажу, чтобы к этому я не был готов. Наблюдения над газетами из далёкого Омска в течение трёх месяцев, как я приехал из армии, уже раньше говорили это. Если в Ново-Николаевске, в этом бьющем ключом «Новгороде Сибирском», и трудно было издали подметить эти отличия от Омска, именно вследствие его близости и географически, да и идейно (кооперация Сибири и Омск — родные братья), то интеллигентски провинциальный Томск, эти «Сибирские Афины», отчётливо позволял угадывать своё лицо. Загромождённый своей интеллигенцией, интеллигенцией пришлой, — туда, например, был эвакуирован Пермский университет — Томск не оживился. Наоборот. До последних дней декабря 1919 года обильно питавшийся, имевший и дрова, и квартиры, и электрическое освещение, он был, пожалуй, единственным по своей сонности городом, никакой «поддержки» оказать и не могущим.

Иркутск — тот был живее.

В расселении беженцев из Урала и Поволжья по Великой Сибирской магистрали, несомненно, можно было усмотреть некий закон. Всё государственно-мыслящее осаживалось в Омске, в порядке постепенности прибытия. Вот почему бразды правления и в правительстве, и в общественности приняли по преимуществу Казань, Самара, чуть Пермь. Всё спекулятивно, торгово-мыслящее

предпочитало Ново-Николаевск. Солидные, тихие люди тянули на Томск, в тайгу, а всё будирующее, протестующее и семитически-страстное скапливалось или в Иркутске с оттенком политическим, либо в Харбине — с нюансом спекулятивным.

Иркутск уже в июле-августе месяцах 1919 года имел физиономию, хранившую следы обречённости страсти власти. Известна история с социалистическим земством, отказавшимся почтить вставанием память погибших в гражданской войне. Издававшийся весьма интенсивно там журнал «Еврейская Жизнь», дававший массу весьма любопытного материала, группировал вокруг себя значительное количество еврейской интеллигенции, которой, конечно, чужда была национальная, живая струя подлинного Омска и которая, наоборот, чрезвычайно чутко прислушивалась, как бы не была затронута её национальность.

Ведь в этом Иркутске «молодому сановнику», по выражению блестящего фельетона талантливого В. А. Жардецкого, — Т. В. Бутову был предложен вопрос:

— А известно ли ему, что РБП (Русское Бюро Печати) в Омске печатаются погромные афиши, и т. д.?

Речь шла об афише «Ленин и Троцкий», изображённых в виде пары неких владык с красноармейской звездой на короне. Ничего зверского в этой афише не было, и она имела (да и теперь имеет, в смысле длительности действия) большой успех.

Т. В. Бутову пришлось дипломатически ответить, что он «разберётся».

Разобраться ему не пришлось, хотя в октябре месяце от читинского раввина подоспел другой запрос:

— Известно ли и т. д., что на упомянутой афише изображён щит Давида?

Хотя шестиконечного щита там не было, а была красноармейская звезда с пятью углами — это ничему не помогло; могли, видите ли, смешать.

Но кроме того, в Иркутске был знаменитый Яковлев, который был «всеми любим», губернатор из губернаторов, администратор на редкость.

В самом деле. Приезжает эвакуированное РБП в Иркутск с директорами А. И. Коробовым и, horrible dictum[12], Н. В. Устряловым.

Яковлев для Бюро предлагает помещение — в Слюдянке (юг Байкала)! 18-го ноября 1919 года — годовщина диктатуры. В этот день приходит телеграмма о падении Омска 14-го, а Яковлев служит в присутствии войск и народа благодарственный молебен на площади.

Приказ покойного адмирала об августовском отступлении

нашей армии, сменившимся затем стовёрстным наступлением до реки Тобола, особо широко распространяется по всей Иркутской губернии недатированным, как раз во время всеобщих известий о наступлении, смешивая, путая, срывая известия правительства.

Одним словом, достаточно сказать, что этот участник «колчаковщины», помощник адмирала, богомольный социалист сидит теперь в редакции харбинской газеты «Вперёд» и зовётся тов. Дуниным!

Ясно, что при таком различии городов, при фактическом наличии уделов, при отсутствии какой-либо влиятельной, хорошо тиражирующейся прессы — необходимо было создать сеть органов печати, объединённых между собою общей редакцией, чтобы попытаться проникнуть к самим массам сквозь эту стену нечистоплотности, предательства, провокации, а пуще всего — глупости и косности.

Прибытие моё в Томск ознаменовалось ночью пушечной пальбой. В городе дрожали стёкла, через город с воем летели снаряды. Испуганные обыватели сидели дома. Некоторые, обрадованные «переворотом», выявились и были схвачены. Но перепуганы все были до такой степени, что один член городской управы, устремившись из дому на площадь, умер от разрыва сердца.

Оказывается, что командующий войсками Омского военного округа генерал Матковский устроил репетицию тревоги. Дело не в репетиции, дело в том, как она была устроена, в художественности, так сказать, её исполнения.

Пушки, из которых совершенно неожиданно открыли огонь, стояли у Красных казарм. От первого же выстрела стали сыпаться стёкла, и проснувшиеся, сорвавшиеся с нар в одном белье солдаты удовлетворительных показаний при такой тревоге дать не могли.

В Томске действовать и открывать газету было ещё труднее. Препятствий было масса, и каких! Самых неожиданных. Управляющий губернией Михайловский, по злым языкам племянник министра Гаттенбергера, встретил меня благосклонно, но бумаги дал только 20 пудов по совету своего помощника: самим, видите ли, нужна будет в Губернской типографии.

Хуже обстояло дело с помещением. Был на Почтамтской какой-то магазинчик м-м Валерии «Корсеты и шляпы». Помещался он в архиерейском доме — показался удобен под редакцию. Прихожу к главноуполномоченному минвнудел по реквизициям — не принимает. В очередь. Только через два дня добился я распределявшего комнаты уполномоченного. Выдали ордер.

Не тут-то было. М-м Валерия оказалась женщиной энергичной и уступить нам одной комнаты так и не захотела — пропадёт всё её корсетное дело.

— И ничего вы с нею не поделаете, — сказало мне одно значительное лицо… — Плюньте, батенька… Она вон как-то панталоны дамские с кружевами на окне архиерейского дома вывесила, да так и не сняла. Скандал! Контракт-де у неё. Ха-ха. Одно слово — бабец. Полька она…

Кой-как приткнув редакцию в помещение чахлого Общества Помощи Армии, в холодный, снежный, чёрный вечер уехал я в Омск…

II. Разъезд

Уже на обратном пути дорога являла вид тревожный. Пассажирские поезда хотя и ходили, но плохо. От станции Тайга пришлось ехать в холодном пустом санитарном вагоне. Навстречу попадались беженские эшелоны; как сейчас, вижу один вагон, около которого толстая женщина выгружала свою рухлядь. На вагоне мелом было написано: «Ст. Петухово».

Тут мы узнали, что продвижение красных шло очень быстро. Конечно, сведения были очень преувеличены, как вообще бывают преувеличены показания очевидцев. Но на фронте творилось что-то неладное. И я, газетчик, стоявший близко к омскому делу, я за месяц моего отсутствия из Омска оказался оторванным от событий и в Омске, и на фронте. Чего же тогда говорить об остальной массе?

Вёрст за 30 от Омска пришлось оставить вагон и сесть на подаваемый в Омск паровоз. Ночь, холод, снег, красное пламя печки. Машинист был пьян, помощник выпивши, и оба они пугали друг друга, открывая на полный ход регулятор и с хохотом отталкивая от него друг друга при попытках убавить ход.

Зато доехали быстро. Пробираясь домой по тёмным улицам Омска, среди бестолковых патрулей, среди грандиозного военного скандала у кабака «Аполло» на углу набережной Омки, я чувствовал полное отчаяние. Развал висел в воздухе, густым туманом поднимался от земли. Работа по организации людей, честно противобольшевистски настроенных, походила на взбирание на какую-то стеклянную гору. Шаг, два, и вы летите обратно на полный ход назад…

Пришёл домой, стуком в окно разбудил семью, и первое, что я услыхал, было:

— А знаешь, объявлена эвакуация… Что делается! Все получают эвакуационные, ликвидационные, и все хотят ехать в первую очередь…

Это было неким откровением. Весь эвакуационный период Омска, начиная от конца октября, — был наполнен для массы служилого омского элемента тремя формулами:

1) эвакуационными, 2) ликвидационными, 3) очередями отъезда.

Это было кошмарное время. С одной стороны, были надежды, и сильные: Деникин подходил к Туле. Сообщение о том, что при взятии им Орла толпа стояла на коленях и пела «Христос Воскресе», вызывало энтузиазм. Небольшая пикантная подробность. РБП издавало довольно удачную газету «Русское

Дело» под номинальной редакцией Д. В. Болдырева и под фактической Н. В. Устрялова. Заботой и соревнованием всех сотрудников и редакторов было отыскать для каждого номера какой-нибудь лозунг, который и набирался крупно на первой странице. Так вот, по поводу Орла, изобретённый, если не ошибаюсь, Н. В. Устряловым, появился лозунг из св. Серафима Саровского:

— Будет время, когда осенью будут петь «Христос Воскресе!». Такая восторженность тогда никого не удивляла.

Я не смогу описать теперь всех внутренних перипетий сложнейшего омского механизма, всего того, что делало одно какое-нибудь лицо и чего оно не делало. Да это не в моих задачах. Масса, общее состояние умов, действий, вот что представляет наибольший интерес в такие минуты. Что касается отдельных личностей, то они просто вкраплены в общий фон картины.

Естественно, что непосредственная работа отходила в такое время на задний план. «Информация» — вот что привлекло ещё умы, не толпившиеся у расчётных касс. Между 12-м и 1-м часом всё Бюро собиралось в кабинете А. К. Клафтона. В ожидании хозяина Н. В. Устрялов вдохновенно набрасывал отчётливые схемы международных положений, которые должны были в два счёта вызволить Омск. Врывался Д. В. Болдырев, в унтер-офицерской форме, с зелёным щитком с белым крестом на груди. Он часто бывал у Верховного и оттуда приносил последние новости. Совещание командующих армиями, на котором выступал весьма резко ген. Пепеляев, решительно оттягивавший свою армию на Томск (где она и распылились), изображалось им, по обыкновению, очень картинно. Наконец, приезжал как всегда возбуждённый А. К. Клафтон. Он только что был у Пепеляева. Положение безнадёжно. Дитерихс уходит. План Дитерихса. Дитерихс остаётся. Сахаров назначен. Дитерихса «хочет» армия. Сахарова «не хочет» армия. И т. д. и т. д.

Генерал Дитерихс — вот имя, которое было на устах у Омска в то время. Дело в том, что у генерала Дитерихса «был план». Какой план — этого никто не знал, но этому все верили. Я много раз слыхал в Омске об этом плане, и многие штатские люди объясняли мне его весьма авторитетно, но по-разному.

Есть такие люди, репутация которых создаётся в соседней комнате. Это лицо выходит оттуда, и вы видите, что в соседней комнате его репутация чрезвычайно высока. Поэтому он и у вас пользуется чрезвычайным уважением. Между тем в той, другой комнате верят комнате вашей.

Я не имел чести знать генерала Дитерихса лично, но всё, что

я о нём слышал, сводится к неким планам, которые ни разу не были выполнены. В Чите даже был, говорят, у него план отхода армии на Якутск. Вон куда!

Иронический Макиавелли говорит по этому поводу:

«Манлий получил власть, обещав римлянам победы. После этого была битва при Каннах».

Не выполнен остался даже его последний омский план. Д. В. Болдырев с возмущением рассказывал мне, что генерал Дитерихс говорил ему так:

— Я теперь еду в Читу. Надо помирить атамана Семёнова с адмиралом, чтобы, когда Колчак турманом полетит из Омска, в Чите ему был бы готов приют…

Судьба судила иначе… И хотя развязные слова генерала Дитерихса оправдались, но до Читы долетел один ген. Дитерихс, хотя долетел после многих приключений, при помощи ген. Жанэна, в его поезде, снискав его благосклонность раскрытием в Верхнеудинске якобы заговора каппелевских и семёновских офицеров против него, учитывая соответственным образом выступление генерала Сыробоярского.

Омск представлял из себя в ту пору картину потрясательную. По улице день ото дня всё гуще и гуще неслись грузовые автомобили, доверху заваленные разными вещами. Эвакуировались цветы, пианино, трюмо; как сейчас вижу, как такой грузовик давит на Любинском собаку. Сидевшая рядом с военным шофёром дама в шапочке с белым эспри даже ухом не повела на отчаянный визг несчастной. Ветка, этот целый иностранно-вагонный квартал, мало-помалу очистилась от именитых заморских гостей, приезжавших посмотреть русскую революцию, и заставилась рядами «составов», предназначенных для различных учреждений. Все приказачились на предмет длинного пути. Стояли ясные холода: люди в форменных фуражках, с поднятыми воротниками, кололи и пилили дрова.

— Куда едете? — слышал я, как крикнул какой-то один знакомый другому, проходя.

— А не знаю, — был беспечный ответ, — куда повезут!

Мы увидим потом, куда повезли и как повезли этих беспечных людей.

Это была одна сторона Омска. Другая, пожалуй, ещё более трагичная, была сторона военная. Д. В. Болдырев развивал мысли, в сущности, совершенно правильные, о колоссальной силе больших городов. Он приводил в пример неоднократные мобилизации большевиками Петербурга, проходившие и достигавшие цели, несмотря на антагонизм населения власти, — и мог только возиться со своими крестоносцами…

О, эти крестоносцы, эти дружины Зелёного Знамени, давшие значительные части, в общем, до 6000 человек вполне надёжных бойцов. Что с ними сделали! Во-первых, широкой рукой черпали из них в разные тыловые службы, вроде конвоя Верховному. Затем при отправлении на фронт не оставляли крупной одной частью, а разбивали по другим частям, вследствие чего люди, конечно, теряли уверенность в себе, да ещё под постоянными подтруниваниями офицерского состава и товарищей. Ведь мы не умеем относиться с уважением к убеждениям других, хотя и не разделяя их…

Потом, конечно, вышла история с одеждой и снаряжением. Винтовки им были выданы новые, американские, те самые, у которых затвор переставал действовать после десятка выстрелов, а в виде тёплой одежды им пожалованы были китайские широчайшие, стёганые синие штаны без прорех.

Словно кто-то умышленно издевался над этими простыми, хорошими, честными и действенными людьми!

Однако к обороне Омска готовились. Строились «предмостные укрепления» на тот случай, если Иртыш ещё не замёрзнет. Была объявлена принудительная повинность на работы, за которые, правда, платили, но значительное количество людей (не знаю, сколько, но не менее двух тысяч) работало в поле не только без какой-нибудь тени внимательности и заботливости к их нуждам, а просто без горячей воды, без горячей пищи.

Уже после падения Омска в пути довелось мне разговориться с нелепым, добродушным сапёрным прапорщиком, получившим приказание сдать приготовленные позиции отходящим частям и страшно волновавшимся, что никто их не принял. По его рассказу вся работа свелась к вырытию нескольких окопов с колена, без проволочных заграждений, без прикрытий, безо всего.

Больше того, мне довелось слышать, что известная часть штаба была против постройки укреплённой полосы под Омском, потому-де, что это может служить стимулом частям отступать слишком поспешно — на приготовленные позиции.

За это не поручусь, но верю, что такие стратеги из молодых да ранних генштабов ускоренного выпуска могли додуматься до подобной штуки.

Кроме подобных оборонительных работ, усиленно развивалась деятельность и по созданию отрядов. Была создана «Омская группа», командование над которой получил генерал Тарейкин. Я не знаю, были ли какие-нибудь части в этой группе, но я утверждаю, что знаю офицера, который получил должность начальника военно-цензурного отделения штаба Омской группы…

Наконец, после многочисленных разговоров, переговоров, слухов, наступил день отъезда из Омска РБП. В коридорах осталась тишина, рваная бумага, небольшой штат для продолжения работы РТА (Русское Телеграфное Агентство) и для выпуска «Нашей Газеты».

Прошёл день, прошло два, три, а уехавшие всё прибегали со станции: поезд никак не мог отправиться… Некоторые вылезли. Наконец, был назначен самый последний, окончательный день. Был вечер, когда мы с А. К. Клафтоном приехали на станцию. Закат горел и сверкал в небольшом снегу. Лентой вытянулся поезд со служащими, машинами, бумагой. Какие-то две старушки хлопотливо, как муравьи, тянули в вагон огромную, золочёную, пустую раму…

Фигура Устрялова в синем демисезоне и валенках… Зуда с многочисленными чадами и домочадцами, нелепо интеллигентский вид озябшего Блюменталя в пенсне на красном носу, толстый спокойный К. П. Журавлёв. Клафтон долго ходил с Устряловым. И это было глубоко трагичное последнее свидание двух людей. Одного вернули в Омск, чтобы положить в могилу, другой оправдывает сделавших это.

После их отъезда стало как-то легче, спокойнее. Исчезла нервность, исчез шум. Сводка день за днём неумолимо приближала фронт, и с этим как-то освоились вплотную. Новости свелись к весьма однотипным: сегодня уехало одно учреждение, завтра другое; тронулся, наконец, Совмин. Уехал и Верховный. Путешествие Верховного известно. Описано оно многими, это путешествие под пятью союзными флагами, под благосклонным руководством генералов Жанэна и Сырового, ставшими в сумятице, неразберихе русской жизни и борьбы вдруг «земскими демократами», — один по своей недальновидности и глупости, другой — по тонкому, весьма хитрому и жирному расчёту.

Ведь «демократизм» чехов начался давно, тогда, когда застрелился под Казанью полковник Швец, командир 1-го чешского полка, состоявшего из чехов, сознательно перешедших на сторону России, полка, погибшего почти полностью. Он начался с избрания Чешского Национального Совета, во главе которого оказались приказчики, метрдотели из петроградской «Астории» и коммивояжёры. Политика Совета этого — политика Богдана Павлу, чешского уполномоченного, связанного с Авксентьевым, Зензиновым и другими, совершенно определённа. Выступив в июне месяце, захватив Екатеринбург 25 июля и в этих же числах Казань, чехи фактически больше не воевали. Провоевав таким образом немного более двух месяцев, чехи уходили в глубь Сибири, увозя с собою огромные транспорты снабжения,

продовольствия, пианино и мебель, книги и микроскопы и т. д., что, значительно приумноженное, и было спустя год вывезено на демократических пароходах домой, в тихую Чехию.

Это была блестящая показная сторона этих вороватых военнопленных славянской национальности. Закулисная сторона была ещё хуже.

Вспоминаю один эпизод. После занятия красными в 1919 году Екатеринбурга, оттуда вернулся, не проехав на Архангельск, небезызвестный друг России профессор Лондонского университета Бернард Перс. Он сразу же явился к нам в Русское бюро печати в сопровождении молодого чеха Альфреда Несси с предложением выработать несколько основных положений, на основании которых должна была строиться агитация против большевизма. По мысли почтенного профессора, основной текст брошюры этой должен был быть русским и утверждён Верховным и, переведённый на другие языки, он таким образом давал бы общие директивы для действий в разных странах.

Чех Несси также чрезвычайно горячо поддерживал этот план. И вот автор этих строк под диктовку двух плохо говорящих по-русски союзников диктовал машинисткам эти заповеди.

Ничего особенного, конечно, они не представляли, да и не могли представлять. Особенное представили те разговоры, которые вёл за работой Несси. Он чрезвычайно подробно рассказывал о постановке дела государственной агитации в Германии, в Австрии, причём поразительны были совпадения этих милитаристических, империалистических методов с большевистскими. Тут было всё, на что мы насмотрелись в Совдепии. И шествия с музыкой и флагами, и праздники по случаю побед, и прогулки войск с музыкой для подъёма духа у народа и для острастки непокорным.

Заинтересовавшись, я из расспросов узнал ещё больше. Я услыхал, что «мы сбрасывали» с аэропланов в тылу итальянского фронта фальшивые банкноты для того, чтобы понизить курс денег в стране и создать известные затруднения и т. д.

И вот совершенно случайно от удивительно осведомлённой г-жи Л. я узнаю, что чешский офицер Несси известен ей ещё с 1914 года. Он был взят рядовым в плен одним из первых, поступил в формировавшуюся в Киеве чешскую дружину, и вскоре в числе четырёх других был послан в глубокую разведку в Австрию. Двое были расстреляны немцами, один вернулся, а А. Несси вышел только в 1917 году, успев получить в армиях центральных держав чин лейтенанта.

Приезду его в Омск предшествовала французская радиотелеграмма с просьбой арестовать такого-то. Он и был

арестован в Екатеринбурге, а затем выпущен английским консулом.

Ясно, что передо мною был шпион центральных держав. Я кинулся к профессору Персу, но не застал его дома. Поехал к Павлу. Толстый, пузатый человек принял меня чрезвычайно сухо.

— Вам известен офицер чешской службы Несси?

— Да, известен… Но он не офицер чешской службы…

— Но он носит чешскую форму…

— Я этого не знаю…

— Я знаю это и довожу до вашего сведения. Нам известно, что он шпион центральных держав…

Молчание. Потом ответ:

— Чеховойско не может принять на себя ответственности за всех, надевших чешскую форму.

Так. Только ночью застал я друга России дома. Вечером он читал какую-то лекцию и около полуночи возвратился на квартиру к м-ру Ходсону, омскому английскому консулу. На мой вопрос, давно ли м-р Перс знает Несси, старик ответил мне, что с Екатеринбурга, где его познакомил английский консул.

Тогда я прямо изложил ему, что мне стало известно, и спросил его, что он думает делать.

— Я знаю это всё, — сказал вдруг Перс, сося трубку и смотря на пламя омской свечки подслеповатыми глазами. — Я знаю его с 1914 года…

И полился изумительный рассказ.

Оказывается, после начала войны обнаружила себя в Англии мощная германская организация. В противовес ей в Англии было решено под руководством какого-то из редакторов Times'а создать противодействующую.

В создании этой-то организации и участвовал профессор Перс. План действий был таков: в то время как германцы удары пропаганды своей направляли на противоречия социальные — здесь всё внимание должно было быть устремлено на противоречия национальные, в частности, на отложение славянства. С 1914 года профессор Перс находится при полковнике Звегинцеве, начальнике контрразведки 3-й нашей армии, стоя в центре зарождающегося «славянского дела». Тогда ему и стаи известен Несси. Они, по его словам, всё время держали связь, и при посредстве Несси был подготовлен переход на нашу сторону 36-го чешского полка целиком.

По другим сведениям, однако, это участие Несси в этом деле не подтверждалось.

Одним словом, мне ясно было, что налицо какой-то чрезвычайно запутанный узел. С одной стороны, профессор Перс,

импонирующий своим званием, своими связями русской общественности, выступающий в качестве представителя британского народа с выражением симпатий нашему делу возрождения. С другой стороны, этот же профессор на славу Англии работает четыре года с русской контрразведкой и является в Омск по делам явно осведомительного характера, хотя и приглашает наших студентов ехать в английские университеты, а своих учеников обещает посылать в Россию. Наконец, этот же профессор связан с лейтенантом австрийской службы, чехом, который тщится определённо попасть в корреспонденты РБП в Праге и обещает нам давать оттуда сведения по французскому радио в Омск в тот же день, хотя сами чехи от него отрекаются. Что тут было делать?

— Адмирал вам верит, — сказал я, — мы не имеем основания не доверять вам. Поручитесь за Несси, и я не буду предпринимать никаких шагов…

Перс так и сделал. Через два дня они вместе уехали в Англию.

Такие закулисные стороны сложнейших европейских отношений вдруг причудливо раскрылись среди наших русских неразберих… И куда было нашим дипломатам состязаться с этими интриганами, у которых национальные интересы миллионных народов оказывались крепко переплетёнными с личными интригами.

Вполне понятно, как погиб в этом омуте бедный Верховный, поверивший «пяти флагам».

Наконец, выехал и Совет Министров.

Как известно, Совмин вполне благополучно добрался до Иркутска. Более того. Найдутся летописцы, которые опишут достойными красками это путешествие мозга молодой России. Те скудные сведения, которые передавали мне друзья, и так достаточно потрясательны. Конечно, проезд был обставлен вполне прилично, в спальных вагонах, с вагоном-рестораном и т. д. В ресторане сидели и всё время кушали спиртные напитки морской министр, контр-адмирал Смирнов, юный дипломат, министр иностранных дел И. И. Сукин и Минфин фон Гойер. Если в дороге и были какие-нибудь недоразумения, то крайне незначительные. Так например, однажды оказалось, что министру финансов фон Гойеру не хватило яблочного суфле. Тогда в вагоне-ресторане появилось объявление, извещающее почтеннейшую публику, что в первую очередь имеют право обедать лишь особы первых двух классов…

Особы сии на Иркутском вокзале были встречены тем же Яковлевым-Дуниным, который произнёс по сему случаю весьма

прочувственную речь.

Уехал в свой крестный путь Верховный.

Постепенно снимались и уезжали разные министерства.

Я оставил свою комнату на Главноуправленской и переселился к моему единственному милому сотруднику Сергею Ауслендеру, погибшему столь трагически. Испокон жил он в гостинице «Россия», на углу р. Омки и Любинского, в этом огромном доме, в котором жило последнее время всё Министерство Внутренних Дел, вооружённое винтовками В. Н. Пепеляевым и ежедневно в августе месяце лежавшее на дворе министерства на животах в цепи под командой неугомонного штаб-офицера для поручений при министре внутренних дел поручика П. П. Васильева. Готовились они к активной обороне.

Было довольно жутко. Гостиница пустела сначала потихоньку, а потом в одно прекрасное утро опустела вся сразу — ушёл поезд министерства. Эвакуирована была даже смазливая горничная Маруся…

Появились новые птицы, новые песни. Отходившие воинские части останавливались в пустой гостинице. В её ресторане началось гомерическое пьянство. За два дня до оставления Омска мы не могли уже спать ночь. За стеной в соседнем номере была какая-то совершенно непонятная возня, раздавались пьяные голоса, женские крики, в стену стучала мебель, гремели выстрелы…

Спокойный, очкатый поэт Н. Я. Шестаков, живший с нами, рассказал по этому поводу эпизод, виденный им при отступлении от Оренбурга.

Мрачный есаул сидел в зале 1-го класса вокзала среди сбитой толпы уезжающих. При нём находился трубач. Время от времени он приказывал играть сигал «наступление». Медные звуки гремели, звенели, дрожали в зале, оглушая всё и вся. После сигнала он наливал стакан пива, выпивал, а затем трубач играл отбой. Видно, в нас ещё много этой дикой радости разрушения.

Уехал и начальник добровольческих формирований ген. Голицын. Остался один Д. В. Болдырев со своими крестоносцами и для этого сбежавший из поезда Голицына; несмотря на приказ генерала о его арестовании и доставлении в Ново-Николаевск, переданный по телеграфу, он выехал на лошадях с генералом Тарейкиным, 13 ноября.

Как производился отход поездов — нечего и рассказывать. Сплошь тупиковые пути ст. Омск и не могли функционировать без задержки и при всей доброй воле и добром старании администрации. Но, конечно, легко понять, что старания этого

было мало по причинам политическим, а главным образом, экономическим. Достаточно сказать, что генерал Нокс, этот генерал в адмирале Колчаке видевший или хотевший видеть второго Кромвеля, по случаю организации дружин Св. Креста выписавший из Англии с необычайным усердием 100 000 экз. Евангелия и Библии на русском языке, принуждён был уплатить русской железнодорожной организованной демократии ст. Омск 50 000 рублей и раздать несколько бочонков доброго рому, чтобы поезд, наконец, был поставлен на вольный нечётный путь.

Да что поезд Нокса! Поезд Совета Министров должен был уплатить взятку, чтобы уйти из Омска. Куда тут сам Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, с его учётом момента перед «учётом момента» железнодорожниками.

Итак, разъезд был в полном разгаре. И вспоминая всю эту суетню, неразбериху и безмолвную тревогу, всё возраставшую день ото дня вместе с холодными, как движение стрелки часов, указаниями сводок Штаба о приближении фронта, я не могу пройти молчанием ещё одной подробности, и весёлой, и печальной. Эта та «поддержка», с которой выступили местные газеты на помощь Омску.

Если такие официозы, как «Русская Армия», давно призывали к оружию, — то за несколько дней до падения Омска, дня за два до отъезда редактора М. С. Лембича, этот шаг сделала кооперативная «Русь». Сенсации, отчёты о вечерних заседаниях министров на другое же утро больше не могли появляться на её неразборчивых простынях, залитых серой типографской краской под давленным шрифтом. Зато появилась пышная редакционная статья, в которой «Русь» благосклонно, ввиду надвигавшейся опасности, обещала Омску своё полное содействие.

— Лучше поздно, чем никогда, — сказал еврей, опоздав на поезд, как говорится в одном старом, как мир, армейском анекдоте…

III. Конец Омска

Наступило 13 ноября. Мы по-прежнему выпускали «Нашу Газету», телеграфировали в Иркутск о положении и готовились к отъезду. Было очевидно, что на железную дорогу рассчитывать нельзя, и для этого были приготовлены лошади. Днём 13-го ноября мы ездили на ст. Омск. Была страшная метель. Сухой, резкий снег с ветром нёсся по огромной площади вдоль ветки, тучами плавал между обнажёнными печальными деревьями, и, покосившись набок, наклонившись вперёд, шли, ехали верхами, двигались конные, пешие части, громыхала артиллерия, летели искры от походных кухонь.

Ввиду обстановки, которая воцарилась в «России» с приходом частей, пришлось переселиться в помещение РБП. Да это и было необходимо, потому что начиналось растаскивание вещей, обстановки, запасов.

Началось дело с того, что две прислуги с грохотом поволокли по коридору огромный шкаф, стулья и прочая мелочь была уже утащена. Когда я запротестовал и приказал оставить его на месте, мне были предъявлены весьма веские обвинения в контрреволюционности и угрозы.

То же самое пришлось наблюдать в нашей огромной типографии. Совершенно случайно я открыл, как со двора вереницей подвод вывозились запасённые на зиму дрова. Это действовали рабочие типографии. Везли также бумагу, шрифты и прочее.

С одной стороны, это было выгодно для нас, потому что создавало затруднения для дела, которое неминуемо должно было попасть в руки к нашим противникам. С другой стороны, такая «ликвидация» была просто поощрением самых отвратительных инстинктов, на которых построен большевизм. Для колебаний не было места. Я созвал комитет рабочих нашей типографии и просил его принять всё имущество типографии, все запасы в их же собственных интересах.

В эти же дни нами был выпущен большой плакат под заглавием «Что будет?». В нём говорилось о том, что будет, когда Омск будет занят красными. Во-первых, откроется путь в голодную Россию — куда и повезут обильные сибирские запасы, почему жители получат взамен карточки. Во-вторых, на востоке образуется фронт, который отрежет эти места от снабжения и, таким образом, подвергнет их всем лишениям. В-третьих, «так как хлеб есть только там, где есть мало-мальски сносный порядок и власть», то хлеб исчезнет, и вместе с этим большевики выдвинут

новый лозунг — «В Маньчжурию за хлебом».

Я с удовольствием могу констатировать, что так и случилось, хотя бы в этой истории с Забайкальской пробкой. Краснощёков подтвердит мои слова…

Далее предсказаны были мобилизации, чрезвычайка и т. д. Афиши обильно расклеены были по всему Омску.

Под вечер 13-го ноября пошли мы с Ауслендером в крепость искать, во-первых, Д. В. Болдырева, который жил у ген. Тарейкина, а затем в штаб Омской группы, осведомиться о положении вещей. Штаб Главнокомандующего ген. Сахарова уже ушёл из Омска, а штаб 3-й армии ещё не прибыл.

Буря продолжалась. Ветер выл и мёл снег по чёрным сумеречным улицам города и особенно бушевал в крепости. У старого деревянного здания гауптвахты, так напоминавшего мне постоянно «Капитанскую дочку», при тусклом свете фонаря возились солдаты, вытаскивая какие-то ящики с казёнными канцеляриями. На наш вопрос, где живёт ген. Тарейкин, никто ответить не смог, да и не захотел. Пошли дальше. На чёрном фоне Иртыша плясали белёсые снега. В одном доме сквозь ставни лучились яркие линии света. Я зашёл туда в оставленные разгромленные комнаты:

— Чья квартира?

— Атамана Иванова-Ринова…

Относительно адреса ген. Тарейкина я ничего не добился и тут. Было совершенно темно, снег слепил глаза, ноги вязли в сумётах, горками лежавших поперёк тротуара. И вдруг, среди воя, свиста, шума, шуршания снега, издалека, тихий и гулкий, как вздох, донёсся пушечный выстрел…

Вот он, первый вестник нападающей силы, тёмной, хаотической, жуткой, как этот вечер, как эта метель в пригнувшемся, опустевшем городе.

Чёрный вечер,
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек…

Недаром так начинается пророческая поэма Александра Блока «Двенадцать».

Я невольно вспомнил эти стихи; в Перми они приходили мне в голову, когда однажды в такую же вьюжную непогодь мне бросилось в глаза полотнище красного флага, перелетавшего через улицу с надписью:

«Октябрь — осень буржуазии, весна пролетариата».

Страшна она, эта чёрная, похоронная осенняя весна. И ведь действительно, все успехи большевиков как-то всегда именно выпадали на позднюю осень…

В РБП было светло, тепло. Пустые помещения были заняты солдатами Ижевцами и Воткинцами — вот он, нахлынувший фронт. И после сумятицы разбегавшегося бессильного Омска, после этой вьюги тыловых мнений так отрадно приятны были и спокойные души, и спокойные разговоры фронта.

— Да, мы подняли восстание, — говорил один из солдат, — да, почему? Да потому что мы приучены к свободе. У нас и в старое-то время полиция в заводе по струнке ходила, безобразиев не делала, так почему же мы должны сносить обыски после революции? Мы жили в заводе тихо и мирно, у каждого своё хозяйство, коровы, куры, земля. А тут наехали питерщики, ни кола, ни двора, отвалял своё на заводе кой-как, да и за поучение. И то не так, да это не так… Ну вот и пошло дело.

И столько силы, столько убеждения было в правоте слов этого простого человека, столько понимания ценности жизни и своего труда, что становилось весело, что есть ещё такие мудрые, спокойные и твёрдые люди среди русского народа.

Заснули на столах, а на утро, в синем полумраке рассвета разбудили нас двойные, глухие настойчивые удары пушек.

По весёлому, ясному морозному дню поехали на станцию, чтобы в штабе 3-й армии узнать о положении дел. Сияло солнце, у «России» выстроился сверкающий разноцветными флажками какой-то казачий конвой. На железном мосту была страшная толкучка. Тянулись обозы, части, экипажи…

Иртыш был совершенно спокоен и тих под свежим сияющим снегом с лазоревыми пятнами льда кое-где… Ветер, должно быть, переменился, так что перестали быть слышными звуки пушек, и абсолютно спокойной была эта снежная, широкая, степная даль с красной паровой мельницей.

На вокзале сплошная давка. Что-то нагружали, что-то выгружали, что-то грабили. У перрона стоял большой поезд штаба 3-й армии… Из дверей вокзала вышел высокий, тонкий генерал Каппель и быстрым шагом в сопровождении нескольких офицеров направился к вагонам.

Генквармполковник Ловцевич сообщил мне о положении. По его словам, «части стягивались к предмостным укреплениям города Омска». На вопрос, когда он считает, что надо уезжать из Омска, он дипломатически сказал:

— Сегодня вы можете быть совершенно спокойны, а завтра с

утра нужно вам ехать, потому что может случиться неприятность…

На наших глазах тронулся на восток огромный разноцветный состав штаба генерала Каппеля.

Вернулись в РБП и с тяжёлым чувством стали готовить последний номер «Нашей газеты». Написал я небольшую статейку, дал «сводку», телеграфировал об этом в Иркутск.

Во время чтения оттиска номера около часа дня вдруг вбежал в кабинет один из ижевцев, взял свой мешок.

— Вы куда?

— Выступаем. Красные цепью идут уже через Иртыш, да и пулемёты квохчут…

Я вышел на улицу. Действительно, со стороны Иртыша доносилось стрекотание пулемётов и ровно, не умолкая, били орудия.

Надо было выступать и нам. Я спустился на двор, распорядиться кучеру запрягать. Но каково же было моё изумление, когда лошади оказались запертыми на крепкий замок во внутреннем дворе дома, а кучера нигде не было!

Я вспомнил, что он за полчаса до этого приходил ко мне за советом, где ему достать топор, чтобы изладить что-то в санях. Очевидно, перепугался стрельбы и не пошёл обратно, потому что намеренно исчезнуть он не мог: я его знал ещё в Перми, где он укрывал меня у себя на кордоне в лесу…

Поднявшись наверх, я ожидал его ещё с полчаса, но больше ждать было уже нельзя. Выстрелы стрекотали где-то совсем близко; по площади тревожно бегал народ.

Ко мне всё время прибегали за советами рабочие. Дело в том, что часов в 10 утра в нашей типографии были отпечатаны и распространены по городу приказы за подписью одного официального лица, кого именно, к сожалению, — не помню. Согласно приказу, всё мужское население гор. Омска от 18 до 41 года должно было собраться к первому часу дня к воинскому начальнику, чтобы походным порядком выступить из города, дабы не пополнять частей неприятеля.

Я не видал никогда более фантастического плана! Чтобы несколько десятков тысяч человек гражданского населения, неустойчиво настроенного, собрались в полтора часа, без тёплой обуви, без одежды, в яркий ноябрьский мороз пешком тронулись из города неизвестно куда, без пищи, без каких-либо приспособлений!

Я счёл поэтому себя вправе давать нашим рабочим удостоверения, что так как они заняты в нашей типографии до последнего момента, то они выйдут позднее…

Во время объяснений этих вдруг раздались выстрелы уже на самой площади, между домом Липатникова, где помещалось РБП, и театром. И мгновенно до того пустынная площадь вся почернела от бегущего в одну сторону народа. Бежали офицеры, солдаты, женщины, дети… И с каждой группой выстрелов то в одном, то в другом направлении росла паника, становясь фантастической, чудовищной.

Надо было идти. И вот я взял ружьё, Ауслендер небольшой чемоданчик и мы тронулись в далёкий путь, который для меня кончился лишь в марте месяце…

Узеньким переулком в несущейся толпе народа вышли мы к деревянному мосту через р. Омку. Длинная шуба моего спутника мешала ему идти, и я посадил его, против воли возницы, в какие-то обозные сани, запряжённые парой лошадей…

На мосту был затор, по мосту велась стрельба со стороны железного моста. Охнув, присел один солдат, упал другой. Наш возница обрезал постромки у пристяжной, сел верхом и ускакал, благословив нас на прощание крупным словом… Мы, таким образом, получили лошадей…

При въезде с моста на гору у бань случилось небольшое несчастье. Какая-то повозка, обгоняя нас, поддела оглоблей под нашу оглоблю и наша лошадь распряглась…

Пришлось остановиться и первый раз в жизни учиться запрягать лошадей, и при какой обстановке — под гулкую городскую трескотню выстрелов, под неистовую, дикую ругань несущегося кругом потока повозок и саней.

К этому ещё присоединился звонкий, близкий, беглый огонь артиллерии по городу с треском разрывов… Наконец, лошадь тронулась, и мало-помалу мы выбрались за городскую черту…

Как передавали потом, красные входили в город со стороны Загородного сада и Иртыша… И в это время среди маленьких, низеньких домиков окраин Омска разыгрывались тяжёлые сцены… Женщины плакали, стоя у ворот. Я видел, как какой-то офицер, присев за поленницей, срывал с себя погоны.

Наконец, выехали за город… Я никогда в жизни не забуду той картины, которая развернулась перед нами…

Вдаль, по предвечерним степным просторам уходила бесконечная вереница обозов… Точно такие же линии тянулись в версте справа и слева — по дорогам вдоль железнодорожного полотна и по берегу р. Омки. Раздавался лишь монотонный скрип саней да хруст шагов пеших.

Скоро стало садиться солнце… Его румяный, пылающий закат полосами стал прорезать клубы дыма… А когда погас закат, на его месте встало вишнёвое зарево пожара…

Закат Омска. То горели колоссальные склады на Московке. Такие же склады были и на вокзале в Омске, в пакгаузах, в составах, и все эти огромные запасы обмундирования, вооружения, снаряжения оставались красным.

Между тем некоторые наши части, как например Егерский батальон, отходили от Омска без тёплой одежды, без валенок, в кожаных сапогах.

Была удивительная, звёздная ночь, степная ночь, в которую я впервые в своей жизни видел звёздный свет. Света не было ниоткуда, а словно облитые бледным голубоватым дымным сиянием, и справа, и слева двигались чёрные фигуры русских людей. Сзади горело зарево…

Часов около 12 ночи впереди показалось зарево… Им было обозначено большое село Сыропятово на берегу реки Омки. Расположенное в лощине, окружённое чёрными силуэтами ветряных мельниц, в недвижном дыму, золотом от окружающих костров, так как ночующие не умещались в избах, оно имело какой-то исконно древний вид… Словно половецкий стан во всей своей первобытной красе развернулся перед нами.

И впрямь, это были кочевники… У костра, где мы притулились, сидела семья беженцев. Из Пермской губернии путешествовали они перед армией, пересекли Урал, и теперь сидели на пороге в западносибирские степи.

Седой старик ловко подкладывал прутик за прутиком в ровно горевший костёр, сейчас же начиная дремать в перерывы. Старший его сын, лет 45, развалившись, смотрел в огонь неподвижными глазами. Были и какие-то ребятишки. Было видно, как угнездились они с матерью под с трёх сторон закрытой телегой со всем добром, четвёртою, открытой стороною поглощавшей живительное тепло…

Я не буду передавать бесхитростного рассказа сына. Скажу только, что с ноября по февраль он жил в лесу, о чём знала только его дочь… Чтобы не замерзнуть ночью — всю длинную зимнюю ночь он ходил… В лесу была такая просека, пройдёшь её туда и назад два раза — и ночь вся. Чтобы не видать было следу, дороги он перескакивал с куста на куст с длинным шестом, как заяц. Через две ночи в третью выходил он на условное место, где дочь ему клала еду. Только с приходом белых вышел он из своего звериного быта…

— А теперь куда едете?

— А до Томского, что ли, — спокойно отвечал он.

И не надо думать, что он — единица. Таких, как он, — тысячи, десятки тысяч. Это они заняли село Сыропятово, набили все избы до того, что стояли в них, как в церкви в Христов день,

это они разожгли костры, это они идут неизвестно куда-то на восток…

Уселись у костра… Есть было нечего. Беженцы ели муку, разболтав её горячей водой. Одолевала дрёма. Столбы дыма казались какими-то стенами, чудился дом, самовар и простыня, спокойные речи… И когда после клевка носом возвращалось сознание и звёзды проглядывали сквозь летучие стены, сердце замирало, словно от головокружения.

Часов около двух ночи разбудил своего спутника. Надо было попытаться застать штаб 3-й армии на ст. Кормиловке.

Расспросив дорогу, выехали. Словно розовый фарфор, блестела степь под низким ущербным месяцем. Дороги не было видно нипочём… Неожиданно навстречу нам из предутренней мглы вывернул огромный гурт скота. Тяжкие, круторогие быки шли плотной, сомкнутой массой — гнали их солдаты.

— Вы куда?

— На Кормиловку. А вы?

— Тоже.

Очевидно, кто-то из нас сбился. Проплутав час-полтора перед светом, на зарево костров вернулись в Сыропятово.

Тут бедный Ауслендер, задремав у потухшего костра, жестоко обморозил себе обе ноги.

Встала заря, и длинной лентой снова потянулись навстречу ей подводы. Поехали и мы. И вот, по пути, шагах в пятидесяти от дороги, в снегу стояли чьи-то первые сани, гружёные добром. Одна лошадь лежала мёртвой около саней, на другой — сани были парные — очевидно, хозяин уехал за помощью… С дороги к саням понеслась чья-то любопытная фигура, другая, третья и сейчас же бегом возвращалась обратно, таща кто самовар, кто красную подушку…

— Самое страшное, — говорил покойный адмирал Колчак, — это большевизм в душах.

IV. На линии ж.д. Мстительные эсеры. Поезда мёртвых

Вот, наконец, и железная дорога.

Измученные, не евшие более суток, на притомлённой, то и дело останавливавшейся лошади добрались мы, наконец, в туманное и хмурое утро 15 ноября до ст. Кормиловки. Длинными красными рядами безнадёжно вытянулись вагоны составов на чётном пути.

Оказалось, что штаб 3-й армии уже ушёл, но на станции оставался Осведарм 3-й, т. е. Осведомительный отдел штаба 3-й армии.

Я смело отправился в редакцию газеты «Московская группа армии». Какая ирония в названии!

Заведовал отделом печати некто военный врач Охотин. Это был маленький черноглазый человек с остатками когда-то кудрявых волос на голове и вечно сердитым взглядом сквозь сильное пенсне. По специальности — он был эсер.

Поэтому он принял нас в штыки. Хотя он отлично знал Ауслендера, знал, что тот одно время был корреспондентом при ген. Сахарове, тогда командующим 3-й армией, знал, что мы оба из РБП, но, тем не менее, он весьма сухо заявил, стоя на пороге своего американского вагона-редакции, что «посторонним нельзя».

Мой спутник чувствовал себя отвратительно, едва не падал в обморок. Всё-таки, несмотря на то что мы «посторонние», мы забрались в холодный длинный вагон. Доктор Охотин, рассерженный, ушёл в свою каморку и сердито хлопнул дверью.

На мою просьбу дать чаю, чтобы согреть дрожавшего Ауслендера, он буркнул из-за двери:

— Попросите у солдата.

У солдата достали мы чаю. Сергей Абрамович уселся было у печки в углу вагона, но услужающий доктора Охотина военнопленный грубо согнал его с его места, согласно, очевидно, полученным инструкциям. У нас была бумага за подписью ген. Сахарова, разрешающая нам находиться при всех штабах армии, но, забыв о ней в первую минуту, мы нарочно потом её не показывали, чтобы посмотреть, до каких же пределов может дойти гостеприимство милого доктора.

Эшелон Осведарма был колоссален. Тут были и типографии, экспедиции и редакции. Но на вопрос — нельзя ли в кухне достать обед — нам было отвечено определённо:

— Посторонним нельзя.

В холодную редакцию, в которой уныло сидели мы и лежало на столе и на лавке двое сыпнотифозных, вошёл хмурый, крупный поручик и стал рыться в книжном шкафу. Это был библиотекарь…

— Нельзя ли почитать какую-нибудь книжку?

— Посторонним нельзя. Обратитесь к доктору.

Я обратился к доктору, отказать было бы уж слишком нелепо. Но из-за двери каморки он всё-таки крикнул:

— Возьмите с него расписку… Энциклопедии не давать!

Положение было решительно загадочно. В чём дело? За что такая немилость? И только потом, когда из помещения доктора Охотина вышел А. И. Манкевич, управляющий отделом печати при Директории и Колчаке до организации РБП, а за ним Белов, тоже эсер при Комуче, занимавший какой-то видный пост, — дело разъяснилось. Вся штука была в том, что мы были, оказывается, представителями официального Омска, «доказавшего свою несостоятельность»… Всех этих добрых людей с их семьями и вывозил в своём составе их социалистический комбатант доктор Охотин.

Оставляя в стороне политические разногласия, скажу только, что эсерский террор по отношению к нам усиливался со дня на день.

Поезд всё больше стоял на одном месте и только иногда, проскрипев мучительно, продвигался в знаменитой «ленте» версты на полторы.

По поезду ползли зловещие слухи. Передавали, как на Московке были взорваны какие-то склады, как в огне погибла типография «Уфимца». Появились первые ласточки новых бедствий; обгоняя стоявшие поезда, шли пешеходы из эшелонов, уже отрезанных красными. Тревога судорогой иногда охватывала наш эшелон. От начальника Осведарма полковника Матикова, впоследствии убитого во время пути, исходило приказание — приготовиться. В вагоне начиналась суетня, волнения, слёзы. И как сейчас, вижу мадам Белову, смотрящую с отчаянием и со слезами на глазах на отличные высокие ботинки: приходится бросать, а жаль…

Поезд трогался, и всё успокаивалось; и опять со стороны мстительных эсеров на нашу голову сыпались египетские казни. Последней казнью, переполнившей наше весёлое, любопытное терпение, было переселение нас в вагон сотрудников.

Представьте себе два необыкновенно грязных вагона 2-го класса, битком набитых содержимыми в страхе Божьем «сотрудниками». Ими водительствовал помещавшийся за

деревянной перегородочкой редактор, древний старик А. С. Пругавин, известный исследователь сектантства, вдвоём со своим самоварчиком. В армии этого вождя были фельетонисты, передовики, татары и даже rara avis, поэт В. Арнольд, в своих поэмах умевший воспевать всё что угодно. И если добавить к этому, что среди этой братии было трое сыпняков, то вполне понятно, что просьба доктора перейти туда — нами упорно саботировалась.

В этом же поезде ехал в своём маленьком вагоне 3 класса епископ Андрей Уфимский. Беседы с ним по вечерам были единственным нашим развлечением. Пылкий и горячий проповедник, протестант по духу, известный поборник прихода, он громил, по его выражению, «пьяное православие», косную и формальную гордость своей верой русских…

Однажды, вернувшись после такой беседы в редакцию, я не нашёл там Ауслендера. Оказалось, его насильно перевели в «литературный» вагон, где освободились места сыпнотифозных, сданных в санитарный поезд.

В литературном вагоне было душно, темно и холодно. Горела печка, перед которой сидел один нагой литератор и бил на рубашке одолевавших вшей. Ауслендер спокойно сидел на отведённом ему месте. Вместе же с ним сидел один польский офицер, с которым мы встретились и подружились во время нашего путешествия в редакции, С. Н. Шанявский.

Пошёл объясняться к эсеру-доктору — и вот что я от него услыхал:

— С завтрашнего дня приступаем к выпуску газеты, поэтому в канцелярии занятия должны идти нормально. Вы им мешаете; придётся вам поместиться во 2-м классе на освободившихся местах.

— Но ведь тут пустой американский вагон, а там вагон набит битком, и диваны, освободившиеся после сыпнотифозных, кишат вшами!

— Ничего, их можно вытереть бумагой.

Придерживая ручку двери, которую он тянул к себе, я высказал доктору всё, что думал о его поведении. На другое утро мы втроём ушли из Осведарма на станцию Татарскую.

Если до ст. Татарской поезда кое-как и двигались, несмотря на то что в пути замерзали паровозы, станции не давали воды, а приходилось вёдрами нагружать на тендер снег, стоя длинной цепью, — картины, которые можно было видеть повсюду, то на ст. Татарской, где входили на магистраль польские эшелоны с Кольчугинской ветки, положение осложнялось. Все польские эшелоны претендовали на нечётный путь для продвижения вне

очереди. По нечётному же пути продвигались и санитарные эшелоны.

Эти санитарные эшелоны!

Мало-помалу в связи с бешеным развитием сыпного тифа они обращались в сыпнотифозные поезда. Заболевала прислуга, заболевал врачебный персонал. Так например в пермском поезде доктора Ногаева и доктора Азерьера, с которым мы проехали десяток вёрст за Татарскую, заболело при нас четыре сестры и студент-медик.

Больных некому было обслуживать; мало того, некому было обслуживать самые паровозы, хотя бы для нагрузки их углём и снегом.

Они часто замерзали на месте, эти огромные печальные эшелоны, с брошенными на полу, мечущимися в жару больными. Более того. На кратковременный путь рассчитаны были запасы продовольствия в этих поездах и скоро поэтому вышли. Слабые выздоравливающие больные погибали от голода и замерзали в нетопленых вагонах.

Число мертвецов в вагонах росло. Их складывали на площадки вагонов, и при проходе по загаженным путям то и дело было видно, как торчали с площадок недвижные восковые и белые, как бумага, ноги мертвецов, с которых проходившие живые равнодушно стащили сапоги и валенки.

Потом с увеличением числа мертвецов им стали отводить целые вагоны. Я видел, как на какой-то станции трупы хладнокровно выбрасывались из такого вагона на сани. Трупы промёрзли, и от ударов об дровни, как фарфоровые, отлетали пальцы и кисти рук и оставались лежать среди рельсов…

С продвижением на восток трупов стало ещё больше. Дошло до того, что при ходьбе ночью по путям вы натыкались на них.

На небольшой одной станции я составил телеграмму о потрясающем безобразии этом на имя Верховного. Ни начальник станции, ни военный контролёр от меня этой телеграммы не приняли: были воспрещены частные телеграммы.

Что же тут винить «начальство», запретившее приём телеграмм? Нет, скорее, тут она — эта неизменная дубоголовость всех наших чиновников, от века не могущих проявить никакой инициативы. Борьба за очередь на нечётном пути между этими «поездами смерти» и эшелонами поляков и стала главным предметом жизни — ленты.

Благодаря нашему спутнику-поляку недалеко за ст. Татарской были мы приняты в последний польский эшелон 3-го батальона 3-го полка под командой капитана Сыроватки. Молодой, манерный, элегантный австрийский поляк, он проявил

в отношении нас полное внимание.

И потянулись однообразные, бесконечные дни в вагоне. Справа и слева по дорогам вдоль полотна тянулись бесконечные обозы; с утра и до вечера слышался их монотонный, ровный скрип, так гармонировавший с унылым, бесконечным пейзажем Барабинской степи…

Постепенно стали отставать бедные санитарные эшелоны, оставаясь стоять на маленьких станциях, на которых были сожжены на топливо сплошь все скамейки, все заборы, деревья, отхожие места. Но были инциденты, вроде инцидента с санитарным поездом, который вёл пресловутый командующий Южной армией генерал Белов. Он ни за что не хотел пропускать вперёд польские эшелоны, и в то же время на трёх перегонах подряд разрывался, по маломощности паровоза, три раза и был вытягиваем по частям, задерживая движение.

Во время этого пути пришлось всё время наблюдать скрытый, незаметный, но ощутительный саботаж железнодорожников. Дело доходило, например, до того, что ст. Чулымская отправляла в сутки по одному поезду. И это при ленточном-то движении! На этой же станции для подвозки угля со складов имелось 3 подводы, которые и таскали уголь, честь честью, по 8 часов в сутки; это при том, что один паровоз берёт до 700 пудов.

Чтобы контролировать деятельность служебного персонала, на станциях учреждены были должности военных контролёров. Но одно дело — идея, другое — её проведение в жизнь. Я вспоминаю одного такого контролёра на ст. Дуплинская. Это был какой-то лейтенант полка морских стрелков, очевидно, из пехотных офицеров. Сидя на столе в комнате дежурного по станции, он болтал обутыми в валенки ногами. На вопрос мой к нему, скоро ли отправится поезд, он ответил:

— Что ж, постоите! И по трое суток стоят…

Я убеждён, что почти никто из этих контролёров не понимал той задачи, которая выпала на его долю. А если и понимал, то его усилия тонули в море противодействия.

Через две недели мы были на ст. Чик, где наняли лошадей и утром 3-го декабря по изломанному льду Оби въехали в Ново-Николаевск.

V. Поток переворотов

Ново-Николаевск в конце ноября — в начале декабря 1919 года был тем единственным городом, где оставалась некоторая власть Омского правительства. Хотя Совмин и не проявил здесь никакой деятельности, спеша к месту своего умирания на восток, но пребывание здесь адмирала, высших военных начальников, а также настроение местной и пришлой наиболее активной общественности создало в Ново-Николаевске некий кратковременный, но довольно эффектный узел.

Если, однако, узел этот и был ярким выражением действенного Омска в лице особого совещания общественных организаций, пытающегося образовать некоторую силу, могущую остановить постепенный развал фронта в долгом, зимнем необорудованном пути, то в этом же узле ещё более ярко выразились те центробежные силы, которые и привели к распаду Омской государственности.

Два момента определяют собой Ново-Николаевск указанного периода. Во-первых, образование этого вышеупомянутого совещания, во-вторых, выступление полковника Ивакина, вставшего на ту точку зрения, что всё уже кончено, и первого произнёсшего слово «мир».

Как я говорил уже выше, в Ново-Николаевске велась довольно большая работа по созданию крестовых дружин и по распространению глубоко в толще народа противобольшевистских идей. Район Ново-Николаевска по населению своему делал работу эту вполне возможной. Налицо было богатое, зажиточное крестьянство, густая сеть кооперативных организаций, крепко державшихся за то, что ими достигнуто по улучшению края. От большевизма кооперативам, конечно, не приходилось ждать улучшений для условий работы, и поэтому ячейки свои они охотно предоставляли для распространения литературы.

Кроме того, Барнаульский и Алтайский районы густо населены старообрядцами, настроения которых не оставляли никаких сомнений. Поэтому добровольческое движение в местах этих имело под собой крепкую почву. Крепкие, зажиточные люди, закалённые природой, они не боялись борьбы. Идея сформирования на местах дружин самообороны, выдвинутая В. Н. Пепеляевым, встретила в них полное сочувствие, и в некоторых сёлах по приговору сходов были проведены мобилизации и происходили даже стычки с большевистскими шайками под командой агентов РБП.

Такие обстоятельства, конечно, всем подобным образованиям придавали особенный вес. В критический же момент общего распада они играли выдающуюся роль. Можно сказать, что было время, когда у власти стояло именно особое совещание общественных организаций во главе с поручиком П. П. Васильевым и старообрядцем Мельниковым, стоящими на точке зрения необходимости объединения как правых, так и левых кооператоров, до Центросоюза включительно.

Эта группа, связанная идейно с генералом М. К. Дитерихсом, толковала его отставку как непосредственное начало конца, и потому, отправившись однажды делегацией к адмиралу, сделала представление об отставке генерала Сахарова.

Генералу Сахарову, приведшему армию в состояние развала грандиозными неорганизованными маршами, ставилось в виду именно это отсутствие спасительного плана Дитерихса.

Кроме того, делегация в составе М. С. Лембича, Ф. Е. Мельникова и о. Г. Жука представила проект нового управления территорией Сибири. Создавались два округа — Западносибирский и Восточносибирский, с ген. В. В. Голицыным и М. К. Дитерихсом во главе, под общим руководством проектируемого главнокомандующего ген. Пепеляева. Насколько популярно было имя ген. Пепеляева, доказывает тот любопытный факт, что ген. Андогский в вагоне ген. Голицына обещал объединить вокруг него весь генеральный штаб и генералитет.

Предполагалось создание отдельных кабинетов в Ново-Николаевске и в Иркутске, причём в Н.-Николаевске роль этого кабинета должно было играть это самое особое совещание.

Разумеется, что самое наличие таких представлений показывало достаточно на панику, которая охватила всех. Верховный обошёлся с делегацией очень сурово, несмотря на то что раньше сочувствовал подобным планам. За неё взялись разные контрразведки, которых в Н.-Николаевске скопилось видимо-невидимо, и такому определённому противобольшевистскому деятелю, как Мельников, пришлось скрыться…

Это означало прекращение всякой работы этих групп.

Уехал на восток Верховный, уехал генерал Сахаров. К обороне как будто предназначалась линия ст. Тайга, куда отошла уже 1-я армия генерала Пепеляева, растянутая до Ачинска, за которым стоял сильный своим гарнизоном и артиллерией Красноярск.

Тогда на сцену выступили иные мотивы. Всё чаще и чаще отчаяние закрадывалось в душу армии. Всё чаще и чаще произносилось слово «мир» — как тонкое, неуловимое дуновение

ветра, проносилась мысль, что большевики «уже не те»… Ничего, что эшелоны продолжали стоять длинной лентой до самого Кривощёкова и красные отрезали их каждый день, захватывая всё новую и новую добычу, грабя и обирая их беззащитное население. Может быть даже, что именно эта разруха так и действовала панически. Станция Ново-Николаевск с её разношёрстной, международной комендатурой, с её взяточничеством за вытягивание эшелонов на линию, с её кормлением железнодорожников американцами, раздававшими направо и налево свои товары, ром, деньги, чтобы выехать, и даже медали высшим чинам за спасение (такую медаль получил от американского консула заведующий эвакуацией) — всё это действовало деморализующе. И вот 7 декабря выступает открыто с предложением «демократического мира» молодой, 24-летний командир 2-го Барабинского полка полковник Ивакин. План был таков: мир с большевиками, демократическая свободная Сибирь, армия, во главе которой остаётся генерал Пепеляев.

Между прочим, известна телеграмма полковника Кононова — начальника штаба генерала Пепеляева, полковнику Ивакину, в которой ему предлагалось поддержать в глазах общественности ген. Пепеляева, но на время не более двух-трёх дней, потому что тот стоял на точке зрения продолжения гражданской войны, с чем не согласна партия эсеров, отстаивающая необходимость демократического мира.

Солдаты Барабинского полка, на который предполагалось возложить оборону Ново-Николаевска с юго-западной стороны, в эту авантюру вовлечены не были. Всё это было делом небольшого числа горячих молодых голов, забывающих, что для прекращения войны нужна сильная организация, сковывающая и общество, и армию, и дающая возможность проводить свои желания, забывающих, что такие декларации, разваливая то, что имеется, ведут просто к расплёскиванию пламени войны.

По приказанию командного состава Барабинцами были заняты правительственные учреждения, и ночью небольшой отряд их пришёл на вокзал для того, чтобы арестовать находящегося там командующего 2-й армией ген. Войцеховского.

Очевидцы передают, что отряд этот долго стоял на перроне в нерешительности, не зная, что ему делать. Так точно держалась и охрана штаба. И только благодаря распоряжению энергичного начальника штаба польской дивизии полковника Румши, пришедшие были арестованы, как арестованы были и остальные участники заговора.

По приговору военно-полевого суда полковник Ивакин и около 30 человек офицеров были расстреляны.

В эти дни распада и слабоволия, дикой неподчинённости и неорганизованных действий в Ново-Николаевске делать было больше нечего. С грустью закрыл я отделение РБП; служащие сели в вагоны. Надо было действовать дальше, искать возможную точку приложения сил. И вот, соединившись с помощником генерала Голицына по добровольческим формированиям П. П. Васильевым, выехали мы на лошадях через Тайгу в Томск, где в то время стоял штаб генерала Пепеляева — всеобщая надежда и упование.

Что это было именно так, что на 1-ю армию, фактически не имевшую за всё время своего существования ни одного поражения, возлагались крупные надежды, доказывает, что туда поехал на совещание оставивший Совет Министров В. Н. Пепеляев. От братьев-сибиряков все упорно ждали чуть ли не чуда…

Выехали мы с управлением добровольческих формирований, вокруг которого группировались офицеры, добровольцы, крестоносцы и вообще люди более или менее активные. Из нас сформировался отряд, человек до 100, командование над которым принял войсковой старшина Оренбургского казачьего войска Г. В. Энборисов.

Неделя путешествия со ст. Тайга была удивительно удачной. Мы ехали по богатым, старожильческим селениям, среди великолепной таёжной природы. Яркие, румяные вечера среди могучих, тихих, как храмы, тёмно-зелёных кедровников, где снег, шапками наваленный на пни и стволы поваленных деревьев, образовывал ряд фантастических фигур, вроде знаменитого Campo Sancta в Генуе, сияющие морозные утра… Только белки, перескакивая с дерева на дерево, обивали снег целыми тучами, да слышался монотонный скрип саней. Ночевали по огромным селениям, где дома, сложенные из тёмного кондового леса, напоминали собою картины Рериха. Двухэтажные дома чалдонов, сверкающие от масла жёлтые полы с разноцветными дерюгами, стеклянные горки с золочёными чашками и чайниками, всё это являло вид необыкновенно утробной, сытой, медлительно тяжеловесной жизни.

Как небо от земли, уже в этих давно заселённых местах отличались от чалдонских сёл новосельческие деревни. Неприспособленность, отсутствие инициативы, экономическая зависимость от старожилов так и сквозила в каждой семье. Всё это, конечно, должно было дать значительную пищу гражданской войне, которая уже надвигалась своими тяжёлыми шагами вслед за нами.

В одно морозное утро, вынырнув из тайги на линию железной

дороги, увидели мы типично шатровые крыши домов города Тайги, и в то же время с ужасом увидел я, что чётный рельсовый путь занесён на четверть снегом. Ясно было, что эвакуация велась по одному лишь пути, что иначе означало полный её крах. Остановившись в семье какого-то зажиточного железнодорожника, неутомимо жаловавшегося на то, что инженер получает значительно больше его, а встаёт позже, пошли мы на станцию справиться, где находится ген. Пепеляев и его штаб, и были охвачены сразу же атмосферой недавно происшедшего здесь на ст. Тайга инцидента.

Как известно, когда поезда ген. Сахарова и Верховного находились на ст. Тайга, братьями Пепеляевыми, поддерживавшими компанию против главнокомандующего ген. Сахарова, адмиралу Колчаку был предъявлен ультиматум. В требовании этом было 3 пункта, в числе коих были отставка ген. Сахарова, своими докладами Верховному губившему всё дело, назначение главнокомандующим ген. Дитерихса и созыв демократического Сибирского Законодательного Собрания.

На первые два условия Верховный Правитель тотчас согласился, сам назначив следственную комиссию над действиями генерала Сахарова и отрешив его от должности. Ген. Дитерихс на посланную ему телеграмму ответил отказом, после чего был назначен ген. Каппель. Согласился Верховный сначала и с третьим пунктом, но потом отложил решение это до Иркутска.

Как я указал уже выше, положение было таково, что армия ген. Пепеляева, оттянутая ранее в район Томск — Тайга — Ачинск, представляла, в сущности, собою последнюю надежду. Тем более было у братьев оснований разговаривать таким образом, что блестящий, бело-зелёный Гренадёрский батальон ген. Пепеляева долго стоял на вокзале, выставив на вокзальной платформе совместно со стоявшим здесь 6-м Мариинским полком пулемёты.

Переговоры длились около двух суток. Генерал Сахаров, держась с большим достоинством, отказался от командования, дабы в такое смутное время не осложнять положение ненужными трениями.

«Братья-разбойники», как их называли тогда, уехали в Томск. Ушёл и поезд Верховного, чтобы так трагически застрять в Нижнеудинске. Вскоре после него проехал в своём поезде из Томска на восток и В. Н. Пепеляев, чтобы разделить участь адмирала.

Генерал Каппель вступил в командование расстроенной, пришедшей в брожение армией, лишь в лице некоторых, главным образом, воткинских и ижевских частей, героически в арьергардах

дравшейся с наседавшим противником…

Этот пепеляевский инцидент опять выявил наше общее свойство — анархичность и неорганизованность. Прямой и решительный Пепеляев, дерущийся среди своих солдат, однако, не был никаким политиком. Тайгинский инцидент, если и привёл к персональной смене главнокомандующего, то он воочию показал широкой массе и солдат, и общества, до каких границ дошли затруднения центральной власти, если она вынуждена прибегать к таким средствам. Эта мысль не преминула превратиться немедленно же в известные центробежные стремления, в желание отдельных лиц уклониться из такого организма, который не импонировал больше своим порядком. И за водкой, на ст. Тайга, среди приятелей — прежних сослуживцев, офицеров 6-го Мариинского полка я услыхал на сей счёт совершенно недвусмысленные заявления:

— Как начальство, так и мы! Пойдём куда-нибудь на Лену золото рыть — по Джеку Лондону. Довольно тянуть волынку…

И это тем более печально, что политика-то во всём этом деле, в деле яркого решительного выступления обоих братьев оказалась в других руках. Цели своей достигли не они, как это скоро показали развернувшиеся события, а кто-то другой. Восстание в Ново-Николаевске, Тайгинский инцидент, восстание в Томске, выступление генерала Зеневича в Красноярске, переворот, устроенный штабс-капитаном Калашниковым в Иркутске, наконец, волнения во Владивостоке, оборвавшие с востока русскую государственную власть, — всё это оказались звенья единой цепи. И в штабе генерала Пепеляева сидели те люди, которые держали нити этих событий. Он же — прямой, решительный, вовсе и не политик, был лишь их жертвой.

Через два дня после ночи езды с большевиками-машинистами на паровозе я был в Томске.

VI. Брошен Томск

В половине декабря приехали мы в Томск, но после каких перемен! Омск был занят, весть о занятии Ново-Николаевска в ночь с 13-го на 14-е декабря уже докатилась до Томска. Сопротивления никакого по реке Оби оказано не было, и прямой тракт Ново-Николаевск — Томск заставлял ждать в скором времени падения и этого города.

Но город по-прежнему был спокоен. Удалённое положение его на Сибирской магистрали, этот «appendix» по выражению томичей, и беспокоиться не позволял об эвакуации. По железной дороге выбиться с ветки на магистраль нечего было и думать. И если в Омске, Ново-Николаевске предбольшевистское настроение было весьма тревожным, если там была известная тревога, известные приготовления, то Томск покорно и лояльно склонял свою выю пред грядущим диким ярмом.

Во всех кругах, неизвестно откуда прилетевшее, царило одно убеждение: большевики стали другими. Или тем успокаивали себя, потому что делать, в сущности, ничего больше не оставалось, или, может быть, то был умный, ловкий, тонко заброшенный слух.

Как логический вывод — отсюда следовало снова: мир. Чего, в самом деле, воевать, раз изменились они, противники наши… И это слово повсюду висело в воздухе: мир, мир, во что бы то ни стало…

Снег покрыл улицы города, и они стали нарядные, опрятные, не то что в октябре. Опять тянулись уходящие воинские части, обоз, как и из Омска, но в обозах этих бросалась в глаза подобранность того, что увозилось: везли самое необходимое — оружие, патроны, снаряжение, продовольствие, да и в самых войсках чувствовалась некоторая налаженность: солдаты с бело-зелёными ленточками на шапках «колчаковках» выглядели молодцеватыми.

Вместе с войсками по тракту на Мариинск уезжали и частные лица. И как всё-таки изобретателен русский человек: помню, как на улице, на которой помещается книжный магазин Макушина, стояли приготовленные в поход дровни. На них сооружено было нечто вроде домика, даже с окошком и трубой, из которой шёл дым.

Первым нашим визитом был, конечно, визит в штаб армии. Загнанные в тупик на станции Томск II, стояли три тяжёлых эшелона штаба. Будучи приняты начальником штаба, полковником Кононовым, спокойным молодым офицером одного

из последних выпусков Академии Генерального Штаба в Петрограде, комиссаром 5-й армии при Керенском, — мы изложили ему цели своего приезда. П. П. Васильев развил свой взгляд на работу по созданию добровольческого движения в районе первой армии, я поддержал его моими соображениями насчёт работы печати в этом направлении.

В ответ от полковника Кононова мы услыхали буквально вот что:

— Дело в том, что боёв западнее Томска не будет, армия оттянется восточнее. Так как при этом она войдёт в район бесхлебный, то операций нельзя будет вести за недостатком как снабжения, так и угля, ибо Анжерские копи перейдут в руки большевиков. Вся же железная дорога восточнее занята и на довольно продолжительное время — чехами. Армии, таким образом, действовать не придётся; операции могут свестись только к партизанской войне, совершенно бесполезной. Я удерживаю генерала Пепеляева от этого шага, но как человек решительного волевого напряжения, он неудержим. Уже всё дело проиграно тем, что в Тайге оно было не доведено до конца и не был сброшен адмирал Колчак. Поэтому боюсь, что ваша работа тоже будет бесполезна, потому что когда вы будете в Мариинском и Ачинском уездах, там будем уже и мы…

Этот план оправдался. Хотя Васильев и получил бумагу от генерала Пепеляева, назначающего его уполномоченным по формированию добровольческих частей в названных уездах, а также и в Красноярском, но пустить в ход её ему не удалось: события разыгрались чрезвычайно быстро, скорее даже, нежели предполагал полковник Кононов.

Обезоруженные такими планами, провели мы два-три дня в Томске. Было так приятно хоть немного отдохнуть после этих передряг, этих тревог пути. Томск, как я уже сказал, был до отказа насыщен слухами о мире. Но не только носились в воздухе слухи эти и чаяния. Разговоры шли и более определённые. Говорили о том, что начальник штаба полковник Кононов ведёт переговоры по этому поводу с левыми центральными социалистическими кругами, вставшими на точку зрения примирения с советской властью, однако с требованиями известных демократических гарантий.

Переговоры и встречи эти велись у богатого присяжного поверенного и мецената В. П. Зеленского, состоявшего на военной службе и устроившегося в редакции газеты «Русский Голос», возглавлявшейся проф. М. М. Хвостовым. В качестве же одного из главных деятелей этого объединения называли А. И. Гавриловича, беженца-пермяка, весьма любопытную, чисто бытовую личность.

Старый «политический», ссыльный моряк, он в 1917 году после революции выплывает в Перми, где играет видную роль в совете солдатских и рабочих депутатов. Во время Корниловского выступления в громовой речи «клеймит позором» гарнизонное собрание офицеров и призывает их «к творчеству». После октябрьского переворота сходит со сцены и уже с весны начинает устраивать офицерские организации. После захвата Перми генералом Пепеляевым отходит от работы ввиду «разочарования», но эвакуировавшись из Перми в Омск, желает постоять против большевиков. Я предлагал ему все технические средства РБП, чтобы он «со товарищи» использовал их как угодно, без всякого контроля с нашей стороны, но только для борьбы — против большевиков. Долго у нас шли переговоры, но, наконец, оборвались.

— Мы боимся, чтобы не было Зубатовщины, — сказали нам они.

Однако А. И. Гаврилович выразил желание работать по вербованию ижевских и воткинских добровольцев, почему и поехал в Томск, где был начальником вербовочного пункта. При свидании с ним я постоянно видел, как, несмотря на успешную работу свою, он страстно возмущался царящими кругом порядками. Действительно, санитарное дело в Томске стояло ниже всякой критики: беженцы гибли от разных тифов, и причиной всему этому была самая обыкновенная русская косность всех — от начальника до подчинённого. После же крушения Омска он так же горячо принялся «организовать» мир, как организовал ранее борьбу. Где-то теперь и как действует неуёмный, непрактичный, всё и вся портящий русский интеллигент!

Так вот этот самый миротворец, решив, как ныне проф. Устрялов, что времена повелительно требуют мира, «пересмотрел» — свою идеологию, что не составляло никакой трудности: есть у таких людей, пострадавших когда-то, тенденция относиться к давешнему страданию как к патенту на революционное дворянство и, ловко лавируя, наслаждаться получаемой с него рентой уважения и почёта. Словно та рента их защитит от известной непочтенности подобного перелёта в видах иудейского страха!

В этих совещаниях принимали участие и ещё кое-какие лица, между прочим командир ранее 25-го Екатеринбургского Адмирала Колчака полка, а потом 13-го Добровольческого, молодой полковник Герасимов. И я утверждаю, что план оставления Томска в описанном выше виде был выработан при участии этой компании, что подтверждается и самим характером

оставления несчастного города.

В день оставления его, 17 декабря, если не ошибаюсь, по всем улицам был расклеен приказ генерала Пепеляева, контрасигнированный начальником штаба, о том, что «вся власть» в городе, ввиду отхода войск, передаётся им комитету самообороны. Этот комитет, выбранный по всем правилам четырёхвостки и долженствовавший «выявить волю» обывателя города Томска, со страху уже залезавшего под кровать, — получил оружие для граждан, по рассказам что-то около 6000 винтовок, пулемёты, ручные гранаты. И так-то чрезвычайно сложна психология человека, в первый раз взявшего в руки ружьё, а тут ему приходилось ещё опасаться, как бы его с этим самым доказательством неблагонамеренности в руках не застали большевики.

И вполне понятно поэтому, что оружие попало не в те руки, в которые следовало. С наступлением темноты в замёрзшем, чёрном, опустелом городе началась отчаянная стрельба. Я выходил в это время от одного своего приятеля, куда принуждён был пойти на обед, потому что все рестораны прикрылись, и, услыхав стрельбу, решил пойти узнать, в чём дело, в штаб Гренадёрского батальона Пепеляевской охраны, стоявший в Доме Науки под бело-зелёным флагом.

Был чёрный вечер, когда я добрался туда. Всё кругом было темно, и только один электрический высокий фонарь на дворе Дома Науки сыпал сухие, белые нити света. Внизу под ним копошилась чёрная толпа. На углу площади, выглядывая из-за домов, смотрело туда несколько человек.

Из толпы нёсся гул, потом грянул отдельный выстрел, раздался чей-то одинокий вскрик, и вдруг, прорезая гул толпы, прокричал один голос:

— Товарищи, тащи скорей пулемёты!

То был восставший батальон охраны генерала Пепеляева, готовившийся к обороне от 13-го добровольческого полка и собиравшийся идти на ст. Томск II, чтобы захватить командующего армией, выдать его красным и таким образом заключить мир. Я пробрался к вокзалу. Отход штабного поезда предполагался около 2-х часов ночи. Но поезд был уже готов. С фонарями торопливо бегали офицеры, осматривая сцепления. Я сел в поезд, и вскоре он тронулся.

Профиль пути между станциями Томск II и Томск I представляет из себя впадину. Пыхтя, под отдельные трески выстрелов двинулся в темноту огромный состав, набитый людьми и семьями. Спустился благополучно под уклон, но при вытягивании на подъём оборвались подрубленные тяжи и весь

поезд, прогудев с огромной скоростью по мостику, промчался обратно на ст. Томск II, откуда в это время выходил поезд с броневиками и где все, и служащие, и солдаты, были увлечены грабежом оставшегося в эшелонах имущества.

Столкновение, на счастье, не произошло. Мы снова двинулись под гору, где и остановились на средине пути, среди снегов, в полной неизвестности.

Наконец, со ст. Томск I добыли наш паровоз, выкинули порвавшиеся вагоны и, обрезав на версту телеграфные провода, уехали на станцию Тайгу.

Как потом сообщалось, Томск в течение двух суток был в руках грабящей город и склады черни, пока не вошли красные части. И вот, начиная с этих дней так безрассудно, нелепо оставленного Томска, начинают разыгрываться на всей Сибирской магистрали кровавые предательские драмы заключаемого с большевиками мира, первый акт, который был неудачным выступлением полковника Ивакина. Что это выступление было спорадическим, а им скрыто руководили другие руки, — явствует из того, что все эти выступления имели отношение к штабу генерала Пепеляева. Во-вторых, из достоверных источников я слышал, что польскими войсками был захвачен и вскрыт направлявшийся в Ново-Николаевск в адрес полковника Ивакина вагон, по документам — с сахаром, из штаба армии. При вскрытии оказалось, что там были пулемёты Шоша.

Чья заботливая, миротворящая рука пересылала их?

Встретив на ст. Тайга наш отряд, я своих лошадей оставил следовать с ним, а сам двинулся по железной дороге. Было любопытно находиться в центре событий. До Мариинска, и даже двумя станциями дальше, мы доехали в штабном поезде 1-й армии. На ст. Мариинск ген. Пепеляев из громоздкого своего штаба сформировал небольшой походный штаб, с которым и двинулся против большевиков. Война приняла действительно партизанский характер, но не была удачной. Генерал Пепеляев, по обыкновению, принимал личное участие в боях, сражаясь в арьергарде, но заболел сыпным тифом и был вывезен чехами, распустившими слух о его смерти.

Состав штаба, как я указал выше, не ушёл далеко, хотя всё население огромного поезда принимало самое деятельное участие в его продвижении — таскали на паровоз снег вёдрами, вёдрами же передавали из предусмотрительно и расчётливо прицепленных вагонов к хвосту поезда уголь на тендер. Вся комендатура станций до Красноярска была в польских руках — в чём немалую роль сыграла Ново-Николаевская история, и движением эшелонов распоряжался полковник Румша.

Распоряжения его сводились, в сущности, к постепенному оставлению одного за другим составов и продвижении вперёд только польских эшелонов. Останавливались и сиротливо торчали на станциях беженские эшелоны, полные тревоги за свою грядущую судьбу, разыгрывались тяжёлые сцены.

На одной из станций, помню, ночью увидал я в одном месте много огоньков. Полагая, что там торгуют торговки, пошёл туда и увидал следующую картину. Под тёмным небом, в снегу, при свете недвижных на морозе свечек у раскрытых сундуков, корзин копошилось много народу. То едущие выгружались из поезда в сани, отбирая с собою только необходимое, оставляя всё остальное…

На станциях валялись дела, телефонные аппараты, взломанные несгораемые шкафы. Я наблюдал, как к одному такому подошёл мужичок из местных, потолкал ногой в его развороченное брюхо и констатировал:

— Эх, для рубашек больно хорошо будет.

Подобная участь постигла и наш штабной поезд. После усиленного воздействия на паровозы всех, кому не лень, один из них оказался сожжённым, другой замороженным.

Остался и этот поезд. Крепко сетуя на себя за то, что из-за излишнего любопытства оставил лошадей, двинулся я вперёд, пробираясь со случайными эшелонами.

По линии железной дороги шли целые толпы народа разного звания. Особенно тяжело было смотреть на женщин с детьми. Одна дама с девочкой лет восьми довольно долго путешествовала вместе со мною, забираясь на площадки вагонов, пока они шли, и уходя дальше, как только поезд останавливался. Двигались вперёд только польские части да польские санитарные поезда. С одним таким санитаром ехал отряд Американского Красного Креста, с которым мне и удалось добраться до Красноярска.

Но и польские войска были уже не те, что раньше. Первый польский полк, успешно дравшийся западнее ст. Тайга, на названной станции потерпел крупную неудачу и, бросив эшелоны, стал отходить пешком. Отдельные солдаты, часто без оружия, в отличных шинелях своих брели вдоль эшелонов, заходя в польские эшелоны только затем, чтобы поесть, деморализуя ещё нетронутые части и своим видом, и своими разговорами, и ни за что не желая присоединиться к ним. На все приказания они отвечали, что сборный пункт для них в Красноярске, и уходили при первом удобном случае.

Деморализация эта усилилась ещё тогда, когда чехи не пожелали пропустить даже ни одного санитарного польского эшелона вперёд, и сдача поляков на станции Клюквенной, 12 000

дивизии — банде красных в 500 человек — явилась печальным эпилогом к печальной их истории.

В довершение всего и без того напряжённая атмосфера сплочённого движущегося человеческого муравейника по полотну железной дороги была накалена рассказами о бедствиях, постигавших захватываемых красными. И действительно, сцены были ужасны.

Так, на станции Тайга, застрелив всю свою семью, застрелился один полковник. При захвате красными броневиков перед ст. Тайга самоубийства происходили десятками. Вообще, по дороге свирепствовала эпидемия самоубийств, и психологически возможность покончить со всеми этими передрягами пулей в висок вызывала в вас определённо приятное чувство возможности близкого покоя.

Надо помнить далее, что при этом не только линия железной дороги была запружена потоком людей, и все дороги кругом, снежные, избитые, кишели обозами.

И всё это двигалось, шло, брело, ехало туда, на обетованный восток. Что же их ждало на этом востоке, их, и воинов, и не воинов, но объединённых всех одним — противобольшевизмом?

На одной из станций, когда ещё не был кинут эшелон Пепеляевского штаба, я подошёл к полковнику Кононову, который сдал свою должность полковнику Штальбергу, а сам с генералом Пепеляевым не поехал.

— Скажите, г-н полковник, как обстоят дела на востоке?

— Отлично. Я только что разговаривал по прямому проводу с генералом Зиневичем в Красноярске… Он сдал всю власть земству и работает с ним в полном контакте, при полной поддержке всех общественных организаций и кооперативов… В армии прекрасное настроение…

— А в Иркутске?

Тревожные слухи об Иркутске докатывались до нас уже тогда.

— Да, там были выступления, но теперь у власти стоит земство, войсками командует штабс-капитан Калашников, так что и в Иркутске всё прекрасно…

Потом полковник Кононов пешком шёл было навстречу этому прекрасному, но, кажется, не дошёл. Но зато, когда мы добрались, наконец, до Красноярска, то первое, что я прочитал в газете, было объявление о заседании в тот день Совета солдатских и рабочих депутатов…

Это было действие объявленных генералом Зиневичем свобод и мира…

VII. Предательство Зиневича. Бой под Красноярском. Ночь под Рождество

Итак, сзади у нас были красные, в биологическом порыве за пищей врывавшиеся в сытую Сибирь; порыв этот, несомненно, должен был угаснуть по мере удовлетворения. И действительно: пятая советская дивизия, дойдя до Ново-Николаевска, в нём и пошабашила — дальше не пошла. За ними лишь шла дивизия Азина, которую можно было бы легко задержать. Но главный наш враг был не там. Города, эти оазисы государственности, точки сил, были отделены друг от друга эвакуацией «союзных» армий. Мы видели, как поляки останавливали и, в конце концов, остановили всякое движение на восток. Чехи сделали лучше: от Красноярска и до района семёновских войск и японских частей линия железных дорог была исключительно в их руках.

К нашим услугам оставался лишь телеграф для бесполезных уговариваний не бороться и опускаться сразу на дно советской власти.

К тому же одновременно с таким положением вещей подняли голову и партизаны. Енисейский район со Щетинкиным, с Роговым и другими стал угрожающ для проходящей армии.

Всем певцам советской власти, в её «могучем походе» на восток за нами видящим доказательство её силы, я бы задал один вопрос:

— А если бы советская Россия оказалась бы так разорванной на клочки прохождением «нейтральных войск», оказалась лишённой возможности перебрасывать отряды с места на место для подавления вспыхивающих неотвратимо мятежей, — не так же ли бы легко пала и советская власть, как власть Омского правительства? Да разве само выступление чехов в 1918 году не повело к тому же самому, к свержению повсюду большевистской власти, как только она оказалась лишённой коммуникации?

Если бы линия железной дороги оказалась связанной с армией, то картина значительно была бы другой. Пятьсот ижевцев, посланных в тот же Иркутск, сумели бы поддержать там равновесие.

Этого не дали сделать чехи.

А кроме того, в этих разобщённых, разорванных друг от друга кусках и начинает действовать особенно сильно имеющаяся организация.

Я говорю о той эсеровской организации, которая всё время была в связи со штабом генерала Гайды и имела агентов в штабе

генерала Пепеляева. Выступление полковника Ивакина кончилось неудачно. Томск был пропитан эсеровскими маниловски-провокационными мечтаниями, и самый факт передачи города в руки «демократического органа», а в сущности, на поток и разграбление красноармейцами, исходил оттуда. Действия в Красноярске генерала Зиневича, командира 1-й дивизии пепеляевской армии, горячо одобряемое, как мы видели, полковником Кононовым, лежали вполне в орбите этих идей. Наконец, в Иркутске выступление штабс-капитана Калашникова и бывшего начальника осведомительного отдела при штабе Сибирской армии. Такие фамилии, как фамилия поручика Кошкадамова, в роли коменданта города Иркутска, бывшего редактора «Голоса Сибирской Армии» — армейской газеты Сибирской армии, поручиков Никольского, Галкина, наконец, восстание во Владивостоке генерала Гайды, вокруг которого группировались такие работники этих именно кругов из штаба Сибирской армии, как убитый там доктор Григорьев, издавший в Перми 12 номеров газеты «Отечество» и ухлопавший на это до 120 000 денег, — всё это птенцы одного гнезда, гнезда Гайды.

Вся эта компания разъехалась из армии, как только произошёл известный конфликт Колчак — Гайда, и расселись по всем отдалённым пунктам Сибири и Дальнего Востока, держа связь со штабом генерала Пепеляева. Что связь эта была, доказывает, например, такой факт: пишущий эти строки после отъезда своего из армии в Омск получил телеграфный запрос полк. Кононова с просьбой сообщить, где находился в это время ген. Гайда.

Кто же были эти люди, занимавшиеся систематически тем, что в оторванных от армии местах они подымали восстания, отменяли власть, сажали земство, отворяя, таким образом, демократические ворота, куда лавой лились большевики, — что они были — предатели или глупцы?

Между ними были, конечно, предатели. Но по большей части то были глупцы. Они искренно верили, что создадут какое-то новое небывалое правительство, «земское», — слово, которое чрезвычайно импонировало чехам, понимавшим его в смысле «всенародного», и, прекратив «бойню», остановив большевизм, заживут в демократическом государстве.

В беседе с доктором Гербеком, редактором «Чехословацкого Дневника», — уже в Верхнеудинске я узнал, например, что Калашников, совещавшийся с ним накануне переворота (вот он, нейтралитет!), заявил ему:

— Самым большим моим несчастьем было бы то, что мне после переворота пришлось бы служить в красной армии.

Доктор Гербек рассказывал о том, что большинство военных переворотчиков, после завершения такового, собиралось уйти в учителя, в кооператоры, вообще заняться, говоря еврейским словом, — культурничеством.

Вспомним далее, что едва ли не восьмым декретом Иркутского Политического Центра были отменены погоны и введены нарукавные чешские знаки с обозначением чинов.

Штабс-капитан Калашников не терял, таким образом, своего чина, а, верно, рассчитывал приумножить его.

Я охотно допускаю, что с их стороны была известная искренность. Но со стороны их главарей, того же генерала Гайды, так сводившего свои личные счёты по Омску с покойным адмиралом, было колоссальнейшее предательство.

Итак, на востоке, вопреки заявлению полковника Кононова, в разорванных друг от друга ячейках-городах шла энергичная работа по разложению гарнизонов.

Образцово работу эту проделал генерал Зиневич, как известно, выступивший в газетах с письмом к Верховному Правителю с обвинениями его в разных грехах. После передачи власти земству, в Красноярске, действительно, наступило успокоение. Огромный гарнизон митинговал и распадался, с приближением фронта всё страстнее жаждал мира, и слово «мир» — вот что оказалось у всех на устах.

При таком положении вещей приближение армии не могло успокоительно действовать ни на самого генерала, который чувствовал, что с ним не согласятся её вожди, ни на его бравых сподвижников.

И вот по телеграфу начинаются классические переговоры генерала Зиневича с комиссаром Грязновым о мире — переговоры между Красноярском и Мариинском и Ачинском и т. д. Одновременно ведутся переговоры и со Щетинкиным, между прочим жена которого заседает в это время в Красноярском совдепе.

Генерал Каппель, главнокомандующий, об этих переговорах не уведомляется, но о них, конечно, знает. Фронт приближается неуклонно, всё неяснее становятся обещания комиссара относительно «гарантий», но всё тревожнее делается настроение гарнизона, не без основательности опасающегося, как бы не пришлось держать ответ за такое миролюбие.

В Красноярск я прибыл числа 5 января, где и встретил одного офицера из нашего отряда. В штабе генерала Зиневича он стал просить пулемётов для отряда, собирающегося идти дальше. Сам Зиневич в это время был занят очередным разговором по прямому проводу, и его принял новый начальник штаба, какой-то капитан.

Полковник Турбин, старый начальник штаба, ушёл со своего поста.

На просьбу выдать вооружение вполне надёжному отряду было отвечено так:

— Мы заключаем мир, прекращаем кровопролитие. Делайте то же и вы.

«Мир» — вот те слова, которые носила в тот день на красных флагах небольшая, но чрезвычайно агрессивно настроенная кучка солдат. И в связи с этим настроением гарнизон решительно заявлял, что никакие части отходящей армии пропущены через город на восток не будут.

Город являл вид растерянный, в штабах слонялись без дела смущённые, подавленные офицеры. Лишь несколько персон развивало усиленную деятельность. И среди них известный Дальнему Востоку эсер, недоучившийся студент Евгений Колосов, член Учредительного Собрания.

Демагог в речах и журналистике, беззастенчивый и дерзкий, участвовавший в каком-то из дальневосточных противобольшевистских правительств, он развил до крайних пределов свою агитацию. Всё время воздействуя на наивного военного, по преимуществу недалёкого генерала Зиневича, он владел вполне и его языком, и его именем.

Было ясно, что неминуема новая междоусобная схватка между отступающими каппелевскими войсками и разнузданным, пьяным от сладких лозунгов гарнизоном города Красноярска. И мы с моим спутником-офицером на лошадях двинулись на запад навстречу армии.

На ночь остановились в огромном «семивёрстном» селе Заведееве. В том доме, куда мы приехали, были как раз собраны начальники отрядов, стоявших в селе.

После нашего доклада, на котором присутствовал полковник Луцков, начальник осведомительного отдела 2-й армии, который мне обещал сейчас же ехать к командующему армией генералу Войцеховскому, для того чтобы довести до его сведения, что происходит в Красноярске, было решено идти на село Есаулово, что на реке Енисее, верстах в двадцати севернее Красноярска.

Наутро вперёд двинулась Иркутская дивизия, за ней вытянулись другие отряды. Между тем в этот день на Красноярск повели наступление ижевцы и отряд генерала Макри. Вначале успешное — стрелки ворвались в город, — оно совершенно неожиданно сорвано было тем, что в тыл наступающим выдвинулся маневрирующий польский броневик.

Хотя у него никаких злостных намерений не было, но нервничающие цепи — ведь впервой приходилось видеть новых

красных у себя в тылу — откатились. Красноярцы обнаглели; пользуясь большим количеством пулемётов и артиллерии, которыми они владели, они поставили их кругом по сопкам; по дорогам, по которым тянулись обозы, шли части, ехали беженцы, семьи офицеров и солдат, закипел бешеный огонь.

С другой стороны, и части были плохо информированы, так как связь со штабами была потеряна. И вот вся масса войск без всякого плана, без дорог, пешком, верхами, в санях двинулась вокруг Красноярска.

Передавали ужасные сцены. Дровни с женщинами и детьми скатывались в глубокие обрывы с диких красноярских сопок, по таёжному лишь с подсолнечной стороны покрытых мелким лесом, и погибали там. Погибали, истекая кровью, раненые. Наконец, в самих частях начался раскол — заключать мир или не заключать, и дело кончилось и сражениями, и убийствами.

В город втягивался Щетинкин; на село Вознесенское, что за Красноярском, были выдвинуты тоже заслоны. И в конце концов, весь город превратился в военный лагерь, где одни сажали других, более поздних, в тюрьмы. Об ужасах, что творились в Красноярске над захваченными в походе офицерами, много писали потом в газетах. Да иначе и быть не могло.

Красноярск был той стеной, о которую разбилась, обегая её, Омская армия. Немногие прошли мимо него, мимо его предательских, соблазнённых во имя земского и демократического мира пулемётов, но те, кто прошёл, те организовали новую армию — каппелевскую.

Покойный генерал Каппель перед самым Красноярском оставил свой вагон и сел на лошадь, под обстрелом огибая с тридцатью всадниками проклятый город. Лишь за Красноярском присоединился он к частям.

К частям! К сожалению, частей не было. Вокруг Красноярска текла разбитая, разрозненная масса, не жалевшая жизни в одном лишь стремлении своём — уйти на восток, существом своим органически отвергая возможность мира с большевиками. И лишь на следующем этапе, у города Канска, откуда вышел весь гарнизон и засел в сёлах по тракту на юг и на север, не пропуская двигающуюся волну людей, стала из неё снова сбиваться армия.

В снежную мрачную ночь кануна Рождества остановился наш отряд в селе Балай, в трёх верстах от станции того же имени. Я с двумя унтер-офицерами, с А. Н. Качиным и живым и огненным А. И. Огневым, поехал на станцию ориентироваться в обстановке. И опять в тусклой тьме зимнего неба веял белый, мёртвый снег.

На станции была латышская охрана от латышского уезжавшего батальона. Крепкие, сытые люди в никогда не

виданной нами ранее форме, отлично одетые, сидели в аппаратной… Чужие — в нашей — на нашей! — железной дороге, в то время как мы, хозяева, являемся из ночи, тьмы, запорошенные проклятым снегом… А где же наши?

— А вот один…

С алыми пятнами разгоревшегося лица, с лихорадочно блестящими глазами сидел тут же и начальник станции со своими малиновыми кантами. Он весь ушёл в трубку диспетчера, очевидно, прислушиваясь к тому, что происходило в Красноярске.

Моё предположение оказалось верным. Долго проблуждав по латышским вагонам, отыскивая их коменданта и найдя, наконец, огромного детину, который заявил мне, что он ничего не знает, что их единственная цель — уехать на родину, в свою страну и не вмешиваться в чужие дела, — я вернулся в аппаратную. Оба спутника мои бросились ко мне:

— Начальник станции большевик. Говорит, что всё равно, вы никуда не уйдёте, не пройдёте Канска… Разрешите его убить…

Я нисколько не сомневаюсь, что он был бы убит, несмотря на моё приказание не делать этого. Но латыши, спокойные и медлительные, куда-то увели и скрыли этого лихорадочно возбуждённого, выкрикивавшего угрозы человека.

В это время подошёл чешский эшелон. В классных вагонах были освещены все окна, оттуда доносилось женское пение, граммофон.

Так они встречали Рождество.

Я попросил коменданта поезда. Ко мне вышел плотный чех и на плохом русском языке выразил неудовольствие, что я с винтовкой.

— Я вас должен предупредить, — заявил он весьма строго. — Между нами и красными заключено соглашение, по которому никакие вооружённые банды не могут допускаться в тридцативёрстную полосу около линии железной дороги. Поэтому я должен бы был вас и ваших солдат разоружить.

Это соглашение было для меня решительной новостью. Чехи всегда были грозой большевиков, и такая перемена политики была чрезвычайно неожиданна. И где и когда успели они снюхаться?

Раздосадованный и известиями, и обстановкой, горячо протестуя против сливания наших «банд» в одно с большевистскими, я спросил, что известно моему собеседнику о Красноярске. Правильны ли слухи, что он занят генералом Войцеховским?

— Я этого не знаю, — ответил поручик. — С нами едет полковник, русский, генерального штаба… Он вас лучше

информирует…

И в полосе света в раскрытую дверь купе, в табачном дыму, звоне шпор и женском голосе предстала предо мной упитанная фигура полковника…

С полупоклоном, не подавая руки, бархатным баритоном, усиленно ковыряя в зубах, он спросил, что мне, собственно, угодно.

— Я хотел бы знать, господин полковник, в каком положении Красноярск… Занят ли он ген. Войцеховским или нет?

— Генералом Войцеховским? — Н-не думаю, — ответил задумчиво полковник, ковыряя в зубах… Да, собственно, зачем генералу Войцеховскому и занимать его? Н-не думаю.

Я резко сказал, что мне безразлично, что думает полковник, что я хотел знать, что он сам знает, и, взбешённый, выскочил на воздух.

Окна вагонов по-прежнему сияли в ночной тьме, и по-прежнему звенела гитара:

А теперь приедешь к Яру,
Хор цыганок не поёт…
Соколовского гитара…

Меня ждали промёрзшие солдаты. Молча прошли мы к коням. Там на нашего возницу нападали два каких-то железнодорожника, обвиняя его в контрреволюционности и требуя выдачи наших лошадей в качестве народного достояния.

Мы прогнали их ударами прикладов и выстрелами. А когда выехали за околицу, вслед нам раздались выстрелы.

При свечке, в свете которой блестел тускло самовар, делал я печальный доклад нашему командиру полковнику Энборисову.

А назавтра было Рождество. Утром в избу явился с визитом в новой шинели с орденами капитан Смыслин, впоследствии прославившийся реэвакуацией, и другие. Два священника, ехавшие с нами в нашем отряде, отпели обедню в церкви, на которой присутствовало всё село — священника у них уже не было — убежал. А после обедни двинулись дальше по снежным дорогам, выезжая и въезжая на зорях всё вперёд, к какой-то неопределённой цели, взыскуя некоторый базис, на который можно было бы опереться.

VIII. Окружены в Голопупове. Формирование отрядов. Ночные Лебедев и Сахаров

Канска мы все ждали с некоторым волнением, потому что речи, подобные речам железнодорожника, доходили до нас отовсюду: «Погодите, вот ужо покажут вам под Канском!». Было известно, что в самом Канске сильный гарнизон, да и район Тайшета с его партизанскими отрядами не обещали особых удобств для прохождения.

Между тем, что мы могли представить со своей стороны? — Если какие-нибудь более или менее крупные части и были, то они были затеряны в массе мелких осколков, либо так, как Иркутская полного состава дивизия, думали только лишь о своём районе, откуда были её главные контингенты, о своём доме, чтобы там разойтись. Как я сказал уже выше, всё это после Красноярска шло совершенно самостоятельно, не имея никакой связи между собой, подверженное и слухам, и панике.

Армия шла несколькими колоннами — вдоль железной дороги, южнее её и севернее, постепенно переваливая через полотно и беря южнее. Так, например, прошли части 3-й армии генерала Каппеля под его водительством, сделав беспримерно трудный поход по реке Кан и срезав 80-вёрстным переходом неезженой, снежной дорогой, тайгой расстояние между двумя действующими трактами. Вообще надо заметить, что движению армии чрезвычайно помогли те плановые дороги, что в своей огромной культурной работе разбивало Переселенческое Управление.

В сплошных кондовых тайгах, заваленных снегом, где рыси и козы составляли чуть ли не единственное население, — вдруг оказывались проложенные и остолблённые тракты, мосты перегибались над оврагами. В селениях обширные, светлые здания, школы, изящные кокетливые церкви.

Вторая армия шла трактом прямиком, но этот прямой путь был труднее более сытого бокового.

Однако относительный порядок движения установлен был только лишь после Канска; такой разрозненной лавиной вошли мы в его район.

Переночевав в деревне, кажется, в Татьяновке, достигли мы села Голопупова. В огромном селе никого ещё не было, кроме каких-то вырвавшихся вперёд госпиталей да небольших обозов. Хозяйка нашего дома на вопрос, где муж, сердито ответила, что в

ночь перед приходом нашим его «угнали в подводы» в село Аманаш, что лежало как раз на пути пред нами по нашему маршруту.

— Кто потребовал?

— А мы разве знаем?

Я отправился к старшине. Старшина и клялся, и божился, что никаких подвод он не отправлял. Однако в его бумагах мы нашли следующую бумажку.

Вот она лежит передо мной, эта бумажка — плод старой режимной канцеляристики с эсеровским, стиля модерн, духом.

На бланке председателя Аманашской волостной земской управы написано:

«Старосте села Голопупова.

Предписывается вам нарядить и отправить в село Аманаш 50 подвод в распоряжение командира отряда революционных войск тов. Пугачёва; фуража взять на три дня».

Подпись.

Ясно, что село Аманаш было занято. Было приказано остановить некоторые готовые двинуться вперёд обозы. Сзади подходили отряды. И вот началась у нас спешная организационная работа. Спешная, но бестолковая. Нигде, кажется, яснее всего не вскрывалась та суть русского человека, которая так свирепствует над нами теперь, — это полная неспособность в трёх словах переговорить о деле, об общем деле, сговориться и решить.

Ясно было, что в таком виде, как мы шли до сих пор, мы были абсолютно небоеспособны. Ясно было, что было необходимо из мелких отрядов составить один крупный, объединённый командованием, которым и двигаться вперёд. Начались бесконечные переговоры. Из наиболее крупных был в селе наш отряд, остаток 13-го Добровольческого и 25-го адмирала Колчака полков под командованием молодого, но крайне нервно настроенного полковника Герасимова, штаб и остаток морской стрелковой дивизии под командой адмирала Старка, крупная кавалерийская школа, около 200 сабель, полковника Толкачёва, остаток 1-й кавалерийской дивизии под командой генерала Миловича, остаток Тобольского отряда Особого назначения под командой полковника Колесникова.

В тёмных, душных избах начались бесконечные совещания командного состава. Разговор пошёл о том, кому командовать. Наиболее опытным во всех подобных делах был, несомненно, наш командир, войсковой старшина Энборисов. После долгих замаскированных неудовольствий по поводу его малого чина — решили подчиниться ему. На должность начальника штаба к нему — полковник Герасимов предложил своего помощника по должности командира полка поручика Роджерса, представленного, между прочим, уже в полковники, но так и не получившего ни одного чина в течение двух лет. Это вызвало оппозицию со стороны присутствующих, несмотря на указания отменных боевых качеств названного кандидата. На должность начальника штаба выдвинули тогда капитана Озолина, начальника штаба морской дивизии.

Надо было действовать. Выслали разведку кавалерийской школы, которая и вернулась через два часа, потеряв одного убитым, двух ранеными. Село Аманаш было занято красными, расположившимися в подвалах крайних домов и под домами и, очевидно, напряжённо ждавших, потому что первой командой, которую услыхали близко подъехавшие в лунную ночь наши дозоры, было часто «начинай». Они, очевидно, лежали всё время в цепи.

В это время получены были известия, что селения и правее, и левее селения Аманаш оказались тоже занятыми отрядами противника. Положение стало становиться серьёзным. Нам не были известны силы красных, по некоторым данным они были значительны. С другой стороны, нам абсолютно неизвестны были наши силы — сколько пришло нас. Психологически понятно, что сведения об этом были панические, да и моменты «заключения мира» уже слишком у всех были в памяти.

В это-то время и раздалась в некоторых наиболее сплочённых отрядах мысль — уйти в Монголию, чтобы двигаться ею в восточном или даже западном направлениях — в Семиречье, в Алтай, где по нашим сведениям были значительны оставшиеся там наши части (предложение адмирала Старка).

Тем более мысль эта была приемлема, что называли целый ряд местных лиц, которые неоднократно ходили в Монголию через Белогорье. Таким образом, намечался как бы выход из создавшегося положения.

Наступила ночь. А части всё подходили и подходили, запрудив, наконец, собою всё огромное село. Собственно, это был первый в этом маршруте сбор, смотр количества имеющихся «наших». На улицах всюду появились патрули. В морозной, звёздной, ночной тишине раздавались оклики… Где-то невдалеке

шла какая-то перестрелка, потому что, хотя выстрелов и не было слышно, но в сани, в которых я ехал, звонко щёлкнула пуля.

Подъехал генерал Милович со своей кавалерийской дивизией и собрал совещание командиров частей у себя, не желая считаться с кое-как достигнутыми результатами и, видимо, намереваясь создать что-то новое.

Я присутствовал на этом совещании, посланный за ген. Миловичем — для приглашения его на наше совещание. Горела одна свечка. В переднем углу за столом заседало начальство; все, кому не лень, «высказывались». Сзади, где сидели мы, мелкие чины, раздавалось смутное бормотание.

Присутствовали одни офицеры, элемент, следовательно, сознательный, говоря революционным языком. А тут в полутьме блестели скептически прищуренные глаза, шла речь о том, что «пора бросить эту волынку», что в Канске «власть принадлежит земству».

Отсутствие решительности у начальствующих лиц производило явную деморализацию низшего командного состава, и если наличие большого количества наших в селе являло действие ободряющее, то долговременное пребывание на месте сводилось к кипению в неопределённости и опять-таки вело к деморализации масс. Чтобы выйти из этого невыносимого положения, нужно было напряжение одной индивидуальной воли — а воли не было! Генерала Каппеля здесь не было, Пепеляев дрался где-то сзади, или уже ехал в это время в тифу в вагоне. Не было никого, кто бы объединил вокруг себя эту массу, не было личности.

Вернулся я к себе и привёз от ген. Миловича ответ, что он, как старший, просит пожаловать на совещание к себе войскового старшину Энборисова. Тот поехал, а остальные наши начальники стали его ждать.

Вопрос стоял так: пробиваться ли на восток, уходить ли на юг. И то и другое, в сущности, для нас было равнозначным. И там и тут полная неопределённость, полнейшая судьба.

Поздней ночью закончилось это совещание. Полковник Энборисов, ввернувшись, привёз известие, что там командирами наиболее крупных отрядов решено было предоставить всем свободу действия. Во исполнение этого генерал Милович на другой день взял дивизион и ушёл на Канск, где сел в поезд к чехам. Отряд вернулся обратно.

Я решительно должен сказать, что такой способ «освобождать» части, в сущности, сводился к освобождению начальствующими лицами самих себя от забот о частях для свободного устремления в чешские поезда. В результате —

разваливались части, и хорошие части. Как на пример, укажу на Томскую унтер-офицерскую школу, вышедшую в полном составе из Томска, отлично вооружённую и надёжную, — из пермяков. Командир её, полковник Шнапперман, объявил всем чинам, что они свободны, и сел сам в чешский эшелон.

Конечно, часть рассыпалась, в то время как такая часть, как Егерский полк, который вёл молодой полковник Глуткин, не останавливавшийся ни перед какими мерами, чтобы как возможно облегчить людям путь, — дошёл до Забайкалья чуть ли не в полном составе! (Около 300 человек.)

Глубокой ночью, когда мы уже ложились спать, доложили, что приехали ген. Сахаров и ген. Лебедев и желают видеть начальника отряда.

И вот в комнату в шубах ввалились бывший Главнокомандующий ген. Сахаров в своей круглой барашковой шапке и былой всесильный ген. Лебедев в малахае. Они ехали всего на двух подводах с полковником Кронковским, и в этих тяжёлых временах не терявшим своей штабной гордости и заносчивости, да с вестовым.

Говорил ген. Сахаров. Лебедев сидел молча, огромный, с каменным горбоносым лицом. И надо отдать справедливость ген. Сахарову: он был энергичный человек. Ознакомившись с обстановкой, присоединившись к отряду полковника Глуткина, он перед утром тронулся из Голопупова на с. Береш. Он легко прошёл угрожаемые пункты и с тех пор всё время шёл в голове колонны, первым перейдя Байкал.

Настал день. По селу разнеслась весть, что приехал ген. Вержбицкий со штабом, принял командование, что будет боевой приказ; все вздохнули облегчённо, хотя бурление и разложение продолжалось ещё. Отряды, выступающие сепаратно, тянулись в разные стороны и так же понуро возвращались обратно.

В это время подошёл верховой артиллерийский отряд 1-й армии полковника Беренса, если не изменяет память. Офицеры остановились в одной избе с нами. Оказалось, что с ними едут ещё две пушки, остальные были брошены из-за трудности пути…

— А снаряды?

— Снаряды есть…

Мы чрезвычайно обрадовались; приказано было затопить баню, чтобы отогреть компрессоры. Два орудия! Несколько выстрелов, и всё село запылает, а его защитники побегут оттуда!

Каково же было наше разочарование, когда по справкам, наведённым у командира, оказалось, что нет ни одного снаряда!

Так прошёл день. Наутро было назначено наступление… С лихорадочным нетерпением ждали мы его результатов. Что-то

около 80 пулемётов должны были быть двинуты против села. Но полученные сведения гласили, что хотя одна часть и добежала до селения, но тотчас же открыла огонь по своим. Передалась. — Деморализация принесла свои плоды.

Начиналось явное разложение. На Канск уехало несколько подвод с офицерами, заявляющими, что там земская власть и что они могут с нею сговориться. Наконец, около трёх часов дня приказано было вытягиваться, и огромная, чуть ли не тридцативёрстная колонна двинулась в юго-восточном направлении на село Береш, что на реке Кан. Вытягивание затянулось до глубокой ночи. Хрустя и скрипя полозьями по мёрзлой пахоте со сдутым снегом, перед утром переехали мы реку Кан.

Высота Канска, таким образом, была пройдена.

Вместе с нею кончился и неорганизованный поход армии; обстоятельства на реке Кан показали, что необходима организация, и они же дали и толчок к таковой. Части, собравшиеся в с. Голопупове, образовали так называемую колонну ген. Вержбицкого, вошедшую во вторую армию. Последовавшая вскоре затем смерть ген. Каппеля, передавшего командование ген. Войцеховскому, оставила за генералом Вержбицким и командование 2-й армией. 3-ю армию после генерала Каппеля принял ген. Барышников, а затем, под Зимой, ген. Сахаров. Кроме этих двух главных колонн, шедших по тракту и южнее, было несколько отдельных отрядов, шедших севернее. Так там пошли не вышедшие до сих пор отряды ген. Казагранди, ген. Перхурова (героя ярославского восстания), а также ген. Бангерского, ген. Бордзиловского.

Следующими этапами, внушающими известную тревогу, за Канском были Нижнеудинск, Тулун, Зима, Черемхово. Но так как армия, отбросившая все свои ненужные элементы и успевшая получить кое-какую организацию, от Канска, собственно, уже не отступала, а непрерывно наступала, то пройти их было легче.

Чем же была достигнута эта организация, как удалось выйти из первой стадии стихийного шествия на восток?

Во-первых, фундаментом служила абсолютная непримиримость с советской властью самой широкой демократической двигавшейся массы. Это был некоторого рода противоположный род электричества.

Во-вторых, вытекавшее отсюда желание дисциплины и сознательное подчинение ей, даже самым примитивным её начаткам. Я знаю случаи, когда солдаты говорили:

— Почему же нами не командуют, почему же нас не ведут?

Если бы со стороны командного состава проявлено было

больше выдержки и менее желания устроиться, то несомненно, что число пришедших на восток было бы вдвое или даже — в несколько раз больше.

Наконец, первый, хотя незначительный успех, — проход Канска заметно окрылил дух шедших. Оказалось, как всегда, что не так страшен чёрт, как его малюют, не так страшен противник вблизи, как издали, «выворачивающий шубу» и пугающий незнающих, что это такое.

Но всё-таки и на этом фоне здорового массового жизненного инстинкта, глубочайшего возмущения против большевиков, тем яснее выделилось отсутствие инициативы, горячности, известное рутинёрство со стороны высшего командования.

Омск мёртвый дышал и здесь, путаясь, мешая Омску живому, нелепо занимая лучшие квартиры, сводя личные счёты и досадно внося раздражение в готовую служить беззаветно, до конца, массу.

IX. Наступление. Бой под Зимой. Красная информация. К Иркутску

Меридиан Канска — река ан к югу от города был, наконец, пройден при вышеописанных обстоятельствах; мы стали подходить к Нижнеудинску, этому маленькому жалкому свидетелю ужасной драмы, разыгравшейся вокруг Верховного. За несколько недель стояния там огромный эшелон Верховного буквально вмёрз в лёд, в грязь, в снег и так и остался стоять, разграбленный. Верховный, как известно, со 100 приближёнными был вывезен чехами в одном вагоне, прицепленном к хвосту обычно по-хозяйски устроенного чешского эшелона, с изуродованными теплушками, окнами, вставленными из классных вагонов, и т. д.

Его вывезли, конечно, ввиду нашего скорого приближения, как и расстреляли в Иркутске по тем же самым мотивам.

Между тем у двигающейся армии появилось то уверенное настроение, которое превратило, в сущности, отступление до Красноярска в наступление с Красноярска. Красные не наседали, да остающиеся чехи со своими эшелонами в тылу создавали выгодную для нас обстановку, отрезая нас от непосредственного соприкосновения с красными.

Перед нами была область всяких восстаний, организаций или, более того, слухов об этом. В волостных земствах всюду находили мы «бумажки» относительно формирования народно-революционной армии для «уничтожения остатков армии врага народа адмирала Колчака». Повсюду летели декреты об урегулировании, при посредстве кооперативов, торговли, об уничтожении частной торговли. Учительницы в школах показывали нам бумажки, извещающие, что с такого-то числа «вся власть» над школами перешла в ведение учебного отдела такого-то совдепа, а посему необходимо прекратить тотчас же преподавание Закона Божьего.

Как по какому-то великому изначальному шаблону были отлиты формы всех этих бумажек, и приходилось удивляться, как, в сущности, чётки их требования при элементарной простоте своей!

Тем более разительны они были, что все эти места Енисейской и Иркутской губернии, которыми мы шли, являли из себя вид чрезвычайно культурный. Переселенческое Управление сделало чрезвычайно много, как в смысле доступности тайги, так и в смысле оборудования школ, церквей и проч. Школьные и

общественные здания были в некоторых пунктах прямо образцовыми. И всё это стиралось, уничтожалось, аннулировалось этими бумажками.

Всего мучительнее процесс этот проходил для сельской интеллигенции. Я помню две или три кошмарных беседы с такими учительницами, затерянными в своих хоромах в лунных, таёжных снегах. Одна из них, оказывается, не ела уже двое суток и только теперь собиралась спечь небольшой хлебец. У неё не было денег. Денег новая власть ещё не присылала, присланные же директивы вызвали естественный конфликт с родителями, которые отказались поддержать «учителку». И вот бедная, одинокая девушка продаёт все свои вещички, чтобы только жить, чтобы кормиться. Вещи и крестьяне ценили очень.

В другой раз слышал я рассказ о том, как «я», маленькое белокурое существо, жила и учительствовала где-то в низовьях Лены, куда чуть не 2000 вёрст надо было плыть на берестяных лодках; теперь она и тут, невдалеке от своего родного Тулуна, терпела ту же нелепую беспроглядную нужду.

И кому это нужно, что учительское дело превратилось в подвиг? Страдания, правда, много. А толку?

В эти первые дни по прохождении Канска в армии начала чувствоваться уверенность. И когда недалеко перед Нижнеудинском одну из колонн в притрактовом селе Ук встретил спрятанный в засаде отряд, от него ушло немного. Около 200 трупов осталось в этом разорённом, разбитом, опустелом селе.

Пред нами не было уже отступающего фронта, уходящей армии и т. д. с их временными кровавыми инцидентами. Перед нами воочию вставала Гражданская Война, не война двух фронтов, хотя и русских, — а война бродяжническая, сутолокошная, война всех против всех.

Проехав село Ук, мы остановились на какой-то следующей деревне, зажарили барана, попарились в бане, до озверения напились чаю. Спокойно и уверенно было на душе сначала. Только что разгромленный Ук доказывал эту нашу силу. С другой стороны, на пути следующим этапом лежал Нижнеудинск, неизвестно ещё что готовивший нам. И как только стало смеркаться, как по улицам стали мелькать костерки наскоро обогревающихся, быстро проходящих частей, в сердце опять стала закрадываться она, знакомая тревога.

Час выступления назначен был в 7 часов утра. Но начальство, учитывая общее настроение, стало его подымать на 5 часов, наконец, на 3 часа ночи.

Так, наконец, и выступили мы последними в 3 часа ночи. В селе уже никого, кроме нас, не было. В сумерках зимней ночи под

матовым блеском сквозь льдистые стёкла лучины в избах (тут уже всюду горела лучина) стали вытягиваться. Вытянулись, но разорвались. Часть отряда пошла по правой, другая по левой дороге. Послали верховых для связи. И пока стояли так в чёрно-белёсом сумраке январской ночи, вдруг сзади загрохотали выстрелы. Кто, по кому стрелял — неизвестно. Тронулись.

И вот, сквозь стукотню выстрелов, сквозь особое настороженное предутреннее молчание сотни людей, сквозь шпицы чёрных, опушённых снегом елей, над снегами мягко встало, разлилось малиновым веером полыхающее алое зарево.

Гражданская Война породила Красный Смех.

В глубоком молчании под светом красного зарева отряд наш сделал путь до Нижнеудинска. Уже светало, как стали мы подъезжать к нему. Везде на улицах уже сновали солдаты с лошадьми на водопой, ровно и неподвижно лиловея, лежала р. Уда.

В Нижнеудинске стали получать запасы нашего же интендантства, брошенного красными. Задымились сигаретки, к чаю появилось монпансье, белые булки, сахар. Этикетками от сигареток «Золотой шлем» усыпаны были снежные дороги.

Я прошёл на станцию Нижнеудинска, чтобы навести кое-какие справки у чехов. Начальник штаба 3-й чешской дивизии оказался спящим в своём вагоне, несмотря на 11 часов дня. Спали и его адъютанты. Вся станция была забита чешскими, румынскими солдатами, весьма оживлённо сбывавшими нашим наш табак, тёплое бельё и т. д. Торг шёл вовсю. Красные главари Нижнеудинска находились тут же и или прогуливались с чехами, косясь на каппелевцев, либо торчали у окон вагона, своего беста.

Тут же пришлось встретиться и познакомиться с одним сербским офицером, которому посчастливилось уйти из-под Клюквенной. Дело в том, что сербские эшелоны стояли вперемежку с польскими, и поэтому при сдаче поляков, не предупредивших сербов, попались и сербы. Этот серб-офицер плакал, рассказывая о польском предательстве.

Через несколько дней после того как мы ушли из Нижнеудинска, на Нижнеудинск красными было сделано нападение. Дело в том, что по установленному с чехами соглашению красные должны были занимать оставляемые чехами станции на расстоянии не менее установленного для оборотного паровозного депо, то есть за 80 вёрст. Пока у них с чехами не было никаких серьёзных столкновений, красными всё время систематически производились нарушения этого договора. У Нижнеудинска же была сделана ими попытка отрезать хвост чешских эшелонов, для чего ими был взорван небольшой мост

восточнее указанной станции. Захваченным врасплох чехам пришлось убегать чуть ли не в белье и бросить несколько своих эшелонов. Но в ответ на это чехи взорвали самым пунктуальным образом все мосты, стрелки, водокачки и т. п. на расстоянии 80 вёрст от Нижнеудинска, делая этим вполне невозможным приблизиться к ним ближе, чем на уговорённую дистанцию. После этих попыток договор со стороны красных уже не нарушался.

Грустную картину являли станции. Чехи не позволяли нам показываться на них вооружёнными. Чешский флаг трепетал на флагштоке, везде сидели телеграфисты и коменданты — чехи, и было непонятно, почему по железной дороге движутся с таким комфортом эти сытые, здоровые, чужие люди, а мы, хозяева, должны ухабиться где-то в снегах, изредка вылезая на станцию, чтобы посмотреть, послушать, купить уже втридорога свои же казённые товары, захваченные более удачливыми союзниками.

В Нижнеудинске у нас был поставлен на очередь вопрос о Монголии, который всё время висел неотвязно в воздухе. Дело в том, что по полученным нами сведениям наиболее удобные дороги на юг были с Нижнеудинска и со станции Зима, по рекам Уде и Зиме. Более того, под Нижнеудинском мы встретили лицо, которое предложило нам, всему отряду двинуться к нему на заимку, верстах в 350 от Нижнеудинска, где и ждать весны. С наступлением же весны пути были открыты куда угодно.

С другой стороны, обстановка складывалась так, что идущая армия вполне могла рассчитывать на свою силу. И когда поэтому мы отложили наш сворот в Монголию, бой у станции Зима так воодушевил всех, что армия, не рассуждая, бросилась дальше к Иркутску.

На станцию Зима от Черемхова было выдвинуто около 2000–2500 бойцов, главным образом рабочих с копей, чтобы положить конец продвижению главной колонны. Несчастные эти выступили под командой штабс-капитана Нестерова. Бой для них был неудачен, да к тому же резервы, подходившие к месту боя, были арестованы чехами, придравшимися к каким-то нарушениям. В результате все красные дравшиеся части были захвачены нами в плен и перебиты. Интернированный чехами тов. Нестеров по телеграфу доносил в Иркутск о том, что «проходившие каппелевцы натворили ужасов». На льду р. Зимы были наложены целые штабеля трупов несчастных, погибших от собственного неразумия и ослеплённости пославших.

Это обстоятельство, однако, сильно помогло нашим двигающимся частям. Следующего грозного этапа — Черемхова — с его депо, с заводским населением уже не оказалось. Вся эта

масса кинулась на юг, в тайгу.

Наш отряд, двигавшийся на самом правом фланге и пробиравшийся на село Голыметь, столкнулся с одним из таких весьма значительных отрядов, человек до 800, уходившим в тайгу. Однако мы были случайно предуведомлены, расположились в деревне, в полуторах верстах. Накануне к вечеру мы пробовали случайно захваченные пулемёты, так что слух об нас гнался далеко впереди, с вечера — постреляли и здесь, а затем ночью, подвинувшись на два этапа вправо и вперёд, обошли эту банду, которая сочла себя окружаемой и угнала в тайгу.

Двигаться в этой обстановке ближе к Иркутску становилось всё труднее и труднее. Нам по всем дорогам предшествовали в одном, в двух переходах специальные совдепские люди, которые предуведомляли население о нашем движении в соответствующих тонах. Мы приезжали в пустые, мёртвые деревни, из которых было угнано и население, и скот. По нетопленным избам, и то не везде, оставались лишь дряхлые старики. А между тем надо помнить, что стояли страшные морозы, и люди, и дети, безумно вывезенные в леса, обмораживались и гибли.

Кроме известных психологических неудобств, такой метод действия был прямо губителен для нас. Нам нужны были лошади в обмен на выбившихся из сил.

Дурно это было или хорошо, всё равно, так надо было. Не иметь лошади, значит, отдаться красным и т. д. Поэтому, в связи с выселением крестьян в леса, ночью приходилось делать облавы на лошадей.

Тёмной, звёздной ночью по следам от множества копыт отправлялись мы на заимку вёрст за 10, среди деревьев издали уже были видны в дыму от костров фигуры сидящих у огней мужиков, иногда целые семьи окружали пляшущий живительный цветок огня.

Тут же, привязанные к деревьям, маячили фигуры коней. Один-два выстрела вверх, невообразимая суматоха и бегство, и через 10 минут мы возвращались, ведя с собой в поводу 5–6 лошадей, сколько нужно.

Во время одной из таких экспедиций встретили мы в лесу верхового.

— Стой. Куда?

— Да за своими в лес. Сказывали, идут войска генерала Каплина (sic!), да всех будут грабить и убивать. А ребята приехали ничего, подходящие… Ну вот и поехал, чего мёрзнуть-то…

И вскоре деревня наполнилась своими обитателями.

— Ты куда же, дура, бегала, — спросил я свою хозяйку,

статную красивую бабу, ловко управлявшуюся у печки… — Чего испугалась?

— А хто вас знать, хто вы такие… То красные, то белые… Надоели очень, вот и бегали…

И сколько забавных инцидентов было во время этого скорбного пути. Так, запоздав несколько в маршруте, мы видели однажды, как спокойно расположившийся волостной совдеп лез через забор in corpora, захваченный врасплох нашим проездом. В другой раз командир шедшего с нами другого отряда полк. Герасимов, сказавшись в одном селении красными, получил обильную жертву от ждавших от красных мира восторженных поселян. Тут были туши мяса, и мука, и масло…

На меридиане Зимы надо было нам окончательно решить вопрос — ехать или не ехать в Монголию. Шедший с нами Егерский отряд 2-й армии под командой капитана Стаховича двинулся решительно на Иркутск. Полковник Герасимов всё время колебался. Для нашего командования было ясно, что обстановка складывалась так, что нужды в свороте, в удлинении и усложнении пути решительно не было. Полковник Герасимов настаивал на этом движении, и лишь странный случай разлучил нас с ними.

Ночуя в одном из сёл, полковник Герасимов встретил в избе тоже ночующего представителя Иркутской власти, ехавшего за покупкой фуража и мяса. Долго беседовали они на разные темы, главным образом о прекращении войны. Когда слух об этом дошёл до нашего отряда, то было решение у этого субъекта забрать деньги, дабы иметь возможность оплачивать крестьянам фураж и продовольствие. Полковник Герасимов нам его выдать отказался и заявил, что оставляет за собою свободу действия. После такого объяснения мы продвинулись вперёд в один переход за 70 вёрст для присоединения к армии, а полковник Герасимов ушёл в Монголию с маленьким, чуть не в 30 человек отрядом, среди которого было несколько дам…

По дошедшим потом сведениям, он был убит какой-то шайкой — едва ли не весь отряд был повешен.

Мы двинулись на Иркутск.

X. Иркутск, по слухам, занят. Станция Иннокентьевская. Кругом Иркутска

После катастрофы на ст. Зима, Иркутск для нас сделался таким же определённо-желанным пунктом, каким он был для нас под Красноярском. Армия не сомневалась, что возьмёт его, и думала о близком отдыхе там, двигаясь среди снежных дорог, с увала на увал, покрытый лесом, под холодным, морозным небом, где кружились орлы по дорогам, устланным трупами лошадей и выкидышей-жеребят.

В 60 верстах от Иркутска, в весёлом селе Китой расположились мы на отдых. 60 вёрст! Нужно поскорее подтянуться к городу, чтобы войти в то кольцо, которое его будет брать…

В этот же вечер поехал я на железнодорожную станцию в 5 верстах от села за информацией к чехам. Боже мой, какая перемена! Нас пригласили в вагон, насовали полные пазухи сигаретами. О чём говорить, господа? — Иркутск взят сегодня утром, Верховный освобождён…

Об аресте Верховного нам было известно раньше. Красные применили удивительно остроумный метод информации. Они всё время держали в движении товаро-пассажирский № 22, и с ним навстречу нам, армии, ехало множество пермяков, самарцев, уральцев и т. д., «отпущенных» домой за окончанием войны и снабжённых всеми надлежащими документами. У этих же людей были и газеты.

Знали мы и об ультиматуме, предъявленном ген. Войцеховским красному командованию Иркутска, об тех его условиях, на которых он согласился пощадить город. Условия эти были: вывод всех войск за черту города, выдача Верховного, выдача золотого запаса, пропуск на восток эшелонов с больными и ранеными, а также с семействами военнослужащих.

От крестьян имели мы сведения, что Иркутск эвакуируется, как в отношении товаров, так и в отношении войск, что подводы крестьянские, приехавшие в город за покупками, перебрасываются с грузом в Верхоленск и т. д. Таким образом, заявление чехов, что в Иркутске никого нет и что он теперь уже взят, окрылили наши сердца. Обидно было только, что приехали к шапочному разбору.

Более того. Чехи говорили, что их эшелоны к Иркутску будут подтягиваться недели три ещё, и поэтому армия сможет, на крайний случай, расположиться на отдых в Иркутске недели на

две.

Окрылённые полученными сведениями, нагружённые папиросами, газетами и прочими диковинками, бросились мы к месту стоянки нашей. Спокойно улеглись спать, решив, что завтра будем в Иркутске.

Наутро обычное пробуждение. В синем зимнем рассвете февральского утра по деревенской улице начинается движение. Снимается дежурная часть, чутко дремлющая на полу где-нибудь в центральной избе, держа винтовки в объятиях, установив нашего «Максима» против двери. Варится всюду неприхотливое варево, и семьи (а ехали большинство с семьями) истово садятся за дымящиеся чашки, из которых торчат кости. Поевши, подымаются, и идёт укладка вещей на юза. Приспосабливаются кое-как и ребятишки. С нами долго ехали четверо ребят в пустом кованом сундуке… Как птицы, выглядывали они оттуда, и только вьющийся парок означал их дыхание.

Следующим номером шла погрузка больных — тифозных всяких видов. Их выводили, бледных и дрожащих, и укладывали в большие глубокие корзины, в сено или солому, укрывая, чем только можно. Так они и тянулись за отрядами, оглашая сонные лесные дороги криками и жутким бредом…

— Тащи, тащи, — слышал я такой крик под вечер в тёмной тайге, когда низким красным пятном горело между стволами солнце, — тащи, клюёт ведь…

Люди заболевали, слегали, ехали в кошёвках, затем показывались опять, побледневшие, исхудавшие… Врачи констатировали какую-то особую лёгкость, с которой переносился тиф при разнице температуры тела и воздуха чуть ли не в 100°. Были, конечно, и смертные случаи. Так, раз умер утром один из двух офицеров, ехавших вместе в санях. Другой, живой, продолжал целый день ехать с мертвецом. Приехали на ночёвку, живого вынули из саней, отнесли в избу, а мёртвого оставили в санях. На другой день выступили рано, торопились, хоронить было негде, и целый день ехал несчастный больной бок о бок с мёрзлым трупом своего мёртвого товарища.

Выехали на тракт, что идёт по берегу Ангары к Иркутску. Верстах в 16 от города — наша застава. Оказывается, красные установили за рекой два орудия и обстреливают движущиеся открыто обозы. Пришлось свернуть с тракта и ехать вдоль полотна железной дороги, верстах в двух правее. Командир нашего отряда решил обойти Иркутск с юга и свернул на село Благовещенское. Я поехал прямо на Иркутск, намереваясь, если бы он оказался занят, войти в связь с оставшимися там работниками РБП. Медленно, спокойно ползли обозы, зажатые в

узком снежном ложе дороги вдоль ж.д., прикрытые невысокою насыпью. В одном месте полотно шло открыто, и красные направили свой огонь на видимую здесь цель. Над небольшим мостиком то и дело вспыхивали с треском белые облачка шрапнельных разрывов, чересчур, однако, высоких, чтобы быть вредными. Тем не менее был ранен какой-то подводчик бурят. В чужом пиру похмелье…

Невдалеке была какая-то небольшая станция, на которой стоял чешский эшелон. Чехи, сгрудившись на крыше последнего вагона, в бинокли с интересом следили за происходящим, приветствуя криками каждый более удачный выстрел.

Вот и Иннокентьевское, вот военный городок, вот столбик над смыком рельсов: Томская ж.д. — Забайкальская ж.д.

В огромном посаде Иннокентьевском было предвечерне темно. Странно было смотреть на тонкие чулки и шубки горожанок после четырёх месяцев походной жизни. Конский навоз придавал улицам особый стоялый вид. И сколько я ни спрашивал у наших солдат и офицеров — можно ли проехать в Иркутск, чей Иркутск, — никто ничего толком не знал.

Только один чешский солдат, встреченный мной на улице, обрисовал положение весьма отчётливо. Армия проходит Иркутск правее, сегодня уже последний день её прохода. Боя за Иркутск по каким-то соображениям командования нашего не было.

Вот и все радужные сведения пошли прахом. Надо было ехать дальше из этого угрюмого, пустеющего села. Отпустил подводчика, погрузил овёс к себе на сани, муку отдал хозяйке того дома, где пил чай.

О, это чаепитие! Накануне приезда моего в Иннокентьевской сгорело здание женской гимназии, и нашими солдатами был растащен кооператив. В той смутной вечерней квартирёнке, где я пил чай, как раз ютились семьи низших служащих из гимназии и участники кооператива. Злоба, досада, негодование на нас, жалобы на свою судьбу, всё это смешалось вместе, давая пряный букет…

Умилостивив этих добрых русских людей мукой, которая слишком тяжела была для нашей пары, тронулись мы на деревню Марково.

Природа не так грозна в соответствующей ей её обстановке. Здесь же чёрная мутно-белёсая ночь развёртывалась вблизи огромного притаившегося города и освещённой калильными огнями станции, которую вместе с золотом крайне ревностно охраняли чехи, придерживая здесь свои эшелоны. Чёрной жуткой массой слева нависал мост через реку Иркут, справа белела она сама. Хотя мы ехали уже не в плотной массе колонны, но среди

отдельных саней, за дорогу не приходилось очень тревожиться. Она стлалась, как укатанная, мягкая снежная канава. Проехав линии береговых огней каких-то селений, поднялись мы вправо и стали подыматься по увалам, поросшим лесом. А со всех сторон такого пути тоже ровная, снежная, серая ночь, крики из саней, иногда бред и скрип, бесконечный скрип полозьев.

После полуночи показалось, наконец, и Марково, набитое до отказу лошадьми и людьми. В какой-то халупе, откуда выезжали отдыхавшие там, устроился на отдых. Пожевали мы с Магидулиным хлеба, попили чайку, и сон тяжёлый, крепкий и чуткий, схватил нас на полу, с винтовкой в руках, под неуёмный плач ребёнка на печи, под бормотанье старухи-хозяйки, искавшей под нами шапку своего внука.

Когда побелели звёзды — вышел. Кони съели весь засыпанный овёс и вздрагивали в дремоте. Разбудил Магидулина, приказал запрягать.

Сразу за Марковым дорога уходит под гору, чтобы далее подняться на огромную, лбистую, лесистую гору. И на полугоре пришлось нам остановиться.

И тут, после тысячевёрстных переходов, в 2-х верстах от красных, всё одно и то же, одно и то же. Есть от чего в отчаяние прийти, от этой мистической русской неумелости организоваться! Широким веером, обращённым кверху, раскидывались по лбищу на розовом рассветном снегу тучи саней. Ясно было, что вверху где-то затор. Долго я дожидался движения вод, но бесполезно. Пришлось идти «проявлять инициативу».

Пройдя с версту в гору, вижу, как вытянувшиеся по двум дорогам в ленту сани скопились в комок в том месте, где две дороги переходили в одну. Каждый из близ стоящих возниц, а особенно каждая вожделела первой броситься на этот широкий открытый путь. И с каждой головной парой буквально происходило следующее: слетая в узкий снежный жёлоб одной тропы, упряжки сплетались в одно, и начиналась зверская, неистовая русская ругань.

Самовольно, насильно вмешавшись, удерживая одну запряжку, один отряд, пропуская другой, всё время неистово ругаясь, невзирая на чины и звания, я в полчаса достиг того, что подъехали мои сани.

Я не знаю, кто был тот полковник, который, сидя с женою в своей кошёвке, изредка испускал это позорное слово «понуждай», а в конце концов привязался ко мне с требованием указать, на каком основании я распоряжаюсь. Произошло крупное, пересыпанное солью объяснение, но на счастье подошла его очередь и он проехал мимо.

В получасе езды — буквально та же история! Дороги рассыпались на две, для скорости — поехали по двум. Потом опять они слились в одну с той, однако, значительной разницей, что в месте их стрелки образовалась снежная, полусаженная яма. И опять мчавшиеся взапуски сани низвергались в эту яму, с угрозой искалечить ноги лошадям, путая, тратя время даже на распряжку, чтобы проехать вперёд, заставляя, таким образом, весь остальной хвост дожидаться.

Это было невозможно, но почти ничего невозможно было сделать. Возницы с злыми, упрямыми лицами неслись к этой яме, и дважды случилось так, что одни сани упали на другие, в которых лежало двое больных. Ужасные крики послышались оттуда. На моё требование оттащить сани в сторону, чтобы, не мешая другим, производить чинку упряжи, возница-офицер вытащил револьвер…

И ведь каждый из этих добрейших людей думал, что то, что он делал, было единственно правильно… Никакой, ни малейшей инициативы…

Стало лучше, когда выехали на тракт. Солнце уже взошло, и аметистами спокойно сияли окружающие Иркутск сопки. Синью были налиты чащи долин, и на розово-хрустальном снегу такой чистенький, такой близкий, под сияющим золотом колоколен на берегу лазоревой Ангары лежал утренний Иркутск…

Словно и не было гражданской войны, словно не было невозможности прямо скатиться туда с лесистых склонов, явиться в уют и налаженную жизнь города…

Нет, нельзя, и вот свидетели этого. Среди зелёных сосен, на девственном снегу, в только что захваченной в Иннокентьевском жёлтой тёплой одежде раскидано было 8 убитых — зарубленных. Один ещё дышал, и на его раскрытом горле, как безжалостные розы, вскипали огромные пузыри ало-красной крови, чтобы сейчас же лопнуть и мелкими рубинами осыпать сияющий снег. Синие руки сжимались и разжимались.

Это были солдаты нашего Тобольского полка, уличённые в сношениях с неприятелем.

И мимо них лежала наша дорога…

XI. Через Байкал в Читу

После целого мучительного ряда подъёмов и спусков, сделавши какой-то необыкновенный сложный последний спуск, около 3-х часов дня выехали мы на ст. Михалёво. Маленькая станция, зажатая между Ангарой и крутыми берегами, она честно вместила в себе то, что могла вместить. И станция, и селение рядом были буквально заставлены конями и санями. Некоторые части, приютившиеся на улице, тут же варили своё незамысловатое хлёбово. На площади, перед домом какого-то официального сельского лица делили захваченные у красных в Иннокентьевске отличные английские попоны и одеяла. И над всей этой обыденно повышенной жизнью висел глубокий зимний белый снег. Ангара, эта быстрая, неуёмная река на наше счастье уже встала, и вдали от берега среди бело-синей равнины льда чернели барки и пароход.

Я не нагнал своего отряда, с которым расстался перед Иннокентьевской, и, как одиночке, найти себе приют было мне чрезвычайно трудно. Поэтому мы с Хамидулиным поехали по линии ж.д. вверх по р. Ангаре, чтобы найти себе пристанище в верстовой будке железнодорожного сторожа.

Это нам и удалось в версте от станции. Там, в той будке, было уже несколько офицеров, следующих своей компанией, один из них сыпнотифозный, затем ещё два-три одиночных с жёнами. Одна жена чрезвычайно сильно протестовала против новых лиц, потому что собиралась… стряпать пельмени. Подсчитали с Хамидулиным, сколько сделали мы за день. Оказалось, около 90 вёрст. Коням нужно было дать отдохнуть, почему мы решили выступить утром.

К вечеру выехали все наши соседи. Мы остались одни. Ночью, около 2-х часов проснулся я и, повинуясь какому-то тёмному, совершенно необъяснимому, звериному голосу в душе, приказал запрягать.

Где и когда русским людям, особенно русским интеллигентам до настоящего времени приходилось видеть то, что пришлось увидеть нам с Хамидулиным в ту фантастическую ночь!

Выехали мы около 3-х часов утра, под бурым, низким светом ущербного месяца. Опять, как фарфор, сияла поверхность Ангары. Впереди темнело Михалёво.

Михалёво было уже совершенно пусто. Только навоз да кострища свидетельствовали, что тут недавно были люди. Кой-где мерцали по избам лучины, лаяли собаки.

Поворотили через Ангару. Невдалеке — опять рассыпанные в беспорядке трупы убитых; то были тоже зарубленные, и кровь казалась чёрной на буром месячном снегу.

Едем дальше. Навстречу в западном направлении скачут трое всадников… Курки у нас взведены, и мы видим, как и те держат винтовки наизготовку. Кто это был, — наши ли, нет ли — так мы и не узнали…

Долго был путь по льду у правого берега быстрой Ангары. Полыньи булькали своими чёрными спинами. В нескольких местах — эти известные печальные монументы нашего пути — головы лошадей, торчащие из-подо льда.

Долго ехали мы под какой-то всё приближающийся шум. И после того как мы проехали с версту по берегу, свернувши со льда в том пункте, где было нужно, — мы поняли причину шума. На Ангаре шла наледь — вода из Байкала, четверти на две, вся окутанная туманом, шла, покрывая собою и дороги, и полыньи. Задержись мы на полчаса в Михалёвке, едва ли бы удалось нам выбраться!

Быстро мчались мы к Байкалу. Теснина р. Ангары вся была полна туманом от прорвавшейся с Байкала воды. Светало. Бронзовые туманы, окутывавшие противоположные горы Ангары, стали свиваться в умопомрачительные зелёные лесистые веси, и вдруг нестерпимо засияли розовым светом серые шелка этих туманов.

Взошло солнце. Показался Байкал.

С чем сравнить эту бесконечную белую, льдистую поверхность Байкала, всю обставленную нежнейшими жемчужными переливами Кругобайкальских гор. Невдалеке казались они — вот-вот, а между тем до них было до 60 вёрст. Всё это ожерелье под бледно-зелёным морозным небом сияло красными, голубыми, зелёными — аквамариновыми тонами, огнями такой изумительной тонкости, нежности и прозрачности, что на сияние каких-то сказочных, небывалых, сплошь жемчужных дворцов походило оно.

А ведь кроме всяких этих красот — это был Байкал, желанная грань, отделяющая царство красных от царства белых. Ведь по мере того как уходили мы на восток, всё резче и резче выделялась фигура атамана Семёнова.

Людям, не знающим, где преклонят они вечером голову, людям обречённым, людям, уходящим от чего-то кошмарного и гнусного, — было всё равно, где найдут они избавление, где стоит тот жертвенник, за рога которого они схватятся. А кроме того, разве первые пункты, первые ожидаемые этапы не обманывали? Разве надежды на Ново-Николаевск, Томск,

Красноярск, Иркутск, наконец, не пали воочию под руками глупцов, предателей и убийц?

Армия шла к атаману Семёнову как к тому последнему оплоту, последнему, который оставался ещё на Дальнем Востоке. Долетали уже быстрые вести о переворотах во Владивостоке, но ещё верилось в союзническую помощь японцев и в безжалостную силу атамана, и массам определённо импонировало это имя.

И от всего этого нас отделял лишь Байкал, сияющий жемчугом в это ясное, февральское утро…

Село Никольское по правому берегу р. Ангары и, наконец, с. Лиственичное у устья р. Ангары. Там остановились, встретились со своим отрядом, налетевшим на красных в с. Благовещенске, и шумный самовар объединил почти весь «командный состав» за беседой. Так прошёл день.

На другой день для ориентировки мы с А. Н. Полозовым и с седым воякой добрейшим Вейнбергом двинулись на ст. Байкал к чешскому коменданту. Объехали огромную полынью, у истока Ангары проехали мимо замёрзшего ледокола «Ангара», мимо полуразрушенной эстакады, куда, бывало, приставал славный «Байкал», и вылезли прямо на берег у маленькой, прижатой к скалам, станции Байкал.

Боже мой, сколько афиш было расклеено на этой станции и какими только словами не называли нас на них! И убийцы, и грабители, и тёмные силы! «Есть от чего в отчаяние прийти». Все силы, вся энергия трудового народа призывалась на борьбу с нами, все призывались на истребление «остатков каппелевских банд». Чех-комендант ещё спал, и мы имели довольно времени, чтобы вычитать все эти перлы революционного красноречия.

Прохаживаясь по платформе, увидел я троих людей, по виду мастеровых. Прямо волками смотрели они на нас, на наши вооружённые фигуры, и было страшно за то количество ненависти, которое горело в их глазах…

Я подошёл к ним. При моём приближении один из них совершено определённым жестом засунул руку в карман полушубка.

— Ну что ж, братцы, долго ли ещё будем воевать? — возможно весело спросил я их.

Те насупились и стояли молча. На повторенный вопрос один сказал:

— Ну, кончайте вот сами, а мы за вами.

— А что у вас здесь на станции порасписано? — И такие-то мы, и сякие-то… С такими-то людьми ведь мира заключать не приходится…

— Вот и дерёмся…

— Доколе ж драться? Пока сполна всех не перебьём? Может, договориться как-нибудь можно?..

— Да вы вот не договариваетесь, да уходите…

— А почему уходим?

— А Бог вас знает… Умны, должно быть…

Меня взорвало…

— Ну, умны, не умны, а вас не глупее. Не хотим с большевиками жить — жили довольно.

— Да и мы с ними жили — ничего.

— Так что ж ты думаешь, неужто вся эта сила, что мимо вас который день идёт, — всё это зря взбаламучено? А может быть, и мы кое-что понимаем? И вот, паря, попомни: придут большевики, попробуешь, — тогда и нас поймёшь… Понял?

— Понял.

— Прости.

Мы, пожав друг другу руки, расстались. Чешский комендант ст. Байкал оказался весьма любезным человеком. Узнал нам по диспетчеру, что со станции Слюдянка по неизвестному направлению вышел отряд красных в 1000 человек, что ст. Мысовая занята японцами, окапывающимися на ней.

Со стороны Никольского послышались выстрелы; то к нему подходили уже красные части. Быстро переехали мы к себе и выступили вдоль западного берега Байкала до села Голоустовского.

В это время заставы Добровольческой дивизии вели уже бой с красными, прикрывая отход.

Поехали. В серо-жемчужной, снежной мгле Байкала слева вставали отвесные, серые, мрачные Кругобайкальские горы, вплотную подходящие к самой воде. Противоположного берега сегодня не было видно. Ветер дул нам в лицо, и по озеру летела танцующая, лёгкая, белая позёмка, не только обнажающая лёд, но и сдувающая его. Открытый лёд сиял, как зеркало. Где дорога была заснежена, сани ходко подавались вперёд. Где был открыт лёд — было мучение для наших по большей части некованых лошадей.

Некованым был и у меня коренник, а у пристяжки шипы сбились. Неловкий, неосторожный шаг, накат пристяжной, бегущей по снегу, саней, и огромный конь падал и беспомощно оставался лежать. Приходилось его подталкивать к снежному острову, чтобы ему было где прихватиться ногами, и подымать.

За 45-вёрстный рейд до Голоустова пришлось подымать лошадей раз пять. И сколько их осталось лежать в спокойной позе на льду, подогнув к зеркальному льду голову, словно смотрясь на своё отражение, засыпая в последнем смертном сне…

С приближением к Голоустову вьюга стала разыгрываться всё больше; страшно было видеть, как чью-то брошенную кошёвку с поднятыми оглоблями ветер унёс по льду в серебряную мятущуюся пыль вьюги… Какой-то поезд мертвецов…

Село Голоустовское оказалось маленьким селом, приютившимся на пятачке, образованном отошедшими от берега горами. Переполнено оно было гомерически. В избах не было места, с Байкала возвращались из-за вьюги, и мы поэтому разбили бивуак на кладбище вокруг крохотной церковки.

Стемнело, загорелись костры. Долго мне будет памятна эта ночь среди угрюмой природы под завывание отчаянного ветра. С Байкала всё время доносилось громкое придушенное, тяжкое уханье — то садился, ломался его толстый лёд.

Всё село было погружено во тьму, ибо те отряды, которым удалось забраться в избы, улицы позанимали своими подводами, а костров не раскладывали. Бивачными огнями сияло только кладбище да околицы. Опыт прошедшего дня не минул даром: везде разысканы были кузницы, летели искры у горнов, гремели удары молота: то ковались подковы и подковывались лошади для завтрашнего перехода через Байкал.

Спотыкаясь через тёмные сани под вой ветра, полночи проходил я, добиваясь ковки. Наконец, с некоторым скандалом, но это было улажено. Вернувшись к месту стоянки, попал к ужину: наши убили молодого жеребёнка, сварили его в котле вместе с овсом, и эту похлёбку ели мы в часовне кладбища, озарённой несколькими свечами. Вооружённые люди в шапках сидели, лежали на полу — вообще расположились, кто как мог, курили, и темны и строги были сквозь табачный дым лики икон.

Наутро с рассветом стали выступать по расписанию начальства. Огромным треугольником с вершиною на тоненькую дорогу вытянулось сразу огромное количество саней — до нескольких тысяч… Лёд под ними ухнул, и вся эта орава понеслась в разные стороны. Несчастья, однако, не случилось, лёд выдержал.

Видя, что переправа задерживается, наш командир отряда стал искать новых путей и решил идти не на Мысовую, а на Посольскую, следующую станцию на берегу Байкала Кругобайкальской железной дороги. Расстояние было то же, изменено было лишь направление радиуса, да пришлось бы самим торить дорогу.

Взяли проводника, поехали. Путь оказался труден — нужно было пробираться через торосы, объезжать их; лошади плохо бежали по чистому льду. Отъехав верст 10–12, мы увидали, что мысовская дорога совершенно пуста: вышедшие на неё уходили

очень быстро, а вытянуться на нее из-за затора было чрезвычайно трудно. Мы свернули туда, и около 5 часов вечера во мгле замаячили горы восточного берега.

Это был убийственный переход. Дул отчаянный ветер, но на наше счастье не было мороза и снег лип на дорогу. Бесконечными рядами проносились пред нами лежащие, околевающие или уже околевшие кони… Около 300 штук насчитал я их и бросил считать вёрст за 15 до берега, где они лежали особенно густо. Видны были несколько голов, зажатых в трещину, вроде как бы шахматные фигуры. Но пуще всего уныние наводили бесчисленные брошенные сани и всюду постепенно бросаемые ящики со снарядами. Полураскрытые, блестящие, аккуратные, так не вязались они с этим хаосом и разрушением.

Пришлось подобрать себе в сани со снега одного сыпнотифозного — бедняга свалился со своих саней — замерзал, говорить не мог уже и только чуть двигал рукой к летящей мимо него веренице саней. Но суров закон великих бедствий — упал — пропал. Кое-где лежали и людские трупы.

Подъехали под какой-то железнодорожный мост — Мысовая. На станции — плакаты, приказы атамана Семёнова, в которых он приветствует нас как героев и офицеров производит в следующий чин… Сведения о нас он получил от пробравшихся вперёд под видом поляков генерала Н. М. Щербакова и полковника М. Я. Савича.

Какой контраст с только что утром читаной литературой на ст. Байкал!

Японцы, действительно, охраняли Мысовую. Они глядели на нас с любопытством и так же рассматривали мы их любопытные меховые шапки. Из уст в уста передавалось, что сюда подаются Читой вспомогательные поезда с фуражом и складом и что даже тут есть милиция.

И так сильна была среди этих простых, но твёрдых людей жажда известного государственного порядка, что такие факты принимались как откровение.

Спокойно, хотя и ненадолго, вздохнула армия, очутившись, наконец, на ст. Мысовой, но вместе с этим облегчением начались и известные затруднения.

Во-первых, всё начальство почувствовало вновь себя на твёрдом базисе. Налицо была железная дорога, налицо были восстановленные известные взаимоотношения с высшей властью. Опять начался «ренессанс генералов». Под них, под каждого отдельно, стали заниматься лучшие дома. Мы, прибыв одними из последних, принуждены были сбиться в числе человек сорока в маленькую квартирку железнодорожного рабочего, где и

расположились на полу. И опять полились со стороны обитателей жалобы на дороговизну, на отсутствие порядка, полились рассказы про местных интервентов-американцев, незадолго только ушедших отсюда! «Карманы у них полны денег, — говорил один рабочий, — а голова разными мыслями. Баб и девок напортили — страшное дело сколько».

С другой стороны, и армия, очутившись в таком мирном положении, не смогла сразу встать на вполне мирный путь. Привычка к «спешиванию» шуб, сена, фуража осталась неистребимой. Стали поступать жалобы на исчезновение таких мирных вещей, как серебряные ложки. Конечно, всё это не могло быть отнесено на плюс, и ропот жителей отчётливо изобразился в заявлении одного местного полковника, никогда не выезжавшего из своего городка и рассказывавшего, что они тут «хорошо жили» и что мы — смутили их покой.

Через день я уехал на санитарном поезде: переход через Байкал стоил мне ревматизма, с которым я лежал потом в Читинской общине Красного Креста.

Итак, армия осталась сзади. Из этой небольшой группы уверенных в себе, крепких людей, решившихся и отчаянных в своём решении, безусловно и прямолинейно практичных, даже жестоких в достижении своей цели, — опять переход на открытый воздух общего мнения, опять сомнения, споры, предательства, интриги и политика…

Сел я в вагон к коменданту поезда, некоему полковнику с женой, только что сделавшими наш поход. Ни одного слова нельзя было услышать от них, кроме рассказов о том, как утром они вставали, выезжали, как надо всем царил единый крик: «Понужай!». Теперь вот они в вагоне, едут к атаману, и я не видал ни одного человека во всю мою жизнь, который так бы глупо точно исполнял свои обязанности в благодарность за это. Ему, например, было запрещено подсаживать в вагон военнослужащих, и он отказывал всем, ссылаясь на то, что «его расстреляют». Этими расстрелами он просто сладострастно грассировал, как-то радуясь, веруя, что вот тут-то есть твёрдая власть.

На одной из станций к нам обратился один доктор из Ижевской дивизии, у него пала лошадь, сбрую он тащил на плечах, и он просил подвезти его несколько станций, чтобы догнать свою дивизию…

— Всякий офицер, севший в поезд, будет считаться дезертиром, — важно ответил полковник.

Доктор сказал ему дурака и ушёл в сербский вагон, шедший в составе нашего поезда, где его и посадили. Наш же комендант неуклонно проводил свою политику.

К вечеру подъехали на Дивизионную, где должен был выгружаться наш санитарный поезд. Станция была заставлена составами чешского высшего командования; между прочим, и поезд генерала Жанэна стоял тоже здесь. Там увидал совершенно случайно эшелон «Чехословацкого Дневника» и пошёл «информироваться». То, что я узнал в долгой беседе от д-ра Гербека, редактора «Чехословацкого Дневника», и ещё от одного, причастного к редакции доктора, — не поддаётся описанию.

Перво-наперво я справился, какого он мнения насчёт положения вещей здесь.

— О, латентный большевизмус, — воскликнул доктор Гербек. — Не пройдёт и двух недель — атамана Семёнова не будет. Да и сейчас одна станция (?) занята красными, вы через неё не проедете… Офицеров снимают.

На мой вопрос, как же вообще мой собеседник представляет себе положение, он ответил мне, что положение «реакционеров» безнадёжно проиграно. Что тот режим, который держится до сих пор военщиной, должен быть сменён земским, общенародным.

Необходимо при этом отметить, что слово «земский» по-чешски имело, очевидно, какой-то более широкий смысл, нежели по-русски, почему это слово и пользовалось у них таким успехом.

К такой-то власти и стремился, по словам доктора Гербека, штабс-капитан Калашников.

— Но скажите, пожалуйста, доктор, понимал ли он, что ему не удастся удержать власти в своих руках и придётся передать её налево?

— Да, беседуя с ним накануне восстания, я слышал от него, что самое страшное для него будет — если придётся поступить на службу в красную армию. И он, и его сотрудники, на случай победы большевизма, решили уйти в деревню, в учителя, кооператоры и т. д.

Таким образом, не оставляло сомнений, что эти чехи знали о готовящемся перевороте, и где — не в их ли штабах зрел и наливался он?

— Но скажите, пожалуйста, — добивался я, — вы-то сами верили, что власть в Иркутске и вообще на Дальнем Востоке останется в руках Политического Центра? Неужели не смущала вас та дряблая масса обывателей, которой решительно всё равно, куда бы её ни влекли?

— Да, я удивляюсь вашей массе, — сказал д-р Гербек, — она как будто нисколько не заинтересована в том, что происходит вокруг. Знаете, я видал семьи, которые начали пульку при старом правительстве, играли при перевороте и кончили при новом. Обладая такой инертностью, трудно что-нибудь сделать для

государства.

— Так если вы понимали это, то почему же вы толкали Калашникова на предательство этих масс большевикам?

— Мы считали это лучшим уроком для масс, а во-вторых, это нам нужно в наших собственных интересах — эвакуации.

Я напомнил тогда меморандум чехов представителям иностранных держав, в котором они заявляли о невозможности служить внутри Сибири, где царят порки, расстрелы и т. п. Напомнил о поведении самих чехов и спросил, было ли и это также дипломатическим ходом.

— О, — ответил доктор Гербек, — конечно, мы сами отлично понимали, что такое военная необходимость, и к ней прибегали… Но внутри Сибири нет уже войны. Здесь уже образовался целый организм, и дело этого организма — выбрать себе голову — правительство… Конечно, опытов будет ещё много…

Я откланялся, проехал до Верхнеудинска в местном поезде и там на вокзале увидал поезд полковника Крупского. Специальный, вывозящий на восток детей и жён военнослужащих армии атамана, он был увеличен несколькими отдельными вагонами, где ехали ген. Сахаров, ген. Войцеховский и т. д. и т. д. Поезд плотно стоял на вокзале, и было неизвестно, когда он пойдёт. В настоящую же минуту всё начальство находилось на банкете, устраиваемом командующему армией начальником Верхнеудинского гарнизона.

Устроившись в поезде, стал ждать открытия «пробки», с одной стороны, в виде банкетов и пиров «по случаю», с другой стороны, в виде освобождения впереди станции от красных. На другой день было морозное, ясное утро, когда я с мучительной болью в ногах бродил по Верхнеудинску. Всё было странно и незнакомо. И сопочный пейзаж вокруг, и синева воздуха, и японские разъезды, и китайские лавчонки с их разноцветными тряпочками, и мирное шествие гимназисток и гимназистов, а пуще всего, это — спокойная жизнь.

В парикмахерской, куда пошёл побриться, разговор о подходящих каппелевцах. Имена, фамилии фантастических генералов так и сыпались. Рассказы о подвигах, один другого значительнее, — разливали морем. И откуда что бралось?

Зашёл в магазин, купил какую-то книгу. Книгу! Докуда доехали! За 4 месяца пути во власти великого русского бога —

Бог ухабов, бог метелей,
Бог убийственных дорог,
Бог ночлегов без постелей,
Вот он, вот он — русский бог.

До такой степени отвык от всего этого, что странным, душным, скучным казался этот более-менее налаженный быт.

Конечно, белья купить негде. Спасибо, надоумили обратиться к Дамскому Комитету. О, Дамские Комитеты! Что бы было с Русью, коли бы не было на Руси дамских комитетов и их микроскопически великих дел. Милые дамы-благотворительницы в белых халатах, если не ошибаюсь, в здании Общественного Собрания, снабжали нас, оборванных, грязных, всем необходимым, нисколько не смущаясь… Надо отметить, мне решительно повезло. Когда я получил свой пакет, пришло распоряжение какого-то главного начальства — упорядочить дело раздачи белья, отпустив предварительно некоторую долю этому самому начальству. Общая выдача же отныне должна была производиться по именным лишь спискам из частей, за подписью командиров оных.

Велика штука получить пару подштанников, рубаху, портянки да полотенце… Нет, так и тут нужно «бумажку»… за «подписом».

И вспомнился мне случай в пути… В поезде Американского Красного Креста до Ново-Николаевска ехало порядочное количество белья и перевязочных материалов. Я обратился туда за бинтом для Ауслендера. Уполномоченный м-р Джонсон смотрел на дело очень просто: дал мне дюжину бинтов, две смены тёплого белья… При следующей встрече я опять пошёл за бинтами и натолкнулся на следующую картину: какой-то очень полный полковник, держа на руках несколько смен отличного белья, просил весьма настойчиво дать ему ещё несколько пар, уверяя, что у него ничего нет. Джонсон грубо отказывал, говоря, что очень много белья оставили в Омске по вине русских военных властей и что больше он дать не может. Но так как полковник продолжал настаивать, он дал ему ещё несколько пар — до полдюжины…

Получив просимое, полковник весьма приятно осклабился, раскланялся и спросил:

— Расписочку прикажете написать?

— Нет, не надо, берите так, — был ответ.

О, эти привычки к расписочкам. И ведь воруют при них не меньше…

Немилосердно ныли ноги, когда после бани пришёл в гостиницу… И ночлег в гостинице, в кровати, правда, с мелкими клопами, но в простынях и с подушкой, густо усыпанных японским гениальным порошком (хризантема!), с шубой, впервые мирно висящей на шаткой двери…

Когда ж пространствуешь, воротишься домой,
И дым отечества нам сладок и приятен…

Наконец, поехали. Всё выше и выше стало вздыматься от земли олимпийское начальственное небо. Проехали опасную станцию, и наш паровоз совместно с броневиком умчал одни начальственные вагоны экстренно в Читу, где был уже готов опять какой-то обед. Медленно тянулись мы до Читы; прибыли ночью, с крушением. Никаких хором «каппелевцам» предоставлено не было, или, по крайней мере, комендант обещал узнать это на следующий день. Переночевал в вагоне и устроился, наконец, в Красном Кресте, благодаря любезности доктора И. А. Болтунова.

Были морозные, ясные февральские дни, бесснежная гололедица. И ползая кое-как по Чите, оставалось собирать только лишь сведения о своих соратниках:

Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.

Чита в это время движения Омской волны представляла некоторый регистрационный пункт — кто проехал, кто ехал и кто не доехал… События Омска за 4 месяца уже значительно поблёкли. На первом плане стояли события Иркутские. Эвакуация из Омска для тех, кто успел добраться до Иркутска, была, собственно, пустяком и прошла отменно благополучно; про Иркутск же этого сказать было нельзя, так как борьба за него продолжалась довольно долго, и в это время уходило время для ухода из Иркутска. Поэтому уход этот не для всех равно был лёгок, а так или иначе, именно падение Иркутска, а не Омска, как бы являлось олицетворением падения Омского Правительства.

Одним словом, уход из Иркутска занимал доминирующее положение, и в Чите стоустая молва ловила и называла тех, кто проследовал именно Иркутск. Ужас же положения тех, кто остался ещё сзади, кто был захвачен красными до Иркутска, стал выясняться, осаживаться только по окончании транспортирования Иркутска…

Таким образом, «далече» оказались многие. Из тех же, которые были налицо, значительное число, все министры проследовали весьма быстро через Читу, не задерживаясь в ней. Общественных деятелей выехало мало, и в Чите остановились люди только определённо правого лагеря, вся заслуга которых была в том, что «мы говорили». Здесь уже находился князь А. А. Крапоткин, подъехали и другие. И вот, на фоне

своеобразного читинского уклада, на фоне специфической военной канцелярии, но не обычно распущенной, а скованной внутренним единством своего казачьего уклада, закалённого и закреплённого в годы гражданской войны, начинают пускать корни и слабые ветви отпрыски омских речей и подъёмов последнего периода.

Если Омск как-никак, а представлял из себя однородную массу, скипевшуюся идеологически-открыто вокруг одного пункта, то про Читу нельзя сказать этого. Условиями самими поставленная в необходимость находиться в более спокойной атмосфере, пользующаяся широко чужестранной помощью, ловко и макиавеллистически управляемая, — она не могла дать ни резонанса, ни отзвука тем особенным словам, которые родились в её аудиториях от «беженцев». Это было видно ещё и тогда, в дни нашего первого пребывания в Чите, и это осталось и потом. Общественности не суждено было расцвесть в Чите, хотя всё лето 1920 года было наполнено судорожными попытками таковой.

Вокруг Читы остались и осели, кроме того, учитывающие момент, и это была некая новая группа, во главе с омским министром А. М. Окороковым, сменившая начавших разбегаться уже непосредственно семёновских деятелей.

Не могла в этом деле помочь и забитая, ничтожная читинская пресса, находившаяся под анекдотическими цензурными условиями. И вполне понятно, почему первый вал, осевший было в Чите под атаманом, постепенно схлынул потом в сторону Харбина. Чита фатально, несмотря на акт 4 января за подписью Верховного Правителя, передавшего атаману Семёнову власть, не могла стать заместительницей Омска; и российской общественности, ещё сохранившей кое-какие остатки свои, было суждено долго веяться по ветру, ибо ни интернациональный Харбин, эта китайская Женева, ни сбитый с толку Владивосток не могли стать для неё центром.

XII. Итоги

Пора подвести итоги.

Как стая дантовских теней, пронеслись эти воспоминания, но не холодных и бестелесных, а схожих с теми тенями, которые вызваны были Одиссеем из Аида и, толпясь у ямы, жадно пили кровь. Кровь давала им способность речи. Не мертвы и наши тени воспоминаний: слишком много в них крови, они тоже не могут молчать.

То, что описано здесь, — должно быть отнесено к чистейшему виду демократизма, если употреблять это слово в несколько необычном значении. Эти бедствия переносил весь народ, демос, без различия классов и национальности. Явления беженства, гражданской войны, поголовного мора, случайных смертей и т. д. слишком массивны, слишком касаются самих масс, чтобы к ним можно было подойти с точки зрения классов, партий, национальностей. Бедствия эти настолько велики, что перед ними невольно пасуют эти столь обычные в обыкновенной, так сказать, жизни политические категории.

И этот факт пасования политических категорий этих — факт колоссального значения. Он родит подлинный национализм, любовь к своей нации, своему народу, которому, собственно говоря, совершенно безразлично, от чего страдать — от правых ли, от левых ли, и выдвигает повелительно на первый план идею народной солидарности — идею, которая давно уже владеет умами лучших людей и внедрить которую в сознание могут только, увы, беспощадные бичи самой действительности.

Как же это происходит?

В самом деле. Вспоминая вышеописанное, вспоминая лично пережитое в Совдепии в 1918–19 годах — невольно изумляешься — да как же могли люди жить при этих условиях и как могут продолжать жить. Бедствия неописуемы. Наши рациональные мерки отказываются быть приложенными к явлениям этим — вот точно так, как никакой обычный «экономист» не сможет объяснить, как это люди с бюджетом в 3000 рублей в месяц могут жить при цене хлеба в 10 000 рублей пуд.

Что при таких условиях, при таких ломках в обществе может внести с собой в умы наша привычная идея партии, то есть некоей части организованного целого, партии, как понятия от всех бед, в этой самой целостной организованности находящей основание своего бытия, идея партии как пути к устроению «общего блага»? Что при таких условиях может значить наш привычный «класс» как определённый слой определённого

общества — ибо само-то общество никак не может почесться лишь количественным собранием людей, а должно иметь какую бы то ни было организацию — чего оно и лишено в годы народных бедствий. Откуда же и взять эту самую организацию, если состояние гражданской войны — как раз кровавое отрицание таковой?

В русском обществе умерли и класс, и партии, как умерло и само государство. Может остаться лишь только идеологическая тень таковых. И если по этим теням выходит непонятно, как же можно жить без таковых — определённого правопорядка, без всего того навыка социально-политических отношений, — то это расчёт не менее праздный, нежели расчёт и смета на месяц по бюджету совдепского гражданина.

Значит, можно, если мы живём в таких условиях.

Виктор Гюго указывает, как над страшным котлом Французской Революции, над которым клубился кровавый пар, мало-помалу начали играть светлые лучи, из которых, в конце концов, и вышло современное общество.

Любители исторических параллелей, исторических аналогий делают на этом известные выводы свои. Будет некогда, мол, день, и восстанет великая Троя, так что, собственно, и нам беспокоиться-то очень не приходится.

Да, но даже по ним и самим восстановление это ожидается только в «конце концов», до этого же конца котёл должен кипеть, подобно адскому котлу, кипеть всеми ужасами распада, и поистине холодное сердце нужно иметь, чтобы сидя на берегу адского огненного моря спокойно ждать погоду, спокойно констатировать неизбежность и закономерность исторического процесса.

Эта интеллигентствующая устряловщина глубоко органически противна всякому ясному сознанию, не потому что она «не права». Быть может, она и права, да кроме того, всякие искатели истины у нас как-то особенно превозносятся, хотя бы они и были типа Кифы Мокиевича. Истину пусть ищет всякий, но на сей предмет, на то, чтобы не подвергаться тяжким упрёкам в бесчувственности, необходимо запастись немногим — олимпийским спокойствием Архимеда, которого убили за изучением его кругов.

Вот этого малого-то и не хватает! Перед всё растущим распадом, перед гулким грохотом всё падающих общественных и государственных норм и социальных отношений наши Архимеды бегут не в железное лоно математики и её формул, а в шаткую, но мягкую постель, которую стелет история. Аналогии, необязательные и недоказательные, на один момент дают схемы,

неподвижные кинематографические снимки с несущегося процесса, зажимают в привычные политические и исторические категории клочки пены бурного моря — и в мёртвом, мумифицированном виде дают возможность на минуту спокойнее жить и дышать среди этих приручённых, заключённых в закон мумий. Кто имеет желание в периоды революции говорить о государстве, о партиях, политике — тот, конечно, может это делать, но говорить о них он может только как о чистой идее. Как только он попробует говорить о них как о чём-то конкретном — так сразу видно, как они распадаются под свежим дыханием исторической бури.

Сколько, например, мы во время нашей революции выставляли разные образования как государство Российское. Вспомним Россию Керенского. И всё-таки она пала, несмотря на акт, фиксирующий даже форму правления у этого государства как «республику».

«Республика» эта упала так же быстро, как и те многие всероссийские и провинциальные правительства, которые возникали, как пузыри на воде после дождя, и так же скоро лопались. Удивительно в этой их смене одно — необыкновенная готовность известных кругов к их образованию, «влеченье, род недуга». В основе же это — одно — желание думать готовой формой, в готовом искать знакомых элементов. Пусть не остаётся ничего, кроме советской власти; ничего, обойдутся и с нею, если нет выбора! В результате эти робкие души почиют на её Прокрустовом ложе — но что же делать, если кроме неё нет никаких признаков государственности!

Но распад непредотвратим. Напрасно всероссийские эсеры в параграфе 16 своей декларации от 20 августа 1920 года указывают на то, что они, не выступая в «данный момент» с вооружённой борьбой и занявшись «подготовкой масс» к грядущим событиям, тем не менее не могут допустить никакой «контрреволюции» и должны принимать для ликвидации её все меры взрыванием изнутри, «как то блестяще удалось во время правительства Колчака».

Так ли это? Действительно ли в ней, в катастрофе этой, виноваты эсеры, проявившие в ней, как пишется в разных партийных отчётах, «колоссальную выдержку и дисциплину»? Мы видали картину развала. Мы видели, как фронт разваливался сам, как его разваливал всякий, кто хотел. Мы видели распри командного состава, его бюрократичность, возмутительную незаботливость снабжающих частей, поголовное почти отсутствие гражданского мужества, нелепый саботаж тёмных людей, мечтательность и непрактичность правящих кругов.

Развал происходил стихийно. Да просто и не умели не разваливать! Вся наша история, вскормившая наш роскошный, ленивый, сытый своеобразный быт, вся она была тут, в этом испытании массовой личной храбрости и предприимчивости на ветру истории и гражданской войны.

Эсеры ли виноваты в том, что глупый поручик военный контролёр станции сам не знал, зачем он поставлен? Эсеры ли виноваты в том, что телеграмма об умирающих русских людях не была передана центральному правительству только потому, что она «частная»? Эсеры ли, наконец, виноваты в том, что генерал Матковский не сумел как следует устроить пробной тревоги?

Между тем все эти мелкие факты в совокупности своей имели колоссальное значение. И, конечно, в этой лавине дезорганизации преступно-провокационная работа эсеров имела совершенно ничтожное значение. Заявление эсеров, что это дело их рук, — пустое хвастовство! Что они могут сделать против той же кроваво-организованной Советской России?

Весь распад имеет глубоко стихийный характер. Очевидно, он должен был дойти до самых глубин, до самого дна, дабы очистить творческие силы от рутинно-ленивых переживаний нашего быта. Народ должен, непреодолимо должен сказать своё веское слово о своей собственной судьбе — и он говорит его, говорит, быть может, глухо, косноязычно, сейчас же отбрасывая каждое слово, которое он произнёс, не считая его для себя нисколько обязательным, раз он находит лучшее.

И с этой точки зрения видно, как в процессе гражданской войны выдвигаются самой жизнью лозунги, далёкие от революционной фразеологии, библейски простые по своему содержанию, но тем не менее кондовые, крепкие, как кость, как скелет. Это — личная свобода, независимость от гнёта «коммунии», наконец, право собственности как совокупность всех этих прав.

Именно эти лозунги настолько сильны, что они заставляют браться за оружие не человека, не двух буржуев, а целые области. Из-за них подымается гражданская война. Пусть теперь война пока кончена — всё равно не решены проблемы, поставленные описанной гражданской войной. Та гражданская война не была лишь только «авантюрой» нескольких лиц, не была лишь восстанием кучки буржуев, не «англичанка гадила» в ней в виде интервенции. Нет, и я настаиваю на этом, она задевала значительные слои народа, что доказывает хотя бы так удачно начатое Дм. В. Болдыревым крестоносное движение. Она была логически оправдана. Война велась не зря — не может она и кончиться впустую! Её цель будет достигнута тогда, когда будут

крепкими людьми, установившими свою власть, установлены, введены в обиход и требуемые насущно принципы.

Это в процессе гражданской войны было видно во всём. И в той страстности, с которой она ведётся, в разговорах и даже в тоске о прошлом, которая это великое движение позволяет смешивать со стремлением к старому и таким образом придавать ему контрреволюционную окраску. Прошлое ценилось в этих активных рядах борцов не по своим «ужасам», а потому что оно было до некоторой степени воплощением того, что так необходимо теперь.

И поэтому эсеры, ведущие свою работу исключительно к тому, чтобы мешать этому во что бы то ни стало, совершают страшную, кровавую ошибку, если не просто предательство.

Как! Во имя своих догматов мешать жизни течь туда, куда её влечёт склон вещей. Как! Стараться руководить ею, базируясь на паре шатких теорий и недоказанных гипотез.

Да когда же, наконец, кончится этот кошмарный гипноз! Да чем же виноват весь народ, когда язык не даёт ему иного слова, как «старое», для обозначения того желаемого строя, при котором будут признаны те принципы, о которых говорилось выше, и на которых вырос Запад и до сих пор стоит ненарушимо?

Они должны прийти, эти принципы, и придут, потому что они не только возможны, но, верим твёрдо, единственно необходимы.

Великий Макиавелли говорит, что принципы государственной свободы заключаются в личной безопасности, неприкосновенности жилища и спокойствии за честь жён, сестёр, дочерей. «Но, — прибавляет он меланхолически, — никто не чувствует себя благодарным за то, что его не оскорбляют».

Как ярко освещена выражением этим нам всегдашняя готовность просить то, что мы имеем. Правда, разве можно быть благодарным за то, что вас не оскорбляют? Но зато с какою силою пробуждается тоска по тому, что народ так метко и широко зовёт порядком.

Сила эта всенародна, и мы твёрдо верим, что в один тяжёлый час она зажжётся по всему народу. Она будет элементарно проста, эта тоска по строительству, и будет идти с конкретного низа, без всяких широких идей о государстве.

Факт, что меня «оскорбляют»! Факт, что нет никакого «государства» в смысле налаженности его функций, которое бы защитило. Более того. И хорошо, что его нет в такие смутные времена, ибо от него могла бы существовать одна лишь идея, а ничто так не тиранично, как голая идея, хотя бы государства. Большевики ясно доказывают это, и на собственном тяжёлом опыте народ ясно познаёт старую двойную проблему,

поставленную в мировом богословии: проблему Бога-Идеи и Бога Живого, у которого можно что-нибудь попросить.

Государство должно быть живым, чтобы не быть тиранией. У него народ может что-нибудь попросить. Если этого нет — государства нет, несмотря на наличие всех нормальных признаков его — Власти, Территории, Населения. Так нет и России. Тогда люди начинают сами строить своё государство, свой порядок. Чуть ли не на почве «общественного договора» образуются маленькие ячейки, всё свойство которых — в их непроницаемости. Они не хотят никакого постороннего вмешательства и будут так же драться с Колчаком, как и с Лениным.

В России идёт этот огромный процесс атаманства, подбирания под себя отдельными лицами годных к борьбе и к строительству сил. Он очень широк, этот процесс, обнимающий правых и левых, процесс, по существу похожий как у Щетинкина, Рогова, Махно, Калашникова, Будённого, так и у Семёнова, Унгерна, Калмыкова, Казагранди, Перхурова и др. Тот, кто сумеет цементировать вокруг себя определённую массу людей, — вот тот и атаман. Как рыцарские замки, по всей России высятся теперь эти уделы атаманов, и центральная власть уже теперь должна лавировать между их силой и их претензией.

Их сила грядёт. Она в близости отношения к массе, которая образует не войско вокруг них, а дружину, содружество воинов, спаянных круговой порукой. Их лозунги — просты и понятны, потому что недалеко расстояние до самих толп. Вот выступал же в прошлом году «большевик» Щетинкин в качестве генерал-лейтенанта за Николая Николаевича, причём Ленин и Троцкий должны были у него быть министрами. Этот документ видел я собственными глазами.

Так в муках сам народ хочет установить, наконец, ячейки порядка. Искать аналогий в историческом процессе, когда революция сожгла все архивы, совершенно нелепо, ибо что у нас осталось в голове, кроме излюбленных фраз да привычных мыслей! Они всегда потерпят изменение, эти мысли, от столкновения с обстановкой, и если по «историческим законам» нам полагается, чтобы был Наполеон, то уверен — то будет «наполеонистый Емельян, либо емельянистый Наполеон». Третьего нет.

Катастрофа неотвратима, но в бурях её зреет сам народ, и никакого юридического факультета не нужно будет ему, чтобы установить этот порядок. Он устанавливает его, выдвигая своих людей. Что же касается идеологии — то она ему не нужна. Поэтому она будет старою.

Пышным цветом распускается ныне и там и здесь рациональное чувство. Религия сходит с византийских тёмных небес на испепелённую землю, жаждущую её. Умирает великая обезьяна, породившая нас, ради которой мы должны любить друг друга (Вл. Соловьёв), и в недрах народа шевелится старое слово, заключающее триаду византизма:

— Царь.

Будет ли это так, не так — мы не знаем. Мы это увидим. Но мы знаем зато одно: что нет на картах интеллигенции, схематизировавшей сбивчиво Запад, тех путей, которыми пойдёт народ!

Но надо идти с ним, а не гадать, куда он пойдёт, пользуясь всем тяжёлым аппаратом научной мантики. И если среди исторических бурь трудно взять направление, то да послужат компасом эти прекрасные слова того же Макиавелли, сказанные им раздираемой на части Италии:

— Италия ждёт своего избранника, который уврачует её раны, остановит грабежи и насилия страждущей Ломбардии, положит конец лихоимству в Тоскане и Неаполе, исцелит застарелые её язвы. Италия ждёт избавления от жестокостей и наглости варваров.

Всякий встанет под знамёна во имя свободы.

Вы, представители знатных родов, возьмите это освобождение на себя. Раньше всего надо учредить национальное войско.

Найдётся ли один итальянец, сердце которого не трепетало бы при одной мысли о господстве варваров над Италией?

Доблесть против безумья,
Хватай оружье! В битву! Проворно!
Или античная доблесть
В Италии сердце безмолвна?

(Петрарка)

А наше сердце?..

ПУБЛИЦИСТИКА. 1921–1922

От большевиков к национальной власти

Розановский переворот. Падение власти адмирала Колчака, его представителя во Владивостоке генерала Розанова 31 января 1920 г. почти отдало Приморье в руки Советской России. Общественные настроения после падения Омска были таковы, что дальнейшая борьба невозможна, что большевики эволюционировали и что поэтому неизбежно примирение с ними всех воинствующих групп. Было распространено убеждение, что возможно принятие большевиками демократических установлений.

Кадеты. Таково мнение было не только социалистических кругов, но даже кадетских. Владивостокский комитет партии народной свободы стоял всецело на этой точке зрения; кадетский официоз «Голос Родины» выходил с аншлагами «Да здравствует единая Советская Россия», призывал забыть старую вражду и в призывах к объединению проповедовал известный род национал-большевизма, типичным представителем которого в Харбине в это время являлся профессор Устрялов. Но повторилась история, которая случалась везде. Большевики не стали уступать своей власти и неуклонно гнули свою линию.

Власть земуправы. Власть была принята номинально Приморской земской управой. Этому чрезвычайно способствовали чехи, видевшие в земстве залог демократизма, американцы, проводившие здесь свою особую политику, и вообще все союзники, крушение интервенции которых, несомненно, подвигало их в сторону пропаганды сближения между воинствующими группами. Однако власть земской управы оставалась только номинальной.

Лазо. В Приморье был образован так называемый «военный совет», во главе которого стал коммунист Лазо, командир партизанских отрядов. Военный совет ввёл целый ряд организаций в быт армии. По советскому образцу в армии были введены красные звёзды, по советскому образцу комиссия под председательством бывшего члена директории — генерала Болдырева, работавшая по изменению устава внутренней службы, ввела вместо ответа на благодарность начальника «рады стараться» такой: «мы служим народу». Была установлена единая оперативная связь с Хабаровским и Благовещенским районами. Всё вооружение, которое было заготовлено для армии и

революции во время существования Временного всероссийского правительства и правительства адмирала Колчака, попало в руки этой новой Красной армии. Немедленно на захват власти была учреждена так называемая «Следственная комиссия», которая под председательством тов. Чернобаева произвела целый ряд арестов. Ряд земских и городских общественных деятелей времени адмирала Колчака должны были скрыться за границу. Производились реквизиции квартир, квартирной обстановки и частного имущества у бежавших граждан.

Финансы. В сфере финансовой были приняты те же самые решительные меры. Так, остаток золотого запаса, который хранился во Владивостоке, был эвакуирован в Благовещенск, где и послужил базой для фиктивной, произведённой здесь летом 1920 г. девальвации — выпуска буферных знаков, будто бы обеспеченных этим самым золотом.

Чехи и грузы. Земство играло самую ничтожную роль. Работая в полном контакте с чехами, оно зависело от них, и поэтому должно было исполнять все их требования. Работа центральной экономической чешской комиссии особенно характерна в это время. Образованная на средства солдат, стоящих в связи с «Легион Банком», прекративших войну ещё в 1919 г., эвакуировавшая колоссальное количество частных и казённых грузов с Волги, Урала и Сибири, она вела переговоры с земским правительством о продаже грузов из тех огромных таможенных складов, которые имелись во Владивостоке. Характерно отметить одну операцию, при которой чехам было продано значительное количество штыковой меди в обмен на сельскохозяйственные машины, которые имели поступить во Владивосток со временем из Чехии. Правительство знало и не принимало никаких мер против печатания чешским банком банкнот Омского правительства, срок которым наступал 20 июня 1920 г., потому что всякая попытка воздействовать в этом направлении встречала угрозу вооружённого отпора.

Совдеп. В феврале и марте 1920 г. производились выборы в городские думы, которые дали преимущество большевикам. Производились, наконец, выборы в Совет рабочих и солдатских депутатов, который, однако, имел всего лишь одно заседание.

5–6 апреля. Деятельность большевиков кончилась в ночь с 5 на 6 апреля, одновременно с выступлением японцев.

Интересна роль японцев в этом деле. К тому времени Япония

и японская военная партия, очевидно, не составили себе ещё ясного отчёта о своей политике. Совершенно определённа политика японцев в Чите, где личные связи их с атаманом Семёновым дали возможность атаману Семёнову держаться после падения власти адмирала Колчака ещё целый год. Нерешительность их политики здесь, в связи с переворотом 31 января, когда адмирал Кавахара давал заверения генералу Розанову о невозможности переворота, и затем их попустительство в конце переворота — всё указывало на ту политику пробы, которую они вели. Но совершенно несомненно, что они были противниками Красной армии и группирования её здесь, в Приморской области. И поэтому выжидательное положение их и те их заверения, что интервенция должна кончиться с уходом отсюда чешских войск, окончились весьма решительно. В ночь с 5 на 6 апреля с крыши японской гостиницы «Централь», фактически пользовавшейся правами экстерриториальности, раздалась пулемётная стрельба по зданию Приморской уездной земской управы, т. е. верховной власти. Все воинские части, которые находились во Владивостоке и не были захвачены, разбежались. Японский броненосец «Хиссен», бывший русский «Ретвизан», открыл стрельбу по красноармейским казармам в Гнилом углу. К утру всё было кончено, и Красной армии во Владивостоке больше не существовало.

Одновременно с выступлением японцев во Владивостоке подобные выступления произошли в Никольск-Уссурийском и Хабаровске, в один и тот же час, в одно и то же число. Официальные уверения, что всё это произошло вследствие нападения на японцев русских красных частей, конечно, не могут никого ввести в заблуждение.

Псевдоним. Итак, фактически в ночь с 5 на 6 апреля прекратилась власть красных в Приморской области. У власти оставалась по-прежнему земская управа. Уже в июне месяце созывается, как оплот демократизма, Народное собрание под председательством социал-революционера Мансветова. Начинаются длительные переговоры о кабинете, и приблизительно в июле месяце воздвигается коалиционный кабинет, состоящий из коммунистических, социалистических и несоциалистических групп, который и несёт в себе вожделение демократических реформ, обуревавшее приморскую общественность в первые дни после переворота 31 января.

В это время происходит эвакуация японских войск из Читы и соответственно с этим усиливается значение коммунистов. Целый ряд неудачных мероприятий, проводимых коалиционным

кабинетом, как например девальвация, обеспеченная, как указано выше, золотым запасом, предусмотрительно вывезенным большевиками в Благовещенск; утрата запасов мелкого серебра, вывезенного японцами; неудачная продажа грузов, которая давала возможность представителям правительства жить очень широко, — всё это создавало для «демократического» правительства плохую обстановку. Надо отметить, что в это время находившиеся при правительстве партийные коммунистическо-социалистические группы, тянущие на сближение с Советской Россией, проявляют усиленную деятельность.

Виленский и коммунисты. В марте месяце 1920 г. во Владивосток прибывает Виленский-Сибирцев, эмиссар Москвы, провезённый через Читу, Гродеково и Харбин чехами в своих вагонах. Определённый коммунист, он ведёт коммунистическую политику, и, уехав из Приморья после японского переворота, он производит целый ряд подготовительных работ. В городах Китая — Шанхае, Пекине и Тяньцзине, всюду устанавливаются информационные отделы, посылаются представители в Токио. В августе месяце представитель Приморского правительства в Харбине Пумпянский едет почти в качестве полномочного представителя в Китай, где в Пекине разыгрываются целые тяжбы из-за Восточно-Китайской железной дороги, где он оспаривает права Русско-Азиатского банка на эту дорогу и тем подготовляет лишение русских граждан прав экстерриториальности и в полосе отчуждения Восточно-Китайской железной дороги.

Буфер. Одновременно с этим к концу лета 1920 г. во Владивостоке возникает идея так называемого буферного государства, которая, покоясь не на национальных, а на чисто территориальных принципах, вылилась в образование здесь особой Приморской области. Идея эта чрезвычайно муссируется в коммунистических кругах, и осенью этого 1920 года начинаются переговоры между коалиционным правительством Владивостока и атаманом Семёновым о выработке между ними мира и известного соглашения.

Исход каппелевцев. Однако эти соглашения не повели ни к чему, и мирные условия, подписанные на станции Гонготта между представителями Читы (под влиянием Завойко) и народившейся к тому времени верхнеудинской республикой (ДВР) коммунистического учреждения, но с демократическими принципами, кончились тем, что красные войска нападают на каппелевскую армию, которая 21 ноября 1920 г. должна перейти

китайскую границу и разоружиться. Чита автоматически попадает в сферу влияния квазидемократизма — института ДВР, а Приморская область, в частности Владивосток, с этого момента представляет из себя то бельмо на глазу, убрать которое составляет отныне главную задачу коммунистического правительства Читы. Чита отныне стремится к объединению с Владивостоком под знаменем ДВР, но Владивосток всё же объединить не удаётся. Коалиционное правительство отходит, так как министры-несоциалисты слагают свои полномочия. Во главе правительства, избранного Народным собранием, становится коммунист Антонов, во главе Народного собрания — коммунист Прокофьев. Этот необычайный симбиоз буржуазии и демократического представительного органа под властью большевиков имеет своей причиной чисто внешние международные условия.

Международное положение. Несмотря на своё обещание эвакуировать войска из Приморской области, как только уйдут чехи, японцы своих обещаний не выполнили и не могли выполнить. С воцарением здесь в начале 1920 г. коммунистов начинается усиленная работа их в Корее. Международные условия слагаются так, что из уравновешенного концерта великих держав на Дальнем Востоке в отношении находящегося в состоянии маразма Китая выбывает Россия. Отныне Дальний Восток представляет собой арену притязаний Северного Китая, вернее трёх восточных провинций, более или менее объединённых под знаменем диктатуры маршала Чжан-цао-лина, который, не останавливаясь перед вооружённой силой, ликвидирует осенью 1920 г. японофильский клуб Анфу; Америки, сибирская интервенция для которой сыграла роль огромной разведки; и, наконец, Японии, ищущей базы на материке и понимающей, что в случае укрепления здесь какой-нибудь из выше названных держав ей придётся очень плохо.

Несомненно, что сосредоточение здесь, в Приморской области, Красной армии было враждебно японскому императорскому правительству, и опасность нападения на корейскую линию Южно-Маньчжурской железной дороги через корейскую границу неизбежно заставляла Японию держать в Приморье, в районе Посьета, у корейской границы свои силы. Равным образом Уссурийская железная дорога, в частности её направление между Пограничная — Владивосток, представляет в этих целях важную стратегическую базу. Вот почему японцы не только не ушли из Приморья, но и не могли уйти. И вот почему во всех готовящихся назреть столкновениях между

несоциалистическими и социалистическими элементами владивостокской общественности за её военным представителем маршалом Оой установилась роль третьего, сильного, не подлежащего апелляции арбитра.

Каппелевцы Приморья. Отношения между этими элементами общественности остаются всё время неустойчивыми, пока, наконец, прибывшая сюда в ноябре — декабре 1920 г. каппелевская армия не внесла возможных изменений в это положение. Вместе с оставлением Читы Владивосток посещается представителями каппелевской армии как такое место, где коммунизм будет задержан в своём развитии.

В конце лета 1920 г. сюда приезжает целый ряд генералов, как например генералы Дитерихс и Крещатинский — представители атамана Семёнова. Сам атаман Семёнов, проезжая здесь после оставления Читы, ведёт переговоры о возможном перевороте с представителями Владивостокской общественности. В числе таких переговаривающихся с ним находился член нынешнего Народного собрания Павловский, ныне стоящий в непримиримой оппозиции к существующему правительству в качестве представителя демократии. В качестве представителя каппелевской армии во Владивосток приезжает в июне месяце прошлого года полковник Ловцевич.

Каппелевская армия в стремлении продвинуться сюда встречает целый ряд препятствий. Народное собрание неохотно соглашается пустить её на свою территорию, и только казачий посёлок Гродеково, который с июля 1920 г. начал заниматься частями верных атаману Семёнову уссурийских казаков, даёт возможность заключить, что такое существование здесь возможно. Гродеково и Никольск-Уссурийский становятся главными опорными пунктами сосредоточения каппелевской армии. Армия, несмотря на то что находилась формально на территории ДВР, продолжала носить погоны, упорно сохраняла свои традиции.

Движение несоциалистов. Вот в этих-то условиях, в связи с декларированием свободы печати и прессы, в связи с сохранением всех демократических гарантий и возникает то несоциалистическое движение, которое в мае месяце сего года приводит к перевороту во Владивостоке.

После переворота 5–6 апреля 1920 г. определённо подымают голову правые национально настроенные группы. Начинает выходить газета «Слово», которая в день гибели покойного императора впервые выпускает номер, посвящённый его памяти, с его портретом.

Съезд. «Каппелевская неделя», неделя помощи каппелевской армии вызывает к национальной деятельности целый ряд торгово-промышленных и общественных организаций. И наконец, приблизительно в феврале 1921 г. возникает, в связи с харбинскими национальными организациями, мысль о созыве несоциалистического съезда, который бы выявил определённую идеологию.

Харбин. Необходимо здесь отметить роль Харбина. Скопивший в себе множество беженских и эвакуированных лиц и организаций, находящийся в международных условиях Харбин стал уже к марту 1920 г. своего рода китайской Женевой. Май и июнь месяцы 1920 г. проходят в лихорадочной связи Харбина с Токио и Читой в поисках общего разрешения национального дела.

В Токио в мае месяце образуется Комитет русского национального объединения, который в Харбине выпускает большую газету «Русский Голос», под редакцией члена 3-й и 4-й Государственной Думы С. В. Востротина. Начинает проявлять свою деятельность «Дальневосточный комитет защиты родины» и целый ряд профессиональных и беженских организаций.

С эвакуацией Читы туда (в Харбин — *ред.*) прибывает целый ряд настроенных право политических деятелей, которые с большой энергией принимаются за эту работу.

Организация. Одним словом, когда на 20 марта 1921 г. был назначен съезд несоциалистических организаций во Владивостоке, то на нём оказались представители 89-ти организаций. Во главе бюро по созыву съезда становятся казанский присяжный поверенный В. Ф. Иванов, местный присяжный поверенный С. Д. Меркулов, его брат, крупный коммерсант и пароходовладелец Н. Д. Меркулов и другие. Материальную помощь в этом деле в небольших размерах, примерно до 15 000 йен, оказывает атаман Семёнов.

Деятельность названных лиц развилась в двух направлениях: по объединению общественности и по подготовке переворота. Переворот был неизбежен для каппелевской армии. Поставленная в ужасные условия, лишённая средств, голодающая, особенно в Никольской своей группе, она побуждалась к реэвакуации и к вливанию в Красную армию ДВР. И настроенная непримиримо, совершившая ледяной поход, насчитывающая в своих рядах до 15 000 бойцов, она не могла сразу сложить оружие, ибо находилась в тридцативёрстной полосе, где красные не могли, по соглашению с Японией, иметь никаких войсковых частей.

Подготовка переворота. Переговоры между каппелевским командованием и бюро, в частности между братьями Меркуловыми, велись весьма успешно. Сомнение вызывала только фигура атамана Семёнова, которого так не хотела иметь своим командующим каппелевская армия, тогда как он претендовал на этот пост ещё по указу от 6 января 1920 г. адмирала Колчака, изданному перед его смертью. Этот вопрос разрешился после переворота. Время проходило в стягивании небольшого количества оружия, которое можно было достать на эти скудные средства.

Медлить с переворотом было нельзя. Во-первых, производилась усиленная эвакуация грузов из таможенных складов. Так, на пароходе «Легия» в Петроград было отправлено товаров на сумму 5 000 000 руб., медикаментов и сельскохозяйственных орудий, т. е. то, чего не имело Приморье. Затем, независимо от Народного собрания, несмотря на его слабые протесты, во Владивостоке уже водворилось отделение читинской госполитохраны — этого дэвээровского изменения российской Чека. Начали производиться сплошные аресты, и вот, во время съезда, 30 марта 1921 г. была сделана первая попытка к перевороту. У красных во Владивостоке была лишь ненадёжная милиция, пополненная каппелевскими элементами, госполитохрана да ещё конвой командующего армией матроса Лепехина, который сменил генерального штаба генерала Болдырева на этой должности. Однако здесь, во Владивостоке, было до двух с половиной тысяч винтовок и ими вооружённых красных бойцов.

31 марта. Отряд полковника Глушина ворвался в город в ночь на 31 марта, захватил помещение госполитохраны, где сидели общественные деятели, которых к тому времени уже начали арестовывать, — генерал Лохвицкий, полковник Михайлов и другие, освободил их, но успеха своего не развил, потому что не получил подкрепления от городских организаций, не выступивших вследствие поднятой коммунистами тревоги.

Снова! 26 мая! Весь апрель месяц до 26 мая 1921 г. проходит с одной стороны в подготовке к перевороту и с другой стороны, со стороны красных, — в вывозе ценностей. После 31 марта аресты сначала было прекратились, но с новой силой возобновились 26 мая, когда офицеры, после раскрытия одной из организаций на японской квартире, стали арестовываться десятками. 26 мая в половине первого дня произошло совершенно

бескровное выступление, и власть, оставленная всеми, державшаяся в искусственном неопределённом положении в течение целого года, перешла в руки правых, решительно национальных элементов, дружественно настроенных по отношению к третьей стороне — к Японии.

Вечерняя газета. 1922. 26 мая. № 303.

Советская Россия в Приамурское временное правительство (1921–1922)

Павшим

Огромная толпа, небывалая толпа, шествие, растянувшееся на версту, веющие в воздухе национальные флаги, цветы на венках, музыка, медленная и печальная, и, наконец, на трещащих грузовиках белые гробы с трупами павших.

Безусловно, сильное впечатление! Вот воочию то, к чему привела нас гражданская война, вот те жертвы, которыми платит Россия за свои ошибки!

Давно когда-то в одной из Петроградских газет по поводу похорон жертв революции в Петрограде была высказана интересная мысль, что мы, русские, умеем отлично хоронить своих мертвецов. Да, это правда, похороны мы устраивать умеем!

Дымок ладана, уносимый надвинувшимся холодным ветром, стальная гладь Золотого Рога, на сопках вокруг толпа редеющими цепочками. Безоружные солдаты, сделавшие великий поход, золото риз духовенства.

Мы умеем хоронить, мы умеем хранить торжественное молчание при виде павших бойцов. Нашей высшей доблестью было всегда умереть за отечество.

А жить для отечества?..

Покамест мы этого не умеем. Свары и дрязги, нудные обличения и бестолковщина в работе. Неумение работать, отсутствие взаимной симпатии.

«Лихой человек в пустой земле», — сказал про русских К. П. Победоносцев.

Пусть хоть вид этих гробов пробудит в нас не только одно сожаление, не только одно нервически-кокаинное завывание во вкусе пошлого Вертинского: «И кому и зачем это нужно?!».

А внутреннее чувство симпатии и сотрудничества? Есть же люди, которые не боятся умереть за живые идеи!

В нелепом вчерашнем провокационно-поэтическом фельетоне в «Вечере», в дряблом и измызганном произведении расхлябанного мозга жалкому писаке чудятся «ароматные цветы», выросшие на крови. Чёрный и красный.

Конечно, он ни тот, ни другой. Он — демократический центр, он ни в сих, ни в оных, он тот, кто ни холоден, ни горяч, а потому должен быть изблёван из уст Божиих. Нервически содрогаясь,

проходит он мимо крови. Он, видите ли, поэт, и фамилия его — Лялин. Какая-то Ляля подарила его своей любовью, и этим он только и занят.

В эпоху гражданских войн сии ноющие захребетники — самый отвратительный элемент с их ноющим мифом об «общей линии». Я слышал, как об этом центре говорил один выпивший красный буржуй. Ему тоже не надо ни правых, ни левых.

Это люди с принципом ходей[13]: «Моя не касайся».

Но жизнь твёрже и серьёзнее этих Маниловых. «Кровь — это особенная жидкость», — говорит Мефистофель. И поэтому прочно всё, что построено на крови.

Пали герои при занятии Владивостока. Но зато город в их руках — бессмертие победы. Задача, поставленная воле, достигнута…

А что может быть ненадёжнее русской воли? Но тут мы видим — воля есть.

Шагайте по трупам павших борцов,
Несите их знамя вперёд…

Вечерняя газета. 1921. 30 мая.

Причастный тайнам (*Памяти Александра Блока*)

Умер Александр Блок, певец революции, Блок «Двенадцати».

Слово «Двенадцать» — начало. За ним следовало — «апостолов»… По мысли поэта, во вьюжную, снежную октябрьскую ночь за Христом в венчике из белых роз идут по новым русским путям двенадцать новых апостолов.

Кто они?

Убийственен ответ на это поэта… Взгляните только на их наружность:

В зубах — цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз…

Они — красногвардейцы, воины советской России, легкомысленные, беспечные варяги, продающие своё привычное оружие ландскнехты.

Как пошли наши ребята
В красной гвардии служить…

Эх ты, горе-горькое,
Сладкое житьё!
Рваное пальтишко,
Австрийское ружьё!

И вот их ярая цель, затаённый вздох первых дней революции:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем…

Кто же они?

* * *

Это тот вопрос, который ставит себе ныне вся русская печать, по достоинству оценившая это несравненное произведение крупного поэта. Как ни были бы настроены оппозиционно к подобным проявлениям разрушительных тенденций массы, которые воспеваются тут этими новыми апостолами, мы можем принять только одно:

— Это произведение изумительно по той изобразительности, которой оно проникнуто.

Вы воочию видите живой, сумбурный Петроград тех кошмарных дней, слышите этот холодный посвист октябрьского ветра — что, наверное, вздувал воду в Неве, видите летящий холодный снег на пустынных, чёрных его площадях. По ним проходят они, эти живые апостолы, хмельные, иззябшие, бедные люди…

— А Ванька с Катькой — в кабаке…
— У ей керенки есть в чулке!

О, как заманчива эта перспектива, какую зависть порождает она:

— Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою, попробуй, поцелуй!

Они похотливы, эти люди, завистливы, наконец, робки:

— Ох, пурга какая, Спасе!

— Петька! Эй, не завирайся!
От чего тебя упас
Золотой иконостас?

Словом — это настоящие живые люди, плохие, слабые. Смотрите, как прорываются у них раздражённые вопли о блаженстве:

Запирайте етажи,
Нынче будут грабежи!
Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!

И как подлинен Петербург в этой изумительной поэме, так подлинны и они, эти «Двенадцать».

Это настоящие, природные, без прикрас, дети огромной столицы, соединившей в себе каменные грёзы Растрелли и копчёные кварталы среди фабрик Выборгской стороны.

* * *

Но «книги имеют свою судьбу», — говорили римляне. Любопытна и судьба этой поэмы. Во-первых, она признана всеми: и правыми, и левыми. Как на саму жизнь, ссылаются они на неё в доказательство своих воззрений.

— Тут революционный порыв, — утверждают одни…

Верно. Смотрите, как отлично он схвачен, этот порыв:

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

— Но в революционном-то порыве гонятся они за Катькой, — указывают другие, свидетельствуя этим немощность такового, его нечистоту.

Верно и это.

Как многогранна сама жизнь, такими же безумно сложными предстают пред нами «Двенадцать». И надо знать Блока, с его мистическим ясновидением, с его напряжённым пронизывающим созерцательным взором, направленным именно в будничную жизнь, чтобы там открыть иные, подлинные аспекты жизни, чтобы понять, что поэма эта — не только фотографический снимок, а

полное выражение мировоззрения поэта.

Кто не помнит его певучих строк, самой обыденностью выводящих за грани этой обыденности:

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздаётся детский плач…

Не ново, старо, извечно знакомо нам это настроение, которое связывает он с летящим снегом:

Чёрный вечер.
Белый снег.

Раньше звучало оно у него в другом антураже:

Вновь оснежённые колонны,
Елагин мост и два огня.
И голос женщины влюблённый.
И хруст песка и храп коня…

Или:

Запевала метель,
К небесам подымая трубу…

Вообще о снеге у Блока можно написать целую монографию.

Та же метель воет и в «Двенадцати», но в другой уже обстановке, «фабричной», обстановке типично петербургской, которая так блестяще зарисована у него в драме «Незнакомка» в виде портерной, из окна которой видно, как идут прохожие в шубах под голубым вечерним снегом, наконец, которая так прекрасно схвачена в этом ужасном жаргоне Лиговки:

Снег крутит, лихач кричит,
Ванька с Катькою летит —
Елекстрический фонарик
На оглобельках…
Ах, ах, пади!..

Блоку дорог и мил этот простой, в то же время рафинированно-утончённый мир, в котором любовь проститутки, с её стремленьями и тоской, представляется поэту высшим созерцанием любви; смотрите, как хорошо он и раньше рисовал этот космический гнёт именно в низах:

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали жёлтые и синие;
В зелёных плакали и пели.

И именно в низах, в этих «Двенадцати», созерцает он стихийное бушевание этой подлинной мировой тоски, которая в русском народе.

От ямщика до первого поэта,
Мы все поём уныло.

(А. Пушкин)

Мистическое созерцание этой иной подлинности, тоскующей реальности, и составляет другое содержание «Двенадцати».

У Блока нет радости жизни. У него нет стихов, воспевающих саму живую буйную жизнь; поэтому глубоко неправы те, которые в «Двенадцати» видят «романтику революции». Вспомним, как тяжелы и минорны его основные стихотворения.

Ты в поля отошла без возврата.
Да святится Имя Твое! —

пишет он в одном стихотворении, которое заканчивает так:

О, исторгни ржавую душу!
Со святыми меня упокой,
Ты, Держащая море и сушу
Неподвижно тонкой Рукой!

Ржавая ли душа расцветает пышным цветом в снежном, вьюжном октябре, в чёрном вечере Её так же носит и крутит, как белые снежинки в свете редкого фонаря, под трескотню винтовок и пулемётов.

Ох ты, горе-горькое!
Скука скучная,
Смертная! —

говорит один из апостолов, посланных в этот ночной мир. Так тоскует мировая душа.

Блок — рыцарь смерти. Смерть — это та незнакомка, та Белая Дама, которая даст наконец покой и остановит время.

Стало тихо в дальней спаленке —
Синий сумрак и покой,
Оттого что карлик маленький
Держит маятник рукой…

Безнадёжно дело всех приходящих в этот мир — они не увидят нечаянной радости:

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой гавани все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели…
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам, — плакал ребёнок
О том, что никто не придёт назад.

Найдут ли выход и эти «двенадцать человек»? Едва ли!

Кто там машет красным флагом?
— Приглядись-ка, эка тьма!
— Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома…

Выходи, стрелять начнём!
Трах-тах-тах! — И только эхо
Откликается в домах…
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах…

Шерстью должны были бы быть повиты им головы, как жертвам, посвящённым подземным богам, потому что они

посвящены смерти.

А Христос, который в белых розах предшествует этим обречённым?

Не особый ли это Христос, Христос погребальный (В. В. Розанов. — *авт.*), тот примирительный бог, что нисходит на мертвецов, делая их самих как бы богами, придавая им важный торжественный вид, в то время как смертными делами заняты они с их Катьками?

Когда на жёлтый воск недвижного лица
Свеча струит свой свет, дрожащий и печальный, —
Мы славим ладаном и песней погребальной
В парчу одетого, как бога, мертвеца.

(Вс. Иванов)

И тогда понятно, почему как одна, так и другая борющаяся сторона так ценят эту вещь и в то же время до конца не могут проникнуть в её тайный смысл.

Потому что проникновение — это дело самого поэта, дело Причастного Тайнам, особым тайнам поэта.

Вечерняя газета. 1921. 26 августа.

Экспедиция в Россию

Итак, Фритьоф Нансен едет в Россию.

Кто не читал блестящих описаний путешествий этого исследователя на «Фраме» к Северному полюсу, так сказать — специалиста по этой части, причём, однако, оказалось, что сам-то Северный полюс, как равно и Южный, был открыт не Нансеном, которым мы грезили с детских лет, а кем-то другим.

Пишущему эти строки пришлось раз в Петербурге, в Географическом обществе слышать этого исследователя. На кафедру влез огромный, мускулистый, с лёгкой походкой, самый настоящий белый медведь в чёрном фраке и, схватившись за край кафедры обеими руками, начал реветь самым настоящим образом на немецком языке.

Проревев так часа два с половиной, он так же неожиданно и легко исчез, как будто бы нырнул в воду. Только мы его и видели.

Советская власть в рекламе своей, очевидно, видит всё своё спасение теперь в сём знаменитом путешественнике. Он собирается в экспедицию.

Раньше дело с поездкой в Россию обстояло очень просто. Взял

человек билет, сел в первый класс, приехал в Петербург на Николаевский вокзал и на таксомоторе доехал до «Европейской».

Теперь честный труженик Нансен собирается в Россию куда более сложно. Как день отплытия «Фрама», возвещается день отъезда его всему миру. Вероятно, идёт такая тщательная подготовка, в которой мы сведущи ещё со времени «Капитана Гаттераса», — берётся ложечная трава, пеммикан, шоколад, лимон и лимонная кислота.

И всё это только для того, чтобы проехаться в экспедицию в Россию.

Русские цари во время своих шальных потех выстраивали целые ледяные города. Но чтобы выстроить искусственно целые ледяные пустыни, для этого нужны социалистические Разуваевы.

> Учитель же у них — российские актёры.
> Вы роль свою сыграли мастерски.

На этих ледяных равнинах, покрытых трупами голодных людей, и высадится наш отважный путешественник и, погрузив на собак (лошади скушаны) запасы пеммикана, поедет к глупым, грязным, оборванным дикарям российским — этим самоедам, сожравшим своё собственное благополучие и государство.

Все газеты кричат о путешествиях Нансена: большевистские — из тонкого расчёта, антибольшевистские — по глупости. Ему, таким образом, создаётся пышная реклама, которая раздувает его до размеров некоего Вандерлипа, тоже концессиями своими спасавшего Россию. Вместе с этим реклама создаётся и жульническому предприятию — соввласти, которая прикрывается его авторитетным именем.

Нансен напишет новую книжку о России, жестокую, беспощадную, лицемерную. Ведь разные Уэльсы, Рансомы, — вся благородная Европа может писать книжки об голодной несчастной стране. Только русские литераторы пишут о балете Дягилева или выступлениях Балиева. Нансен сделает интересное путешествие.

Но позвольте нам сомневаться, что он откроет Северный полюс, вокруг которого вертятся русские несчастья. Тут нужны наши отечественные, не рекламированные на советские деньги:

— Пири и Кук…

А Нансен нырнёт в воду. Только мы его и видели…

Вечерняя газета. 1921. 29 ноября.

Парикмахерская демократия

Вчера в Нарсобе я присматривался к оппозиции. Решительно там что-то неблагополучно.

Конечно, все они «демократы», то есть слово «народ» склоняют на все лады. Послал их «народ». Благо «народа» — это та священная вещь, о которой они болеют душой всё время. «Не вы, — восклицают они кому угодно, — а народ — вот кто придёт судить живых и мёртвых…»

Но вот на кафедре Бардин. Самый настоящий народ. Это не инженер Кроль, не ловкий эмигрант и комбинатор Павловский, не польский буржуй Синкевич, не приказчик Поздняков, не крестьянин Кропоткин, не барский выкормленник Абоимов, не генерал Болдырев, а самый настоящий трезвый и упорный русский мужик. Он не умеет говорить, путает «реализовать» с «реагировать», но гулом совершенно беспардонного глумления, подхихикивания и смеха встречены все его слова.

— Недра — недрам, — говорит он, — а работать надо, — и общий возглас — раскатистое «а-а-а!».

— Нет, — говорит он, — такого правительства теперь, которое мы могли бы спросить: почему ты нас не кормишь? Что мы дадим правительству, то и оно нам…

Всё это совершенно справедливо, но всё-таки халкидонский русский мужик Бардин не демократичен. Вот еврей Кроль — то самая настоящая, воплощённая ходячая демократия.

Что же нужно для того, чтобы почесться демократом и сыном народа? Целый ритуал. Во-первых, надо верить в прогресс; во-вторых, чтить науку, которую не знаешь; в-третьих, ненавидеть всякое правительство, если только оно образованнее и чище тебя; в-четвёртых, совершенно запрещена вера в Бога. Совершенно недопустимо предполагать, что долгогривые попы правы. В-пятых, надо верить, что народ — страдалец и что «время изменится». И шестое — надо пребывать всё время в том блаженно-странном состоянии, которое составляет сущность оппозиции: заглушённый протест против «всякого насилия», интимная дружба со своими «товарищами» и готовность зверски искалечить каждого, который этому препятствует — готовность чрезвычайки, так сказать.

С этой точки зрения совершенно лишены гражданских прав признаваться членами демоса все Бардины, священники, офицеры, все полагающие, что нечего щепетильничать с евреями, т. н. погромщики, все фабриканты и заводчики и купцы, все зажиточные мужики, монархисты и октябристы, кадеты и вообще все, кто смеет иметь своё суждение.

Таким образом, демократия сжимается до круга приблизительно земцев, эсеров, конторщиков, парикмахеров. Даже рабочие туда не вошли, потому что они пролетариат.

Одним словом, всеми этими орущими милсдрями слева лишены гражданских прав, по крайней мере, 6/7 всего русского народа.

Нет, необходимо радикально пересмотреть статут о демократическом происхождении…

Вечерняя газета. 1921. 17 декабря.

Три кита

Есть три кита, на которые должно опираться государственное образование Приморья в своей политической жизни. Это — Правительство, Совет управляющих, Народное собрание. Такое распределение государственных функций уже сделано. Но если присмотреться, как оно сделано, то увидим, что его сделало главным образом время — в конкретной работе разделяя и объединяя их ранее слитые функции.

Возникшее после переворота временное Приамурское правительство своей энергией выполнило большую работу, результаты которой налицо. Никто с кривой усмешкой не смеет более спорить, «почему это правительство — Приамурское, ежели оно только до Первой Речки». Принципиальность правительства превзошла на сей раз гражданскую сметку штатских и газетных умников.

Надо при этом помнить, что было время, когда ни Народного собрания, ни Совета управляющих не было, а всем управляло одно Приамурское правительство, соединяя в себе власти: и верховную, и законодательную, и исполнительную.

Путём постепенной живой дифференциации возникло в процессе работы упомянутое разделение. Из группы лиц, революционным путём получивших власть, возникла верховная власть, которая, как таковая, уже не может считаться тою, каковой она была сейчас же после переворота, — властью отдельных лиц. Чем больше растёт юридическое разделение функции Правительства, Совета, Нарсоба, тем больше, естественно, растёт и значение верховной власти. Правительство неудержимо отрывается от того масштаба, который оно имело в мае месяце прошлого года, и вот почему неправы те, кто разделение этих функций сливает как бы с ростом влияния Народного собрания и Совета управляющих в умаление самого Правительства.

Подобное умаление может полагаться только лишь в том случае, что, положим, Народное собрание в силу особого понимания происхождения власти считалось бы её источником. И

такой оттенок есть в желании некоторых лиц сделать Народное собрание — Учредительным, или в этом постоянном выдвигании Несосъезда в качестве источника происхождения верховной власти, что глубоко неверно.

Но что сделано, то сделано. Мы имеем действительно фактически создавшуюся верховную власть и власть твёрдую, то самое, о чём мы мечтали чуть не всё время нашей революции. Усиление политически грамотного парламента, кабинета — всё это тем самым обозначает усиление верховной власти как таковой, и стремление остановить этот процесс обиженным цепляньем за него — есть вид политического русского анархизма.

Возвышение власти верховной есть в то же время усиление власти исполнительной, и вот почему для Совета управляющих необходимо, чтобы происхождение власти от того или иного источника было забыто. Ибо, если этого не будет, то каковая же точная кодифицирующая, упорядочивающая юридически работа возможна для этого органа, не знающего, откуда идёт база верховной власти, при существовании семи городов, спорящих о чести быть родиной одного Гомера.

Равным образом, при таком положении вещей установлено положение Народного собрания, которое тогда в чистоте сможет нести свою работу как воплощение работы законодательной.

Однако настоящее положение вещей в нашем государственном образовании характеризуется как отсутствие сознания необходимости и неизбежности такой дифференциации. Дифференциация эта идёт, но основные группы, из которых выделилась эта власть исторически, ещё считают, что они соединены пуповиной с нею. Отсюда притязания и Несосъезда, и Нарсоба.

Пуповины эти должны быть обрезаны — вот задача момента, и никто не должен сделать это больше Совета управляющих — хранителя юридической планомерности государственного нашего устройства.

Вечерняя газета. 1922. 10 января.

В Хабаровск (*Дорожные впечатления*)

Проехали Никольск с чистеньким подтянувшимся вокзалом, промелькнул на другое утро Спасск. На вокзале поезд ждала делегация. Представитель земства произнёс приветствие Н. Д. Меркулову и Е. М. Андерсону, огромному в своей чёрной дохе. Приветствие заключало в себе благодарность Приамурскому

правительству за содействие освобождению края от социалистического ига. Ясный мороз, жёлтые фигурки японских солдат, греющихся у костра, наши солдаты, огромный базар неподалёку от станции с сотней возов дров, сена и всякой незатейливой всячины были полны спокойным своеобразием особого быта.

Рядом с нашим поездом стоял состав возвращающегося из Хабаровска командующего армией генерала Вержбицкого. Н. Д. Меркулов своей стремительной походкой прошёл к нему; после короткого совещания генерал прошёл в вагон к Н. Д. Меркулову, где наскоро пообедали. Времени нельзя было терять, и поезд тронулся дальше.

В Спасске сел в наш поезд уполномоченный правительства по Спасску и Иману В. А. Пинаев. В длинной беседе постепенно вскрывалась вся неприглядная картина повседневного жития-бытия Имана под большевиками. Собственно, никаких сомнений не было в том, что никакой тут Дальневосточной Республики не было, а были большевики. Правда, тут не было советской власти, потому что не было советов. И тем поразительнее конституция ДВР, что учреждения чисто советского типа она вводила сверху, в качестве административного аппарата.

Только этим новым, дополнительным, но многочисленным учреждениям и жилось в Имане. Маленький, захолустный не то городок, не то посад являл образец российской нелепицы. Достаточно сказать, что служащие основных правительственных учреждений в течение года не получали ни копейки жалованья. Чиновники питались кукурузой. Так как по упразднении буржуев вся торговля перешла в руки китайцев, а те были настолько сообразительны, что для защиты собственных интересов ввели свою собственную милицию, разгуливавшую в золотых погонах и с маузерами на брюхе, то задолжавшие им российские граждане были уводимы в китайскую тюрьму за границей. (Маньчжурская граница проходит от Имана в 3–4 верстах.)

Такое нарушение «суверенных прав государства российского», однако, нимало не смущало иманских и читинских си-девант[14] владивостокских властителей, собиравших там, как известно, знаменитое иманское народное собрание, ибо, несомненно, были чисто коммерческие отношения между ними и китайцами, бравшими население на откуп.

Наряду с этим обнищанием населения процветала забота о его духовных нуждах. В Имане остался только один священник. Все священники по округе либо убиты, либо бежали. Преподавание Закона Божьего было отменено повсюду, равно упразднены иконы. Зато среди нищенства и голода процветали

танцульки.

При отходе красные совершенно ограбили всё то, что можно было ограбить. Увезены, например, все телефонные аппараты в городе. Увезено бельё, медикаменты из городской больницы. Увезены с почты телеграфные аппараты. Совершенно разграблена таможня и т. д. Одним словом — обычная для наших дней русская картина.

Ночью приехали на Иман. К представителям правительства явилась делегация от городской думы и поднесла хлеб-соль. В сказанных председателем словах была та же горячая благодарность за избавление от девееровской власти.

Депутацию Н. Д. Меркулов и Е. М. Андерсон принимали на станции, при тусклом свете керосиновой коптилки.

В ответных словах обоих представителей правительства главным содержанием было призыв к воздержанию от политической мести и к помощи правительству.

Новый год был встречен в небольшом кругу нескольких военных и японских корреспондентов. К утру должен бы быть готов мост у ст. Бакии, но оказалось, что это не так, и утро застало нас стоящими на станции Бочарево.

Грустное впечатление производила эта станция. Взорванная водокачка скатилась вниз пробитым огромным красным баком. Начальник станции, одетый в буквальные отрепья, повествующий о своём житье-бытье под товарищами. В нескольких шагах небольшая деревушка, в которой отходящими и стоявшими там красными ограблено всё буквально дочиста.

Пошёл по линии за семафор. Тихий, сверкающий морозный день. Слева сопки, довольно типичные — там уже Китай. А по линии навстречу тянутся солдатского образца люди, в защитных полушубках, в папахах — это отпущенные красноармейцы, взятые в плен.

В станционном помещении беседую с ними, греющимися у печки.

— Чего вы, черти, воевали?

— Мы не воевали. Нас триста человек в тюрьме крестьян сидело в Хабаровске. Кто за что… Одни за то, что газету владивостокскую привезли в деревню, другие за то, что ругались за реквизиции… А как стало плохо, так выдали нам обмундирование, роздали винтовки и… драться. Ну, мы ни разу не выстрелили…

— А дрался кто?

— Нет, у нас в Покровке никто не дрался… А тысячи народу было!

В разговор вмешивается… «стрелок»:

— А всё потому, что с фронту ушли… Но я тогда говорил, не надо уходить, у дома… будем копать…

Надо отметить одно: у всех этих солдат, как у населения, чрезвычайно легко и свободно вылетает слово…

Про Владивостокское правительство никто ничего не знает. Отношение к словам поясняет положение — отношение губки к воде.

Но нет никого, кроме… стрелка. Нет ни несососъезда, нет ни обновлённого общества.

Сколько крови будет стоить это промедление?

Вечерняя газета. 1922. 10 января.

Военкомов наган

Жил-был Военком, как быть след. Маленький, кудрявенький, юркий, с гетрами ботинки. Управлял он военным комиссариатом, потому что всех людей хотел сделать счастливыми. В знак этого Военком носил на лбу и на левом рукаве красную звезду, в которой переплелись: серп — в честь трудового крестьянина, того самого, который хлеба нипочём не даёт; и молот — в честь рабочего, который по деревням больше шнырит, хлеба промышляет.

Много чего хотел сделать Военком, да мешали саботажники — особое племя, упорное, не верящее ни красной звезде, ни интернационалу. Как же им-то не верить? Это никак не возможно! Ведь во главе всего великого дела стоят такие титаны, как Ильич Ленин да Лев Троцкий…

Самое уже имя Ленина — Ильич, смахивало на Илью Муромца, а имя Льва отдавало не то великаном Львом Толстым, не то царём африканских пустынь… Над креслом Военкома в военном комиссариате висело два портрета этих светлых личностей, обе — учёные личности. Ильич — среди книг, очень уж учён, а Лев — в пенсне, всё, как есть, видит.

Кресло Военкома было раньше буржуазное и потому теперь страшно было ободрано, потому что чего же заслуживала, как не этого, буржуазная мебель, созданная для бессильных мечтаний о победе над пролетариатом прогнившей умирающей буржуазии…

Когда, пропев на ночь интернационал, Военком закрывал глаза в своей одинокой походной постели, он всегда видел этот интернационал во сне… Всё становилось сначала красно-красно, затем сыпались из огромных труб фабрик красные и золотые звёзды и толпы народа со свивающимися красными знамёнами железным шагом направлялись к ослепительно-светлому

будущему, в котором даже дома качались от счастья и не стояли на месте.

Но роскошной картине этой всегда что-то мешало. Какие-то мягкие тени, тёмные силы поднимались неслышно изо всех углов, бархатные, сверкали зелёными глазами и садились Военкому прямо на грудь, либо на тощий живот.

— Домовой, — кричал Военком и просыпался…

За окном была пустая вьюжная ночь провинциального города. Надо было бы, чтобы соборные часы, что ли, пробили бы… Но они не били с тех самых пор, как товарищ Гнусис, Предчека, угробил соборного настоятеля, отца Николая Уханова. Надо было бы, чтобы сторож в колотушку бил, сны пугал. Да нельзя, теперь он ответственный работник в совете. Хорошо было бы, чтобы лампадка горела, очень помогает от саботажа, но это было бы решительно невозможно, сами понимаете, почему… И когда Военком чиркал спичкой, которые он получал, ради общего блага, по две коробки на месяц, из убегавшего мрака опять смотрели уныло Ильич да Лев.

Только и спасенья было, что Наган. В нём Военком видел всю свою силу и полную защиту в разных житейских вопросах. Военком никогда с ним не расставался, и он ровно и внушительно оттягивал пояс на один бок. Если взять Наган в руки, тёмный блеск его семизарядного барабана, стройное дуло, выдающаяся мушка, тонкое жало курка — производили сильное впечатление.

Наган был тот маршальский жезл, тот знак комиссарского достоинства, который, подобно державе или цепи на шее волостного старшины, был неоспорим и безапелляционен… Кому пойдёшь жаловаться, ну-ка?!

Выступая на митингах, Военком в самых патетических местах выхватывал Наган и сыпал проклятия старому миру, зажигая этим сердца масс.

В тёмные ночи, подходя с очередным обыском к дому гада-буржуя Толстопятова, он твёрдо сжимал в руке своего товарища, и твёрдость рукоятки Нагана была примером для твёрдости души самого Военкома среди плачущих раздетых женщин. И раз даже, в тёмном и промозглом подвале чрезвычайки, уличив в краже копий с военных документов какого-то бывшего офицера в рваных штанах, он сделал из Нагана грозный карающий меч пролетарской революции, и оранжевое пламя выстрела вспыхнуло клубком у лохматого грязного затылка.

Одним словом, Наган был на высоте своего назначения.

И вот этот самый непобедимый грозный Наган, маршальский жезл, грамоту на достоинство — украли!!

Как же это произошло?

Очень просто!

Наган украл Кронид Понюшкин, беспартийный.

Кронид Понюшкин, хотя получал точно такое же жалование, как и Военком, служил, однако, в военном комиссариате в качестве всего лишь истопника. Однако, несмотря на своё скромное положение, он был замечательной личностью, и в понимании Военкома именно из таких личностей должно было состоять грядущее счастливое царство Интернационала. Крониду было 26 лет, счастливый возраст, попадавший под все мобилизации, кто бы их ни производил. Под Николаем Кровавым он ходил воевать до полной победы Германца и ссаживал Вильгельму-Шельму. При Колчаке воевал Бронштейна и грезил о близкой Москве. В русской Дальневосточной республике довольно удачно разыгрывал партизана, по приказанию Абрама Тобельсона, и был ранен во всех этих переделках…

Таким образом, специальностью Кронида Понюшкина было воевать, а остальным доводилось им командовать в том или ином направлении, в зависимости от вкуса и политических воззрений командующих. Эти последние, хотя и временно, но бывали довольны своим положением. Кронид же Понюшкин — никогда.

Рубахи у Кронида не было, но зато было сколько угодно известных насекомых, и для того чтобы такую рубашку, наконец, укупить, он улучил минутку, когда Военком отлучился из кабинета и задержался в коридоре, щупая Ленку, машинистку из комсомола, в короткой юбчонке, в высоких сапогах, с белобрысыми кудельками из-под кошачьей шапочки с красным верхом, — улучил и украл Наган.

Вот и всё.

Военком без Нагана — как поп без креста, как танец без музыки. Туда-сюда Военком — нет Нагана!

Хорошо! Сейчас в Чеку… Так и так, пики козыри. Наган-то пропал, больше товарища Кронида взять некому.

Товарищ Гнусис вызвал Кронида под свои свинцовые очи в пенсне.

— Ты?

— Я!

— Куда дел?

— Товарищу отдал!

— Какому?

— Не помню!

— А это видел?

— Он, Наган!

— Нет, не он, а совсем другой.

Сидел Кронид Понюшкин в Чека месяцев восемь, а потом

поступил приговор:

— Работать Крониду на работах пять годов!

Услыхал Кронид и обрадовался.

— Вот, — говорит, — пять только, а думал, всю жизнь буду жить, как барин.

А Военком, как получил новый Наган, так ему тошно стало. Да разве можно жить на свете безо всякого уважения? Ты ему — Наган, он — на-поди. И ежели возьмут Понюшкины да и продадут все Наганы, что делать будешь? Куда пойдёшь? На что ты кому надобен? Никому ведь!

И Военком долго сидел у окошка своей хибары, погорюнившись, а со стены на него смотрели Лев и Ильич.

— Тьфу, сволочи, — сказал Военком и стал ложиться спать.

Сильно, очень сильно обидел Кронид Понюшкин Военкома — Наган украл!!

Вечерняя газета. 1922. 12 января.

От общественности к государственности

Как-то пришлось слышать мне спор каких-то незнакомых интеллигентов. Спор был возвышенный, на тему о том, кто выше — Шекспир или его критики? Спорили долго, наконец решили:

— Хотя Шекспир высок своим творчеством, но критик выше, так как писатель творит, а критик ему указывает, как творить…

Приблизительно такое же отношение всегда существовало у общественности к власти. Общественность была именно этим «великим критиком». Она существовала при государственности, то есть при известном готовом аппарате социальной жизни, но сей аппарат превосходила, образуя нечто вроде блаженной памяти «кружков для самообразования» при… университетах.

Ведь, ей-богу, были такие!

Общественность всегда была претенциозна и безответственна. С ней надо было «считаться», потому что её можно было легко «оттолкнуть» от «себя». Она была выражением той недисциплинированности в русском обществе, которая каким угодно публичным учреждениям не доверяла и вовсе не желала подчиняться, взыскуя новых форм, плодя некое толстовство, ковыряя убогим плугом совести землю там, где Запад давно уже рыл её огромным трактором налаженной государственной жизни.

С революцией кончена русская государственность. Её нужно строить вновь. Кто же её может выстроить? Общественность, переходя сама в форму государственности, сковывая себя железной формой юридических отношений.

Пусть из общественности выделилась власть. Общественность должна это приять как факт, которого четыре года ждала русская земля. Власть эта в своих трёх руслах — верховной, исполнительной, законодательной — и должна дать работу общественности, ведь строится уже государство, более совершенная форма человеческого общежития.

Для общественности работа должна быть главным образом в Народном собрании, опять-таки в строгих рамках дисциплины и сознания важности государственного дела, в сознании его организованности.

Но до того положения, пока граждане спокойно будут взирать на то, что их парламент будет вершить, что их правительство будет делать, пройдёт ещё немало времени.

От общественности к государственности — вот тот лозунг, который должны поставить себе русские люди. Пора перестать быть лишь критиками и указывать, кому и что делать, а самим принять участие в государственной работе, либо, по крайней мере, указать её более важное значение по сравнению с работой общественной.

Вечерняя газета. 1922. 21 января.

Мёртвая вода

На экономическую конференцию в Генуе, следовательно, пригласили большевиков. Целью приглашения, как известно, было «восстановление экономического равновесия в Европе».

А большевики? О, они чрезвычайно обрадовались. У них ведь с недавних сравнительно пор «влеченье, род недуга» к образованной заграничной жизни, к буржуазной обстановке, которую они «восстанавливают». Они и ответили в том смысле, что на конференцию прибудет сам Ленин, а буде он не прибудет, то считайте, всё равно, как если бы он приехал.

Эта радость людей, которых «признают», понятна. Но вот то, что их приглашают на конференцию — решительно непонятно.

Это всё равно, если бы пригласили на совещание тигров, которые опустошили вокруг себя всю окрестность, и спросили бы их:

— Вот что! Делать вам больше нечего, так давайте поговорим. Ваша граница там-то и там-то, просим её не переходить!

Россия замечательна именно тем, что «наивысшего расцвета достигнул в ней хозяйственный развал», как писала одна умная газета — «Труд». Вот именно, потрудились! И с нею нечего делать

просвещённым заграничным мореплавателям.

Конечно, на конференции речь идти будет не об этом. Все вопли заграничных и внутренних идиотов на тему «долой интервенцию!» — не позволяют видеть одного:

— Давным-давно пришла интервенция, более страшная, более прочная, нежели военная. Интервенция гири и аршина.

Россия сама разделила судьбы своих граждан, и вместо былой славы и былого обилия и богатства она стоит с ручкой при мировой дороге.

— Подайте мальчику на хлеб! Он питает прохвоста Троцкого и планетарного негодяя Ленина!

Прижимистый западный буржуа, уже обогатившийся нашими картинами, нашими брильянтами украсивший своих жён, смотрит и думает:

— Как бы заключить выгодный «экономический» договор с государством, которым правят сотни жуликов, а стоны пяти миллионов умирающих от голоду составляют лучший аккомпанемент для выгодного помещения банки галет:

— Хлеба, ради Бога, хлеба, а то мы умираем.

Эта полуфунтовая интервенция будет продолжаться до тех пор, пока будет ещё что взять. И сам Ленин подпишет на конференции какое угодно соглашение, хотя бы для того, чтобы дожить до мировой революции, т. к. его ничего больше не интересует. И России впоследствии колом встанет каждый кусок шоколада, привезённый теперь в Россию путешественником Нансеном или сухопарой английской мисс.

Но когда больше покупать будет не на что, когда население разредится так, что не будет логического основания умирать больше — тогда придёт железная метла военной интервенции, которая разместится по опустошённым голодом красноармейским казармам.

Тогда-то произойдёт богатая жатва того, что принадлежало чужим.

Поэтому мы, национально настроенные люди, должны быть противниками всяких переговоров с большевиками.

Ведь это чаша Мёртвой воды, которую простирают к измученным зноем революционной лихорадки запёкшимся губам России…

Потому что жизнь социалистов-большевиков — смерть для России.

Вечерняя газета. 1922. 22 января.

Будни революции

Когда замолкают выстрелы, проходит энтузиазм первых дней переворота, всё равно — какого, когда вновь водружённый на шесте флаг с дождями и ветрами первой недели приобретает блёклый вид, то наступает тот трагический момент, на котором деятели нашей революции послереволюционного периода неуклонно ломали себе шею, — период строительства.

Революция, переворот — известным образом праздник. Дрожат взвинченные нервы, глаза сияют, и кажется, что заветное «лучшее будущее» вот тут, за углом, недалеко.

Но это ожидаемое будущее является лишь отрицанием того настоящего, которое переворачивали, и, в сущности, никаких-то положительных качеств не имеет. Эти положительные качества, эти твёрдые формы надо найти, надо изобрести, надо сотворить.

У древних писателей есть рассказы о тяжёлых пепельных сумерках в киммерийской стране. Там не слышно ни говора человеческого, ни крика петуха на заре, потому что там живёт безгласный покой. Лежит на роскошном мягком ложе Сон и не может поднять головы от подушки.

Такие киммерийские сумерки царят и в головах наших политиков. Самое большое, на что их хватает, это грезить о прошлом. О прошлом положительном грезят правые. О прошлом с отрицательным знаком грезят левые, но и те и эти — во власти будней революции.

Творчество новых форм, тем не менее, идёт. Идёт тяжело, неуклюже, кроваво. Идёт без руководящей идеи, без руководителя, в борьбе мелкой и раздражительной между собой, всё более и более приучаемой к компромиссам, потому что всё более и более пугает нас море революции с его бурями.

Улетают знаменитые буревестники, подобные чёрным молниям. Уходят кровавые праздники революционных взрывов. Наступают будни революции.

Вечерняя газета. 1922. 30 января.

Пекин. Фарфоровое молчание

Когда из окна «Hotel des Wagons Yuts» в Пекине вы смотрите на расстилающийся перед вами огромный серо-бурый, полускрытый городской стеной город, то далеко, на фоне лазурного, переходящего в золотое неба, среди тёмно-зелёных круглых деревьев, высящихся в молчании над этим вечным городом Востока, вы видите остроконечный купол Храма Неба.

* * *

Храм Неба в столице Небесной Империи.

Полуголый рикша, покачиваясь, несёт вас по широким улицам, сплошь набитым, как поле васильками, синими курмами. Свежий осенний воздух хлещет в лицо, в бледно-лазурном небе мелькают роскошные золотые вывески, иероглифы знакомые и незнакомые, сменяя друг друга, и в непосредственной, ясной наглядности всплывает мерная строка:

Золото-огненные колосья —
вот как составлен иероглиф осени!..

Рикши движутся двумя непрерывными лентами друг другу навстречу, звенят хрустальные кареты с раскрашенными куклами-красавицами, мелькнёт малиновая лента маньчжурки, и из всех домов, полков, прилавков выпирает неимоверное количество товаров — торговли, торговли, торговли…

Кому покупать эти яркие парчи и шелка, кому покупать эти моря ярко-зелёной, переходящей в красную, зелени, эти причудливые сосуды, сияние медных чашек и плошек; кому съесть это бесконечное количество пищи, полнящей длинные обжорные ряды, разнообразными запахами бьющей в нос. Кому сбыть все десятки тысяч пудов разных фигурных сластей, которые на коромыслах синие курмы таскают в разные стороны, переплетая свои визги с монотонным скрипом «водяных телег», провозимых полуголыми рабами с обнажённой мускулатурой.

Но вот толпа становится всё реже и реже. Мы катим по широкому шоссе, и наконец, слева, над каменной оградой — Храм Неба.

* * *

Мёртвая тишина огромного поля под молчащими круглыми деревьями. Парк, полный мистической тишины, молчание, воплощённое в саду. Под дыханием осени слегка жёлтая трава; в путаных изгибах, толпясь друг около друга, уходят деревья. Зато пряма, как стрела, серая дорога, что идёт к внутренней ограде. Широка она и составлена из прочных больших плит. По сторонам, через несколько сажен один от другого круглые барабаны, каменные, вроде жерновов, с высеченными на них фантастическими чудовищами — пустые подсвечники для шестов с фонарями в ночи торжеств. Ещё ворота, и вот перед вами лёгкие, как сон, беломраморные аркады, что тянутся среди овальной внутренней стены храма от самого храма к

жертвеннику.

Вы поднимаетесь. Налево, в конце аркады, разбегающейся в стороны и за белыми дверями образующей круглую террасу с прямыми горностайно-белыми перилами, перевитыми драконами-фениксами, среди молчания чёрно-зелёных кипарисов, безмерно превосходя их в своём подъёме к небу, с этой террасы высится ротонда — Храм Неба. Лазурный фарфоровый купол его, вытянутый, коронован чем-то вроде большого тускло-золотого ананаса. Тёмно-красные, коричневые скорей, колонны тёплого тона дерева, огромные, стройные, как колонны из ливанских кедров у храма Соломона, несут на себе крышу. Простые и в то же время безмерно сложные решётки полнят собой его окна, и внутри красноватый сумрак с воркованьем и взлётами голубей и тусклая позолота древних письмён.

Тишина. Солнце склонялось к закату, рассыпая розовые лучи. Словно телом с кровью стал белый мрамор, эбеновым деревом глядели кипарисы, и среди этого безмолвия из-под мраморных плит, из-под особых наклонных плоскостей, по которым поднимался в Храм император, ступая по облакам, драконам и солнцам, буйно росла трава.

* * *

Полное запустение царило кругом. На колокольне надпись: «Был Иванов-Ринов». «Зинаида Иванова-Ринова». На бесценном мраморе расписалась какая-то «восторженная Ревекка», а рядом отголосок гражданской войны: «Бей жидов!!».

На противоположной стороне от храма несколькими лёгкими концентрическими террасами под заходящим солнцем пламенел мраморный жертвенник. Как вавилонский зиккурат, роговым альмандином невысоко поднимался он, и старый китаец долго объяснял нам, как в больших решётчатых сосудах, стоящих теперь праздно, пламенел огонь и горели жертвы.

Но, несмотря на это запустение, кругом чувствовалась какая-то напряжённость. Мы сошли было с аркад в тёмный вечно молчащий кипарисовый бор, в рощу мёртвых. Маленькие храмы с выбитыми окнами, тусклая позолота внутри сидящих богов, и вся эта неясная, но напряжённая жуть разрешилась, наконец, в чувство определённого страха, когда против тёмного коридора под аркадами мы ясно услыхали чужие, чёткие, тяжёлые шаги, идущие нам навстречу.

Мы остановились. Остановились и шаги. Мы двинулись. Шаги загремели.

— Эхо! — догадались Мы.

— Кто там? — Раздался вопрос, и на него из молчащей галереи звонко и гулко совершенно отчётливо донеслось:

— Кто там?

Багровое солнце было низко, повисло среди чёрных иссиня кипарисов, когда мы, ускоряя свои шаги навстречу гремящим нам шагам, устремились к выходу. И сразу же после известного предела настала великая тишина…

Так ясно чувствовалось, что тысячелетия религиозного напряжения миллионов людей не прошли даром. В Храме Неба продолжали жить его Боги.

* * *

Ничто из наших «демократических» зрелищ не может сравниться с тем великолепием, которым сопровождались религиозные церемонии в Храме Неба. Накануне Нового Года по улицам Пекина, из Запретного города, из императорского дворца двигалась огромная процессия. Тысячи народу участвовали в ней. Тысячи пёстрых сверкающих танцоров шли, мерно изгибаясь, впереди, под своеобразно приятные грохоты литавр, труб, барабанов. Спускался вечер, и факелы дымно пламенели среди этих сверкающих шелками огромных толп. В фантастических халатах двигались воинские части. Сотни принцев крови, одетых в голубое, окружали императорский паланкин.

Это император шествовал на богослужение в Храм Неба.

Вот по этим аллеям, по аллеям из чёрных деревьев и круглых бесчисленных фонарей двигалась эта залитая пламенеющим светом факелов толпа. Вот на этой круглой площадке, на аркадах с мраморной балюстрадой стоял шёлковый шатёр императора. Вот здесь его ждали придворные и священники, когда он находился один в Храмине сосредоточенного размышления, приготовляясь к богослужению.

Само богослужение совершалось на мраморных плитах жертвенника. Имена предков, имена стихий, имена светил стояли на красных табличках, и им приносились жертвы. Приносился рис, сласти, животные, шёлковые материи. Часть всех жертв сжигалась, часть жертв зарывалась в землю, куда ближе по прямому назначению. И во имя тайных связей, существующих между прошедшим и настоящим, во имя вечности приносились моления главой народа о благоденствии и мирном житии, о чём молятся все церкви всего мира.

И перед утром процессия так же медленно двигалась назад.

Всеобщее и уравнительное стремление современности уничтожило эти великие драгоценности теократии. Как можно достигнуть того напряжения, которое достигалось тогда в эти дни празднеств в китайском народе?

* * *

В прошлом году в Харбине я наблюдал последний день Нового Года. Под вечер хлопанье хлопушек и ракет приняло совершенно бешеные размеры.

Звон сковород отпугивал злых духов от каждого дома. Светились транспаранты иероглифов. А к полной луне на золотисто-голубом ночном небе, как огненный змей, шипя неслись ракеты и рвались с треском. Светящийся лев танцевал на месте, и плыл освещённый изнутри голубой Дракон, само Небо. Цветистые платья актёров, двигающих мерно бёдрами под музыку, и это волненье самой толпы создавало настоящий национальный праздник.

Это наша масленица, с сжиганьем Костромы, это наши зелёные святки с молодыми берёзками, это наши святки с красными звёздами, радоницы с переговорами с мёртвыми, с угощением их на могилках. Это весь тот чисто народный ритуал тёмных, но мудрых и неизбежных верований, которые, как слабые тени, живут в наших душах так же, как жили они в душах предков наших.

Но у нас они затёрты вихрем чужого. В Китае они сохранились до сего времени, но и там теперь на ступенях Храма Неба растёт трава.

В отелях Пекина танцуют американцы. Их армия спасения шляется по улицам с трубными звуками и боем барабанов. Они вывозят ценные китайские вазы к себе в Америку в качестве раритетов, и они разрушают Китай.

* * *

Неужели великие цивилизации умрут без всякого сопротивления? Неужели по всей вселенной пройдёт уравнительный опошляющий вихрь, нарушающий голубое фарфоровое молчание?

Вечерняя газета. 1922. 31 января.

В народном собрании
(*Впечатления*)

Вчерашнее заседание посвящено было конференции в Генуе. И любопытнее всего, что всё оно прошло под знаком сплошных догадок, что такое конференция в Генуе.

Нам приходилось уже отмечать ту полную неподготовленность, с которой Народное собрание приступает к разрешению разных проблем. Все говорят, словно движимые святым духом, и прения развёртываются цепляньем одного оратора за другого, взаимным подзадориванием и увлечением.

Особенно ярко выявилось это вчера. Премьер В. П. Разумов просто доложил Народному собранию все фактические скудные сведения, и затем для ораторов всех толков открылась широкая, доступная во все стороны область догадок. Конечно, соображения эти выливались в форму соображений, что именно так оно и есть, как он говорит. В. Ф. Иванов так и начал с указания, что «представитель правительства ничего не сообщил по сему поводу», хотя кому как не ему — самому молодому депутату и самому старому премьеру не знать, что в правительстве, как и вообще во Владивостоке, никаких более подробных данных и нет!

После Разумова вылез на кафедру Кроль. В остроумной речи, вспоминая печальный свой колчаковский и екатеринбургский опыт, выпуская свои голосородинские воспоминания второй раз, устно, он доказывал, что мировым державам, собственно говоря, наплевать на национальную Россию. При этом Ллойд Джордж вышел у него таким мошенником в политике, что почтенный Лев Афанасьевич словно убеждал публику:

— Ну что ж делать с такими господами? Плюнуть и отойти…

Грассируя словом «экономический», выговаривая его особенно вкусно и сочно, говорил князь Кропоткин. Набрасывая схему насчёт «выкинутой за борт мировой жизни одной шестой суши» и невозможности существования без неё мирового оборота, почтенный оратор публично бродил в сумерках по конкретному вопросу — что же делать Приморью? По его собственному выражению, вопрос этот имел быть обсуждён в «более организованном собрании»…

В. Ф. Иванов экстренно был выпущен, чтобы спасать положение. В продолжение получаса, ровно работая, подобно кофейной мельнице, он выложил весь тот свой материальчик, который когда-либо приходил ему в голову по вопросам международным. Исторические схемы, могущие быть предметом сотен томов обоснованных исторических работ, неслись перед слушателями со скоростью ста миль в час. Конечно, никто в

таковом обосновании и не нуждался! Дело было в том, чтобы «покрыть» Кроля, который, предавшись «своей совести», наговорил много такого, чего не могло перенести большинство, привыкшее сливаться с Кролями в «стихийных широкогоровских вотумах» последнего времени…

Речь Иванова никакого политического значения не имела, да и не могла иметь, и прав был Д. И. Густов, который своей умной речью указал на слишком лёгкий подход к этим проблемам. Оказывается, Лев Афанасьевич в вопросе о дайренской конференции был совершенно противоположного мнения о значении международных выступлений.

Кулуары же шумели. Они верили своим лидерам, как всегда, и, как всегда, не понимали их речей. Злобой дня была речь Кроля и негодование против неё.

Искусственно созданная «стихийность», таким образом, дала серьёзную трещину, и генуэзский вопрос обратился, собственно говоря, в сражение из-за Генуи, данное правыми левым.

Но политическое молодое вино продолжает жить в старых мозгах наших Биконсфильдов, и неистовый Павел Оленин со страстью испанки крушил выступление Чудакова, стоя на известной точке зрения:

— Может ли быть что доброе от Назарета? От национально-демократического союза-то?!

Его гарцевание, джигитовка, вольтижировка и рубка доставила нам несколько приятных минут, но толку от них было весьма мало.

Вопрос отложили… Время терпит… Не к спеху…

Вечерняя газета. 1922. 4 февраля.

Новая революция

В Советской России весна — восстановление капиталистического строя идёт полным ходом. В самом деле — чего же больше, ежели даже «салонные оркестры» услаждают слух посетителей московских ресторанов — не столовок — до 2-х часов ночи!

Газеты пестреют объявлениями. Вовсю стараются торговать все эти Главбумы, Центросиликаты и пр. Даются не политические, а экономические свободы. Кто-то что-то производит, но на страницах казённых газет — а в социалистическом царстве, как известно, все газеты казённые — всё-таки реет страшный призрак голода.

На страницах газет этих ясно, что там, в глубине России,

неблагополучно. Пусть поезд с Троцким «плавно подходит» к декорированному перрону. Пусть с достойным лучшей участи упорством повторяются слова: «Всё для социалистического отечества», молчание, которое идёт от народа, — страшное молчание.

И если, продолжая выдавать все эти капиталистические вольности дворянства, начатые капиталистической весной, большевики дойдут до того, что дадут и свободу печати, то страшный обвинительный вопль промчится по всей огромной России.

Или, может быть, в тех ресторанах состоятся теперь и банкеты?

И в вопле этом, который сольётся с зарубежной, всегда более слабой печатью, встанет новая революция, революция против большевиков.

Революция против страшного самодержавия нескольких лиц, доведших страну до отчаяния смерти.

Так было, так будет. Так говорит капиталистическая весна, новая эра свобод.

Вечерняя газета. 1922. 17 февраля.

Кроль, Оленин и Ко

Нам неоднократно приходилось уже указывать на фетишизм в отношении некоторых общественных институтов, царящий в умах общества, в частности, в отношении печати. Вчерашнее заседание Народного собрания было лучшим доказательством господства этих суеверий в головах почтенного собрания.

Конечно, нам не переделать Кроля или Знаменского. Они упорны в своих верованиях до могилы, подобно тому как упорны староверские начётчики. «Они ничему не научились и ничего не забыли», эти господа.

Это они вопили при Керенском о свободе печати. Это они позволяли Ленину и Троцкому говорить в Народном доме о том, что они снимают шубу с буржуазии.

Мы не относили их исторических ошибок к их достоинствам, и мы не скорбим лицемерно о судьбе «Курьера», как и «Курьер» не скорбел бы о судьбе «Вечерней Газеты», несомненно бы закрытой, без всякого общественного воя, как только воцарились бы тут «курьеровцы».

Газетчикам ведом тот тонкий тон газет, который не поймёт никакой цензор, подобно тому как вы не сможете придраться к кривой и трусливо-презрительной улыбке.

Но все, кроме Кролей и «приват-доцентов» Знаменских, знают, что эта усмешка, поджимание губ действуют так же отлично, даже тоньше, нежели простые призывы — «долой». Такова позиция «Курьера», такова позиция «Голоса Родины», этой изумительно недостойной газеты по своей вертлявости.

Да, цензура этого не ловит. Да, и вот почему тут должен быть применён не явочный, а разрешительный порядок выпуска этих газет. Смешно с кафедры Народного собрания втирать очки, что закрыт «Курьер», когда выходит «Восточный Курьер»! Кого вы хотите обмануть этим, г-да Кроль и Знаменский!

Но вот непонятна позиция Оленина. Почтенный черносотенец, в июне месяце аргументирующий камнем в голову в пользу настоящего государственного строя, он теперь во власти хорошего тона королевского парламентаризма.

Мы скорбим о заблуждениях этого страстного человека и надеемся, что ещё он исправится и не будет вредить больше русскому делу.

Вечерняя газета. 1922. 1 марта.

К единению!

Злой и язвительный епископ Дж. Свифт в своём «Путешествии Гулливера» рассказывает, что его герой однажды посетил страну, в которой разразилась страшная война — дрались тупоконечники и остроконечники.

Дело в том, что первые полагали, что яйца на обычный завтрак надо бить с тупого конца, другие же — с острого. Свои убеждения они защищали оружием, почему и возгорелась эта война.

По-русски такие споры называются спорами о выеденном яйце. И, в сущности, всё равно, как назвать споры наших нарсобщиков — по-русски ли, по-английски ли. Суть только в том, что, как выразился про Нарсоб один американец, — занимаются, главным образом, разговорами.

Разговоры — вещь приятная, но нужно обращать внимание на обстановку. Белоповстанческое движение — жертвенное по своей природе, помощь ему, всяческое содействие, как в отношении материальной стороны, так и живой силы, — вот что должно служить темой их.

Парламентская делегация, возвратившись с фронта, привезла неудовлетворительный доклад Болдырева, привезла яростные выпады Донченки, которые несколько охлаждены свидетельствами о. Иоанна Кудрина. Собрали чрезвычайную

сессию и… ничего не сделали.

Когда же, наконец, кончатся разговоры, скрупулёзные ходатайства зубра Оленина о несчастном «Курьере», о «Голосе», с позволения сказать, «Родины» и прочих пустяках?!

Или забыли эти люди, что всё-таки одна мысль должна господствовать, одна мысль звать консулов к бдению, что в Москве сидит Красный Дьявол и что уберечь от него ядро, зерно, цитадель нации хотя бы на Востоке — вот почётная и трудная задача.

Отделите же главное от пустяков и объединитесь!

Вечерняя газета. 1922. 2 марта.

Старые меха, новое вино

Россия лежит, простёртая, в пыли. Уничтожено всё, что можно только уничтожить. Нет ни промышленности, ни торговли, ни церкви, ни суда, ни государственности — ничего. От татарских нашествий Россия страдала меньше, нежели от этого нашествия социализма.

Только на окраинах борются, что-то организовывают, что-то отстаивают. Только на окраинах люди не мрут от голодухи, как мрут они в более хлебных центрах, только на окраинах теплится ещё кое-какая жизнь.

Но все эти провинциальные, окраинные уголки неизбежно преследует одно и то же проклятие. Как только начинается на них какое-нибудь движение, всё оно проходит под знаком старых форм. Сохранение кое-какого порядка, минимума возможности человеческого существования означает сохранение старого чиновничества и связанных с ним форм, привычных, заскорузлых форм деятельности.

Десятый месяц идёт существованию нашей Приамурской государственности, а посмотрите, как во всей красе по учреждениям родилось, разлилось чиновничество. Самые главные артерии государственного существования оказываются пропитанными чиновничеством, формализмом, старанием улизнуть от ответственности в «коллегиальном начале».

Все, кто вынуждены иметь дело с канцеляриями, таможнями и прочее, весь торговый, промышленный и иной элемент просто стонут стоном от формализма, под которым нередко скрывается и более худшая суть.

Посмотрите на Народное собрание! Разве в своей деятельности оно не связано этим формализмом? Разве те вопли о тяжёлом положении, о необходимости выйти из кризиса

соответствуют этой старого образца, неэнергичной, вялой «законодательной работе»?

На очереди вопрос о средствах. Мы отлично помним, как писало «Русское Дело», что законопроект о налоге будет готов… 8 февраля!! Слава Богу, нынче 3 марта, а он ещё медленно поспешает.

Народное собрание за это время удосужилось только оплакать «Курьер» да обругать Савостия…

На очереди вопрос об образовании единого национального фронта.

Дай Бог, что бы хоть он оказался способным выйти из чиновничьих рамок и вдохнуть волю живу в действия, помятуя одну только цель:

— Борьба с коммунизмом и сохранение искры национальной…

Новое вино не вливают в старые меха.

Вечерняя газета. 1922. 3 марта.

Цена крови

Итак, сионский мудрец Кроль пошёл против примечания к ст. 1-й закона о чрезвычайном налоге, и Народное собрание пошло за ним, говорившим, что налог этот должен быть уплачиваем всеми классами населения одинаково, т. е. крестьянами.

Его поддержали два парламентария: Оленин и Донченко.

Первый просто согласился с его положениями, второй же указал на силу большинства и на то, что «он сумеет провести» налог.

Победила ли система универсализма в речах Оленина и Кроля или стратегические соображения Донченки, но факт налицо: крестьянам будет предложено платить чрезвычайный налог.

Если бы на сие дело можно было смотреть со стороны, то было бы весьма любопытно посмотреть, как тот же самый Кроль, поехавший в гущу населения, кишащего партизанами, сумел бы получить с крестьян этот налог, положим, по одной куне с дома.

Если бы интересоваться судьбами края России, то, конечно, интересно проследить, как перевранный красными агитаторами барский закон даст взрыв партизанщины в крае. Припомните, что вышло из Омского земельного закона.

Но так как незаинтересованным быть не приходиться, то приходится глубоко скорбеть, что Народное собрание, пойдя за Кролем, за те крохи, которые правительство соберёт с окраинных,

прижатых к железной дороге крестьян, заплатит страшную цену — цену крови.

Потому что эта поправка Кроля — керосин в огонь гражданской войны!

Вечерняя газета. 1922. 4 марта.

Почему же молчит Кроль?

Кто таков Кроль?

Страстный поборник чистого парламентаризма, глубокий знаток его всех писаных и неписаных законов, специалист по парламентским конфликтам, носитель и хранилище всех его традиций.

Почему же молчит Кроль, спрашиваем мы вторично. Разве не нарушены парламентские конституции?

Они нарушены!

В обычаях парламента, что председатель его (спикер) выше всяких подозрений. В обычаях парламента спикер — образец бесстрастности к своим политическим противникам.

Между тем со спикером Андрушкевичем дело обстоит не так благополучно.

Ежели, например, сеньорен-конвент постановляет считать, что открывается «Чрезвычайная сессия», а спикер выходит и открывает «Очередное заседание после перерыва», то не показывает ли это на то, что — что спикеру Гекуба, и на его политическую страстность, почти кролевскую?

Почему молчит Кроль?

Дальше пикантный инцидент с пропавшей грамотой — простым приказом о вступлении в исполнение обязанностей председателя правительства временно И. И. Еремеева. На этом приказе готовилась разыграться заветная мечта той группы, к которой принадлежит г-н Андрушкевич, — декларация по поводу их пиа дезидериа[15]. Но когда поднялся вопрос, достаточно ли прочно основание для этого, — вдруг оказалось, что сама бумажка таинственным образом скрылась.

Её, положим, нашли в бумагах дня через три и опубликовали в «Голосе Родины», новом официозе Нарсоба. И опять-таки, это доказывает только одно — политическую страстность г-на Андрушкевича и проведение им своих взглядов за казённый счёт, так сказать, при помощи высокого поста председателя.

Как смотрит на это дело парламентарская совесть Кроля? Или он смотрит на него, по одному еврейскому анекдоту, — «рискую одним лишь глазом»?

В таком случае надо ждать протеста не от сионских мудрецов, действующих теперь заодно с земскими начальниками и монархистами, а от простых людей.

И мы думаем, им придётся поставить небольшой вопрос о том, насколько теперь отвечает большинству президиум Народного собрания.

Вечерняя газета. 1922. 9 марта.

Певец на полдне
(*Этюд Всеволода Иванова, читанный на вечере памяти Гумилёва*)

Меньше одним пленительным человеком. Больше погребальных масок, больше чтимых предков на алтарях нашего быта.

Больше простора для убийц с низкими лбами… И ещё больше простора для творцов новой жизни.

Конечно, Гумилёв — певец на полдне, и должен был умереть. Ведь он же не знал никакой «новой жизни». Он не мог подвергать себя отчаянию — отмахиваться от настоящего, как от томительного сна, — для нового сна, может быть, ещё более кошмарного!

Вечной жизни он был певцом, жизни прекрасной, как вечно воскресающие мраморы. Он различал её божественные контуры сквозь те волнующиеся одежды бытия, о которых говорит Гёте… Правда, мутные шумы её настоящего заставляли тонкого Гумилёва сторониться вежливо, горьковатым ассонансом своих стихов он так поведал нам про это:

Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда,
Всё, что смешит её, надменную,
Моя единая отрада!

И он искал жизни несовременной, той корсарской, пиратской, охотничьей, абиссинской, военной, наконец, которая допьяна бы напоила его своими силами.

Когда Анну Ахматову, эту чахоточную поэтессу, сладкозвучную сирену спрашивали:

— А где ваш муж?

— В Абиссинии, — отвечала она, — охотится на львов!

И это было так в прекрасной действительности. Его жена

мягко куталась в пёструю шаль с разводами, выращивая свои напевные строки в уютном домике в Гатчине, среди белых, жемчужных под голубым морозом боров, а маленький, удивительно некрасивый, с асимметричным лицом Гумилёв искал в Абиссинии исполнения своих грёз:

Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне…

Всю роскошь мира впитывает в себя поэт в этих видениях, но не отчуждённых, а лишь усугублённых экзотикой. Как день перегибается из опаловых, сине-зелёных, в алых пятнах утренних сумерек и через золотой полдень — в отдохновительную прохладу подымающихся туманов вечера, так и жизнь, сплошная и неразрывная, имеет в себе углублённость полдня, греческого акме. Полдень, сладкий и нежащий, концентрирует и вбирает в себя всю жизнь, подобно тому как в хрустальном стакане, в ключевой воде уральский цветной камень делается бесцветным, лишь в одной грани собирая всю силу, всю интенсивность своей окраски.

Акме — этот девиз в щите у первого акмеиста — Гумилёва, и он им дышит.

Нет воды свежее, чем в Романье,
Нет прекрасней женщин, чем в Болонье…

Но сам он не увлечён, однако, этой жизнью. Он — холоден, как алмазы горных вершин, этот бесстрастный созерцатель. Ведь он великолепный переводчик бесстрастных, ослепительных «Эмалей и Камей» Теофиля Готье, спокойного парнасца, имевшего наглость поэта выдать золотую медаль ресторатору, у которого они еженедельно обедали, за то что во время голодной осады Парижа немцами он заставлял их забывать это обстоятельство. И завет этого ювелира стиха таков:

Искусство тем прекрасней,
Чем взятый материал
Бесстрастней —
Стих, мрамор иль металл…

В этих эмалевых видениях, в холодных весенних бурях образов несутся хороводы видений Гумилёва, всё разные виды одного и того же Протея — жизни.

За этим прекрасным Протеем гнался всю жизнь Гумилёв. Из Абиссинии — на германскую войну. Полный георгиевский кавалер — солдат, георгиевский кавалер — офицер, он с холодной улыбкой следил за бледными красками смерти, чёрными на яркой роскоши Полдня.

Русский Андре Шенье, он, верно, улыбкой встретил свою смерть от красной волны революции…

Потому что он был певцом полдня и вечной жизни.

Вечерняя газета. 1922. 9 марта.

В стереоскоп

Помните стереоскопы, что лежали на пыльных малиновых скатертях в провинциальных гостиных, покамест обитателей этих гостиных не угробил воинствующий социализм, а сами скатерти и стереоскопы не проданы на барахолке ради хлеба и не поступили в руки совбуров?

В них две картинки. Смотрите в косые стёкла, одна картинка наезжает на другую, и получается нечто настолько выдающееся по своей рельефности, что, бывало, барышни вскрикивали, видя «Льва святого Марка в Венеции»:

— Как живой!

Вот вам две картинки современного стереоскопа. Наложите их друг на друга.

1. Как известно, теперь в Приморье происходит такая политическая рвачка, что шерсть летит клоками во все стороны. Дерутся наши с ихними, доблестные несоциалисты с таковыми же несоциалистами. Параллельно, буря в стакане воды, идут прения живота со смертью о назначении «кабинета».

Занимаются всей этой штуковиной человек до восьмидесяти: полсотни членов Нарсоба да человек тридцать любителей. Разговоры идут о «коалиции», об истинном парламентаризме, об ответственности кабинета «только и не только»… Андрушкевич, Донченко и прочие умные головы только и полны сиими важными делами.

2. А там, там, в глубине России… Вчера зашёл я в канцелярию одного правительственного учреждения… Мухи дохли от скуки, барышни томились за машинками, молодые люди бродили за справками… Самая хорошенькая барышня что-то выстукивала на машинке через копирку. Я поболтал с нею и вот

получил экземпляр следующего стихотворения Игоря Северянина:

Ванг и Абианна, жертвы сладострастья,
Нежились телами до потери сил.
Звякали призывно у неё запястья,
Новых излияний взор её просил.

Было так безумно. Было так забвенно.
В кровь кусались губы. Рот вмещался в рот.
Трепетали груди, и межножье пенно.
Поцелуй головки и наоборот.

Было так дурманно. Было так желанно.
Била плоть, как гейзер, пенясь, как майтранк.
В муках сладострастья млела Абианна,
И в её желаньях был утоплен Ванг.

Наложите теперь одну картинку на другую, и вы увидите, что такими средствами ничего не достигнуть. Милой барышне из учреждения решительно всё равно, что происходит у восьмидесяти политических толковников. Политические толковники заняты серьёзным делом и на барышень, конечно, не обращают никакого внимания. И правильно! Но кто же, наконец, обратит внимание на то, что делается, кто же, наконец, поймёт, что не в министрах дело, ежели сам-то аппарат наш — административный, какой угодно, лежит в параличе!

Тут никакой государственности не достигнешь, хошь ежели бы диктатором был сам Донченка, а именно — «наоборот»…

Вечерняя газета. 1922. 14 марта.

Декларация премьера

Итак, сегодня мы будем слушать декларацию премьера.

Ежели «у книг своя участь», как говаривали древние, то у деклараций премьеров наших тоже своя определённая участь.

Они идут на выстилку мостовых ада, в качестве добрых намерений…

Мы помним декларацию В. С. Колесникова. Помним декларацию В. Ф. Иванова. Даже не одну, а две. Первую, которую он не успел прочесть, он напечатал в виде интервью.

Характерно, как у нас смотрят на эти декларации. Они представляются невооружённому глазу доморощенных политиков наших чем-то вроде стипль-чеза, скачки с препятствиями для

нового аспиранта на премьера. Выдержит ли он экзамен по части знания всех тех фраз, которые требуются хорошим государственным — парламентарным тоном для премьера? Не ухнет ли он чего-нибудь такого, что заставит насторожиться оппозицию или волноваться большинство?

Но мимо Сцилл и Харибд этих благополучно проплывали премьеры наши, достаточно искушённые в нехитрых хитростях. Но всё же они не избегали серьёзной и основательной критики. В. С. Колесникова упрекали за чрезмерную сухость и деловитость его обнаружений. В. Ф. Иванову, напротив, ставилась в упрёк слишком широкая склонность к государственному восторгу.

Затем декларации сдавались в архив, как только замолкал гул от них в стенах Народного собрания и в газетах. И только порой какой-нибудь шкраб Знаменский вытаскивал их для того, чтобы внутренней критикой показать «неискренность» премьера и «неисполнение» им своих обещаний. На этом дело и кончалось.

Конечно, мы рискуем оказаться в смешном одиночестве, если укажем на одно весьма любопытное обстоятельство. Как-то совсем не требуется от премьера строгого выполнения своей программы. Вот точно так же, как кому придёт в голову, даже самой сумасбродной женской головке, требовать то, что обещают ей влюблённые уста?

Звезду, красавица, проси,
Звезду тебе достану!

Положим, в Народном собрании выступил бы кто-нибудь, например, Донченко, и стал бы указывать тому же Василию Фёдоровичу на полное невыполнение его программы в отношении международной или финансовой политики. Разве это не сочтено было бы неуместным?

Итак, декларация премьера вещь такая, которая, содержа в себе ряд обещаний, в то же время не даёт обещаний исполнить эти обещания. Декларация — это, так сказать, приятные мечты, те планы, «набрасывая которые, легко придаёшь себе вид творческого гения. Но воплощение этого вещь трудная и неблагодарная» *(И. Кант. Пролегомены)*.

Мы будем, наконец, надеяться, что декларация, которую мы теперь услышим, будет деловой. То есть, не содержа в себе ничего обыкновенно пышного, она будет ясным образом того, что есть, и коротким и резким планом того, что можно сделать.

Конечно, есть ещё одно важное обстоятельство, а именно — время. В условиях чисто политической министерской чехарды ни одна декларация не сможет быть выполнена, какова бы она ни

была. Но это дело устойчивости самого большинства. Ибо как могут работать министры, ежели под них беспрестанно запускают брандера[16]?!

Вечерняя газета. 1922. 17 марта.

О вчерашней декларации

Во вчерашней декларации С. И. Ефремов намечает три фактора в качестве необходимых для трудного дела существования настоящего Приморского государственного образования:

— Национальное самосознание.

— Реальную силу.

— Материальное благополучие.

С первым и со вторым, полагает С. И. Ефремов, дело обстоит благополучно. С третьим — хуже. Но только в одной части, а именно — в отношении капитала. Что касается труда, то его у нас достаточно, как русского, так и иностранного. Есть разные категории капитала. Самая желательная не идёт к нам. Но если у нас будет порядок, то и она пойдёт к нам, так как врагов-то у нас, собственно говоря, нет. Только большевики. Но и те скоро разложатся.

Мне помнится подобная этой длинная цепь умозаключений, которой изящно играла Франция во время Великой войны. «Война? — говорили французы. — Это не окончательно плохо! Во-первых, пойду ли я на войну? Если не пойду, то это хорошо. Если же пойду, то это не окончательно плохо, потому что есть разные возможности: меня ранят или не ранят. Если не ранят — это хорошо. Если же ранят, то я или выздоровлю, или умру. Если я выздоровлю, то это хорошо. Если же умру, то ничего не буду чувствовать, никаких волнений, связанных с войной, и это тоже хорошо. Так что война, куда ни кинь — всё хорошо!»

Мы не склонны, однако, так оптимистически и легко откидывать целые громадные антитезы. Уже в абзаце первом с национальным самосознанием дело обстоит не так хорошо. Возьмите всем известные свары в национальных кругах. Нет, путь к национальному сознанию усеян многими терниями…

Далее — реальная сила… Реальная сила при нереальном снабжении — вот проблема, которую нужно тоже разрешить, и разрешить с громадным напряжением.

Наконец проблема материального благополучия. Она решается не только имением запаса материальных благ, даров природы, но самой-то возможностью приложить к дарам этим

труд. А возможность эта — чисто психологическая. Народ избаловался, как верно говорил в своей речи Н. И. Кузьмин. Напряжения и труда, наконец, жертв — не может он дать, даже при таком стимуле, как угрожающий большевистский голод, как угрожающее экономическое и народное завоевание…

Таким образом, все этапы, мимо которых легко и быстро в своей речи проходил С. И. Ефремов, нам кажутся наполненными опасностями и козьнями судьбы. И будем только надеяться на то, что из тупиков этих вывести нас может ясная, твёрдая воля отдельных руководителей, отдельных патриотов, ибо народная энергия в тяжёлые такие времена уходит, как в цитадели среди порабощённой врагами рода человеческого толпы, — в отдельные личности.

Энтузиазм — свойство личностей этих. И пожелаем, чтобы оптимизм С. И. Ефремова был пополнен ещё энтузиазмом.

Вечерняя газета. 1922. 18 марта.

Против социалистов! (*К годовщине Первого съезда*)

Сегодня, 20 марта, исполняется годовщина съезда представителей несоциалистического населения Дальнего Востока. В прошлом году, при господствовавшей здесь большевистской власти, представители от 60 организаций, беженских и местных, нашли в себе мужество собраться на совещание сюда, во Владивосток. Правительство ДВР, разыгрывавшее из себя правительство «демократическое», допустило это собрание в качестве одной из гражданских свобод. Правда, оно с охотой не допустило бы его, но международные обстоятельства заставили сделать это.

Значение Несоциалистического съезда чрезвычайно велико. Впервые за всё время революции был ясно и определённо назван виновник несчастий русского народа — социалисты. Социалисты, взявшие верх во Временном правительстве всероссийском, социалисты, в лице большевиков захватившие власть в октябре 1917 г., социалисты, ставившие палки в колёса всякому национальному движению, наконец, хозяйничанье социалистов здесь, на Дальнем Востоке, в личине земской власти — всё это одна сплошная цепь государственных преступлений, вопиющих перед небом о возмездии.

Кроме своей неудачной деятельности, социалисты показали себя крайне безнравственными. Все средства для них хороши. Они сначала кричат об Учредительном собрании, обещая его

скорейший созыв ослеплённому народу. Затем они разгоняют это самое Учредительное собрание. Они устраивают в системе Советов сплошь фальсифицированное народное представительство, могущее лишь одобрять то, что диктует шайка диктаторов. В неслыханных мерах борьбы протекает их война за власть. Чрезвычайка свирепствует так, что сам царь Иван Васильевич — мальчишка и щенок перед этими господами. Голод, подобного которому не было несколько столетий на Руси, а может быть, никогда не было, заставляет русских есть друг друга. Война — единственное занятие для разнузданного действенного элемента революции, и вот почему социалисты ведут войны на всех фронтах, везде терпя поражение, кроме внутренних, где в ход можно пускать хитрость, ложь и предательство. Как во время Николая Первого, российские граждане не могут выехать за границу. Как никогда не бывало. Они не могут передвигаться по своей собственной территории. Они не могут заниматься тем, чем каждый хочет. Одним словом, такой жестокой и страшной картины, которую представляет из себя Россия под татарским игом социалистов, ещё не видел мир.

Кроме внутренней такой кошмарной политики, большевики ведут ещё и внешнюю политику, разоряя страну, вывозя под видом «внешней торговли» всё что можно. Они надувают всех, не краснея, от имени страны в ложных своих торговых договорах, не стесняясь при этом за государственный счёт печатать фальшивые деньги.

Вот в чём русские люди должны обвинять социалистов, и вот почему тот, кто не социалист, уже этим положительно определяет себя: он не принадлежит к шайке международных и инородческих бандитов, насилующих и растлевающих Россию.

На Первом съезде несоциалистов были установлены те основные пункты, на которых должно быть устроено управление государством. Оно должно быть демократическим, представительным и народным. В этой части, собственно, ничего не было нового с идеалами управления, которые одинаковы почти у всех народов мира. Но важна была тактика, впервые за время революции усвоенная правыми элементами:

— Никаких соглашений с социалистами. Никаких допущений в свою среду лиц, исповедующих принципы социализма. Как воины Гедеона, должны быть немногочисленны, но тверды несоциалисты.

Поэтому тогда, когда пришёл переворот и каппелевцы, ушедшие от большевиков, искали себе возглавления, они ни в ком ином не могли найти опоры, кроме как в несоциалистах. Вот почему выборный орган от съезда, Совет, принял власть 26 мая и

образовал Временное Приамурское правительство.

Таким образом, несоциалисты встали у власти. Они пришли тогда, когда государственная касса Владивостока была пуста усилиями социалистов, истративших на своё дело 190 миллионов. Пришли тогда, когда весь край, как вшами, кипел партизанскими бандами, что садили везде щедрой рукой социалисты.

В невероятно трудных условиях прошли первые 9 месяцев существования власти несоциалистов. У неё были и трудные минуты, были и успехи. Долго приходилось бороться с развращённым социалистами меньшинством в Народном собрании. Наконец, скованное большинство победило. Подъём духа белоповстанцев дал блестящий ряд побед и взятие Хабаровска. Военные суда правительства смогли даже обстрелять хищнический пароход под английским флагом. Занята отрядами правительства Камчатка, положен конец мечтаниям разных Вандерлипов.

Но в то же время надо сознаться, что теперь, через год, несоциалистическое движение тяжко больно. Среди нас, среди Народного собрания оказались люди непомерного самолюбия и честолюбия. Они в чаду борьбы позабыли лозунг несоциалистов — «против социалистов», и начали интриги в своей среде.

Потому при тяжёлых ауспициях вступаем мы во вторую годовщину. Нет того единодушия, которое отличало заседания первого съезда. Социалистический сифилис проник в среду несоциалистов, и долг каждого болеющего душой за государство найти в себе силы, чтобы пережить этот кризис.

Но всё-таки год тому назад Несоциалистический съезд, годовщину которого мы праздновали вчера, сказал своё веское, первое в истории России слово — «Против социалистов».

Вечерняя газета. 1922. 20 марта.

О бутербродах

Японская пословица говорит: «Одна собака лает зря, а 10 000 собак — с её голоса, как будто это истинная правда».

История бутерброда, самого слова, такова. Когда-то в «России» известный Гурлянд в смете выставил на бутерброды сотрудникам 200 000 рублей в год. Но это было в те истинно блаженные времена, когда по улицам всюду стояли городовые. Россия была государством, и царствовал в ней не Нахамкес и Троцкий, а государь император Николай II.

К сожалению, эти времена прошли. Но новые правители,

происходя от его величества Хама, превзошли старых правителей во всём. Старый становой пристав куда гуманнее, культурнее и идеальнее какого-нибудь чекиста Альперовича. Социалисты, выступивши против «эксплуатации» и «нетрудового дохода», утёрли нос старым Колупаевым и Разуваевым: так разули и раздели, что более некуда. И продажность прессы достигла при их благосклонном содействии таких размеров, каких и не снилось бедному Гурлянду.

Мы не говорим уже про советскую прессу, которая, в сущности, не пресса, а только лишь повторение задов. Старую советскую газету с трудом можно отличить от новой — всё одно и то же. Нет, мы говорим про так называемую «независимую прессу», которая отлично подкармливается золотом от советских худых животишек.

Возьмите прессу харбинскую. Вот вам «Россия». Вот вам «Новости Жизни». То, как они «информируют», ни в какие ворота не лезет по бесстыдству, нахальству и развязности… И всё-таки, несмотря на золото, эти газетки не почитаются бутербродными, а собачий лай несётся против других.

Возьмите нашу владивостокскую прессу. Несколько месяцев тому назад я уже указывал на тот уютный, симпатичный быт, которым живут владивостокские левые журналисты… Умерла «Трибуна», но не умерли, слава Богу, жившие при ней люди разного звания, а живут себе, как рантье. А помните независимую эсеровскую «Волю», погибшую от безденежья? Но и Ванька Калюжный, и Федька Мансветов нашли, на какие шиши уехать в Европу! Поверьте, что они гораздо практичнее правых журналистов, потому что они не только журналисты, а они известные политические работники.

Возьмите теперешнюю прессу. Немыслимо, чтобы «Курьер» мог существовать с тем тиражом, который он имеет. Значит, его поддерживают. Кто же? Да уж, конечно, не наши друзья.

Вот «Голос Родины». Когда на страницах сего печального органа появляются статьи, писанные в недрах Несосъезда либо ошалевшим Павлом Олениным, либо ещё кем-нибудь, то я только два основания могу придумать для этого: либо «Голосу Родины» заплачено как за стороннее сообщение, либо это ему выгодно для развала дела, и он получит мзду с другой стороны.

Да, это так. Ведь всем же, чёрт возьми, известна история с валютой и её раздачей Мансветовым… И «Голос Родины» тоже лазил в эту переднюю… А разве он не пользуется теперь благосклонностью торгово-промышленной палаты?!

Возьмём дальше. «Владиво-Ниппо» кушает не бутерброд, а японский рис из токийских недр. «Руль» — лихое дитя некоторых

мгновенных лихих комбинаций. И что же, тот же Панов, живший на иждивении у Семёнова, тот же Харитонов, информировавший от имени генерала Афанасьева из Мукдена, — они отлично могут послужить кому угодно как настоящие ландскнехты пера, вот точно так же, как работали они у меня в «Вечёрке».

Но всё-таки 10 000 собак дьявольски воют о бутербродах. Конечно, это им выгодно. Они отводят внимание почтеннейшей публики от себя и, кроме того, работают на общего хозяина — дискредитируют правительство.

Ведь вовсе не в поддержке тут дело, тут дело тоньше. Они утверждают, что правительственные газеты защищают правительство только потому, что им-де «дадено». А если не так, то они бы не защищали.

К психологии современного Хама относится одна очень крупная черта, а именно: неуважение к начальству. Казна, несмотря на то что она питает многих милостивых государей, состоящих на государственной службе и даже берущих от неё поставки, к себе уважения не вызывает, именно, может быть, по этой самой причине. Казённый — всё то, что серо, как казённое сукно, бездарно и пошло.

Вот каков смысл хамского воя о бутербродной прессе разных милостивых государей. Мы же должны открыто заявить, что стоим на противоположной точке зрения.

Не правительство поддерживает нас, а мы поддерживаем правительство, прежде всего памятуя, что только тогда, когда общественность примет формы государственности, настанет порядок на Руси. Это основная наша идея. Анархичность, откуда бы она ни исходила, мы ненавидим всеми силами души. Самое главное несчастье русского народа мы видим в неумении дисциплинировать себя, работая каждый своё дело, вокруг своего национального правительства, создавать ценности государственные, народные, национальные.

Не в бутербродах тут дело, когда повсюду слышим мы о них. Это воет стихия, разнузданная, анархическая, дьявольская, или воют просто глупые люди, которым судьба ещё недостаточно наломала шею.

И из каких это уст идёт — судите сами!

Вечерняя газета. 1922. 22 марта.

Наши Катилины

Наша политическая жизнь имеет две стороны: печатную и непечатную. В печатной дело обстоит как будто ничего. Есть

парламент, министры, споры и декларации. В печатной стороне мы делаем умное лицо и совершенно как бы европейцы…

Но есть другая сторона — непечатная. Двоякосмысленна она. Непечатная она потому, что не попадает в печать. Непечатная она потому, что в ней фигурируют такие рассказы и выражения, что ни в какие ворота не лезут.

И вот, сообщение о том, что открыт заговор, есть выныривание непечатного в печать. Конечно, по этому поводу начнутся сейчас же разговоры. Конечно, пойдут вопросы, запросы, опровержения и т. д. Конечно, утверждения «Русского Края» сегодня будут опорочиваться как «голословные», как «не имеющие под собой оснований».

Но стоит только нырнуть в непечатное, как картина развернётся перед нами во всей красе. Вы хотите знать имена современных Катилин? Пожалуйста! Нет ничего легче. Вы узнаете и о совещаниях в «Версале», и в помещении канцелярии Народного собрания, и о тонкой, как оглобля, конспиративной политике, и о вожделениях, о планах и разделе шкуры не убитого ещё медведя.

Но сделать всего этого печатным — увы, нельзя. Мы терроризированы опасением «выявить раскол». Мы боимся назвать вещи своими именами. А главное — сами-то заговоры тоже слишком половинчаты, пресны и нерешительны и более напоминают разговоры и пересуды горничных по углам, чтобы можно было на них реагировать полной силой гражданского возмущения.

Цицерон в Сенате имеет мужество так говорить этому самому Каталине:

— Доколе ты, Каталина, будешь злоупотреблять нашим терпением? Доколе будешь упорствовать в своём неистовстве? Неужели тебя не испугали ни стража на Палатине, ни патрули, ни собрание всех патриотов, ни взгляды всех здесь присутствующих? Неужели ты не видишь, что замыслы твои открыты? Как ты думаешь, кто из нас не знает о том, что ты делал в предпоследнюю ночь, где был, кого созывал, о чём думал? О времена, о нравы! Сенат знает об этом, консул видит, между тем ты жив. Жив! Давно бы нужно было по приказанию консула казнить тебя, Каталина, обратив на тебя несчастья, которые ты готовишь всем нам!

Так говорил Цицерон. Но главный Цицерон нашего Сената лежит на одре болезни, и неизвестно, как относится к заговору. Но главное, Каталины наши не такие пылкие ребята, как это было в Риме. И я думаю, что если бы Цицерону пришлось говорить в нашем парламенте, то он не призывал бы к мщению, а только

скорбно вопрошал:

— Когда же, чёрт побери, прекратится ваша мышиная беготня, с позволения сказать, граждане?! Неужели ничему не выучились вы за четыре года проклятой революции нашей?!

Вечерняя газета. 1922. 24 марта.

Первый или Второй совет

Несоциалистическое движение на Дальнем Востоке сейчас довольно тяжело больно, несмотря на то что левые газеты ничего про это не пишут. Они не пишут про раскол совершенно сознательно, дабы не испугать своей радостью несоциалистов.

Главным пунктом разногласия служит вопрос о первом и о втором Совете, о том, кто из них в большей мере должен возглавлять движение это. Первый Совет, выбранный в марте месяце, в мае стал правительством. Второй Совет, выбранный в июне, имеет ясную тенденцию стать «штабом несоциалистического движения» и в качестве такового влиять на само правительство.

Если бы Совет второго съезда оставил себе скромное руководство движением под ферулой первого, то никакого разногласия не возникало бы. Это было бы и понятно, потому что персонально-то Совет Второго съезда представлял из себя оборки несоциалистической толщи после отбора первого. Только таким образом можно понять наличность там личностей, совершенно ничем не примечательных, вроде Широкогорова, Донченко, Жук-Жуковского и др.

Главным пунктом возражения против первого Совета является его ныне государственный характер, противополагаемый некоторой «общественности». Но, по нашему мнению, это показывает лишь недомыслие говорящих так, ибо движение от общественности к государственности — вот что должно быть главным содержанием несоциалистического движения.

Итак, конфликт, приведший к таким дезорганизованным выступлениям вроде вчерашнего, должен быть изжит, и он кончится всего удобнее с созывом Третьего съезда, при начале которого Совет Второго сложит свою власть.

Пока же тактической задачей момента должно явиться сгруппирование несоциалистических сил вокруг Первого съезда.

Всё должно быть обращено на поддержку правительства.

Вечерняя газета. 1922. 27 марта.

Победа Демсоюза

Просматривая политические события последних дней, мы не можем не оттенить одного любопытного обстоятельства: все они проходят под знаком Демократического союза.

Если в начале работ Народного собрания сковывание большинства и борьба против левых элементов ставились во главу угла национальными группами, то особенно важной была борьба с Демократическим союзом.

Сей последний, обладающий известными силами, затем обладающий всем известным тонким обаянием парламентаризма, был особенно опасен для правых групп, всё руководство которых заключалось в мудром инстинкте держаться друг друга, держаться подальше от хитроумных комбинаций интеллигентов, возглавляемых иудеем Павловским, подпираемых иудеем Кролем.

И со стороны правых депутатов всякие попытки организовать «деловой центр» встречали сильнейший отпор. Так было с чашкой чая Колесникова-Ципперовича. Путанье члена Совета Несосъезда Кропоткина с представителями Демсоюза вызвало известные стишки Павла Оленина:

> И ласкают слух чудесно
> Звуки княжеской речи…
> Сильно болен он словесным
> Недержанием мочи…

Равным образом и деятельность Широкогорова в Совете была энергично направлена на то, чтобы выкинуть оттуда Кропоткина и Густова, что и было достигнуто.

Повторная атака на Нарсоб с требованием комиссий, иностранной и военной, постоянно отбивалась. Постоянно проваливались все запросы, в большинстве исходившие оттуда, хотя бы знаменитый запрос о нарушении конституции.

И вот мы видим: немного времени — и всё пошло прахом. Тогда, когда Демократический союз казался совсем разбитым, оказывается, что все его заветные мечтания — сбылись.

Его запросы могут проходить теперь целыми пачками: запрос о Кузьмине тому свидетель. Появляются специфические запросы об истязании в тюрьмах — запросы, которыми, несомненно, будет истязаться власть, и, несомненно, они будут иметь полный успех. Иностранная комиссия образована, очередь за военной, и так же вырастет и она вокруг снабжения. Ответственный кабинет дан, его представитель там, и мероприятия законности скоро не

замедлят сказаться.

Представители Демсоюза получают ответственные поручения. Красногвардеец Болдырев исполняет какие-то ответственные миссии и предлагает даже получить истраченные на сей предмет 1800 руб. Кроль — лидер всех запросов. На национальное правительство наше всё больше и больше накидывается парламентская узда, доступная самым неожиданным влияниям. Мы должны сказать, что дело национальное, дело правых — трещит. Больше того. Мы должны кричать об этом. Но сознают ли это правые?

Нет! Андрушкевич заявляет, что он-де редактор «Блохи», исследовавший фокстерьеров и медведевских министров с точки зрения обрезания, — он заявляет, что он — лидер оппозиции. Монархист Оленин, монархист Широкогоров, в которых можно искать отгадки посылки на Запад генерала Лохвицкого, — они парламентарии. Оленин, который заявляет, что русский народ стаканами будет пить кровь жидов и социалистов… Оленин, который хотел стрелять в Кроля, так тот взял отпуск на две недели…

Более весёлый и более печальный фарс трудно себе представить, и, конечно, украшение его — Кропоткин, который заявил, что высшая победа в том, что они заставили работать на них… Кроля и Павловского. Анекдот рассказывает, что только армянин может перехитрить еврея. И если наши новые парламентарии и уподобились тут армянину, то несколько в ином отношении…

Результатом является усиление Совета управляющих, с его переменчивым и неоднородным составом, результатом является изоляция правительства от ведения дел… Что из этого выйдет — сказать нетрудно. Аппетит приходит во время еды, и, быть может, недалеко то время, когда мы увидим Оленина, беседующего с Тобельсоном.

Вот результат победы Демократического союза, и в этом виноват Совет съезда…

Что это? Глупость или предательство?

Вечерняя газета. 1922. 28 марта.

Вчера в Нарсобе

Истязания арестованных. Истязания эти, как показывает специальная комиссия, происходили следующим образом. Арестованным связывали напереди руки телеграфной проволокой и, подсунув под проволоку оглоблю, медленно перегибали руки

назад через головы. От этого ломались и выворачивались кости рук, рвались мускулы и, наконец, лопалась грудная клетка: рёбра на груди отходили одно от другого так, что образовывалось отверстие, прикрытое только кожей и мускулами. Удар ножа — и новое дупло. Тогда в это дупло вставляли ручную гранату и взрывали. Окончив всё, медленно и систематически переходили к следующим. Да, я забыл ещё упомянуть, что предварительно этих испытаний с оглоблей у арестованных вырезывали язык, отрезали половые органы, выкалывали глаза. Нужно тоже упомянуть, что две женщины, случайно присутствовавшие при этих операциях, сошли с ума… Две простые крестьянские девушки без нервов… Где же это было, спросит читатель.

Это, друг читатель, было под Хабаровском, когда отряд Бойки-Павлова захватил случайно, во время налёта на Хабаровск, несколько каппелевских солдат… Это было там, где развевается красный флаг ДВР, это там, куда наши умники из Народного собрания не направят своего запроса, если бы даже они сидели-посиживали в читинском Нарсобе либо в читинской Учредилке.

Это там совершается таинство социальной социалистической революции. Там, где зверство и изуверство практикуется товарищами тех заключённых, о которых вчера говорил Павловский.

О, мы далеки от мысли проводить еврейский принцип — «око за око»… Но смотрите, что привёл в доказательство истязаний сей почтенный телефонный депутат! «Документов нет, — сказал он. — Пострадавших лечат». У пострадавших отбирают подписки. И вот только когда такой излеченный, давший подписку о неимении претензий пострадавший выйдет на улицу, то он сбегает в Демократический союз и там нажалуется…

Я совершенно верно указывал во вчерашней статье, что запрос об истязании обратился вчера в истязание правительства. И это понял, вероятно, сам Густов…

Да, о них некому запросить, этим исковерканным, залитым чёрной засохшей кровью, ставшим восковыми от мороза трупами русских честных людей с Волги и Камы! Принесённые в Нарсоб и положенные для обозрения неунывающими депутатами с кафедры, они отбили бы у них вкус от парламентаризма… А ведь теперь это так модно для Оленина — быть парламентарием!

Истязания уполномоченного. Когда пал Омск, то в Ново-Николаевске собралось штук 9 контрразведок. Вот было житьё, когда они арестовывали друг друга… А до чего доходило желание арестовывать, следует из того, что контрразведка Иванова-Ринова охотилась за Парфением Васильевым в тех видах, что он был

тайный масон.

С удивлением теперь видим, что подобные явления происходят и в Никольске. Произведён обыск на предмет политической неблагонадёжности у особоуполномоченного Н. И. Кузьмина. Что-то вынуто, что-то опечатано. Кто-то старался…

И знаете, кому обязан Кузьмин этим? Кролю! Таланту нужно поощрение, как канифоль смычку… Речь Кроля в защиту девственной чистоты железнодорожной милиции вполне уверила её в тех качествах, которые он ей приписывал.

Взяла и обыскала. Уж если в Народном собрании за нас, да кто — Кроль, ясно, что мы самые лояльные…

Я думаю, что сам Лев Афанасьевич, признанный, так сказать, шефом милиции, скажет, сконфузившись, увлёкшимся альгвазилам:

— Нельзя же так! Поаккуратнее надоть! Не грохочи сапогами! Медведи! Чать, тут парламент!

Вечерняя газета. 1922. 29 марта.

Президиум большинства

Вчера произошло политическое событие, которое, несомненно, будет иметь решающее значение в ближайшем будущем, хотя и трудно предсказать все последствия такового.

Мы говорим об образовании правого президиума, объединившего собой правое большинство. До сей поры возглавление такового было делом Совета Несоциалистического съезда, но известные его ошибки, оторванность от масс, потеря своего влияния, стремление к самодержавию в делах общественных — всё это повело к необходимости перегруппировок в правом большинстве.

Президиум, который стоит во главе, состоит из председателя Ощенкова, товарищей председателя — Щелокова и Чудакова, и секретаря Абросимова.

Задачей президиума должно явиться чисто парламентское объединение большинства для достижения единства действий между правыми фракциями, распыление которых и известное качание Несосъезда привело к совершенно неожиданным результатам в смысле превалирования численно малых групп Нарсоба.

Этим же должен быть прекращён и известный «конфликт», которым были полны последние дни.

Вечерняя газета. 1922. 31 марта.

Глупые предатели

Вчера в красном «Курьере» (Востока или нет — это интересует только Кролей) помещена карикатура. Опять несчастный «Савостий», который низко кланяется японцу, опять некто, приказывающий ему кланяться.

У людей с психологией лакеев, с психологией черни и не может быть иного понимания. Когда Густов кричит с трибуны Народного собрания, что-де пишут так, потому что приказано так писать, то от этого веет невыносимым густопсовым запахом старой психологии, когда люди разделялись на начальство и подчинённых, когда возмущение раба против господина было первобытной гражданской доблестью.

Поэтому мы и не пытаемся объяснить им, как мы относимся к поклонам, памятуя великий завет — «хулу и похвалу приемли равнодушно и не оспоривай глупца».

Нас интересует только вопрос, что бы было, если б, действительно, вой, поднятый против пребывания здесь японо-войск преступной красной печатью, увенчался бы успехом.

В упомянутой карикатуре, в её стихотворной подписи, достойной самого Ноэля, говорится, что «край-де будет разорён». Ах, волк те заешь! И кто говорит-то это? Да те же самые социалисты, которые заставили чуть ли не пол-России питаться трупами, в приятном ожидании, когда и сама эта половина пойдёт в могилу!..

Ведь само же небо вопиет о возмездии, глядя на разорённую страну нашу. И вот социалистические Разуваевы льют крокодиловы слёзы над тем, что Приморье-де будет разорено.

Будет разорено либо нет, это неизвестно, а вот что оно погибло бы, если бы здесь были большевики, то это совершенно ясно. В самом деле. Окраина, всегда питавшаяся за счёт центра, — что она могла бы получить от этого самого центра, где едят трупы?

Ведь, шутки в сторону, чем поддерживается внешняя торговля в России? Только остатками золота, да ещё кой-какими концессиями. Страна ничего не производит, страна проедает сама себя.

Значит, Приморью от России ждать нечего. Оно было бы обречено на то существование, которое влачит вся Россия. Если мне укажут, что ведь кое-что перепадает от Советской России ДВР, то это лишь потому, что на ДВР возложено специальное представительство на Дальнем Востоке. Ведь нельзя, в самом

деле, посылать дипломата в рваных штанах!

Могло ли бы Приморье продержаться за свой счёт? Никогда! Грузы были бы давно все спущены. Припомним историю с «Легией». Москва оттуда сумела наложить свою лапу на 5 000 000 рублей. Или вы думаете, что все эти неисчислимые местные запасы были бы оставлены здесь в распоряжении какого-нибудь совдепа, под эгидой старых «таможенных» законов у г-на Ковалевского?

Ничего подобного! Уж если они в России ухитрились продать бриллианты с императорской короны, то они живо бы тут навели порядки.

Или, может быть, поддержали бы Приморье концессии? Я думаю, что в этих концессиях главный элемент составляет вера.

В самом деле. Представьте себе какого-нибудь американца, у которого есть в банке миллионов двести долларов. Какая сила погонит его из благоустроенного Нью-Йорка куда-нибудь в устье Амура на предмет эксплуатации концессии, когда контрагентами концессионера будут симпатичные Тряпицины и хабаровские Сократы?

Ведь, господа, надо помнить, что времена Майн Рида прошли и что ушло то время, когда по улицам Вашингтона скакали всадники на эдаких мустангах. Американцы давно потеряли вкус к войне с краснокожими. Да кроме того, если бы концессионеры и решили понести огромные эксплуатационные расходы, навести в крае порядок, построить железные дороги, открыть банки и проч. — всё равно они должны бы прибегнуть… к вооружённой интервенции.

При отсутствии, весьма вероятном, всего этого Приморье под большевиками было бы обречено на общероссийскую участь — голодовки, причём, конечно, так как оно лежало бы плохо, то и исчезло для нас совсем…

Глупые «Курьеры» могут писать всё, что им угодно. Но действительность и обстановка подсказывают нам, что присутствию императорских японских войск в Приморье мы обязаны порядком, тем относительным, который видим здесь, как и тому, что Кроль может упражняться два раза в неделю на кафедре Народного собрания. А это чего-нибудь да стоит.

Вечерняя газета. 1922. 3 апреля.

Выстрел в Милюкова

Милюкову везёт. То его били, то в него стреляют. Очевидно, популярность его растёт.

Как бы ни относиться к стрельбе вообще, но холодным умом следует признать, что выстрелы эти, от которых случайно пал благородный Набоков, чрезвычайно знаменательны. Они — первые выстрелы, означающие суд над русской революцией и над её хозяевами.

Будущий историк отметит в русской революции один огромный признак, который проникает всю её насквозь. Это — элемент случайности. Случайно возникла она в Петербурге, случайно, т. е. вернее, по случайному поводу раскатилась по всей стране, и случайны были её переменчивые вожди.

Конечно, нет никакого сомнения в том, что она должна была произойти, и это все знали. Генерал Бернгарда, начальник германского генерального штаба, строил на этом план войны с Россией и печатал об этом книжки ещё в 1910 г. Не знали только этого наши политические головотяпы, и когда пришла она и принесла с собою великие возможности, то, как старуха в сказке о золотой рыбке, не знали, что с неё и просить. Лишь потом аппетит пришёл во время еды.

И вот, первую роль в отсутствии этой определённости в желаниях, роль лидера развихлянности и того, что Господь положит на душу, приняла на себя партия ка-де, партия интернациональной, безнациональной интеллигенции нашей. Кадеты никогда не знали, что им, собственно, нужно. Они в своей эволюционной тактике пристраивались к стихийным движущим русской историей силам. Пока у нас Божией милостью была монархия, они были… монархистами? Нет! Конституционалистами-демократами, то есть людьми, жаждавшими конституции, и демократами, то есть людьми, расплывавшимися в неопределённо зыбких благодетельных желаниях. Поэтому они так легко на съезде в апреле месяце 1917 г. могли в докладе Кокошкина заявить о своём республиканстве по тактическим соображениям. И с этого времени пошло викжелянье[17] этой партии. Поистине, она должна быть названа партией «смирного приспособления», как когда-то называли возглавляемую графом Гейденом партию мирного обновления. Рождённая в дни 1905 г., она представляла собою просто требование «политического момента» и, как таковая, вполне сохранила свою хамелеонскую сущность.

После убийства несчастного нашего царя ни одного «конституционалиста» и с собаками нельзя было сыскать на его могиле. Все бросились к приспосабливанию к движимому стихийными силами колесу русской истории, чему прекрасный пример являет собой Устрялов из Харбина.

История может идти как ей угодно, но если только она вберёт

в себя известное приличное количество народа, то сейчас же являются спецы интеллигенты, которые и примазываются к ней на предмет её усовершенствования. Тепло-прохладные, холодно смотрят они, как борются и гибнут делающие историю, и гладко весьма скользят от Колчака к политическому центру, к советской власти, лишь бы только она импонировала чем-нибудь, хотя бы расстрелами.

Вот таким импонентным было возглавляющее революцию русское общество, которое теперь судорожно ищет, за что бы зацепиться. И символом этой готовой предать всех и каждого политической приспособляемости является Милюков. Конституционалист, он предаёт своего монарха. Мечтатель о проливах и византийском великодержавии — он исчезает при советской власти, раньше уступив свой пост кому попало. Поклонник генерала Врангеля, он, после крушения того, переходит в стан соглашателей с советской Россией, с Авксентьевым разъезжают по городам и весям, пропагандируя свои взгляды. И т. д. и т. д.

Верность, верность до конца — было заветом покойного адмирала! Россия стонет от этих интеллигентов, без определённой физиономии, загадочных, как всадник без головы. Приспособляемость ко всякому режиму имеет же свои пределы, и нельзя при самом большом уме создать конституцию при Чеке, торговлю при Воровском и национальную русскую армию при Бронштейне.

Но они думают, эти эволюционисты, беспечально проходящие по дорогам, покрытым русскими трупами, в обаянии своей площадной учёности полагающие, что можно быть спокойным, если на наших глазах Россия умирает по всем правилам медицины.

Мы вправе потребовать от них печального лица, и если нет, если они слишком витают, то и раздаются выстрелы.

Кто-то уже в прессе забежал гоголем вперёд и сообщил, что Шабельский — тот самый, который подделывал векселя в своё время. Странный способ защищать своего героя, полагая, что в них могут стрелять только мошенники!

Следствие по этому делу выяснит обстановку и причины покушения, но всё же надо сказать, что уже есть открытый протест против примиренческих паразитов революции.

Вечерняя газета. 1922. 4 апреля.

Равнение на ДВР

Ежели вы возьмёте «Голос Родины» сегодня, так увидите, что в Народном собрании ничего замечательного не произошло. Говорили, докладывали, соображали, и, очевидно, самым существенным явилось приведённое целиком слово Кроля премудрого, по мотивам голосования заявившего, что он и его фракция в голосовании принимать участия не будут, ибо созданы не для того, чтобы рассуждать о таких серьёзных материалах, как Генуя, а для гораздо более мелкой работы.

Картина была грандиозна. Очевидно, работала максима: ты голосуй, а там тебя в участок потащат. Поэтому не голосовали крестьяне во главе с крестьянином Грачёвым, долго развивавшим свой взгляд на генуйский вопрос. Выходило так — даст Генуя хлеб али нет и поможет ли поддержать социалистических российских головотяпов.

Болдырев после своей поездки махнул рукой на всё и стал много определённее и розовеет, как роза. Он уверен, что соглашение всё равно будет, но может статься, что наше заявление повредит российскому делу. Поэтому он воздерживается, и весь демократический Иерусалим с ним.

Напрасно жару нагонял именинник Василий Фёдорович Иванов. Напрасно называл он палачами большевиков и доказывал, что ждать от них доброго — что с бритвы мёд лизать. Демократы злобно шипели, крестьяне молчали, и в голосовании поднялось «за» — 46 рук.

— Кто против?

Никто! Никто, оказывается, не протестует против того, чтобы протестовать против Советов.

— Кто воздержался?

Воздержалось много.

Изумительное зрелище. Воздержался Кругликов, бывший министр внутренних дел. Воздержался Знаменский, личность, воняющая Читой. И воздержался министр юстиции Приамурского временного правительства Старковский.

Вот на что обращаю я внимание правого большинства. У несоциалистического правительства, выросшего на основе несоциалистического движения, в министрах, то есть в исполнительном аппарате, находятся люди, которые явно стоят на противной точке зрения.

Вот он, парламентарский кабинет!

Более любопытное зрелище трудно себе придумать. И ведь мог же министр юстиции сидеть в ложе и не выявлять своих чувств.

Нет, он сидел среди депутатов и страховал себя поднятием руки.

Неужели же правое большинство доверяет ему?

Вечерняя газета. 1922. 5 апреля.

Соввласть на закате

Советская власть апогея своей славы достигла тогда, когда комбинированными ударами провокаций по войскам и населению она разлагала всё мало-мальски устойчивое.

Казалось, дайте только покой, и эта организующая власть сможет укрепиться и дать ту желанную эволюцию, которую от неё ждут.

Таково положение было приблизительно в 1919 и 1920 гг. Пал Колчак, пал Деникин, исчезли бесконечные фронты, и на стороне Устряловых и прочих «нововехинцев» был, по крайней мере, факт наличия сильной власти с большими возможностями.

Но оказалось, что чем дальше отодвигается советская власть от триумфальных своих ворот побед на фронтах, тем менее способной оказывается к какому бы то ни было творчеству. Если Устрялову можно было писать о национальном большевизме тогда, когда Красная армия подходила к Варшаве теми же подступами, которыми шёл когда-то Суворов, то кому же петь воинственные оды теперь, когда по всей стране идёт торжественное шествие царя-голода?

Начиная с 1920 года для советской власти наступил сплошной мартиролог конфузов. Нельзя, в самом же деле, называть мудростью сплошное оставление своих позиций, что делает теперь советская власть.

Коммерция? Нельзя же, господа, плохо бритую морду советского комиссара, стоящего за прилавком, называть верхом коммерческого достижения! Кто же пойдёт покупать к такому субъекту и как при таких условиях получить пафос к признанию «революционной» власти — совершенно непонятно.

Однако вино откупорено, надо пить. И вот все милостивые государи, начиная с «голосородинцев», заявляют, что-де «Ленин заявил, что на Геную они поедут не как коммунисты, а как русские люди».

Такого заявления Ленина оказывается совершенно достаточно для оказания ему кредита. Оказывается, Ленин ни разу не надувал почтеннейшую публику своими обещаниями. Ведь вполне понятно, что теперь, когда соввласти приходит карачун, она, естественно, согласна на какую угодно конференцию при каких угодно условиях.

Она дискредитируется именно своей слабостью, и мы

уверены, что недалеко то время, когда перед русскими политиками встанет вопрос о новой власти для нашей страны.

И такою властью, мы уверены, окажется мелкая местная власть.

Вечерняя газета. 1922. 8 апреля.

Кулаками машут

Будет ли война? Некоторые газеты гадают глубокомысленно по сему случаю. Возможно или невозможно? Я думаю, скоро обнаружится на страницах газет какой-нибудь штатский генштабист вроде Белозерского и, как пить дать, докажет, что война сия невозможна потому-то и потому-то.

Я же полагаю обратное. Большевикам неважно то, что есть ли у них пулемёты или нет. Когда они стали бросать свои части на дивизии японской армии, могли ли они рассчитывать на успех?

— Нет.

— Знали ли они об этом?

— Знали…

— Значит, они проливали кровь сознательно.

Большевикам, как Лжедмитрию, всё равно: «Царевич я иль нет, им всё равно… Но я предлог раздора и войны».

Они никогда не надеются победить в открытом бою. У них нет Наполеонов. Они просто стараются устроить скандал на весь свет перед Генуэзской конференцией.

И устроят. Объявят из Москвы о войне, принесут в жертву пару-другую тысяч русских трупов и по этому поводу получат возможность, во-первых, поставить себя в разряд первоклассной державы — с Японией-де воюем, а с другой — возможность протестовать против империализма.

Будет скандал, будут вопли в парламентах, завоет мировая печать, зашевелится общественность в Японии, достаточно уже разложенная, и что-нибудь из этого и оторвётся этим милостивым государям.

А Россия?

На Россию им совершенно наплевать.

Вот почему я думаю, что этот бум — вещь, весьма возможная.

Вечерняя газета. 1922. 11 апреля.

Чекисты-объединители

Какое-то В. Г. Д. сегодня в «Голосе Родины», констатируя у

«белых» развал, выписывает тако:

> «За пять лет гражданской войны все попытки белых, кроме разорения, родине ничего не принесли…»
>
> «Случай их создавал, и случай управлял ими, что равносильно отсутствию идейности в обществе и возвращению к дикому естественному образу ведения борьбы…».

Дело в том, что коммунистами, противниками белых, давно понят принцип «в единении сила» — того, чего нет у белых, — объясняет В. Г. Д.

Так вот что, умное В. Г. Д., спросим мы вас:

— Вы хотите такого же единения, как у коммунистов? Вы забыли, милая девочка, что сегодня годовщина хорских событий, когда 123 русских офицера были приведены к одному знаменателю ударами деревянной колотушки по черепу одетыми в белые саваны «объединителями»…

Вы хотите расстрелов в затылок из Нагана в Чеке, по нескольку десятков зараз?

Вы хотите того всеобщего изнуряющего голода, который заставляет есть трупы людей и позволяет нескольким сотням кормленных, кокаинных красных управлять затурканным, ослабшим стадом?

Вы хотите полного объединения прессы в виде «Известий» — вчера, как сегодня, и завтра, как вчера, или пресловутой «Правды» без правды?

Вы хотите господства, жестокого и беспощадного, кучки обнаглевших людей?

Вы хотите, чтобы вас вели сегодня лозунгом «за учредилку», а завтра её разогнали?

Вы хотите, чтобы у вас сегодня национализировали предприятие, а завтра его вам вернули и приказали торговать, потому что иначе не сохранить власть кучки жуликов?

И всё это рабье, невыносимое существование вы называете организацией?

Только ум или преступника, или проститута пера может выписать такую штуку. И если люди протестуют, если выступают на защиту, может быть и неорганизованно, своих собственных прав, то им говорят:

— Не теряйте, куме, силы! Опускайтесь на дно! Вы разоряете Россию… Ну, большевики-то уж, Бог с ними… Вроде глада, мора, труса… А вы помолчите!

Рабья философия купленных рабов. Не такой пронырливой приниженной философией создать граждан… Что ж, ловите

момент… Мы видели на страницах «Голоса Родины» и не такие штуки… Но нашим лозунгом и лозунгом всех русских честных людей должно остаться — верность до конца! И это естественно.

Вечерняя газета. 1922. 13 апреля.

Мстители

Намедни, идучи по улице, я слышу сзади себя подвыпивший голос:

— Я полтораста красных убил, ещё полтораста убью, и чёрт с ними. Пусть и меня убивают!..

Оглянулся. Два солдата. Солдаты как солдаты. Обыкновенное русское лицо, никакой свирепости не заметно. Вот точно так же спокойно и воевал, вот точно так же спокойно и «гробил» он своих политических противников.

А море и пасхальные улицы, с пасхальным перезвоном маленьких русских — русских! — колоколов над Великим океаном, всё было по-весеннему пристально спокойно.

После этого, сидя, как полагается, за праздничным столом, я рассказал случай этот. Шёл разговор о будущем нашей страны.

— А вы знаете, это очень верно, — заметил один из собеседников. — Очень верно… Мы, русские, замечательны именно тем, что никак не хотим смотреть в корень вещей. Мы увлекаемся какими-то химерами. Представьте себе, что в какой-нибудь деревнюшке у несчастного учителя с мочалкообразной бородёнкой на стене висит Карл Маркс! Почему Карл Маркс?! На каком-таком основании? А это, говорит, вождь… Мы всё время точно сидели в жеманном мещанском обществе, причём разговор должен идти на самые благородные, политические, образованные темы. Вспомните Чехова — «Дайте мне атмосферы!..», «Электричество — тонкая штука!..», «Желаю на градусник посмотреть» — и прочее тому подобное. Дайте нам что-нибудь самое модное. Нельзя ли социализму?! Социализм — религия человечества! А кто говорил, что социализм — просто жульничество, тот ясно выказывал всю глубину своего необразования… Помилуйте, лучшие умы Европы… Тьфу! — И говоривший плюнул на пол.

Кой-кто засмеялся и спросил:

— Позвольте, какое же это отношение имеет к двум солдатам?

— А вот какое! Все мы видим, что большевизм провалился, и провалился окончательно. Мы видим, да и не мы, правые, а и сами большевики, что ни черта из этого дела не выйдет, и вместо того чтобы прогнать прочь всех неудачных экспериментаторов, начинают изобретать научные термины. Новая экономическая политика совдепской власти, в сущности своей обозначающая возвращение к доброму старому капиталу, в настоящее время значительно сдобренному и разжиженному проходимцами и

нахамкесами, называется как — слыхали?

— Ну?!

— Нэпо! Новая экономическая политика! Что-то вроде фараона какого-то. И вместо того чтобы взглянуть правде в глаза и сознаться, что, дескать, заворачивай назад, — вот вам Нэпо, и баста.

— Позвольте, надо же термин, — возразил один из присутствовавших демократически настроенных молодых людей.

— А если вы для вашей жены изобретёте новый термин, так думаете, она оттого новой станет? Нет, батюшка, это самое Нэпо старо, как мир, как хлеб, голод, камень, любовь… И вот что самое главное-то. Удивительно не то, что слова эти изобретает то жульё, которое правит в настоящее время Россией, а то, как они впитываются с жадностью, как вода губкой, толпой, и особенно — интеллигентной толпой. Это определённая политика совдепов. Раньше они просто надували при помощи обещаний: «Мир хижинам, Учредительное собрание, всем всё», а теперь они отводят глаза при помощи терминов. А интеллигентная, голодная, размызганная русская толпа с жадностью ловит каждый намёк на то, что большевики уже не «те», что происходит «эволюция», то есть усовершенствование.

— А разве это не так? Разве отказ от старой политики советской власти не означает её усовершенствования?

— Положим, человек изнасиловал вашу дочь, — желчно ответил оратор, — и продолжал этим делом заниматься в продолжение трёх лет. После трёх лет, видя, что он никак не может таким сложным и по-новому усовершенствованным способом добиться её любви, положим, он применил бы снова старый метод самого обыкновенного ухаживания. Как бы вы думали, было бы это «эволюцией» и сочли бы вы его своим любезным зятем?

— Как он груб! — заметила дама в розовом платье с фиалками у пояса.

— А то, что эти господа сделали с Россией, разве не более грубо?! И вот теперь все эти господа хорошие, вроде Устряловых, Ключниковых и прочих, пропагандируют «Смену вех». Взяли и сменили, поставили усовершенствованные. А я знаете, что вам скажу. Не смена это никаких вех, а просто выявление русской анархической сущности. Ведь это понятие эволюции советской власти не содержит в себе никаких её положительных определений. Это просто отрицание власти, потому что власть для нас есть ярмо гнетущее.

Сделалось легче, ну и слава Богу — эволюция! Царя сбросили — ур-ра! Легче! Кадеты сейчас же с покойным Кокошкиным

прибежали и зафиксировали — и никакой-такой монархии не надо! Объявляется Нэпо! Республика! Сбросили министров-капиталистов — ещё легче! В этом освобождении от власти влетели мы под власть нерусскую. И освобождение от неё, и получение куска хлеба раз в день вместо раза в три дня, естественно будет «эволюцией».

Дело интеллигенции в этих случаях «эволюции» напоминает мне либо того сельского учителя, который по поводу всякого явления природы старался просветить первого попавшегося мужика, либо, что хуже, того барина, который, сидя на пароме в тарантасе, кряхтел, когда мужики тянули этот самый паром. Отчаяньем можно изойти, наблюдая этих непрактичных, неприспособленных к жизни людей, по поводу жульнических Нэпо «ликующих, праздно болтающих». Только над ними и может держаться власть тех преступников, которых мы называем большевиками, тогда как сам народ, широкие его массы инстинктом, верным, как страх смерти, угадывают, где опасность, её чураются и медленно и верно идут к всеобщей организации.

— Эти страшные убийства и есть организация? — ехидно спросил седой кооператор. — Это не организация, но смотрите же, господа, прямо правде в глаза. Нэпо и есть только потому, что по русской земле бродит особое племя, без крова, без желаний, без страха смерти — без страха смерти, ибо, как говорит Ювенал, «они потеряли саму основу жизни».

Неужели же вы не видите, что сил человеческих не хватит восстановить справедливость пред лицом того, что сделали социал-изуверы над русским народом? Неужели вы не понимаете свойств самой человеческой природы, что иначе и быть не может? И эти солдаты, пережившие столько, сколько вам и не снилось, видевшие потерю того, что хранить и любить велит сам высший человеческий инстинкт, потеряв дома, семью, достоинство, нацию, наконец, в своих братьях — жизнь, да разве они могут поступать иначе — не мстить?

Напрасно думать, что революция прошла так благополучно. Что у людей, потерявших всё, не осталось никакого чувства горечи.

Да ведь это не люди были бы, если бы они всё позабыли!.. В Москве в самом начале большевизма рассказывал мне один из местных политических деятелей — в кофейной Филиппова видел он двух элегантных красивых офицеров со стеками. Они вели разговор о поступлении в Красную армию. «Господа, — спросил он их, — а что же заставляет вас поступать в Красную армию? — Видите ли, — ответил прямо один из них, — я помещик и разорён. Я виню буржуазию во всём. И я покажу ей, что значит не

уметь справиться с делом, которым занимаешься!»

И вы думаете, что все эти родовитые придворные ротмистры Далматовы, которые формируют Будённому его конницу, все эти породистые генштабы — они не пылают кровью, любуясь местью, которую так сладко удовлетворить с властью в руках? Вы не слыхали, как некий барон, едва ли не Гейсмар, во главе карательного отряда Красной армии расправлялся в орловской губернии с восставшими крестьянами? Скажите, вам не казалось, что эти расправы жесточе, нежели нужно то для совдепов? Недавно мой знакомый промышленник получил письмо со своей фабрики в Самарской губернии, где ему сообщают, что его выйдут встречать с иконами и колоколами… Когда не он сам, а такие промышленники вернутся на свои места при этом самом Нэпо — все ли они будут достаточно лояльны к своим рабочим?!

— Так что же вы думаете?

— Я думаю, что гражданская война в разгаре. Я думаю, что слишком глубоко горит подземный огонь, и только поэтому он не вырывается на поверхность. И как, господа, вы ни верили бы в силы истории, как бы ни поклонялись фетишу «исторического прогресса», похожего на старую мудрую кобылу, которая вывезет всегда на верную дорогу, вы не должны забывать того, с каким количеством распалённой страсти придётся вам встретиться.

Эти люди, которые заставили объявить Нэпо, они потребуют своего права на управление. И самое главное при этом — надо смотреть правде в глаза.

Нам надо забыть этот лживый, полунаучный, полупредательский интеллигентский язык и выявить своё лицо. Подумайте, до какой же степени мы не те, что мы есть на самом деле! Подумайте, разве стал, разве мог стать многомиллионный народ с тысячелетней культурой республиканцем в один момент?! И я уверен, что здесь все присутствующие — самые настоящие монархисты, несмотря на то что считают «по моменту» необходимым тянуть одну волынку с Кролем по части парламентаризма!

Правда?!

Или, быть может, и это может быть истолковано как призыв к мести?!

Вечерняя газета. 1922. 21 апреля.

В глубокие воды

Как помнится, в первые дни после переворота 26 мая 1921 г. в известных русских кругах приморское дело считалось, так

сказать, мелким каботажным делом, ради которого и рук не стоило марать. В вину вновь народившемуся правительству определённо ставилось его миролюбие, его заинтересованность местными интересами, одним словом, всё то, что противополагалось привычным доселе «всероссийским» формам освободительного от социализма движения.

Но прошло 11 месяцев, и мы видим, как резко изменилась обстановка. Прекращение дайренских переговоров ясно указывает, что разрешения приморских вопросов следует ждать не здесь, а из-под голубого неба Италии. Равным образом слезают демократические краски с пресловутой ДВР, и она является в полном своём неприглядном виде, в виде филии РСФСР. Равным образом и Приморье получает международный смысл и вес не только как местное образование, для международных отношений гарантирующее известные формы возможности экономических связей, но и как символ той России, о которой так или иначе, а поставлен вопрос в Генуе.

Мы очень мало знаем о том, что происходит в Генуе. Явно одно, что большевики скандалят, а раз они скандалят, то им терять нечего, их карта бита. Вспомним, как мирно сидели они за одним столом с генералом Гофманом при заключении Брестского мира. А несомненно, что они приглашены в Геную, как в высший международный арбитраж, по вопросу о том, что же следует делать с этими беспокойными людьми. Мы понимаем далее, что по вынесении обвинительного приговора в Генуе логическим следствием явится протянутая рука помощи группам антибольшевистским — и вот почему существование Приморского образования в ряду групп, блокирующих Совдепию, приобретает особый смысл.

Равным образом и со стороны соседней дружественной державы Японии следует ожидать изменения политики этой. Не местные лишь экономические или иммиграционные её интересы должны выступить теперь на первый план. В мировом концерте у неё отдельное амплуа, и для проведения своей партии она, несомненно, должна согласоваться с русскими национальными группами. Не в завоеваниях и захватах должна она полагать свои задачи, а в той возможности будущего сотрудничества с национальной Россией, которое разграничит интересы держав на холмистых берегах Тихого океана.

Поэтому для Приамурской государственности все симптомы предрекают выход в глубокие воды политики, и внешнее благоприятное положение должно быть использовано для объединения всех политических наших групп. Стеснение свобод маневрирования правительства было бы теперь таким

преступлением, для прекращения какового не страшны никакие меры.

Вечерняя газета. 1922. 25 апреля.

О царе-брюнете (*Ответ «Новостям Жизни»*)

В большевистском официозе «Новости Жизни», густо процветающем на харбинской пристани, читаем мы в номере 89 любопытную статью «Кто сменит советскую власть». Статья сия принадлежит перу известного пристани некоего «некоммуниста». Однако отрицание нисколько не гарантирует от того, что взгляды-то — чистокровные большевистские.

«Власть — сила», — проповедует «некоммунист». Нечего сетовать Временному правительству, что под ним встряхнули дерево власти, пишет он дальше. «Было бы правительство крепко — не слетело бы». Не слетят, следовательно, и большевики, потому что они «крепки».

Итак, вот только что ставится во главу оценки власти? — Крепость её. В оценку советской власти некоммунист входить и не желает, потому что «в России ни одного восстания не было против советской власти, по политическим мотивам: все восстания — местные, во имя местных экономических причин».

Таким образом, у пристанского Меншикова как-то выходит, что народ-то русский признаёт политически советскую власть.

Пять лет кошмарной нашей революции приучили нас ничему не удивляться, но тут всё-таки от удивления берёт оторопь. Как жрущие трупы друг друга люди — если восстают против горсточки людей, сделавших это, — то восстают только «экономически». Да разве при таком экономическом бедламе, который творится теперь в Совдепии, можно говорить о какой-то политике?

Нам ясно одно. За такую «экономическую политику» её руководители, несомненно, должны быть повешены на первой осине.

И это сделал бы с ними Запад, сделала бы Америка, не можем сделать только мы, русские люди, потому что у нас нет гражданского понимания своих прав, нет сознания необходимости протестовать против сумасшедших экспериментов, которыми морят разные социалисты со взломом наших братьев, отцов, матерей, потому что у нас нет иного понятия о власти кроме как о какой-то внешней гнетущей силе.

Собственно, при таком понимании ничего не изменилось с

властью как таковой. По-прежнему на Руси самодержавие — и большевики тысячу раз правы, понимая, что иначе-то и управлять русским народом нельзя. Смотрите, что пишет он, пристанской Макиавелли, дальше.

Он нападает на «демократию». Тогда, когда она становится к власти, — получается «хаос и анархия». Два раза испытала на себе это Россия. 1905 и 1917 гг. показали её бессилие в этом смысле. Сначала обманула народ Дума, а потом — Временное правительство, и вновь доверил народ плоды своей революции той же «демократии», той же власти, что и в 1905 г. Даже люди были из тех же партий. И вновь оказалось, что не было в истории более трусливой, более жалкой, вызвавшей общее презрение власти, чем Временное правительство.

Как же была избыта эта власть? Если бы народ сам не взял в руки власти без всяких конституционных тонкостей, то никакого сопротивления белым оказано бы не было.

Здесь интересно одно. Отношение советчика к конституционным тонкостям и к прочей юриспруденции, по выражению Чехова. «Правильно, — полагает он, — что взял в свои руки власть матрос Железняк и разогнал Учредилку — её всё равно разогнал бы какой-нибудь генерал».

Итак, власть, власть во что бы то ни стало — вот чем характеризуется советская власть для некоммуниста, и поэтому он решительно не видит, кто бы мог её «сменить». В этом невидении он договаривается даже до абсурда. «Туманной силой» для него даже являются «мозг страны» — «профессора», ибо «мозг не может стать кулаком».

Мы должны просто сказать, что сам народ отлично понимает существо этой власти.

Недавно один зажиточный мужичок, убежавший от большевиков, вернулся вторично из России, куда ездил, прельщённый замирением.

— Видал Троцкого? — спросил я его.

— Где видать! Хоть у нас в городе он и был, но к нему на улицу не пускали. Два раза красноармеец меня по шее прикладом двинул. Такой сердитый государь!!

Пусть поёжатся от этих слов патентованные социалисты, демократы и прочая мелкая насекомая. Вот она, русская революция, куда вывернула, родная. Социалист — эмигрант — мелкий журналист — жулик — еврей — Лейба Бронштейн — Троцкий стал русским государем!

Мы должны сознаться, что насчёт причин крепости власти мы смотрим точно так же, как и сам некоммунист. Конституционные английские гарантии выливаются у нас лишь в разлагающую

работу Кролей и прочая тому подобная, и на русском народе сидят так же, как на русских омских солдатах сидела английская, ловкая на англичанах, форма — копром.

Широки натуры русские:
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал…

Монолитная, крепкая, единодержавная власть — вот что нужно, родно, подходит к русскому нарду. Это говорит некоммунист. Но это, увы, не всё!

Некоммунист формально прав, когда говорит, что власть иной структуры не сможет сменить эту власть.

Да, не может! Ни парламент, ни Учредилка не подойдут. Но он глубоко ошибается, что по существу-то эта власть останется такой, как она есть сейчас, в мгновенном историческом взлёте.

Идёт вопрос не о том — привьётся ли конституция к нам, идёт вопрос о том, удовлетворит ли русский народ, изверившийся в радужных небылицах социалистов, фигура Троцкого в роли Ивана Грозного.

Простите, господин Некоммунист, мы думаем, что нет.

Ещё в ужасных кровавых сумерках расстрелов, чрезвычаек, пыток, голода, людоедства, обуянному страхом, забитому, затурканному историческими путаницами русскому человеку, пожалуй, и может на момент показаться, что перед ним сам царь Иван, но на дневном свете неотвратимо подвигающейся новой экономической политики, рвущихся отовсюду струй живой воды, вечной воды, эта фигура с ястребиным носом, в резиновом плаще, в пенсне, с биноклем и расстрелами — так, как описывает её один неуёмный борзописец из красных на фоне зарева Казани — эта фигура останется довольно комичной.

Некоммунист пишет: «и ярок был данный населению предметный урок в местностях, захваченных под белую власть».

Мы на то можем с уверенностью сказать: уж что касается яркости, то красные белых в этом отношении переплюнули весьма основательно. И именно потому, что власть-то их была в терроре, то есть в страхе. Царь-террорист.

Русский царь — царь добрый, — вот какую существенную поправку необходимо внести к царю-террористу. И внесут, будьте спокойны!

Итак — резюме: правильно, с формальной стороны никакой иной власти и не может быть у русского народа, в этом сила юрких большевиков, правильно понявших обстановку.

Но в этом же их слабость, наш царь будет белым, а уж никак не брюнетом!

Вечерняя газета. 1922. 26 апреля.

Сибирские комбинаторы

Теперь, когда началось политическое оживление в противобольшевистском лагере, когда по международной обстановке политика Дальнего Востока выходит в глубокие воды, заслуживают внимания и те возможные комбинации, которые начнутся при этом.

Уже гул и бурления доносятся из Харбина. Сия китайская Женева особенно чутка как насчёт великодержавных, так и насчёт сибирских комбинаций. Ведь Сибирь стала чем-то вроде удельного княжества кооперативного. Кооперация смотрит на неё как на свой феод, и посему более всего шевелятся кооператоры.

Кооператоров, заинтересованных в делах сибирских, великое множество и разных мастей. Начиная от маслодела Ивана Михайловича до Сазонова, Соболева и других, имена которых не столь славны. К тому же надо отметить и то обстоятельство, что столь недавнее прошлое в лице Омска — детища кооперации, не даёт им спать спокойно. Это прошлое не даёт спать и профессору Головачёву.

Эта областническая тенденция имеет подкрепление себе в лице генерала Пепеляева, который, таким образом, играет роль реальной силы при помощи популярности своего имени среди сибиряков.

Мы видим уже определённые признаки оживления деятельности этих групп. Полагая бывшее небывшим, они скачут на кооперативный счёт в разных направлениях между Пекином, Шанхаем, Владивостоком и Харбином, устанавливая связи, информируя и проч.

Собственно говоря, ничего не было бы предосудительного в этом областничестве, поскольку придётся рано или поздно признать, что восстановить необъятную Россию из центра совершенно немыслимо. Но нас заставляет задуматься то социалистическое примиренчество этих групп, которое возникает из старых их связей.

Есть определённая почва для опасения, что власть и действия при таких условиях попадут в руки, которым предоставить их никак нельзя. Тогда областничество вместо национального дела послужит замаскированному проведению в жизнь власти всё тех же безудержных обанкротившихся изуверских социалистических

групп.

Между тем события не за горами, и национальным группам нужно подумать, что в Сибири смогут они противопоставить комплоту[18] социалистически — кооперативно — авантюристическому.

Вечерняя газета. 1922. 27 апреля.

Будет война

Словно туман ползёт из-за плотно закрытых дверей генуэзской конференции. Весь мир присматривается к ней и ждёт, когда во дворце св. Георгия будет решён вопрос об апокалипсическом змее наших дней — большевизме.

Но что происходит там — мы не знаем. Правда, мы знаем от нескольких быстроглазых корреспондентов, что Чичерин «был в безукоризненном визитном костюме» и пожимал руку Барту. Мы слыхали, что «машинистки чрезвычайно обрадованы были костюмами», которые накупили они по дороге. Наконец, до нас доходят слухи о каких-то инцидентах во время «завтраков».

Несомненно, что большевики стараются держаться комильфотно. Прошло то время, когда в Бресте рядом с генералом Гофманом сидела чёрная кофточка Биценко или позеленевшая борода крестьянина Сташкова…

Всё-таки мы уверены в том, что лакированные ботинки, визитки и блестящие цилиндры с двумя лучами не смогут скрыть всей убогой сущности «базы» советских дипломатов. Ведь иностранные миссии не только кормят голодных во всей России. Нет, они производят ещё глубокую разведку в тылу, и никакие визитки, никакие расфуфыренные машинистки, блистающие под итальянским солнцем, не смогут отвести глаза иностранцев, с каким правительством они имеют дело. Недаром с большевиками не разговаривает Америка, больше всех кормящая голодных российских социалистов.

Кроме того, за четыре года значительно вырос и окреп круг зарубежной противобольшевистской печати. Её авторитетное мнение, конечно, не в пользу оцилиндренных чекистов.

Конечно, генуэзская конференция — не конференция, то есть не просто совещание равноправных членов. Большевики в визитках вызваны были туда для того, чтобы встать перед судом Европы, чтобы выслушать ультиматум об изменении их кровавого и изуверского образа действий. О нарушении суверенных прав российских тут говорить не приходится: дело плохо, если на заседаниях присутствует сам Чичерин, безмерно нахальные

радионоты которого приводили в неистовство весь мир буржуазный.

К такой уступчивости принуждает большевиков костлявая рука голода, которая теперь сжала глотку советскому правительству точно так же, как она жала горло русскому народу и держала его под властью 200 000 коммунистов, точно так же, как блокадой задавила она Германию.

Вот почему чуть ли не сам Ленин должен ехать из своего разбойничьего гнезда в Кремле на берега Адриатики, вот почему стали разговорчивы дерзкие и беспардонные анархисты.

Но на это укрощение не следует пока возлагать больших надежд. Если иностранные неумные журналисты и могут думать, что большевики могут «измениться», то нам-то суждён в отношении этом безнадёжный скепсис.

Они — всё те же самые, и только могила может исправить их.

Их стихия — раздор, война, распри и интриги.

И вот почему большевики слили свой вопрос с другим, ещё не разрешённым великой войной вопросом — с вопросом германским.

Реванш — мечта Германии. К этой мечте правильно причаливают свои делишки большевики, полагая, что чем больше в мире скандала, тем лучше. Мы знаем железное упорство немцев в достижении своих целей. Мы знаем, что война ещё не кончена. Мы знаем, что, несмотря на присутствие на германской территории оккупационных армий и культуртрегирующих негритосов — германские заводы втайне работают над новым мечом Зигфрида. И претензии германцев на Россию как на навоз для победных роз будущего реванша находят себе отклик в ярости большевиков против буржуазного мира.

Генуэзская конференция должна кончиться большевистским Брестом — полагает Антанта. Союз Германии и большевиков на основе агрессивных планов тех и других — мечта противников Европы. И наивно было бы ждать, что клочки бумаги — договоры возымеют силу оттого, что они будут подписаны предателями, Лениным, орудием германского генерального штаба, ибо ведь и в Генуе он тоже может быть орудием этим.

Европа втянута в тяжёлые конфликты, которые избудет только орудие и уничтожение большевизма, тогда и у Германии не останется места и почвы для интриг.

Мир мира достигнут будет только тогда, когда из дворца святого Георгия явится его огненный меч.

Вечерняя газета. 1922. 29 апреля.

Первое мая

Вчера, по случаю 1 мая, на улицах опять продавали символические значки — бумажку, на которой изображён надрезанный каравай хлеба. Нож воткнут в этот самый каравай…

Память как-то сохранила откуда-то затерянный рассказ о кошмаре, где вот из такого же каравая хлеба из-под ножа потекла кровь.

Так и чудится, что и тут из-под этого ножа, из этого каравая тоже должна брызнуть самая настоящая, дымящаяся, тёплая человеческая кровь.

В самом деле. В детстве «нелегально» читали мы о том, как прекрасно проходит величавый день 1 мая в Германии и прочих заграницах. Шли величественные описания того, как целые толпы трудящихся, этой новой городской аристократии, сопровождаемые гирляндами разодетых детей, несущих цветы, шествовали к «дворцам труда». Лозунги, которые, вышитые золотом, развивались на шёлковых алых знамёнах, конечно, все были самые лучшие. Свобода, равенство, братство спускались, казалось, на землю собственной своей персоной для того, чтобы принять участие в праздновании.

Так казалось нам, молодым гимназистам, которые во имя сего удирали от уроков и 1 мая, по новому стилю, и 18 апреля — по старому, для выражения солидарности с мировым пролетариатом, авангардом армии труда. Преследования помощников классных наставников, почтенных и непочтенных стариков, разыскивавших нас по лугам и молодым рощам, были, в свою очередь, совершенно ясным выражением жёстких наклонностей буржуазии.

Но жизнь — такая штука, которая несёт сильные разочарования. Уже молодым студентом присутствовал я однажды на празднике 1-го мая в Германии. Толстые пролетарии сидели в «Локале», лакали пиво и слушали оратора. Тогда выступал социал-демократ Франк, убитый потом на войне офицер, тогда член рейхстага и ландтага. Темой дня были новые налоги, которые вводило имперское правительство. На пиво, спички, табак, кофе.

— Пролетарий, — говорил пламенный оратор, — не может больше выпить кружки пива, не заплатив половину пфеннинга казне. Не может выпить кружки кофе. И пусть у каждой хозяйки, которая чиркает на кухне спичкой, загорится свет в голове: «Я не должна давать трудовой четверти пфеннинга на военные нужды».

Так говорил мудрый немец, а я сидел и удивлялся. Разве так привыкли мы, русские, говорить о счастье народа? Неужели этот

пошляк, похожий на Лассаля, был вождём и социал-демократом? Где же тут счастье народа, братство всех людей, торжество добра и прочая русская юриспруденция?

Теперь мы стали ещё более скептиками. Я, например, решительно не понимаю: что праздновали, собственно, те добрые люди, которые не вышли на работу вчера. Я разумею не рабочих, связанных профессиональной этикой, интересами и политическими заданиями. Но те служащие, которые отлично разочарованы российской революцией, что, собственно, они-то хотели праздновать…

Конечно, приятно не пойти на службу, лишний раз «прорезать». Конечно, в суматохе и идеологической неразберихе можно урвать и у государства, и у себя кое-что. Конечно, ни о каких красных флагах речи и быть не могло у этих людей. И родилось какое-то такое сумбурное убогое 1 мая, чисто беженское, которого я ещё не видывал…

И символом этой убогости явились те значки, которые носили вчера по улицам. Не свобода, равенство, братство оказались «лозунгами дня», а хлеб. И такой хлеб, из которого из-под ножа течёт горячая кровь русского народа. Двинутые мордой об исторический стол, российские граждане уже не мечтают о высоких материях, как могли они мечтать при старом режиме, а только об одном:

— Подайте мальчику на хлеб. Он Велизария питает…

Они хотят этими крохами накормить огромную Россию, страждущую, униженную, ослеплённую, пожирающую трупы своих сыновей. Россию социалистическую…

Поистине, кровь должна течь из этого хлеба…

Вечерняя газета. 1922. 2 мая.

Россия на барахолке

Как известно, начало революции в России отмечено было в житейском смысле расцветом барахолки. Конечно, никакой бюджет не мог выдержать, когда при жаловании в 10 000 рублей фунт хлеба стоил 5000. И вся Россия покрылась барахолками и комиссионными магазинами. Продавали всё, что можно. Сначала — предметы роскоши, которые скупали юркие спекулянты, выменивали на хлеб, потом дело дошло до того, что стали продавать и необходимые вещи, и вот город остался одетым в мешки, в рубище. Всё, что было в городе после прекращения коммунистами всякой промышленности, — всё попало в деревню.

Зато деревня зажила. Мешки с бумажными деньгами,

пианино, граммофоны, зеркала — весь обиход «буржуазного» городского быта она усвоила себе. А так как она стояла у хлеба, то и не голодовала так, как голодовал город. Вся стать, казалось бы, ей дождаться того времени, когда «станет легче».

Но всякий народ соединён между собой круговой порукой. То, что стало с одним классом, — постигнет и другой. И вот деревня, сравнительно благоденствовавшая первые четыре года революции, тоже зажата беспощадной рукой Царя-Голода, о котором столько брехали марксисты, считая его освободителем.

Деревня стала людоедской — вот каковой факт должен бить воображение и просто прямо в морду всех трубадуров советской власти. Деревне не помогли ни граммофоны, ни пианино, ни шёлковые платья и тонкие дессу на крутых формах её дочерей. «Чужое добро впрок не идёт». И внимательные наблюдатели уже наблюдали процесс обратного переселения скупленных вещей в город, потому что в городе этого самого «хлебушка», как жалостно пишут советские Балалайкины, нет-нет да и перепадёт.

Обнищала деревня, обнищал город. Всё промотано, прожито, пропито в политически коммунистическом пьянстве. Каков народ, таково и государство. Его судьбы одинаковы с судьбами народными. И вот мы видим Россию, стоящую со старыми штанами в руках, стоящую на мировой барахолке.

Золото, казённое и царское, переплавленное также из кулонов и нательных крестов ободранных буржуев, — давно всё промотано, не столько через Внешторг, сколько через рекламирование этого самого Внешторга. Императорские бриллианты, украшения наших царских регалий, растащены, крупные — по музеям, мелкие — сияют в такт фокстротов в ушах упитанных и тренированных до розовости американок. Толстые европейские банкиры носят в карманах портсигары нашего покойного Императора. Целые транспорты ковров отправляются за границу, для того чтобы украсить стены уютных буржуазных домов, где давно уже висят картины, служившие раньше украшением Эрмитажей и дворцов. Шанхай продаёт дивные, тонко вышитые ризы наших священников, парчовая и бархатная роскошь которых обобьёт дуб флорентийских кресел. Но всего этого мало, мало.

Голод всё свирепее и свирепее. Советская власть не лжёт больше, как Чичерин в декабре месяце прошлого года, утверждая, что голод выдумывают чёрные газеты. Как от косы, ложится от него несчастный народ наш, ест своих ребят, ловит на улице чужих. Советская власть вопит истошным голосом над тем, что она наделала. Тучи спекулянтов от всех народов мира окружают русский народ и за кусок хлеба отымают от него последнее.

В минуты тяжких испытаний взор русского человека устремлялся к иконе. Оттуда на него смотрел ясный небесный взор Богоматери или тёмного Спаса. Самоцветными каменьями убирал образа эти русский народ, как свидетельство любви и веры, как плодом рук своих, дарами, вывезенными из славных дальних походов, из покорённых земель. И вот теперь те же ясные глаза будут смотреть на него, на муки корчащихся от голода матерей, но уже сияние их не будет превосходить райское сияние алмазов и самоцветов при свете лампады.

Жадные руки Европы и Америки захватят эти самоцветы и, посвистывая, сложат их в сейфы, продадут элегантным артисткам и кокоткам. И русский Бог станет таким же ободранным и нищим Богом, как ободран и нищ русский человек.

Россия на барахолку за кусок хлеба выносит последнее — сокровища церквей. Дьявольская рука, надо сознаться, гениально разорила её. Продано всё, и при таких-то выгодах разве нужно, господа, торопиться с ликвидацией большевизма? Дело выгодное, что и говорить.

И тем ярче должна гореть неугасимая ярость в русских сердцах к тем, кто всё это сделал так, кто подверг великую страну поруганию и позору, кто сделал так, что мы наги, холодны, голодны и беззащитны. Только злобой, великой и страшной, можно объяснить всё это, великой, антихристовой, сатанинской, большевистской злобой.

Вечерняя газета. 1922. 12 мая.

Троцкий или Россия?

Опубликованное только что в местных газетах заявление Троцкого о мотивах окончательного «углубления» разрушения буржуазии — чрезвычайно знаменательно.

Оказывается, «углубление революции» до степени разрушения всякого производительного хозяйства, неизбежно тянувшегося к хозяину, производилось с целью… не дать организоваться вокруг ячеек этим контрреволюционным силам.

Мы в русской революции за пять лет её страшного хода привыкли видеть два её лика.

Один — праздничный, красный, сияющий, обращённый к массам. Это — лик лозунгов, заманиваний, обещаний. Судьба этого лика мало-помалу тускнеет. Массы отходят от него. Грандиозная социалистическая революция превращается в грандиозное жульничество.

Зато выступает ярче в отвратительной своей сущности второй

лик. Лик закулисных манёвров и злостных комбинаций. О нём знали всегда, как всегда знали об участии германского его величества генерального штаба в российском социализме. И не то чтобы этому не верили, но вера в это и сообщения об этом были заранее ославлены как «ухищрения буржуазии».

Но годы прошли. Соответственно этому наряду с блёкнувшим показным и праздничным ликом советской власти выступает лик будничный — хитрый и злобный.

Советская власть обстоятельствами непреодолимыми должна маневрировать. Рука голода душит её в России. Руки международных конференций душат её за границей. Нужно отступать — а в отступлениях предаваться фразеологии некогда; отступление же ведёт к восстановлению капиталистического хозяйства. А с капиталом, как Одиссей под баранами мимо Циклопа, проскользнёт и «контрреволюция», то есть утрата большевиками власти.

И вот циничное замечание Троцкого свидетельствует: «Нельзя давать власти хозяину, о котором стоном стонет русская земля. Как только у такого хозяина заведётся чековая книжка, около него соберутся белые банды».

Итак, для советской власти в её возвращении к естественному порядку вещей возможны лишь полумеры.

Капитализм — спасение России и смерть для советщины.

И поэтому перед лицом русского народа неизбежно и определённо должен стоять вопрос:

— Как же убрать нам советчиков, которые, ради сохранения власти, не стесняются губить русский народ?

Вечерняя газета. 1922. 23 мая.

Semper Idem

Вот именно — всегда одно и то же…

Под таким псевдонимом некое млекопитающее из «Курьера» написало сегодня статью, озаглавленную «Новые возможности». В этих «новых возможностях» курьерское млекопитающее разделяет Китай по карте указательным перстом. Дело, видите ли, вот в чём. Революция в Китае была «задержана» реакционными и умеренными группами. Представителем первых является Чжан-цзо-лин, второй — У-пей-фу. Теперь умеренная группа У-пей-фу, полагает «Курьер», съест Чжан-цзо-лина. Перед революционным доктором Сун-ят-сеном, главой Южного Китая, останется, таким образом, лишь один противник — умеренный У-пей-фу. Как только Юг скушает его — перед взором восхищённого

млекопитающего открываются «новые возможности»:

— Революция своей кровавой железной пятой топчет вдоль и поперёк тысячелетнюю мирную почву Китая…

Поистине — semper idem. Поистине — страшные добровольцы смут и революций, питающиеся сначала живой горячей кровью народа, а потом трупами… Страшные, гальванизированные реакционеры революции, её непочтенные рыцари…

И смотрите, сколько захлёбывающейся радости в сообщении:

— Везде вывешивались красные флаги, русская полиция со связанными руками препровождалась в тюрьму…

Обычная история! Ещё в 1854 г., по словам одного историка, «всё русское общество было радужно настроено по поводу Севастопольской неудачи». В 1904-м — студенты Московского императорского университета приветствовали японского императора. В 1917 году Мартов ахнул в своей газетке приветствие германскому флоту в день занятия им острова Эзеля.

Что же удивительного, что «всегда одно и то же» млекопитающее из «Курьера» радуется жалкой участи русских полицейских?

Semper idem! Да, неизменяемо, как сама глупость! Ведь сколько раз испытало это млекопитающее всё одно и то же — вывешивание красной тряпки ведёт к разделу несчастной страны. Смотрите, что сделано с Россией?

То же будет и с Китаем — за удовольствие «старая контора ломайла» заплатит разделом сфер влияния. Его ждут жестокие, но исторически справедливые операции.

Но что до этого жалким трубадурам крови, смерти и голода? Они дудят все в одну волынку:

— Углубление революции…

Жалкие дети бессолнечного подполья!

Вечерняя газета. 1922. 30 мая.

К приезду генерала Дитерихса

Итак, сегодня, как извещают газеты, приезжает генерал Дитерихс. Ему навстречу выехала делегация, не столько, конечно, для почёта, сколько «для информации». А свойство информации этой предвидится таким, что имеющий дать её В. Ф. Иванов — будет немало смущён.

В самом деле, генерала с боевым именем и с Омским стажем приглашают для занятия поста Председателя правительства люди, которые ради весьма проблематического Народного

собрания сделали нелепую попытку скинуть законное, ими же самими выдвинутое правительство. Если телеграммы в Харбин и звучали весьма торжественно, приглашая на сей пост ради спасения национального дела и для борьбы с большевиками, то тут окажется, что генерал Дитерихс должен будет разрешить довольно сложную проблему о революционном устранении Временного Приамурского правительства.

К этому, уверены мы, он не готов, и потому на станции Пограничная он будет весьма озадачен таким положением. Кроме того, разве у него не может появиться мысли о том, что и его могут, при случае, также попытаться скинуть, если он не будет удовлетворять стоящую тесной толпой придворную камарилью.

Кроме этого, генерал Дитерихс, как человек, чрезвычайно дорожащий своим именем, должен опасаться, как бы не очутиться в смешном положении при теперешнем «недовороте».

Ведь не будет же он сидеть в штабе III корпуса и диктовать оттуда свои летучки, предлагающие гражданам немедленно низвергнуть ненавистное «меркуловское» правительство.

Положение, в котором очутится генерал Дитерихс по приезде сюда, — будет чрезвычайно тяжело для него. Ведь надо иметь в виду, что более 80 % лояльного населения против действий Нарсоба. Ведь генерал Дитерихс не так легко поддаётся влиянию окружающей среды, как генерал Молчанов.

Во всяком случае, мы перед чреватым последствиями развитием этой фарсы.

Вечерняя газета. 1922. 7 июня.

Ярость

По улицам несутся автомобили. Горит казённый бензин. Из автомобилей разного звания военные люди разбрасывают прокламации. Ярость чувствуется в этих строках о «вкрадчивом льстивом голосе». Нелепы обвинения в некрасивом лице. И чувствуется в этих спутанных строках, что вот-вот яростная рука возьмётся за оружие.

Кто они, эти люди? Нет подписей под листовками, печатающимися на казённый счёт в казённых типографиях. Правда, та сторона как-то ушла в подполье.

Но когда та же «Вечерняя Газета» выходила из подполья, невзирая на запрещения оголтелых нарсобщиков, всё-таки под ней стояла подпись, как подпись стояла всё время под газетой «Слово», как подпись стояла под газетой «Русское Приморье».

Кто они, эти люди? Раз они не хотят, чтобы их знали, раз они

хотят, чтобы ядовито демагогические статьи из «Нашего Голоса» развращали и разваливали и армию, и народ анонимно, — пусть будет так.

Мы их не назовём.

Но они и сами себя назвать не могут. Ибо как только они подпишутся под яростными, полными крови строками своими, то строки эти потеряют силу, а нам откроются самые уязвимые места для ударов. Ибо подписи их, за малыми исключениями, не подтвердили бы незапятнанности их имени.

Они вскрывают закулисную сторону деятельности правительства. Поверьте на слово, мы столько документально знаем об авторах строк этих, что только уважение к русскому делу и категорическое запрещение совести — не губить его, вынося на улицу грязное бельё, налагает печать на наш рот и удерживает нашу руку.

Во всяком случае, мы ждём Земского Собора, где вопросы эти будут поставлены не перед улицей, гогочущей, как гоготала она вокруг Распутина, а перед людьми опыта и разума. И там люди эти разберут, кто прав, кто виноват.

Но они не ограничиваются только «разоблачениями». Самая гнусная клевета исходит из их ничем не сдерживаемых уст.

Большевики не могли бы больше портить национальное дело, нежели портят эти люди, в ярости своей не останавливающиеся ни перед чем.

Отвечать клеветою на клевету мы тоже не можем. Да и невозможно превзойти её, хотя бы в виде «Новостей Дня». Наоборот. Мы отдаём должное и армии, и её вождям, вполне доказавшим свою доблесть на полях битв и не раз кровью запечатлевшим свой подвиг.

Но, несмотря на всё уважение наше к военным деятелям, мы прямо говорим им: вспомните — не проповеди, а слова Крылова. Пора же понять то, что учили мы в детстве:

Оружием врагам — она грозна,
А паруса — гражданские в ней власти…

Поэтому мы всегда будем против военной диктатуры, ибо на нашей практике она ничего не давала, кроме сверкающих на автомобилях погон, ничем не оправдываемой авторитарности, полной безответственности и печальных результатов.

Только широкий фронт общественных военных и промышленных сил страны может спасти несчастную страну, в которой люди едят друг друга… Неужели же это непонятно, неужели же ради прихоти нескольких авантюристов нужно ещё

стрелять друг в друга?

Вы идёте против Меркуловых. Но вы в роте не смените командира, предварительно не испытав его стойкости, храбрости, энергии, предприимчивости… Вы не ограничитесь одним только чином. Скажите тогда, кем же вы смените Меркуловых с их дьявольской энергией и работоспособностью? Лихойдовым? Андрушкевичем? Широкогоровым? Лякером? Василием Ивановым?

Смешно! Ведь вы сами же понимаете, до какой степени все эти люди мало соответствуют своему назначению. Ведь всё равно — их придётся сменять через две недели!

Взошёл на трон Василий,
Но вскоре всей землёй
Его мы попросили,
Чтоб он сошёл долой, —

глумится Алексей Толстой над нами же самими, русскими.

Вы имеете имена? Так давайте их! Сменяйте более слабые брёвна более крепкими! Идёт разговор о Гондатти. Что ж. Вы имеете от него согласие? Идёт разговор и ещё кое о ком. Как обстоят дела в этом отношении?

Но пока смена будет производиться ради смены, ради «грубого голоса» или «несимпатичной наружности», то мы принуждены будем вскрыть истинные причины этого страстного желания. И мы не постесняемся сделать это, ибо только полным неуважением, полным небрежением к делу государственному, российскому можно объяснить эти увеселительные поездки на автомобилях с прокламациями. Ведь не сменяете же вы своего взводного на том основании, что тот заедет в зубы нерадивому подчинённому.

Мы видим, что многое, очень многое забыто за последний год. И для того чтобы напомнить это, я завтра начну в «Вечерней Газете» день за днём печатать свои записки журналиста — «В Гражданской войне». Может быть, это кое-что напомнит подлинно каппелевской массе.

Довольно ярости, довольно борьбы друг с другом! Ещё протопоп Аввакум говаривал:

— Мы, русские, друг друга едим и сами от того сыты бываем.

Вечерняя газета. 1922. 16 июня.

Ловля воробьёв, или Замечательное интервью

Василий Фёдорович Иванов — большой мастер давать интервью. Мы могли бы на память процитировать несколько его руководящих во все стороны заявлений, но то интервью, которое он дал вчера во «Владиво-Ниппо», несомненно, изумительнее всех.

Во-первых, почтенный экс-министр, экс-премьер и экс-депутат утверждает, что его участие в событиях в ночь на 1 июня было для него совершенно неожиданным. Вы помните, как в примечаниях в «Ревизору» Гоголь характеризует Ивана Александровича. Парень неглупый, но слова вылетают у него изо рта как-то совершенно неожиданно для него самого. Таким образом неожиданны были для самого Василия Фёдоровича те слова, которые он говорил в ночь на 1 июня, будучи вызван туда около 10 часов вечера.

Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Однако Василий Фёдорович усердно занялся ловлей этих самых Воробьёв. Оказывается, причина недоворота и нелепого фарса, разыгрываемого в течение десятка дней на улицах Владивостока, была не в авантюристических желаниях группы безответственных депутатов, а, конечно, «глубже».

Оказывается, «глубокие причины» — это две группировки в нашей армии, каппелевцы и семёновцы, между которыми постоянно существовала «глухая затаённая вражда».

Оказывается, и каппелевцы, и семёновцы были, в сущности, объединены чем-то общим. А именно — движением против правительства, каковое было «их целью». Во имя преследования этой благой и полезной цели они и действовали, только несколько разными методами. Семёновцы сначала хотели захватить военную гегемонию, а потом дать правительству по шапке. Каппелевцы же думали иначе и решили начать свои высокополезные действия с шапки.

Вот, оказывается, в эту-то «неорганизованную разбушевавшуюся стихию» и вносит своё компетентное слово Народное собрание. Рассмотрев и взвесив обстоятельства, оно решает эту самую стихию «организовать», для чего считает необходимым низвергнуть правительство. Это был тот «совершенно правильный путь», как подсказывает «глубокое убеждение» экс-депутата В. Ф. Иванова.

Повторилась, таким образом, история на станции Тайга, когда генерал Пепеляев и В. Н. Пепеляев арестовали Верховного Правителя адмирала Колчака, движимые единственно желанием «организовать разбушевавшиеся военные стихии» против генерала Сахарова.

Ведь мы были свидетелями этой «войны генералов», когда на выходных стрелках станции ставились пулемёты, чтобы дать

возможность тому или иному поезду выехать как можно скорее.

В. Ф. Иванов, к такому методу относившийся раньше неодобрительно ввиду его полной безуспешности (как известно, при такой спешности ни один эшелон далеко не уехал), однако становится на сторону именно решительных нарсобо-военных действий.

Оказывается, «именно благодаря вмешательству Народного собрания было предотвращено столкновение между враждующими военными группировками».

Этого чивой-то мы не слыхали, а наоборот, видим, что благодаря действиям В. Ф. Иванова, присоединившегося к вмешавшимся в политику военным, вышел великий конфуз на весь свет.

Ведь ещё дедушка Крылов говаривал:

> Барс отважен и силён,
> А сверх того, великий тактик он;
> Да Барс политики не знает:
> Гражданских прав совсем не понимает,
> Какие ж царствовать уроки он подаст!
> Царь должен быть судья, министр и воин,
> А Барс лишь резаться горазд…

И напрасно ловить вылетевших воробьёв, отпираться, заявлять — я не я, лошадь не моя, а я не переворотчик. Просто кровью обливается сердце, когда видишь такие безудержные нетактичные действия, срывающие едва-едва дышащее русское дело.

Вечерняя газета. 1922. 17 июня.

Арапы печатного слова

Вышел номер 2 «Нашего Голоса».

То есть не вышел, а выехал на автомобиле, с которого и разбрасывался по улицам.

Я уже отмечал его главное качество — безымянность. Совершенно неизвестно, кто его писал. Авторы его — как арапы в чёрной ночи. Не разберёшь…

Если судить по тому, что содержание его такое же самое, какими были харбинские газеты, поливавшие грязью братьев Меркуловых, до тех пор пока китайцы им не запретили этого, — это листок большевистский.

Некто неизвестный, сидя на Светланке, испражняется с

высокого дерева на государственное достоинство Приморья, с грязью мешает его деятелей, расписывается в особенной политической безграмотности, сетует на то, что вот-де посадили и так далее…

Для большевиков важна такая дискредитация русского дела. Пусть газеты, рассуждая так, оттолкнут каждого русского гражданина, который устремил бы глаза с надеждой на этот уголок. Пусть иностранцы усомнятся в прочности его и не дадут и тех грошей, которые дали бы в уплату за рыбалки и т. п.

Вот для чего нужно большевикам лаять на Приморье и на деятельных в нём людей. Чтобы сорвать русское дело.

Мы вправе заключить, что и тем неизвестным, которые пишут листок этот, предстоят такие же одинаковые цели.

— Долой Меркуловых, — выставляют они лозунг. — Они воры, тираны, самодуры…

Старая песня. Ещё про царя Николая II писали, что он вор, тиран, самодур…

Про Временное правительство писали то же самое.

Про адмирала Колчака — то же самое.

Про атамана Семёнова — то же самое.

Про Деникина — то же самое.

Про Врангеля — то же самое.

Как только у нас образуется какое-нибудь национальное правительство, как сейчас вылезают арапы печати и начинают на него лаять. До тех пор, пока не свалят… А свалят — с новыми силами продолжают дальше.

Вот почему у нас на Руси с каждым годом всё хуже и хуже жить. Вот почему в России едят уже покойников.

Эту самую работу ведёт и «Наш Голос». Ведёт лживо, несмело, нечестно. В самом деле.

Вот они указывают, что закрыты газеты:

«Голос Родины». — Он закрыт уже давно.

«Русское Дело» не может выйти, потому что не заплатило Коротю ни копейки.

«Утро». — Не заплатило ни копейки типографии. И т. д.

Они указывают, что власть задушила «Утро». Мы имели случай указать, что редактор его, родом из арестантских отделений, не нуждается в таком гражданском почёте.

И т. д. Одним словом, знакомая картина — и одно только следствие: разрушить то, что есть на Дальнем Востоке.

Вот почему про этих арапов печати мы можем сказать: они льют воду на читинскую мельницу… Им нужен Тобельсон.

Вечерняя газета. 1922. 19 июня.

Меркуловщина

Интересное словообразование.

Как только появляется что-нибудь на поверхности взбаламученного политического российского моря, как сейчас же тянется к нему рука с наклейкой *«-щина»*…

Так у нас в памяти Колчаковщина. Отлично помним Семёновщину. Не забыли Калмыковщины, Керенщина сияет неугасимым светом. Наконец, у всех на устах слово Меркуловщина.

Приставкой «щина», как известно, выражается некое пренебрежительное отношение известных слоёв русской массы к своим же деятелям. Господи, Боже мой, чего не врала известная часть общества и прессы, обвиняя покойного адмирала чуть ли не во всех смертных грехах. И чем нелепее, чем вздорнее обвинения, тем безапелляционнее принимаются они на веру широкой толпой…

Два энергичных, предприимчивых, решительных, смелых русских человека — братья Меркуловы тоже не избежали этой участи. В печати, в обществе против них выдвигаются самые нелепые обвинения. Земский Собор, предполагается, должен будет высказать своё авторитетное суждение на тот конец, что «они должны уйти». И самое интересное то, что никто не задаётся вопросом:

— Ну, а кто же их сменит?!

Приставка «щина» как бы оправдывает такое легкомыслие, толкает на него.

— Помилуйте, — кричат со всех сторон, — они ведь неприемлемы!!

Кому неприемлемы?

О, мы отлично знаем все мотивы против… Это грубость, невоспитанность, несдержанность в выражениях… Это легенды о каких-то золотых запасах, увозимых в чемоданах, рассказы барынь о русском стиле в доме правительства.

Если вы в упор спросите любого, обольщённого приставкой «щина», людей, орущих о недопустимости «меркуловщины», то увидите, собственно, только пустышку-орех. А вместе с этим увидите ясную, глубокую «веру угольщика» в то, что государственные дела идут сами собой, по-канцелярски, и что глубоко безразлично для них, кто, собственно, подписывает бумажки:

— Подписано, и с плеч долой…

Эти наивные люди, верящие в какие-то силы истории, спасающие общество и заставляющие его «совершенствоваться»,

никак не могут понять того, что только личность — вяжущее начало в обществе, что только через личность приходит глубокое, плодотворное завязывание исторических узлов.

Но это так, и с этой точки зрения братьев Меркуловых со счетов никак не сбросишь. Их нельзя заменить полутрупом Лихойдова, граммофоном Васьки Иванова или сопением Андрушкевича. Год существования Приамурской государственности — есть год центральной работы братьев Меркуловых.

Я, конечно, далёк от утверждения, что они — исключительно всё. Им содействовали и национальное течение, и армия, и вообще образумливание русских людей. Но я утверждаю, что не будь их резкой и властной воли, их страсти к работе — все эти распылённые возможности погибли бы так, как погибают они в несчастной голодной России.

— Братья Меркуловы — фирма, — кричат разночинцы-интеллигенты, — купцы они.

Но интересно — то, что почитается неблаголепным для жиденького российского интеллигента — фирма, то служит для привыкших взвешивать людей-иностранцев именно рекомендацией. Смените братьев Меркуловых, и вместо налаженной, работоспособной, получившей известный кредит фирмы вы увидите мелких папиросников или бакалейщиков, весь товар которых в их убогой рекламе.

И тут является воспоминание ещё об одной «шине» — об Азефовщине, «щине», на которой расцвела и выросла революция российская.

Не она ли тут снова сеет свои злобные, губительные цветы, не оттуда ли ползёт провокация политически невоспитанного русского народа, не от нового ли Азефа, этого дьявола в облике человека?

Во всяком случае, на Земском Соборе деятельность правительства встанет во весь рост. И тогда будет его веским делом обсудить деятельность «фирмы» или же признать за ней определённое достоинство.

Но выбирая в первом случае другую фирму, надлежит помнить:

— Всё равно недобросовестные и злобные людишки будут снова вешать на неё всех собак.

Или так творится русское дело?

Вечерняя газета. 1922. 21 июня.

Новое откровение

В номере 582 «Владиво-Ниппо» приводится опять новое интервью В. Ф. Иванова.

Новое интервью, новое откровение.

Потому что каждое интервью В. Ф. Иванова есть новое откровение.

Вопрос касается приглашения генерала Дитерихса и «соглашения его с Меркуловым» — как пишет простодушный интервьюер в заголовке.

По первому и по второму пункту красноречие В. Ф. не подымается выше обычного адвокатского красноречия. В общем, в двух первых пунктах им найден благополучный исход. Инициатива приглашения генерала Дитерихса исходила от военного командования ввиду его высокого военного авторитета. Что же касается соглашения генерала Дитерихса «с Меркуловыми», то, как полагает В. Ф. Иванов, оно имело целью установление власти через волеизъявление населения, а также дать почётный выход из создавшегося положения носителям власти этой.

Покамест всё идёт гладко, как вода, льющаяся во время дождя из водосточной трубы. Но пункт 3 о том, «как на это будут реагировать общественные организации, опирающиеся на Нарсоб», таит в себе киммерийские сумерки.

Дело в том, что генерал Дитерихс «принял своё решение слишком поспешно, без надлежащей ориентировки и ознакомления с историей происхождения власти Временного Приамурского Правительства».

Так говорит В. Ф. Иванов и заявляет дальше:

— Источник происхождения этой власти — революция.

По поводу этого тезиса, хотя В. Ф. Иванов и приводит ссылки на «Русский Край», мы должны сказать, что это абсолютная неправда.

Иванов не может не помнить, что в предварительных совещаниях во время первого Съезда было решено образовать Совет Несосъезда именно для того, чтобы он принял власть при той возможности, которая тогда предполагалась.

Что это было возможно — захватить власть, об этом свидетельствовал некоторый успех полковника Глудкина в выступлении его в ночь на 31 мая.

Вот тогда-то только и были предприняты переговоры с каппелевским командованием, в результате которых уже в апреле месяце было достигнуто следующее соглашение:

I. Командование считает, что уже общественное настроение в Приморье в противобольшевистском духе

выявилось настолько, что возможны активные действия против большевиков и передача власти несоциалистам.

II. Командование полагает, что, по оценке политических деятелей Приморья, в лице С. Д. Меркулова оно видит то лицо, к которому должно перейти объединённое руководство действиями против большевиков.

III. Командование полагает, что по свержении большевиков власть должна перейти к Совету Несосъезда под председательством С. Д. Меркулова, при участии в общей работе Народного собрания как органа законосовещательного.

Вот этому-то правительству в лице его председателя и подчиняется безоговорочно армия. На что имеется документ.

Таким образом, заявление В. Ф. Иванова, что «Приамурское правительство получило власть от революционного комитета (национально-революционного — В. И.) по соглашению с командованием» — или слабая память В. Ф. Иванова, или нарочное запамятование и подтасовка фактов.

Думаем, что последнее.

Власть Временного Приамурского правительства стоит на глубоком, твёрдом общественном базисе, что доказали последние события, где общество было явно против переворотчиков, и не сбывчивым инсинуациям запутавшегося и дискредитировавшего себя политического деятеля отвести внимание генерала Дитерихса на ложный след.

Вечерняя газета. 1922. 23 июня.

Грядущая кровь

Социалисты-советчики с чемоданами в руках, со средствами в бумажниках, полученными от ободранных алмазов и жемчугов с окладов икон, вырученными от проданных «царских» драгоценностей, мечутся по Европе, с корабля на бал, из вагона люкс на конференцию.

Увы, как далеко миновало то время, когда все эти господа были твердокаменны в своих убеждениях зажечь революцией европейское море. Эти непримиримые идеи слезли с них, как через год революции слезли с красы и гордости русского страшного бунта — матросни их флотские шинели и бескозырки, и они на всём пространстве необъятной России обратились мало-помалу в самых обычных ободранных товарищей.

Идеи революции изношены. Советские дипломаты удивляют мир своим скромным поведением и переговорами. Блестящий цилиндр Чичерина виден на королевских приёмах, но вместо революционной идеи под ним сияет безглазыми дырами один череп.

Череп российского социализма.

Он умер, этот социализм. Он провалился с таким громовым треском, с такими стонами народными, что весь мир, присутствовавший на этих играх обречённых в русском колизее, должен был содрогнуться от ужаса.

Но перед нами вопрос. Что же становится на место его?

Мы не можем считать строителями жизни ту спекулянтскую накипь, которая переполняет теперь собой столицы. Мы не можем считать Нэпо основой возможного возрождения, эти последние судороги умирающего коммунизма.

Броситься в другую сторону? Броситься в объятия философствующей, неумной русской эмигрантщины, утверждающей, что всё поправится само собой, что уменьшение количества похищаемых коммунистами жизней и имущества, просто по причине уменьшения таковых, — представляет из себя «эволюцию советского строя»?..

Или, наоборот, в мечтах о реставрации нежить усталую душу и злобное воображение? Тщетная задача! Как у «сменовеховцев», так и у реставраторов есть какая-то фатальная вера в рок. Вера в то, что всё сделается само собой, без участия кого бы то ни было, как только исполнится полнота времён.

Трудное время перед русскими людьми, труден ответ на вопрос — куда идти?

Нет пути ни с буйными помешанными коммунистами, ни с тихими идиотами, национальный процесс перелаживающими в формулу «всё образуется…».

И только далеко-далеко слышится, как конский топот по степи прильнувшему ухом к земле, — слышится верная поступь идущего народа!

Она жестока, эта поступь. Она несёт месть, но месть скрытую. Она не будет глушить рукояткой револьвера в подвалах и застенках чрезвычаек. Она воздвигнет эшафоты на площадях под ясным солнцем и, в сознании правоты своей, станет уничтожать то, что уничтожал до сих пор русский народ.

Будет стихийное, нелепое, дикое, но верное пробуждение народной воли — а первым делом она выльется в мести.

Воли, которую так насиловали принципами коммунизма.

Воли, которую так отделяли от здравого смысла.

Воли, которой не руководили сочувственно и любовно.

Только воля к жизни простит Россию, вырвется из цепких лап международных организаций, а пока мы не видим этой воли.

И если она будет слишком жестока на первых порах — если содрогнутся сердца обречённой на изнашивание российской интеллигенции, мы можем только сказать:

— Ты ведь хотел этого, Жорж Данден!!

Вечерняя газета. 1922. 1 июля.

Параллельно

В ДВР общественной жизни, как таковой, нет. Всё и все молчат, загнанные в подполье. Газеты, несмотря на все вопли местных демократических зоилов, и сравниться не могут с местными по свободе печати. Интеллигенция либо молчит, либо пресмыкается у власть имущих, комбинируя разные должности на железной дороге, в кооперативах, где так называемый душок демократического порядка ещё остался вместе с улучшенным пайком.

Зато в Приморье общественная жизнь дышит. Собственно говоря, только здесь, на этом маленьком клочке земли былой Российской Империи, только тут культивируются национальные лозунги. Только здесь слышны вздохи сожаления о былой России, чего не услышишь на её выжженных солнцем и коммунизмом равнинах, где только один гимн — хлебца дай — висит в воздухе как странное марево.

В этом преимущество Приморья, в этом его заслуга. Но у ДВР есть одно значительное преимущество.

Подавленная общественная жизнь оставляет также в покое армию ДВР. Она немногочисленна, эта армия. Нельзя ведь гнать армии из центральных, более благополучных районов на Восток, мимо оазисов социалистического людоедства. Может выйти превеликий конфуз. Местный же читинский, забайкальский «ландвер», так сказать, ненадёжен. Зато — то, что есть, есть ли это коммунистические полки или части, или ослеплённые партизаны, всё это стоит весьма твёрдо на правительственной платформе и не раскачивается политическими спорами.

Это то, чего нет у нас. Даже если какая-либо часть нашей армии и стоит на платформе «аполитичности», то само стояние это играет роль политики. Мы же говорим уже о специально политических частях, которые занимаются изданием газет, памфлетов и претендуют за великий Ледяной поход чуть ли не на верховную власть.

Итак, к носу Иван Ивановича надо прибавить рот Иван

Петровича. К тому, что мы имеем, к политической жизни, слабо, но всё же лелеющей идеалы национальной России, надо прибавить крепкую армию, и тогда можно твёрдо смотреть.

Вечерняя газета. 1922. 10 июля.

Потревоженные цари

Телеграммы несут нам изумительные сведения.

Оказывается, в Петропавловском соборе в Петербурге ограблены царские могилы.

Украдены серебряные гробы императриц. Их прах, столетия мирно покоившийся, осквернён и выброшен. И высокие петровские окна Петропавловской усыпальницы глядят на развёрстые могилы.

Мало того! С трупов сорваны украшения, и какой-нибудь «внешторг» или какая-другая сволочь продаёт их за границей. Несомненно, покупатели найдутся — редкая, музейная вещь! Вроде тех, что находили арабы в гробницах фараонов!

Но Египет умер. Его цари пережили его. Но пока — жива Россия, а прах её прошлого уже беспокоится святотатственными руками.

Говорят, что эти «вырученные суммы» пойдут на хлеб. Глупая отговорка! Не на хлеб они пойдут, а на продолжение страшного насилия над Россией, которое зовётся коммунизмом.

Как на драгоценные оклады с икон, так и на серебряные гробы императоров будет за границей закуплено оружие. Подкормятся чекисты. Наживётся несколько комиссаров.

А русский народ будет голодать и грызть друг друга под этой интернациональной сволочью.

И, по телеграмме, только одно напугало социалистических гиен:

— Царь Пётр хорошо сохранился и, открытый, предстал пред ними таким, что его не посмели тронуть.

Бесполезные мечтания, но если бы царь Пётр был жив теперь, я думаю, он не сидел бы, сложа руки, где-нибудь за границей.

Он сражался бы в первых рядах против насильников, поработителей русской земли, и его действенное имя объединяло бы беспастушье русское стадо.

О, как грозен мог бы он быть для этой нечисти, если даже его громадный труп пугает могильщиков русского народа!

И перед нами нет иных перспектив, как только оскорблённым и униженным, потерявшим прошлое и не имеющим настоящего, жаждать в будущем Русского Императора.

Вечерняя газета. 1922. 11 июля.

Бумажки на заборах

По улицам расклеены прокламации — «воззвания к солдатам и офицерам белой армии».

Как древле Павел Иванович Чичиков, срываю афишку и несу домой, чтобы почитать на свободе. Любопытный документ.

Во-первых — нет слова «товарищ». Очевидно, притягательная его сила котируется теперь большевиками как нулевая — новая политика, вроде Нэпо.

Поэтому пролетарский провокатор переходит прямо к делу. Оказывается, «русский народ сплотился не перед голодом, а перед опасностью, перед опасностью прихода помещика — за нашими землями, капиталиста — за нашими фабриками, царя и генералов — за русской рабочей и крестьянской кровью».

Все эти кислые слова можно швырнуть обратно в морду заборному литератору. Ведь без злодея-помещика — «рабочие и крестьяне» гложут трупы друг друга.

Ведь без злодея-капиталиста стоят фабрики, заводы, и вся социалистическая Русь гуляет без штанов и, распродав всё, продаёт теперь нательные кресты да оклады с икон.

Ведь никакой царь, никакой генерал не пролил столько «рабоче-крестьянской крови» — какая-то особенная и кровь-то у них — сколько пролили красные цари — Ленин и Троцкий, красный генерал Феликс Дзержинский, комиссар Чеки.

Но это мало смущает нашего писателя.

Чего же добивается наш писака? Оказывается, надо к счастливой матушке-России присоединить и Дальний Восток, который захватили «взбунтовавшиеся помещики и генералы».

Зачем? Оказывается — Россия голодает, и вот оставшимся там матерям и детям воинов отсюда могло бы идти пропитание.

Ведь тут, во Владивостоке, хранится много «добра, добытого кровью и потом твоих отцов и дедов».

Только, значит, один Владивосток и мешает. Спустить его запасы, да сразу, и тогда станет всё чисто… Хоть шаром покати.

А что же должны делать «солдаты и офицеры»? Дело в том, что их ждут «зеленеющие поля необъятной России, жена, дети, Родина».

Так поёт этот соловей.

Но, к сожалению, нет у нас такой России, с её зеленеющими полями, лугами, великими реками. Она выжжена солнцем, бесплодна, разорена, принижена… В ней люди едят трупы, в ней люди убивают людей, в ней грабят церкви, в ней творится

страшное, неслыханное дело кучки людей, захвативших власть.

Россия будет, но тогда, когда социалистов не будет у власти, — в этом её спасение. И было бы преступлением, если бы и Дальний Восток был обречён на такую же страшную, ужасную участь, как и вся страна.

И кого хотят обмануть эти писатели своими бумажками?

Разве только малодушных да предателей.

Вечерняя газета. 1922. 13 июля.

Живящие слёзы

Прошло уже четыре года, как в маленьком особняке дома Ипатьева в Екатеринбурге ночью в подвале пристрелен был комиссаром Юровским русский царь.

Вместе со своей семьёй, своими приближёнными.

И три года приходится писать в этот юбилей, что это не было судом, подобно судам над Карлом I и Людовиком XVI, что это не было расправой русского народа над своим бывшим властителем.

Нет, это было просто уничтожение царской семьи, царского рода, то уничтожение, под знаком которого идёт вся русская революция.

Русская революция как будто бы задалась целью обратить весь русский народ в Иванов Непомнящих. Беспощадно уничтожается всё то, что находится перед кровавой датой 28 февраля 1917 года.

Уничтожаются уклады жизни на основе права собственности; уничтожается религия; растаптываются и разбрасываются ценности, наконец убивается, истребляется и царская семья.

И нагой и сумрачный стоит народ русский на своих бестолковых дорогах.

Достоевский мрачно пророчествовал в своих «Бесах» устами Верховенского: «Раскачка такая пойдёт, что мир ужаснётся… Заплачет, заскорбит Русь по старым богам…».

Время это подходит, потому что те боги, которых подсовывали русскому народу в течение революции, оказались лживыми, фальшивыми богами.

Народ русский в несказанном тупике голода и холода. И когда он оглядывается назад, он видит в величавых образцах прошлого то, что он потерял.

Там и Россия, там и деятельность, там и царь…

И он лучше видит всё это, нежели видел раньше, потому что глаза, полные слёз от страданий настоящего, видят лучше… Сквозь слёзы прошлое воскресает.

Вечерняя газета. 1922. 17 июля.

Вокруг Земского собора

Вокруг Собора растёт целый ряд настроений, которые, при всей их желательности, однако, могут создать большие затруднения для работы Собора.

Мы, в частности, говорим о тех монархических тенденциях, которые господствуют в среде несоциалистов. Правда, сами мы глубоко уверены, что монархия — та форма государственного устройства, которая грядёт к нам неизбежными железными стопами. И не только потому, что прошлый государственный строй России был таков. А потому, что таков настоящий строй Совроссии, где, несомненно, налицо страшная чёрная монархия с определёнными мистическими целями.

Но всё же мы думаем, что пламенное желание такого строя не должно ещё служить достаточным поводом для того, чтобы им путать и срывать ближайшие задачи Приамурской государственности. Земский Собор не должен так шагать широко, памятуя известную пословицу. Укрепление того, что у нас есть, налаживание связей с сильными соседями, борьба тем же оружием, которым борются и с нами, — вот реальная и близкая задача.

Экономические задачи края — та апельсинная корка, на которой могут поскользнуться любые монархисты с широкими планами. Нам нужны деньги.

А для этого нужна вера в нашу мудрость, политическую устойчивость и сговорчивость. Какому же чудаку придёт в голову предлагать деньги группе, сплетшейся в смертной драке!

Если Земский Собор вынесет осуждение безумной политике нарсобщиков, если он сумеет отправить делегацию в Японию для завязывания общественных связей, чего, конечно, не мог сделать Нарсоб с его запросами и интригами, если Приморье явит плотный вид могущего сговориться с собою общества, вот что может, и ничто больше, импонировать иностранцам.

Что же касается того, что нам хотелось бы видеть на престоле всероссийском русского царя, ибо, как говорил Достоевский, «плачет уже Русь по старым богам», то с этой мечтой можно и должно потерпеть.

И необходимо принять на себя этот страшный труд терпения, ибо кто же всё-таки, кроме нас, делал революцию.

— Мне отмщение и Аз воздам…

Вечерняя газета. 1922. 19 июля.

Так недалеко это время, так мы его хорошо помним.

Время веры в Учредительное собрание.

— Вот приедет барин, барин нас рассудит, — говорили все. Соберётся в Учредительное собрание Его Величество Народ и там «выявит свою волю».

В Учредительное собрание верили все. Эсеры, которые полагали, что они — соль земли, крестьянская партия, потому что больше всех обещала друзьям чужого. Эсдеки, коммунисты и даже буржуазия.

Наша буржуазия всегда была политическим несмышлёнышем и посему особенно горячо ратовала за предоставление «всем» права свободно высказываться. Больше того! Сам великий князь Михаил Александрович тоже был за Учредительное собрание, полагая, что оно может его выбрать на престол.

Дальнейшее тоже всем хорошо известно. Матрос Железняк разогнал в три счёта это самое Учредительное собрание, и никто даже не пикнул.

И вот с тех дней 1918 г. ясно вырисовываются две основные линии политики. С одной стороны, продолжается бубнение о «правах всех», о демократизме. Бубнение это приводит только к тому, что, пользуясь свободой слова, противная сторона сразу разваливает какое угодно правительство, потому что представляет из себя крепкую организованную группу.

Так пал Омск. Так пал Юг. Так пал Запад и т. д.

Ибо нельзя бороться за известные идеалы, предоставляя противникам все средства для борьбы с собой.

И вот, совершенно неожиданно, странным зигзагом истории мы подошли к Земскому Собору. Это — полномочное учреждение. Ведь оно выбирает правительство, и не временное, а самое настоящее. Оно определяет конституцию. Оно — выражение народной воли, и в то же время это не хаотический миф об Учредительном собрании.

В Земском Соборе участвует земля, не пустырь, изожжённый социалистическим пожаром, а устроенная земля, известный государственный порядок. И становится странным, почему это мы, в наших грёзах об Учредительном собрании, начинали именно с пустыря, с воли всех, кому что угодно, с воли, бредущей в самых различных направлениях.

Какой злой дух заставлял нас выписывать такие политические мыслете[19]? Как могли мы стереть то, что раньше, до революции, представляла из себя наша земля? Откуда эта ненависть к прошлому?

Она не наша, не русская, эта ненависть. Но это предмет особых статей. Но необходимо заметить одно: собирая Земский Собор, Приамурское правительство кладёт резкую грань в идеологии русского общества.

Учредительное собрание потеряло свой смысл.

Вечерняя газета. 1922. 20 июля.

Собор открыт

Вчера открылся Земский Собор.

Открылся весьма торжественно, с крестным ходом, со сверкающими хоругвями. И глядя на катившуюся по улице волну народа, невольно думалось:

— А если приведёт Бог Земский Собор открывать не на далёкой окраине былой Российской Империи, а в самой Москве — кольми паче импозантнее будет зрелище это, под гул сорока сороков московских церквей…

Впрочем, если трудящиеся над Россией вороны не успеют к тому сроку загнать эти самые колокола…

Во всяком случае, надо определённо констатировать, что мы выучились производить «смотр своим силам». И вчерашнее открытие Собора было именно таким смотром.

Значение Собора прекрасно осветил в своей речи Председатель Приамурского правительства С. Д. Меркулов, в своём по обыкновению кратком и содержательном слове наметивший весь «кризис парламентаризма» как построения сплошь рационального и указавшего выход в традиционных, религиозных способах исторического восприятия.

Этот возврат к старым государственным формам нашим сквозил во всём. И в тексте присяги, которой присягали члены Собора, и в речах ораторов. В этом смысле настроение Собора вполне определённо. Поскольку русские люди могут свободно выражать своё мнение, они неудержимо идут к монархии.

Впрочем, были и несогласные с царившим на Соборе намерением. И это отразилось в небольшом инциденте с присягой.

А всё-таки она — вертится. А всё-таки, после пятилетнего упорного, как «Господи, помилуй», бормотания всем миром — «Учредительное собрание», найдена новая содержательная формула — Земский Собор, которая гулом прокатится по всей России.

И в этом, независимо от результатов, — великая заслуга Приамурского правительства, данного его состава.

Вечерняя газета. 1922. 24 июля.

Конструкция власти

После докладов членов правительства перед Земским Собором встал вопрос о конструкции власти. Какая власть должна быть в Приморье. Единоличная или коллегиальная? Гражданская или военная?

Во-первых, ответим на второй вопрос. Ни к коем случае не военная.

Мы имели практику военной власти в Омске, Чите, и отрицательные черты её у всех ярки в памяти.

Ведь военная власть всегда порождает военщину, что не одно и то же. Военщина — это есть фактическое господство безответственного военного элемента, тыловых традиций, безапелляционности, претенциозности, в связи с полнейшей безответственностью и с господством худшего вида бюрократии — военной.

Германская война показала, как плохо организован был у нас тыл. И ставить военную власть — значит воскрешать дореформенные, дореволюционные навыки, ибо придётся верить не личностям, а тем чинам, которые котируются тем выше, чем дальше от революционного периода они получены.

Власть должна быть «штатской», потому что только штатскость может дать в условиях нашего быта хотя бы тень того, что человек занимает это место потому, что он пригоден к нему, а вовсе не потому, что он «царский генерал»…

Ведь разве в революции не повинны как раз деятели старого времени?

Власть, кроме того, не может быть единоличной, потому что смешно, собственно, говорить о том, что есть какое-то Приморское государство, замкнутое и ограниченное в самом себе. Мы живём в борьбе. Наша территория — амёба, которая может вытягиваться, сжиматься, расширяться. Точно так же неустойчиво и государственное образование наше, представляющее из себя функции от многих аргументов.

Единоличную власть нельзя «выдвинуть». Она выдвигается сама, личность побеждает и подчиняет себе окружающих. Поэтому несомненно, что основной, первичной формой в таких условиях власти будет власть нескольких людей.

Собственно, коллегиальная власть ещё не власть как таковая. Она только символ власти, центр, около которого должно происходить объединение. Только там, где выкристаллизовались известные реальные отношения, только там, где первоначальный договор между многими входящими в организацию, выделяющую

власть, перешёл уже в отношения между подчинёнными и подчиняющими, только там можно говорить о власти как таковой и о диктаторе как носителе её.

А такой личности — нет. Единственный, кто мог быть таковой, — Н. Л. Гондатти. Едва ли, однако, он обладает нужными качествами. Уже то обстоятельство, что о его намерениях ничего положительного не известно, мешает самым серьёзным образом обсуждению его кандидатуры. В самом деле, нельзя же такое серьёзное дело делать только по противоречивым слухам.

Итак, власть не военная, власть коллегиальная — вот каковы должны быть основные формы власти. К этим двум свойствам нужно присоединить ещё два: власть должна быть преемственной и быть избранной без всяких условий, хотя бы относительно передачи своих полномочий в известный момент Дому Романовых.

Такое условие «подвесит» всякую власть в воздухе и лишит её действенности.

Но об этом в следующий раз.

Вечерняя газета. 1922. 29 июля.

Конструкция власти (*продолжение*)

Вопрос, который станет сегодня перед Земским Собором, — едва ли не основной вопрос. Это именно вопрос о конструкции власти.

Решение этого вопроса позволит перейти к следующему:

— Кто же именно станет у власти?

Среди депутатов намечается несколько комбинаций. Харбинцы привезли с собой кандидатуру Н. Л. Гондатти, почему и настаивают на единоличной власти.

Кандидатура эта, надо заметить, встречает сильную оппозицию в других группах: указывается на то обстоятельство, что Н. Л. — крупный человек, но мирного масштаба. Его деятельность протекала в мирные царские времена; в событиях последних лет он не принимал непосредственного участия, почему, конечно, и отошёл от необходимого характера работы. К тому же харбинцы не знают наверное, приедет ли он или не приедет.

Называется имя атамана Семёнова. Называется, несмотря на некоторую неопределённость его положения в связи с американской поездкой. Главными его сторонниками являются

Никольские делегаты.

Собственно, единоличные кандидатуры этим и ограничиваются. Монархисты не настаивают, собственно, на единоличности во что бы то ни стало. Их интересует только декларативное заявление Земского Собора о нерушимости прав династии Романовых на Всероссийский престол.

Так как заявленные единоличные кандидатуры неопределённы, то, надо полагать, пройдёт принцип коллегиальный: Приамурское правительство будет состоять из трёх членов, приблизительно с такой же конституцией, как это было до сих пор.

В виду того что деловые интересы выдвигают на первый план принцип преемственности, то неоспоримыми становятся кандидатуры С. Д. и Н. Д. Меркуловых, ибо они фактически несли на своих плечах главную работу в Правительстве. Особенно кандидатуры их окрепли после их докладов Земскому Собору.

Вечерняя газета. 1922. 31 июля.

Мечтатели

В восточной легенде, переданной в белых стихах Жуковским, повествуется о некоем легкомысленном путнике, путешествующем по житейской пустыне. Сзади за сим путешественником гонится бешеный верблюд. Впереди — всяческие неприятности. Он падает в пропасть, но случайно повисает на кусте. Две мыши, белая и чёрная — ночь и день — подтачивают корни куста, на котором он висит. Внизу зияет страшная пасть ожидающего его змея, а он — он спокойно лакомится растущей неподалёку малиной… Пока что…

Эта аллегория невольно вспоминается, когда смотришь на работы Земского Собора. Дикому верблюду уподоблю большевизм, пригнавший сюда путешественника — беженца и подвесивший его на тонкой ветке Приамурской власти. Неустанная работа ДВР и коммунистов подтачивает это шаткое основание, ему грозит участь быть съеденным красным змием, а он — он лакомится приятной малиной.

Ни для кого не секрет, что Земский Собор занят в настоящее время обсуждением нескольких первых пунктов доклада Васильева о конструкции власти. Высказалось много ораторов, но для высказывания их крайне характерна история возникновения самого доклада как такового.

Доклад этот недели три тому назад был представлен в Комитет владивостокских несоциалистических организаций в

совершенно ином виде. Три первые пункта, говорящие о монархии, в нём совершенно отсутствовали. Признавалась необходимым коллегиальная структура Приморской власти; при обсуждении его после образования фракции несоциалистов возникло сильное монархическое течение, возглавляемое приват-доцентом Тяжеловым и протоиереем Антониевым, которые страстно ратовали за то, чтобы включить в него тезисы о монархии.

Демагогичность этих двух лидеров увлекла собрание, и уже в переработанном виде в доклад этот пункты эти были введены. Сам докладчик, сначала сопротивлявшийся им (почему его доклад и был заменой неудачных докладов Руднева и Крестовского), принял монархическую ориентировку, однако до последнего времени несоциалистическая фракция стояла за коллегиальную власть для Приморья. Приезд харбинских депутатов с их определённой кандидатурой в чемодане заставил неустойчивых несосов перерешить вопрос о структуре власти и остановиться на единоличной — предложение, вполне естественно поддержанное монархистами, занявшими яркую позицию в деле идеологии настоящего момента.

И перед Собором стали развёртываться яркие, увлекательные картины. Тяжелов однажды заявил, что «на нас-де смотрит весь мир». Необходимость царя, необходимость единоличной власти — здесь всё смешалось в одну массу.

Ораторы-монархисты стали предаваться необузданным мечтам. Я даже не представляю себе, что можно так не видеть всю Россию, всё, что в ней делается. Многомиллионный народ находится в кабале у социалистов. Страна разорена так, что только Атилла мог бы соперничать с этими социалистами со взломом. И это царство продолжается не год, не день; пять лет уже продолжается оно, пять лет льёт кровь русский народ.

Но что, кроме вздохов о прежнем, что, кроме странной уверенности в том, что всё образуется, кроме красивых слов о короне, мантии и порфире, слышим мы на Земском Соборе? И изумительно, как это люди не понимают, что и корона, и мантия, и порфира — всё это давно продано владетельными жидами за границу.

Люди говорят о том, что «Русь — святая». Так почему же сердце их не тревожит то обстоятельство, что табунами въезжают в Россию иезуиты, что проданы оклады с икон, что пусты и разорены храмы!

Не к декларациям, вызывающим своею дерзостью, не к заявлениям надо звать, а надо звать к борьбе. К тревожной, зоркой, напряжённой борьбе.

И для того чтобы вести её, нужно понять, как ведут борьбу наши противники. Их оружие — холод и голод, при помощи которых бессильно падает русский народ перед зелёными глазами чекиста и так же покорно — серая скотинка — становится к стенке.

Только тогда, когда мы будем иметь какой-нибудь реальный базис, только тогда, когда мы, белогвардейцы, будем иметь какую-нибудь самую паршивую территорию — только тогда и можем мы бороться против космического зла.

Но вот этого-то и нет. Нет в Земском Соборе оглядки, стремления сохранить, окопать, закрепить то, что есть… Вчера в кулуарах один из лидеров заявил даже во всеуслышание, что-де Приморье — пустяки, что оно обречено, а что перед нами стоят всероссийские задачи.

И вот почему на ту работу, которая сделалась здесь, обращается так мало внимания. Монархисты, в маниловских мечтаниях, устремлены к тому, чтобы на голой, обовшивевшей русской земле поставить алмазный трон Русского Монарха.

Было бы полгоря, если бы они ограничились такими мечтаниями. Дело в том, что они последовательны до конца в своих посылках. И, любя единоличие, неуклонно проводят его во вред здравому смыслу.

И четвёртый тезис васильевских декреталий они излагают таким образом, что на оставшемся плацдарме контрреволюции, Приморье, должна быть тоже единоличная власть.

Я глубоко уверен, что это делается так для того, чтобы не нарушать стильности. Без серьёзной аргументации. Нельзя же ведь называть аргументацией рассуждения Ландышева на тему преимущественной эленатности единицы пред тройкой, двойкой и семёркой или заржавевшие исторические справки о том, что такое «семибоярщина»…

Однако в соответствии с такими посылками выдвигается кандидатура старого чиновника Н. Л. Гондатти взамен того, чем двигалось и дышало Приморье — взамен братьев Меркуловых.

Кто говорит, что эти кандидатуры неприемлемы, тот ничего не понимает в делах Приморских. Почему неприемлемы? Потому что два эти человека на своих плечах тащили всё государственное дело Приморья — только двое. Ведь не Совет же управляющих — из Лихойдова и Вас. Иванова, ведь не Андерсон же и Еремеев.

Я отлично понимаю, что ставка на Гондатти делается не только ради принципа или его достоинств. Она делается в пику братьям Меркуловым. Это — личное дело делающего. Но зачем же она делается против здравого смысла?

Братья Меркуловы — крупнейшие русские люди.

Приамурское временное правительство сделало — ин корпоре — великое русское дело. Но Земский Собор не принёс даже благодарности ему.

Вдаль устремлены глаза его. Ему чудится пенье, музыка, царский трон, великая Русь.

Но раскройте глаза ваши. Кругом кровь, разорение. Царь, сожжённый, покоится под Екатеринбургом, царские алмазы — в заграничных музеях. «И возможно, — пишет генерал Дитерихс, — царская голова в спирту хранится у Троцкого в Москве».

Или вы декларациями вашими победите это зло… Или не наше дело стать вместе, плечо в плечо, а не древним титулам Земского Собора прикрывать интриги и делишки?

Вечерняя газета. 1922. 2 августа.

Приамурское временное правительство

Сегодня в торжественном заседании Земского Собора временное Приамурское правительство после 14 месяцев власти передаст эту власть избранному волею Собора главе нашего государственного образования генерал-лейтенанту М. К. Дитерихсу.

Члены временного правительства обращаются, поэтому, в простых смертных, и я спокойно, не боясь подлых упрёков в лести, могу сказать: Приамурское временное правительство совершило громадную национальную работу.

Это было правительство, которое организовало при красной власти здесь 1-й несоциалистический съезд.

Это было правительство, которое подвинуло на выступление армию.

Это было правительство, которое не побоялось выступить 26 мая с 54 винтовками против 2000 вооружённых красноармейцев.

Это было правительство, которое твёрдо взяло новый курс, новый за всё время революции. Без мщения, без преследования политических противников, борясь направо и налево, пресекая анархические выступления, откуда бы они ни исходили, оно проводило начала гражданского порядка, свобод, не стесняясь, однако, называть вещи своими именами и не церемонясь в отношении смутителей общественного порядка, хотя бы те и прикрывались громкими именами «свободы слова».

Это оно взяло под свою руку Камчатку…

Это наш русский корабль обстрелял английский флаг, перевозивший оружие врагам культуры и человечества.

Это оно умелым планированием двинуло добровольные

войска на Хабаровск.

Это оно добилось того, что над Пограничной снова наш русский флаг.

Это оно, первое из русских правительств, не уступило сразу своей власти перед глупым переворотом 1–11 июня и сумело ликвидировать его, несмотря на все уговоры общественности не терять силы и опускаться на дно.

Это оно восстановило русские исконные традиции, собрав вместо Народного собрания Земский Собор, весть о котором покатится по всей Руси великой.

Это оно завязало те связи, которыми будет пользоваться новое правительство, о котором ещё не время говорить…

Это оно слагает своё звание перед волей Земли.

Во всяком случае, пять русских людей, братья Меркуловы, Еремеев, Макаревич, Андерсон отойдут в историю как пять реальных русских патриотов, умевших держать власть и употреблять её на пользу страны и населения.

И конечно, прежде всего, в этом на первом месте стоят железные люди — братья Меркуловы.

Мы, русские, не умеем подчиняться, не умеем ценить наших героев. И в этом наше проклятие.

Зато, когда стихнут голоса и мнения отдельных лиц, — холодная муза истории занесёт правительство это на свои скрижали…

Это были настоящие русские люди.

Вечерняя газета. 1922. 8 августа.

Гонения на церковь

С церковью в Москве неблагополучно — вот впечатление, которое всё время производили получаемые из Совроссии отрывочные сведения. Отрывочные сведения эти, накапливаясь, дают возможность набросать следующую печальную картину.

После разрушения всего уклада русской общественной жизни большевиками у русского общества остались лишь глаза, чтобы плакать, да ещё одно утешение — молитва. Много писалось о том, что храмы в Москве переполнены молящимися; много писалось о росте религиозного настроения среди народных масс.

Хотя Соввласть и заявляла, что религия — частное дело каждого, но она, по обыкновению, лгала. И рядом хитрых мер, тонким расчётом она предприняла поход против православия.

Церковь всё время упорно держалась в стороне от государственной жизни, не принимая никакого участия в

политике. Но пришёл для неё час, когда она должна была сломить своё молчание.

Советская власть, как известно, протративши все запасы, принялась за ревизию церковных драгоценностей под предлогом помощи голодающим. Конечно, помощь эта — тоже ложь, и Калинин весьма откровенно заявил делегации от прихода, просящей у него позволения взамен ценностей самим кормить голодающих:

— Убирайтесь к чёрту!.. Нам золото нужно, понимаете?!

Красноармейцы и чекисты стали лазить сапогами по престолам, сдирая веками копленное серебро, золото, самоцветы. Поднялись волнения. Патриарх протестовал. В Москве расстреляли 6 священников, после Шемякина суда, и среди духовенства нашлось двое епископов — Леонтий и Антонин, которые приступили к Патриарху с обвинениями его в гибели расстрелянных священников и добились того, что он в настоящее время заточён, а они образовали церковный совет. Таким образом, большевистскою властью низложен Патриарх.

Эти два отступника-епископа в скором времени собираются собрать церковный собор в Москве, который окончательно решит, что патриаршеству не быть, и проведёт целый ряд реформ в церкви. Какие это реформы — смотри вчерашний номер «Вечерней Газеты».

Надо отметить, что Антонин — неверующий, скептик, атеист, а Леонтий — немец по происхождению, известный своею легкомысленной жизнью.

Но, конечно, нельзя предположить, что Советской власти нужно непременно главенство двух продавшихся епископов. Ей все средства хороши, и вот на Россию двинулась другая противоправославная рать — отцы иезуиты.

Это результат генуэзской конференции, где большевистские главари, не верящие ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай, договорились, сидя на обеде с кардиналом Генуэзским, а через него и с Папой, о проникновении в Россию воинствующего католицизма.

Возрождается католицизм, намечается уния. И так как дело идёт на основании продовольственной помощи, то, конечно, успех проповеди через желудок обеспечен.

Сравните теперь положение русской Церкви в окраинных государствах, где православные церкви переделаны в костёлы, положение в Москве, положение на востоке европейской и азиатской России, где против неё покамест выступают только невежественные убийцы-комиссары, — и вы увидите: против цитадели русского духа — Церкви, об участи которой мало как-то

беспокоилось зарубежное эмигрантское русское общество, полагая, что Церковь — скала Петрова и силы адовы не одолеют её, воздвигнут поход со всех сторон, хитрый, осторожный и точный.

И последние сообщения говорят нам, что его организатор — еврей Троцкий.

Социализм, таким образом, потерял свою наивную личину профана в делах духовных и приобрёл другую — поход против русского духа вообще.

Вечерняя газета. 1922. 9 августа.

Больной Ленин

Хотя поступали разноречивые слухи о болезни Ленина, но само обилие таковых показывает уже, что они принадлежат не только какому-нибудь единичному благодарному россиянину, страстно желающему, чтобы красный владыка поскорей отправился в страну отцов, а и имеют под собою реальные основания.

Итак, Ленин умирает. Конечно, смерть его у нас не вызовет ни малейшего сожаления. Но личность он — безусловно, гениальная. Устроить таковую заваруху на Руси, предать многие миллионы русских людей смерти через пули накакоиненного чекиста, или через голод, или через гражданские войны — это стоит многого. А разорение России? Всякий средней руки человечек, не мудрствующий лукаво, дорожит своим уютом, гордится тем, что у него есть самовар и три подушки на кровати, пара праздничных штанов. Ленин распорядился так, что этих скромных предметов, предметов обихода и мелкобуржуазной гордости нет почти по всей России…

Откройте любой учебник, и вы там увидите, что Россия — страна земледельческая, что русским сахаром кормили английских свиней. Надо быть гениальным человеком, чтобы ухитриться сделать так, что не только английским свиньям ничего не достанется из этого сахара, а и русским-то людям ничего не придётся!

Гениальность колоссальная! Кто из властителей делал у себя в стране фабрику чужих бумажных денег? Ленин! Кто ухитрился для «валюты» спустить за границу золотые уборы и бриллианты со чтимых икон? Ленин! Кто продал дивные ковры мусульманских мечетей? Ленин! Кто нарушал договоры, жёг чучела Ллойд Джорджа и в то же время вёл с ним переговоры о торговле? Ленин! Чьему государственному обещанию о

возвращении долгов не верит ни один парижский гамен, ни одна европейская собака? Ленин!

Изумительная, гениальная личность! И ведь всё это делается для блага народа, для торжества социализма, усовершенствованного, научного…

Ленин перейдёт в историю? О, конечно. Героем? Ах, ни в коем случае!

Помнится, есть такая картина. «Победители» называется она. Александр Великий, Наполеон, Цезарь, медленно ступая на тяжёлых конях, едут вдоль улицы трупов. Наги эти трупы и лежат бесконечными рядами, но во всей картине есть какая-то мрачная торжественность…

Ленина тоже можно пустить вдоль такой улицы трупов, но никакой торжественности не будет. Дело в том, как убивать.

Социалист Ленин набил много, столько, что и Наполеону, может быть, не угнаться. Но можно ли, господа, убивать так неблаголепно, как убивал Ленин?! Выматывая кишки, прибитые гвоздём к телеграфному столбу. Выстрелом из нагана в затылок над чашкой ватерклозета. Скашивая тысячи из пулемёта под тарахтенье холостого хода автомобиля-грузовика…

И лошадь надо было бы дать Ленину другую. Маленькую, некормленую, извозчичью клячу. И на неё водрузить маленькую, лысую, толстенькую фигурку с улыбающимся мёртвой усмешкой лицом, в пиджаке, купленном в магазине готового платья.

Это не Наполеон! Это Смердяков, пролезший путём неисполнимых обещаний в Наполеоны! «Мы все глядим в Наполеоны», — сказал Пушкин, и вот вам воплощённая пошлость, социализм в качестве Наполеона.

Ленин — гениальный человек, да. Мало того! Он гениальный мошенник, король воров, вне конкуренции быстроты и ловкости рук.

Теперь он умирает. Повторяю, мы не будем тосковать о нём. Ведь и так — он мёртв, как мертво всякое зло. Что же касается того, что с ним будет после смерти, — процитируем слова Тютчева:

Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена —
И ваша память от потомства,
Как труп в земле, схоронена…

Вечерняя газета. 1922. 17 августа.

Сазоновские идейки

Встречаются идейки,
Случаются умы…
Невредные статейки
Почитываем мы…

Кажется, из Некрасова. Как понедельничное похмелье, на владивостокцев надвигается каждый понедельник с послепраздничной неумолимостью ещё одна оскомина: сазоновские «Последние Известия», а в них и сазоновские же писания!

Ужасные вещи!

Сегодня вы разворачиваете эти самые «Известия», и вот ваш взор пленяет статья маститого некоего А. С. «Через Свободную Сибирь к возрождению Великой России».

Программная статья, так сказать. И интересно посмотреть на ней, как один из видных столпов нашей общественности смотрит на такой кардинальный вопрос, как возрождение России.

А посмотрев — «есть от чего в отчаяние прийти»! По первому же абцугу государственный ум г-на А. С. кроет следующим образом: «Централизация России в течение тысячелетнего существования нашего никаких положительных результатов не дала».

Вот, покорнейше благодарим! Значит, собрание Руси для мудрого А. С. — это никаких положительных результатов?! Значит, то обстоятельство, что одна шестая часть суши принадлежала России, — это се сон-де, пустячки для мудрого кооператора?! Эй, централизатор Ермак, слышишь ли? Твоё завоевание под ноги белого царя Сибири, давшее возможность там насадить маслодельную кооперацию — Крестьянский союз и прочие полезные вещи, — пустяки для решительного А. С.! Неблагодарное же А. С.!

А почему же вся эта штука ничего не стоит? А потому что надо было предоставить областям начала самой широкой автономии, на началах федеративных, вроде Америки, или вроде Англии (?!). Ей-богу, не знаю, где у Англии федерация!

Собственно, идейка-то проста и не стоит выеденного яйца. Она проста и скучна даже, как товар в кооперативной лавке. В чём она состоит? А в том, что, так как у нас в России правительства покуда никакого нет, то, ребята, организуйтесь, кто как может, по территориальным признакам или как ещё. Вот и всё!

Рассказывал мне один офицер, бродил он в 18-м году по Украине, силясь пробраться на дорогую Родину, в Россию. Его не спрашивали офицеры-попутчики, кто он, а просто приглашали к себе:

— Винтовка есть? Идите к нам и отстреливайтесь от всех… Так, может быть, и пройдём!..

Ничего нет удивительного, что в головах А. С. и прочих ординарных головах появилась тонкая идейка отстреливания и сколачивания хоть тени какого-нибудь порядка… Мы бы готовы приветствовать её, если бы, однако, эта идейка не становилась чем-то вроде мании величия и позволяла носителю её плевать на всё с её величия.

А грошовая идейка сибирского областничества именно такова. Областник — не простой человек, а в дни торжеств народных собраний он считает своим нелепым долгом вывесить бело-зелёный флаг. И в этом-то наскоке со стороны областничества и лежит его соль. Ведь на кого оно действует раздражающе? Не на людей, которые понимают, что проклятые дороги русской революции привели Россию к лебеде вместо хлеба, к теории отстреливания вместо государственности. Да организуйтесь, как хотите, только, ради Бога, организуйтесь, кончайте этот страшный русский хаос! Но нет!

Идейка эта замечательна тем, что она носит на себе отпечаток эсеровски-народнических тенденций и направлена, как красный плащ матадора, к вящему раздражению тех, кто ещё продолжает считать, что ничего, собственно, и не произошло, и меньше чем на единой, великой России, имеющей воспрянуть как-то сама собой, ни за что не хочет примириться…

Спор между областниками и их противниками — это не спор между реальными политиками после революционного момента, нет, это принципиальный спор между двумя благодушными российскими интеллигентами.

И смотрите, куда залезают областники в этом споре!

Оказывается, освободить Россию всю «сразу немыслимо». Верно, Господи, верно! Нужно начинать с окраины. Ведь если хлеб резать, то и то с середины никак нельзя начать. Так начинайте, откуда хотите, — на всё согласны. Но милые буквы А. С. подводят этому тезису теоретическое обоснование: «В Сибири народ очень хороший, он ещё не потерял человеческого облика и любви к свободе… Что же касается России, то там вконец деморализованный человек-раб…».

Вот тут мы должны сказать скользкому борзописцу: «Стой, брат, врёшь!». Правда, у вас в Сибири есть такой молодец, вроде кооператора Сазонова, который вещал адмиралу Колчаку, что вы-

де — российский Вашингтон, но всё население Сибири поднялось против этого Вашингтона и добилось того, что честный солдат — адмирал погиб в Иркутске… Теперь эти доблестные люди — сибиряки голодают точно так же, как и, беспечно, россияне, жрут друг друга, если только они не «работают» в капелле Славянского. И потом, если говорить об обовшивевших рабах — сибиряках или русских — всё равно, то они должны земно поклониться за таковое блестящее состояние своё социалистам всех мастей, к которым принадлежит и дед Сазонов, когда-то брехавший про Вашингтона.

Кооперация — социалистична, никому не секрет. Социалисты погубили Россию, и нечего делать гримаску и «сибирский народ» отличать от народа российского. Ваша вина, господа Сазоновы и прочая интеллигенция из «Последних Известий».

Итак, Сибирь будет освобождать Россию. Не оружием, а «экономически». Куском хлеба, аршином мануфактуры. Прекрасные слова!

Итак, Россия, ты пока что голодай, а когда Сибирь построит фабрики, заведёт сельскохозяйственные экономии, тогда она освободит…

Приходится вспомнить старую поговорку о солнце и о росе. А кроме того, что сие значит? Процветай, Сибирь, учреждай Крестьянские союзы, торгуй, приторговывай, а потом и до Москвы доберёмся…

Таковы посылки, а вот каковы выводы: «Как ни жестоко, но мы должны поставить над европейской Россией крест».

Ей-богу, так и написано это А. С.!

Великолепный образец есть у французского публициста Пьера де Сен Виктора в статье, посвящённой коммуне 78-го года: «Насекомое обмакнуло лапу в чернила и похерило Бога…».

Насекомое со страниц областнической газетки обмакнуло лапу в чернила и похерило Москву!

Вот в чём, друзья мои, причина раздражения против сибиряков, а не в том, что они питают верную маленькую идейку — освобождать по частям.

Просто досадно, сколько осложняющих, побочных старых мыслей осаждается, остаётся на верных, в сущности, принципах. Дебатировать их? Не стоит! Нет! Мы только можем хладнокровно взглянуть на эту областническую возню и сказать:

— Как мало смыслят в политических вещах эти господа! Кроме сумбура, ничего не смогут они ввести в русское дело! А потому, мимо их!

К тому же, в их руках была Сибирь в 19-м году! А что они сделали?!

Срам!

Вечерняя газета. 1922. 21 августа.

Объединение

Какое-то заколдованное слово! Об объединении плачем мы, русские, со времени русской революции. Правда, для наших неудач склонны мы находить много причин, но те, кто на наше дело смотрит со стороны, констатируют ясно и просто:

— Белые русские не умеют организоваться!

Таков, например, вывод любопытной, только что вышедшей книги германского офицера барона фон Плото, бывшего всё время войны в России:

— Белые не умеют организоваться — вот в чём причина!

В самом деле. Кольцо белых, численностью, эдак, миллиона в два-три, охватывает Советскую Россию. Я не говорю о том, что ежели бы эти белые двинулись потоком на Совроссию, вернее на Голроссию, то от красных не осталось бы и следа.

Нет, так далеко мы не берём. Но вот в чём даже не проявляется никакой инициативы. Нет даже и связи между собой там, где она должна была быть. Каждая организация действует на свой страх и риск и не столько проводит исполнение какого-нибудь общего плана, а старается изобрести свой собственный, новый…

Это в полной мере относится к закрывшемуся Земскому Собору. На нём не было даже мало-мальски систематизированного доклада о положении белого кольца. Опубликованная сегодня телеграмма на имя болгарского министра-президента Стамболийского явилась запоздалым маленьким отзвуком того, что давно следовало бы сделать в более широком масштабе.

В самом деле. Каковы дела у генерала Врангеля? Неизвестно! Был ли доклад о монархическом движении, не о «тезисах», нет, а о плане выполнения этих тезисов? Нет! А между тем и Рейхенгалль, и Карловицы нельзя обойти молчанием! Имеются ли какие-нибудь указания на материальные ресурсы? Нет! Имеются ли сведения о том, как относятся державы к проведению этих планов? Никаких!

На Запад едет делегация. Это — первая ласточка, которую надо приветствовать, потому что нельзя же ставить на счёт поездку генерала Лохвицкого с его знаменитыми интервью. Лучше поздно, чем никогда. И первое требование, которое мы должны предъявить этой делегации, — это уехать как можно

скорей. Время дорого.

Так дела обстоят на далёком Западе. Точно так же дела обстоят и на Востоке. Мы, например, решительно не знаем, что делает атаман Семёнов, который, несомненно, что-то затевает, предпринимает и обладает известными возможностями. Далее, несомненно, надо отметить, что харбинская общественность вовсе не сполна представлена была теми организациями, которые участвовали в Соборе, и настроения некоторых кругов не совпадают с настроениями гондаттиевских групп. Семёнов, далее, стоит в связи с бело-зелёным сибирским областничеством, отдающим социалистичностью, и разве нельзя предположить, что его действия производят некоторое воздействие на казачество?

Пока мы не выходим из области деклараций и планов, все возможности противодействий и замешательств — мертвы. Но конкретизация, хотя бы частичная, этих планов или параллельных, опять создаст ту оскомину, которая происходит от недоговорённости.

Видя это, стоя на распутье пред Национальным или Несоциалистическим съездом, надо думать напряжённо и страстно одно:

— Как уничтожить те экстра-токи, которые порождаются одним основным верным током и в то же время так ему мешают?!

Объединение, объединение — не в смысле программ, не в смысле генерализации мнений, а в смысле оперативном.

Вечерняя газета. 1922. 23 августа.

Погром, разгул и революция

Мой приятель, много живший в России и много видевший, вместе с тем не потерявший способности тонко наблюдать и тонко передавать виденное, говорил мне:

— Видишь автомобиль? Так вот, у нас на митинге в Ново-Николаевске один товарищ говорил так: «Товарищи, лошадей при советской власти не будет, все будете ездить на автомобилях!».

Что означает это? Это означает то, что русская революция есть не только переворот, а ещё и специальный, чисто русский разгул.

В Благовещенске, рассказывали мне бывалые люди, есть особая порода золотоискателей. Месяцами, годами сидит такой человек в тайге, роет золото, а как вырвался — плисовые штаны, красная рубаха. Материями от магазина в магазин устилается грязь, чтобы не попачкать новых сапог, и отрезы шёлковой материи летят в толпу, дерущуюся за целой вереницей

извозчиков, на одном из которых едет загулявший, а остальные только эскортируют пьяную, пышную личность…

Ход русской революции совсем не таков, как, положим, французской, хотя некоторые досужие умы и любят заниматься их сравнением. Католицизм, патриотизм, латинское воспитание цепко держало толпу в своих оковах. Там не было этого скифского, разнузданного разгула.

Как представлял себе жизнь ненавистного буржуя наш пролетарий? Как роскошную, полную наслаждений жизнь. Кинематограф, показывающий целым миллионам жителей России эту роскошную жизнь с кофе в постелях, с бесшумными лимузинами, с чековыми книжками, от которых распахиваются тяжёлые двери касс банков, дамы в белых платьях — вот тот образец, который разжигал воображение масс. Пролетарий, то есть простые русские люди, всенепременно хотели жить на широкую ногу. Все хотели быть царями, капиталистами, офицерами, ездить в автомобилях, ласкать красивых женщин.

Они справляют пир бесовский,
В крови лаская красных дам,
И заключают в Брест-Литовске
Похабный мир на страх врагам.
Оркестр неистовствует бальный,
Шампанскому потерян счёт,
И дремлет в полутёмной спальной
Тряпьём прикрытый пулемёт…

Что такое революция в России?

Революция в России вытекла из желания пожить на широкую ногу. И вот, объедаясь в 1917 г. свободами, восьмичасовым рабочим днём, свободною любовью и танцульками, мы и пришли к тому, что все эти сокровища промотали.

Напрасно экономисты будут морщить многоумные лбы и доказывать всё законами чрезвычайно сложными. Всё очень просто. Революционный пролетариат прокатился на извозчике по всем городам Европы, разбрасывая материи и бриллианты, чего не очень хотели поднимать дисциплинированные европейцы, хотел было разнести несколько домов терпимости, чтобы оттуда освободить «жертв общественного неравенства», произвести несколько пьяных погромов — но это ему, увы, сделать не дали.

Вывод ясен. Денежки профуканы, и придётся на многие годы лезть в тайгу. Там и работа, там и накопление, там и покаяние, как и помните у лесковского купца:

— Ты бо еси один свят, а мы все — черти окаянные.

Какой же вывод из всего этого? А вот какой. Как ошибаются те, которые говорят, что русский народ, творец революции, показал небывалые высоты социального строительства, так ошибаются и те, которые говорят, что в своей контрреволюции русский народ покажет величие своего богоискательства.

Ни того, ни другого. И тот и этот пафос чужд хитрой, молчаливой усмешке русского мужика. Русский барин с большей остраткой будет смотреть на русский народ, нежели прежде смотрел он из своего прекрасного далёкого. Русский народ даст по шее эсеру, бубнящему об отобрании земли от помещика и, как с писаной торбой, носящегося с фразой — и курёнка некуда выпустить… И будут работать.

А про прошлое?

А помните, у Толстого? Только что был бунт. Главному зачинщику дали в морду, и всё успокоилось. И внося тяжкие книги, болконские мужики, помигивая, говорили:

— Да, писали, не гуляли…

И только. Да, только.

Вечерняя газета. 1922. 30 августа.

Пилатствующие эсеры

И много Понтийских Пилатов,
И много лукавых Иуд
Христа своего распинают,
Христа своего продают.

В «Далькрайземгоре» вчера купил издание «Чека». Отличная книга, чёрная, с красными буквами: Че-Ка.

Это страшный мартиролог, это безумные страницы, на которых рука кротких палачей и накокаиненных садистов ставила свой кровавый росчерк.

Убийства, тайные пороки
Вписали когтем, хохоча,
Незабываемые строки
Для развлеченья палача…

Вот картинка, полюбуйтесь:

— Когда меня привели в подвал, то помощник начальника станции лежал уже мёртвый в луже крови. Палач Панкратов сидел в углу на скамье с кольтом в руках. Я подошёл к нему

вплотную, и он мне что-то сказал. Но что именно — я не помню. Потом велел раздеваться.

Я снял шинель, сапоги и начал было разматывать подмокшие от крови портянки, как вдруг увидал вбежавшего красноармейца, который сунул Панкратову какую-то бумажку и приказал приостановить расстрел. При этом, увидав на полу труп железнодорожника, сказал: «А одного успел-таки отправить на тот свет…».

Прекрасная картинка! Наглядная картинка того, как социалисты расправляются с русским народом. В Социалистической Советской Республике!

Но позвольте, скажут мне, ведь книга-то эсеровская? Ведь они изобличают большевиков? Причем же тут социалисты?

Это ничего не значит! Пусть даже сам Чернов написал громовое предисловие к этой книжке. Всё равно, виноваты социалисты, даже те, которые писали эту книжку.

Заключали они союз с большевиками? — Заключали! Шли против народа? — Шли! Монархию сбрасывали? — Сбрасывали! Помещичьи гнёзда жгли? — Жгли!

В чём же дело? И ведь представьте себе! В этой книжке нет никакого общего возмущения по поводу того, что вот-де так убивают людей. Нет! Главное возмущение состоит в том, что учат социалистов! Муками эсеров наполнены страницы её. Героические ответы следователям, «жандармы», признание в «социалистическом образе мышления» так и пестрят повсюду. Грациозные позы мученика за социализм.

Эсеры, оправдываются они в этой книжке, очевидно, подготовляют для себя права легализации на то время, когда, наконец, русский народ выгонит большевиков. Но мы всё равно скажем этим эсерским Пилатам, лицемерно теперь умывающим окровавленные террористические руки:

— Не отопрёшься! Ты этого хотел, Жорж Данден!

Вечерняя газета. 1922. 31 августа.

Мисс Гаррисон

Вчера беседовал с мисс Гаррисон — корреспондент многих американских газет. Эта самая мисс Гаррисон, которая сидела в московской Чека около 10 месяцев и только по многим заявлениям и уговорам американского правительства была освобождена.

Мисс Гаррисон — типичная корреспондентка. Она, по её словам, за четыре последние года видала решительно всех

знаменитых людей мира сего. Она была на Версальской конференции, была в Германии во время подписания мира, три месяца жила в Польше, сам Ленин, Троцкий, Иоффе и пр. принимали её в московском дворце. Её корреспонденции обходят европейские и американские газеты, и именно беседуя с ней, я так и увидал воочию того самого иностранца, которого часто представлял, читая заграничные рассуждения о России.

Крылов, говорят, питал к пожарам особую нежность, такую же нежность к русскому пожару питают и иностранцы. С удобствами, с консервами, в удобных вагонах, спальных вагонах, приезжают они посмотреть, как совершается революция на Руси.

Должно быть, у мира притупились нервы, и для наполнения смысла жизни нужно что-нибудь грандиозное, обстановочное, чисто американское по размаху.

Таковое зрелище и представляет русская революция. По нашему былому прекрасному, но разорённому русским погромом дому бродят какие-то туристы, осматривают, ахают и даже не прочь помочь, но так, без интервенции.

Мисс Гаррисон в беседах своих обнаруживает массу этого чисто иностранного непонимания:

— Позвольте, — говорит она, — крестьянство, прежде всего, хочет, чтобы его не трогали, затем оно хочет демократической формы правления.

Оказывается, что крестьянство, таким образом, вполне политически зрело, чего нельзя сказать про русскую интеллигенцию, т. к. наша журналистка обнаружила, что у русских — сколько людей, столько и мнений.

Крестьянство это ничего не говорило с милой американкой про царя. Отсюда американка наша заключает, что русским царя не надо, что, в свою очередь, вдохновляет её на указание об этом обстоятельстве Правителю.

Она решает, что всё должно быть после революции по-новому. Старое должно быть забыто, потому что старое — умерло. И смущается на предложение выкинуть останки Георга Вашингтона в море, отменить праздник 4 июля и вообще начать новую американскую жизнь без всяких глупых исторических традиций.

Движимая всем этим материалом, она даёт советы. Первый её совет — это примирение с Читой. Чита в её понимании представляется каким-то сосудом истинного демократизма. Оказывается, надо установить договорами границы, — и страшно изумлена, слыша заявление, что это невозможно, потому что какие же договора с мошенниками, потому что опыт гонготских договоров окончился крестным исходом армии из Забайкалья.

И так всюду, с ясными, честными глазами она открывает подобные америки. Она глубоко убеждена, что и лучшие русские люди думают точно так же. На вопрос, кто же эти мудрые политики, оказываются все знакомые лица: генерал Болдырев, Широкогоров и проч. А-а!! Всё ясно!

Она убеждена, что всё идёт отлично, что уже разрешена частная торговля, что право собственности, про которое так красноречиво писал Хувер, — будет. Она заражена какой-то покорностью и восхищена тем, что большевики отказываются от своих зверских насилий и глупостей. На вопрос, ну, а если бы в Америке какие-нибудь умники забрали бы себе право собственности, то как бы на это реагировал американский народ, она отвечает с жаром:

— О, в Америке это невозможно! — Гражданская война…

Но гражданская война в России — по её мнению, безумие. Надо работать.

С таким сумбуром мнений и явится мисс Гаррисон в Америку. Она была в Хабаровске, теперь поехала к Чжан-Цзо-Лину, потом двинется в Читу. И обо всём этом и будет написано, с помпой, по-американски, но с тем нюансом, которым отличаются написанные нерусскими романы из русской жизни.

И вместе с тем, что влечёт эти сантиментальные души в Россию? Что нужно этим примитивным путешественникам у нас? Или чувствуют они некое дыхание Нового Сиона, землю новую и новые небеса, которых не видать у них из-за грохота машин и дыма фабричных труб?

Может быть! Подобно нашим танцам, искусству, вынесем мы, русские, миру и наш род государственности. И поэтому нам должно быть всё равно, что пишут в своих «Таймсах» и «Магазинах» белокурые, большеглазые американские корреспондентки. Мы сами себя не понимаем. Где ж им понять нас?

Вечерняя газета. 1922. 6 сентября.

Советская дипломатия

Чичерин, как известно, заседая во дворце св. Георга в Генуе, носил изящный смокинг. Описание того, как спутницы и спутники Иоффе покупали себе платья в Харбине, обошло все газеты. И вот, когда вспомнишь это, когда вспомнишь, что Устряловы и прочие сменовеховцы украшают педикюром и маникюром грязные лапы советских деятелей, под ногтями которых скипелась заскорузлая человечья кровь, то так и

вспоминается крылатое слово М. Горького в его «Городке Окурове», этом символе уездной России:

— Что такое Москва? Вот, к примеру, на тебе штаны латаные, рубаху года два не мыл, сам грязный, растрёпанный. А на голову тебе, к примеру, надели шапку хорошую, бобровую. Вот тебе и Москва!..

Советская дипломатия за границей — это дорогая бобровая шапка на просунутой в чужую дверь нечёсаной, обовшивевшей голове. Сзади, почтительно изгибаясь, тянется грязное, в коростах тело, а голова ведёт «переговоры»:

— Не угодно ли того? Не угодно ли этого? А то, знаете, мы вопрёмся к вам не только одной головой в приличной бобровой шапке, а всем грязным туловищем. Хлопот наделаем. Ей-богу-с…

Шапки бывают разные. Вот у Иоффе в качестве таковой приехал профессор-синолог Иванов. Отличный бобёр, старорежимный…

Удивительнее всего то, что, например те же англичане, которые на порог бы к себе не пустили такого господина, тем не менее ведут «переговоры», находятся в деловых сношениях. «Покупают» многокаратные бриллианты. Казалось бы, всего естественнее такого господина предоставить в участок:

— Спросите, откуда в этой окровавленной лапе этот чудесный солитер?

— Позвольте, — хрипит голос из-под шапки, — как у нас социалистическая революция, то собственности нету, всё народное… А я уполномоченный.

И только одни практичные янки поступили как честные люди. Они поинтересовались не только бобровой шапкой и грязным кулаком с зажатыми граблеными ценностями. Они посмотрели и оборотную сторону медали. В их «Арах» и продовольственных организациях они увидали такую картину, что на все предложения голого субъекта в бобровой шапке вступить в переговоры отвечают:

— Что вы? Ведь вы же разбойник!!!

Вот почему Ару[20] и выгнали из России. Мешает дипломатам. Марку портит.

Теперь бобровые шапки переехали в Чань-Чунь. Они кроют хилые еврейские тела Иоффе и Янсона, и из-под них несётся лихорадочная скороговорка:

— Что вы хотите покупать от нас? Мы представители русского народа.

А русский народ пока что величаво почёсывается и только этим и проявляет жизнь при созерцании клоунады советской дипломатии. Но неужели Япония поверит этим прохвостам?

Вечерняя газета. 1922. 9 сентября.

Отъезд С. Д. Меркулова

Сегодня уезжает за границу председатель бывшего временного Приамурского правительства С. Д. Меркулов.

Он едет туда, где кипит эмигрантская жизнь, но в качестве ли эмигранта едет он туда?

Нет! Прошло то время, когда мы все были убеждены, что нас могут учить и наставлять все старые боги нашей общественности. С крахом монархизма, с развалом всех тех устоев, на которых держалось русское общество до страшной поры и тяжёлого времени, крахнула и наша российская общественность.

Страстно домогавшаяся, в лице той же адвокатуры, вооружённой страстным желанием «законности», — домогавшаяся власти и возможности влиять и на ход государственной жизни, наконец получила она эту возможность вместе с Временным Всероссийским правительством. Это первое послереволюционное правительство наше было правительством русской общественности. И как таковое, оно проявило все свойственные ей качества.

Как только против него начались оголтелые выпады социалистов, преступников и прочей мрази, Временное правительство стало потакать им. Оно «парламентарно» уступило «воле» народа, состоявшего на ту пору сплошь из политических жуликов. Родилось «коалиционное» министерство. Судьба его известна.

И вот вся Европа переполнена этими людьми, так бесславно, непрочно и неумело сдавшими власть в 1917 году. Вот вам дряблый князь Львов. Вот выживший из ума В. Н. Львов, обер-прокурор Священного Синода. Вот Милюков, таивший золотую мечту славянства о православной Айя-Софии и слагающий с себя звание вершителя этих дел и принимающийся за бесталанную интеллигентскую «Историю великой русской революции».

С их переменчивостью, с их перескакиванием с «ориентировки» на «ориентировку», они, конечно, не могут быть водителями русского народа. Ни воли к власти, ни вкуса к власти, а только бубнение «законов».

Среди массы тех правительств, которые породила русская революция, несомненно, временное Приамурское правительство было самым крепким, самым твёрдым и самым умелым. Председатель его С. Д. Меркулов умел править, но, наседая на общественное мнение, умел настойчиво проводить свою волю. Благодаря ему Приморье стало чем-то целым в сложных

перипетиях международной жизни Дальнего Востока, благодаря ему и его брату оно получило известную международную значимость.

Это подтверждают те японские документы, которые печатаются у нас. «Меркуловское» правительство являлось такой вещью, которую никак не скинешь со счетов.

Теперь С. Д. Меркулов едет за границу. Конечно, антураж, который будет его окружать, весьма слаб, но я уверен, что он приедет туда не для того чтобы учиться, как проваливается русское дело у многочисленных и постоянных ренегатов, почитателей «момента», а как то ядро, которое соберёт вокруг себя русские силы и сыграет на Западе крупную роль.

Пройдёт четыре-пять месяцев, и мы услышим про это.

Вечерняя газета. 1922. 13 сентября.

Социалистические тарантулы

Когда я читаю отчёты об эсеровском процессе в Москве — я не могу удержаться не то чтобы от чувства злорадства, а от некоего одобрения тому, что происходит. Так было, так будет — стучал железный маятник революции. Законы истории неизменны — напевали нам все социологи, и вот оправдалась ещё одна историческая Немезида:

— Сеявшие ветер — пожали бурю…

В Москве идёт процесс эсеров. Надо отдать справедливость большевикам, они умеют инсценировать исторические моменты. Они везут барона Унгерна в клетке, как древле возили Пугачёва. Это они наполняют железнодорожные мастерские в Омске, где судят колчаковских министров. И, наконец, эсеров они выводят на Красную площадь, которая заполняется толпой, взирающей на преступников, стоящих у окна.

Эсерам вынесены смертные приговоры — и если продолжать действовать в том же «национальном» вкусе, большевикам пришлось бы выводить эсеров на лобное место. По следам царя Петра — Ленин должен был бы изволить взять собственноручно топор…

Эсеры корчат из себя гонимых, и подобно тому как Бейлиса возили по Америкам и Европам напоказ как жертву русской царской жестокости, эсеры поднимают шум по всей Европе. Большевики — преступники!

Конечно, это хорошо. Даже эсеры во главе с Керенским и его «свободами», доведшие Россию до царства Ленина, даже они, всегдашние укрыватели социалистически накраденного, даже они

вопят, наконец, что большевики — прохвосты. Заявление, безусловно, компетентное.

Но вот дело в чём. Большевики, видите ли, попирают законы, заявляют эсеры. Они не считаются ни с какими свободами.

Но ведь, господа, на что же вы жалуетесь? А вы, социалисты-революционеры, — сами стояли за сохранение законов, что ли? А вы, грабившие, жёгшие, уничтожавшие дворянские гнёзда по всей необъятной России, вы — на какое законодательство сошлётесь?

Вы, исподволь, в течение десятилетий вашими толстыми журналами, вроде «Русского Богатства», растлевавшие в наивно-иронических статьях душу русского общества, — давно ли вы стали такими сторонниками охранимости законов?

Вы, бросившие лозунги в русскую крестьянскую массу о земле и прочем и увлёкшие её с собою в Учредительное собрание, — вы разве заботились о законности?

А вы и ваши Ропшины, взрывами бомб подтачивавшие устои русского общества и порядка, — вы тогда не заявляли ли, что «в борьбе обретёшь ты право своё»?

Теперь эти социалистические Грингмуты и Катковы начинают сетовать на то, что ученики превзошли своих учителей!

Эсеры и прочие либералы сеяли бурю — и пусть они пожинают её теперь. Теперь, когда гибнет столько истинных героев националистов, столько простой русской крови пролито руками преступников социалистов, право, не жалко проливающейся социалистической крови. То тарантулы поедают сами себя.

И вспоминаются стихи Тютчева на смерть декабристов:

Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена —
И ваша память от потомства,
Как труп в земле, схоронена!

Вечерняя газета. 1922. 15 сентября.

Монархизм

Пленительна грёза монархизма. Как никакая демократия в мире не может создать роскоши Версальских садов, или Царскосельского парка, или Московского Кремля, как всё вечное, прочное, освящённое божественным подъёмом относится к монархизму, точно так стоит в человеческом сознании и идея Царя.

Она, эта идея, велика как в утверждении её, так и в отрицании. В утверждении один человек, один Царь стоит как бы символом могущества целого народа. Поэтому он так неимоверно великолепен. Мне рассказывали, что когда один из уссурийских казаков приехал на коронацию в Москву и увидел нового императора, он остался сильно огорчённым. Как! К нему вышел небольшого роста блондин, а он представлял себе огромного роста блистающего человека с голосом, подобным трубе.

Вот почему и на египетских барельефах фараон всегда втрое-вчетверо выше своих подданных.

В отрицании Царь велик так же, если не больше. Отрицающие царскую власть так яростно настроены против меня, что ясно, что не с обыкновенным человеком имеют они дело. И я думаю, когда Янкель Юровский убивал нашего императора, он понимал это.

Но пленительность этой монархической грёзы — пленительность, которая теперь так господствует в наших сердцах, — это, увы, не всё. Как молитва, как высочайшая идея высоко стремится над хаосом повседневности, так и идея монархизма далека от действительности. И как не спастись, механически повторяя слова молитвы или крутя ручку буддийского молитвенного барабана, так не спастись только идеей монархизма от несущихся на Россию бедствий.

В самом деле. Разве у нас не было монархии несколько лет тому назад и разве это спасло Россию от революции? Надо, следовательно, чтобы идея имела реальное воплощение, жизнеспособное воплощение, и только тогда великолепие внешнее будет соответствовать великолепию внутреннему.

Мы хотим этого! А что говорит нам действительность?

Неизвестно. Мы, положа руку на сердце, должны сказать — не знаем, что будет впереди!

Мне рассказывал один человек, живший долго в Америке, что в 1880-х годах он встречал там южан, которых война лишила их рабов. Он говорил, что это были очень образованные, воспитанные люди, которые искренне возмущались тем, что у них отняли рабов, и утверждали, что так продолжаться не может. Старый порядок должен быть восстановлен.

Мы улыбаемся этим мыслям южан. А не будут ли наши потомки улыбаться мыслям идеологов нашего монархического движения? Не скажут ли они, что главным грехом того исторического порядка, который был до нашей революции, — были именно пережитки нашего крепостного права, и мечтать о монархии так, как мечтают они, значит незаметно для себя подмешать в неё эти губительные элементы.

Ведь если далее утверждать, что единственно исторической

формой правления русских была монархия, — то и это неточно. У нас в памяти живы блестящие государственные формы ганзейских наших городов — Пскова и Новгорода, да взаимоотношения князя и народа в старой Руси были чрезвычайно своеобразны и свободны.

Поэтому задача всех национально настроенных русских людей вовсе не состоит в том, чтобы утверждать в страстном волнении те формы, которые уже отошли. Тут всё несёт опасности — и страстность, и неправильные исторические обобщения.

Поэтому наши усилия должны быть направлены не на идеологию, а на конкретное строительство. Вот почему задача непосредственно несоциалистического движения — внести во взбаламученное море русской политики противосоциалистические основы гражданского правопорядка.

Мы против социализма. Говоря так, мы положительно утверждаем собственность, утверждаем свободы. А при свободах можно спокойно выковывать идеологические те или иные формы, которые подскажет историческая действительность.

Действовать иначе — не значит ли разжигать пламя гражданской войны, устраняя лозунг терпимости?

Итак, монархизм вдали. Вблизи же — гражданский правопорядок, устроение, улаживание.

Вечерняя газета. 1922. 25 сентября.

О жертвенности

Вот слово, которому суждено быть теперь на устах у всех!

О жертвенности говорят указы Правителя. О жертвенности говорило наше самоуправление. О жертвенности кричат газеты. О жертвенности приходится говорить и тем же домовладельцам.

Что означает слово «жертвенность»? Готовность пожертвовать всем, отдать всё самое последнее до нитки, до копейки, отдать из желания сделать доброе дело, исполнить долг и т. д.

При этом слово это имеет такой оттенок, что как будто чем жертвеннее поступок, тем больше должен он стоить жертвующему. Жертвенность, аскетизм, вериги…

И невольно вспоминается суровый ригорист Иммануил Кант, который любой поступок, совершённый не из чистого сознания долга, а с примесью некоторой доли удовольствия, как ни был бы он добродетелен, — осуждал и считал не нравственным, не моральным, а лишь легальным, т. е. позволенным.

Жертвенность, порыв к ней является, таким образом, чем-то

из ряду вон выходящим, необычным.

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружён, —

невольно вспоминается Пушкин.

И вот тут мы должны прямо и открыто поставить вопрос:

— Да можно ли вести строительство государства исключительно на жертвенности? Нет ли ещё чего-нибудь?

Порыв — хорошее слово и очень приятное в интеллигентском быту. Но порыв был на Великой войне с 1914 года. Порыв был в несчастной нашей революции. И наконец, девятый уже год народ должен жить порывами.

Правда — без взлёта, без орлиного размаха, без парения не обойтись. Но наряду с этим в общественное сознание должно прийти и другое — сознание выгоды, сознание невозможности быть и жить иначе, как того хотят «белые».

Русский народ много векую шатался, чего говорить! Ведь наряду с жертвенностью и порывом мы говорим, что «население-де России узнало, что такое большевики». Оно узнало и то, что именно тот революционный порыв, который объял в 1917 г. Россию, был ошибочен. И вот только теперь, после горького опыта, все мы видим, что «тихими шагами приближается истина».

Истина приближается. Народ прозревает. Народ видит истину ясную, как солнце, что с большевиками, коммунистами, изуверами мрачных религий, жить нельзя.

И в этом радость нашего утверждения:

— Встаёт утро!

Пусть и на этом ярком палевом, янтарном небе рассвета блестит несколько звёзд — жертвенности отдельных сильных, святых личностей.

Всё же за ними встаёт яркое солнце здравого смысла, спокойного отношения к действительности, залог жизни и радостного строительства народного.

Вечерняя газета. 1922. 30 сентября.

Отрывочные мысли

Россия окружена кольцом из беженцев. И среди этой толпы, выбитой из колеи, растерянной, разбитой, среди людей, потерявших всё прошлое и не имеющих никакого будущего, по

крайней мере, надежд на него, — всё-таки существует ещё странное отношение к России. Как дети на Рождестве, стоят они перед закрытыми для них дверями их Родины, стоят, вперивши взоры в эти закрытые двери, и почему-то верят, что вот они, двери эти, распахнутся и горячий, весёлый свет разукрашенного блистающего зелёного дерева хлынет на них.

Я недавно разговаривал с одной дамой такого приблизительно направления. И, Господи, откуда эта уверенность, что всё будет хорошо!

* * *

Есть другие. Помнится, когда-то видал в каком-то театре «драму по телефону». Действие, происходящее на сцене, сводится к тому, что герой у телефона переживает весь ужас, слыша из слов жены, как к ней ломятся убийцы. Он слышит её мольбы, глухой звук выстрела, треск дверей…

Вот тоже образ, характеризующий отношение другой части эмиграции к России. Мы за дверями слышим вопли, стоны, крики убиваемых, насилуемых, мольбы голодающих о хлебе, знаем, что там, за дверями, по телефону, умирает наша Мать-Россия, и всё же не можем ничего сделать.

Смерть там хозяйничает, и трудно туда заглянуть, чтобы самому не погибнуть от страха.

* * *

Наконец, есть третьи. Они бросаются на эти двери, ломятся в них, стараются их взломать, гибнут при этих попытках, удерживаемые другими, предаваемые другими, ошалевшими от страха…

Так однажды, когда во время одного железнодорожного крушения у нашего вагона оказались перекошенными и зажатыми двери, потому что он лежал на боку под откосом, и я хотел разбить окно, чтобы выйти, — то ко мне бросился один из пассажиров:

— Что вы делаете? Ведь холодно, на улице мороз!

И тут этот добрый человек думал о своих непосредственных удобствах.

* * *

Но как же будет?

Историческая мудрость учит нас тому, что такая феерическая пышность и острота моментов гораздо чаще заменяется незаметным переливом из одного в другой цвет. Праздничность революции должна давно уже угаснуть.

Так вот бравые кронштадтские матросы сносили, наконец, свои чёрные шинели и обратились в простых смертных…

Всё сотрётся, свиная кожа останется, как скрипит мудрая старая мебель у Андерсена.

Вечерняя газета. 1922. 4 октября.

Отравленные

Люди во Владивостоке ходят, как отравленные. Их отравляют слухи…

Господи, сколько этих слухов! И притом панических, от которых захватывает дыхание, начинают дрожать ноги…

Это слухи военные. Спасск оказывается уже взятым… Об этом рассказывают авторитетный японец и не менее осведомлённый англичанин… Красные идут уже к Никольску и желают отрезать железную дорогу у Гродекова…

Кому нужны эти слухи? Конечно, красным… И исходят они от них.

Но есть слухи и внутренние, так сказать… Шёпот ползёт из самого контрреволюционного нутра… Опорочиваются деятели, сеется взаимное недоверие между ними.

Так например есть во Владивостоке такой язык, который утверждает, что я — не Всеволод Иванов, а иудей Хаим Финк… Эсер и соглашатель!

Ну что с таким капустным кочаном поделать? А ведь этот кочан играет какую-то роль в национальных организациях…

Кому нужны такие деятели? Разумеется, только красным!

И так везде паутина болтовни, в которой, как муха, путается каждая бодрая мысль.

И только когда видишь людей с фронта, бодрых и весёлых, — как будто принимаешь противоядие от этого отравления…

А ведь средство от него есть. И оно только в одном.

Господа! Если вы хотите говорить, то говорите, но говорите о том, что вы знаете наверняка!

Не верьте никаким очевидцам. И помните, что несёте моральную ответственность за каждое слово, выбалтываемое в воздух.

Вечерняя газета. 1922. 10 октября.

Что мы теряем

Слухи, сведения, одни мрачнее других, настойчиво полнят атмосферу Владивостока. Что в них верно, что неверно, ничего, к сожалению, не разберёшь.

И к большому сожалению, хотя правая общественность и возглавила своим авторитетом последнюю эру государственности Приморья, она также мало знает и держится слухов, аки слепой стены.

Во всяком случае, перед Приморьем стоит суровая перспектива — быть захваченным красными. Перед ним горькая чаша, которую ему придётся испить.

Что ж! Быть может, и справедливо, что Приморье — далёкая колония, испытывает то, что и материнская великая страна. Что ж, может быть, так и нужно, что на окраинах, истончаясь, изойдёт гангрена революции.

Но занятие Приморья красными означало бы одно — перерыв той преемственности, с которой сознательным национальным русским обществом велась борьба против нелепой нашей революции.

Русская контрреволюция отнюдь не есть Вандея, желание во что бы то ни стало восстановить старое во всей его красе. Нельзя забывать, что русское общество было всегда прогрессивного образа мыслей. И если оно выступило против своей же революции, то именно против татарщины её.

Татарский социализм — крылатое слово Маркса брошено не зря. И боровшееся против него поголовно русское общество тем самым оправдывало русскую революцию, спасало положение, было теми Семью Праведниками, на которых держался мир.

Приморье, до июля текущего года, было примером того, как русское общество могло бы, признав март 1917 г., устроить свою гражданскую жизнь. Худо ли, хорошо ли — а могло сделать.

И вот последний клочок русской земли, ведомый русским обществом, — исчезает в кровавом красном море диктаторства интернационала.

Россия должна начинать всё сызнова, без традиций, без преемственности с прошлым…

И нам — опять рассеяние, опять диаспора, до тех пор, пока оттуда не свергнут будет Красный Лик.

Вечерняя газета. 1922. 16 октября.

ПУБЛИЦИСТИКА. 1928–1929

Град Китеж и Монт-Сальват

В марте месяце в Желсобе предполагается постановка оперы гениального русского композитора Римского-Корсакова — «Сказание о граде Китеже». Помещаемая ниже статья ставит своей целью ознакомить читателей с содержанием этого величайшего произведения русского оперного искусства.

И то и другое — спасение. И град Китеж, и Монт-Сальват (в «Парсифале»). Здесь — город, тын, укрепление. Там — гора, замок, бург. Тут оборона — князья. Там оборона — князья и герцоги. Но несмотря на эти сходства — сильно различны пути. Православный путь разнствует здесь от католического. Или русский — от татарского?

И то и то — явили широкой современной публике два гениальных композитора — Римский-Корсаков и Р. Вагнер. Современной публике нужна опера, нужно музыкальное оформление, чтобы заставить петь строки сказаний, которые раньше звучали достаточно просто в рыцарской обаде, песне менестреля или в сказывании сказателя под перебор гуслей!.. Публике современности нужно пение, как нужно заходящее солнце готическому собору, чтобы расцветить всеми цветами радуги его чудесные витражи, полные священных историй…

И есть ещё одно сокровенное качество у музыки. Мрачный философ Франкфурта-на-Майне — А. Шопенгауэр верил и учил, что истина вещей скрыта от рассудочного познания под неким покровом богини Майи, обманчивым и блестящим. Только в интуитивном, в «одним взмахом постигании» можем мы постигнуть суть вещей, и эта суть — есть *воля.* И это постижение — есть само искусство, а первое из искусств есть музыка, поскольку она воспроизводит волю саму по себе, без всякого образа.

И в этих двух опусах, в их музыкальном воплощении двух корифеев музыки мира — Римского-Корсакова и Вагнера — мы видим два типа воли — волю германскую и волю русскую. Воля германская — достижение, увенчанная борьба. Воля русская — тихая созерцательность «под точкой зрения вечности», в которой все земные вещи преходят, как дым, как воск от лица огня. И трубные волевые устремления Вагнера в русском творении Корсакова сменены церковными сладкими напевами; германская драма соответствует русской мистерии.

Но, несмотря на все разницы подхода к ним, — и Монт-

Сальват, и град Китеж охвачены общим золотым ореолом вечной божественности, которая струится по их горнему лику, как дым лампад пред ликом икон.

Есть Гора Спасения, замок, который высится в горах; прекрасно описывает его немецкая сага:

— Пред ним — Парсифалем — открылся лес, а там горы, и высоко над пропастями, скалами и верхушками зелёных дерев вознёсся в вечернем свете зари замок. Он был прекрасен и могуч, окна у него сияли, а у всех зубцов, на всех башнях стояла стража и зорко смотрела в вечереющую долину…

Рыцарь Парсифаль заехал туда и видел странные картины, когда печально пировали рыцари в огромном тихом покое. Сам король Амфортас лежал, умирающий, на ложе, и мимо него проносили в процессии окровавленное, кровью капающее копьё, на которое все рыцари смотрели сквозь слёзы… А после вышла из внутренних покоев молодая женщина, и в руках у неё сияла, подобно солнцу, Чаша, та самая, из которой Спаситель пил на Тайной Вечере, — св. Грааль…

Парсифаль, видя такую скорбь, постеснялся спросить, что такое происходит в этом замке, и утром рано выехал из него, никем не замеченный… Но как только он очутился за стенами, стража и пажи заняли сразу все стены и стали его бранить, называя его жестокосердным. Он *должен* был спросить, что с ними, *должен* был прийти им на *помощь*!.. Ведь Амфортас совершил грех, копьём ранив из-за любви к женщине соперника…

Лишь впоследствии Парсифаль, много изведавший, сердцем чистый простец, приходит снова к Монт-Сальвату и входит туда: он в состоянии вести *дело* Грааля, защищать правых и невинных, помогать угнетённым и творить добро…

— Когда Парсифаль скакал по широкой дороге к воротам замка, — гласит сказание, — радостно закричали все сторожа на зубцах и башнях, затрубили рога, открылись ворота, и через подъёмный мост навстречу рыцарю понеслась ликующая толпа рыцарей Грааля, с гербом в виде голубя на щитах и на доспехах.

— О господин! — кричали они, — ты несёшь спасение! Твоё имя сияет на Чаше св. Грааля… Бог снова возвращает Монт-Сальвату все его былые силы… И мы будем Ему служить вечно всей нашей силой… С нас снят грех, заклятье!

А в великом зале св. Грааль вынесла возлюбленная Парсифаля — Кондвирамур, и среди крика и ликования рыцарей, вернувшихся к жизни, умер, счастливо улыбаясь, король Амфортас: земля приняла его, простив грех!..

* * *

В противность этому католическому ощущению реальной жизни, которое мы видим в легенде о Монт-Сальвате, — иной совершенно мистикой пронизана легенда о граде Китеже. Православие родилось ведь не на равнинах Европы, прохладных и спокойных, оно пришло на Русь из пустынь Сирии, Палестины, Ликии, Капподокии и Египта. Православная мистика возникла там среди душных раскалённых песков, где страсть не представляется сладостной и прекрасной любовью, о которой можно петь миннезингерам, а наоборот, мучит тех, кем она овладела, мучит подобно дьяволу… Это не спокойное рыцарское отношение к женщине — нет, это сам раскалённый пылающий Восток. В одном рассуждении монаха мы читаем:

— В юности пылкость чувств моих была так велика, что даже в лесной тиши я был точно в кипящем котле и не чувствовал прохлады воздуха. Я избегал женщин, но достаточно мне было увидеть бутылку или погремушку из тыквы, чтобы представить себе женщину…

Поэтому — православие возглашает проклятие плоти, отвращение к видимому миру. Анахореты — Антоний, Павел, Симеон, Мария и другие занимают воображение всего народа. По всем пустыням — египетским, сирийским распространяется монашество. Вокруг столпа Симеона Столпника в V веке вырастает монастырь для паломников, с огромными гостиницами, домами, службами и, конечно, с храмами. А потом на этом святом месте выстроен целый город, по-теперешнему — Деир Семон. Историки нам сообщают, что в Египте пустынников больше, нежели жителей в египетских городах.

Как известно, эта монастырская аскетическая традиция усваивается и на Руси. Греческие выходцы сохраняют полностью, в некоторых случаях, отвращение от жизни и, на основании греческого навыка, ведут соответственную проповедь. Особливо трудно стало им с появлением на Руси монголов, которые чрезвычайно недружелюбно относились ко всякому фанатизму, не будучи фанатиками сами.

И нашествие монголов, жестоко-мучительный рост влияния Москвы — всё это, конечно, содействовало возникновению легенд о существовании невидимых градов, в которых хорошо и мирно живётся верующим православным. Мы наблюдаем аналогичное возникновение легенд о потонувших градах на низких и пологих берегах северной Франции — Бретани, где жителям чересчур досаждает своими набегами море, да и воины центра Европы не оставляли их в покое. Во всяком случае, русская легенда, приводимая у Мельникова-Печерского, выражает это утомление обстоятельствами жизни:

— И бысть попущением Божиим, грех наших ради, прииде нечестивый и безбожный царь Батый на Русь воевати… Благоверный князь Георгий, слышав сия, плакаше горьким плачем, помолися Господу и Пречистой Богородице, собра вой своя, поиде противу нечестивого царя Батыя… И бысть сеча велия… На утри же возста нечестивый царь и взя Малый Китеж… Егда же бысть нощь, изыде князь Георгий тайно из града Мала Китежа на озеро Светлый Яр, в Большой Китеж… И прийде царь Батый ко озеру, и Господь не допусти до взятия города и сделал Большой Китеж невидимым…

Вот легенда стиля совершенно противоположного, нежели деятельная легенда о Монт-Сальвате. Здесь Бог спасает верующих православных от мирской жизни, от её соблазнов, и недаром многие сотни восковых свечей светились, да и теперь светятся в тёплые летние ночи по берегам Светлого Яра в Керженских заволжских лесах, и не спит народ, напряжённо стараясь услыхать сладкий звон настоящего, живого, таинственного города святых.

И если опера «Парсифаль» у Вагнера построена на изображении этой устремлённой к последним вещам воле, у Римского-Корсакова мы видим как бы потустороннее изображение непреходящей, сияющей святой вечности. Русский максимализм выражен в ней вполне — чего там тратить время на достижение небесного дара земными путями, если его можно достигнуть сражу же, предавшись созерцанию, отвратившись от таких земных соблазнов и пустяков, как татарские войска Батыя.

В известном «Стихе об Иоасафе-царевиче» русский народ твёрдо выразил эту веру в преобладающее значение пустыни, в противность жития в миру:

Ох ты, матушка моя вторая,
Ты прекрасная пустыня!
Не стращай мя своим страхом,
Да не в радость будет врагом…
Я ищу того, желаю:
Мне-ка сладкая то пища —
Мне гнилая то колода…
Мне-ка питьё медвяное
И горькая вода болотная…
Мне-ка цветное платье —
И сия же чёрная схима…
Мне-ка царская палата —
Сия же малая хижа.

В полном соответствии с этим и видим мы в либретто

«Сказания о граде Китеже и Деве Февронии». Первое действие «Сказания» происходит в лесу, и вступлением в него служит симфоническая картина «Похвала пустыне». На сцене истопка малая древолаза (медосборца), дерева, поодаль гремучий ключ… Поют птицы, кукушка кукует. Среди этой мирной природы Феврония поёт похвалу пустыне, потом скликает лютых зверей:

Где же вы, дружки любезные,
Зверь рыскучий, птица вольная…
Ау! Ау!

К ней слетаются птицы, выходят звери. Она хлебом кормит медведя и сохатого. Таким образом, картина именно святой жизни, полной слитости с природой и Богом, как пишут на иконах.

Княжичу Всеволоду, поражённому красотой этой лесной девушки, Феврония отвечает на его вопрос — ходит ли она в церковь:

День и ночь у нас служба воскресная,
День и ночь темьяны да ладаны…
Днём сияет нам солнышко ясное,
Ночью звёзды, что свечки, затеплятся…
Птицы, звери, дыхание разное
Воспевают прекрасен Божий свет…

Таким образом, *пустыня* больше, чем церковь, — отречённость от этого мира достигает полного своего размера. Феврония, более того, убеждена, что жизнь её в природе и даст ей мистическую слиянность с Божеством:

— А и сбудется небывалое, —

поёт она, —

Красотою всё разукрасится,
Словно дивный сад, процветёт земля,
И распустятся крины райские,
Прилетят сюда птицы райские,
Птицы радости, птицы милости,
Воспоют на древах гласом ангельским.
А с небес святых звон малиновый…

Из-за облак несказанный свет…

Однако по ходу пьесы видно, что найти всё это на земле, хотя бы и в лесной пустыне, — невозможно. По земле ведь ходят «злы татаровья». И в то время как обручившуюся с княжичем Всеволодом деву Февронию привозят свадьбою в город Малый Китеж, в него врываются татары как символ земного разрушения:

— Лютой казнью мы на Русь пойдём, — поют они, —
Церкви Божии мы огнём спалим…

Пьяница и злобный шут Гришка Кутерьма ведёт их на Большой Китеж, и с ними идёт захваченная в плен дева Феврония.

В большом Китеже тревога, и в то время как Поярок, ослеплённый татарами, успевает пробраться туда и предуведомить князя, княжич Всеволод выводит войска против татар, чтобы пасть тем в губительной сече. Но Божье государство — град Божий недостижим: колокола сами начинают дивно гудеть на колокольнях, и золотой туман заволакивает Китеж, скрывая его от людских взоров. Во время битвы при Китеже он показывается уже стоящим в озере — зрелище, от которого в ужасе бегут татары.

Три дара принесла Феврония в эту жизнь, несмотря на насмешки раскаявшегося, в конце концов, Гришки Кутерьмы: кротость, добродетель, слёзы умиления — и вот почему и она, и Гришка, и княжич Всеволод — все входят в таинственный город несказанной радости — град Китеж, где звонят колокола и поют райские птицы — Сирин и Алконост.

Подобно 9-й бетховенской симфонии — опера кончается Гимном Радости.

— Радость! Радость!

* * *

Мы не будем останавливаться на исторических соображениях, которые можно было бы привести по поводу этого апокрифа; скажем только, что, конечно, «Сказание о граде Китеже» соответствует духу русского народа, его незлобивости и терпеливости, которая и может быть объяснена именно наличием веры в какую-то потустороннюю справедливость. Этим и объясняется тот особый повальный успех, которым

сопровождаются постановки «Сказания» в СССР в настоящее время — от действительности трудно ведь там дышать! Но заключим наши сравнения «Сказания о Китеже» со сказанием о Монт-Сальвате и о Граале.

И тут и там, следовательно, есть уверенность в существовании какой-то трансцендентальной, зарубежной нашей земной жизни справедливости. Да, есть, существуют и Китеж, и Гора Спасения. Но пути к ним разные.

У немцев — ведёт к ним *воля.* Простец Парсифаль, услыхав от матери, что Бог — сияющ, как солнце, нападает на рыцарей и разбивает их, потому что по их сверкающим латам он принимает их за Бога.

Поступив же к Нему на службу королём св. Грааля, он уверен, что будет служить Ему мечём, защищая угнетённых и бедных.

Наоборот, в «Сказании о граде Китеже» — Бог настолько всесилен, настолько всемогущ, что всё в Его руках. Он Сам может давать спасение, как милостыню. Он спасает Китеж без всякого усилия со стороны его защитников; а от них требуются только хорошие душевные качества:

— Лжа ведь сон-то, мы же правды ищем! — говорит княжич Всеволод в первом действии. Ищите правды, остальное приложится говорит нам мудрость в этом созерцании искусства. Ждите Чуда!

И конечно, здесь тот православный традиционализм, который, кажется, начинает избывать русский народ. Уже в необычном восхвалении монголов и дела монголов в современном евразийстве идёт признание некоторого земного элемента в наших делах: не Китеж, а созданная при помощи монголов Москва покончила с теми же татарами!

Но нас не может не пугать некоторое сходство, наблюдающееся нами в «Сказании», с историей падения Константинополя. Ведь когда в 1453 году турки (монголы) осаждали Константинополь и султан Магомет II готовился уже вскакать на своём окровавленном коне в св. Софию, — против турок дрался на стенах города только последний император Константин, да с ним отряд в 5000 человек, которым помогали 1000 рыцарей-генуэзцев. Остальное же население Константинополя, среди которого было до 100 000 способных носить оружие, пело молитвы, и то и дело к царю прибегали посланцы сообщить, что у храма Влахернской Божией Матери должен сейчас упасть с неба меч, который и поразит нечестивых!

Но этого не произошло. И осталось от этого сказание, что служивший в св. Софии обедню священник в момент занятия города — ушёл в стену со св. дарами и вернётся тогда, когда

восстановятся сроки.

* * *

И Византии нет.

— И спасут ли Русь безвольные молитвы? — спросим мы. — И не пора ли избрать к нашим градам Китежам волевую татарскую дорогу?

Гун-Бао. 1928. 15 января.

О фашистской государственности

Если отдельный человек — человек, то два, три или большее количество людей, спаянных между собой территорией, временем и историей, — явится ли только *суммой* этих отдельных особей или же представит из себя новый комплекс, привносящий некоторые новые качества, государственность?

Другими словами: государство — это только Ивановы, Петровы, Сидоровы — помноженные в своей количественности на миллионы, или же это Россия, Империя, СССР, как угодно, то есть нечто такое, что имеет свой рост, свои задачи, чему можно служить, во что можно верить, для блага чего можно умирать, то есть некоторая высшая ценность, хотя и не «реальная»?

Для одних государство — это просто форма общежития, в котором живут люди; нечто вроде «ночного сторожа» для охраны их покоя. Для других — это Молох пожирающий, грозный бог, требующий всего во имя целого и жизнь отдельного индивида охватывающий хотя незримыми, но железными цепями «прошлого», «традиций», «исторических задач» и т. д. Пусть себе представители ярого индивидуализма заявляют, что всё сущее — есть «собственность единственного»; приходят другие, которые властно возрождают старый закон:

«Salus publica — suprema lex!», то есть «Благо общественное — высший закон».

Последнюю формулировку резко поставил Муссолини своим фашизмом; социалисты всех стран ещё барахтаются в остатках старых, отрицающих государство теорий, но жестокая жизнь требует у них до того времени, покамест они смогут зажить анархически (какое счастье после стольких испытаний!), железной спаянности государства, хотя как бы и *переходного* момента.

Нас совершенно не интересует, что произойдёт потом с социалистическим государством СССР; ещё менее мы верим, что за ним придёт святая, золотая Анархия — всё-таки утопизм есть «у топос», то есть «нигде». Нас интересует другое именно обстоятельство, что Россия или СССР стал теперь для социалистов всех стран известной Меккой, куда они ходят поклоняться гробу и волоскам своего пророка, откуда они грозят священной войной всему миру под красным знаменем, возглашая то же самое:

— Благо СССР — есть высшее благо!

Коммунизм и фашизм — два мировых явления — стоят друг против друга, как высшее заострение принципа современной

государственности. Сталин и — Муссолини.

* * *

Пересмотрим же вкратце положения, характеризующие московскую государственность в её наличности, чтобы тем определённее представить себе её противоположность — фашизм.

Диктатура Москвы направлена на достижение идеала «научного» социализма, коммунизма в его марксистской форме.

Марксистский социализм-коммунизм, прежде всего, проповедует уничтожение всех прочих классов единственно ценным классом пролетариата; таким образом получается разрушительная, взаимоистребительная, праздная по существу война за власть пролетариата. В этой войне гибнут все исторические достижения русской нации, вся её экономика, и, в конце концов, дело доходит до голой земли и голых городов. Этот регресс преступно разорителен, ибо он, конечно, усиливает соседние нации, избегшие революции.

Невыгодность катастрофического марксистского метода действия видна и потому ещё, что в минуту гражданской войны и разрухи экономической марксистам, захватившим власть, приходится «перепрягаться на пароме» и наскоро учить в сокращённых, невежественных курсах политграмоты тому новому, к чему они стремятся и ради чего они заставляют народ приносить эти бесчисленные жертвы. А так как то, что люди видали — старое — всегда надёжнее, устойчивее «нового», то проповедь древней нации принимается народом легче проповеди будущих благ социализма в наличии войн, насилий и кровавой разрухи. Упорство народа порождает упорство фанатичных властей, и отсюда возникают те ужасы русского террора, которые всем известны и которые просто-напросто давно дискредитировали идею социализма и коммунизма. Никто не хочет есть будущего сладкого куска, если он вымазан человеческой кровью настоящего…

Вся эта разруха происходит только потому, что в социалистическом государстве благо исторически сложившейся наличной нации подменено благом искусственно понимаемого общества. Вместо того чтобы любовно и осторожно разобраться в различных нитях действительности, ткущих жизнь, коммунистические Александры неистово рубят Гордиевы узлы во всех направлениях своими мечами, не понимая, что из рубленых ниток не соткёшь одеяния народа…

Но как бы там ни было, в наличном коммунизме, в его

настоящей форме мы видим полный приоритет коммунистического государства, несмотря на жестокость его проявления в виде диктатуры.

Поистине, мы видим везде, что наши годы — годы диктатуры. Святая воля народная, о которой столько писалось, всё более и более становится бледным призраком, а Муссолини, Примо де Ривера, Пуанкаре, Сталин царят над народами и царят властью ещё более жестокой, нежели власть былых королей.

* * *

Что же такое фашизм?

Грубая ошибка думать, что фашизм — это что-нибудь новое. Грубая ошибка думать, что фашизмом в какой-либо степени снимается старое, как 100-свечная лампа «Сириус» делает ненужной дымную лучину. Фашизм, прежде всего, — консерватизм. Фашизм, прежде всего, есть историческая национальная государственность. Недаром Муссолини взял эмблемой фашизма древний образ ликтора, носителя государственной исполнительной власти, с топориком и со связкой прутьев, которыми он наказывает по мягким частям тела непокорных; Муссолини не взял этого символа — современного электрического стула: ведь в отечестве (патриа) есть действительно что-то патриархальное!

Муссолини хочет, чтобы современные итальянцы впрямь почувствовали себя подлинными латинами, обитателями древнего Лациума; фашисты систематически и широко организуют экскурсии в многочисленные исторические места Италии, чтобы заставить почувствовать итальянцев, что дух предков царит над ними, дух вечной тысячелетней нации, пред которой исчезает значительность каждого отдельного члена партии. В этих патриотических, исторических, национальных упражнениях — должно приобретаться чувство «величия нации», ради которого может проявиться право государства на насилие.

Имеет ли право государство теснить своих подданных?

— Нет! — кричало русское общество до революции. — Да, — ответила революция, — ради общества. — Да, — отвечает Муссолини, — ради нации! — и тем самым соглашается с русским старым богатырём мысли, забытым Константином Леонтьевым, который говорил:

— Без насилия нельзя! Неправда, что можно жить без насилия. Насилие не только побеждает, но и убеждает многих, когда за ним, за этим насилием, есть идея. В трудные и опасные

минуты исторической жизни общество всегда простирало руки не к ораторам или журналистам, не к педагогам или законникам, а к людям силы, людям, повелевать умеющим, принуждать дерзающим[21].

Муссолини умеет повелевать, он умеет заставить повиноваться ради той нации, образ которой исторически рисуется ему в образе самого Вечного Города, Рима. Он зажёг свой фашизм, прежде всего, на тех унижениях, которым подверглась национальная Италия во времена министерства Джиолитти, когда ветераны войны, итальянские солдаты и офицеры, вернувшиеся с победоносных фронтов против Германии, подвергались оскорблениям и насмешкам разнузданной толпы, когда с них срывали медали и отличия, когда чернь захватывала в качестве «бедноты» заводы и фабрики. Муссолини собрал в свои когорты всех, кто, в конце концов, составлял отбор — «элит» — нации, кто понимал, что нельзя давать торжествовать тем, кто идёт за Лениным.

Муссолини вышел из народа, он сын кузнеца, социалист, которого гнало раньше итальянское правительство. Что же его заставило выступить на защиту Рима, нации, религии и всего того, что является ценностями человеческого духа?

Ленин! Вот кто повернул направление ума Муссолини, и повернул его тем делом, которое совершилось в России. Дело Ленина, как пишет сам Муссолини, наполнило его ужасом… Результаты русской революции повергли его в содрогание, и он решил повернуть всё дело к благу государства, отказавшись от главного принципа социализма — от борьбы классов.

Отныне его лозунгом стало: «Мир между классами и сотрудничество на пользу нации!».

Но, не довольствуясь только выставлением этого лозунга, он не постеснялся сделать того, что никак не может понять до сих пор русская интеллигенция: он стал проповедовать право применить силу против зла…

Мир, или, вернее, — пресса мира стала вопить против насилий фашистов. Но как беззлобны эти насилия в сравнении с кровавыми насилиями Москвы! Касторка, облегчающая желудки слишком горячим членам социалистических партий, раскрашивание умных лысин в национальные итальянские цвета тем, кто забывал про Италию…

Были, конечно, и смерти. Но ведь поход Муссолини на Рим в 1922 году, захват столицы и установление диктатуры совершалось ради нации.

Итак: фашизм есть осознавшая свои задачи нация, собравшая вокруг себя своих верных активных сынов, решившихся с благом

нации в сердце выступить против исступлённого большинства соблазнённых своих сограждан, пользуясь при этом теми методами, которые изобрёл тот же социализм, но не для борьбы за нацию, а ради классовой войны.

Вот в этих методах лежит современность фашизма; диктатура Рима равняется диктатуре Москвы, но направлена она на другие цели. На защиту уже существующей нации, древней во времени.

* * *

Фашизм Муссолини есть, прежде всего, итальянский фашизм, и как таковой он есть достояние только своей собственной нации. Не может быть фашизма международного, и вот почему прав был Муссолини, когда заключал торговый договор Италии с СССР и признавал Москву: он заботится только о своей нации, только об Италии; фашизм есть здоровый национальный эгоизм!

Во имя этого эгоизма Муссолини не стесняется прижимать славянские народности на берегах голубой Адриатики, в чём он, вождь, социалист и демократ, подаёт руку Габриелю д'Аннунцио, поэту и утончённому эстету.

Но поскольку коммунизм является порождением III Интернационала и, стало быть, распространяется по всему миру, а фашизм явился в Италии исторически как известное средство против коммунизма, то мы всё же наблюдаем, как это ни парадоксально, известную международную фашизацию. В Англии, Германии, Франции, в Китае успехи фашизма довольно значительны.

Дело в том, что если нельзя пародировать в каждой отдельной стране итальянский фашизм, то можно пользоваться его методами. Конечно, это не может не касаться и русского общества, свободного от соблазнов коммунизма.

Метод фашизма заключается в том, чтобы, питая к народным массам известное любовное отношение, чувствуя к ним нежность за то, что эти массы принадлежат к одному и тому же народу с данной активной личностью, в то же время давать массам то, что нужно для достижения известных целей национального самосознания. Так, русскому фашизму придётся дать русским массам пересмотр родной истории, оболганной революцией и столетней революционной подготовкой, а затем показать противоположность интересов западного и восточного миров, отнеся Русь по её интересам, культурным традициям и связям к миру восточному. Русскому фашизму, кроме того, пришлось бы заменять собой русский коммунизм, в то время как Муссолини

такой борьбы почти не пришлось вести, и посему русский фашизм, если бы таковой возник, конечно, был бы революционнее итальянского. Чувство правды, искренности, к которому взывает всегда Муссолини, чтобы не увлечься мстительностью, — должно особливо культивироваться у русских, дабы тем не замедлить заветной минуты примирения с русскими, находящимися в России, когда они осознают свои заблуждения погони за новым и вернутся к старой, обновлённой и умиротворённой национальности, забыв про братоубийственную междуклассовую распрю.

В связи же с указанной выше тенденцией мира к диктатуре как форме правления, можно думать, что мировая борьба между итальянским фашизмом и русским коммунизмом должна привести к форме замены последнего какой-либо национальной диктатурой.

Гун-Бао. 1928. 19 января.

Памяти адмирала Колчака

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви…

Сегодня — восемь лет тому назад, как был казнён адмирал Колчак. Как совершилось это действо, мы не знаем, да и навряд ли когда узнаем. Известно только, труп адмирала спущен под лёд Ангары, и со многими тысячами подобных трупов уплыл к Северному грозному океану, к началу всех вещей, обтекающему Землю.

Восемь лет. Восемь лет тому назад был «уничтожен» глава — как ни как, а Всероссийского Правительства, и наступило *полное торжество революции.* Ведь разве торжество контрреволюции не было бы полным, если бы «белым» удалось захватить и «кончить» Ленина?

Да, торжество было полным. Колчака спустили под лёд, а прошло восемь лет, и мы видим, что торжества всё-таки очень мало. Колчак стал эпизодом. Кипучее сердце большевизма радовала гражданская война… Говорил же кто-то из царских генералов с красной стороны, что «посмотрю я, как мои солдаты набьют морду казакам Антона» — Деникина. Это был спорт, игра безответственных господ генералов и с той, и с этой стороны, привыкших смотреть на своих солдат как на пешки… Ведь, как известно, в нравах верхов русской армии было не считать победу победой, ежели не много при этом потерь…

С этим вполне согласуется и большевистский взгляд на вещи:

Чего жалеть рабов — солдат
С душой бескрылою и куцей?
Пусть гибнут сотнями, добрят
Поля грядущих революций…

Люди воевали и не понимали, что победить революцию — это значит вовсе не «разбить живую силу противника», а так или иначе залить неугасимый пламень злобы факелом, вспыхнувшим в душе русского народа. Русский русскому стал врагом; русский

русскому стал волком — а если одна стая волков истребит другую стаю, то ведь останутся не ангелы — откуда ангелам взяться? — а останутся те же волки! Не понимали того, что вожди — «совершенные пустяки»; не понимали, что из многомиллионного народа всегда кто-нибудь да выдвинется; что главное *отвлечь народ, а вожди упадут* сами. Упал же теперь в грязь обаятельный когда-то «наркомвоен» Троцкий. Остался лишь прежний юркий журналист, которого по-прежнему ссылают в места не столь отдалённые. Sic transit…

Для преодоления революции нужна была *совесть* — а совести-то и не было.

Ни в красном, ни в белом стане.

* * *

Совесть была только в одном адмирале Колчаке.

Он отлично понимал, что «военными» методами ничего не сделаешь. На казачьем кругу Сибирского войска, давшем беспредельные полномочия теперешнему перелёту атаману Иванову-Ринову, адмирал говорил в августе 1919 года:

— Один я ничего не в силах сделать! Я только зову на помощь всех, кто любит Россию. Делайте же… Казаки начали, и это хорошо!

Буквально те же слова он говорил немного позднее и на собрании беженцев в зале Омской женской гимназии:

— Вы можете вернуться в ваши родные места только с оружием в руках… Это зависит от вас самих… Берите же в руки ружья!

Адмирал звал народ. Звал за собой. Звал идти по своей собственной народной воле. Но ведь «только на государственной службе познаёшь истину». И невыносимая казёнщина Ставки и военного командования делала всё, чтобы помешать народному движению; она распускала огромные ижевские и воткинские революционно поднявшиеся добровольческие отряды, она переходила на регулярщину, *и это — в гражданской войне*, и с этой регулярщиной ухнула.

* * *

Адмирал был по имени *диктатором,* Правителем. Диктатуры ждали, просили, молили её. Но совесть не позволила ему быть диктатором.

Совет Министров из случайных людей, не умных, а просто ловких и хитрых, а иногда волевых и прущих очертя голову, вроде В. Н. Пепеляева, забрал власть от адмирала. Адмиралу показывали, на основании и международных положений, и финансовых осложнений, и проч. и проч. доказательств, что ему распоряжаться никак нельзя. И адмирал был игралищем ловко раздутых интриг, а не дела. Все эмигранты с надеждой взирают теперь на московскую оппозицию, хотя, конечно, большевики умнее и хитрее тех же самых белых эмигрантов в то время, когда эти последние сами находились в сплошной оппозиции в Омске. Адмирала обвиняли в порках, в расстрелах, в преуменьшении прав Экономического Совещания, прав «общественности», во всём, в чём угодно. Оппозиция атамана Иванова-Ринова — была самой сильной оппозицией. Иванов-Ринов лез в казачьи вожди, в правители, поддерживаемый казачеством, которое гордо разглагольствовало в Омске про беженцев:

— На казачью землю пришли, а распоряжаются!

Оппозиция! Оппозиция!! Оппозиция!!! Несомненно, в этой разваливающей работе белые были чрезвычайно сильны.

А сколько лиц из высшего командования в Омске торговали всем, чем можно: вагонами, шёлковыми чулками (только Иванов-Ринов) и т. д.

И когда один раз «диктатор» захотел повесить некоторых орлов, взявших не по чину, то в его руки вцепилось столько народу, что эта рука не поднялась выше каких-то несчастных писарей…

* * *

В первой своей статье «Дым Отечества», написанной по приезде в Омск с фронта в июне 1919, в «Сибирской Речи» у чудесного В. А. Жардецкого я заявил, что Омск провалится… За это мне сильно попало. Но почему на контрреволюционное, национальное дело смотрели как на какой-то весёлый пикник? Обрадовались, что «свергли»? Почему до сих пор памятны широкие шляпы некоторых омских дам, поглощавших в огромном количестве горячительные напитки?

Профессору Военной Академии генералу Иностранцеву было дано поручение адмиралом:

— Расследовать известный конфликт между генералами Гайдой и Лебедевым, который (конфликт) фактически положил конец успехам сибирской армии.

Гайда поставил ультиматум:

— Или я и победа! Или Лебедев и ставка!

Генералы Дитерихс и Иностранцев приехали к Гайде и спрашивают:

— В чём дело, братище?

— Помилуйте, — со слезами на глазах говорит Гайда, — мной командуют из Омска под самую Пермь… Всякая моя самостоятельность приравнивается самовольству… Когда я беру Пермь, а с ней запасы, их отсылают в тыл, и они остаются в руках противника… От меня берут лучшие части и губят их… Мои подчинённые все твердят, что всё это на руку коммунистам… Я докладывал адмиралу, но ничего не выходит…

Мудрая комиссия решила:

— Прав Гайда!

А Лебедев?

— Тоже прав! — решила комиссия в своём соломоновом постановлении. И оба маститых комиссионера генерала сидят мирно, один где-то в Европе, а другой в Шанхае. А Россия в течение восьми лет занимается неудачными социальными перестройками…

* * *

В Омске, в тылу, русские политические Гамбетты пламенно прели в прениях, вычисляли хитроумные коэффициенты для расчёта на жалованье… Армия катилась назад. Пепеляев, командарм I, покрыл последними словами матом Лохвицкого, командарма II, на общем совещании.

* * *

Шёл развал. Адмирал все ночи проводил у карты фронта, сжигая сотнями папиросы. Он командовал фронту из флажков остановиться… Но линия флажков катилась и катилась назад.

Тогда я в «Нашей Газете» напечатал фельетон о Михрютке, который стоит на фронте, а его подпирают:

— телефонисты, которые говорят, куда Михрютке идти;

— обозные, которые Михрютке новые сапоги возят;

— кашевары, которые ему кашу варят;

— интенданты, которые Михрютке жалованье припасают, и так далее, до штаба, где гг. офицеры флажки переставляют — куда Михрютка двинулся…

Был грандиозный скандал. Было обвинение «в натравливании

армии на тыл».

На Шипке всё должно быть спокойно.

* * *

Я напечатал в «Русском Бюро Печати» афишу:

«Красные идут в Омск; их лозунг — в Сибирь за хлебом! Сопротивляйтесь!» — вот её краткое содержание.

Успех афиши был чрезвычайный… Из банков стали выбирать вклады; цены на товары стали падать; все бросились к поездам на Восток…

Генерал Лебедев долго бранил нашего шефа, покойного, расстрелянного А. К. Клафтона за «распространение провокационной паники».

* * *

Омск пал.

Я нагнал состав адмирала в Новониколаевске. Там мне не дали аудиенции, и я рассказывал лишь генералу Мартьянову, что я видел во время моего путешествия от Омска до Новониколаевска:

— Вагоны с трупами!.. Отбитые мороженые руки и ноги!.. Ужасающее халатное нерадение начальства… Разброд в армии…

Я вышел. Смеркалось. Синее морозное небо, алый закат. Бесконечный ряд элегантных вагонов — Международных и КВЖД. Часовые конвоя адмирала с национальными нашивками. Кой-где зажглись жёлтые шёлковые колпачки электрических ламп за зеркальными стёклами. У одного широкого окна мрачный профиль адмирала, с папиросой в зубах…

И последний раз…

* * *

Кто его не предавал, этого человека?

Все. Сначала русские, потом иностранцы.

Деяния генерала Жанена, неслыханным образом предавшего адмирала, — останутся навсегда в русской душе. Не знаю, как чувствуют себя чехи, а эти «братья» когда-нибудь ещё вспомнят о сибирских действах, где они мчались в вагонах, снаружи которых были прибиты жирные стяги мяса, а внутри слышался женский

весёлый смех «русских» женщин, а сами русские брели по сугробным дорогам… Кто верхом. Кто в санках.

Конвой адмирала с национальными лентами предал Верховного Правителя. Предали его братья-чехи. Предали его союзники-французы.

Предали его девять флагов, которые его охраняли… Это честь — быть преданным столькими нациями…

И герой Балтийского моря, герой Чёрного моря, который дрался с турецким и германским флотом, — спущен под лёд стальной синей Ангары, сибирской реки.

И ещё есть умные головы, которые предполагают, что «белым помогут союзники».

Или ещё не довольно? Или ещё не вспоминаются слова Тараса Бульбы:

— А что, сынку, помогли тебе твои ляхи?

«Госиздат» хорошо бы сделал, если бы издал эпопею адмирала Колчака и осветил то, что сделали с этим человеком, представлявшим Россию, хитрые западные люди… Былые белые бедны, как церковные крысы…

* * *

Генерал Дитерихс, заскочив в Верхнеудинске в вагон генерала Жанена, рассказал сему последнему, что каппелевцы, идущие пешком, готовы отомстить ему, Жанену, за смерть Правителя.

И Жанен, благодарно подхватив с собой Дитерихса, ускакал в поезде в Харбин…

* * *

Иркутск я обошёл двумя днями после смерти адмирала. Ввиду нашего разногласия во взглядах относительно К. Маркса, в нас стреляли из-за Ангары из пушки…

Какая чепуха!

* * *

А когда я прибыл в Читу, там была великая радость.

Адмирала и Омска не было, и атаман Семёнов мог беспрепятственно восстановить Россию.

Ещё раз, какая чепуха!

* * *

И вы думаете, это прошло?

Ошибаетесь. Это ещё живёт и актуально. Посмотрите на смешные действия одной местной газетки, как она старается, «разоблачая» того же Семёнова, и вы поймёте весь трагизм фразы:

— Ничего не забыли! Ничему не научились!..

* * *

Была, конечно, панихида по Колчаку. Привычным жестом одели священники ризы; привычным равнодушным жестом поправили свои волосы, высвобождая их из-под тяжёлой парчи. И понеслись синие облака ладана, и раскатились многоголосным жемчугом певчие:

— Со духи праведных скончавшееся!

Но не к этой толпе, по большей части азартной, себялюбивой и равнодушной, направляется мой взор. Туда, назад, к бесконечным просторам Сибири, которую русские изошли в Ледяном походе, уходя из России… Там витают кровавые призраки тех, кто смертью своей запечатлел свой подвиг верности.

И среди них обмёрзлая, кровавая, спущенная под лёд фигура болярина Александра.

Эти видения можно видеть только совестью. И во имя этой совести — придёт время и будет учинено жестокое действо над теми, которые это душевное качество потеряли, предаваясь своим делам и делишкам, предаваясь политике.

Гун-Бао. 1928. 8 февраля.

Во что обошлась русская революция

Quasi una fantasia…

ОТ РЕДАКЦИИ. Редакция помещает эту статью своего уважаемого сотрудника Вс. Иванова в порядке дискуссии. Не разделяя сама высказанных им интересных мыслей, редакция приглашает своих читателей высказаться по этому вопросу.

Предположим на несколько минут, потребных на прочтение предлагаемой статьи: того, что случилось, — не было…

А что было?

Русский фронт рухнул в начале 1918 года. Через 9 месяцев, 5 ноября 1918 года рухнул под последним нажимом союзников германский фронт. Знаменитая «точка» на карте, поставленная маршалом Фошем, была достигнута.

Союзники победили! В Париже народ танцевал на улицах.

Как известно, отказ России от войны произошёл под влиянием пропаганды революционеров, определённых лиц, которых можно даже назвать поимённо. Петроградский Совет Солдатских и Рабочих депутатов отказался от войны, начал пропаганду мира обращением «через головы правительств к рабочим всего мира». Таким образом, рабочим России как бы принадлежит честь быть мирными глашатаями…

Русской революции был нужен *мир* ради неё самой, а не ради измученных на фронте солдат; дикая гражданская война, свирепствовавшая до 1922 года и отбросившая Россию к XVI веку, — вот что было непосредственным результатом этого мира; вообще эти результаты настолько общеизвестны, что мы не будем о них и говорить.

Но всё-таки предположим, что русская армия, русский командный состав оказались бы более стойкими; предположим, что обложенная кругом снарядами всё растущей продукции русских заводов русская армия удержалась бы на фронте до того заветного дня ноября, когда рухнул западный фронт и съехались между окопами представители высшего германского и союзнического командования. Тогда, конечно, в число победителей попала бы и Россия, хотя бы даже она только пассивно держалась, и результаты войны и мира были бы иными.

Итак: что бы тогда получил русский народ от этого мира и что таким образом потеряла революция, погнавшись за миром?

* * *

Конечно, первым делом появилось бы в народе *чувство полного удовлетворения.* Русские солдаты не придрали бы из окопов, дезертировав, на крышах товарных поездов, а пришли бы домой победителями.

Удовлетворённое же состояние духа всегда родит известный консерватизм и государственное настроение. И многое было бы народом прощено из того, что при историческом положении дел вело к революции и её взрывам.

В этом государственном смысле, надо сказать, большое значение имело бы занятие русскими Константинополя, которое уже было решено между министром иностранных дел С. Д. Сазоновым и другими союзными представителями. Крест на св. Софии стал бы не мечтой, а самой настоящей реальностью, и этот факт своей одной только наличностью заставил бы русскую мысль обратиться на другие старые дороги.

Тем, кому великодержавность России не говорила ничего как идея, — она светила бы воочию из этого золотого креста… Подумать, как бы стали господа журналисты рыться в книгах Леонтьева, Хомякова, Киреевских, Аксаковых — ища яркого выражения для старых оправданных истин и чаяний… Пожалуй, много народу уверовало бы в то, что задача России — не коммунистические революции, как верит публика теперь, а величавое охранительное направление стиля московских публицистов 50-х годов…

Ведь публика всегда верит удаче… Победителей не судят… И я сам в Москве в 1918 году на Тверской видел одного спекулянта, восклицавшего:

— Какое время! Какое время! Весь мир горит в огне революции…

Думается, что св. София привела бы его в ещё большее восхищение…

Польша, как то было ей обещано в манифесте Главнокомандующего в 1914 году, получила бы свободу из рук России: «Со всех сторон движутся русские рати», — писал тогда в манифесте великий князь Николай Николаевич и обещал, что давнишняя мечта польского народа будет исполнена. То, что Польша и теперь получила от Версальского договора 28 июня 1919 года, она получила бы не от латинского народа католической Франции, а от славянской, родственной России.

Славянские ручьи слились бы в русском море…

Освобождённые народы — чехи, сербы и прочие, как равно и Румыния, конечно бы, держались за мать Россию. Даром что ли

были сформированы эти чешские полки! Если теперь они, эти народы, считают нужным делать реверансы в сторону затрёпанной, избитой эмигрантской России, то кольми паче не расшаркивались бы они тогда!

Конечно, тогда бы не было нынешней малой Антанты, которая и теперь доставляет столько неприятностей Муссолини, а все эти братушки прилежали бы России неутолимо. Из Константинополя — было время, правили и всем Средиземным морем. Не пришлось ли тогда древнему Риму сказать уж не «mare nostrum», а «mare vostrum».

Одним словом:

— Твой щит у врат Царя-Града!

И в Лиге Наций царили бы не хитроумные западные люди, а царила бы возросшая мощь России…

* * *

Отсюда легко видеть, что в Версаль, в Зеркальную Галерею, кроме Франции, Америки, Англии, Италии, Японии, Китая, Бельгии, Боливии, Кубы, Эквадора, Греции, Гватемалы, Гаити, Геджаса, Гондураса, Либерии, Никарагуа, Панамы, Перу, Польши, Португалии, Румынии, Чехо-Словакии, Юго-Славии, Сиама и Уругвая (ведь и Уругвай воевал в *Великой* войне), — пришла бы тогда ещё и Россия. И, конечно, она в Версальском договоре (может быть, он бы тогда был Петроградским договором?) предъявила бы к Германии тоже свои права и претензии.

По статьям 231–247 Версальского договора о репарациях ясно указывается:

> «Союзные державы указывают, и Германия признаёт, что Германия и её союзники, как виновники войны, ответственны за весь ущерб и убытки, которые понесли союзные правительства и граждане их государств в результате навязанной войны, вызванной нападением Германии и её союзников».

Отсюда для Германии «вытекает обязанность возместить этот ущерб».

Граждане России! Как вы думаете, плохо было бы это или нет, если бы побеждённая в честном бою Германия не отыгрывалась теперь бы на России, как она отыгрывается сейчас, а сама платила бы вам ущербы? А?

Именно это возмещение ущерба гражданскому населению формулировано в «Договоре» весьма выразительно:

> «Германия должна взять на себя уплату пенсий всем потерявшим трудоспособность и семьям погибших во время войны, независимо от того, принадлежали ли эти жертвы войны к гражданскому населению или же к составу армий».
>
> *(Версальский договор)*

Итак, граждане инвалиды и граждане ветераны, все вы имели бы отличную поддержку, которую бы вам выплачивала даже не Россия, а чужая страна Германия! Конечно, вам не пришлось бы валяться тогда по тротуарам Харбина, мёрзнуть под заборами или обращаться в «Собез».

Как известно, теперь, за время мира, Англия выплатила своим ветеранам (участникам войны) и инвалидам пенсиями крупную сумму, исчисляемую в сотни миллионов фунтов стерлингов. Конечно, это те миллионы, которые могли бы иметь и русские ветераны.

Далее известно, что Англией после войны построено более миллиона коттеджей для рабочих, размером не менее четырёх комнат. Конечно, эти коттеджи построены на репарационные фонды. Русские рабочие сидят без всяких коттеджей.

Кроме вознаграждения населению союзных стран, Германия должна производить союзникам репарационные платежи, всего на сумму в 60 миллиардов золотых марок.

Германия обязана была восстановить флот, потопленный у союзников ею, для чего она должна была отдать союзникам все свои суда размером более 1600 тонн, половину судов в 1000–1600 тонн и четверть полного тоннажа рыбачьих судов. Кроме того, её верфи должны строить 300 000 тонн судов ежегодно для союзников.

Германия возвращает союзникам все разрушенные и увезённые ею машины, паровозы, подвижной состав и т. д. Кроме того, Германия выдаёт союзникам большое количество скота.

В то время как объявившие «мир» русские голодали в 1921 году в Поволжье и других местах, их былые союзники сидели за роскошно убранными столами послевоенного пира. Я нисколько не касаюсь того, морально или аморально такое поведение союзников, морально или аморально такое поведение русских. Это, прежде всего, холодный факт, не более, факт, стоивший дорого России.

И этот факт надо помнить. Русские революционеры, конечно, сыграли в руку не только немцам, но и Европе, не допустив русских представителей сесть за версальский стол для подписания почётного мира. Англичане и французы содрали с

Германии всё, что они только могли взять. И если бы в их рядах сидела и Россия, конечно, им бы пришлось меньше на то количество, которое получил бы русский народ.

Революционеры говорили об экономической выгоде русской революции, поскольку прекращалась сразу «разорительная война», поскольку революционеры отказывались от уплаты русских долгов. Но разорительная война, прекратившись столь чудесным способом вроде объявления Троцкого, что «война с Германией прекращена, но мира нет», не сберегла ничего из русских паёв. Все результаты продукции четырёхлетней бешено работавшей русской промышленности в виде оружия, снарядов и т. д. оказались забранными немцами. Немцы с юга России вывезли громадные запасы продовольствия и контрибуций. Наконец, царские долги, как никак, а надо признавать и советам, потому что это единственное условие, при котором победоносная буржуазная Европа милостиво соглашается на «признание советского правительства». Вчера в газетах промелькнуло известие, что за 1927 год золотые россыпи Ленского товарищества в Англию вывезли золота на 40 000 000 рублей. Это ли не платежи?

Россия теперь испытывает недостаток во флоте; не только нет военного, но и торгового-то не хватает! А тогда был бы и военный, был бы и значительно увеличившийся торговый флот.

Благополучное окончание войны имело бы ещё многочисленные самые благотворные следствия, а именно: такой прилив денег от репараций, благожелательное уважительное отношение с дружественной Европой привели бы к тому, что русская промышленность расцветала бы и шагала полным шагом. Восток, Средняя Азия были бы завалены русскими товарами; относительно нефти не было бы сомнений — покупать или не покупать её. И если возбуждает изумление своими размерами какой-то Волховстрой, то после войны, при таких огромных капиталах, Россия могла бы строить такие Волховстрои десятками.

Кроме того, крестьянство могло бы в виде компенсации за счастливо оконченную Великую войну получить земли на выгодных условиях, так, что эти условия, улучшая быт крестьянина, не разорили бы и другого землевладельческого класса. Европа была бы завалена русским хлебом, а Россия — европейским золотом.

Недостаточность земельного промышленного и сырьевого фонда Европы бросила бы её капиталы на восток России, и если мы до войны видели капиталы Америки бойко работающими в неоглядных степях Западной Сибири, — теперь, в это время, через

10 лет после войны, вся Сибирь процветала бы, выбрасывая из недр своих богатства на потребу миру, под контролем России. Тогда не были бы «экономическим достижением» какие-то договоры с Японией относительно рыбных ловель.

Если Россия и так за 20 лет царствования императора Николая II своими средствами экономически удвоилась, то теперь бы, при столь огромном притоке капитала внешнего, развитие её пошло бы гигантскими шагами. Никогда ещё Россия не была бы столь богата деньгами. К тому же, горизонты рабочего и крестьянина после войны стали шире. Гражданский мир давал бы работать каждому своё, и, конечно, положение крестьянина, рабочего и интеллигента — было бы неизмеримо превосходнее положения в настоящее время.

Но то была бы «сильная Россия»… Революционерам, прежде всего, потребовались «сильные потрясения» ради их власти.

И вот их результаты. Макиавелли говорит, что Манлий получил власть, обещав римлянам победу… После этого была битва при Каннах. Неужели здесь не найдётся экономиста, который бы посчитал аккуратно, что, примерно, в это время потеряла Россия из-за пламенных революционеров-фанатиков и, стало быть, во что обошлась ей русская революция?

Гун-Бао. 1928. 10 февраля.

Два лика Византии

Тот, кого весь мир знает в продолжение 2000 лет — под именем Иисуса, — ушёл из жизни; настало время христианства.

Христианство — молодая, победоносная религия, гигантскими шагами завоёвывало древний мир и царивший над ним Рим, потому что и мир, и Рим устали особой, культурной усталостью. Характеризуя время пришествия в мир христианства, Э. Ренан говорит:

— С императорами — свобода мысли в Риме только выиграла. Ведь этой свободе всегда лучше иметь дело с королём или принцем, нежели с завистливыми, ограниченными мещанами. Боги, которых осмеивал Аристофан, ещё иногда убивали; так, они убили Сократа… Наследники Александра Великого — все эти Атталы, Птолемеи дали на своей территории Малой Азии — полную свободу мысли… Плотина-философа сожгли бы в средние века — а тогда он жил свободно, учил и мыслил. И если иудейство не задушило христианства в первые его годы, то этим христианство обязано той же римской власти…

Итак, в этой атмосфере политической свободы и религиозного возбуждения, лившегося из духовных центров Азии и нёсшего с собой торжество малоазийских культов, прогрессировало и росло христианство. Апостол Марк идёт проповедовать в Александрию — этот культурный центр Востока. «Деяния Апостолов» показывают нам, как носители новой веры смиренно бродят из города в город, ведут деятельную переписку с учреждёнными общинами, и Сирия, Ликия, Каппадокия, Галатия, Пафлагония и др. малоазиатские провинции зажигаются сияющим бурным пламенем христианской веры, в котором горит много сложных исторических течений…

Конечно, христианству содействуют и течения социальные — раб, прогнанный из цирка с торжественных игр для знати, или просто посаженный не на теневой, а на солнечной стороне цирка — уходил к христианам в церковь. Церковь собирала в себя всех обиженных в известном протесте против излишеств Рима.

Гонения, в которых мы видим только красочные, расцвеченные памятники в житиях святых, трагизм и героизм исповедничества, несправедливости, творимые высшими властями, наконец особый дух религиозного горения, нёсшийся с Востока и обусловивший несомненный параллелизм хотя бы между Евангелием и сказаниями о Будде, — всё это делало своё дело. Наконец и римская армия стала переходить на сторону христианства, и крест, эта молния Христа, засиял на Лабаруме

Константина Великого вместо прежних орлов Зевса-Юпитера. Константин Великий мерит своим копьём место для стен Нового Рима — Константинополя. Зачинается период Византии.

У Евсевия, в его труде «О жизни Константина» читаем мы в концентрированном виде тот государственный объединительный смысл, который влагался в дело основания Нового Рима — Константинополя:

— Было время, когда мир был разделён по народам и областям на множество владений, тираний, княжений; отсюда постоянные войны с грабежами и хищениями. Это разделение основывалось на различии божеств, почитаемых в разных странах. Ныне крест есть Орудие Спасения и Трофей Победы. Один Бог господствует над всеми, одна империя для обладания всеми народами… По небесному соизволению два ростка появились сразу для того, чтобы расцвесть над землёй и покрыть своей тенью весь мир — это Римская Империя и Христианская Вера. Весь мир составляет единую семью под единым скипетром… И т. д.

Над миром стал единый интернациональный Царь-Град, город единого Бога и единого Царя Ромеев.

* * *

Отсюда то значение этого города для русского православия. Из Царь-Града пришла православная вера; в Царь-Град ездила в 955 году княгиня Ольга и посетила там императора Константина Порфиро-Багрянородного, который и оставил нам описание этого примечательного визита.

Из тьмы славянских лесов, из опасностей неверного караванного пути прибыла Ольга по голубым волнам Босфора Киммерийского к Царь-Граду, присоединившись к богатому каравану. Греки отлично знали уже, что такое жадные до чужого славяне, и долго Ольгу с караваном не пускали за цепи, запирающие Золотой Рог. На высоком берегу, непосредственно над голубыми водами, стоял царский дворец; своим круглым куполом парила над окрестностями Св. София, Премудрость Господня.

Мощёным цельным камнем двором шла не видавшая ничего подобного провинциалка Ольга к палатам басилевса; кругом стояли чудесные мраморные и бронзовые статуи царей. Посреди двора высился огромный крест с представшими царём Константином и матерью его Еленой. У другой статуи Св. Константина было сделано вокруг головы железное сияние —

из святых гвоздей, которыми был распят Христос. Двор этот соединял храм Св. Софии со дворцом.

Золотом, каменьями, хитрыми инструментами были убраны палаты басилевса. Органы играли, когда хоры воспевали гимны. Царский великолепный престол звался «престолом Соломона».

Два золотых льва лежали на ступенях у этого престола, и когда входил на престол царь, они поднимались на лапы и рыкали, сверкая самоцветами-очами. Над троном сидели золотые птицы, певшие также очень искусно.

А за престолом возвышался огромный золотой Крест, знамение победы, весь покрытый драгоценными каменьями; на сводах палаты было изображение Иисуса Христа. Но это уже был не скромный пастырь первых веков христианства, собирающий своих овец, это был грозный безбородый молодой Царь Неба и Земли, блистающий в лазурно-изумрудных, пурпуровых и золотых тонах ромейской мозаики.

Когда царь угощал княгиню Ольгу и её свиту из 16 русских дам обедом, пели беспрерывно два церковных хора от св. Софии. Начато пение было гимном в честь царя:

— Ныне давший тебе власть в твои руки Бог поставил тебя самодержцем и владыкою… Великий Архистратиг, сошед с Неба, отверз пред твоим лицом врата царства. Мир, поверженный под скипетр твоей десницы, благодарит Господа, благоизволившего к тебе, о Царь! Он чтит тебя, святого Царя, владыку и правителя!

И хоровые песни, пляски, божественные пантомимы развлекали лесных славянских дикарей во время обеда. После обеда всем были пожалованы щедрые денежные подарки.

Православие, казалось, полностью пронизывало этот торжественный быт. Во время начала знаменитых цирковых игр служитель, поднимавший означавший начало игр флаг, восклицал:

— Во имя Отца и Сына и Св. Духа!

Скакавшие на колесницах и друзья их, сидевшие в публике, голосили:

— Пресвятая Богородица, помоги такому-то!..

Император, показывавшийся на народе, поднимал переднюю полу своего золототканого одеяния и осенял народ благословением… Это было вообще удивительное время, когда благодать Божья жила на земле. Пустыни Сирийская и Египетская уже в IV в. полнятся пустынниками. В Нитрийской долине в Египте жило в V в. около 5000 пустынников; около Св. Пахомия в Верхней Фиваиде — 1500 отшельников. Св. Захария имел камень во рту в течение десятков лет. Св. Симеон Стилит (Столпник) 40 лет стоял на столпе, то есть на маленькой башне… Возле него

образовался монастырь, а вокруг монастыря большой город, развалины которого видны посейчас.

Не было никаких религиозных сомнений в этом очарованном, насыщенном пламенной верой интернациональном мире, выросшем из корней Рима и Христа:

— Все должны верить так, как заповедал это Пётр, верховный апостол, и как соблюдали римский епископ Дамас и александрийский епископ Пётр. Только те, кто исповедует равночестную божественную Троицу, — называются православными, иные же — еретиками. *(Кодекс Феодосия Великого, XVI.)*

Сохранившиеся поныне в Сирийской пустыне каменные дома прежних городов византийского периода носят на себе эти могучие следы напряжённого православного культа. Все заборы, ворота и т. д. украшены виноградными и аканфовыми листьями, которые вы можете видеть всюду на иконостасах русских церквей. Везде монограммы из Альфы и Омеги в комбинации с крестом, рыба агнец с крестом. На воротах всюду надписи: «Господи Сил, с нами буди…» — «Если Бог за нас, кто против нас…» — «Христе, помоги…» — «Комит Приск, сим побеждай!».

При таком напряжении веры удивительно ли, что всюду творились чудеса, входившие чуть ли не в обиход. Перед образом Богоматери в Константинополе разрешались судебные тяжбы — смотрели, когда зашевелится занавеска во время чтения прошений у истца или ответчика. Икона Богородицы у царицы Зои меняла свой блеск и начинала сиять ярким блеском и «обновлялась», если предстояло радостное событие, омрачаясь в противном случае. Одному византийскому монаху, в избытке чувств воскликнувшему:

— Радуйся, Благодатная! — икона Богородицы ответила:

— Ино радуйся и ты, отец!

Разве такая Византия могла не казаться страной обетованной для русского младенческого православия? Разве она могла не пленять младенческого воображения ходивших туда паломников? И действительно, не по её ли образцу старались украшать свои города — тот же Киев, Новгород, Ростов — разгульные, весёлые князья Руси, своим первобытным сердцем чувствовавшие красоту и правду жизни? И в этом золотом блеске святости, и в святом блеске солнечного золота — видится до сих пор Византия многим чувствительным и эстетическим православным душам.

Но есть и другая сторона её, которая постоянно упорно забывается.

* * *

Что такое византийский царь?

Мы только что видели это в одном свете. Послушаем сейчас одного византийского историка.

— Большая часть царей, — пишет он, — крайне труслива, чрезвычайно подозрительна и находит удовольствие в умерщвлении людей высоких, великих. Человека богатого они боятся, отличённого мужеством — заподозривают. Кто красив, красноречив — тот не даёт венценосцам спать, лишает их радости… Таким образом, они часто идут против воли Провидения и восстают против Бога, изъемля людей из их среды и предавая закланию… И всё это для того, чтобы спокойно можно было расточать государственные доходы на свои прихоти, чтобы с теми, кто больше их заслужил прав на престол, — обращаться как с рабами… Им мало ходить в золоте… Им обидно, если их не признают мудрецами, людьми, подобными героям и богам, богомудрыми, подобно Соломону, и боговдохновенными руководителями дел божеских и человеческих…

Эта едкая, революционная характеристика, однако, вовсе не преувеличена. Византийщина — не только храмы, православие и чудотворные иконы. Византийщина — это коварство, интрига, кровь, яд, ночной заговор. Византийщина — это кровный бунт «Ника», когда Юстиниан Великий был готов бежать, но его остановила царица Феодора гордыми словами:

— Тому, кто пришёл на свет, — нельзя не умереть! Но тому, кто родился царствовать, — скитаться изгнанником невыносимо. Не дай Бог дожить мне до дня, когда я лишусь этой багряницы. Вот перед тобой море, вот корабль… Беги! Но нравится мне старинное слово, что царская власть — есть прекрасный саван…

Византия — это беспощадное истребление бунтовщиков полководцем Велизарием, где легло на ипподроме до 30 000 человек. Византийщина — это приказы царя Андроника Комнина:

— По внушению Божию, по повелению державного и святого самодержавного царя объявляем, что для блага государства необходимо истребление тех дерзких крамольников, которые сидят в тюрьмах или сосланы; также необходимо казнить их приверженцев и родственников. Тогда я, Андроник, Царствующий милостью Божиею, отдохну от государственных забот и от всех злоумышленников.

Прошло немного времени, и этот ромейский наместник Бога шествовал по улицам Византии в цепях, которыми сковывали львов, чтобы приять казнь.

Гирлянда из 59 царей византийских от Юстиниана Великого до 1459 года почти вся напоена кровью. Чем дальше развивалось то, что исторически носит название византизма, тем гуще

копошились преступления вокруг святого царского престола. Голоса божественных гимнов и хоров св. Софии не заглушают тех воплей беззаконий и непотребств, которые росли вокруг царского дворца.

Вот несколько примеров. Грубый солдат Фока, обезображенный шрамом на щеке, убил царя Маврикия и его 5 сыновей и захватил престол. Царице Константине, вдове Маврикия, отрубили голову позднее, а также и её трём дочерям. Андроник Комнин, по словам историка, «водил любовниц, как кур — петух», и очень завидовал лаврам Геркулеса, растлившего 50 дочерей Фиеста. Исаак Ангел, ослепивший за справедливый доклад полководца Асшета, боялся только юродивого Васильюшку, которому доставляло удовольствие заворачивать женщинам при встрече платья и бранить царя в глаза. И т. д. и т. д. — все подобные случаи византийской порфиромании.

При Михаиле III — «Пьянице», при котором дядя царя, грубый солдат Варда затеял раскол между Западной и Восточной церковью, пришёл в Византию один македонянин, по имени Василий, и поселился у приятеля пономаря на св. Софии. Брат пономаря, врач, устроил его конюхом в царские конюшни, где Василий укротил какого-то буйного царского коня и тем понравился царю. Рослый, могучий, грубый, — он стал незаменимым собутыльником царю и, в конце концов, женился на царской сестре Фёкле. Получив столь высокое положение, Василий в заговоре убивает соправителя и дядю царя Варду на глазах царя в ставке во время похода в Малую Азию. Патриарх Фотий венчает его в св. Софии в соправители.

В 867 году 1 марта он ужинает с царём и царицей и, уложив царя спать в опочивальне, целует ему руку (тот самый обычай, который привезла на Русь беженка София Палеолог). А ночью он врывается к царю и его убивает, сам восходя на Соломонов престол.

Константин Мономах, который играл такую роль в идеологии русских царей, имел несколько любовниц. Небрежный и расточительный, он раздавал подарки бочками золота. Он окружал себя роскошными искусственными сооружениями — санами, лугами, прудами, горами, разбивал рощи и требовал, чтобы в этих искусственных рощах цвели цветы, пели жаворонки, скакали кузнечики. Излишества вообще были таковы, что от них царь Константин VIII не мог ходить…

* * *

Идея преемственности Руси от Византии в её духовно-политической сущности довольно актуальна и в наше время. Целью настоящей статьи служит желание посильно показать, что никакого благочестия русские оттуда почерпнуть не могли и византийщина была, в сущности, — *несчастьем для России.* Византийщина эта сохраняется ещё в традициях православия, но должно напомнить, что старообрядчество мудро и национально отбросило её прочь, не приняв из заражённого места истекающих никоновых реформ. Превозносящим до сих пор «Софию Палеолог» надлежит помнить слова царя Ивана IV:

— Мы верим не в греков, а в Христа!

С другой же стороны, при таком положении вещей ясно, что заимствование с Востока, со стороны победной традиции Чингисовичей, могло быть куда и моральнее, и государственнее.

Гун-Бао. 1928. 12 февраля.

Столица и провинция

Народ безмолвствует…

А. С. Пушкин

В предреволюционный период в России резко лежала грань между

— Столицей и провинцией.

Столицей был, как известно, «блистательный Санкт-Петербург». Даже Москва, и то была — большой деревней.

В столице блистали Мейерхольды и «упражнялися в безверьи профессора». Поражал «достижениями» балет. А в провинции, то есть, буквально с латинского, — «в завоёванной стране», там — вековая тишина.

В то время как публику на Коломяжском ипподроме просвещали заграничные лётчики, трещали младенческие Фарманы, — в каком-нибудь Саратове иеромонах Илиодор, собрав тысячные толпы верующих, совершал шествие по всей губернии, к вящему конфузу просвещённых властей.

Не любил провинции Петербург: особняки Гагаринской, Шпалерной всегда тревожно ждали какого-нибудь сюрприза со стороны этого широкого и глубокого неизведанного моря — провинции, на берегу которого «полночных стран краса и диво» — расположился Петербург — словно краюшка стула, с заискивающей улыбкой обращённый к Европе.

Население особняков Гагаринской и Шпалерной в летнее время мчалось в шикарных вагонах Международного Общества за границу; уютные курорты Германии, тихая Флоренция, перезвоны колоколов Сан Джеминьяно, блистательная олеографичная Ривьера — всё принимало толпы российских бар, которые там *отдыхали*:

Безмятежней аркадской идиллии
Закатятся преклонные дни.
Под пленительным небом Сицилии,
В благовонной древесной тени,
Созерцая, как солнце пурпурное
Погружается в море лазурное…

От чего же они отдыхали там, эти петербургские люди, эта соль земли «с туманных берегов Финского залива»?

От некоего страха, от какой-то постоянной бесконечной тревоги:

— Как бы дома чего не вышло!..

— Ах, за границей так спокойно! — говорил мне один сановник под памятником Чехову в Баденвейлере. И Чехов зорко смотрел в расстилающуюся перед ним долину.

И в самом деле. Обучаясь премудростям германской мысли в тихом Гейдельберге, прогуливаясь по знаменитому Философенвег, по полугоре над Неккаром, когда напротив из-за долины сиял золотой месяц, в сумеречном германском лесу, среди готовой декорации для любого эпизода из «Нибелунгов», я чувствовал этот мир. Шёл навстречу мне человек, и его тёмная тень была воздушна.

— Добрый вечер! — сказал он, поравнявшись со мной…

— Добрый вечер! — ответил я ему, и тихий звон колокола, отбивавшего часы, разнёсся снизу с ратуши.

А какое чувство пробуждал в вас человек, в ночное время встретивший вас где-нибудь на дачной прогулке в России?

Много было энтузиастов русской природы, которые говорили:

— Поезжайте, батенька, на Кавказ! Поезжайте в Алтай! Вот красота! Ну зачем все заграницы?

Но прогуливаясь по Алтаю, нужно иметь винтовку на плече; прогуливаясь по Кавказу — надо было иметь револьвер в кармане, по крайней мере. Не спорю, это тоже приятно — переживать некоторую тревогу, ждать опасности, но что делать, что толпа не любит этого. Ей нужен мир, которого не было в особняках Петербурга; население столицы прислушивалось к рокотанию глухого моря провинции и стремилось в Европу, как крысы стремятся перед опасностью с корабля на берег.

И действительно, из этого моря русской провинции, наконец, вынырнул подлинный чёрт, напугавший Петербург. Это был Распутин.

Взоры всего Петербурга были устремлены на Запад, а у престола очутился Распутин, мужик из Сибири.

Тобольской губернии, села Покровского.

Провинция прислала в столицу, набравшуюся иностранного духа, своего подлинного сына.

Мужика?

Да, но в России 95 % мужиков!

Сектанта?

Да, но в России миллионы сектантов, и православие могло существовать только потому, что оно было официальным. Сектанты теперь штурмуют былую официальную церковь и громят её покинутые твердыни.

Распутника?

Да, но сектантство в огромном своём большинстве такое, да таков и народ. Хлыстовщина, христовщина, купидоны, скакуны, бегуны — вот они, от них некуда деваться. Это ещё пережитки древних времён, последователи имён, незнаемых никогда среди «светочей русской интеллигенции», но которые прочно и крепко свили себе неожиданное гнездо в русской провинции.

Что ж удивительного, что и Распутин был таким, каковы миллионы сектантов?

М. В. Родзянко (председатель Государственной Думы) в своих воспоминаниях пишет:

— Увидав Распутина (в Казанском соборе), я подошёл к нему и, свирепо выкатив глаза, зашипел:

— Пошёл отсюда, с. с.! Мужик!

В. М. Пуришкевич писал в известном стихотворении о Распутине:

Как хорошо дурманит дёготь
И нервы женские бодрит.
— Скажите, можно вас потрогать, —
Статс-даме Гришка говорит…
В салоне тихо. Гаснут люстры.
Войдя в мистическую роль,
Мужик, находчивый и шустрый,
Ведёт себя, как Рокамболь…
Его пластические позы —
Вне этикета, вне оков;
Смешался запах туберозы
С ядрёным запахом портков…

И т. д.

И в том и в другом случае одно — гневный окрик «барина»:

— Мужик! Грязный мужик! Как ты смеешь?!

Но Распутин — не случайность.

Грозное море провинции уже посылало в своё время, 125 лет тому назад, свою первую распутинскую волну, о чём позвольте напомнить здесь.

В 1794 году на русскую службу поступил камергер последнего польского короля Станислава Понятовского А. М. Елянский. Принадлежавший к скопческой секте, он обратился к императору Александру I с докладом об учреждении Божественной канцелярии. Дело в том, что в это время проживал в Петербурге известный скопец Кондратий Селиванов, почитавшийся у сектантов-скопцов живым богом… Этот

Кондратий Селиванов — в прошлом каторжник…

— Наш настоятель, — писал А. М. Елянский, — в котором Дух Небесный с Отцом и Сыном соприсутствует, обязан быть при особе самого государя императора, и как он есть вся сила Пророков, то все тайны советы по неизречённой воле небесной премудрости будет апробовать. А что он устами скажет, то действительно Дух Святой устами его возвещает, ибо великая сила Божья в нём есть…

Божественная канцелярия, возглавляемая самим А. М. Елянским, и должна заведовать этой связью с живым представителем божества.

Умер и Елянский, Кондратий Селиванов «вознёсся на небо». Но они вернулись, таинственные и неожиданные, через 100 лет, в лице Распутина.

В Распутине страшная и тёмная провинция прислала своего делегата:

— Смотри-де, Петербург, воочию, кто я! Русь страшная, тёмная верой, двоеверная, распутная, преданная царю особой безжалостной любовью, хитрая, идущая теми дорогами, которые были ведомы Рюриковичам и от которых сбились Романовы… И к тому же мои методы далеко не глупы…

Революция началась с Распутина. Когда баре Петербурга убили провинциального мужика Распутина, народ перебил бар. Наследником Распутина проскочил Ленин.

Одно к одному.

* * *

— В каком веке мы живём, если вы пишете такие вещи? — спросит меня читатель.

— Если мерить по Европе, то в XX! Но мерить нам по Европе не пристало, господа! Посмотрите на О. Шпенглера: сей умный немец говорит, что Россия живёт сейчас в средневековье… Не угодно ли вам вернуться туда, господа?

* * *

Как известно, Ленин пошёл против провинции и занялся «ликвидацией безграмотности». То есть полуграмотный «ликвидатор» берёт безграмотных мужиков, сажает их за полуграмотный букварь и по окончании «учёбы», которое знаменуется умением написать «хфамилие», —

«ликвидировавшемуся» выдаются сапоги.

Баста!

Или безграмотность ликвидируется ещё так: радио передаёт в избу, набитую мужиками и тараканами, звуки московской оперы, либо доклад о травосеянии.

Баста!

Ленину надо отдать справедливость. Он сумел своими мерами добиться того, что океан провинции плотно окружает теперь со всех сторон остров Москвы и Кремля. Всюду в газетах пишут, что всё, что может быть так или иначе отнесено к интеллигенции, находится в Москве; эмбрионы культурной городской сети сбежали туда:

— В Москву! В Москву!..

Две с половиной тысячи врачей служат в Москве писцами, а кругом лечат знахарки. Нет в провинции учителей, а педагоги служат «техническими работниками», то есть сторожами.

В провинции остались только священники и сектанты. Радио и ликпункты не мешают ей лелеять свои старые, излюбленные мысли. Они не мешают ей быть уверенной в том, что некоторые схемы власти, исторически употреблявшиеся ею, этой «провинцией», то есть повоёванною столицей землёй, в своё время окажут благодетельное действие. А сдерживающей силы городов почти не осталось.

Не следует ли поэтому ждать появления новых делегатов провинции у московских ворот на белом коне, с бородой, в красной рубахе, с топором в руке?

Ведь Распутин пришёл при более трудных обстоятельствах.

Не следует ли поэтому ждать третьей революции, крестьянской?

Первая была — буржуазная! Февраль.

Вторая — пролетарско-фабричная. Октябрь.

Третья будет — крестьянская.

Ведь грань между столицей и провинцией по-прежнему крепка. Блистательная Москва окружена сплошной мрачной и своенравной деревней. По-прежнему в Москве упражняются господа профессора Покровские в «безверии». Мейерхольды пророчествуют на разные лады о том, что «жизнь без искусства — варварство». По-прежнему выпираются в европейские ряды разные учёные.

Но в «Вехах» ещё О. Гершензон сказал, что «интеллигенция должна быть благодарна правительству, что оно пулемётами защищает её от народа».

На лазоревом Капри, у гробницы императора Тиберия проживает собственный советский интеллигент Горький, этот

последний из могикан.

Конечно, не только современный Петербург, но и Москва вся бы удрала за границу, где «так спокойно» и где воздух не насыщен ещё дыханием близких гроз; да не пускают, за исключением верных.

И только оттуда, из провинции, «где вековая тишина», где в стороне от событий живёт народ, нависло тёмное облако, видны зарницы и слышен гром:

— Крестьяне, подлинный русский народ, выступивший на дорогу революций, сбившимся старинным языком XVI века по-прежнему требует себе того, что нужно для его существования.

Столица не нашла ещё общего языка с провинцией.

Гун-Бао. 1928. 15 февраля.

Ставка на кур
(*В порядке дискуссионном*)

Подвёл нас Серафим…

Поговорка 1905 года

На мою статью «Во что обошлась русская революция» (см. № 349) я получил пять ответов. Два из них за меня, три — против; один из них, некоего господина Б-ма, редакция поместила в последнем воскресном номере «Гун-Бао». Сочувствующим моим взглядам большое спасибо.

С удовлетворением могу сказать, что очевидно статья задела некоторые живые струнки читателей. Письма и за и против отличаются общим одним свойством — они взволнованы, и это уже хорошо.

И в то время как корреспонденты «за» — плачут над бесплодными миллионами жертв, которые втуне лежат в могилах Прасныша, Равы-Русской, Карпат, Риги и Барановичей, корреспонденты «против» беспомощно разводят руками:

«К чему гадать, что было бы, — пишут они, — если иначе и быть не могло».

«Государственный организм был тяжко болен», — пишет господин Б-м.

Да, конечно, не с гнилым организмом создавать здоровую семью… Да, конечно, тому, кто слаб, не место на исторических путях… Да, конечно, в этом заявлении моего оппонента есть правда. Действительно, интеллигенция всё время до войны воображала, что «кто-то чем-то болен»… По всей линии нашей государственности шёл какой-то «надрыв»…

У Чехова в его письмах есть такое место о современных ему писателях:

— Теперь писатели все нервические, болезненные… А вы им не верьте — здоровенные они все мужики!

В психологической науке есть известное учение об обратимости психических переживаний на тело: если стараться впасть в уныние, держаться соответственным образом, ныть и ахать, то это, в конце концов, отразится на самом организме, до той поры здоровом. Посадите здоровенного парня в общество нескольких нытиков и пары брюзг, и вы увидите, что человек заболеет.

Эти ядовитые пары «праздности, уныния, любоначалия и празднословия» до сих пор вьются над русской, больною душой

интеллигенцией. Осколки дьявольского зеркала, искажающего действительность, до сих пор сидят у неё в глазу.

Если бы верить словам этих ипохондриков — то тогда надо было бы закрывать лавочку: где избавление, если бы, действительно, народ русский так глубоко *болен!* Сифилитическому организму самое лучшее — лечь в гроб.

* * *

Но народ здоров, глубоко и интуитивно здоров, как дитя. Небольшая книжечка С. С. Ольденбурга «Итоги двадцати лет царствования императора Николая II» — показывает это.

За двадцать лет, как мне неоднократно приходилось уже писать, во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, национального капитала, наконец народонаселения — увеличение больше, чем вдвое.

Давно, господа, пора бросить это интеллигентское пухлое слово покойного Ключевского:

— Государство пухло, а народ хирел!

Не хирел народ, а богател народ. И тот же самый Скиталец, незадолго до своего перелёта, говорил пишущему эти строки:

— Я с Волги… Из богатых мест… Из хлебных мест… По праздникам — мужики в синих суконных кафтанах… И, представьте, всю жизнь я должен был писать о голодном и страдающем мужике… Какая нелепость!

— Но почему же?

— Редакторы толстых журналов обижались… Не любили они сытого мужика…

Про какое же «внутреннее худосочие» пишет господин Б-м? Про некрасовский интеллигентский стиль:

> Вкусны ли, милая, слёзы солёные
> С кислым кваском пополам?

Нет, не народ был виноват, что случилось то, что произошло. Виновата, прежде всего, интеллигенция, и эту именно вину отметим мы осознанной в статье господина Б-ма.

Он пишет: «Громадная империя терпит катастрофическое поражение».

И объясняет это именно «худосочием» организма. Тут не может быть виновата никакая кучка…

* * *

Господин Б-м виноват сам уже этим чисто фетишистским представлением о государстве. Его воображение, его ум подавлен разными грандиозностями исторических процессов… Его затуркали, затормошили, запугали разными неотвратимостями «исторических процессов»…

Поэтому при катастрофе своего отечества (смею так думать, что господин Б-м русский) он почёсывает затылок:

— Эх, пошло чесать, мать честная… Как полыхает! Тут никакая пожарная машина не поможет…

Это чисто созерцательное отношение к происходящему есть характерная особенность русской интеллигенции. Пойдите за 20 копеек в кино и посмотрите какую-нибудь американскую фильму: там эдакий инженер в половодье, когда грандиозное устремление воды грозит разрушить мост, висит ночью при свете прожекторов над ревущей чёрной пропастью реки и всаживает собственноручно последние заклёпки, в то время как низший «технический» персонал чешет затылки на берегу:

— Эх, сейчас и загудит вниз, мать честная!

Но заклёпка поставлена, и, представьте, благодаря действию *одного* человека мост стоит несокрушимо:

Мосты повисли над водами…

Вот когда я писал статью, о которой идёт теперь речь, я говорил условно:

— Что бы было, если бы нашлись в военное половодье такие люди, которые вбили бы эти заклёпки… Не нашлось потому, что все руководящие слои были преступно воспитаны на некоторой вере «законосообразности» исторического процесса, что заставило их склонить голову перед роком.

А какие уж там «законосообразности истории», если в самой-то математике, физике и астрономии воцаряется теперь «закон относительности»?

Если бы в русском Временном Правительстве нашлись люди, которые бы сумели взять действительно власть в руки, как потом взял её Ленин, который уже за одно за это достоин уважения, поверьте, что русские военные инвалиды и ветераны получали бы теперь германские репарации, а миллион русской интеллигенции не обивал бы чужие пороги…

В русской революции были вожди.

В русской контрреволюции вождей не было. Даже Корнилов, и тот считал нужным рекомендоваться:

— Я сын казака и крестьянки!..

Другими словами: я — демократ, извините меня!

В этом отношении Россия — прямая противоположность Германии: там у революции не оказалось вождей, потому что Карл Либкнехт и Роза Люксембург оказались убиты…

— А у контрреволюции оказались: деревообделочник, социал-демократ, и патриот Носке не побоялся сказать:

— Если нужна теперь кровавая собака, то пусть я буду ею!

И ещё:

— Нужно пожертвовать жизнью тысячи дураков ради жизни нации!

И поверьте, народ бы поблагодарил такого русского Носке; но русские Носке, к сожалению, держались иной тактики: они выжидали…

И выжидают…

* * *

В представлении господина Б-ма государство подобно казённому огромному дому, выстроенному в незапамятные времена.

Там всё смирно, тихо, чисто и жутко.

Народ оттуда гонят в толчки.

Там разыгрывается величественная история. Там — «величества». Там — «международные сношения». Там — «командующие».

Нет, это не так. Государство — это дом народа, в котором правит определённый хозяин; и если кто в нём начинает скандалить или производить совершенно нелепые, противные здравому смыслу эксперименты, — так того надо выбросить за шиворот.

Вот и всё. И тогда в этом дому будет мир, порядок, богатство, благополучие и будут расти и учиться дети, чтобы наследовать уходящему поколению.

О нелепая русская бюрократия с её уложениями!.. Как ты сидишь ещё и в беженских, и большевистских мозгах с этим обожествлением власти мощей!

* * *

— Зачем на св. Софии в Константинополе крест? — восклицает господин Б-м.

Что же делать, если был уже такой договор между Россией и Англией. Понимаете, был!

Поэтому это не я «карабкаюсь» с крестом на св. Софию. На неё карабкалось старое правительство.

И вот что характерно. Господин Б-м — русский и, по-видимому, православный человек. Но он интеллигент. Крест на св. Софии не радует, решительно не радует его сердца.

Почему?

Да потому, что это оскорбит «мусульманское население»…

Вот какой господин Б-м милый человек. Рад не то что с себя, со св. Софии снять крест, чтобы только не оскорбить турок!

Это тоже типично для русского интеллигента. Как известно, русская внешняя политика всегда отличалась пресловутою культурностью, миролюбием и отсутствием национального эгоизма. И, конечно, такие действия русского правительства, утверждающие русские начала, конечно, встречались всегда общественной критикой и недоброжелательством.

— Крест? Фи! Некультурно! Квасной патриотизм!..

Вот почему я отношусь с величайшим уважением к тому англичанину, который на каком-то обеде в Петербурге (до войны), выслушав сплетни про царя, встал и козлиным голосом, фальшивя, но твёрдо и до конца один пропел свой национальный гимн.

Такой силы мнения у русских никогда не было. Они только умели подхихикивать весёленьким историям о панталонах Кшесинской:

— Николка — дурак! — радовались эти умники.

* * *

Союзники вышли из войны тоже «ослабленными», говорит господин Б-м.

Это «ослабленными» — великолепно. Конечно, война не прогулка в загородный ресторан. Но что союзники теперь слабы — позвольте этому не поверить! Извольте почитать иностранные газеты, как ключом бьёт жизнь в странах Европы, даже в самой побеждённой и «ослабленной» Германии. Там «довоенные» нормы давно уже превзойдены.

— Союзники вышли из войны разбитыми (?) — пишет мой оппонент. Дал бы Бог России такое «разбитие»!

— Англия справилась напряжением всех сил с угольной забастовкой, — пишет он тоже в доказательство неблестящего положения Англии.

Ну да, она справилась. Что же вы, жалеете её «напряжения сил», что ли? Такая заботливость похожа на анекдот:

— Не теряйте, куме, силы, опускайтесь на дно!..

Во всяком случае, Англия в настоящее время — первая держава света.

А ваша держава, господин Б-м, какая по счёту?

* * *

Но среди общей русской интеллигентской типичности заявлений господина Б-ма, который ничего не забыл и ничему не научился, характерно неожиданное следующее его жизнерадостное заявление:

— Но Иды ещё не прошли!

Если Цезарю эти завершившиеся Иды причинили крупные неприятности, то для господина Б-ма они сулят какие-то приятные неожиданности.

Он уверен, что цыплят считают по осени и что «по обе стороны рубежа куры не перестали нести яйца».

Эти куры, очевидно, и высидят что-то такое, что, по его мнению, даст возможность с несомненностью «подвести итоги» будущим выгодам так, как он подвёл итоги прошлым убыткам.

Бедные таинственные куры истории! Оне, голубушки, стараются, а русская госпожа-публика сидит праздно в первом ряду кресел и одобряет:

— Старайся, старайся, Хохлатка-История! Старайся… Снеси нам яйцо, да побольше, да не простое, а золотое… Восстанови, Хохлаточка, наше положеньице… Выручи… Мы интеллигенция, соль земли, а тут, на-поди, эмигрантское наше житие!.. Ни в чём мы не виноваты… реакция нас погубила, спасёт нас революция… Или, как говаривал полковник Скалозуб, — «Пожар способствует нам много к украшенью!».

Но что же осталось русской интеллигенции, как не делать «хорошую мину на сыгранную ею плохую игру»? Тоска бесплодных сожалений тяжела лёгким и пустым душам, и легче довериться курам, нежели себе.

Гун-Бао. 1928. 22 февраля.

О новой культуре

Не вокруг творцов нового шума,

—

вокруг творцов новых ценностей
вращается мир.

Ницше

Помнится, когда-то в детстве в одну глухую осеннюю ночь в маленьком нашем городке случился пожар. Я проснулся от быстрых тренькающих звуков церковного колокола — били в набат. В заплаканное осенним дождём окошко комнаты, краснея на быстро сливавшихся струйках, розовел какой-то красивый и страшный малиновый отсвет. Он дрожал, порхал по стеклу бесшумно, и страшно тренькал набат.

Нас, ребят, быстро стали одевать в этот ночной, полный дрожи необычный час. В комнату, волнуясь и распоряжаясь, ворвалась мать, и я отлично помню, что, несмотря на наскоро наброшенный капот, растрёпанные волосы, у неё на пальцах сверкало, в свете свечки и малинового пламени из окна, множество пёстрых колец…

Всё окончилось, однако, благополучно, публика, поднятая из кроватей, дружно качала на улице под красным дождём ручную пожарную машину, пламя стало сбиваться, оседать; стало как будто тише, но зато возбуждённее стали голоса в квартире и в соседней комнате раздались чьи-то громкие рыдания…

Вскочив со стула, где я полудремал с растопыренными от толстой одежды, впопыхах для тепла навьюченной на меня, руками, я увидел одну знакомую даму. Она билась в истерике, и родители мои хлопотали около неё. Оказалось, что у этой дамы сгорел её дом.

И как сейчас я вижу её тонкую, белую, как будто слегка закоптелую руку, тоже украшенную сверкающими кольцами…

Всегда, когда люди бегут из дома в глухую ночь, при свете пожара, то прежде всего надевают на руки драгоценные кольца:

— Удобно — не потеряешь!..

После революции случилось то же самое.

Мне мои друзья рассказывали, как поражались в Омске благотворительствующие американцы тому, что к ним приходили люди просить несколько бесплатных аршин бумазеи, причем эти люди были одеты слишком хорошо, дамы были в каракуле, и на руках их были драгоценности…

Да, драгоценности-то у них остались, но больше ничего, даже бумазеи — не было. А нужна была бумазея, нужен был хлеб.

* * *

Видя в известного толка газетах неумеренное превознесение так называемых «достижений русской культуры», — я всегда вспоминаю жуткий образ колец матери, которые переливались мёртвыми огнями при звуках набата, при малиновом свете пожара в ночное окно.

Мы слышим везде прославление Анны Павловой за её бессмертные классические танцы. Расточаются похвалы «русскому балету». Мы видим всюду в статьях, в фельетонах горделивые указания на Достоевского, на Толстого. Русские живописцы, вроде А. Яковлева, совершают свои экспедиции через пустыню Сахару, в составе колонны французского автомобильного короля Ситроена, и дают ряды изысканных картин, последних достижений живописного мастерства. В эмигрантской прессе известен такой журнал «Звено», посвящённый в изумительной беззаботности вопросам чистейшей эстетики, где князь Сергей Волконский создал свой известный культ театра, а камерный поэт В. Вейдле излагает ритмические достижения российского Парнаса.

Конечно, всё это очень хорошо, всё это очень культурно, всё это очень изысканно. Кроме того, это всё имеет такую видимость, словно бы в истории России ничего не изменилось. Посмотрите, что достигнуто в России! — словно говорят эти литературные и политические критики… — Смотрите, какие выси были открыты её корифеям!..

Но параллельно этому не закопано ли где-нибудь такого мелкого полусознаньица:

— А ведь и я-то, говорящий, проповедующий вам это, удивляющий вас этим — ведь я тоже русский!.. Не смотрите, пожалуйста, на меня, что я теперь в беженстве, что я не сумел сделать так, чтобы я имел бы свою страну… Мы страна Толстого!

Вы видите, как талантливы мои соотечественники! Быть может — я Наполеон…

Возможно, что я так же талантлив, как Воронов, удлиняющий и облегчающий жизнь богатым старцам!

И у него на закопчённых пальцах, ищущих работы, играют мёртвым светом перстни былых культурных ценностей былой России…

— Что ж тут такого, — скажете вы, — можно гордиться своими национальными сокровищами. Нужно их сохранять!

Да, сохранять их нужно. Да, гордиться ими нужно! Как красиво блестят разноцветными снежинками бриллианты на точёной породистой женской руке… Любуйтесь ею! Но рука эта должна быть поставлена в целый ряд обстоятельств, для того чтобы это эстетическое любование было безупречным…

Мне как-то в марте 1918 года пришлось путешествовать по России; обедая на заплёванной подсолнухами, забитой дезертирами станции, я против себя увидал балтийского матроса. Он имел лихой, уверенный в себе вид, георгиевские ленточки вились по широким литым плечам, а на крутой мускулистой обнажённой шее красовался превосходный кулон, блиставший золотом и драгоценными каменьями…

Едва ли этот пьедестал может почесться подходящим для русских культурных драгоценностей… Не подходит, увы, также к этой чеканной роскоши и худая, истомлённая работой рука беженки… И несмотря на то что камни, хотя бы и драгоценные, есть камни, всё же в их блеске видится что-то страшное: как тогда, в детстве, при виде пожара, пугался я этих камней на кольцах, так и теперь они мрачны и неприветливы…

Это не драгоценности. Это не блестящие от радости человеческие взоры. Это застывшие каменные человеческие слёзы… Слёзы горя и печали, в которых играет малиновое зарево, когда горит дом…

* * *

Русская культура — а мы условимся называть «культурой» только культуру живой страны — теперь, со всеми её драгоценностями, напоминает комиссионный беженский магазин. Может много хороших вещей купить человек, обладающий валютой, — вот бронзовые часы с плачущей фигурой Времени; вот тонкий, как лепесток жасмина, севр; вот лампа помпейского стиля на высокой струйчатой хрустальной подставке, ампир времени Александра I. Но вокруг всего этого — скорбное уныние, застенчивая тоска.

Ведь этот магазин самим своим изобилием свидетельствует об оскудении.

Ведь мало, конечно, было для русской нации народить себе великих людей; разве эти люди не могут поставить нации вопрос:

— А что же вы с нами сделали? Разве для этого мы воплощали в наши творения наш мозг, нашу кровь, нашу душу? Разве мы не были пророками, о чём вы теперь говорите? А где же те, что слушали нас, о чём вы умалчиваете?

Но вопросы могут быть направлены и в обратном направлении:

— А вы, что сделали вы с нами? Вы, мудрецы, которые вели нас и оказались обманщиками и предателями, которых мы должны развенчивать!..

Нет, будем осторожней с русской культурой.

* * *

Не кажется ли вам, читатели, что наступает теперь какая-то новая эра, эра, в которую должно снять нарядные кольца с закопчённых и окровавленных рук, эра молчания великих людей…

Мы не зовём громить их Пантеоны. Пусть почивают там, в мраморном безмолвии изумлённой памяти. Нет, нам нужен какой-то иной подход, менее пышный, менее нарядный…

Более скромный…

После пожара надлежит постройка. Простая повседневная работа, при которой кольца должны лежать в яшмовой коробочке.

В комоде.

Нужны другие речи, другие дела; надо просто жить; пудреные портреты предков — в кладовую; спрячьте туда же портреты царей.

Им ещё негде висеть! Ещё не вычищен храм истории… Или Авгиевы конюшни?

Равным образом нам всем предстоит вступить в общение с другими персонами, нашими соотечественниками, появившимися в это время, о существовании которых мы не подозревали, может быть:

— Это плотники, подрядчики, которые, несомненно, учтут ваше бедственное положение, начнут прижимать… Ваш язык не будет уже вести медлительных разговоров о чувствительном барине и голубом подсвечнике с изысканными розами — исчезнут беседы о высоких материях, разговоры ослепительные, тонкие, как брюссельские кружева, которые плетутся в сырых подвалах — иначе рвутся нити.

Нужен совершенно другой разговор, из которого необходимо выбросить, что относится к изыску. К рафинированной культуре. Уши ваши должны внимать другой, рабочий язык.

Идёт эра стройки дома или эра борьбы за это право; одним словом, эра библейской простоты.

Эра трезвого отчёта в возможностях, эра анализа обстановки.

Каждый человек будет стоить в это время столько, сколько

вообще стоит он сам. В данный момент. Не больше.

Русская эмиграция, которая в начале своего исхода имела в себе много подлинной народности, внеклассовости и прочее, постепенно утратила уже эти качества за 10 лет. Она грозит обратиться в одинокий, распадающийся утёс.

А в воздухе пахнет свежей весной, пахнет новыми идеями, новыми возможностями. Вот ещё шаг, и русская история вступит в новый фазис.

Этот фазис будет заключаться в сближении с потурубежными, намечающимися уже как-то национальными тенденциями. В обновлении идей, бывших загнанными, затерянными в вульгате русской истории, русской общественности.

Идёт эра волевого действия, эра конкретных интересов.

И в это время драгоценности русского духа настойчиво требуют для себя покоя.

Шопенгауэр в одном месте рассказывает, что дикари вновь открываемых земель принимали деревянные фигуры, украшавшие носы кораблей пришлецов, эти ростры, — за богов, благодаря которым движется самый корабль.

Но эти исторические фигуры — символ людей умерших, о которых осталась только память.

Кораблями же движут всегда люди, матросы и капитаны.

Живые.

И в них русская культура.

Гун-Бао. 1928. 2 марта.

Над кем смеётесь?

«Молва» вчера праздновала годовщину революции 1917 года целым рядом статей и стихов; в качестве же примера революционных достижений она привела фотографию, которая озаглавлена «Без фабриканта» и изображает какой-то завод. В этой фотографии самое замечательное то, что она помещена вверх ногами и таким образом символизирует подлинные достижения настоящего российского строя.

Мы бы рекомендовали совпрессе лучше писать о достижениях; реальные достижения могли бы кое-кого и помирить с новым строем. Но если для возвеличения своих достижений и для создания эффектного фона для своих реклам совпресса прибегает к искажению и оплёвыванию прошлого, мы считаем необходимым сделать возражение по существу.

В статье «Годовщина свержения двуглавого орла» неизвестный, как негр, автор выливает ушаты грязи на тот строй, который царил на Руси до февраля 1917 года. Излишнее старание; всем известно, каковы были недостатки упомянутого строя; всем памятно то воодушевление, которое овладело всей Россией при его отмене; люди, которым теперь по 20 лет и больше, должны отчётливо помнить, какие надежды питала Россия на будущее, как искренно она хотела сбросить с себя ошибки прошлого.

Но не «Молве» издеваться над тем, что произошло, — хотели истопить квартиру, а сожгли дом. И, конечно, никто другой как «Молва» и её хозяева теперь виноваты в том, что в народе память о революции не вызывает никакого восторга.

Упомянутая статья о «свержении двуглавого орла» имеет подзаголовок — «Режим безмозглых». Действительно, правительство последних лет русской империи выказывало мало мозгу. Оно не понимало, какие бури ждут русский народ, и легко шло к тому, чтобы народ сам взял свою судьбу в свои руки. Оно само шло навстречу революции, и «Молва» указывает, что отречение царя было сделано при ближайшем участии монархиста Шульгина, который поднёс царю эту чашу из своих рук верноподданного.

Но напрасно отождествлять «двуглавого орла» с «режимом безмозглых». Почти тысячу лет просидел двуглавый орёл символом России и, надо сказать, просидел с такой пользой, что теперешним властителям земли русской и во сне не видать.

На 1/6 часть Земли протянулось это государство, 200 миллионов народу объединило оно под своей державой. Оно

оперлось на два океана. И до 1917 года этот орёл обладал тем, чем русские уже не могут похвалиться вот уже 11 лет:

— Международным престижем.

Чем могут похвалиться, какими успехами, властители Руси настоящего времени? Гуманностью и либеральностью? Смешно. Народным образованием? Печально. Беспризорными? Неслыханно! Промышленностью? Она не достигла довоенного уровня и жалко плетётся в хвосте других стран. Расцветом науки? Слава Богу, всегда русская наука стояла высоко. Армией? То же самое. Миром и тишиной внутри страны? Видим, что люди удирают оттуда, пройдя «по 26 тюрем». Благополучием рабочих? Они не были раньше крепостными на фабриках… Крестьян? Они не могут свободно сбывать свои продукты, как раньше делали это. Трезвостью? Всё пьяно, и Рыков хлещет не хуже Николая II. Хвастаться решительно нечем, и если прошлый режим называть режимом безмозглых, то теперь к этому нужно ещё добавить — и бессердечных. Говорить о том, что самодержавие стояло на «трупах», просто смешно; кого теперь испугаешь этим словом…

Русская кляча рванулась в 1917, взмахнула хвостом, закусила удила и занесла всю государственную телегу под откос и в кусты. И не торжествовать надо, а скорбеть сердцем, смотря на общипанного орла российского. Власть, которая пишет в «Молве», живёт в настоящее время на длительный бесконечный кредит. Как курица, она клохчет о каждом достижении, как, разорив дом, из которого ушли стеснительные и культурные хозяева, живёт, превратив кухню в жилую комнату, среди двора, заросшего лопухами, распродавая добро, накопленное другими, заплёвывая старинные кресла махорочными плевками.

Посмотрите только ужасную русскую современную литературу, и вы увидите, что там ничего нет, кроме переводов с «буржуазных» европейских языков. Вот почему произошла невиданная трагедия русской революции: культура убежала от революции за границу или скрылась в подполье. Остались одни спецы, и то не в достаточном количестве. И вся страна живёт и думает:

— Господи, когда же я буду свободно жить, дышать, говорить, строить свободную жизнь в богатой и сильной стране? Когда же мне перестанет грозить опасность раздела, интервенции, новых переворотов, новых и старых казней?

«Без фабриканта» — гордо говорит перевёрнутая фотография; а это значит, что на место одного хозяина — воцарился коллектив, много хозяев, из которых каждый не доверяет другому… Скажите, что можно сделать при этих условиях?

И в то время как за границей миллионы русских людей живут

и несут на алтарь строительства чужих народов свой труд и знания, строители нового мира брызжут бешеной слюной ненависти…

А если кто и работает, то только не они, а русские, стиснув зубы, спасая то, что можно спасти, спасая этим от окончательной гибели русский народ…

Над кем смеётесь? — Над собой смеётесь!..

Гун-Бао. 1928. 13 марта.

О спецах

Его величество пролетарий — стал, как известно, центром Нового Мира; озарённый красным пламенем горна, этого мощного образа новой идеологии, с огромным молотом в руках, средь бешено вращающихся маховиков, гудящих приводом, и летящих отовсюду эффектных искр — пролетарий этот приступил в условиях русской действительности к постройке Нового Мира.

Как известно, постройка этого Нового Мира была связана известным условием: вначале надо было разрушить Старый Мир, а потом на его развалинах заняться постройкой Нового.

Первая часть этой программы прошла чрезвычайно успешно. Мы видим, как для уничтожения старого всюду прилагаются усилия, поистине достойные лучшей участи. Про них можно сказать словами Ницше:

«В камне спал образ моих образов, в самом тёмном, самом безобразном камне… И вот мой молот свирепствует над его тюрьмой, от камня летят куски — что мне до того…».

Эта кампания разрушения была проведена очень успешно; для нового диктатора и коллективного самодержца России встретились затруднения лишь с открытием новой, положительной части его работы, с началом строительства «нашего Нового Мира»…

В этом строительстве, как известно, вышли крупные невязки. Оказалось невозможным прямо перейти к строительству социализма, а сделав добрую мину — пришлось провозгласить НЭП, то есть новую, а по существу старую экономическую политику, «сделать передышку», «отступить на заранее укреплённые позиции» и так далее, о чём достаточно звонко твердит фразеология очередных лозунгов.

И вместо его величества пролетария, этого худосочного и озлобленного, прокопчённого досиня каменноугольным дымом труб, пропитанного машинным маслом человека, настоящего Гомункула современных марксистских Фаустов, явился новый исторический персонаж — *Нэпман.*

— Новый? — спросите вы. Отнюдь нет! Это явился тот же старый буржуй, который, поняв несложную истину, что плетью не перешибить обух, стал на платформу сотрудничества с соввластью. Сотрудничество его заключалось в том, чтобы ревностно и недостойно подбирать упавшие крохи со стола государственной работы, чтобы гнездиться там, куда не могли достигать жестокие рычаги государственных формул и тяжи государственной логики. Если нэпман попадал под удары

государственных рычагов — кончено, его песенка бывала спета; если же он ловко ускользал — он жил припеваючи, в особом мире, приятном даже своим риском…

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю…

Нэпман накормил бедного короля машинных дворцов; но строить всё-таки надо было что-то, а для этого надо было уметь. Если бы социальная революция вспыхнула и в Европе, то тогда, может быть, и можно было обойтись принципом первого портного, который сам учится шить свои первые штаны. Но классы в Европе остались неприкосновенными, а вместе с ними и богатство классов в виде кадра классифицированных работников, и чтобы не остаться с Новым Миром окончательно в хвосте буржуазной заграницы, чтобы иметь людей, которые помогли бы не попасть окончательно в кабалу к иностранцам, пришлось создать новый Нэп, *институт спецов,* но уже маркой выше.

Кто такой спец? Это человек, который умеет. В этом он — прямая противоположность пролетарию, который, как оказалось, ничего почти не умеет. Законы природы и науки — неотменимы; и если какой-нибудь «герой труда» всю жизнь занимался тем, что подбрасывал уголь в топку паровоза, то как, скажите, пожалуйста, как построит он новый паровоз?

В спецах былые классы былой России показали свою реальную силу. Спецы — прямое доказательство того, что Россия не была столь бедна и поразительно убога, как изображают это революционные писатели. Спец — не что иное, как заключённое перемирие, вынужденное, между старыми и новыми хозяевами жизни, вынужденное логикой вещей начало мира.

И если теперь в России строится армия — то она строится спецами; если строится какая-нибудь фабрика — она строится спецами; правда, много ходит рассказов про «самоучек» и «самородков», которых выдвинула революция. Но искушённый жизнью человек всегда скажет, что, конечно, самородок останется самородком, а всё-таки, если дать специальное систематическое образование одной-двум сотням молодых людей, так это во много раз лучше дюжины сомнительных самородков.

И мы видим, что в России те области техники, государственного строительства, науки, медицины, которые сложнее первичной работы молота, таблицы умножения, первых четырёх правил арифметики, — они все уходят к спецам, а русская революция с величайшей непринуждённостью обнаруживает своё безграмотное лицо.

В России нужны ликпункты, то есть ликвидация безграмотности, но не там, где это показывают обыкновенно и чем вводят в заблуждение заезжих иностранцев. Ликвидация безграмотности нужна, прежде всего, для правящих слоёв, и если СССР что-нибудь и производит, так только потому, что на помощь ему пришли остатки былой старой культуры России — спецы.

* * *

Спецы тоже относятся к тому роду людей, которые поняли, что плетью не перешибить обуха и что время — лучший целитель-аллопат того, что не удалось исцелить хирургией гражданской войны. Необычайным трудом и терпением они доказывают, что праздники революции, все эти лозунги для «масс», все шествия и т. д. — одно, а будни и рабочие будни — другое. Они доказывают самым лучшим видом обучения — наглядным, что государственная работа стоит, когда толпа демонстрирует или поёт революционные песни, которые всё равно никого никуда не «поведут», а только лишь уменьшают количество и качество даваемой продукции.

Спецов подозревают, спецов не любят, их не допускают на ответственные должности; спецы — перманентная контрреволюция; но, увы, — то, что делается и что создаётся сейчас в России, — создаётся при помощи их рук той старой культурой, которая жива и по которой столько колотил, разнося всё вдребезги, — нелепый молот пролетария.

В спецах — живы государственные императорские университеты, инженерные училища и институты имени разных государей, медицинские факультеты. И кроме того, в них живёт оскорбительное сознание, что им приходится работать подобно нэпманам, воровски, урывая часы от революционных прогулов, виляя, лицемеря, увиливая пред всяким демагогом, который может им бросить в лицо упрёк в «буржуазности».

В силу самой своей культурности все спецы — государственники, поэтому, поддерживая своими известными достижениями работу III Интернационала, они должны относиться к ней двояко — или считать её глупостью, которая никогда не удастся, или не обращать на неё внимания.

Но и в том и в другом случае медленный прогресс и небольшие достижения в СССР возможны только тогда, только там, где замирают революционные устремления нового владыки-пролетария и где над ним раздаётся властное, управляющее им слово спеца, защищённого «табу» своего звания.

* * *

Сама двойственность положения этих спецов, которую мы очертили, даёт возможность некоторым заграничным группам делать на них ставку. Именно на них делал свою ставку знаменитый Трест, во главе с Опперпутом, который возил в Россию Шульгина. На них же делают ставку и иные зарубежные организации демократического склада.

Но какие организации ни строили бы на спецах своих расчётов, этим организациям надлежит помнить одно:

— Конечно, горек спецам тот обильный хлеб, которым кормит их сейчас СССР. Даже не политически горек он. Он горек потому, что спецы поставлены лицом к лицу с разнузданностью революционизированных масс. Он горек потому, что спец при малом наличии «ревдисциплины» с отчаянием видит, что его усилия к работе в значительном проценте буксуют на месте.

И, конечно, трудно со стороны их ждать полного сочувствия новому строю; душой спецы со старым.

Они разочарованы в делах революции, которая им досаждает и мешает работать. Но не бойтесь, они не очарованы и контрреволюцией, которая показала столь блестяще неподготовленность, непродуманность своих путей. Они не пойдут ни в революционные, ни в контрреволюционные авантюры, *своим культурным влиянием всё время осаживая революцию, углаживая её взбаламученное море.*

Вот что должно объяснить их известную, ставимую в упрёк «беспринципность»; во всяком случае — суд истории ещё впереди.

* * *

Может быть, ситуация изменится; ещё несколько лет, десяток-полтора, и от этих спецов, воспитанников старой культуры, не останется и следа. Но может быть — останется традиция.

Во всяком случае, видя среди замасленных кепок стиля Ильича замызганную старую инженерскую или техническую фуражку, сохраняющую свой вид и свой облезлый бархат, или военную выправку под штатским костюмом, я невольно говорю:

— А всё-таки она вертится… А всё-таки — как ни был самонадеян пролетарий — ему не обойтись без тех, кто ему указывает путь… А всё-таки вот доказательство великого фарисейства революции, отдавшей власть не тем, кто может её носить!..

Но ничто не пропадает в мире даром, особенно же

государственный опыт. И это даёт нам право на некоторый оптимизм в грядущем:

— Может быть, именно спецами будет ликвидировано гражданское невежество революции, в борьбе классов видящей начало всех начал, и не они ли проложат путь и России?

Гун-Бао. 1928. 14 марта.

Заметки на полях сердца

Я всегда физически ощущал революцию — что-то вроде петербургской позднеосенней погоды, когда вы идёте по Тучкову мосту с Петербургской стороны, сквозь вой ветра с моря, сквозь белёсые призраки снега, пляшущего вокруг зелёных газовых мигающих фонарей, сквозь хлещущий в лицо дождь. В самой природе тогда есть какое-то буйство, какая-то революция.

И теперь продолжается тот же колючий, острый октябрьский ветер, и ещё и теперь трудно идти сквозь него.

— Куда идти? — Конечно, к дому, как тогда, к студенческой зелёной лампе, где шипит керосин, где так скоро за книгами пролетают ночные часы, где в готических буквах немецких томов едва витают бледные образы трансцендентальной философии…

Ach, wenn in unsrer engen Zelle
Die Lampe freundlich wieder brennt,
Dann wird's in unserm Busen helle,
Im Herzen, das sich selber kennt…

(Фауст)

* * *

Я очень люблю «петербургскую погоду» до сих пор, в ней есть что-то приятное. И в революции есть тоже что-то приятное, волнующее. Вызывающее. Помню, в 1917 году довелось мне в апреле месяце быть в Питере, в революционном, всклокоченном Питере. Сидел я как-то под вечер у своего приятеля художника Ивана Иваныча в высоченном доме № 9 по Среднему проспекту Васильевского острова. На землю, на город спускалась ночь, апрельская тёплая ночь с пылающим красным поздним уже закатом, с лесом разорванных, жидких чёрно-янтарных морских облаков… В небе было что-то апокалипсически тревожное, и в тон этой тревоге где-то вдруг затрещал пулемёт, которому клёкотом ответили галки на высоких крестах Екатерининской церкви на Кадетской линии.

Иван Иваныч подошёл к раскрытому окну и, вдыхая тревожную свежесть, — радовался:

— Как хорошо! Как красиво! Революция!..

* * *

Те, кто пережил Великую войну, те знают, что огромный русский народ словно сначала в 1914 году обрадовался возможности идти в походы убивать, умирать, только бы не это, только бы не предвоенное русское томление духа:

Весенний день прошёл без дела
У неумытого окна;
Скучала за стеной и пела,
Как птица пленная, жена.
Я, не спеша, собрал бесстрастно
Воспоминанья и дела;
И стало беспощадно ясно:
Жизнь прошумела и ушла…

* * *

Наполеон, господа, значительно опаздывает. Наполеона русские ждали во всё царское время, по Наполеону, по герою, тосковала чеховской дельной тоской вся Россия:

— Дело, господа, надо делать… Дело!

Хвать, а дела-то и не оказалось…

О, если бы у русских явился тогда царь-вождь!

* * *

Приятно было тогда прорезать своим корпусом бурю и мокрый снег петербургской погоды, приятно было «ставить номера» во время отбытия лагерного сбора в Толгском лагере под Ярославлем… Это был своего рода бунт. О тихие волжские зори, площадь Спасского монастыря в Ярославле, где над тротуарами вдоль белых невысоких стен в натуральную величину изображены тихие ангелы с крыльями и девичьими лицами (а может или нет быть у ангелов *натуральная* величина?) и невдалеке гудел пьяный трактир «Царьград» с зелёным вуалевым светом калильных ламп и зелёными гектарами бильярдов… А над Волгой сад, где памятник графу Демидову, масону, учёному, вельможе и меценату, дар которого — Лицей сожгли в революцию…

* * *

Пришла желанная революция; лёжа на походной узкой койке, я чуть ли не единственный раз в жизни плакал тогда… Кто? Кто?! Вот стоял предо мной вопрос. Кто же будет управлять?

Управляющие Наполеоны пришли, но, Боже мой, что это были за Наполеоны!

— Мы снимем с буржуев шубы и отдадим вам, — кричал в Народном Доме в Петербурге Троцкий…

(Теперь Сталин снял шубу с него самого!)

Ленин держал экзамен на Наполеона у дома Кшесинской, а кадеты бегали, разводили руками и говорили о «натуральных» правах высказываться…

— О политические, кретинообразные младенцы! И до сих, понимаете, до сих пор талдычат они «о правах»… А пусти править Милюкова — двум свиньям щей не разольёт…

* * *

— Товарищи! — слышал я на солдатском митинге. — Товарищи! При нашем строе у каждого из вас будет автомобиль.

— Ур-р-ра! Ур-р-ра! — ревела толпа.

* * *

— Бороться?

— Конечно! Конечно! Спасать!

* * *

Студенты, гимназисты, прапорщики, офицеры стояли в рядах и ждали. Мы ждали. Из Омска приехал какой-то уполномоченный полковник, и мы, только что вырвавшиеся из-под опеки марксистов и оной «диктатуры», жадно ждали от него слова — *что делать*…

Приехал толстый старик с лиловым носом, поздоровался и милостиво объявил, что жалованья мы будем-де по чинам получать столько-то, а обмундирование и сапоги нам выдадут.

Всё?

Лопнул полковник, как мыльный пузырь.

* * *

Да, я ранен и контужен,
Дорогой мой, золотой!
Дома скажут — на что нужен
Доброволец молодой…

— пели студенты.

* * *

Пролезшие в Наполеоны революционеры, окончивши «победно» войну над своей голодной интеллигенцией, стали строить «новую жизнь».

И построили пильняковскую повесть «Голодный год»…

И больше того: теперь эти Наполеоны уже даже стыдятся своего происхождения, уже как-то не уважают и революцию, её вольный пьянящий дух.

— Ах, какими охранителями они стали!

Они, рождённые из кровавого гнезда революции, — забыли про неё, про свободы, про порывы, про весь арсенал завлекательных вещей, про вольных соколов, про гордых чаек…

И невольно ставится вопрос:

— Да возможна ли, господа, вообще революция в наше время?

Марсельская дева 1789 года шумела орлиными крылами по всему миру; мир шумит теперь кредитными билетами, да так вовсю, что всё меньше и меньше становится слышным хриплый голос Московской девы; господа, какой же там голос, если вместо армий Мюрата, Даву, вместо Маренго, Бородина, Аустерлица — Госторг и спекуляция на закупке собачьих шкур, или «ловля селёдки у берегов Ирландии», или торговля крестьянским хлебом?

Европа, получив опыт революции, сто лет работала над ним и побеждает Москву…

Мефистофель имеет в некоторых случаях право улыбаться. А мой милый художник, Иван Иваныч, не подзанялись ли вы теперь «центрокожей»? Сытнее!

* * *

Если можете, представьте себе Марата на посту комиссара промышленности, Робеспьера — занимающего пост торгпреда в

Англии, Сен Жюста, заботившегося бы о театрах и выступавшего бы в Петербурге представителем Парижа на придворных балах с чужой женой в чужих алмазах?

* * *

Нет, революция запоздала! Она пережила себя. Это какая-то — первая старая железная дорога с паровозом Стефенсона, проданная хитрой Европой в эдакую африканскую землю, в то время как на континенте летят экспрессы «Золотая Стрела» и аэропланы бороздят воздух по всем направлениям:

— Русская революция не решила тех задач, которые силилась разрешить.

* * *

Так куда же звала нас петербургская погода тогда, на Васильевском острове? Посмотрим, пользуясь пережитым опытом.

Во-первых — из-под опеки, не из-под опеки вообще, а из-под авторитетной, ленивой и глупой опеки. Каждый свободен сам по себе в развитии своих талантов или своих глупостей, покамест они не мешают друг другу и государству.

Подумайте, можно ли было до революции, например, пересмотреть историю России? Можно ли было свободно проповедовать такие спасительные и справедливые учения, как евразийство, которое даже и теперь всюду встречает такую жестокую и глупую либеральную цензуру?

Русские хотели быть свободными, тогда — вот почему была столь приятна борьба.

* * *

Но —
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не всё ли нам равно?..

— сказал Пушкин.

Почему я должен зависеть от невежественных парней, которые называют себя совнаркомами, обманывают весь мир, пьют и торгуют тем, что не сами создали?

* * *

Разве вы не слышите вновь этого секущего лицо ветра, не слышите глухого враждебного ропота Невы и Финского залива?

Да, опять он, этот противный радостный ветер. Да, опять утверждение себя в борьбе.

За что?

Да за старые же идеалы интеллигенции, можно сказать, но за углублённые опытом. За общий строй, за свободу таланта каждого, за мирное сожительство в обновлённой нации., за добрую помощь друг другу.

За ту гордость Россией, которая всегда была, была в каждом русском, хотя и не все видели её там. За эту спаянность русских между собой, при которой оскорбительно и холодно было бы именовать друг друга «Вы».

За осознанную нацию. Россию.

И это приятно. Потому что борьба — начало всех вещей.

* * *

Потому что кроме кажимых ценностей — есть вечные ценности. Они тихи, они скромны, они зовут за собой, но зовут ласково:

— Яко же бо звёзды положением на небеси утверждены суть всю же поднебесную просвещают, тыяжде и от индиан зрятся ни срываются от скифов, землю озаряют, и морю светят, и плавающих корабли управляют — их же имена аще и гневемы множества ради, но светлой доброте их чудимся…

Так говорил св. Симеон Метафраст, и повторим за ним и мы. Ценности эти всегда, везде, и потому мы опять видим их на том же месте, среди рассеивающейся пыли, поднятой вознёй революции. И не кажется ли нам очевидным, что не буйственностью революции можно их достигнуть, не спасения блудом, а наоборот — сдержанностью, и выдержкой, и волей?

* * *

Необходимо пересмотреть тактику. Конечно, «нож и пистолет отлично действуют на индейцев, но мыло не меньше действенно, хотя и не столь эффектно», — говорил когда-то Марк Твен.

* * *

Молнии нашей русской тоски нужно влить в иные, рабочие, незаметные формы.

Пускай молнии светят, но не жгут.

Гун-Бао. 1928. 21 марта.

В минуты упадка духа

В некоторые моменты духовной тоски или, может быть, — тоски по родине, или же в моменты, в которые ясно встаёт сознание эмигрантской неудовлетворённости, безвыходности положения, когда сердце начинает стучать в грудной клетке, как запертый наглухо дикий зверь, или в те ночные часы, когда просыпаешься от какого-то великого на тебя чьего-то гнева, душной ярости, — как в жару больной тянется к лимонному питью — тогда тянется душа к чему-нибудь такому острому, что оскорбило бы её, царапало бы, но непременно только бы звало к энергии…

Три часа ночи, и ярко горит свободное электричество. Люди спят; хорошо тогда сесть за разбор бумаг.

И вот — выписки из этой оскорбительной книги: русские люди необыкновенно самодовольны и чванны: начали считать себя страной Достоевского и Толстого, и баста…

Но считают ли их такими иностранцы?

Иногда, правда, не считают; но тогда приходит на помощь тот знаменитый подарок, который оставил Александр Дюма — «развесистая клюква».

Стоит только обозвать «развесистой клюквой» те наблюдения, которые делают над русскими иностранцы, если эти наблюдения им не по сердцу, — и баста! Право на дальнейшую инертность приобретено.

А неугодно ли вам, в минуты ипохондрии, вот такие наблюдения, которые сделал над русской душой некий сэр Галахад в своей книжке «Die Russische Literatur»?

Для русских русская литература всегда была источником поучения на тему о том, как жить. А для него, этого таинственного автора, — литература эта является тоже источником, на основании которого он выводит заключения о «русской душе»…

Но какие заключения… Нет лучшего материала, чтобы поднять на дыбы русскую душу против самодовольного жёсткого Запада…

Его книга — «есть руководство, — пишет автор, — по идиотизму русской литературы»! В заострённых эксцентрических формулах бросает он вызов всем русским.

— Да, — говорит он, — русская литература проповедует идеал всечеловека, но на самом деле она заменяет его идеалом всекретинизма…

— Кто является героем русской литературы? Иванушка-

дурачок, Платон Каратаев, Аким, «идиот» — князь Мышкин… И это происходит потому, что у этого народа нет ни инициативы, ни подлинной, себя сознавшей души… В 862 году этот безобразный народ (ударение на «об») призвал варягов, а в 1917 году — компанию в запломбированном вагоне…

— Лавр веет над греком, индус созерцает лотос в Ганге, и оба они привязаны к земле; у русского народа нет никакой привязанности, нет никакого прикрепления к земле… У него нет тяготения к утончённости творчества, к заострению самосознания.

— Напрасно говорят, — говорит мой ночной собеседник, — что-де «монгольское иго» повредило самостоятельности русского народа… На Востоке всюду сияет легенда о Чингисхане и нет никакой скорби об «иге»… Равным образом в песнях персидских поэтов, в розах Шираза это иго не явилось чёрным пятном…

— Возьмите Достоевского и Толстого. Разве оттуда не смотрят на вас идеалы «идиота»?

— Достоевский поучает Европу, а во время путешествия по Европе он только и видел, что рулетку… В синей дали Умбрских гор, путешествуя по Италии, он не заметил флорентийских красот, он не остановился перед Мадонной Дрезденской галереи… Вместо этой показной, прекрасной, свободной, дивной культуры — он в романах своих открыл только клинику для больных душ… Его герои грязно блудят на клеёнчатых диванах, ничего не делают, их работа — психологическое одно непотребство.

В мире Достоевского нет окон, куда бы струился полный тишины и ясности солнечный свет. Там нет пения птиц… Люди погребены, как трижды мучимые углекопы, в шахтах своей души, они больны «психологическим колтуном»…

— Есть Бог? Нет Бога? — вот вопрос, вокруг которого герои Достоевского вертятся в пляске святого Витта. И «в этой монотонной канители нет ни человечности, ни божественности»…

Здесь — только безрадостная, больная, безраздельная сексуальность, здесь садизм, здесь мазохизм… Сюда не прилетал владыка красоты, пламенный Эрос…

Таково положение и у Толстого; трагедия Анны Карениной — вращается кругом пустого места… Толстой идёт против всего, что есть на свете красивого и именитого… Он не верит в Наполеона, он развенчивает его, противопоставляет ему сморкающегося, старчески слезливого Кутузова, эту фигуру идиотизма… Его герой — не благовонный Аким, его любимец — круглый Каратаев…

И Наташа такая же распустёха, и ничего нет у неё своего; триумф материнства — грязные пелёнки, да вывод толстовской морали, что «нет ничего теплее навоза и любви к ближнему»…

— Пушкин? Да, был Пушкин! Пушкин подражал французам и Байрону, — говорит наш автор, и к тому же в нём была чужая «поющая негритянская кровь», которая и дала русской литературе некоторый чуждый ей суррогат эллинского благозвучания…

— Только на почве Толстого и Достоевского могло вырасти это убогое создание человеческого ума — «эта диктатура пролетариата». Марксизм — рационалистичен насквозь, но ведь, господа, культ разума именно там, где фактическое царство глупости… Революция создала нового русского идиота, «идиота от разума»…

— Только духовные кастраты могут поступать в певческий хор Интернационала, — говорит сир Галахад, — ибо в воспевании коллектива душится душа жива, а человек повергается в тьму истинного бездеятельного идиотизма…

* * *

Минуты, а потом часы ночной бессонницы пролетают молча, и стучит за окном караульный. Напрасно стучит, потому что в прошлом году всё равно обокрали… Напрасно пророчат российские пророки, а если опять Россию обокрадут так, как обокрали теперь?..

И как радио воспринимает невидимые волны и отдаёт их телефону, так и душа содрогается от каких-то незримых, но реальных волн истории, бушующих над нашими головами… И я почти понимаю евангельскую притчу о тех девушках, которые не спят по ночам…

Гун-Бао. 1928. 28 марта.

Темучин

В русских летописях есть устойчивое интересное понятие «крестьянского», то есть христианского царства, во главе которого стоят византийские императоры; русские летописи начинаются всегда изложением истории этого царства, воцарением на нём православного царя «Константина», и только по изложении этой истории начинается изложение собственно истории Руси, прививая нам настойчиво византийскую традицию.

Несомненно, что ведшие летописи монахи-грамотеи, о которых я уже неоднократно указывал, что они были греческими патриотами — монахами, считали русскую землю частью Византийской империи. Те притязания, которые Византия питала по отношению к Западу, наследию Римской империи, прекратились ко времени I тысячелетия по Р. Х. В IX веке окончательно отложился от Византии, обуреваемой «сектой Фотия», Папа Римский, в XI веке этот раскол произошёл окончательно со взаимным анафематствованием; конечно, сравнительно не столь важные догматические расхождения лежали в основе этого раскола: Византия знавала более серьёзные догматические расхождения и споры об ересях между отдельными своими городами; нужны были политические интересы и влияния, чтобы этот раскол углубить, перевести его в противоположенье насущных государственных интересов. Потеряв Запад, Византия должна была отыгрываться на востоке, причём для неё как западные, так и восточные племена были одинаково варварскими и по существу не отличались между собой, принадлежа к единой волне переселения народов.

* * *

Но на востоке дело не обстояло столь благополучно, как оно было у Рима на западе; там патриарх Римский шёл твёрдо к вершине своего могущества, опираясь на традицию Вечного Города; здесь славянское население греков не очень жаловало, «греци бо суть льстиви», и византийское влияние сохранялось лишь в православных да литературных традициях да в православной иерархии. Князья, как мы видели, пребывали в крамолах да междоусобиях; дело доходило до того, что, бывало, православные воители угрожали самому «Царьграду», то есть городу царя, который должен бы быть единым, как Христос един на земли; одним словом — Византия безуспешно терпела одни

поражения в подражании той политике, которую вёл Рим. А когда в 1204 году под византийские стены прихлынули орды крестоносцев, собранные, как известно, из разной «сволочи», когда пала Византия и храмы её были разграблены этими западными своеобразными христианами, ставившими в церквах коней, да средиземными пиратами Венеции и Генуи, — престиж Царьграда потерпел ещё больше.

С кого же было русским князьям брать спасительный, руководящий пример для построения русской государственности?

И вот, на глазах русских того времени, вихрем поднялся и девятым валом опустился на русскую землю этот пример в лице последнего царства, которое в своих специфических формах выбросила из себя Азия. В то время как Европа враждовала в феодальном устройстве, в то время как шёл уже делёж «наследия Карла Великого», в то время как русская земля изнывала в кровавых распрях своих мелких владык, а население было грабимо всеми, кому не лень, в глубинах Азии вставал последний на нашей памяти облик монархий Азии, которые грозили ещё классической Греции в ордах Ксеркса, против которых ходил в легендарные страны Александр Великий, принося оттуда пленительные традиции, столь отобразившиеся в эллинистической культуре, откуда приходил грозный Атилла, и о могуществе которых, конечно, грезила Византия, в своей упадочности нанимавшая для этого к себе на службу готов, гуннов и македонян, которые потом захватывали императорские золотые престолы, заливали кровью императорские опочивальни и гинекеи. Одним словом, в Азии вставала колоссальная фигура Чингисхана, упавшего, как гром Божий, на Европу.

* * *

У одного князя монгольского племени Бордшиген, Ессугай Богатура, в урочище Делигун Булдак на реке Онон родился сын; историки всегда указывают, что мальчик родился с двумя сгустками крови в твёрдо сжатых ручонках. Отец дал ему имя Тенгрин Оггюрсен Темучин, то есть Темучин, которого даровало Небо. Было это примерно в 1167 году.

Что застал Темучин в своей земле, когда стал приходить в возраст? То же междоусобие, те же крамолы и распри! Монгольская история сохранила полные эпического драматизма моменты из ранней молодости Темучина, когда он должен был спасаться от своих врагов из племени Тайдшигод. Среди приволья зелёной суровой природы Монголии, среди её бесконечных

просторов, воспитываемая в простых и несложных традициях предков на основе простой, но благородной религии обожествления бесконечного голубого Неба Тенгри, вырастала эта крупная сильная личность, вырастала в условиях чисто эпических. И если Гомеру, которого возрождение греческого языка в Италии, отколовшейся от Греции, вернуло человеческому сознанию после всех ухищрений и хитросплетений римского средневекового христианства, — если этому Гомеру удалось вернуть вкус западного человечества к простому и действенному мировоззрению, положившему начало новой эры, то в лице этой личности Темучина в Европу дохнуло не поэтическое изображение изначальной простоты жизни, а именно сама эта жизнь на широких и привольных лугах и просторах, жизнь героическая, которой нечего было искать в интригах византийских евнухов, и последствия её появления — грандиозны.

Жестокий естественный отбор сыграл свою укрепляющую роль в личности Темучина; в испытаниях и войнах гибнут слабые, сильные укрепляются и закаляются духом. В войнах за объединение закалился Темучин. В этих беспрестанных войнах им выработана особая своя военная тактика, которая до сих пор ещё служит для изучения европейским теоретикам военного искусства. В нём выработалась особенная жадность к жизни, к власти, к её проявлениям. Темучин не считал себя рядовым человеком, он верил в своё провиденциальное назначение, в свою божественную миссию, и, конечно, бог войны, сопутствовавший ему всегда, поддерживал в нём эту уверенность.

В одном из своих посланий Темучин говорит, стоя уже на вершине своей славы:

— Я, обитая в северных степях, люблю простоту и чистоту нравов, отвергаю роскошь, следую умеренности; у меня одно платье, одна пища; я в тех же лохмотьях, то же ем, что коровьи и конские пастухи; я смотрю на народ, как на детей, забочусь о талантливых, как о братьях, мы согласны в замыслах, взаимная любовь у нас издавна. В обучении войск — я всегда впереди; впереди в боях я не думаю об отступлении. В семь лет я совершил великое и во всех странах света утвердил единодержавие, покончив своеволие мелких властителей.

Темучин начал своё завоевательное движение на запад единственно возможным путём: с объединения монгольских племён, с прекращения самовластия отдельных правителей. Объединив их, он на Курултае, на берегах Онона, в 1203 году был провозглашён Хаганом, то есть Великим Ханом, и с этого же времени он получил имя Чингиса. Двинувшись на запад, он

покорил Среднюю Азию, в своей диверсии на восток занял все северные провинции теперешнего Китая, включая Шаньдун, по Жёлтую реку (в то время Жёлтая река впадала в море южнее Шаньдунского полуострова); после длительной и тяжкой борьбы с Джелаэддином, энергичным властителем современной Хивы (Хорезма), вторгся в Индию, и один из его отрядов выскочил в Донские степи в 1224 году, где и разыгралась знаменитая битва на Калке (30 мая).

Это уже не были бессильные греки: летописец (тверская летопись) записывает под этим годом:

— В лето 6732. По грехом нашим, приидоша языци не знаеми, безбожные Моавитяне, их же никто же добре не весть ясно, кто суть, и итколе изыдоша и что язык их, и которого племени суть, и что вера их, и зовут их Татары, а инии глаголють Таурмени, а друзии Печенези.

Конечно, сейчас же здесь появляется специфическая учёность:

— Тако бо глаголет Мефодий, епископ Паторомский; яко в скончание времени явитися им, ихже загнатамо Гедеон, и изшедше оттуду попленят всю землю.

Но здравый смысл борется с этой традиционной чепухой:

— Бог же весть един, кто суть, и отколе изыдоша, мудрии люди ведят, кто книги разумеет; мы же их не вемы, кто суть, но и зде написахом ради русских князь и беды, яже бысть от них; но не сих же ради случися, но гордости ради и величания русских князь попусти Бог сему быти. (Стр. 336, изд. 1865 года в «Полном Собрании Летописей».)

И начинается изложение простое и эпически спокойное раздоров между великим князем Юрием Ростовским и Константином Владимирским из-за Ростова, как раз перед появлением монголов.

— Константин отыде к Костроме и тоа с`жже: Юрий, стояще под Ростовом, в Пужболе; Александр же (военачальник Константинов), выходя многы люди великого князя Юрия избиваше, их же кости накладены могилы великы; обороняху град Ростов молитвами Пречистыя.

При таком хаотическом положении вещей и пришли первые известия о наступлении Чингисовых войск; между прочим, необходимо заметить, что сам Чингис на Руси никогда не был, а в описываемое время находился в Самарканде; войска вёл воевода Субутай, «Себедяй».

Вестниками грозного наступления явились половцы, а именно князь Котян (Котяг) — тесть князя Мстислава Мстиславовича, и др.

Явились половцы на Русь со многими дарами, с табунами

коней, верблюдов, быков, девок и кланялись и просили князей русских о выручке.

Русская земля поднялась ополчением, «совокупила силы многы» и пошла на зов. Татары сделали было предложение, чтобы русские не вмешивались в это дело, так как они идут только против половцев, но князья их не послушались и двинулись вперёд. Первые стычки были удачны, татарские «сторожи», то есть передовые отряды, были разбиты, что вызвало со стороны русских князей «зависти для» стремление биться по отдельным отрядам.

В результате испытанный воевода Субутай, прошедший войной всю Азию, знававший победы и в Шаньдуне, и в Индии, и на Каспии, и в степях Монголии, нанёс неосторожным князьям поражение, «какого ещё не знала», по словам летописца, русская земля; к тому же и половцы не устояли и в своём бегстве смяли русские части.

«Князь же Мстислав Мстиславович Галичский прежде всех перебег за Днепр» — говорит летопись, таково было поспешное бегство; он велел за собой сжечь все лодки, спустить их по течению — до такой степени он боялся погони; убежал он даже не в Киев, а в Галич.

Спасся только десятый человек из русского войска, а «иных же половцы избыша ис коня, а иных ис порта», то есть спасшихся ограбили свои же союзники половцы, отымая коней и «порты» — одёжу.

Татары гнались за убегающими до «Новгорода — Святополчего», и много народу погибло; а всему виной, говорит летописец, великий князь киевский, Мстислав Романович. Это он заявил, получив известие, что татары идут на Русь, что «дондеже есмь в Киеве, то по Яико, и по Понтийское море, и по реку Дунай саблею не махивати».

Конечно, эти слова киевского князя были легкомысленной похвальбой, платиться за которую пришлось русской земле. К этому времени Чингисхан (умерший через 3 года после битвы на Калке) был в зените своей славы. Его власть простиралась от Тихого океана до Полонских степей; старые культуры Персии, Индии, недавние магометанские властители несли ему дары своей цветистой и пышной культуры, до сих пор удивляющей нас в своих памятниках. Создаваемое им государство было не кратковременным завоеванием; уже пришло в ту пору к сознанию вещее слово, что «государством нельзя управлять с коня».

Вокруг Чингиса в Самарканде заседал совет из мудрейших людей Востока: персы, арабы, китайцы, индусы играли у него выдающиеся административные роли.

И если летописец мудро оговаривается о том, что де Бог один

знает, что это за люди и откуда они пришли, то до сих пор, тем не менее, почему-то утвердилась историческая традиция считать татар «моавитянами», согласно авторитетному названию Мефодия, епископа Паторомского, т. е. племенем диким и некультурным. А между тем, если западная наука доказывает ныне всё больше и больше заимствования и рецепции с Востока в религиозной области человечества, если она признаёт вообще первенство Азии по времени и по качеству в разработке этой величайшей области человеческого духа, религии, то как же мы сможем огульно накладывать пошлое клеймо «азиатчины» на это государственное образование, захватившее вполне Евразийский материк и на равнину Восточной Европы вынесшее в единой волне накопленные достижения своей тысячелетней практической государственной, политической и культурной мудрости?

Как мы можем за гиком наездников-степняков, столь близких русским в своей традиционной любви к лошади, к степной охоте и проч., как можем мы позабывать тихий веский голос конфуцианской морали или полные мудрости стихи жития Гаутамы Будды? Справедливость требует от нас властно осознания того, что русские предки получили тогда из сокровищницы исторических запасов Азии, той самой Азии, которая ныне в европейской науке получает такое огромное значение по законченности своих моральных и жизненных идеалов.

А что первое нашествие войск Чингиса на Русь было не «нашествием» «орд», а наступлением организованных войск, мы это увидим в ближайший раз, когда из Азии через несколько лет после битвы на Калке и гибели русских неудачливых, неосторожных, но храбрых лихих князей вышло огромное войско, нёсшее с собой огромный административный аппарат управления в занятых областях, какого, конечно, не знала до того не только русская земля, а и Византия.

Гун-Бао. 1928. 1 апреля.

Темучин (*продолжение*)

Темучин-Чингис умер в 1227 году, где-то на Хуанхэ, во время своего похода против хана Тангугов, владетеля Северного Китая. Но со смертью Чингиса не прекращалось, однако, его дело. Его наследники продолжали объединять в своих руках Азию. За смертью Чингиса его огромным царством правил его младший сын, решительный и жестокий Тулуй, сидевший на Дальнем Востоке; правил он на правах регента до тех пор, пока военная обстановка и дальние расстояния не дали возможности собрать всех нужных и полномочных лиц для провозглашения нового Великого Хана.

Тулуй правил на Дальнем Востоке, и в его владения входила нынешняя Восточная Монголия, Маньчжурия и северная часть Китая — по Жёлтую реку. Старший сын Чингиса Джучи умер раньше отца, и поэтому его линию представительствовал сын его Батый, которому были предоставлены страны на запад и на север от морей Аральского и Каспийского, от реки Сыр-Дарьи, равнины Волги и Дона, Черноморские степи, причём примерной северной границей этих владений служил Яик, а с Востока — Сибирь; эти части и образовывали ханство Кипчак, куда впоследствии вошла и Москва.

Второй сын Чингиса — Чаадай владел Средней Азией, собственно областями к западу от озера Иссык-Куль и к востоку от теперешней Ферганы, Хорасаном и разорёнными городами Гератом и Газни. Его столицей был затерянный ныне Аль-Малек где-то на реке Или; в этом городе в 1342 году погиб во имя Христа какой-то францисканец Ричард Бургундский.

В подлинной Монголии, в Каракоруме сидел Огдай-хан, который был Курултаем выбран на престол в 22 день 8 луны 1229 года, после сорокадневного сопротивления.

Первые годы царствования Огдая (Угедея) ознаменовались войной с Китаем, и, после нескольких неудач, — в 1234 году монголами низложена северная династия Кинов. Собранный в 1236 году Курултай, заседавший на исторических берегах Онона, вырабатывает планы дальнейшей деятельности. Наряду с такими мерами, как открытие двух университетов, принимаются этим советом и большие военные планы. Принято решение идти против Нанкина с сидящей там китайской династией Южных Сунов, а также и против Кореи. Эти завоевания было поручено сделать Тулую; было решено также идти на Персию и Кашмир.

Батыю, который прибыл с берегов Волги, был поручен поход на Запад.

Когда во имя этого решения Батый несколько позднее появился под Киевом, то, как рассказывает русский летописец, киевлянам удалось захватить «языка», татарина «именем Туврила», который и «сказа всех князей и сущих с Батыем и силу их; бяху же братиа Батыевы, воеводы его Урду, Бардар, Бичюр, Кайдан, Бечон, Менгуй, Коюк, сей же бе не рода его, но первый воевод Себедя Боктур, Бурандай, Бастырь, иже поплени всю землю Болгарскую и Суздальскую, и инех имех же множество воевод их же не написахом» (Тверская летопись, под 1240 годом).

Про это показание безвестного татарина Туврила мы можем только сказать, что оно было очень точным. Среди названных водителей монгольской рати были такие имена, которые мы часто встречаем в русской и монгольской истории. Коюк, сын Огдая, — через несколько времени станет Великим Ханом после смерти Огдая, а Менгу, сын Тулуя, наследует Коюку. Имена же Себедяя (Субутая), победителя на Калке, и Бурундая часты в русских летописях.

Достойно внимания, что, по имеющимся численным данным, это воинство Востока особой численностью не обладало, после смерти Чингиса в его рати насчитывалось всего 129 000 человек. Между тем есть сведения (Житие Михаила Черниговского, Велгорской летописи), что на Русь во второй раз вышло до 600 000. Противоречия, надо думать, сгладятся тем, что можно считать эти 129 000 Чингисова войска лишь кадром, организованным началом, вокруг которого наматывались массы местного элемента, всегда охочего до войны и наживы, тут к тому же видевшего крепкую военную организацию.

Чингис был великим воином и организатором войны, что не одно и то же. Он говорил: «Начальники должны так содержать своё войско и в порядке, и в готовности, чтобы в великую пору, как придёт приказ, садились бы на коня, не ожидая, ночью же».

Он отлично видел необходимость систематического, профессионального военного образования: «Подобно тому как купцы наши, — говаривал он, — в надежде барыша становятся чрезвычайно опытны в товарах и материях, так надлежит и мальчиков упражнять в военных искусствах»; но никогда нельзя увлекаться, никогда нельзя ставить ставку на геройство, на удаль; нельзя по героям равнять войско; только тот может управлять, кто сам ощущает голод и жажду, кто понимает её у подчинённых.

— Путь и дорога по слабейшему из вас, — говорил Чингис.

Вот почему армия монголов не знала отставших, она была цельна, компактна и разбивала вдребезги все препятствия;

собственно говоря, это единственный пример в мире создания такой огромной конной армии. У каждого монгола-солдата в поводу шло несколько заводных коней; при израсходовании скудных запасов пищи монголы питались их мясом или, отворяя кровь коням, напивались этой крови, а потом накладывали перевязки на пораненные места. Монголы могли спать, не слезая с лошадей, в то время, когда те паслись. И так, двигаясь всё время вперёд и вперёд, меняя под собой лошадей, монгольские армии проходили огромные пространства.

Командование тоже было поставлено на должную высоту; в то время как русские князья ссорились, кому выступать, кому не выступать на войну, командование у монголов находилось в твёрдых руках. Марко Поло рассказывает нам, что в основу монгольской армии был положен «десяток»; офицеры или начальники стояли на каждом десятке, на каждой сотне, тысяче, десяти тысячах, ста тысячах. Каждый высокий начальник знал только свой подчинённый ему десяток, не вмешиваясь в другие дела. Но перед походом, говорит 18 отрывок Великой Ясы (то есть закона) Чингиса, «каждый начальник должен сделать смотр своим воинам, вплоть до иголки и нитки; и если чего недостало, строго взыскать».

Такая армия при выходе своём на Русь, конечно, была насыщена народностями всех стран, через которые она проходила. В то время как европейцы не очень охотно забирались на Восток, в русские страны, — индусы, персы, сарты, монголы, китайцы и т. д. странствовали по всей Руси в военных рядах монголов, стояли на постах в русских городах; летописи полны рассказов об обрусевших монголах. Такие поселения, как имеющаяся возле Костромы до сего дня Татарская слобода, такие «царства», как Касимовское, как Казанское, всё это мелкие лужицы, оставшиеся от схлынувшего великого восточного прилива. И прямо поражает, как русские историки, усердно отмечая соломинки европейского влияния, даже в то время, когда Европы-то в нашем смысле слова и не существовало, не видят этих могучих потоков восточного влияния.

* * *

Как русские князья встретили это новое появление армии Востока? По-прежнему.

Под 1237 годом тверской летописец записывает с отчаянием:

— Не хотя испрьва окаянный и всепагубный диявол роду человеческому добра, въздвиже крамолу межи Рускыми князи, да

быша человецы не жили мирно о том бо злый враг радуется кровопролитию христианскому. Поиде князь великый Володимер Рурикович с Кианы (киевлянами) и Данило Романович с Галичаны на князя Михаила к Чернигову, а Изяслав бежа в Половцы, и много воева Володимер около Чернигова, и посад пожже… прииде Изяслав с погаными Половцы в силе тяжце и взяша Киев… а великого князя Володимера Половцы емше, и княгиню его поведоша в землю свои и много зла сотвори Кианом… И т. д.

Не было единой обороны и от татар; когда рязанские князья увидались с татарскими послами, требовавшими у них десятины, то есть десятой части всего имущества, они бросились с просьбой о помощи к князю Юрию Владимирскому. Но «Юрий восхоте сам с татарами брань сътворити» — пишет летописец. В результате Рязань, Коломна, Москва взяты и пожжены; взят и Владимир, и семья несговорчивого князя погибла целиком. Сам князь Юрий Всеволодович выступил заранее из города и был наголову разбит на реке Сити. Татары взяли города Ростов, Ярославль, Тверь; к Новгороду Батыю не удалось пройти из-за начавшейся весенней распутицы, и он повернул назад в степи.

В 1240 году был взят Киев, и Батый, имея сзади замиренный терроризованный тыл, пошёл со своим войском в Европу и взял Галич. Часть армии Батыя прошла Карпатами в Венгрию, а часть прошла в Польшу. Поляки были разбиты под Люблином; рыцарство Кракова и Сандомира проиграло Батыю бой под Шидловым. Батый пожёг Краков и двинулся через Ратибор в Силезию. Им сожжён Бреславль.

Немцы, Тевтонский орден, поляки, силезцы — все оказались объединёнными против великой беды под начальством Генриха Благочестивого, герцога Силезского. Под Лигницем они проиграли бой, и монголы нарезали ушей убитых врагов 9 больших мешков, а подступая к Лигницу, несли на копье голову Генриха.

Моравия и Богемия — всё в огне и потоках крови; король Богемский выставляет 12 000 отряд, который разбит под Ольмюцем. Батый делает предложение Белу IV, королю Венгерскому, предложение сдаться и стать его вассалом, тот отвергает оскорбительное предложение. Тогда Батый разбивает его ополчение, жжёт Пешт, Варадин и другие города.

В 1241 году Батый стоит под Веной; против него стянуто ополчение короля Богемского и герцога Австрийского; Батый идёт на побережье далматинское Адриатического моря и занимает его вплоть до Рагузы.

В этом году в Монголии умирает, опившись на пиру, Огдай, и

Батый отходит назад, спеша на Курултай, где Великим Ханом был избран Менгу.

Монголы потом побывали в Польше в 1259 и сожгли Краков в 1265, а в 1285 году сожгли снова Пешт.

Интересующихся этими событиями я могу отослать к моей книге «Мы», где они изложены более подробно. Здесь же скажем, что перед нами возникновение огромной державы, тянувшейся от Тихого океана до Адриатического моря; в то время как на Западе воевал Батый, не сидел праздно и Тулуй на Востоке; с 1252 года из Средней Азии идёт в Малую Азию хан Улагай, брат Менгу-хана, и сорок дней грабит сказочный Багдад, где его кони топчут завёрнутых в ковры последних Абассидов. Говорят, что он был христианином и стремился освободить от неверных Иерусалим и Гроб Господень. Его брат Кублай в это время движется Китаем на Юг; он достигает больших успехов, берёт Нанкин и становится настолько популярен, что Великий Хан должен его отозвать от войска и заменить сыном воеводы Субутая, воспитанником своего отца в его походах по России и Европе, Урянхатаем. Этот военачальник прошёл до Индо-Китая, взял Ханой, Тонкин и наложил дань на аннамитов.

Примерно к этому времени заканчивалось формирование огромной империи династии, которую начал Кублай-хан, перенеся свою столицу в Пекин; и он дал китайское имя этой династии — Юань, то есть начало, основание. И должно сказать, что владения Карла Великого, Наполеона или Александра Великого — пустяки перед этим необычайным грандиозным восточным размахом.

В это царство и русская земля того времени вошла отдельным улусом, то есть вассальным царством, и историческим фактом является то, что русские князья, несмотря на благочестивые сетования церкви, получили в этой продуманной и твёрдой системе монгольской власти основательную и солидную выучку.

Монголы в своих завоёванных местностях устанавливали свой порядок; *«великий князь Батый по следам Субутая покорил род Кипчак, разбил города Орусы и людей их либо убил, либо попленил. Поставив там дарухачин и таньманчи, возвратился»* — так изображает «Сокровенная история Династии Юань» поход Батыя на Русь.

«Дарухачин» — «даруга», имя джагатайское, — читаем мы в персидской «Истории Монголов» в переводе Григорьева; по-турецки его переводят Су-Баши, т. е. «начальник города». Дарухачин был установлением Чингиса и, согласно этимологии этого слова, «заведовал печатью». Особым приказом 1268 года было запрещено на эту должность ставить китайцев — она

должна быть только монгольской; в обязанности «даруги» входили — перепись населения, набор войска из местных жителей, устройство почтовых сообщений, собирание податей, доставление податей Хану.

Таншанчи же был не кто иной, как «военачальник местных войск», каковую должность, очевидно, и позаняли наши князья. Для населения, таким образом, они являлись старыми князьями, для монгольской же администрации — своими чиновниками из местных, которым давался ярлык на правление в силу какого-то положения, которое они уже имели. В силу своего этого положения они имели право на поддержку силой монгольских отрядов:

— Того ж лета (1342) вышел на Русь отпущен Царём из орды на Рязанское княженье князь Ярослав Пронский, а с ним посол Киндяк; и приидоша к Переяславлю и князь Иван Коротопол бился весь день, а на ночь побежал вон; и князь Ярослав сел в Растиславе… — говорит нам Троицкая летопись, представляя нам, очевидно, этого самого «даругу» и «таньманчу», хранителя печати и князя.

Печать, очевидно, и была символом этого государственного объединения, поскольку мы знаем, что слово печать, по-монгольски — тамга (откуда таможня), «осталось всюду, где были монголы, — в Тибете, в Индостане, в Персии, Туркестане и России» — читаем мы у А. Ремюза.

Итак, гарнизоны монгольских и местных войск, стоявшие в поместных пунктах, в городах, обеспечивали необходимый порядок; наличность даруги и его работа вели к тому, что производилась усиленная перепись ранее свободного населения всей земли и на него налагалась подать. Лица, особенно заслуженные пред татарской государственной властью, получали так называемые тарханные грамоты, в которых они объявлялись свободными от всех податей, от необходимости делить свою военную добычу с кем бы то ни было; более того, лица, такие «тарханы» имеющие, имели право на часть общей добычи с войны, могли входить, когда заблагорассудится, в царский шатёр, не спрашивая начальника стражи, и они были безнаказанны во всех своих ошибках и даже в преступлениях — до 9 раз.

Такие тарханные грамоты имела, между прочим, и русская церковь в лице митрополита; в них лица, принадлежащие к клиру, освобождались от мобилизации, а земли — от податей.

Другим важным средством связи и власти монголов была регулярная почта, подобно тому как арабы, распространяясь в калифате по Востоку, заимствовали от древних персов это учреждение, которое, между прочим, служило и целям разведки;

точно так же почта была использована и монголами. Всюду на определённых расстояниях, по всему необозримому пространству империи Юань были раскинуты станки, по-монгольски — ямы (откуда и русское — ям, ямщик), где готовыми стояли лошади. В экстренных случаях скакали день и ночь эти «тройки» с колокольчиками, запряжённые в повозки.

Время монгольской власти на Руси было чрезвычайно важно для выработки русского национального и государственного сознания. Во-первых, монголы всё-таки были чужие люди, и подчинённость этим чужим людям била по самолюбию русских; да к этому подбивала и церковь, пользуясь от монголов всеми благами. Во-вторых, тут был налицо огромный административный аппарат, единый от Индокитая до Адриатического моря, аппарат, управляемый из Пекина, — Ханбалу.

— Посещение монголов, — пишет Костомаров, — должно было многому научить Александра (Невского) и во многом изменить его взгляды. Чрезвычайная сплочённость сил, совершенная безгласность отдельной личности, крайняя выносливость — вот качества, способствовавшие монголам совершать свои завоевания, — вот качества, противоположные свойствам тогдашних русских. Чтобы ужиться с непобедимыми завоевателями, оставалось и самим усвоить эти качества. Это было тем удобнее, что монголы, требуя покорности и дани, считая себя вправе жить на счёт побеждённых, не думали насиловать ни веры, ни их народности.

Вот на этой почве и вырос другой исторический тип, создавший Россию так, как мы её знаем, — Великий Князь Московский, уже не растрачивающий время в крамолах удельного периода, а сумевший объединить свою власть среди толчеи враждебных интересов князей, боярства и грекофильствующего духовенства.

Гун-Бао. 1928. 10 апреля.

Экзамен эмиграции

Дело профессора генерала А. И. Андогского вступило теперь в определённую фазу; в данной у нас информации департамент народного просвещения Трёх Восточных Провинций квалифицировал деяние А. И. Андогского как «недоброкачественное» и предложил ему, директору I реального училища, подать в отставку и принять меры к пополнению растраченной суммы в определённый срок, в противном случае обещая предать всё естественному ходу событий, согласному с правовыми нормами.

Конечно, ничего иного и нельзя было ждать; поступок господина Андогского, как ни рассматривать его по существу, с формальной стороны является самой обыкновенной растратой доверенных ему по его должности подотчётных сумм; нужно только удивляться, как такой высококвалифицированный общественный и учёный работник, как А. И. Андогский, мог решиться пойти на это и — ещё более тому, как мог он оправдываться тем, что в денежном ящике оказались его обязательства на соответствующую сумму, очевидно воспроизводя этим известную в былом военном быту операцию заимствования «по документу».

Но ведь Андогский к этому времени не был командиром полка, и нельзя было отождествлять организацию реального училища с полковой организацией; формальная сторона дела должна была остаться формальной стороной, без каких-либо послаблений в этом отношении, как это в нашей газете было прекрасно выяснено господином Велизарием.

Какой оборот примет вся эта печальная история, мы увидим в будущем; в настоящее же время она интересует нас не со своей публично-правовой стороны, а со стороны общественной:

— Как она отобразилась на том, что считается «эмигрантским обществом» Харбина, в котором господин Андогский играл выдающуюся роль.

Должно сказать, что это отображение прошло и проходит в тонах крайне отрицательных и несимпатичных. Конечно, такие истории, подобные истории с господином Андогским, могут случиться в каждом том или другом более или менее объединённом и изолированном обществе; так, нам известны подобные случаи в иностранных колониях Шанхая. Но там по отношению к ним принимаются известные меры. Там колония под водительством своего консула принимает все меры к тому, чтобы ликвидировать инцидент бесшумно и безболезненно.

Принятые им на себя его обязательства или произведённые траты погашаются, и виновник снабжается известной суммой, чтобы исчезнуть с горизонта.

Конечно, причиной таких действий являются не только альтруистические движения души, но и реальные выгоды; нельзя не понимать, что подобные действия так или иначе, а компроментанты для целой данной организации; будучи разглашены, они уже выходят за пределы того или иного круга и ложатся пятном большей или меньшей густоты на всё данное общество.

Думается, что и в инциденте господина Андогского дело обстоит точно так же; господин Андогский не является заурядным, незаметным членом российской эмиграции, одним из тех, которым безвозбранно той же эмиграцией предоставлено право замерзать на улицах холодными зимними ночами. Господин Андогский играл в белом движении и в эмиграции крупную роль; можно сказать, что он до известной степени представлял собой эмиграцию. Генерал-квартирмейстер всероссийского масштаба при Колчаке, профессор и начальник академии генерального штаба, городской голова города Владивостока, наконец и здесь, в Харбине, не заурядный «беженец», безвестный брат, имя которому «Ты, Господи, еси», а директор реального училища, воспитывающий детей эмиграции, деятельность которого руководилась попечительным советом из почётных граждан, — это степени высокие, и человек, стоящий на них, — крупная фигура.

И вот возникает известный печальный инцидент; скажите, пожалуйста, разве этот инцидент не ложится на эмиграцию в целом? Разве у хозяев этой страны, где все русские находят приют, не может возникнуть вследствие этого неблагоприятное мнение обо всех русских, то, что называется «порчей лица»?

Посмотрите, что делают — русские газеты. Они стараются и расстилаются вовсю, раздувая инцидент, марая грязью всё и всех, и откуда-то подозрительно отлично информируясь о всех перипетиях эмигрантской жизни. Дело Андогского становится символом эмигрантского житья-бытья.

Эмиграция — говорит об объединении; вот прекрасный случай продемонстрировать… Что? Объединение или разъединение?

Боюсь, что последнее.

В прекрасном старом фельетоне Тэффи рассказывается, что эмиграция держится только взаимноотталкиванием вместо взаимнопритяжения.

— Эмигранты с особой любовью, — пишет эта талантливая

бытописательница, — приклеивают друг другу ярлыки «вор», «мошенник» и т. д.

Возьмите хотя бы историю с русским эмигрантом Зубковым; ходил человек «в безбрюк», и никто не обращал на него внимания; женился он на сестре императора Вильгельма, и, казалось бы, эмиграция должна была бы только радоваться, в её руках есть какая-то зацепка. Не тут-то было…

Вся эмигрантская печать дружно травит Зубкова; то, что Зубков дал в морду какому-то негру в каком-то кабаке, вызывает возмущение со стороны эмигрантских газет, и тот же Аминадо, взяв его за пуговицу, поучает в своём фельетоне, что-де это некультурно, непристойно и так далее…

Подобно тому как в доброе старое время русская журнальная братия ненавидела сытого мужика, эмигрантщина ненавидит как сытого эмигранта, так и сытого мужика, если бы он сейчас оказался бы в редких экземплярах в России; она старательно загодя охаивает и хулит всё, что из Назарета, что не согласно с её убогими, реденькими мыслями, она боится каждого дуновения ветерка со стороны в свои пыльные недра.

И мы видим, как в инциденте с Андогским ведёт себя местная эмиграция; постановление за постановлением, резолюция за резолюцией она исключает А. И. Андогского из всех своих организаций, брезгливо подбирая платье и всем своим преувеличенным, нарочитым видом показывая, что «она с этим господином не желает иметь ничего общего».

В этом отношении эмиграционный закон и обычай прост: упал — пропал… Только споткнись, немного подраненным, и тебя разорвут в клочки обычаем волчьих стай…

Инцидент с господином Андогским показывает не объединение, а разъединение эмиграции, полное падение её моральных и человеческих черт.

На днях к пишущему эти строки пришёл один офицер, деятельный и энергичный.

— Ну как в отношении дела Андогского? — задал я ему вопрос.

— Ну уж, батюшка, извините! — отвечал он мне. — Теперь — долой всех генералов!.. В чёрту! Вот они где у меня и у нас всех сидят…

И он показал на шею.

Генералы всех степеней и кантов, которые особенно стараются в угрызении лежащего! Помните и руководствуйтесь…

— Правильно, — сказал я ему, — правильно, — и повторил свой старый афоризм:

— Купец без денег не купец, генерал без солдат не генерал…

Я предчувствую ядовитый и гневный вопрос:

— А что же эмиграция должна делать? Собирать, что ли, объявить подписку в пользу Андогского?

— Нет, — скажу я. — Но она должна, во-первых, не радоваться падению своего же. Во-вторых, она своим авторитетом «общественного мнения» должна надавить кой на кого, которые и могут оказать помощь… И должны её оказать…

Инцидент с Андогским — экзамен для эмиграции, и, сдаётся, экзамен этот она не выдержит. А не выдержав экзамен, она явит миру своё настоящее лицо:

— Не страдающее, патриотическое, полное трагизма и боли за своё отечество, за «своих», а полупочтенное лицо, полное мелких дел и делишек…

И тогда единственным следствием того будет необходимость пересмотреть эту цитадель «эмиграции» и тех, кто туда забрался, чтобы отмежевать сильное, молодое, свежее и предприимчивое от обветшавшей чиновной и буржуазной рухляди, пропылённой и подопревшей.

Гун-Бао. 1928. 6 апреля.

Когда и как эмиграция вернётся домой

Как известно всем русским интеллигентам, нужно руководствоваться уроками истории; так, когда в 1917 году разразилась революция, то видал я у многих добрых знакомых в руках толстые томы истории французской революции, откуда они и вычитывали, что должно с ними быть в ближайшем будущем…

На этой же точке зрения, как известно, стояли и марксисты; Маркс ахал и охал, что в 1871 году, во время Парижской коммуны они не успели захватить банки, почему и провалились, так как буржуазия, обладавшая средствами, сумела оказать достойное сопротивление… Вот почему во время российской революции марксисты, прежде всего, полезли в банки…

Эмигранты должны последовать этому примеру и начать искать в истории французской революции аналогий своему печальному положению; посмотрим, не пригодится ли и им что-нибудь оттуда заимствовать, чтобы утешиться в своём печальном житье-бытье…

Чему же учит история эмиграции французской революции?

Рассмотрим это по жгучим вопросам.

КОГДА ОНИ ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ?

В истории эмиграции французской революции на сей предмет есть следующие указания: это решительно неизвестно! Граф д'Артуа, младший брат короля Луи XVI, предполагал, что он выезжает из Франции всего-навсего на три месяца.

Но известно, что сроки несколько затягиваются, так эти три месяца бравого графа д'Артуа затянулись с 1789 до… 1814 года…

Два старых епископа-эмигранта прогуливались в Сент-Джеймсском парке.

— Монсеньёр, — спросил один из них, — а когда мы будем во Франции?.. Я думаю — в июне!..

— Да, монсеньёр, зрело обдумав, я не вижу к этому препятствия… — отвечал другой.

Оказывается, зрелые обдумывания эмиграции отличаются некоторой, мягко выражаясь, неточностью… Срок этот растянулся для обоих архиереев на 20 лет.

К этому и надлежит готовиться.

СТОИЛО ЛИ УБЕГАТЬ ИЗ РОССИИ?

Из Франции удирать было решительно необходимо; правда, встречались голоса, доказывавшие, что уезжать не нужно. Так мадам Лебрен рассказывает в своих воспоминаниях, что ей говорила её знакомая, мадам Боше:

— Напрасно вы уезжаете, революция принесёт нам счастье!

Однако счастье мадам Боше заключалось в том, что ей отрубили голову через несколько месяцев после этого разговора…

Некоторые во французской революции заявляли, что если бы эмигранты остались, то тогда бы они могли бороться против анархии; но другие — историки французской революции — полагают, что революция по существу заключалась в выступлении тех, кто ничего не имел против тех, кто имел что-нибудь. При таких условиях очень затруднительно было бы навести порядок. Правда, некоторые наивные головы обращались к ревправительству — к Национальному Собранию, с требованием подавления всяких эксцессов и аграрных беспорядков и внесли на рассмотрение законопроект декрета, карающего поджоги, грабежи, насилия и убийства; но Мирабо, пламенный оратор, назвал эти аграрные беспорядки «лёгкими неприятностями, недостойными внимания представителей Франции». А через год, в 1790 году в том же собрании Робеспьер заявил: «Я предлагаю собранию относиться с мягкостью к народу, который сжигает замки…».

Очевидно при таких условиях, что борьба с анархией была бы не в интересах революционного правительства и нужно было бежать.

НУЖНО ЛИ ПОСПЕШНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ

ПРИ РАЗНЫХ РЕВОЛЮЦОННЫХ НОВЫХ ЗАКОНАХ?

Возвращаться раньше времени не следует. При конституции 1791 года многие эмигранты потянулись обратно во Францию, надеясь, что конституция — есть конституция и что таким образом — наступает порядок. Оказалось же, что за 1791-м годом последовал 1793-й, т. е. расцвет террора, возвращение оказалось преждевременным. Между тем некоторые французские эмигранты серьёзно думали, что революция уже кончилась и поэтому пора ехать домой. Так вернулась довольно скоро во Францию из Сиа — где, по выражению историка, «эмигранты с увлечением танцевали в то время, когда народ жёг их замки», — вернулась эмигрантка мадам де Л амбал ь, придворная дама Марии Антуанетты; в резне в сентябре 1792 года она погибла, и голову её носили на пике.

КУДА НУЖНО ЕХАТЬ ЭМИГРАНТАМ?

Жирондист Лассур воскликнул во время террора в Париже:

— Да где же, наконец, можно жить спокойно?

На это ему другой жирондист ответил:

— Может быть, в Пенсильвании!..

Мадам Ролан в тюрьме перед казнью выразила пожелание, чтобы её друзья могли оставить эту страну, пожирающую хороших людей: «Да даст вам, друзья мои, Небо возможность проехать в Соединённые Штаты…», — сказала она.

Таким образом, Соединённые Штаты и тогда пользовались симпатией эмигрантов; неизвестно только, каковы были условия квоты — пожалуй, она ещё не была тогда изобретена.

ЧТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ЭМИГРАНТЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ?

Первым делом французские эмигранты должны были просадить все деньги, будучи уверены, что всё «Это» кончится очень скоро. Кобленц проходил в весёлых празднествах, танцах и надеждах. Возникает несколько правительств, не признающих друг друга; победа над революцией кажется очень простой.

— Наконец-то, — сказал некий маркиз де Лакюейель при отъезде в армию герцога Брауншвейгского, — наконец-то мы садимся на коней, будем через несколько дней в Париже, и король будет освобождён!..

Но так как это дело с освобождением короля затянулось и не вышло, то средства эмиграции стали иссякать. Появились в большом количестве комиссионные магазины. В английских газетах того времени видим такие объявления:

> «Вниманию публики: Французские бриллианты. Драгоценности. Доводится до сведения иностранных дворян, что гг. Поп и К° 15 Олд Барлингтон Стрит платит дороже всех. Деньги сразу же!».

Когда драгоценности истощаются, то начинают искать работы; такой КВжд, как есть у нас здесь, в то время в Европе не было, и эмигранты занимались, главным образом, переводами, танцами, фехтованием. Сам сын принца Орлеанского, впоследствии король Луи-Филипп, давал уроки математики в гимназии, за что его очень одобрял Наполеон:

— Человек, пригодный к жизненной борьбе…

Жизненная борьба доходила до того, что французских

эмигрантов ловили за подделку ассигнаций…

ДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫЕ

Дела международные всего больше интересовали эмиграцию того времени, потому что они отзывались на её положении. Будущий король Людовик XVIII всё время рассылает гонцов; больше всего гонцов едет к императору Павлу I в Петербург с просьбой способия. Павел I позволил ему после многих скитаний поселиться в Митаве в 1798 году и платил ему приличную беженскую пенсию в 200 000 рублей (600 000 франков) в год. Кроме того, когда приехала жена Людовика XVIII, Павел ему прибавил ещё 120 000 ливров в год.

Однако международные дела повернулись так, что Павел I выслал из Митавы в 1801 году Людовика XVIII, и тот проехал в Варшаву; по одной версии это было вызвано сближением Павла с Наполеоном, по другой — Павлу стали известны крайне резкие отзывы о петербургском дворе, которые делал любознательный царственный пенсионер.

Людовик вернулся в Митаву в 1805 году уже с разрешения Александра I, который писал об этом короле, что «это самый ничтожный и незначительный человек, которого мне приходилось видеть в Европе». С 1807 года Людовик XVIII живёт в Швеции и Англии, пока, наконец, его не возводят на престол Франции в 1814 году.

Конечно, всякие победы Наполеона тем горше отзывались на эмигрантах. Так например Бернский кантон однажды потребовал от проживавших там эмигрантов, чтобы они в течение 24 часов покинули его территорию. Из Тосканы однажды было выслано, ни много ни мало, 15 000 французских беженцев. То же проделала с эмигрантами и Генуя. В одной маленькой деревушке Диллинген в Людовика XVIII, при его проезде, какой-то немец произвёл выстрел из ружья и ранил в голову, до такой степени надоел ему наплыв французских беженцев. «Странно и возмутительно, — пишет один дворянин того времени, — что с Бурбонами обращаются как с бродягами и что они не находят места, где приклонить голову… Бурбонов и французских дворян третируют, как Вечного Жида…»

СЛУХИ И НАДЕЖДЫ

Слухами и надеждами, как и теперь, полна эмигрантская

жизнь… Все французские эмигранты верят в интервенцию, верят, что за них вступятся все державы и, наконец, водворят их во Францию обратно. Слухи сильны до такой степени, что однажды некий де Марсильяк был командирован из Брюсселя в качестве адъютанта встречать в Остенде идущую для интервенции русскую эскадру; он просидел шесть недель в Остенде и никого не встретил… А в Брюсселе говорили, что вот-де и адъютант уже выехал… Значит, скоро!

ПОВЕДЕНИЕ ЭМИГРАЦИИ ВО ВРЕМЯ НАПОЛЕОНА

Сильная фигура генерала, консула и императора Наполеона, его охранительная политика, его расправа с революцией привела к тому, что эмиграция потянулась домой; но всё же он был революционной фигурой, и этого нельзя было забывать. Надо было примирение.

Вот стиль письма о разрешении вернуться домой, которое в то время пишет бывший член Учредительного Собрания Фосиньи одному своему могущественному другу:

— Вы победитель, я побеждённый, и, кроме того, я покорён… Я теперь старше на 12 лет… Мне предстоит увидеть свою жену, познакомиться с моими тремя взрослыми детьми… Вот вся моя политика. Сделайте, чтобы меня приняли в Кале, чтобы я там нашёл распоряжение, которое даст мне возможность проехать в Бургундию… Там у меня будет моя жена, мои дети, крыша над головой, небольшой клочок земли, и клянусь, вы ничего больше не услышите обо мне… Вы говорите на языке мудрости, примирения, человеколюбия, благородства. Примените же их ко мне, а то у меня *эмиграция вот уже где сидит!*..

Гордые монархисты постепенно сдаются перед этой республиканской возможностью вернуться домой…

— О, я приноровлюсь ко всем республикам мира при единственном условии — закончить свои дни на родине… — пишет один из них.

И, как известно, Наполеон широко принимал этих эмигрантов, которые тут же начинали бранить его порядки; но возвращающиеся получали массу упрёков от более стойких, ещё остающихся за границей… Но при Наполеоне ехать, безусловно, будет можно…

1814 ГОД

Настал, наконец, 1814 год, когда все поголовно вернулись назад, и это — факт, конечно, самый главный:

— История французской революции учит, таким образом, что вернуться домой эмигрантам рано или поздно придётся… При Наполеоне ли, при Людовике ли, потому что революция уже на ущербе и потому что революционный пафос теперь остался, главным образом, у хорошо оплачиваемых революционных газетных писателей, а не у народа, что, конечно, вполне понятно. А у народа он выдыхается, и выдыхаться России более свойственно, нежели Франции. Ежели великая российская армия выдохнулась в 1917 году в одночасье, то такой же конфуз может вот случиться и с пафосом революции…

ЧТО ЖЕ ЭМИГРАНТЫ УВИДЯТ ПО ВОЗВРАЩЕНИИ?

То же самое, что видели французские эмигранты, переезжая из Англии в Кале. Вот как описывает свои первые впечатления родины Шатобриан:

— Нас поразил бедный вид порта — едва несколько мачт. По дороге почти незаметно было мужчин, почерневшие женщины, босые, с непокрытыми головами, работали в поле… Их можно было принять за рабынь… Можно было подумать, что по деревням прошёл огонь — они были жалки, наполовину разрушены… Повсюду грязь и пыль, мусор и развалины. Можно было видеть сломанные заборы, покинутые церкви, колокольни без колоколов, кладбища без крестов, обезглавленных святых в их нишах… Этот народ, которому одно время грозил распад, начинал теперь новый мир, подобно народам, вышедшим из тьмы варварства средневекового разрушения… Франция была для меня такой же новой, какими новыми были для меня леса Америки.

ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ВСЕ БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ?

В книжке И. Левина «Эмиграция французской революции», Берлин, 1923. Там есть очень интересные сведения, как французское правительство актом-ордонансом 1825 года выплатило эмигрантам один миллиард франков вознаграждения…

Одним словом… Всё дело в терпении…

Гун-Бао. 1928. 11 апреля.

Св. Сергий Радонежский

Мы видели уже основные черты древней российской истории.

Среди огромных лесных пространств северо-восточного угла Руси в верховьях великой русской реки Волги по-новому оседало, по-новому замешивалось славянское племя.

Начало вообще каждой культуры состоит из перехода от экстенсивного образа быта к интенсивному; только там, где положены границы, природой ли, соседством ли чужих культур, оседает человек на землю, прирастает к ней, начинает её обихаживать. Так, древние культуры были потамическими, то есть ограничены были речными долинами. Античные культуры были приморскими; население набивалось на полуострова, вонзающиеся в плещущее море, а со стороны земли оно подпиралось бушующими, «дикими» ещё племенами.

Сама земельная собственность появлялась именно из этой ограничительности, из-за невозможности уйти с этого места, и, таким образом, — была до известной степени принудительного характера; собственниками стали тогда, когда оказались поделёнными дотоле несчитанные пространства Матери Земли.

Этому моменту, начинающему культуру прикрепления к земле, до известной степени у нас соответствует момент, при котором славянские племена, возможно из-за тех насилий, которые творили над ними бесцеремонные норманны и «культурные народы» на пути из Варяг в Греки, — откочёвывали на северо-восток. Там эти племена упёрлись в дикие северные леса, уходить в которые они могли, конечно, и дальше, но с условием потерять начатки цивилизации, уже полученные ими. А между тем они на новых местах уже не «звериным обычаем живяху», как говорит летописец, а принесли с собой и города, и городской торговый быт. Этот основной первокультурный уголок между верховьями Волги и Оки с юго-востока подпирали вышедшие из Азии кочевые племена, а с юго-запада — сначала крамолы и неспокойный быт князей Киевской Руси, а потом — возникшая Литва.

Здесь-то, вдали от всяких широких прохожих дорог, на реке Москве и образовался тот узел, который завязал собой всю последующую нашу историю; там поднялась Москва. Охраняемый мудрой и искусной политикой московских князей Даниловичей, т. е. сыновей Данилы Александровича, сына Александра Ярославича Невского (см. мою статью о святом Александре Невском), постепенно разгорался самостоятельно костёр русской самобытной культуры. Начатки культуры, взятые из Византии, с

насилием, с буйством прививаемые нам норманнами, здесь постепенно перерабатывались, ассимилировались, приобретали тот усвояемый облик, которым могли проникнуть всю русскую душу и придать ей силы, чтобы потом поднять всё русское государство.

Россия, а именно её возглавление — Великороссия, получила свою душу именно в лесных уютах Суздальского Верхневолжского края; это необходимо точно и определённо помнить. Как, несомненно, есть известная украинская душа, рождённая на золотых степях и пажитях Малороссии под голубым небом, как есть душа белорусская, выросшая в дымных болотных перелесках Полесья, как есть славянская покорная польская душа, в которой цветистый сумрак окон католических соборов рождает чужие, поработительные грёзы, — так есть и душа великорусская. Подобно тому как и другие «души» составных частей великого русского народа поддавались обработке чуждыми влияниями, конечно, такими влияниями наполнена и великорусская душа. В ней смутный ропот северных лесов, финская, урало-алтайская упорность, расчётливость и прямолинейность туранского элемента, с которого срисован известный апокрифический русский зверь Китоврас, ходящий по прямым линиям и сшибающий углы своими боками, и т. д.

А прежде всего — в ней православие.

Православие в великорусской душе, конечно, византийское. Но надо отметить, что этот византийский элемент в русской душе оказался сильно претворённым. Византия, пышный Царьград и, конечно, самомнительный, подобно всем столицам мира, слала своих эмиссаров для завоевания себе огромных пространств на Востоке, в противовес воздымающейся власти Папы на Западе, как это нами было уже указано.

В дополнение укажем, что святые Кирилл и Мефодий были посланы на мирное покорение Болгар Византией; недаром царь Болгарский Крум имел удовольствие любоваться отрубленной головой Византийского императора. И на Русь Византия слала греков-митрополитов не без этой политической цели.

И греческое православие, несомое этим тёмным племенам, было не по душе своим прямым политическим придухом. Простая звериная смётка перехватывала от этого золото-тканного христианства туда, к пустыням Сирии и Египта, где, не мудрствуя лукаво, жили неписьменные старцы, киновиты и анахореты, грамоты хитрой не знали, богословия не учили, а Бога чувствовали прямым своим сердцем.

Грамотность скудна в России и по наше просвещённое социалистическое время, а в то время, несмотря на уверения, что

Киевская Русь «развивала просвещение», и совсем была слаба.

В XVI веке книга была драгоценностью, редкостью, а тем более в XII, XIII. Роскошь церквей Новгорода, Киева, Ростова — была одной стороной дела, официальной, показной и редкой — недаром мы чуть не по пальцам знаем каменные постройки тогдашнего времени на Руси. Истинной церковью был лес, да срубленный в нём сруб, покрытый остроконечной шатровой кровлей, так гармонирующий с русским пейзажем, с его глухотою, немотствованием бескрайних далей…

Равным образом и книга не имела того значения, которое она имеет сейчас. Книга была у одного, а в ней нуждались десятки тысяч… Нельзя было насытить этой коркой такое количество алчущих; только живая душа могла бы сделать это чудо…

Вот почему на Руси нарождается своя Фиваида, нарождаются свои учителя — праведники, сияющие несказанной благостыней перед миром и свидетельствующие свойства русской души…

Нельзя не отметить, что это русское стремление к учению «не рассказом, а показом» находит себе полную аналогию в восточных традициях. Монах Рубруквис, отправленный Папой Римским к Великому Хану Менгу, услыхал от этого властелина полумира следующие слова:

— Я говорю вам, что вам Бог дал святое писание, а вы его не блюдёте… А нам он дал святых, которые приказывают, учат нас, как нам жить, и мы живём по этому приказу…

Конечно, от христианства, проповедуемого, как в Новгороде, «огнём и мечём», и до внутренней благостности и неоспоримой убедительности подвижников — огромная дистанция… Греков не любили, их боялись; греческие ставленники митрополиты в своих экстерриториальных судах были крайне жестоки, били, пытали, резали языки, казнили смертию… Характерно, что ни одного святого, из греческих митрополитов на Руси нет, если мы только не ошибаемся в этом, — что чрезвычайно показательно.

А между тем всякое слово должно быть связано с делом и святое учение должно сиять не только в пудовых золочёных Евангелиях, возносимых при богослужениях, а должно быть как-то растворено, распылено в массах. Только тогда, когда слово внедрится в душу каждого человека, внутренне его переродит, только тогда оно принесёт свой полный плод.

И эта не показная, а существенная сторона православия — не греческая, а подлинно русская. Много праведников знает русская церковь, положивших труды на просвещение, создававших истинную культурность в разрозненных до того диких племенах: Варлаам Хутынский, Кирилл Белозерский, Дмитрий Вологодский, Савва Вишерский, Александр Свирский, Павел Обдорский, Зосима

и Савватий Соловецкие, Антоний Сийский, Дионисий Глушицкий, Макарий Калязинский, Стефан Пермский, Прокопий Устюжский, Макарий Желтоводский, Никодим Кожеезерский, Нил Сорский, Трифон Печенгский, Пафнутий Боровский, Елеазар Анзерский и т. д. — вплоть до Дмитрия Ростовского, Иннокентия Иркутского и Серафима Саровского…

Возьмите карту России и отыщите места, упоминаемые в прозвищах, и вы увидите, что вся северная Русь была ареной многополезной деятельности этих святых подвижников… Они были тем, кто действительно нёс в русские массы живой подвиг, просвещение, утешение и в то же время понимание русской государственности…

Русское государство пошло к возрастанию, во-первых, тогда, когда оно, использовав и сбросив татарский опыт, создало власть Великого Князя Московского. Русское государство пошло к возрастанию тогда, когда оно, использовав византийский опыт и отделавшись от ставленников Византии, создало русскую национальную церковь.

И первым святым этого великого дела почтём Св. Сергия Радонежского.

* * *

Известна картина Нестерова: знакомый мило-унылый пейзаж северной России; маленький, скромный мальчик в белой шитой рубашке; сливаясь чёрной своей фигурой с мощным деревом, озарённый сиянием инок благословляет мальчика Варфоломея.

Вот картина проникновения божественного света в душу смертного; момент, предопределяющий его дальнейшую жизнь. И молодой монах Сергий начинает вести жизнь в этой лесной Фиваиде, полную трудов и подвигов. Не в городе, за каменными стенами, за властью князя и дружины, а в лесном просторе воздвигается маленькая церковка во имя Святой Троицы, начинается жизнь, полная трудов и успехов. Не пропадает ни одна минута, всё полно молитвенного напряжения и горения; в душу грубого лесного народа несётся утверждение истины не кичливым поучением, а живым, полным любви и смирения примером, начинает воплощаться то, что всегда составляло заветный предел устремлений русского человека — правда.

Константинопольский епископ, явившись в Москву, спрашивал, услыхав про преподобного:

— Как в таких странах может такой светильник явиться?

Он, очевидно, верил в патентованность привилегий Византии.

А между тем вокруг этой обители, где было «всё худо, всё нищенство, всё сиротинско», возгорался целый костёр духовного пламени, создавалась могучая православная русская культура.

Св. Сергий шёл по государственной тропе, проложенной русскими митрополитами святыми Петром и Алексием. Он не стеснялся посылать на битву с татарами своих могучих иноков, не затворялся от ратных дел. Он благословил меч Дмитрия Ивановича Донского перед Куликовской битвой. Он делал всё, что считал по совести и внутреннему бесстрашию нужным для блага государства…

Когда в известном инциденте инок Стефан, присланный Москвою в монастырь, заявил однажды, что он старше игумена и не хочет ему подчиняться, св. Сергий не стал спорить и отошёл от основанной им обители. Какое понимание и какая проповедь примером ревности к делам общим, какое умение не мешаться туда, где из-за мелочных самолюбий возникают российские свары и крамолы… Так в 1365 году св. Сергием предотвращена кровавая борьба между Суздальскими князьями — братьями Дмитрием и Борисом Константиновичами из-за Нижнего Новгорода, каковых заслуг мы не знаем за греками.

Пример св. Сергия не остался без подражания; в столетие 1340–1440 возникло на Руси до 150 монастырей. И возникши на Русской земле, средствами русскими, эти монастыри были светильниками просвещения; если откуда и шло слово поучения, пример поучения, — то только из монастырей…

«Царство Божие подобно закваске, — говорил Христос, — тесто должно от неё забродить…». И мы видели в предыдущем перечислении прославляемых церковью святых русских людей — сколько этой закваски было положено в русский народ.

Вокруг «Троице-Сергия» возникла своя целая православная в лучшем смысле слова традиция. Из-под его крыла вышли такие иконописцы, как Андрей Рублёв, Данила Чёрный, святитель св. Мефодий Яхромский, преподобный Афанасий, основатель Серпуховского монастыря, преподобный Авраамий, основатель монастыря в Галиче Мерьском, и т. д.

Личность св. Сергия Радонежского — личность историческая; это значит, что он не умер тогда, когда тихо почил в 1392 году; это значит, что он до сих пор в народном духе, в народном православии, жив и действенен в нём. Равным образом живы и действенны в нём все эти безвестные святые, которые раскиданы по всему пространству Великороссии.

И сила действенности и жизни в них, даже почивших, такова, что даже их тела продолжают жить наперекор кончине, тем самым утверждая победу жизни, энергии, действования над

косностью и смертью, связывая, объединяя в одно целое российскую нацию… 600 лет стоит и почитается Троицко-Сергиевский монастырь, и только безумцы могут подумать, что можно вырвать тысячелетнюю память о св. Сергии из душ русского народа…

* * *

Русское государство стало сильным тогда, когда рассыпанное дотоле население стало цементироваться, скрепляться. Одно государственное насилие, «распоряжение», никогда бы не достигло этой крепости государственной, если бы ему не помогало православие…

— Распространение русской государственности на Востоке, — говорит С. В. Максимов, — шло при помощи так называемого обряда братания. «Крестовые братья», «крестовые сестры» менялись крестами, становились «побратимами» и «посестрами», тем связывая со своим обычаем аборигенов дремучих лесов…

Пусть не толкуют нас так, что мы рекомендуем и теперь в качестве единственного средства просвещения открывать и учреждать монастыри; мы полагаем, что для просвещения русского народа пример преподобного Сергия может указать нам незлобивость, энергию, настойчивость, любовь, а главное — самообуздание; вот полезные вещи, чего нет у наших революционных деятелей. И, кроме того, конечно, наряду с другими средствами истинной науки и истинного просвещения, монастыри по-прежнему должны сохранять своё значение как центры горения религиозного духа. Каждому — своё.

* * *

Но пуще всего надлежит всем русским помнить об этих подвижниках Руси, которые сделали её самоё святою, потому что, не помня этого, нельзя понять своей собственной нации. В прошлом на Руси русский монастырь стоит так прочно и нерушимо, как в Германии германские университеты; а посему культурное наличное наследие требуется всё развести к его истокам, не смешивая их, опознать его, отчётливо сознавая, что никакой прогресс не способен изменить, по крайней мере, за всю известную историю, — национального типа.

Нация — может погибнуть, это возможно; но национальный тип всегда останется неизменным…

В книжке М. Горького «О русском крестьянстве» мы находим такое замечание по сему поводу:

— Великий князь Сергий Романов рассказывал мне, — пишет Максим, — что в 1913 году, когда праздновали 300-летие Дома Романовых и царь Николай был в Костроме, великий князь Николай Михайлович, талантливый автор целого ряда исторических трудов, сказал царю на пароходе, указывая на тысячную толпу крестьян:

— А ведь они совершенно такие же, какими были в XVII веке, когда выбирали на царство Михаила, такие же… Как ты думаешь — плохо это или хорошо?..

Царь промолчал…

* * *

Николай Михайлович был прав, они были такими же в Костроме, такими же они были и в Смутное время, под влиянием старых крамол бояр, претензий Папского престола, политики поляков, и точно так же св. Сергий спас их тогда, как спасает и теперь, во всё растущей крепости русской церкви.

Гун-Бао. 1928. 13 апреля.

Торжество веры

Есть у Чехова превосходное трогательное описание пасхальной ночи в Москве, когда после предпраздничной суеты всё замирает на улицах и словно прислушивается, когда ударит знаменитый колокол Реут из Кремля… И как по мановению волшебного жезла, всюду в весенней темноте гремят колокола, кругом всех церквей, изнутри озарённых светом тысяч свечей, начинается крестный ход. Православие торжествует.

Мне не приходилось ни разу быть пасхальной ночью в Москве, зато так отчётливо вспоминается пасхальная ночь в Петербурге. Движение трамваев, извозчиков как-то ослабевает к 11 часам ночи, зато показывается необычайное количество пешеходов. Невский, прямой, стройный, как стрела, чистый, покрыт толпами людей, идущими в разных направлениях, по-праздничному одетых, несущих для свячения пасхальную снедь. Пасхальная ночь — это смотр религиозных сил всего российского люда, смотр, к которому готовятся и который никак нельзя пропустить… Праздник, что-то новое, необыденное, нависает над огромным городом, прикрытым тучами серого свинцового неба…

И как символ этого торжества, на огромном Исаакии, там, где по всем четырём углам его тяжёлой, бронзовой, золочёной крыши высятся огромные, тяжкие бородатые фигуры четырёх Евангелистов, в огромных бронзовых факелах пылает красным полымем горящая нефть, озаряя и эти четыре гигантские фигуры, отблескивая на золочёном куполе. И несётся, не переставая, тяжёлый, бархатный, всё кроющий ровным гудом Исаакиевский звон…

И всех — и чиновных, сверкающих орденами людей, что стояли за особыми тяжёлыми шнурами, разгораживающими внутренность огромного собора, и простых людей, и извозчиков, и пролетариев, и городовых, и генералов — всех охватывало это чувство праздника, новой, необычной значительности, явного торжества веры.

* * *

Пасха — русский праздник, первый праздник православия, в то время как первым праздником иных христианских церквей является Рождество Христово. Это различие в высшей степени характерно; там Бог является в мир посредством обычного акта рождения от смертной женщины; здесь воскресает умерший на

земле живой, плотский Бог, воскресает на земле, утверждая торжество плотской жизни над смертью…

Не будем пускаться в богословские тонкости, но скажем только, что это верование русский православный люд утверждает нерушимо, верит в него глубоко; все философствования разных противников веры, всяких приводящих различные бесполезные исторические справки на те темы, что-де аналогичные праздники Воскресения бывали и в других верованиях, — всё это идёт мимо цели. Русская православная Пасха есть, прежде всего, всеобщий обряд, утверждающий определённую истину, и в этой распространённости, всеобщности своей, как по всей неограниченной территории России, так и по времени — православная Пасха — символ чаяний, верований, надежд самых глубоких и самых затаённых народной души.

Христос воскресает в эту ночь, воскресает тем самым, что все верят в это, и эта вера есть не «заблуждение» или «некультурность», а простая, непосредственная истина, принятая русскими от своих отцов, передаваемая ими своим детям — в несокрушимости церковного обряда.

И как прекрасно выражается это верование в одном старом обряде, а именно в обряде христосования с покойниками. Предки отправлялись на кладбища на пасхальной розовой заре, когда воздух так свеж и лёгок, когда разворачиваются на небе парчовые занавесы восхода, когда солнце играет и пляшет, всходя в этот «Великий День»; там, на могилках своих близких и родных восклицали они с поклоном: «Христос Воскресе!» — и опускали красное яичко в проделанную на могиле ямку…

— Мёртвых нет! — восклицают дети в пьесе Метерлинка «За Синей Птицей», поражая этой новой мудростью Европу.

— Мёртвых нет! — восклицает своей Пасхой православная Русь, огромным многомиллионным сердцем чуя и высказывая в красивом обряде это непосредственно данное ей древнее убеждение Востока…

Пасха — это прямой протест против охватившего Русь за последнее время материализма, который утверждает только Материю, только Смерть, и таким образом обожествляет тёмное, конечное начало…

* * *

Конечно, празднование Пасхи пришло к русским из Византии, но надо думать, что свой специфический, неповторяемый светлый радостный оттенок Пасха получила именно от славянской стихии

России, от отобразившей её русской души, тем самым оттеняя характерное отличие русского православия.

Ходил в Иерусалим смиренный игумен Даниил, как раз на Пасху и в то время, как там был королём Иерусалимским славный крестоносец Балдуин; и поклонился перед ним до земли игумен: «он же, видев мя, худого, поклонившаяся и рече: что хощеши, игумене Руськый? Аз же рекох ему: Княже мой, господине мой! Молю ти ся Бога делая (для) и князей деля Руських, повели ми, да бых и аз поставил свое кандило (лампаду) на Гробе Святем от всея Русьскыя земли».

Балдуин разрешил игумену Даниилу сделать это, и лампада от Русской земли была поставлена на Гробе Господнем «у нозех»; на персях стояла лампада от монастыря св. Саввы и всех греческих монастырей, а во главе — лампада греческая. Лампада же фряжская, то есть латинская, висела над Гробом.

Было это в Страстную Пятницу; затем Гроб Господен запечатан, и в Субботу во время ночной службы «внезапну облиста свет святый в Гробе Господьни» и зажглись от того света три лампады — греческая, монастырская и русская, а фряжская осталась так висеть, как висела. — «Свет же святый не тако, яко огнь земляный, но чюдно инако светится изрядно и пламень его чр`влен есть яко киноварь и от`нудь несказаньно светится».

Так это было дело, как повествует простосердечный игумен, или не так, но характерно то, что этот пасхальный свет озаряет только греческую, православную церковь и не показывается в церкви латинской.

И в пасхальном празднике именно свет православной веры, говоря словами игумена Даниила, «чюдно инако светися изрядно»; русское самосознание настоящего времени, надо надеяться, отличит, наконец, именно свои русские самобытные черты православия русского, национального; оно, наконец, поймёт, что христианство у итальянцев проникнуто их итальянским, национальным, народным характером; англиканство у англичан — создание британского национального духа; французское католичество и католичество германское различны между собой; поймёт, что немецкое лютеранство — есть немецкое лютеранство, а президент С.А.С.Ш. Джефферсон, вырезывающий из двух Евангелий листки того, что, по его мнению, верно, и наклеивающий их в тетрадь — есть прежде всего американец. Между тем православная церковь, вместо того чтобы принять это национальное осенение из всенародного русского обряда, — упорно твердит, что она *греческая,* а не русская, что нужно по греческим обрядникам и требникам проверять и русское богослужение. Когда же поймёт это русская

церковь, тогда прекратится всё время раздирающий её раскол, тогда выбросятся из её обихода многие путы, что стесняют её теперь на пути к устремлению её к народу, к национальному духу… И все те путы, которые ставит теперь на пути её хитрый Патриарх Вселенский, — отпадут. Современное православие не из Византии, а прежде всего из Москвы. Из московской пасхальной ночи…

* * *

Пышно праздновали Пасху в Москве. Празднику Пасхи в патриаршьи времена предшествовал в Вербное Воскресенье обряд въезда патриарха на ослике, в память входа Господня в Иерусалим. Этого обряда Византия не знала. Так, в 1655 году патриарх Никон, человек могучий, здоровый, облачившись перед литургией в Соборной церкви, вышел из церкви, сел на «осля» (лошадь, покрытую белой попоной совершенно, кроме глаз) и двинулся с крестным ходом, в котором шёл Антиохийский патриарх, причём осля вёл под уздцы царь Алексей; дошед до церкви Василия Блаженного, патриарх сошёл с осляти, прочитал праздничное Евангелие в приделе Входа Господня в Иерусалим и вернулся в Успенский собор. Пред ним в крестном ходу несли богато разукрашенное «вербное дерево»…

Всю Страстную неделю по Москве на улицах толклись продавцы крашеных, большей частью красных — яиц; были особые искусники, расписывавшие их золотом. Среди поста Страстной не забывали сирот и нищих; в Великую пятницу царь скрытно, в сопровождении небольшого числа слуг, выходил из дворца, шёл в городские тюрьмы и богадельни, где раздавал щедрые дары несчастным и заключённым. Огромными толпами собирались на царёвом пути нищие, проведавшие о милостыне, а затем, кроме того, стекались к Лобному месту, на Красную площадь, к Иверским воротам, где оделяли их представители царя. Нищелюбие, в согласии с монастырским характером понятий того времени, было развито столь широко, что царь иногда даже устраивал у себя во дворце обеды для нищей братии.

Олеарий, посетивший Москву в XVII веке, рассказывает, что в дни праздника Пасхи трудно протолкаться по улицам, которые полны народом. Колокола гудят вовсю, для того чтобы доставить удовольствие умершим. Везде идёт игра на крашеные яйца, каковая преследовалась в том же XVII веке; никто при встрече не может отказаться от обряда христосования. Конечно, многое множество пьяных…

* * *

Крашеное яйцо играло крупную роль в пасхальном обиходе; о происхождении этого обычая существует много красивых легенд. Говорят, что это — кровь Спасителя, скатившаяся с креста наземь; рассказывают, что красные яички — это материнские слёзы Богоматери, что падали к подножию Распятого. Есть легенда о том, что Мария Магдалина в первый раз похристосовалась красным яичком с римским императором, и т. д.

Но, конечно, яйцо фигурирует здесь в красном цвете, в цвете радости, как символ жизни, воскресающей из этого небольшого, подобного закрытому гробу пространства. Священная птица Сирии — голубь стал играть видную роль в религиозных верованиях православия, а его яйцо, как заключающее его начало, попадается ещё в ассиро-вавилонской космогонии, именно в указанном значении: на берегах Евфрата был высижен голубем из огромного яйца весь мир.

Встречается яйцо и в верованиях персов, у которых в храмах лежали золотые яйца и яйцо фигурировало даже в орнаменте… Там же в начале весны существовал обычай посылать друг другу в подарок именно крашеные яйца.

Подаренное красное яичко сохраняют у икон, оно обладает, согласно верованиям, известными свойствами… Охраняет от пожара, от дурного глаза, бережёт здоровье и так далее. Вода с первого грозового дождя, слитая с красного яйца, приносит красоту, свежесть женскому лицу… На Юрьев день, выпуская скотину из хлева, — хорошо погладить её яичком по хребту и т. д.

Напрасно думать, что просвещение непременно должно *уничтожать* предрассудки; просвещение, уничтожающее с особой охотой предрассудки, — само становится несноснейшим предрассудком. Оно преследует обряды, поверья, обычаи, настойчиво и нагло доказывая всем, что это всё «темнота», «суеверия» и так далее, что наука столь могущественна, что она всё «рассеивает».

А между тем такое понимание о науке — само является вреднейшим суеверием; наука ничего не может дать человечеству взамен этих «предрассудков», ничего, кроме нескольких прописных истин… А между тем столько красивых обрядов, легенд, поверий, так прагматически украшающих и облегчающих жизнь человечества, убивает эта суеверная площадная наука… Наука прежде всего безнасильна, она отворяет двери знания бесшумным ключом; со взломом же в чужие головы врывается беспардонная полунаука, страшнейшее из суеверий. Наука отлично знает ту свою область, о которой она говорит; а в область

человеческих чаяний, чувствований, догадок, откровений — она входит, обнажив голову, потому что бороться со всем этим — не её дело… Её дело — утверждение, а не отрицание…

Вот почему присутствуя сейчас при попытках так называемой коммунистической власти бороться с этими предрассудками, мы можем только сказать:

— Тысячелетия прошли у человечества под знаменем этих отрадных, окрыляющих идей, значит, в них есть какой-то облегчительный толк… И бороться с ними — значит бороться с чаяниями, чувствами человеческой души, стойкой и сильной в своих направлениях… Так в Москве на одном митинге Луначарский долго громил православие; оппонентом ему выступил какой-то скромный священник, которому дали на речь всего пять минут. Он же, подойдя к краю эстрады, поклонился, благословил собрание и сказал:

— Христос Воскресе!

И гулко ответило ему собрание:

— Воистину Воскресе!

Таково было действие луначаровской науки, опровергаемой торжествующей Пасхой.

Гун-Бао. 1928. 15 апреля.

О русской душе
(*За царством праведных*)

В своей известной Теодицее в «Братьях Карамазовых» Смердяков говорит:

— Сказано в Писании, что если вы имеете веру в самое даже малое зерно и притом скажете горе сей — чтобы съехала в море, то и съедет, нимало не медля, по первому же вашему приказанию… попробуйте же вы сказать, Григорий Васильич, сей горе, чтобы не то чтобы в море (потому что до моря отсюда далеко-с), но даже в речку нашу вонючую съехала, что у нас за садом течёт, то и увидите, что всё останется в прежнем порядке и целости, сколько бы вы ни кричали-с…

Циничный взгляд, неверие, разрыв с Божеством — вот что мы видим в страшном «бульонщике», сыне Лизаветы Смердящей и Фёдора Павлыча Карамазова, «сладострастного насекомого»… Он и убить может, он и душу смутить может; но опровергает ли он самую правду-то?

Нет! Здесь — русский вольт, неверие до конца, кощунство только для испытания — а вдруг-де грянет гром, доказывающий, что есть Бог!

— Да, законы природы — неизменны, стало быть, и веры нимало нет в мире, — полагает Смердяков и сейчас же оговаривается:

— Решительно никто не сможет спихнуть горы в море, начиная с самых высоких лиц и до последнего мужика, кроме разве *какого-нибудь человека,* много двух, да и то, может быть, где-нибудь там, в пустыне Египетской в секрете спасаются…

И слова эти приводят в восторг Фёдора Павловича:

— Стой! — завизжал Фёдор Павлович в апофеозе восторга, — так двух-то таких, что горы могут сдвигать, ты всё-таки полагаешь, что есть они?

Иван, заруби черту, запиши — *весь русский человек в этом сказался!*..

* * *

Да, русский человек верит в святость; как бы он ни погряз глубоко в жизни, а русские — мастера погрязать весьма и весьма глубоко — однако русская душа всегда чует, что где-то есть самая настоящая правда: носителем этой правды для него являются

святые, а святые есть — прежде всего — реальные люди. И в вере в Китеж, Град Невидимый, и другие легенды — сказывается первее всего это свойство русской души:

— Есть где-то земля праведная! Есть!

Так в «Грозе» об этом рассказывает странница; так нам известны многие рассказы и красивые апокрифы на эту тему, которые собирать такой мастер А. Ремизов; эти легенды распространены среди русских богомольцев, своими лапотками ходко меряющими просторы Русской земли; но мы привыкли относиться ко всему этому как к известному фольклору, как к легендам, которые можно столь красиво стилизовать в русском духе. А между тем мало кому известно, что однажды была снаряжена русскими людьми самая настоящая экспедиция в поисках за этим блаженным царством.

* * *

Где-то на Востоке сохранилась до сей поры нерушимо сказочная страна, именуемая Беловодией; по другой версии называется она — Камбайское царство; в ней царствует истинная, православная вера, насаженная там непосредственно ещё апостолом Фомой. Там есть патриарх, епископы, церкви; там царит справедливый царь. Правда, церкви там всё больше *ассирские,* но есть и русские, числом 40. Там нет ни убийства, ни татьбы (воровства), там царит истинное благочестие.

Как же пройти туда? У Мельникова-Печерского имеем сведения, что известен туда маршрут со слов инока Марка, Топозерской обители, ходившего туда в XVII веке.

В середине XIX столетия явился на Руси некий епископ Аркадий, который во всеуслышание объявил себя *Беловодского оглавления;* были у него и документы, ставленая грамота за собственноручным подписом смиренного патриарха Мелетия, «Божией милостью патриарха славяно-беловодского, камбайского, японского, индостанского, индиянского, англо-индийского, Ост-Индии, Юст-Индии и Фест-Индии, и Африки, и Америки, и земли Хил, Магелланския земли, и Бразилии, и Абиссинии».

Со слов-то этого епископа Аркадия и были получены точные сведения о том, где именно находится эта блаженная страна; вот что он повествовал:

— Есть на Востоке, к южной стороне за Магеллановым проливом, а к западной стороне за Тихим морем, Славяно-Беловодское царство, земля Патагонов, в котором живут царь и патриарх. Вера у них греческого закона, православного

ассирийского, или просто сирского языка; царь там христианский, в то время был Григорий Владимирович, царицу же звали Глафира Осиповна. А патриарха же звали Мелетий. Город по ихнему названию Беловодскому — *Трапезанцунсик,* а по-русски перевести — значит Банкон, или Левек. Ересей и расколов, как в России, там нету, обману, грабежу и лжи нет же, но во всих — едино сердце и едина любовь[22]…

Туда-то и была отправлена в 1898 году экспедиция из уральских казаков — староверов. В депутацию вошли — урядник Рубеженской станицы Вонифатий Данилович Максимычев, Онисим Варсонофиевич Барышников, Григорий Терентьевич Хохлов; от ревнителей древнего благочестия было им отпущено 2500 рублей на путевые расходы, да город Уральск прибавил 100[23].

Выехали они 22 мая из Одессы и скоро были в Константинополе, где чуть-чуть не засыпались — потому что везли с собой, как люди военные, для ради дальнего пути револьверы и патроны; с трудом высвободил их русский консул.

Как водится, нанесли наши казаки визит Патриарху Константинопольскому по своим раскольничьим делам и видели массу достопримечательностей; в церкви Балыклы сами видали рыбу, которую в зажаренном виде кушал царь Константин, когда турки ворвались в Византию: рыбы как были, так и соскочили в воду и до сих пор плавают с обжаренным боком; осматривали знаменитую церковь Дмитрия Солунского, причём при переходах в тёмных катакомбах храма, опасаясь вероломства проводника, за неимением отобранных револьверов держали наготове ножи, чтобы воткнуть их гиду в живот в случае его подозрительных действий. Но всё обошлось благополучно. В Иерусалиме — посетили, между прочим, подлинный дом милосердного самарянина и видали ту самую смоковницу, на которой сидел Закхей; любопытствовали посмотреть обращённую в соляной столб жену Лота, но оказалось, что её уже вывезли в музей проворные англичане…

Двинулись дальше на французском пароходе без языка, без проводников, и шли Красным морем; всю ночь просидели на палубе, ожидая фараонов, которые должны были бы спрашивать наших путников: «Скоро ли светопредставление?». Ничего не видали и не слыхали…

24 июля прибыли в Сингапур и тут, высадившись, были немало изумлены видом «извозчиков, которые, не имея ни рубахи, ни штанов, сами входят в оглобли и везут людей…».

С «извозчиками» этими вышел инцидент — зашли благочестивые казаки в какой-то магазин, и «извозчики» стали

требовать расчёта. Тогда Григорий Терентьевич Хохлов вскочил со стула, чтобы расправиться с ними по-казачьи. Насилу успокоили.

29 июля подошли к Сайгону, по мнению уральцев — к Камбайскому царству (Камбоджа), и на восходе солнца над пальмовым лесом услыхали благовест. Наши, стало быть! Радость была большая!

Спустившись с корабля, сели на «бегунков» и двинулись на зов. Оказалось — французская церковь с латинским крестом…

Напрасно наши казаки расспрашивали и какого-то русского фармацевта, торгующего в Сайгоне, и русского консула — никто ничего про страну истинного благочестия — Беловодье сообщить им так и не мог… Не нашли они этой страны!

Только одно их там весьма знаменательно заинтересовало — изображение Майтрейи — так называемого «грядущего Будды», у которого оказались пальцы сложенными для двуперстного знамения… И через Китай, где обратили внимание «на белые воды реки Киангси», Японию и Владивосток вернулись домой.

Они так и не нашли на земле истинно блаженного Беловодского царства.

* * *

Но какой ещё народ пойдёт искать по земле, чтобы найти где-то привлекательную сказочную мечту свою, найти её в реальных формах… И следовательно — какой народ может верить так свято своим собственным химерам…

Никакая душа, кроме русской, вечно готовой к каким угодно крестовым походам ради слышимого ею благовеста вечности; а вместе с тем, может быть, и ради тех неправд, которые творились на Руси.

Гун-Бао. 1928. 24 апреля.

Смотр верных
(*Впечатления от Радоницы*)

Те, кто привыкли иметь дело с массой, отлично знают, как трудно добиться подчинения себе больших масс, как трудно овладеть их вниманием; какой-нибудь «противорелигиозный» митинг едва может собрать каких-нибудь двадцать человек.

Ещё труднее, чем собрать, — удержать эти массы в повиновении. Прекрасная хохлацкая поговорка гласит, что «неправдой свет пройдёшь, да назад не воротишься»; то есть, конечно, можно добиться каких-либо успехов при помощи соответствующих ложных «информаций», но действие их всегда будет замирающее; рано или поздно, а разоблачат!

Подумайте поэтому, какая сила нужна для того, чтобы вчера собрать на удалённое далеко за город Новое кладбище толпу, в общем могущую насчитать несколько десятков тысяч человек! Мне даже говорили, что вчера на Новом кладбище перебывало в общем, с раннего утра и до позднего вечера, до 40 000 человек!

Что же собрало эту толпу за город, что же унесло её за несколько вёрст пыльной дороги, причём ведь далеко не все могли пользоваться бешено летевшими автобусами и автомобилями… Только одно — религиозное, искреннее чувство…

Православные шли в этот день, чтобы поздравить своих близких и дорогих покойников, чтобы похристосоваться с ними, чтобы в древнем обряде потрапезовать с ними одной общей тризной на могилке…

Вчерашняя Радоница показала, что эта многотысячная русская толпа верит в Бога, чтит древний обряд, верит в Воскресение и что на неё нерелигиозные и безбожные проповеди последних лет не оказали никакого влияния…

Радоница — была вчера религиозным смотром…

Смотром сил православия.

* * *

Под пятичасовым нежарким уже солнцем, под летящей из-под автомобилей пылью — по обеим сторонам дороги на кладбище и обратно льётся сплошная разноцветная толпа. Уже у Чурина, то есть в расстоянии трёх-четырёх вёрст от кладбища — чувствуется оживление: покамест, мол, спутники идут к Чурину покупать

фотографические пластинки — в наш автомобиль вторгается несколько желающих ехать на кладбище… Автобусы работают так, как они, вероятно, долго не работали; нужно изумляться, с какой ловкостью и смелостью мчатся они по узкой дороге…

И вот между двумя китайскими храмами — Ти-ло-сы и Конфуция — Успенская кладбищенская церковь, с крестом, попирающим полумесяц, на колокольне… Сколько исторических справок вызывает во мне вид этого креста… Уже в сотне сажен от ворот кладбища к ним нельзя проехать. Автомобили стоят сплошным тесным рядом.

Выходим и медленно, шаг за шагом, придерживаясь одной стороны, движемся в сплошной толпе, плотно заливающей путь… Дорогу с обеих сторон гирляндою обсели нищие всяких званий и видов… Тут и монах — живописная фигура с белыми кудрями и кружкой «на построение храма», и слепой китаец, и женщина — мать, кормящая нагой грудью младенца, и старик почтенного вида в старой толстовке, вся святая, хмельная во Христе, юродивая Русь. У тех и у этих огромные мешки с куличом и разной снедью… Насбирали!

* * *

На могилах — сидят, стоят люди: то в задумчивой позе, то в хлопотливых заботах о кресте, цветах. Там и сям на могилках, обращённых в столы, — постланы белые скатерти; на них — куличи, цветные яйца, пасхальная снедь, мелькает иногда и полубутылочка.

Какая смесь настроений, какая выставка людей, которых раньше никогда я не видал в Харбине… В каком-нибудь Желсобе, например, знаешь всех, кто там появляется…

Там — *фигуры*… Здесь же безвестная и вместе с тем грозная масса… Народ православный…

* * *

Служат панихиды.

Под голубым небом, на котором чётко прорисованы чернью уже набухающие почки деревьев, на зелёной травке могилок — среди прозрачных, похожих на весеннюю дымку сизо-голубую деревьев — цветные пасхальные ризы священников… Как вяжется с этим видом вон та, голубая с золотом, — то же голубое небо с золотом солнца… Звон кадила, голубой приторный дымок и

простое пение пасхальных и похоронных гимнов, где два голоса, свиваясь и расплетаясь в тёплом вешнем воздухе, уже дают удивительные эффекты…

— Христос Воскресе! — слышится утверждение из одного места.

— Надгробное рыдание творяще песнь! — раздаётся мрачный баритон из другого…

Весна, когда надгробное рыдание превращается в светлую песню…

И невольно становится грустно на душе, когда видишь, как над могилой склонилась одинокая фигура бедно одетой пожилой женщины.

Где и как она может получить утешение тем своим страданиям, она, оплакивающая разорённое гнездо своё, если только не в вере в бессмертие? Что вы думаете, ей нужна электрификация или Волховстрой?

Есть одно состояние человеческой души, которое можно было бы назвать её первичным равновесием… Пока оно есть — всё хорошо… И горе тому, кто нарушит душевное равновесие целого народа!

* * *

Музыка. Кого хоронят сегодня в этот сияющий день? Наверно, это наш владивостокский деятель Ж. Ж.

И публика в погоне за звуками карабкается на фигурный забор кладбища, смотря туда, где скудно, по бедному звонит католический колокол…

Прохожу в левый дальний угол кладбища, где погребены наши «безбожники». Вот они.

Вместо торжественных крестов, имеющих свою трагическую двухтысячелетнюю историю, крестов, о которых написаны целые тома богословия, крестов как символов христианской культуры — какие-то немногочисленные нелепые красные доски, вроде гладильных, вбиты в головы могил.

И больше ничего.

Народу здесь меньше, нежели в других частях кладбища. И смотря на эти печальные «безбожные» могилы, невольно чуешь тщету человеческих мудрствований здесь, пред лицом смерти.

Насколько красочнее, утешительнее, гениальнее христианский обряд!

А вот даже не доска, а просто что-то вроде гранёного красного кола, вверху вырезаны по граням звёзды.

Под этим унылым памятником спит какой-то младенец.

Чья-то рука пририсовала тут же, под одной из звёзд, крест, и видна надпись карандашом:

— Спи! Ты не виноват… Твои родители св……

Иду дальше. Группа людей сидит и закусывает на могилке; стараюсь рассмотреть — доска или крест? Да, доска, но на неё предупредительно повешена верхняя одежда. Конспирация.

Вот небольшая группа родичей сидит, понурив головы, около доски. А на доске венок и икона Спасителя.

Какая чисто русская трагедия!.. Русского человека нельзя сломать, он только гнётся; он обтекает своим руслом препятствие и смыкает дальше уже за препятствием свои воды, как ни в чём не бывало…

Но из кучки родственников, бредущих мимо с кульками на могилку к своему родственнику, несётся ядовитое:

— Ишь, двух партий держатся!..

Да, две партии… И за ту, и за эту…

А это что? Опять доска без креста. На ней надпись: «Спи, дорогой товарищ! Такова воля Господня!».

А самое главное, что на всех этих немногочисленных красных могилках везде лежит цветная скорлупа яиц, или яички, или накрошен кулич…

Значит и здесь торжествует обряд…

* * *

Покачиваясь, идёт предо мной коренастая фигура мастерового. Очевидно, порядочно хватанул, поминая покойничков.

И в его словах, которые он перемежает с размашистыми жестами, я разбираю:

— Да, вот и пришёл на кладбище! Да, потому, что так полагается!..

И, подумав немного, прибавляет, выпаливает:

— Потому что мы русские люди!

* * *

Вчера на Радонице на Новом кладбище был смотр, смотр православных русских сил; и тот, кто понимает, что нельзя быть безучастным в дни, когда совершаются в своей стране исторические события, — тот поймёт:

— Вчера могильная земля была и по всей Руси прозрачна для русских людей, и многие миллионы смотрели в мёртвые и важные лица миллионов своих предков, учась от их немного властного вида, что *нельзя отходить от национальности.*

Ведь нация — это союз живых и мёртвых!

И над кладбищем чудесным образом витал дух жизни…

* * *

Вот заключение.

И после этого парада я шёл обратно значительно успокоенный:

— Есть ещё порох в пороховницах!..

Всё выше и твёрже подымается православие, и теперь только дело за священнослужителями, чтобы оказаться на должной высоте!

Время за нас!

Гун-Бао. 1928. 25 апреля.

Борьба за свободного человека

Можно сказать — взасос прочитал эту подлинную книгу[24]. Книга, которая написана не измышлением, а самой жизнью; и впечатление — самое отрадное.

Есть ещё порох в пороховницах! Есть ещё сабля на боку! Есть ещё там, в России, смелые и свободные люди, которые дерзают, несмотря на тяжёлую, кошмарно-давящую обстановку! Есть, следовательно, та толща народных вод, по которой, как плёнка нефти по морю, радужно искрится покров коммунизма, не отвечая своими отливами сути молчаливых глубин.

Книга Бессонова — есть человеческий документ, документ сильного и отважного человека… Бессонов глубоко скорбит об отсутствии на своей родине маломальского порядка, при котором возможно было бы жить, но он скорбит скромно, как человек, не привыкший суесловно политически бросаться словом «родина» по всякому поводу, удобному и неудобному.

26 тюрем прошёл этот человек, этот офицер, только за то, что он был офицером, за то, что он провёл великую войну в рядах русской кавалерии; двадцать шесть тюрем прошёл он и, рассказывая об этом, не представил этого в преувеличенном виде своих «страданий». Ясно и просто смотрит он жизни в глаза. Как только эта жизнь немного отпустит, немедленно сам хватает её за глотку мёртвой хваткой.

Контрреволюционер он? Нет, нельзя и этого сказать. В нём нет следа какой-нибудь организованности, заговорщицкого настроения. Он просто один из советской толпы, живой и подлинной, он — любящий эту толпу, пронизавший её в самых низах и верхах; он свидетель того, как живут в России не коммунистические манекены, а просто-напросто — живые люди.

Пафос революции не захватывает его. Занимая должность помощника коменданта Зимнего дворца, он ускользает после большевистского переворота и… идёт жить в гостиницу «Асторию», где жил и раньше…

В январе 1918 года — он ускользает в городок Сольцы, Псковской губернии, где живёт тихо и незаметно. И действительно, разве не естественное желание — ускользнуть от этой всей чепухи и неразберихи?

К концу этого года Бессонов начинает обычное «прохождение службы» совгражданина. Начинается спекуляция на сахарине, и Бессонова арестовывают, обнаружив на его квартире какую-то пародию на манифест Ленина.

Он попадает на Гороховую, 2 — то есть в былое

петербургское градоначальство. И опять — как всё просто:

> «Мы с Юрьевым ждали допроса. Днём спали на одной грязной, вшивой, с клопами, койке… Ночью бодрствовали. Было душно, воняло немытыми телами, ватерклозетом».

Не спали ночью, потому что ждали вызова.

На допрос или на расстрел.

А потом — погнали в Вологду. В Вологде жили в гимназии, в прекрасном здании с лепными потолками и паркетными полами, где были и построены нары в два этажа. А вместо уборных — обитателям служили необычайным образом тоже такие же залы. Сначала плотно загаживали одну, запирали, переходили в следующую, и т. д.

И тут знакомство — с «типом». «Для кого — Васька, — с уважением отзывается о нём автор, — а для кого и Василий Александрыч Бояринов». Этот «блатной» оказался добрым гением нашего автора, которого вслед за этим перевели на работу на «Разъезд 21-й версты».

За один фунт хлеба в день, 4 золотника сахару и «суп» они работали на 25-градусном морозе по 12–14 часов в день, не имея тёплой одежды.

> «Я не знаю, какова была смертность в этом проклятом, забытом всеми местечке среди лесов и снега, местечке, искусственно созданном больной большевистской фантазией, — пишет Бессонов. — И это меня не интересовало. Зачем было выяснять этот градус смертности, зачем было выяснять вероятность смерти, когда она ежечасно грозила каждому из нас?
>
> Знаю только, что за короткое время моего пребывания там несколько человек сошло с ума… Мои товарищи по несчастью почти поголовно потеряли человеческий облик, обросли, покрылись грязью и были сплошь во вшах. Все собаки и кошки, находившиеся на разъезде, были съедены. Каторжане их крали и варили…»

И вот в мозгу, обострённая этим кошмаром существования, проявляется мысль:

— Бежать! Бежать на белый фронт!

Но этой мысли не удалось воплотиться в действие, в самый последний момент… Не удалось украсть компас…

Случайно разразился оригинальный флирт с некоей давно

знакомой дамой, «авантюристкой до мозга костей», игравшей роль комиссарши и прибывшей в своём вагоне… Дочь генерала, жена коммерсанта, она в революции искала острых ощущений и никоим образом не была ригористкой…

А потом — удачный побег. На архангельский фронт. Побег в качестве представителя от местных крестьян, бывших готовыми восстать поголовно…

Конечно, приём «штабной»… Ведь белые штабы столь замечательны были своей бестолковостью…

К плану восстания отнеслись «равнодушно, мягко говоря»… И наоборот, стали подозревать самого Бессонова в том, что он большевистский агент…

Ему пришлось проехать в Архангельск. Оттуда уже ушли «союзники», англичане. У правительства Северной области не осталось денег.

А у буржуазии они были. Были товары, которые можно было продать для борьбы…

Но буржуазия денег не давала, а товары оставили целиком большевикам. Вместо того чтобы хорошо принимать красных пленных, накормить, напоить, «погладить по головке» и бросить против большевиков же — из них выматывали душу голодовкой, арестами и подготовляли из них опять тех же большевиков…

И т. д. и т. д. Картины печально общеизвестные. Архангельский фронт рухнул.

А потом автору вместе с 1200 отрядом белых, шедших из Архангельска по Мурманской дороге, после 500-вёрстного похода пришлось сдаться большевистским броневикам на станции Сорока.

Генерал В-в подписал «договор», по которому им «гарантировали» жизнь, неприкосновенность имущества и свободу…

На другой же день генералы чистили ватерклозеты, а отряд повезли в петрозаводскую тюрьму…

Таково значение этих «гарантий».

* * *

Автор попадает в вологодскую тюрьму. И называет её так:

«Тюрьма-санаторий…».

Здесь он сидит с «блатом» и «шпаной», с их водителями Федькой Глотом и Васькой Коровой, которые держат себя так независимо, что на полу камеры жгли табуретки и варили на этих кострах чай…

Жилось, в общем, хорошо. Потом повезли в Архангельск на суд и там оправдали.

Бессонов в Петербурге и занимается… налётами… — «Откинув закон Бога, большевики установили свой… Я утверждаю, что в Совроссии нет никого, кто не преступал бы его… И я принял вызов. Стал вне закона».

И он, вместе с другими такими же безродными сынами России, ограбил какого-то казначея…

И в жизни его на этих новых путях начинается новая глава — загулы…

Как-то попал наш автор к Пивато на Морской со знакомой женщиной. В кармане было у него двадцать золотых монет, попал Дулькевич, гитарист, а там Нина Дулькевич, Масальские, и пошло, и пошло…

> «Начали с хоровых… Перешли на сольные… Копнули старину… Ахнули плясовые… Опять сольные… Вино… Чарка… Ходу!.. И ходу!..
>
> Всё забыто… И тюрьмы, и ГПУ… И вся соввласть…
>
> Всё шло ребром… Вот она, жизнь… Вот подъём…»

А потом ссылка в Тобольск, побег в Петербург — жизнь среди и «блатных, и проституток»… Арест. Соловки. Попов остров.

* * *

И там, на Соловках, идёт анализ самого себя, своих действий, переживаний… Практический сценарий по Достоевскому…

Решение одно. Надо бежать.

И четыре человека, посланные на работу в лес, отнимают у двух конвоиров винтовки и бегут…

Бегут в сторону Финляндии, до которой 350 вёрст…

В одном месте, когда награбленные у железнодорожников припасы беглецов пришли к концу, Бессонов наткнулся на какое-то карельское становище, где, невдалеке от избушки, он нашёл сухой хлеб и пшённую крупу…

> «Помню, — пишет он, — как часа через два, в одном белье, сытый, с цигаркой в зубах, я лежал в жарко натопленной избушке и чувствовал себя счастливым человеком… Я жил… Я чувствовал жизнь…
>
> В открытую дверь светило солнце…
>
> Я был свободен… Был близок к природе… Имел хлеб и кров. Я был счастлив…

Никакая самая утончённая еда, никакие самые комфортабельные условия не дадут тех переживаний, которые получает голодный и усталый человек, когда у него есть кусок чёрного хлеба и крыша над головой…

Все свободы всех стран — ничто перед свободой человека, для которого один закон — Бог и совесть…

— Слава Богу за то, что он дал мне это пережить!..»

Через несколько дней они были в Финляндии.

Спасены.

* * *

Никакая проповедь нации, никакая работа в сторону восстановления русской нации не будет иметь успеха до той поры, покамест в самой толще народной не будут отмечены, зафиксированы в массовом числе переживания, подобные отмеченным Бессоновым… До тех пор, пока простые библейские основы жизни — Бог, хлеб, кров — не будут осияны таким светом своей привлекательности, каким они сияют для него нынче…

И эти основы гораздо крепче, устойчивее, нужнее, нежели какие бы то ни было догмы или доктрины, потому что они (основы) первичны и исконны…

Здесь, на осознании их, в этом страшном опыте начинают опознаваться первые начала права, государства, взаимных обязанностей и т. д., всего того, что в догматах культурного человека — вроде «правовых гарантий», находится уже в отвлечённом и несколько опустошённом виде.

Великий Макиавелли говорит, что принципы государственной свободы заключаются в личной безопасности, неприкосновенности жилища и в спокойствии за честь жён, сестёр и дочерей. «Но, — прибавляет меланхолически великий мыслитель, — никто не чувствует себя благодарным за то, когда он всё это имеет…»

Испытание, подобное бессоновскому, заставляет его быть *благодарным* за то, что это он, наконец, получил. А это самое главное.

А подобных Бессонову — тысячи, десятки тысяч. Он только выступил с книгой, другие же этого не делают.

Но так или иначе, в русском народе есть смелые, в одиночку идущие предприимчивые люди, в которых растёт сознание, что дальше оставаться под этим гнётом, нависшим сейчас над Россией, — немыслимо.

Вот в чём значение этого человеческого документа.

Гун-Бао. 1928. 2 июня.

Пытка колоколом

Исама Ибн Мункыз в своей «Книге Назидания» рассказывает, как для воспитания ловчих соколов бедным птицам не дают спать по три, по четыре дня… Для этого ловкие и правоверные сарацины помещали сокола под колоколом, который и звонил неустанно в продолжение указанного срока времени…

А когда к этому присоединялась ещё солидная голодовка, то гордый сокол окончательно смирялся. Покорно садился он на руку сарацина, убранную в толстую, шитую шелками и золотом перчатку, а на головку ему надевали колпачок, скрывавший от него Божий свет.

И только тогда, когда ехавшему в зелёном лугу широкой рысью ловчему угодно было сорвать с головы птицы колпачок и указать зоркой птице летящую торопливо — мах-мах-мах — стаю уток, молнией взлетал с руки сокол, кругами подымался он под самое небо, выше, чем утиный караван, и, камнем падая сверху, сшибал жирного, буржуазного чирка, к великой потехе и славной охотницкой радости своих хозяев.

* * *

Уже посещавшие Москву в XV веке иностранцы высказывали предположение — не для того ли держали московский народ в полной темноте московские князья, чтобы сделать из него только храбрых и безропотных вояк… Но если это высказывалось в то время бытописателями Москвы только лишь предположительно, то относительно настоящего времени мы в этом не имеем никаких сомнений.

В «Молве» пришлось мне прочитать телеграмму из Петербурга, по которой выходит, что над жителями этого несчастного города, отнятого Лениным у Петра, предполагается опыт «милитаризации». Эта милитаризация — как две капли воды похожа на трёхдневный звон медной пасти безжалостного колокола над головой русского сокола, которого столь выразительно воспевал когда-то нынешний подхалим Максим Горький. Оказывается, милитаризация эта будет состоять в репетиции и манёврах «воздушной обороны».

В Петербурге в известное время, по рёву специальных сирен с Невы, по зову колоколов в церквах, по фабричным гудкам, внезапно должна будет наступить полная темнота. Затем эскадрильи аэропланов, взвившись над домами, будут

обстреливать город безопасными ракетами, которые и будут рваться на улицах… В ответ на это противоаэропланные зенитные пушки откроют бешеный огонь по нападающим, силуэты которых выхватят из ночной тьмы белые лучи прожекторов.

Но главная опасность, главный звон впереди. Петербург будет атакован «волнами безвредного газа», чтобы жители города могли легко усвоить себе, что такое газовая атака, и воспользоваться противогазами…

Едва ли где в другой стране, кроме СССР, на головы мирных жителей обрушиваются такие несчастья и испытания терпения. Эти переживания — не что иное, как сплошной систематический звон над головой русских обывателей, которым дурят голову и не дают спокойно жить вот уже в течение десяти лет.

Лекции, литература, театры, газеты, комсомол, борьба с религией, клубы, половой вопрос и разврат, авиахим и т. д., и т. д. — всё это истошный звон в мучительный колокол…

Для чего?

Для того, чтобы в конце концов всё население превратилось в сплошное, пассивное ручное стадо, которое можно бросить куда угодно — в каком угодно направлении…

В «Exercitia spiritualia» св. Игнатия Лойолы, в наставлении, по которому иезуитские священники должны улавливать души верующих, овладевать ими и руководить, указывается точно такое же средство. Точно так же человеку устраивается звон над головой; ему столько говорится об аде, который ему грозит, описывается запах серы, смолы и жар подземного пылающего огня, что в конце концов верующий покорно валится в руки находчивых иезуитов:

— Делайте со мной всё, что вам угодно!.. Смиряюсь!

Воля отдельного человека затуркана, запугана, забита; он слышит со всех сторон только непрестанный пугающий, не дающий ему забыться звон; и наконец — человек в руках своих мучителей:

— Я ваш! Я подчиняюсь вашей воле!

История знает случаи, по которым ясно видно, что система коммунистов и система отцов иезуитов сходятся… Основная мысль католицизма, а именно — полнейшее подчинение воли верующего Папе Римскому, наиболее совершенным образом проявилась в тех поселениях в Парагвае, в которых когда-то хозяйничали иезуиты. Они, забрав там над туземцами полную светскую и духовную власть, превратили всю эту американскую страну в одну обширную земледельческую колонию. Все работы — промышленные, фабричные, ремесленные — производились под иезуитским надсмотром. В каждом селении был особый

управитель, распоряжавшийся туземцами как рабами. Всё, что они вырабатывали, — поступало в общественный магазин, откуда выдавалось жителям самое необходимое. В каждом парагвайском селении был порядок рабочего дома или аракчеевского поселения, где всё делалось по звонку и однообразие и скука были непроходимые. Говорят, что материальное состояние края возросло необычайно, не было нищих, не было бедных, каждый имел всё для необходимого ему обеспеченного существования. «Не было только одного — свободы мысли, свободы действия, — и люди были доведены до состояния домашних животных»[25].

До состояния домашних животных или до состояния приручённых соколов доводятся люди и в Совроссии. Взгляните на приезжих оттуда: в их глазах отупение и тоска, неумолимый грохот одуряющего колокола, невыносимое талдычанье одних и тех же «лозунгов» и «политграмот», и т. д.

И кроме того — прибавьте терроризующий грохот разрывающихся снарядов, сверкающие лучи прожекторов, волны каких-то газов, изливаемых на целый огромный город, которые нужно встречать в масках, — конечно, это тоже порабощает. Разве невозможно предположить, что в случае какого-либо непокорства власть пустит в тот же Петербург не безвредные, а ядовитые газы, и таким образом сразу же покончит с дерзкими, решающимися протестовать против уз железных коммунистического государства…

* * *

Русское общество до дней революции всегда воспитывалось на уважении к личности, на том, что развитие личности является целью государства. Ради этой личности, можно сказать, произведена и русская революция. И вот, вместо этого — русское общество теперь искусственно ввергнуто во власть социалистического коллектива.

Коллектив — вот что давит собой русскую личность; государственный аппарат, против которого всегда выступали русские мыслители, налившись кровью во время Великой Войны, стал огромным Молохом, требующим себе жертв и жертв, во что бы то ни стало.

Подобно Петру Великому, уничтожившему единоличное административное начало в жизни русского государства и введшего коллегиальное, в видах того, что коллегия, предположительно, должна работать энергичнее, большевики провозгласили коллектив и… впали в ту же ошибку. Как

доказывает исторический опыт, коллегиальное начало несёт с собой всегда одно и то же — бюрократию.

Бездушная, безответственная в своём коллегиальном составе, лишённая искры Божией и истинного центра творчества, коммунистическая бюрократия, точно так же как и бюрократия дореволюционная, но ещё в гораздо большей мере, свирепствует над народом. Для бюрократии — есть только цели, исчисляемые на бумаге: «Социализм — это учёт», — сказал Ленин. И коммунистическая бюрократия с лёгким сердцем обращает в коммунистических рабов всех жителей русской земли, приводя их к покорности оглушительным звоном над ними в колокола Маркса.

Для коллегии — нет движения совести, порядочности, морали и т. д. Всё сводится к математической выгоде; а так как принцип творчества и не ночевал в бюрократической системе вычисления «доходов», а таковой принцип связан с живыми индивидуальными особенностями данного лица, с его способностью разобраться в обстановке, оценить её, выбрать время для действия и т. д., словом, со всем тем, что не поддаётся никакому предварительному анализу, а составляет суть действия *хозяина,* за что и боролась против дореволюционной бюрократии русская общественная мысль, — точно так же и советскую бюрократию может ожидать только эта же самая судьба:

— Борьба против неё!

Борьба со стороны оглушаемого народа за возможность свободного творчества, за возможность работать.

Неужели же так трудно осознать, что посадить неопытную многочисленную коллегию в лавку на место одного опытного и ловкого купца — это значит — вообще подорвать торговлю, усложнить и запутать её, особливо же, если каждому из участников этого коллективного предприятия приходится непрестанно жужжать в уши:

— Учись торговать! Будь красным купцом!.. Помни заветы Ильича!

Увы! Купцы — рождаются, а не создаются. Рождаются, а не создаются любые ответственные деятели…

И колокол, сотрясающий мозг всем несчастным жителям Совроссии, дабы из них сделать то одно, то другое употребление, послать партийца, смотря по усмотрению «Госплана», — то в акушерки, а то в хирурги, а то в купцы…

— Трезвонит, не заглянув в самые простейшие святцы живой жизни.

Гун-Бао. 1928. 8 июня.

Парагвайский опыт отцов иезуитов

Что такое представляет из себя коммунизм и каково отношение его к культуре — вот вопрос, который ставит себе профессор Р. Ю. Виппер в прекрасной книжке своей — «Коммунизм и культура»[26].

В первых же страницах автор устанавливает, что коммунизм не есть тот общественный строй, который мог бы быть почитаем как строй *естественный,* первобытный. В обществах, стоящих на самых низких степенях развития, имеется всегда и собственность, и инстинкт её, и самостоятельность отдельных его членов.

Коммунизм предполагает всегда разницу наличной культуры между двумя классами или группами данного общества; одна из этих групп должна стоять на высшей степени развития и управлять другой группой тем или иным способом. Группа, находящаяся у другой в подчинении, принимает повеления высшей группы с полной покорностью, как бы повеления божества; это обстоятельство сближает коммунизм с абсолютизмом, который есть тоже своего рода коммуна, поскольку правящий класс, объединённый вокруг какого-либо вождя, составляет покорную коммуну по отношению к этому вождю. Таким образом, говорит профессор Виппер, монархический строй есть как бы двойной коммунизм — верховодящей группы по отношению к вождю и подчинённой группы по отношению к верховодящей группе.

Пример такого коммунистического государства наш автор показывает на любопытном государстве, существовавшем с 1602 по 1768 год на плантациях иезуитского Парагвая.

По открытии Америки туда, как известно, двинулись массы своевольного и жестокого рыцарства, и в противовес им испанское правительство предоставило обширные редукции, то есть концессии, отцам иезуитам, которые должны бы были противодействовать возникновению в Америке нового феодализма и истреблению краснокожих туземцев.

Таким образом, отцы иезуиты были во враждебных отношениях к испанцам, которым никакого дела не было до разработки края, а которые интересовались только лишь одним золотом. Соперников в строительстве страны у иезуитов не было.

Кроме того, иезуиты превосходили туземцев в интеллектуальном отношении, и, таким образом, местные племена для них были всё равно что белая доска, на которой было возможно выводить какой угодно чертёж. Правящий слой и управляемая масса были чрезвычайно разграничены между собой

как в отношении просвещения, так и в отношении организации, так что из туземцев, как из глины, можно было лепить что угодно.

Во-первых, выбранные места для редукций оказались чрезвычайно изолированными и удалёнными от внешнего мира. Тот треугольник, на котором лежало иезуитское коммунистическое государство, лежит на мысу впадения реки Парагвая в реку Парану и отделён от остального мира девственными лесами и необозримыми степями. Движение туда и оттуда возможно было только лишь по реке, и потому естественно, что отцы иезуиты перегородили эту реку чрезвычайно строгими заставами. Никто не мог легко выбраться из этого государства, а испанцам был воспрещён туда въезд.

На эту местность иезуиты переселили много терпевшее от конквистадоров западно-бразильское племя Гуарани, беспечное и покорное в противность своему соседу — свободолюбивому племени Мбайя. Иезуиты разработали язык Гуарани, перевели на него Евангелие, молитвенники и устранили совершенно из обихода испанский язык.

Таким образом, никто из испанцев не мог разговориться с благочестивыми Гуарани. Кроме того, иезуиты распространяли среди своих духовных сынов пропаганду, по которой выходило, что внутри у каждого испанца сидит чёрт, жаждущий только золота. Таким образом возможно, что отцами иезуитами сделан тот прототип, по которому московские иезуиты изображают теперь всемирную буржуазию.

Племя Гуарани очень удачно было выбрано для этого коммунистического опыта. Оно было чрезвычайно вяло, несамостоятельно, нелюбознательно. В нём отсутствовала живость, не было духа изобретения. И «индейцы скользнули из-под власти своих первобытных знахарей-руководителей почти незаметно под руководство колдунов высшего типа — иезуитов», в которых они верили, как в богов, — пишет профессор Виппер.

Однако у этого вялого, ленивого, нетребовательного племени были кое-какие страстишки. А именно — Гуарани иногда любили полакомиться человечиной — были каннибалами… Эту страсть неудобно было воспитывать, и иезуиты с ней боролись, но, как люди практические, глубоко понимающие суть человеческой натуры, они предоставляли своим подданным подобное развлечение, но только, так сказать, в пониженном количестве градусов. Поэтому рабочему населению раз в неделю выдавались говяжьи и бараньи туши.

И в отношении спиртных напитков отцы иезуиты тоже применили этот метод — не отмены, а лишь ослабления крепости: вместо излюбленного Гуарани хмельного напитка из

сока хлебного дерева — они предложили им так называемый «парагвайский чай» (ничего общего с китайским).

Обрабатываемые христиане были поселены в отдельных городах, окружённых рвом и изгородью из непроходимых колючих агав; эти городки очень были похожи на современные фабричные поселения. В середине стояла церковь, рядом дом патера с садом и строения социального обеспечения: вдовий дом, воспитательный дом, суд, склады, амбары. Улицы были прямые и широкие, и каждая упиралась в часовню. У ворот в город стояла стража, и сношения с соседними городами были воспрещены. Ночью тоже никто не имел права выйти на улицу, и по улицам бродили патрули.

Четыре дня в неделю индейцы работали на «Божьей вотчине», на государственных землях, а два дня — употребляли на себя, работая на общественных. Божья вотчина отличалась от собинных земель туземцев только тем, что там произрастали наиболее ценные злаки; на общественных же землях — производились продукты потребления, но никакой тени собственности не было в этом удивительном государстве.

На работы выходили военным строем, под надзором наблюдающих, исполняли урок, возвращались домой одновременно.

День распространялся следующим образом. За полчаса до восхода солнца и вечером патер делал перекличку ребятам и обучал молитвам, пению. Тем временем взрослые собирались к мессе, и надзиратели пересчитывали — тут ли все. После мессы патер даёт приказания и распоряжения надзирателям и отпускает всех по полям. Вечером — опять церковная служба.

Потребный для работы инвентарь — весь принадлежит государству — у индейцев ни у кого ничего нет. Для работы индейцам выдавали не лошадей, а ослов и волов, потому-де, что нечего скакать по-пустому. Привилегия ездить на лошадях относилась лишь к отцам иезуитам и надзирателям.

Все вещи этого государства — считались «тупамбак», то есть Божьей собственностью. Торговли никакой индейцы не видели — существовали «госторги», которыми заведовали отцы иезуиты. Деньги народом употреблялись только при браках — жениху выдавалось некоторое количество серебра, которое он дарил невесте, а потом она сдавала эти деньги в церковь; крупные суммы собирались лишь у отцов иезуитов.

К неисправным рабочим применялись розги, а равным образом и за то, что иногда высланные на работу рабочие в поле лакомились доверенным им волом. Особое значение отцами иезуитами отводилось пропаганде и поддержанию духа

коммунизма.

— Единственной основой поведения индейцев, — говорили отцы иезуиты, — должна быть любовь к религии.

И они строили центральные здания в городах, церкви, обложенные плитами из пёстро-сверкающих камней, обедню сопровождали музыкой… Всё население (а его было ни много ни мало — 150 000 при 100 иезуитах-начальниках) — всё население участвовало в разных братствах, шефами которых были святые: так например шефом крестьянских организаций был св. Исидор — «бедный земледелец» (чуть-чуть не «беднейший»). Везде в полях стояли памятники святым и их статуи.

Пользовались отцы иезуиты каждым поводом для того, чтобы возбудить религиозные восторги своей паствы. В Страстную неделю индейцы подражали Христу в его страданиях; на праздниках в честь святых устраивались состязания, гимнастические упражнения, танцы, играла музыка, давались различные поблажки и улучшенная пища. Всюду в городах воздвигались при таких случаях триумфальные арки, устраивали шествия со статуями и плакатами.

Воинственные наклонности даже этих ленивых индейцев были использованы иезуитами тоже соответствующим образом:

— Была организована святая армия, вооружённая и обученная по-европейски. Чтоб воители не сидели дома сложа руки и «не разлагались», их отцы иезуиты отпускали в распоряжение колониальных испанских властей, они находили там выход своему героизму и патриотизму.

Одним словом, всё было пущено в ход для того, чтобы держать в подчинении и повиновении это туземное стадо; сто шестьдесят лет правили отцы иезуиты таким образом, покамест орден не был закрыт и монахи его не были разогнаны.

И позволительно поставить вопрос:

— Выказало ли население иезуитского коммунистического государства какой-либо прирост в своей культурности?

— Никакого!

Коммунизм расписался в собственной слабости. Индейцы как были, так и остались ленивой, прожорливой, легкомысленной, равнодушной и вялой массой. Они работали без малейшего импульса к делу, работали только потому, что боялись патера, и никаких новых навыков и охоты к делу не приобрели. И главное — совершенно не привилось земледелие — Гуарани не обнаружили ни малейшей любви к земле. Когда иезуитов выгнали из парагвайских редукций — индейцы впали в прежнее состояние, как будто и не было этих 160 лет насилия и натаскивания.

Особенную неудачу политика отцов иезуитов испытала в семейном отношении. Для иезуитов-холостяков семья была только способом размножения, не больше. Что-то вроде необходимого условия животноводства. Устанавливая ранние браки, они не заботились об их прочности, да и семейное положение не привлекало никакими преимуществами. В наследство детям ничего нельзя было передать, и всё оставалась одна и та же мерка обязательной коммунистической барщины.

Всё это привело к неизгладимой порче нравов племени Гуарани.

* * *

Для наших понятий и воззрений такое насилие над людьми — неслыханно. Но что касается отцов иезуитов — они были убеждены, что они правы, они делают дело культуры. По крайней мере один из них, отец Добрицхофер, оставивший нам описание того, что Россия потом узнала на своей шкуре, писал:

— Давайте-ка лучше подумаем и постараемся в Европе установить то, что иезуиты устроили без принуждения (?!!) и без денег у гуаранцев, а именно, чтобы один работал для всех, а все для одного, чтобы никому ничего не приходилось ни продавать, ни покупать, чтобы деньги вышли из употребления и чтобы истиной стало — «всё можно получить только за труд»…

Но истинная наука показывает нам, что для коммуны всегда надо два слоя населения и что она состоит в том, что один слой угнетает другой.

Равным образом — угнетающий всегда будет говорить, что в коммунистическом строе — залог свободы, и, действительно, угнетающий свободен, потому что он принадлежит к угнетающему классу.

Равным образом в коммуне угнетаемый слой всегда будет вести свою жизнь в слезах и вздыхать под гнётом верхнего слоя и ненавидеть угнетателей.

Таким образом, коммуна — есть постоянная война одних с другими, что мы и видим в настоящее время на примере русских «Гуарани».

Только тогда, когда насилие будет отвергнуто и будет возглашён один для всех — правящий закон, только тогда жизнь государства может идти путём культуры, прогресса и мира.

И это не знают только те, которые думают, что СССР говорит в настоящее время «новое слово».

Человечество давно знает такие «достижения». Это

«достижения» лишь для невежд.

Гун-Бао. 1928. 21 шоня.

Осанна Горького

Помните, когда Иван Фёдорович Карамазов почти бегом в вьюжный вечер возвращается к себе после последнего разговора со Смердяковым, — помните, кто оказывается сидящим у него на диване?

Какой-то джентльмен довольно пошловатого вида, иначе говоря — чёрт, собственной своей персоной…

У него много житейской практической мудрости, у этого пошловатого господина, и характерно подмечает он одну черту русского характера, которая выражается в готовности «рявкнуть осанну» после самого длительного и упорного протеста…

Чёрт Ивана Фёдоровича, вероятно, много посмеялся бы поведению господина Горького, обнаруженному им за последние дни в Москве. Несомненно, что за последние времена русские люди чрезвычайно натренировались в известной обиходливости и революционном этикете; но приехавший из-за границы Горький — превзошёл их в своём пафосе настолько, что, вероятно, даже и виды видавшим москвичам становится неловко — до такой степени громка и восторженна его «осанна».

Словом — пропел осанну — и пересолил, так что иные, с образом мыслей поблагороднее — даже руки ему не хотели подавать на первых порах: слишком уж поспешно в консерваторы перескочил… «Русская натура!» — так говорил чёрт. (Братья Карамазовы, стр. 763.)

То, что происходит теперь с Горьким, является каким-то тревожным, печальным фарсом. Шестидесятилетний писатель, взгляды которого более или менее известны, человек, который, по словам его же приятеля Скитальца, в присутствии членов совнаркома, грянув кулаком по столу, предрекал всей этой компании гнев народный, человек этот, выскочивший из России и проживший несколько спокойных лет в тихом голубом Сорренто, — этот человек, явившись в Москву, вдруг здря ума — хватает «осанну»… Да какую!

На съезде железнодорожников — он заявляет, что «он, того гляди, сдохнет со счастья», что живёт в такой замечательной стране и с такими замечательными работниками.

При посещении усопшего Ильича Горький — этот старый волжский крючник, вдруг обнаруживает трогательную слабость нервов:

— Когда я увидал в мавзолее мёртвое лицо, я был отчаянно взволнован, обессилен тоской и был уверен, что по крайней мере на один день никуда не гожусь…

Однако посещения института им. Маркса и Энгельса, где хозяйничает тов. Рязанов и собирает «реликвии», было достаточно, чтобы Горький:

— Через несколько минут увидел, какую гигантскую работу проделал тов. Рязанов в институте Маркса и Энгельса, и моя тоска и отчаяние совершенно выдохлись…

Как передают газеты, Горькому, кроме звания «почётного московского пекаря», была поднесена от красной армии винтовка, и газеты воспроизводят его фотографию, когда он состязается с тов. Ворошиловым в стрельбе в тире.

Этих чествований было столько, что газеты пишут, что политбюро даже воспретило дальнейшие чествования, дабы не слишком утомлять Горького.

Одним словом:

— Осанна! Осанна! Осанна! — вопит Горький в Москве, в то самое время, когда сотни ребятишек уже выбрасываются к стенам Кремля из центральных губерний, на которые надвинулся голод, в то время как народ изнывает в очередях, в то время, когда крестьянин не имеет ни «золота, ни сырого продукта», когда разыгрывается инсценированный шахтинский процесс.

В чём же дело?

В чём причина лихорадочной радости?

* * *

Да не в том ли, что русская революция потеряла свою динамичность?

Русский народ — народ порыва, но не народ темперамента. И порыв у этого народа — непременно скорый и практичный. Когда лозунги, выбрасываемые коммунистами, были подходящи, в порыве своём шёл за ними и народ. Но — время прошло:

> Сняты маски и смыты румяна;
> И томительно тянутся скучные дни
> Пошлой прозы, тоски и обмана…

Революция — уже не пышная, весёлая, увлекательная любовница для русского народа: она стала женой, скучной, надоевшей, непривлекательной и в то же время неотвратимо помнящей о своих молодых днях и надоедающей публике этими воспоминаниями…

Нельзя же любить революцию на одиннадцатом году её существования. Если Сильвия Панкхерст и била стёкла в Англии

— то ведь она занималась этим делом до поры до времени, до тех пор, покамест не пошло навстречу правительство и общественное мнение и не пообещали предоставить места в парламенте и женскому сословию.

Миссис Панкхерст вовсе не нужно было упражняться в этом хлопотливом деле до самой своей кончины — и в старости она имела часы досуга и мирного любования плодами своих шумных выступлений.

А российская революция осуждена заниматься этим делом, и звон, треск битых стёкол, нарошных выступлений продолжается и по сей день, подобно тому как по инерции под синее туманное утро продолжается нелепый русский кутёж.

Революция русская уже не кипучий конь, она истощённая кляча, которую только по временам подскипидаривают московские цыгане.

И роль господина Горького сводится к тому, чтобы пред многочисленными микрофонами, телефонами, радиофонами и прочими белендрясами современной техники свидетельствовать на суде российской скорбной думы:

— Обратите внимание, господа! Удивительная лошадь… Огонь… Вот я сажусь на неё… Гей, она несёт меня, как того романтического цыгана, Лойко, о котором я писал в дни молодости… Поверьте моему опыту старого писателя — недаром мне справляли мой юбилей с такой пышностью перед моим приездом… Я — писатель… Я и до революции был знаменит — как же вы мне не поверите…

Это последнее обстоятельство — самое замечательное: революция если и создала своих писателей, то этим писателям — увы! — веры решительно никакой нет. Эти довольно буйные создания, до поры до времени мирно пасущиеся в литературных загонах Госбанка, яростно брыкающиеся по заказу «классовых врагов», — выдрессированы на укороченном мундштуке. Свидетелями они быть не могут, как не может быть свидетелем любой лихой парень из ГеПеУ, хотя всё знает отчётливо и тонко. Нужно, господа, во что бы то ни стало — чьё-то независимое мнение! Хотя я и писатель…

И Горький — остался один из прежних писателей; большевики бы охотно рядом с Ильичом положили бы под стеклом труп другого грешника против русской государственности — Льва Толстого, если бы он уже не распался во прах, и утверждали бы, что Толстой и есть их настоящий предтеча. Вообще, ведь парвеню — должны обзаводиться портретами приличных предков. И Горький — тот труп, который должен свидетельствовать во славу того, что очевидно:

— Се лев, а не собака! У революционного коня ещё поднят хвост, и он мчится вперёд, и вовсе он не та скамейка, на которой прискакал домой дед из «Пропавшей грамоты».

* * *

Но что такое господин Горький в настоящий момент?

Во-первых — он бывший человек, бывший писатель; правда, пишет он и сейчас — но живёт-то за счёт процентов со старой славы. С «Матерью», с «Исповедью» и с другими тенденциозными произведениями умерло литературное значение Горького. Вместо произведений чисто художественных, полных кровью действительности, Горький пошёл по пути «идеологии» определённого толка и в этой идеологии не ушёл дальше любого слесаря, тщащегося решить «проклятые вопросы».

Слесарь может быть хорошим человеком и хорошим слесарем, но решение таких вопросов не его специальность, хотя он и «от горна».

На Горького литературный салон смотрел чрезвычайно веротерпимо, да и он держался веротерпимо, покамест это ему нужно было. Горького даже в старое время тянули в академики с его примитивизмом классовых отношений и вообще относились к нему так, как он, конечно, никогда в настоящее время не относился к своим былым коллегам.

Посмотрите, как честил и как чистил он тех, с кем раньше был друг-приятель, как ругал зарубежных литераторов в своём интервью перед поездкой в Россию.

С этой точки зрения Горький не что иное, как литературный кулак, умело использовавший свой талант и своё своеобычное положение в литературе. Напрасно было бы считать его Ломоносовым, проделавшим более сложный путь к верхам жизни; и хотя Ломоносов любил и выпить, и любил подраться, и был вообще неукротимой буйной русской натурой, хотя он вышел из крестьянской избы — разве он когда-нибудь позволил бы себе занять по отношению к своему русскому обществу — такую позицию, как занял Горький.

Крестьянин, а потом академик Ломоносов — одно. Мещанин, а потом полуакадемик Горький — другое. Первый с ног до головы русский, пылающий величием и силой своего духа. Горький — пылает завистью с ранних лет, что он родился в мещанской семье, со всем пафосом европейского люмпен-пролетариата.

И академик Ломоносов засвидетельствовал бы со свойственной ему прямотой пролетарского его происхождения то,

что он видел бы в России в настоящее время, и иначе, нежели то сделал Горький. «И у Господа Бога в шутах не хочу состоять!» — говорил Ломоносов. Но Максим ревёт «осанну» той коммунистической чепухе, которую он видит в Москве, состоя в литературных шутах при совнаркоме.

— Ой, сдохну! Ой, сдохну!.. Как замечательно!.. Как хорошо!..

Гун-Бао. 1928. 24 июня.

К толпе!

Разговоры, разговоры, разговоры.

Публика спешит что-то выговорить… Чего-то добиться…

Разговоры — всё равно как пена на пиве. Кажется, что пьёшь, а на самом деле только разжигаешь воображение…

А напьёшься только тогда, когда доберёшься до жидкости… Плотной и холодной…

Удовлетворение будет тогда, не когда господа Милюковы, Струве, кадеты всех мастей и проч. до чего-то «договорятся» (до чёртиков, что ли?), а тогда, когда выйдут личности с практическим подходцем.

Во всяком деле — прежде всего личность. Человек.

Если вы хотите открыть торговлю — вы не обойдётесь без такого, который отличен талантом торговли…

Если вы хотите себе дворника, то вы должны найти человека такого, у которого словно по волшебству подметён рано утром двор, убран снег, наношена вода, тротуары посыпаны песком…

Не прельстит же вас человек, который исторически сможет подойти к предмету о посыпке тротуаров или к цифрам финикийского оборота?

Если вам надо государство — вы должны брать людей, которые умеют его делать.

Ни Милюков, ни Струве этого не умеют. Это они блестяще доказали своей прошлой деятельностью. А уж и социалисты — тем паче.

Нужно практиков, практиков, господа. Твёрдых, простых, немудрящих.

Разговоры, разговоры, разговоры…

Словно щенок, тычущийся мордой в углы…

* * *

Пишут, пишут, пишут.

Для кого? — невольно задаёшь себе этот вопрос (сам грешен!).

Представишь себе своих знакомых.

На одного большая статья производит впечатление пушки, направленной ему в физиономию…

Другой — похож на ловителя блох; так он задумчиво и чётко подчёркивает карандашиком обмолвки и недостатки.

А третий — вообще ни на что не реагирует. Он сам всё знает.

И совершенно отчётливо сознаёшь:

— И эти писания, и эти разговоры, если какой-нибудь практический толк от них должен быть, — должны быть построены так, чтобы быть ориентированными на толпу.

До тех пор, покамест в толпе не зажжётся, под влиянием слов, под влиянием букв, известного движения — все разговоры, все писания — известное дыромоляйство… Кричи в окошко, в ночь, и нет тебе ответа…

Только толпа укрепляет прессу, только толпа укрепляет государственного деятеля. Как магнит железные опилки — должен он притягивать к себе толпу…

Толпа делает и революции, и контрреволюции, и бьёт стёкла, и заражает воодушевлением, рёвом отвечая на удачное зажигательное слово…

Толпа, толпа, толпа!

* * *

Всё-таки, несмотря на разные плохие рассуждения о «толпе», глас народа — глас Божий…

Провоцированная толпа может растерзать кого угодно — она зверь в этом отношении… Но с другой стороны — она почти всегда права… Если она и терзает невинного, то она права своей внутренней яростью… Толпа — это концентрация страсти, действия.

Помните Верещагина в «Войне и мире» — в изображении Толстого? Толстой всей силой своего толстовского скептицизма обрушивается на графа Растопчина. А действующим главным лицом является всё же толпа.

И разве она не права, что она громит шпиона? Нужно быть кретином, чтобы отрицать это!

А разве вам не жалко Верещагина?

— Ведь неизвестно, был ли он шпионом? — спросят нас. Да, но нас социалист Крыленко научил хорошим словам:

— Лес рубят — щепки летят…

* * *

В толпе — вы всегда найдёте тот активизм, который просидели на своих стульях господа разговаривающие.

Сколько за эти десять лет пришлось и видеть, и пережить разных переворотов. И вот в последний миг, когда начинается

действие — всегда появляются из толпы какие-то совершенно безвестные, невиданные ранее люди… Они самостоятельно исполняют распоряжения, они бегут во все стороны, их несут потом раненных, облитых кровью, и их взоры горят; они лежат на углах улиц в тех нелепых позах, в которых подчас валяются убитые наповал.

Слово произвело своё действие, оно обернулось в силу через толпу, но как осторожно должно расходовать эту силу… Из слова брызжет кровь.

* * *

На какой-то «бон» сберегательного общества можно выиграть 30 000 долларов.

На сколько же несчастных придётся один счастливый такой «бон»?

Из потраченных за время десятилетней революции мириадов миллиардов слов — сколько придётся таких, которые будут действительно сказаны «с силой и со властью»?

С действием, пришедшим из толпы?

Вот почему в толпу должны быть устремлены взоры говорящего. В толпе, в её настроении, в её переживаниях должен он найти направление для своих мыслей, своих слов… И если даже он и хочет по-своему направить эту толпу, то должен сделать это, опираясь на те скрытые в ней самой реальные хотения, которые он сумеет там констатировать…

Горе тому оратору, который слушает самого себя, или свою ненависть, или своё раздражение…

Если его раздражение — раздражение толпы, его страсти ещё живы… Если его скорбь выражается в скорби по потере камергерского мундира — можно быть уверенным, что успеха он никакого иметь не будет…

Это его личное дело… Без публичного значения.

* * *

В толпе, жадно смотрящей на оратора, в толпе, утром разворачивающей газету, — всегда есть известные очаги, непрерывно тлеющие; и для ораторского, и для политического, и для газетного успеха надо уметь нажать на эти очаги… Надо устремить холодный, анализирующий взор в самую психическую глубь наших дорогих соотечественников и разгадать там, чего

хочет толпа — потому что она, может быть, сама не опознала ещё того, чего она хочет.

Поэтому нечего бояться фантомов и миражей. Нечего бояться советской купленной казённой прессы, которая покрывает, словно радужной нефтяной плёнкой, воды действительности… Под этой плёнкой, толщиной в тысячную микрона, — вода, сладкая и свежая вода…

Помню я в декабре 1918 года Москву, всю безобразно заваленную снегом, навозом, голодную, пришибленную… И помню те очаги, которые горели себе под тарарабумбией газетной шумихи…

Холодный, высокий нетопленный дом на Зубовском бульваре, где жил Вячеслав Иванов. Пальто с меховым воротником, берет на характерной голове, кусочек сахара, вынутый из маленькой серебряной табакерки из кармана… Но какое горение и какая сила беседы!.. Какая сила стиха!

Помню Гершензона, замерзающего, склонившегося в пледе над столом, сверкающего своими очками и лохматой головой, и его руки-клешни, которые вылезали из-под стола у самого близорукого носа…

Помню беседы в ночной тишине и темноте, когда после голодного дня так остро и напряжённо работает ум…

Говорят, голод ослабляет и лишает энергии; да, так, но только наполовину. Зато ведь голод так просвещает ум, так выскребает совесть и предлагает человеку целый ряд практических проблем…

Недавно в зарубежье появилась анонимная поэма под заглавием «Епафродит», происхождения московского, советского, несомненно, судя по описанию «обстановочки»… Но сколько таланта, терпения, сосредоточения в себе надо было, чтобы написать эту вещь… Она похожа по напряжению на Дантову «Комедию», до такой степени она отлична от обстановки, в которой писалась, до такой степени она ослепительна в окружающем мраке…

Есть ещё золото в толщах народных, и ведь не всё то золото, что рекламируется в печати…

Золото государственного и религиозного опыта, религиозного и государственного переживания… Социального опыта…

Вот что надо опознать… Вот где университет и наука… А ведь наши русские учёные ещё долго будут следить за разными «достижениями западной мысли»…

— Учёных много, умных мало… (А. С. Пушкин)

* * *

А сколько пословиц должно разноцветным дождём взбрызнуться из народной толщи после таких испытаний!

Сколько острых словечек…

* * *

Итак — толпа!

Итак — живой и реальный народ. Всматривайтесь в него, чего он хочет. Только с ним, только через него.

Но это отнюдь не значит, что деятели, которым предстоит действовать в предстоящую годину, — должны «обожать» этот народ, должны цепенеть от одного его крестьянского титула и мужичьего звания.

Что они должны шалеть и молча покорно смотреть, когда народушко будет азартно громить фабрики и имения новой буржуазии.

Слушать, что говорит народ, — это значит слушать не рёв отдельных Иванов или Кузьмичей, а слышать то, что говорит *идея народа.*

Да, идея народная.

Нельзя понять, почему Иван или Кузьма может водительствовать массами, выкрикивая лозунги глупые или убийственные, а какой-нибудь интеллигент этого не может.

Пожалуйте на трибуну, пожалуйте к демагогии!.. Будьте готовы ко всему.

Повторите, заставьте, двиньте, создайте в толпе внутреннюю организацию, которая будет помогать вам проводить ваши лозунги, будет сковывать страсти…

Идеям Маркса и прочим глупостям и пошлостям противопоставьте свои идеи… Пересмотрите русскую историю… Поймите без сентиментальности, что такое русский народ… Пересмотрите наших публицистов — да не тех, линия которых привела к революции, а тех, которые засыпаны пылью пошлости и либерального прохвостничества.

Не Белинского, Писарева, Чернышевского, Добролюбова, болтуна Михайловского.

А Аксаковых, Киреевских, Хомякова, Данилевского, Победоносцева, Каткова, Леонтьева, Шарапова и др.

И поверьте, что эта линия, линия консервативная — бесконечно умна, гораздо умнее линии либеральной, и в то же время ведь эта линия оправдана событиями русской революции.

Этой линией строилось тысячелетнее русское государство, и строилось с умом и, конечно, стоит полюбопытствовать, как оно строилось…

Посмотрите, наконец, историю и навыки иных государств, в особенности тех, которые ловко управляются с революцией, а не хвалят её на всех перекрёстках… Пора понять русскому обществу, что та же Англия, которая в русском обычном дореволюционном понимании выглядела столь либерально, — в сущности, стоит на почве самого полного и последовательного консерватизма. *Умного* английского консерватизма…

* * *

Не пора ли и русской государственной мысли стать *умной*? Без наскоков, без жидоедства, поняв и выковав национальную традицию, с ней пойти в массу, но не как «просветители» этой последней, а как равноправные граждане, готовые на то, чтобы проводить и доказывать свои взгляды, готовые сделать «асаже» всякому, кто выступил бы «в порядке революционном». Только русский народ в его современном состоянии. Только русское государство.

А что касается тех, чей зад отдавило колесо русской революции, кто до сей поры плачет и вздыхает о разных привилегиях, — то можно сказать:

— Сами того желали, господин Данден, сами, когда либеральничали, когда не боролись за старый строй тогда, когда он был реальностью!

И вам нет другого пути, как выбор:

— Или в толпу, или в музей истории!

Гун-Бао. 1928. 26 июня.

За чтением Розанова

Самое существенное — просто действительность.

Розанов

Революция — есть сила; это доказано ходом самих российских событий. Революция победила — и этого уже достаточно, чтобы ей быть оправданной. Бесполезно и судить!

Революция — идёт своим порядком, и в диалектическом пути собственного развития — она встречает своё отрицание. За революцией — идёт порядок.

Схема триединого гегелевского процесса — Тезис — Антитезис-Синтез — противостоит ей неотвратимо; тезис светит светом старого порядка; антитезис — гул и кровь революции; в синтез должно облечься время, чтобы восстановить гармоническое единство — между старым и новым, чтобы на замирающих волнах революции выдвинуть мирные новые острова нового порядка.

Этот процесс — или приблизительно этот — развёртывается над Россией. Отходя от первого дня революции, мы всё более и более чувствуем, что отходим от тезиса; мы отплываем в бурное море, где ищем новой земли, и знаем, что многие из нас опустятся на дно, не достигнув этого нового *порядка.* Прошлое скрывается за нашими спинами, взоры жадно ищут земли…

— Впереди!

Революция постепенно теряет свой первый облик своего грохота и гула, потоков крови и боёв, и истощённых, и изнурительных. В ней мало-помалу начинаем усматривать *смысл*; но отнюдь не тот смысл, который влагают в неё революционеры, славящие свой товар. Отдаваясь интересам минуты, интересам дня — эти революционеры в своих лозунгах искажали цели революции, да к тому же как возможно, чтобы какой-нибудь один человек подглядел сущность исторического процесса? О революции — спорят, машут руками, а она совершается своим непоколебимым путём. Людям не дано овладеть секретом её хода, ни остановить, ни задержать её.

Наступает момент, когда звонкие голоса минутных её вождей, этих калифов на час, уже не заглушат подземного, инстинктивного разума самой революции, инстинктивного потому, что он связан с подземным глухим разумом самого народа… Настойчивее и настойчивее звучат голоса,

проповедующие *опыт революции;* революцию уже не ведут, а учатся у неё, присматриваются к ней…

* * *

И по этому моменту можно русскую эмиграцию разделить на две главные группы.

Одна — *желает учиться* у революции. Она понимает, что революция — это одна из форм проявления народной силы; что революция не оторвана навсегда от народной субстанции, а является одной акциденцией, в которой проявилась эта самая субстанция. Таким образом — становится какая-то прочная обновлённая связь между революцией и народом. В революции, в её интернациональном гомоне начинают мелькать национальные тона.

Эта группа эмиграции — *синтетична.* В ней есть гибкость, интерес к жизни, стремление к борьбе, способность к ней и т. д.

Другая группа — является нам при этом как известная противоположность к первой группе. Она держится за первый *тезис,* то есть за старое, и обречена на коснение в повторении старых, отживших уже догматов, мимо которых проходит победное шествие жизни.

Между этими обеими группами есть сходство, которое их роднит и заставляет смешивать одну с другой; а именно — это сходство заключается в отрицательном отношении к революции — к антитезису. Как первая, так и вторая группы принадлежат к так называемым *государственным* элементам, противным революции. Обладая значительными интеллектуальными запасами, они в абстрактном историческом мышлении видят возможность избавления от наседающих, делающих революцию проблем дня — в эволюционном порядке. Но они побеждены силой факта.

* * *

Поскольку в революции, в известный её период, выступает *народ,* со всеми его свойственными ему качествами, — в революции намечается элемент консервативный. Поэтому — законно и правильно — изыскивать национальные основы революции, отыскивать их в свойствах народа. Русская революция обладала особыми специфическими свойствами, которые свойственны именно *только ей* как революции *русской,* и было бы

непростительной ошибкой, если бы русской революции — обобщая — приписывали качества французской революции.

Вот почему в настоящее время в русской мысли и проявляется такое течение, как могучее течение Евразийства, которое ставит себе как раз задачу — обследовать национальные истоки русской революции. Оно заявляет, что наглухо отрекаться от революции оно не имеет никакого права, ни морального, ни научного, и поэтому Евразийство столь ненавидится слепой эмигрантской группой № 2.

К этой эмигрантской группе принадлежат не только одни «ретрограды» или ещё как их там. К ней принадлежит всё умственно отсталое, закосневшее, неспособное разобраться в обстановке.

В эти трудные дни российского государства — оказалось, что сам народ ушёл от своих командиров-генералов, — ушёл далеко от своих патентованных умников — разных интеллигентов в решении своих проблем. Милюков — остался Милюковым, тем же, которым он был и 20 лет тому назад, а великие воды революции прошумели для него без всякого последствия. Струве как был «оппозиционером», так оппозиционером и остался:

> «Русский ленивец нюхает воздух — не пахнет ли где „оппозицией“. И, найдя таковую, — немедленно пристаёт к ней и тогда уже окончательно успокаивается, найдя, в сущности, себе „Царство Небесное“».
>
> *(Розанов)*

Не от либеральных, болтающих, умствующих людей зажжётся в этой области новый свет, а зажжётся от самого народа, от тех его слоёв, которые до сей поры не выступали на поверхность или же бывали замалчиваемы. Идёт время протопопов Аввакумов, идёт время мужичье.

> «Вовсе не университеты вырастили настоящего русского человека, а добрые безграмотные няни».
>
> *(Розанов)*

Всё живое в эмиграции, всё, что относится к группе № 1, — всё должно с напряжённым вниманием следить за недрами народными, за проявлением и перегруппировками в его душе тех понятий, которые там жили. И конечно, наперекор всем умникам — вырастает и распускается в этой душе — *православие*:

«Много есть прекрасного в России. 17-е октября, конституция, как спит Иван Павлыч. Но лучше всего в чистый понедельник забирать соленья у Зайцева (угол Садовой и Невского). Рыжики, грузди, какие-то вроде яблочков, брусника — разложены на тарелочках — для пробы. И испанские громадные луковицы. И образцы капусты. И нити белых грибов на косяке двери.

И над дверью большой образ Спаса — с горящей лампадой. Полное православие…

В чистый понедельник грибные и рыбные лавки первые в торговле, первые в смысле и даже в истории. Грибная лавка в чистый понедельник равняется лучшей странице Ключевского…»

(Розанов)

Конечно, этот грядущий синтез будет знаменовать некоторое, отчасти, разочарование:

«Ряд попиков, кушающих севрюжину. Входит философ:

— Ну что же, отцы духовные… Холодно везде в мире… Озяб и пришёл погреться к вам… Прощаю вам вашу севрюжину… но сидите-то вы всё-таки „на седалище Моисеевом“…»

(Розанов)

А проникнув в православие — дух проникает и в народ, сбрасывая с себя наигранность, болтовню интеллигенции:

«Русский болтун везде болтается. Русский болтун — главная сила русской истории.

С русской историей — ничего не могут поделать — и никто не может. Он — начинает революции, замышляет реакцию. Он созывает рабочих, послал в первую Думу кадетов… И вдруг…

Россия оказалась не церковной, не царской, не крестьянской, не выпивочной, не ухарской — а в белых перчатках и с книжкой „Вестника Европы“ подмышкой. Это необыкновенное и почти вселенское чудо совершил просто русский болтун.

Русь молчалива, застенчива, и говорить-то почти не умеет: и на этом-то просторе и разгулялся русский болтун…»

(Розанов)

Уравнительное состояние развёртывалось над Россией, как оно развёртывалось над всем Западом, и против него давно восстал К. Леонтьев, против гнусного лозунга: «Ни святых, ни героев, ни демонов, ни богов…».

> «А! а! а! Смести всех паскотников с лица земли! с их братством, равенством, свободой и прочими фразами. И призвана к такому сметанию Россия или, вернее, весь Восток, с персами, монголами, с китайцами…
>
> Так Бог послал Леонтьева…»

(Розанов)

И тот же В. В. Розанов подмечает в маленькой чёрточке значение монархии для России как глубоко специфического обстоятельства:

> «Голод. Холод. Стужа. Куда же тут республики устраивать? Родится картофель да морковка. Нет, я за самодержавие. Из тёплого дворца можно управлять „окраинами“. А на морозе и со своей избой не управишься…»

(Розанов)

* * *

Умер Розанов в Троице-Сергиевской лавре, погиб от голода великий русский мыслитель, и его мысли, которые написаны за много лет до русской революции, — как-то теперь оживают и действуют.

Оживают они и действуют хотя бы в том же движении — Евразийстве, которое ставит себе сознательную работу за смертную борьбу за сознательное достижение русского национального синтеза. Значит, не на гиблое место выводит нас революция, а вывела она на то же, куда всегда стремился истинно национальный и смелый русский дух…

Революция не отнимает у нас нации — видим мы теперь; снежный выкатанный снегур русского Марата начинает таять от тёплых ласковых лучей русского весеннего солнца — и скоро рухнет совсем, Бог даст, показывая ржавый штык, что торчит у него вместо хребта, для требуемой прочности…

И тогда русский национализм увидит, что пред ним лежат безбрежные дали русского национального обновлённого дела, основным качеством которого станет *безнасильность и мир*…

> «Социализм пройдёт, как дисгармония; всякая дисгармония пройдёт. А социализм — буря, дождь, ветер…
>
> Взойдёт солнышко и осушит всё. И будут говорить, как о высохшей росе: „Неужели он — социализм — был? И барабанил в окна град: братство, равенство, свобода?“ — „О, да! И ещё скольких этот град побил!“ — „Удивительно! Странное явление! Не верится! Где бы об истории его прочитать?“».

Так пророчествовал Розанов двадцать лет тому назад.

Гун-Бао. 1928. 6 июля.

У дома Ипатьева (*Воспоминания*)

Холодной уральской ночью бродил я в Екатеринбурге в 1919 году по Харитоновскому саду; луна лила свой зелёный свет из-за высоких ельников и пихтарников, отражалась в спокойном круглом пруду, к которому вели дорожки, изгибаясь, как лира. На открытой большой веранде пили, натурально, водку, сияли вверху там жёлтые огни, и пахли зябко табаки, — и всё было полно какой-то насыщенной, чисто русской купеческой дикой роскоши. В этом месте ещё витали тени приваловских миллионов, и кто знает, на террасе не сидели ли их последние наследники?

Но вот снизу я увидал, что публика на балконе поднялась и медный оркестр Гемпширского полка заиграл «Боже, спаси короля». Медные звуки лились победоносно в ночной тишине, и только ночная птица, беззвучно работая мягкими крыльями, торопилась скрыться от них…

«Боже, спаси нашего короля, — пели трубы, — спаси императора полмира, властелина Индии, хозяина старой весёлой Англии…»

Рослые бритые солдаты отлично выдували свои торжественные звуки, а потом, в виде любезности к русским, — раздались звуки: «Коль славен наш Господь в Сионе…».

Там — король, его величество, олицетворение, персонификация страны; здесь — обращение к Божеству… Спаси и помилуй, потому что нельзя же играть «Боже, царя храни»… Царя деловито расстреляли недалеко отсюда, в каких-нибудь ста, полутораста шагах, в доме Ипатьева…

Англичане могут играть, а русские должны помолчать…

* * *

Из шантанного Харитоновского сада выйти — на площади, конечно — церковь. А немного поодаль, окружённый высоким забором, мрачный и неосвещённый, высится на площади, на углу, лицом к церкви — знаменитый дом Ипатьева…

В Ипатьевском монастыре началась, в Ипатьевском доме кончилась династия Романовых… Долой всякие «теории вероятностей»!.. События происходят в мире не случайно, а какими-то сериями… И в этой загадочной связи — замётаны между собой и Ипатьевский дом, принадлежащий не то самому,

не то его родственникам — петербургскому военному профессору химику Ипатьеву, и Ипатьевский монастырь, основанный предками Бориса Годунова, татарским мурзой Четом, перешедшим в православие и, основывая Евразию, честно служившим Москве…

Бывал я и в Ипатьевском монастыре неоднократно… Так и видишь широкие вольные просторы волжского разлива, и на фоне голубых вод из-за белых монастырских стен с бойницами в два-три этажа — глядят старые, синеватые, стозвонные разлапые кедры… Золото глав, фигурные очертания колоколен крепко вяжутся с круглыми пролетающими облаками…

Началось в Ипатьевском монастыре у св. чудотворной Фёдоровской иконы Божьей Матери, кончилось — в доме химикуса, на площади, правда — против церкви, но и против шантана. Вероятно, звуки шантана доносились и в дом Ипатьева — когда там сидел Государь…

* * *

Золототканое посольство, коленопреклонение, восстановление царя на вдовеющем престоле Москвы. Правда, звали молодого Романова и «воровским царём», за то что Филарет с перелётами путался да помалкивал…

Была честь…

Пришла революция — и с ней вместе пришло невероятное шельмование. В революции — не «его величество народ» сменил «его величество» царя, а на последнего опрокинулись ушаты грязи.

— Дневник Распутина! Связь с царицей! — слыхал я крики на Невском в апреле месяце 1917 года, когда доблестная армия валила рядами с музыкой и подсолнухами приветствовать додумавшуюся Думу…

Мне рассказывало одно лицо, бывшее в Ставке, что непосредственно вслед за отречением, на вокзале, когда уезжал Государь, выстроились кучкой, кроме военных, ещё и разного звания штатские люди:

— То были поставщики мяса, овощей и проч. и проч. — боявшиеся, что пропадут их деньги, и поэтому требовавшие их с Государя…

— В Тобольске комитет потребовал, чтобы с царя и его сына были сняты погоны…

В революции не было ничего от степенной русской важеватости Ипатьевского монастыря; в ней был пьяный визг

Харитоновского шантана.

* * *

Десять лет прошло с той ночи; десять лет.

Железный процесс истории — неумолимо ткёт своё покрывало. И покрывало его — связь с прошлым.

Идёт мелкая, капиллярная работа. Воспоминания, над которыми так смеются советские писатели; сравнивание; гнёт, хуже которого не сыскать; душу пронзающее, густое, как топорный дух, — безбожие; рассказы военных, вспоминающих славные походы; осточертевшее всем хамство — всё это образовывает прочную грануляционную ткань, облекающую историческую рану…

Правда — по-прежнему — слышны шантанные звуки над местом убоя царя — но их никто не считает всерьёз. Только церковь, молчаливая тогда под зелёными лунными лучами, — вырастает теперь в огромную силу и блещет день и ночь огнями духа.

Русский народ — практический народ; он не верит никаким запретам характера теоретического; нет, бесстрашно идёт он, заглядывает в демонические глубины духа, идёт на грех, испытывает его и только тогда — испытавши — сожигаемый живым огнём греха, влекомый живой жаждой покаяния — он отвергает этот грех.

И отвергая его — ставит себе новую норму:

— Не делать его больше, как умудрённый уже жутким опытом…

Кровь его царя — на нём и на детях его.

Гун-Бао. 1928. 17 июля.

Масоны и СССР

Из СССР изгнаны масонские организации.

Вчерашние газеты

Я давно уже ждал этой телеграммы, так и должно было быть.

* * *

Русское политическое общество — одно из самых легковерных, одно из самых невоспитанных политически.

Вспомните, что было у них до войны 1914 года. Если кто-нибудь и заводил тогда речь о масонстве, о его «таинственном» влиянии, то самые солидные люди отмахивались руками и ногами и начинали хохотать:

— Помилуйте, батюшка! В двадцатый-то век?! Да при всеобщем избирательном праве?! Какие там тайные организации!

И даже в настоящее время многие беженцы, познакомившись, хошь не хошь, с жизнью Запада и Европы, всё ещё сильно сомневаются в масонстве, в его силе.

А между тем масонство — одна из самых действительных социальных сил современности. Если вы бывали в Шанхае — вы могли видеть на набережной, у Паблик Гардена, дом масонов — Мэсоник Холл. Там читаются разные доклады, и пишущий эти строки неоднократно там бывал, проходил тёмным вестибюлем, высокой мраморной лестницей, где развешаны величественные портреты великих мастеров лож, работавших в Шанхае, главным образом — шотландской.

Если вы возьмёте такое английское издание, как «Энциклопедия Синика», и посмотрите слово «Масонство», то увидите, как успешно распространялось масонство в Шанхае и что уж к 70-м годам прошлого столетия все должности в Шанхае были заняты ставленниками масонских лож.

В том же Шанхае вы можете в отелях наблюдать общие обеды масонских организаций в их интересных, полных мистического смысла костюмах, кожаных фартуках, белых перчатках, украшенных шитыми золотом строительными наугольниками, циркулями и прочей каббалистикой.

А если случится умереть какому-нибудь видному члену ложи, то по улице проходит шествие самых почтенных и солидных

людей в городе, облечённых в свои униформы. Пройдите на кладбище Бабллинг Велл в Шанхае, и налево, у самой церкви, под могучими деревьями вы увидите ряд масонских могил с циркулем и наугольником на памятниках.

Весь Дальний Восток Азии — захвачен сильным масонским влиянием, и огромный Мэсоник Холл на Маниле стоит хорошего католического собора…

В Сан-Франциско года два тому назад была устроена процессия в честь какого-то масонского юбилея… И на открытых грузовиках проезжали изображённые в живых картинах достижения и победы масонства.

И — оставляю это на совести сообщивших мне очевидцев — там был и эшафот Людовика XVI, там была и русская революция!..

Отрицать масонство — значит отрицать такую огромную явственную политическую силу, вроде, скажем, Германии, что ли, или вроде влияния III интернационала…

И неумно, и опасно.

* * *

Конечно, все описанные мною эффектные проявления масонства относятся к масонству низшему; высшие степени скрыты и постороннему взгляду не подлежат. Однако пишущий эти строки на стене кабинета одного видного шанхайского адвоката видел свидетельство о принадлежности его к довольно высокой степени масонства. Как известно, всех степеней — 33.

Насколько действительно работает масонство в самых высших областях политики — позвольте привести те сведения, которые даёт в своей интересной книге германский министр Эрцбергер[27], по роду своей деятельности подготовления выступления Италии на стороне центральных держав в 1914 году приводящий интересные сведения о европейском масонстве.

В европейском масонстве, говорит Эрцбергер в главе XII этой книги, озаглавленной «Фреймауерей», есть разные течения — латинское и «нелатинское». Масонство латинских стран — сплошь направлено на политические проблемы; вот почему Эрцбергеру, добивавшемуся вступления Италии в войну на стороне Германии, как и следовало бы по договору, пришлось противодействовать и бороться с влиянием французского масонства, а именно Ложи Великого Востока Парижа, которая состояла в связи с Великой Ложей Востока Рима. Однако сильные денежные средства притекли к Риму из Парижа, и Эрцбергер был побеждён. Италия перешла к союзникам[28].

Между прочим, в этой книге есть упоминание о том, что Эрцбергер для проведения взглядов Германии пытался связаться с *русским* масонством, но тогда *такового не оказалось,* как пишет он. Между прочим, для связи между русскими политическими кругами и масонством Европы был выбран не кто иной, как «известный русский писатель Амфитеатров», не имевший, однако, никакого успеха[29].

Приведённое мною свидетельство Эрцбергера является известным образом историческим моментом, относящимся к прошлому; нас, конечно, интересует настоящее положение вещей… В этом смысле мне вспоминается одна чрезвычайно интересная встреча в Корее.

В Корее я познакомился с неким господином Т., американцем — журналистом. Однажды в разговоре со мной он упомянул некий американский журнал «Нью Эдж». На мой вопрос, что это за журнал, мистер Т. ответил мне:

— Масонский!

— Вот интересно, — заметил я. — В России я слыхал столько разговоров о масонстве и никогда не видал масонов!

— Я масон, — спокойно сказал мистер Т.

— Что же такое масонство? — спросил я.

— Прочитайте-ка это! — ответил мистер Т. и, развернув журнал, протянул мне первую страницу.

На первой страничке было напечатано стихотворение «Молитва». Кто-то молился Господу Богу, чтобы Он не творил бы больше «гигантов» на земле, не создавал бы никаких чудес, а чтобы сделал так, чтобы народ был свободен от разных тиранов… Не надо ни богатства, не надо бедности, молится масон, а только бы работать в меру сил…

— Вот, мистер Айвэноф, — говорил мистер Т., и глаза его блестели, — мы хотим *создать Царство Божие на земле*, а это создаётся только работой, только трудом… Для этой систематической работы нужна тренировка, нужна подготовка духа, и только тогда будет *создана подлинная демократия.* Ведь нельзя же работать организованно, нельзя работать коллективом, не имея массы дисциплинированных работников. Нам не надо Наполеонов, разрушающих государства, нам надобны муравьи, созидающие их…

— Наша работа, — говорил мистер Т., — не есть борьба с плотью, не есть уничтожение её, как это дело обстоит в христианстве; мы не уничтожаем плоти, мы *упражняем её,* проницаем волей. Нам нужны простые каменщики для постройки царства Божия на земле…

Мы никогда не закрываем глаз на то, что происходит вокруг

нас… Мы изучаем действующие в человеке страсти… Надо уметь смотреть правде в глаза — по-мужски… И мы умеем это делать… Вот, посмотрите, что мы пишем о России…

И он раскрыл мне этот номер журнала и показал корреспонденцию из России.

В этой корреспонденции, удивительно осведомлённо и беспристрастно передававшей то, что тогда (в 1924 г.) происходило в России, было написано примерно следующее:

> «Россия — огромная страна, страна земледельческая, с безграмотным разрозненным населением, привыкшим к церковному и царскому авторитету. Фактически и в настоящее время, при коммунизме, она живёт старыми формами, руководимая людьми, захватившими власть из-за собственных выгод и пользующимися своим положением в личных целях…».

— Не правда ли, верно? — спросил мистер Т.

— Мне нечего сказать больше! — ответил я.

— И пока *мы пишем так,* — ответил мистер Т., — *Россия не будет признана Америкой…* Мы умеем осуществлять свою волю, мистер Айвэноф, мы умеем следить за тем, что делается на свете… *То, что прикажет Верховный Совет, — будет сделано…*

— Много вас? — спросил я.

— *Миллионы!* — ответил мистер Т. — Всё, что делается в СШСА, — всё делается нами… Мы выбираем президента, мы пишем в газетах… Первый наш президент — Георг Вашингтон — был масон… Есть две истории, м-р Айвэноф, имейте это в виду: одна, которая пишется для всех, и другая, которую делаем и знаем мы…

— Ну, в таком случае — кто же делает революции? — спросил я.

— Тоже мы! — ответил мистер Т. — *Азия должна была своим освобождением начаться с вас,* с России. Но я, правда, не знаю теперь, *стоило ли это делать!..* Смотрите, в каком ужасном тумане вы живёте… Но Азия нам нужна, она поддерживает Америку своими торговыми возможностями… Азия — достояние Америки… *Но возможно, что мы ошиблись, начав революцию с вас!*

* * *

То, что пишется вообще в газетах, что совершенно сознательно выпускается на свет Божий провентилированными

разными агентствами, — это только та небольшая часть истины, которая кому-то надобна… *Нет в газете полной истины* — вот что надо помнить. За тем потоком жизни, который кажется таким ясным и несложным обывателю, — существуют могущественные, приводящие его в действие рычаги, находящиеся в могущественных руках. Всё, что происходило в политике Америки по отношению к политике России, — всё это находится сзади этого видимого потока жизни, *всё движется масонством*…

Что коммунисты восстали теперь против масонства — это вполне понятно. Масонство широко проникало в Россию и с «АРА», кормившей голодающих, и с торговыми делегациями, и так далее…

СССР — для масонства Америки вопрос принципиальный; провозгласившие на земле свой особый принцип американской боевой демократии, покоящейся на основе христианско-масонской солидарности, американские масоны с их могуществом, деньгами и влиянием — не могут допустить, чтобы их обманули те, кого они, может быть, и считали раньше своими агентами, и создали для собственных целей безбожное автократическое царство там, где должна была господствовать демократия. Конечно, «голубой интернационал монархического характера», о котором пишут из Москвы, — чепуха и глупость: *не могут же коммунисты писать, что они выгоняют масонов за проповедь демократии,* — это было бы сверхскандалом… Но совершенно ясно — между СССР и масонством Америки крупнейший разрыв, чреватый дальнейшими последствиями…

Так оно должно было быть давно, так складывалась обстановка… Разрыв с американскими масонами теперь — это разрыв с Америкой, стойко работающей в определённом направлении.

А Америка работает…

— Против и итальянских фашистов, и русских коммунистических Наполеонов, за Царство свободы…

Гун-Бао. 1928. 21 июля.

Из дорожной тетради

1. В автомобиле по Шаньдуну

Цинаньфу, вагон.

Утро, как всегда, приходит в его разительном контрасте с мирной зелёной окрестностью, с аметистовыми горами, словно источенными временем, с мирными буддийскими монастырями, висящими на склонах с прохладными хрустальными источниками, бегущими из гор, с тонкими облачками, виснущими и тающими в ущельях, со всем этим аксессуаром китайской мирной красоты земли — в контрасте с суетой и жизнью города: тут бегут зеленщики, хлебники, продавцы льда и т. д. и т. д., и всё это оглашает воздух своими разнообразными криками.

Сажусь в вагон Цинаньфу-Циндао в сопровождении моего боя — энглизированного китайца в белом шлеме, в шёлковом халатике; он мне докладывает, что впереди неблагополучно, опять «татчжан», то есть война. Увидим!

7 часов вечера. Станция Вей-сиен.

Муза странствий моего приятеля Беты оказалась ко мне внимательна и заганула загадку. Разговорившись в вагоне с китайцем, у которого в петлице болтался значок свастики и который объяснялся по-английски, я узнал, что дальше Вей-сиена, то есть половины пути, поезда не ходят, что там происходят какие-то события, о которых он говорил только намёками, которых я почти не понимал.

«Тайшан» — броневик с нечаевцами прошёл туда вчера вечером, и там теперь идут бои.

Этот перерыв железной дороги между Цинаном и Циндао оказался кому-то нужен, ведь его не было ни разу во время последних войн последних лет!

Пока шли наши разговоры, мы доехали.

— Вей-сиен сейчас! — любезно доложил мне мой спутник… И я на платформе в сём замечательном городе…

Оказывается, здесь есть японская гостиница, куда я и отправился. Хозяин, седой толстомордый японец в одних трусиках оказался негостеприимным сначала и что-то буркнул моему носильщику.

Мы пошли дальше — тоже японская гостиница… Когда я пришёл туда, тамошний хозяин лежал в кимоно на животе в прихожей, а какой-то глубокий старик старался его

массировать… Хозяин не отвечал мне ни слова, покамест манипуляции массера не кончились попытками оторвать его голову… Тогда оказалось, что есть комната. Комната оказалась маленькой клетушкой; на кровати-сетке на рогульках козлах спала какая-то японка с раскрытой грудью. Её выгнали, а мне предложили комнату, содрав робко… три серебряных доллара.

Оставив вещи, я прошёл в автомобильное предприятие, которое гоняет автомобили до Чифу (380 вёрст).

Оказалось, что завтра в 6 часов утра идёт автомобиль, на который я и решил сесть. После моих переговоров с автомобилем выяснилось, что и в первой гостинице есть комната, и хозяин оказался не такой свирепый. Ушёл туда. Мне отвели типичную японскую комнату с портретами микадо, с «татами» без полногрудых жён. Я выпил ситро и заснул.

«Бродвей-Отель». Чифу. Вечер.

Я уже в Чифу. Ночь на сегодня в Вей-сиене прошла очень тревожно. Хотя, как вы там ни говорите о моём евразийстве и азиатстве, а пробыть ночь глухую, звёздную в полубунтовавшемся городе, в соседстве с солдатами с маузерами, а рядом иметь хозяина японца, а потом его гостей, болтающихся до полночи, — очень чуждо.

Все были очень возбуждены событиями; и, слушая их разговоры, сидя с ними в передней на холодке — сквозняком хорошо продувало, я невольно вспомнил немцев.

Немцу, чтоб объединиться, надо хотя бы пива, — японцу — только горшок с угольками, хибачи.

А ночью были острые, как гвозди, москиты и странные сны. Кто-то приходил, кто-то уходил… Кто-то наводил снаружи электрический фонарик в моё окно.

* * *

Утро встало розовое, прозрачное, что мне, классику по убеждениям, напоминает Гомера.

Роскошные дали Шаньдуна, извечно-зелёные извечно-зелёным цветом полей… А над этим изумрудом, всё примиряя и благословляя, сыплется блеск розового утреннего солнца.

Мне подана китайская телега (сродни ещё ассирийским телегам, как гласит известный памятник, прибежище синологии и всех там пресмыкающихся), и ожидает парень.

Я низко кланяюсь хозяину и сразу натыкаюсь на этого мальца с мулом и ассирийской телегой.

— Ехать надо 8 ли (4 версты)… Ты очень тяжёл. Надо три

доллара.

Я говорю, что пойду пешком, что 8 ли — недалеко и что я дам только один доллар.

Рушится сразу же один принцип — Принцип обдирания чужака.

И у китайца, и у японца совсем разная плата для своего и дня чужого…

Азия не любит чужих!

Это надо помнить. Надо никогда не забывать, что белый человек для азиата — янгуйцза, т. е. заморский чёрт. Все, кроме русских. Они ведь из-за земли!

Стала избитой фраза о том, что Китай-де замкнут. Да, конечно. Но в каком смысле?

Китаец, прежде всего, предпочтёт другого китайца, а не иностранца. Китаец воспитан в полнейшей свободе: на улице они кричат, плюются и т. д. без всякого замечания со стороны начальства.

Закон для него в обычае, и только нарушителям этого закона грозит строгое наказание, причём юстиция носит предупреждающий характер, чтобы другим было неповадно; однако судья судит по обстоятельствам, по существу, а отнюдь не формально.

При таком положении вещей в китайском суде можно проиграть дело, имея расписку о долге, и, наоборот, выиграть дело, невозможное по формальности хотя бы русского суда.

Китайцы свободны, потому что они воспитаны так, а не иначе. И если к ним подходить с совершенно другими навыками, другими приёмами, то, конечно, китаец замкнётся и будет вас сторониться.

* * *

В чувствованиях, которые потом развернулись в эти размышления, проходил я со своим чичероне к станции. Вот, наконец, он — современный Китай!

На дворе станции восемь огромных «Бьюиков», автомобилей, которые понесут нас в Чифу и Лункоу. Зато китаец оказался китайцем в постройке кузова этих автомобилей: мне предлагают место, на которое может сесть так средней величины кошка, а не российский журналист, да ещё крупный телом. С проклятьями лезу обратно: кого-то давлю, кто-то пищит. Наконец, место найдено, я делаю досадный промах в курсе денег при размене, и мы трогаемся.

Поля, поля, поля, среди которых мчатся одна за другой наши машины. Едем все вместе, вероятно, в рассуждении хунхузов.

И на удивление, вместо плохой китайской дороги, которой я ожидал, — что ведь сделается их ассиро-вавилонским экипажам! — перед нами и под нами свободно развёртывалось широкое, легко уносящееся полотно прекрасного шоссе!

А вот автомобиль они взяли и прочно усвоили. Крестьяне смотрели на нас, отрывая глаза от своей работы. Они приставляют щитком руку к глазам.

Погода разгулялась, на станциях (о, какие фрукты на этих станциях!) вылезают и прибавляются пассажиры, и снова стремление вперёд и вперёд под рокот отличных моторов по прекрасной дороге. Мы едем на север, прямо к краю Шаньдунского полуострова, и скоро должно быть уже море — мы проехали 180 ли, т. е. 90 вёрст.

Открывается вдруг низкая зелёная равнина, несомненно морского происхождения; она зелена, так же как и всё здесь зелено вокруг, но влево от хода автомобиля вдали торчит огромная гора унылого жёлтого цвета. То есть не жёлтого. По ней идут такие же «побежалости», которые идут по закаливаемой стали. Синий, жёлтый, зеленоватый, красноватый тона сливаются в меняющейся гамме, и спокойно, как небожители, плывут по ней голубые прозрачные тени облаков.

Она очень далеко, эта гора, но ясно видно, как на её вершине стоит какой-то монастырёк; бежит ограда кругом, приподнятые крыши, полная заброшенность в огромном пространстве.

И вдруг я вижу, что конец неба, там, где оно прячется в зазубрины земли, — какой-то иной. Оно плотнее, синее, гуще. И напрягшийся глаз различает поднятый горизонт. Море!

Но ещё далеко до него. Мы мчимся ещё часа полтора, покамест не доезжаем до Лункоу, маленького порта в западном углу Печилийского залива.

Китайские домики, станция, ресторан, где публика хватает рис и китайские супы, и огромные баки какой-то керосиновой компании Америки.

Я спрашиваю, есть ли здесь иностранцы.

Китайцы машут руками:

— Есть! Англичане и немцы!

Представим себе такую картину. Попал бы в такую дыру какой-нибудь прежний русский человек (не эмигрант!), в качестве представителя фирмы, что ли. Он бы спился, опустился, ругал бы ругательски свою жизнь, на чём свет стоит, и, во всяком случае, почитал бы себя глубоко несчастным.

Я не видал иностранцев в Лункоу. Но я видал их в других

местах. В одно отделение Стандарт Ойль мне как-то пришлось пойти по делу, видел управляющего. В прекрасном обширном кабинете, куда меня провёл почтительно согнувшийся бой, сидел представительный человек с благородным этаким профилем и седеющими серебристыми волосами. Он был в белом фланелевом костюме, хотя был октябрь, ноги были укутаны пледом, у ног лежала огромная собака.

Несмотря на свою отчуждённость, покинутость и загнанность в такое глухое место, он отнюдь ничего не потерял ни в грубости разговора, ни в высокомерии.

Они все таковы, эти англосаксы, с красно-калёными лицами. Да ведь для того чтобы проводить какую-нибудь «колониальную» или какую там ещё политику, технически надо иметь именно таких людей. Вот почему у них империализм. Потому что они с таким равнодушным и уверенным видом говорят о своём превосходстве, что остаётся только руками развести.

Итак, в Лункоу англичане. Правильно. В учебниках для народных школ в Англии ребятам внушают, сколько английскому гражданину нужно добавлять к своему столу из чужих стран в неделю. Порядочно. И мука, и сахар, и ветчина к завтраку… Вот почему иностранная политика всегда неизменна, как неизменны английские желудки. Будь у власти консерватор Чемберлен, будь товарищ Макдональд — всё равно:

— Давай, брат!

* * *

А за Лункоу пошло море. Изумительное море. В направлении на восток оно сегодня совершенно синего индигового цвета. Цвета ализариновых чернил. Люди, немного рисующие, при таком явлении обыкновенно говорят:

— А вот нарисуй, так и не поверят!

Хотя причина тут совершенно не в этом!

Мы мчимся по скалам по самому берегу моря, углубляясь в сушу только тогда, когда перерезываем полуострова. И почти всюду на вершинках — монастыри.

Медленно поворачивается на бегу автомобиля огромный холм, какое-то погребение. Должно быть, мёртвый вождь приказал похоронить себя над этим простором, где нет ничего, кроме воздуха и моря, где слышен отдалённый шум прибоя, где мелькают серебряные чайки и лежат такие разноцветные, такие заманчивые острова вдали.

Их всё больше и больше, этих монастырьков и погребений.

Наконец берег подымается, мы проезжаем вправо и объезжаем со стороны суши волшебный город, что-то вроде Пан-лин-чин. Забыл.

Дело в том, что в Китае город действительно город. Он огорожен. Его должна окружать стена. И здесь стена взбегает на зелёный откос над синим морем. Над ней огромная розовокрасная гранитная скала, похожая на мясо. Кудрявится зелень над стеной, буйно выпирает из неё, как цветок из горшка.

А над стеной и над морем холм, который покрывает какое-то строение — не то храм, не то ямынь. Над ним ярко-жёлтая крыша, она кажется золотой, и кругом слой разноцветных крыш, с фантастически поднятыми углами, и там же торчит пагода, подхваченная ярусами, словно юбка модницы 70-х годов на картинах Мане.

Есть в России город Свияжск, который на горушке выстроил Грозный Царь Иван. Словно разноцветные головки булавок на бархатной зелёной подушечке помещицы-искусницы — золотые и цветные купола его церквей.

Есть у Владивостока остров Скрыплев, если выходить в море, оставляя справа Русский остров. И тот и другой, и Скрыплев, и Свияжск, напоминали мне остров Буян, с царством славного царевича Гвидона.

Но нигде эта очаровательная потрясающая фантастичность и яркость не была так ясна, как здесь. Пару куполов с золотыми крестами дайте сюда — и русская сказка жива, воплощённая на севере Шаньдунского полуострова:

Город новый, златоглавый,
Пристань с крепкою заставой…
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей…

Мы вышли из Вей-сиена в половине седьмого, а около половины четвёртого я вижу утомлёнными глазами большой город, погружённый внизу в чашу среди зелёных гор, по хребту которых крадётся какая-то стена.

Чифу!

Опять стихи:

Пустой начинаю строчкой,
Чтоб первую сбить строфу:
На карту Китая точкой

Упал городок Чифу.

Камень гранит, которого в изобилии, придал городу, его зданиям особую окраску. Если это не серая китайская глина, то это цвет розового гранита, похожий на сальтисон. Приключение с рикшей, который не смог меня везти, а потом требовал деньги, схватил за руку, представил меня абсолютно спокойному городовому и за это был в кутузке посажен на цепь, отнюдь не нарушило моей китаефилии.

А в городе — «хлебопёки», т. е. американские матросы, которых зовут так за их белые шапочки, и русские девушки:

Здесь девушек русских много
В китайских притонах есть.

Разыскивая на прекрасной набережной гостиницу, вижу в окне такой облик. Спрашиваю: «Где такая-то гостиница?» — «А, вы русские, — говорит, — ходите тудою!».

Это русские девушки. Они везде. Какая-то женская диаспора.

И в Шанхае, и в Пекине, и в Цинане, и в Тяньцзине — везде, везде развеянные великим российским тайфуном… Место, где вихрятся тайфуны.

Должен, однако, сказать, что известным образом эти девушки завоёвывают себе всё большее и большее положение… Конечно, далеко не завидное… Много их перевенчалось с длинными, ходящими в раскачку нелепыми американскими матросами… (Невольно вспоминаю былых славных русских матросов: коренастые, с бычьими шеями, так легко и свободно разносившие целые кварталы в заграницах. Где-то вы теперь, над которыми реет малиновое пушечное пламя Синопа и Гангута?) И эти русские девушки в барах за бутылкой пива или «дринком» ведут непрестанные политические разговоры со своими возлюбленными на политические темы, ругая современный русский строй до самозабвения, до истерики…

И несомненно, что их жалкая, по-русски пьяная, нелепая, раскрашенная армия много сделала в этом отношении… Как масло, льются их слёзы на волны, поднятые тайфуном революции, и волны эти мало-помалу утихают…

Наконец гостиница, ванна, яичница и сон…

Сон непробудный, усладный, с глубокою смертью сходный…

Гун-Бао. 1928. 19 августа.

2. В Чифу

7 августа, «Бродвей-Отель».

Вчерашний день прошёл в безуспешных попытках достать японскую визу на мой китайский служебный документ. Тщетно я доказывал японскому консульскому чиновнику и самому консулу, что заграничный паспорт, выданный в 1922 году из Владивостока, по старым русским законам годится мне, на крайний случай, на пять лет… Но чем я могу удостоверить это? А в консульство пришлось пойти потому, что пароходов на Инкоу, как я хотел, почти не бывает. Это мне сообщил хозяин отеля, видный пароходовладелец, и потом подтвердил в канцелярии «Харбор Мастер'а» какой-то длинный американец.

Инкоу, как порт, замирает: нет бизнесов. Его бьёт Дайрен. Пришлось взять визу…

Читал, писал. Вечером пошёл к доктору Г. обедать. Его встретил здесь позавчера. Семёновский сподвижник, это крупный, симпатичный, ясно выраженный украинец в хорошем, русском смысле слова… 60-летний старик. По случаю моего приезда он выпил, однако, с большой грустью только три рюмки водки… Конец! Финиш!.. А то ли было, когда я познакомился с ним на станции Маньчжурия в 1920 году (после каппелевского Ледяного похода ехал я в Харбин). Он тогда был силён и энергичен, в своём генеральском военно-медицинском мундире, а мадам Г. была красивой дамой в лиловой шляпе.

Теперь они живут в хорошей, английского стиля квартире, с живописным католическим храмом через узкий переулок, напоминающим декорацию из «Фауста», — оттуда часто слышится орган и мелодичное пение. Присутствовал при обеде один офицер моряк Т., служащий где-то в лесной таможне, кажется… Господи, до чего Морской корпус на Васильевском славном острове чеканил моряков!.. Так и видно, несмотря на штатское платье, что пред вами морской офицер… Какая-то особая посадка головы…

Зашёл разговор про шанхайского генерала Глебова и про его благополучно проданные корабли…

— Конечно, — горячо заявил морячок, — он это имел право сделать по морским законам… И хорошо сделал, что продал!.. И Старк хорошо сделал, что «загнал» всю свою эскадру на Маниле… Подумайте, какое имущество морские офицеры потеряли в России… Одно владивостокское морское собрание чего стоило!

— У меня в России осталось порядочно имущества, — сказал я… — Нет ли у вас приличного броненосца с Андреевским

флагом, чтобы возместить эти протори и убытки?..

Разговор сразу окислился.

А за самым обедом говорила мадам Г. Она обратилась в совершенно худенькую, американского пошиба даму, стриженую, в платье без рукавов. А у неё 20-летний сын… Как легко сдают русские свой облик…

На стенке — «Лунная ночь» Куинджи, недурная копия, и «Старый сад», не помню уж, чей-то… Здесь просто и хорошо любят Россию. А рядом на стенке цветистый герб «Рода Г-х», которые с 1627 года «*оказали России много услуг, что засвидетельствовано и царскими грамотами, так и универсалами малороссийских гетманов*». Характерно это сочетание. Есть, конечно, разница в России и Малороссии, и их обеих нужно брать в том сочетании, как они сочетались.

После ужина публика убежала в «картинки». Христианские мальчики ХСМЛ бесплатно показывают тут картинки в кино, а мы с доктором Г. пошли в «Бич-кафе» небезызвестного Р. из Мукдена. Матросы пили и плясали, а с ними русские девушки. Эти девицы все знают доктора. «Доктор! Доктор!» — кричали они. Он очень популярен у них, пользуя их в их женских нуждах. В ночь на тот день, когда мы с ним были в кафе, отравилась какая-то девушка, и он её спас. Он сидит там, в этой обстановке, которая к 12 часам ночи сменяется кабаретной, сидит, потому что «тут русские».

В разговоре, который происходит, потом яснее выяснилось, как страждет душа этого русского человека, заброшенного в Чифу. Кроме их группки да ещё какого-то фармацевта здесь нет никого русских. Клерки, иностранцы, консулы, морские офицеры — вот что окружает их. Для того чтобы поддерживать какую-либо организацию, он писал во все концы, но ответа не получил: на кой чёрт «генштабу» какая-либо связь? Ему ведь нужны политические шумихи…

Какой силой перенести это русское отсутствие организационной способности в иной пласт, в любовь к ближнему, в желание ему помочь, в политическую практичность? Нет! Холодное небрежение к сотням тысяч гибнущих младших братьев, таскание напоказ трупов «вождей», служение панихид да молебнов, выдумывание политических организаций, интриги и при всём том отсутствие какого бы то ни было дела — вот судьба эмиграции…

И в том великом тайфуне, который встал над Россией отсюда, с Востока, это качество играло решающую роль в воспринимают его… Мой собеседник соглашается со мной, когда я говорю, что пошла русская революция отсюда, с Востока.

— Да, отсюда, — говорит он. — Я был в Японскую войну в

качестве врача для поручений при Штабе 3-й армии (генерала Бадьянова). И я представлял огромные доклады, что обстановкой тыла, тюками прокламаций русский солдат революционизируется и развращается.

Провиденциальное значение имеет эта русская беспомощность в борьбе… И мне предстоит ехать теперь — на Дальний! Бывший русский Дальний…

Дальний и Порт-Артур. Я думаю, как бы то ни было, а эти имена не умерли в русском сознании. Места, где русский бился в полсилы, с привязанной за спиной рукой… И если японцы понимают, они должны теперь прямо помочь России встать, если сами не бессильны, потому что много терпкости ещё таится в русских против них за 1904–05 годы.

Впрочем, как сказать. В 1923 г. я был в Мукдене как раз во время празднования годовщины мукденского боя в феврале. Японцы ходили мимо памятника этого русского разгрома, помахивали флажками, смеялись, глядя на нас. Играла бездарная музыка.

А когда я, злой и раздражённый, вернулся в гостиницу «Мукден», то за столом какая-то полная дама спросила:

— Что сегодня у японцев за праздник?

— Годовщина победы под Мукденом!

— Над кем это? — спросила полная дама.

А по возрасту она должна была бы очень хорошо помнить русские невесёлые приключения «на сопках Маньчжурии».

ПАРОХОД «КАЙЖУ-МАРУ»

Новая обстановка. Я на пароходе «Кайжу-мару». В Чифу нет пристани, и поэтому пароходишко стоит на рейде. Милый разговор с сампанщиками, которые загибают отчаянную цену, и, наконец, я на пароходе.

Пароход как пароход. Очень грязный и маленький, и не в нём сила. Он — японский.

Здесь я встречаюсь с элементом, поднявшим тайфун в моей родине 22 года назад. Япония! Как она далека и как непонятна.

Пространствовав по Дальнему Востоку, побывав неоднократно в Японии, перезнакомившись с этим народом, я с большим интересом недавно прочёл талантливое описание И. А. Гончарова Японии и приключений в ней в «Фрегате „Паллада“». Перевраны многие имена; мысль этого русского помещика (писано в половине 60-х годов) ленива и неподвижна. Но сколько свежих мыслей, сколько правильных положений он

возбуждает, этот русский барин, так сетующий, что перчатки его палевые, в которых он должен был участвовать в приёме у японского губернатора, пошли пятнами.

Он смотрит, насколько мне не изменяет память, на японцев, сидящих неподвижно на полу в золототканности своих декоративных одежд, и думает:

— Какая разница между ними и нами!

Они выросли и стали народом совершенно другими путями, нежели мы… Между нами и ими легли целые толщи столетий…

Так думает этот большой русский талант. И когда он зарисовывает переводчика Эйноске, который ужом слался на полу, переводя, что *японскому глазу будет больно видеть русские корабли* в Иеддо, то так тут и видна душа будущего современного нам японца.

А этот шпионаж? Буквально тогда повторялось то же самое, что мы видим в наши дни. Уход эскадры в Шанхай, возвращение оттуда, всё это возбуждает живейшее любопытство японцев относительно намерений и планов русского адмирала…

А какие правильные прогнозы ставит Гончаров относительно влияния и развития Японии на Дальнем Востоке! Только в победоносности русского тогдашнего вламывания в японские двери он проглядел, как быстро Япония может пойти по новому пути…

И через пятьдесят лет пушки с японских кораблей уже громили наши корабли. Цусима стоит вечным памятником русскому бесславию и отсутствию организационной способности.

И когда гремели японские и русские пушки в этих морях и в этих цепях сопок, во всех русских газетах гремели имена: Инкоу, Чифу, Порт-Артура, Дальнего и пр. Герои, непременно герои офицеры пробирались на китайских джонках «под самым носом у японцев», удивляя своей нехитрой удалью читателей «Русского Слова», и Вас. Ив. Немирович-Данченко гремел на его страницах в качестве «специального корреспондента» и описывал, как кипели моря «под стальными бичами пулемётов», и «как белые призраки, шли один за другим брандеры»…

Но Господь с ним!

Все мы пишем, как умеем. Только среди этих похвал геройству как-то не видно было того, кто просмотрел рост Японии, кто поставил в необходимость русских офицеров «скользить под носом у японцев», тогда как и полдесятка стальных плавучих гигантов удержали бы русский флот на должной высоте и господствовали бы над морем.

Было ли известно тогда, что русского флота недостаточно? Было!

Не более месяца тому назад один старый казачий офицер, участник ещё занятия Порт-Артура и водружения там русского флага, говорил, что молодые офицеры-моряки тогда ещё, в 90-х годах говорили, что русский флот не годится для борьбы с японским. На это махали рукой, и только безудержное пьянство русских «пионеров» культуртрегеров широкой волной заливало весь Дальний Восток!

А симптомы тогда были, и симптомы грозные. Кто же стоял в деле постройки флота за спиной Японии? Никто не мог этого сделать кроме Владычицы Морей — АНГЛИИ!.. Никто… *Постройка, обучение японского флота, всё это было в руках Англии, в то время как генеральный штаб Германии старался над созданием японской армии.*

И они создали. Японо-китайская война, боксёрское восстание, где больше всего русские с Японией старались исполнять завет императора Вильгельма — наказать Китай так, чтобы он долго помнил руку Европы!

Всё это было пробой пера. Знала ли Англия о русских планах на Дальнем Востоке, развёртываемых С. Ю. Витте и только теперь в азиатской проблеме мирового масштаба начавших находить своё выявление, знала ли Англия, что делает на Дальнем Востоке Россия?

Отлично знала. Ей всё благоприятствовало в этом. И политика графа Ламздорфа, который клялся и божился международно, что всякие завоевания на Дальнем Востоке только глупость, и не позволял держать здесь достаточного количества войск… И широкая откровенность наших военачальников, так любивших «просвещённых европейцев» и всё им любезно объяснявших. И т. д.

В 1904-м или 3-м году на Дальнем Востоке появился некий Ленокс Симпсон, журналист, который сыграл и играет до сих пор выдающуюся роль в дальневосточных делах. Он опубликовал тогда свою книгу «Московиты в Маньчжурии».

Гун-Бао. 1928. 22 августа.

3. На Юмжд

В вагоне из Дайрена.

Продолжаю уже в вагоне Южно-Маньчжурской железной дороги. Оказывается, теперь едете скорее, нежели сказывает сказка!

Вчера моё писание прервала престарелая кафешантанная

звезда, госпожа З., моя соседка по единственной каюте, которая, как оказалось из разговора, жила даже со Столыпиным. В разговорах, и довольно любопытных, прошёл вечер. Стало очень качать, и бедная чрезвычайно страдала. К четырём часам утра подошли к Дайрену, но с разными пертурбациями я очутился на берегу около семи с половиной, а в 8.10 уже отъехал дальше, попав на счастье в вагон железной дороги в последнюю минуту.

Итак, о Путнеме Уиле, под именем которого Ленокс Симпсон опубликовал свою книгу «Московиты в Маньчжурии». Она сплошной крик и предупреждение английского общества о грядущей опасности со стороны России. В каждой главе приводятся фотографии разных смотров и построек на линии КВЖД, которыми, очевидно, простодушные русские офицеры любезно снабжали просвещённого иностранца.

Приводятся цифры войсковых частей. А кроме того, всюду очень злое и дерзкое описание и высмеивание русских обычаев и привычек, вроде знаменитой «закуски», «самовара» и т. д.

Не подлежит никакому сомнению, что П. Уил получил официозное поручение подготовить английское общественное мнение к тому, *чтобы выгнать русских из Маньчжурии.* И, готовясь так, Англия, естественно, не могла не принимать участия в подготовке средств против русского засилья на Дальнем Востоке, которые готовила серьёзный конкурент России — Япония.

Ни для кого не секрет, что общественное мнение Англии стояло на стороне Японии. Этим объясняется, что и в Цусимском бою с японской стороны участвовали английские офицеры.

Чем же оправдывались такие симпатии Англии, как не реальными интересами и только ими. Всякий союзник признавался быть хорошим против «русского медведя» только для того, чтобы ему насолить!

Ничего нет удивительного и в том, что в Гулльском инциденте эскадра Рожественского, стрелявшая по каким-то таинственным миноносцам, может быть, была права.

Так дела шли со стороны Англии, и русским политическим писателям нужно теперь сильно поработать над раскрытием всех этих обстоятельств.

Тем более аккуратно и интенсивно работала сама Япония. Японцы — немцы Востока.

Один из русских старожилов здесь — офицеров — рассказывал мне историю, как за два года до русско-японской войны в Куаньченцзы, недалеко от штаба их полка, двумя японцами был открыт дом терпимости. А после на войне вестовой одного из офицеров этого полка попался в плен и был выпущен

оттуда по старой памяти одним из этих японцев, который оказался офицером генерального штаба.

Гончаровский Эйноске может считаться живым до сих пор, во всяком случае, в японце жив его пытливый дух. Даже страшно становится при мысли, что бы вышло, если бы два каких-нибудь из наших офицеров генерального штаба занялись подобным делом в Японии? Это было бы курам на смех. Пусть мне возражают, что и у нас были доблестные аналогичные выполнения заданий, хотя бы тем же генералом Корниловым. Но генерал Корнилов — имя, тогда как у японцев это делали многочисленные безвестные герои.

С такой педантичной подготовкой к войне, с таким вниманием подошла Япония к 27 января 1904 года, когда без объявления войны японские моряки вывели у русских из строя несколько морских боевых единиц.

Вспомним те комментарии, которые тогда ходили в обществе о том, что на берегу в Порт-Артуре был какой-то бал и мощные крейсера были в конце концов предоставлены только судьбе, международному обычаю да прислуге у орудий и часовым:

— Господа офицеры веселились на берегу.

Япония долго готовилась к этой войне, собирая и суммируя весь опыт европейских держав в деле вооружения.

Правда, на её стороне был перевес в коммуникации. В то время как сотни японских транспортов перевозили тысячи солдат в день, на расстоянии одних суток от Японии тоненькая ниточка ещё окончательно не достроенного Сибирского пути была свидетельницей тех усилий, которые приходилось выказывать русским железнодорожникам, чтобы накачать в Маньчжурию нужное количество сил.

Равным образом и отсутствие воспитания русской нации сказалось вовсю.

У японцев вся нация была готова к войне, вся нация сознавала, за что дерётся армия. Вся нация, как один человек, желала победы своим войскам.

У русских же гениальный план Витте, основанный на сущности русской азиатской культуры, сводившийся к необходимости выхода России к Тихому океану, *где она была бесконкурентна,* как государство, со стороны её европейских соседей и становилась, таким образом, во главе только теперь занимающейся *эры тихоокеанской — эры азиатской,* — у русских этот план подвергался неосмысленной критике.

Старый журналист и политический, в прошлом, деятель, следовательно, и политический преступник, В. А. Панов во владивостокской своей газете «Дальний Восток» громогласно

называл Дальний — «лишним», и дешёвым этим каламбуром клеймил всё огромное русское дело, начатое ещё при царе Иване IV, как будто Россия проливалась на сибирские просторы для того, чтобы уступать их другим — жадным и привычным захватывать в свои руки европейцам.

Это и создало тот перевес японского духа в той несчастной войне.

Ничего не понимающие наши либералы орали о «пролитии крови», не помня заповеди Макиавелли, что «там, где дело идёт о единстве и силе государства, государи не должны бояться прослыть жестокими».

За ними брели революционеры, развращая армию. А правительство трусливо молчало, отговариваясь, что на Дальнем Востоке была «авантюра» и что не следовало-де русским туда лазить. А если полезли, то уже надо обороняться.

«Не мы напали!» — говорило оно, как будто бы в нападении нет никакой доблести.

В этой войне встали перед нами воочию две древние страны Востока — Китай и Япония; впервые с ними ознакомилось русское общество, и увы, при каких печальных условиях!

Всегда прикованные взорами своими на Запад — русские просмотрели своих огромных и могущественных соседей, тот огромный, крепкий азиатский государственный строй, который стягивает их, недооценили и ввязались в войну с теми народами, которые когда-то, в XIII–XV вв. дали им государственный строй. Русские совершенно не знали культурного Китая.

Не лучше было представление относительно Японии.

Позвольте привести ещё одно напоминание из книги барона Теттау «Куропаткин и его помощники» (СПБ. 1913), где из докладной записки Куропаткина приводится следующий *план войны* с Японией (подана в феврале 1904 года).

§ 12. Операционный план весьма прост:

— Борьба флота за господство на море.

— Воспрепятствование высадке японцев.

— Оборонительные действия и широкое развитие малой войны до сосредоточения достаточных сил.

— Вытеснение японцев из Маньчжурии.

— Вытеснение японцев из Кореи.

— Высадка наших войск в Японии.

— Овладевание главными городами.

— Взятие в плен Микадо.

Вот с таким планом борьбы против Азии, с такими понятиями об Азии пришли в 1904 году русские силы на Дальний Восток для

того, чтобы схватиться в смертельной схватке!

Тогда русские были для японцев представителями *западного* мира. А сама Европа *способствовала* этой войне, для того чтобы свалить *азиатского* белого медведя, которого она всегда ненавидела. И европеизированный белый азиатский медведь действительно пал в этой борьбе против своей матери — Азии, а вместе с ним пал и всегдашний русский жандарм, хранивший с особой готовностью и рабской отчётливостью мир в Азии для Европы.

Интересы Европы *гибнут* теперь в Китае, потому что она сама далека; а написать ноту любезному русскому соседу, войска которого стоят на всей границе Китая с севера, ныне не представляется уже возможным, потому что вместо белого медведя стал медведь красный, который машет лапами уже на самый Запад.

Да, только в этом подражании западным образцам мировой политики, в небрежении делами восточными, в отсутствии на них моды можем мы видеть принцип русско-японской войны, которая породила революцию в России. Русские восстали против их прародины, прародины их традиций народных, их основной культуры, и погибли…

Последующее показало, что при такой обстановке возможно.

— Не мешайте русским строить, — недаром говорил мудрый Ли Хун-Чан.

Не мешайте!

Я не знаю, как дело будет впереди, но можно поручиться за одно:

— Никогда русские государственные деятели не будут больше столь легкомысленно говорить о Китае, как они говорили в 1905 году.

Опыт — ум глупцов!

* * *

Было под утро, когда пароход подходил к Дайрену.

Сизый вставал рассвет направо, впереди мигал красный с белым маяк. От него ложился нежный красный и серебряный луч на чёрные воды, которые шумели непрерывно, а бедная моя спутница очень страдала.

Влево зеленели огни — огни предместья Дайрена — Хошигауры. Теперь это дачное место, в котором маленький уютный «Ямато-Отель». Я был в нём раз в весенний и холодный день марта 1920 года, когда перед камином в холле сидела и

куталась в плед худущая англичанка, похожая на мопассановскую мисс Гарриет. Теперь она очень далека от нас, эта Хошигаура. А ещё левее, подёрнутые тонким заревом зелёного же цвета, далеко чуть видны огни — огни Порт-Артура — Риоджуна по-современному.

Вот кусок китайской земли, видимой с Жёлтого моря, где лежат жизни русских матросов, солдат, офицеров, откуда ворвался сквозняк, начавший русскую революцию! Пусть совет рабочих депутатов 1917 года был сколком с петербургского хрусталёвского совета 1905 года, — солдатские-то депутаты — эта первая степень революционной организованности солдатских масс — пришла отсюда.

Восток разгорается, небо там, где соскользнули прочь брусничного цвета тучи, оказывается яхонтовым и свежим; всю ночь лил дождь — смывая с палубы предупредительно следы морской болезни.

Буйно разгорается заря, просвечивают огненным багрянцем паруса джонок, уносящихся в море, маяк с нами теперь на одной высоте, и за мысом, на котором он стоит, огни:

— Дайрен!

Я смотрю на это бывшее русское владение, которое как бы медленно поворачивается вокруг своей оси… От солнца небо стало похожим на золотую парчу, и по нему тянутся восходящие над Дайреном облака дыма из могучих фабричных труб. Парча неба сквозь чёрно-фиолетовый прозрачный дым похожа на дымчатый огромный топаз. Острые мрачные сопки чернеют сквозь чёрный дым. А впереди нас, прямо, — пологие и лёгкие в нежном голубом небе, в золоте солнца сквозь тучи, в зелени утра нежатся над сизым морем дальние холмы…

А теперь здесь мир, творческий мир. Свистки паровозов, перекличка пароходов, леса мачт джонок, скользящие сампанги, между которыми плывёт грязная туша нашего парохода.

Плеск, дрожание, стук, грохот. Якорь отдан.

Странно слышать тишину после привычного стука винта «Кайжу-мару», от берега уже мчится полицейский катер. Паспорта. Меры предосторожности.

И пароход медленно подходит к берегу, к огромному бетонному трёхэтажному дебаркадеру, величиной, вероятно, с Ватикан. Сходни с палубы пароходов прямо кладутся во второй, третий его этажи, и там огромные залы на бетонных столбах, полные шарпанья, шорканья сотен японской деревянной обуви «гета»; тут рестораны, базары, пивные, буфеты, чуть ли не народные гулянья…

И тут же конторы, таможня, выдача багажа, перевозка его на

электрических тележках и пр.

И стоя на балконе, перед которым развёртывается вид на широкую благоустроенную улицу, где весело бежит красно-жёлтый трамвай и трубит приятным грудным звуком, где весело бегут счастливейшие в мире японские детишки в школу, где тарахтит извозчик, завезённый сюда, как в Харбин, в Мукден, по всей линии Китайской Восточной и Южно-Маньчжурской железной дороги — русскими, мне становится печально донельзя.

Ну, господа, кто же «культурнее»? Япония, Китай, эти «азиаты» или же русские?

Россию, которая так долго стояла во главе азиатского мира, идя в Сибири по стопам Чингисханитов, побила другая азиатская страна, Япония, под благодетельным руководством Европы.

Не от американской ли фирмы «Кон и Лан» был получен японским правительством заём, на который началась японо-русская война? Не Яков ли Шифф, эмигрант из России, был посредником в этом деле?

Яков Шифф погиб на «Лузитании», русские проиграли войну, и Азия теперь с невероятным знанием времени и выдержкой в этом отношении кончает здесь с англосаксонским миром и его экспансией, начиная снова свою экспансию на Запад.

Гун-Бао. 1928. 24 августа.

4. По местам войны

Вагон ЮМЖД.

8.10 — отходит из Дайрена утренний экспресс на север, и я с повторным удивлением рассматриваю на бархатной зелёной обивке вагона II класса бурбонские лилии в качестве декоративного рисунка. Как они туда попали? Экспресс идёт очень быстро, и в окна, в которые пышет июльским жарким днём, видны исторические надписи. Вот Дашичао, где был большой бой и откуда японская ветка в 35 минут донесёт вас до Инкоу — китайского порта; вот Вафангоу… Память так и рисует картину, что продавали в Костроме в рядах в Проломных воротах в тот год: русский казачок почём зря рубит японцев, и их ярко-красная кровь льётся на славу и на доход И. Д. Сытину.

А здесь, стоит только вскопать эти ярко зеленеющие поля, эти небольшие курганы, — и там мы увидим кости русских героев.

Вот Ляоян… Случайно со мной том корреспонденции с театра русско-японской войны Гарина-Михайловского, и бес иронии заставляет меня раскрыть книжку в соответственном месте; я

читаю (стр. 50):

20 мая. — Ляоян! — Под этот возглас я просыпаюсь.

Ко мне врываются несколько человек.

— Представьте себе!.. Не наврали!.. Один корпус двинулся к югу, но всё остальное на месте и в Ляояне спокойно, как будто и войны никакой нет.

Настроение великолепное. Неудачи никого не смущают, и их давно не хотят слушать…

Один было начал рассказывать, а ему закричали: «Замолчите, довольно!».

— Да и вполне понятно, — говорит Сергей Иванович, — не пришли же люди наводить на себя уныние. Люди твёрдо решили либо умереть, либо победить, и беспредельно верят в успех дела… Нет, прекрасное настроение. Армия — как один человек!

— Так что победим?

— Никакого сомнения!

Не правда ли, трудновато глотать такое воспоминание? Мне, положим, могут сказать — что, собственно, вам-то за дело? Вы ведь там не были виноваты. Так чего же вы беспокоитесь?.. Да и было-то это уж 23 года назад!

Всё равно! Всякий русский *должен* чувствовать своё кровное родство с прошлым… Память о вступлении русских войск в Париж в 1814 году должна и теперь наполнять его пьянящим чувством русской радости.

И наоборот, эти неудачи лежат на русских плечах как тяжёлый проклятый груз.

Конечно, если не считать себя русским или относить это за счёт нелюбимого правительства…

Но всё равно, никуда не денешься!

* * *

Уже промелькнул и Ляоян. Сорок вёрст до Мукдена. Мелькнули мимо и кладбища русских воинов, устроенные и обихаживаемые японцами. Аккуратные изгороди, скромные тяжёлые кресты, полное почтение к своему врагу.

Вспоминаю, как в Мукдене тоже есть русское военное кладбище. Некто господин Г. в 1910 году получил своеобразную концессию, чтобы вырыть все русские трупы под Мукденом и схоронить у русской церкви, у часовни, которая имеет вид старинного русского шлема. До самой войны возился Г. с этой задачей, а как в 1915–16 годах закрыли по военному времени кредиты на это дело, так и не кончил… Однако и так цифра,

которую называли относительно свезённых трупов, что-то гомерически высока — 90 000.

Господин Г. сейчас благополучно здравствует в Мукдене, а по большой улице, если ехать с вокзала прямо в китайский город, стоит японский памятник этому бою и мукденской победе:

— Огромный ружейный патрон стоит на громадном постаменте, и вокруг, среди зелени туй и кипарисов, в строгом порядке на постаментах расставлены пленные русские орудия.

Молчат они так же, как молчат наполеоновские пушки в Москве, в Кремле, у Арсенала.

Мукден! Поезд гремит на вокзале, и среди толпы вижу господина Г. Он словно отвечает моим мыслям.

Так кто же виноват в неудаче в японо-русской войне, кого судить?

Конечно, прежде всего, виноваты те самые, про которых сказал Пушкин:

— Мы ленивы и нелюбопытны!

Они были ленивы в Азии и нелюбопытны к ней же. Живя её тяжёлым бытом, всячески отругиваясь от царя Петра и его призывов в деятельность, они взяли у Запада только начатки его военного искусства и его роскошь…

Я отнюдь не нападаю на старое правительство. Отнюдь нет! Это *общая* всем русским черта — отсутствие организации.

Пусть Гарин писал, до поры до времени, писал о том, что-де «дух войск превосходный» и что все «уверены в победе»… Революция 1905 года, взвихрившаяся было с сопок Маньчжурии, заставила раскрыть язвы, заставила называть вещи своими именами.

Теперь среди эмигрантщины принято считать былую Императорскую Российскую Армию выше всяческих похвал… Она-де, знавшая Кутузовых, Румянцевых, Суворовых, Скобелевых и т. д.

Но ещё хранят библиотеки те обличения, которые актуальны и в наши дни, те обличения, которые и мы можем повторить во имя объяснения того разгрома, который потерпели русские белые армии от своих красных соперников…

Пусть такие вещи, как «Зверь из бездны» Чирикова, встречаются известными протестами. О, мы знаем их, эти протесты! Но разве до сих пор не живы слова генерала Церпицкого, героя японской войны, слова из его приказа по войскам Туркестанского округа:

> «Наша армия есть, в сущности, толпа рабов, руководимая людьми из светских гостиных, которые в

военном деле ничего не понимают. Наша армия — рабская, и ведь нет беды большей — нежели рабство. Благодаря этому, наша необразованная, грязная, невоспитанная армия, в которой около 20 % офицеров — алкоголики, не способна к энтузиазму и одушевлению».

(«Наша Жизнь». № 373, 18 февраля 1906 г.)

Разве эти слова блистательно не оправдались там, на полях Калуша и Тарнополя, тогда, в этом проклятом 1917 году, проклятом и всё же неизбежном?!

Разве *нет* правды и в этих словах «Нового Времени», говорившего с достоинством горькую правду:

«Сам, превратившись в придворного генерала, Куропаткин не смог за 8 лет управления своего военным министерством побороть чиновничьего духа, заразившего армию. Повинен Куропаткин и в том, что в боевой линии завёл роскошь и изнеженность, подавая к тому личный пример… Он жил не как великий солдат и ученик Суворова, а как большой русский барин, в роскошном поезде с электрическим освещением, салонами, вагоном-кухней, с огромным штатом челяди и прихлебателей…»

(«Новое Время», 15 февраля 1906 г.)

И дальше оттуда же:

«На войне барские нравы сослужили стране плохую службу. Все помнят такие подробности войны, как поезда, набитые цветами одного адмирала, в страшные дни, когда не хватало поездов для снарядов; или батальон солдат, во время сражения поливавший вагон с генеральской коровой, не выносившей жары… и т. д. и т. д.».

* * *

Как вам это нравится? А это *было*. Как же тут было не потерпеть краха *с такими* деятелями страны, *при таком осведомлении* о противнике?

Проехали Мукден, едем дальше.

Вот станция Сыпингай, на каковых высотах наша армия

дожидалась заключения мира. И мир был блестяще заключён Витте, стяжавшим за то титул графа. Закатное солнце заливает аккуратные станционные домики, синих китайцев, японскую толпу женщин и девушек в пёстрых кимоно, в пёстрых, как мотыльки, оби (пояса).

Японцы все для праздничного дня — воскресенье — в своих аккуратных национальных костюмах, смеются, переговариваются, мирно, мирно…

В форме только начальник станции, жандарм с малиновым околышем, да вверху на пригорке, как раз против заходящего солнца, у дверей казармы, расставив ноги, стоит крепкая чёрная фигура японского часового. Жёлтая форма аккуратна, ярок красный околыш на фуражке с большим козырьком, блестит ствол ружья.

Всё дело рук этого солдата. Вся Маньчжурия залита этой японской толпой или же ещё плотнее залита сетью японских организаций.

Японские банки плотно держат в своих руках деловую жизнь севера Китая. Всё дальше и дальше распространяется крепкая спаянная экспансия японцев, не боящаяся тратить время и проложенная в недрах Генро и министерства иностранных дел на многие годы. Им впереди мерещится объединение Востока…

— А русские?

Кровь заходящего солнца — русская кровь. Они пострадали в японской войне так, что страдают от этого до сих пор. Их *предал* Запад, и они пошли против того, с кем связаны, — против Востока.

Недаром адмирал Рождественский писал в 1906 г. в «Новом Времени» о бое под Цусимой:

> «Расположения японского флота не знал даже адмирал союзного японцам английского флота, сосредоточившего свои силы у Вей-хай-вея в ожидании приказа истребить русский флот, если бы эта конечная цель не под силу была бы японскому…».

Мир оказался разделённым, и из этого разделения цельной встала Азия, и русским, теперь бродящим по этим печальным следам русской крови, нужно пересмотреть свою русскую политику.

И проложить её так, чтобы она шла путями Азии, чтобы им не приходилось лить русскую кровь в великих войнах буйной Европы, судьбы которой им безразличны, и вместо них принять великий мир — мир Азии.

Цинаньфу-Чаньчунь, июль 1927 года.

Гун-Бао. 1928. 25 августа.

Интеллигентное подхалимство (*По поводу ответа г. Духнина*)

В неожиданной реплике господина Духнина на фельетон о «Последнем странствовании Толстого» — признаюсь, один пункт мне неясен. А именно.

Известно, что русскому человеку свойственна известная устремлённость, вера; вот и тут мой оппонент уверовал в Толстого и для подкрепления своих взглядов приводит даже свидетельства:

— Сам Горький признавал его полубогом…

И сам автор кончает своё писание патетической фразой:

— Как нелепы наши выпадки против этого *полубога!*

Позволительно по этому поводу задать вопрос:

— Ну, а почему ни Горький, ни сам автор не возьмут и не скажут окончательно и напрямик:

— Толстой просто-напросто бог!

К чему, господа, полумеры? К чему полубоги? Насаждайте прямо богов, великих, могущественных, гениев и так далее…

В русской действительности примерно к этому дело и подходит.

«Коль любить — так без рассудку…»

Ведь были такие — толстовцы, которые бродили по Святой Руси, смущали народ своей анархией и считали, что Толстой — пророк.

Теперь на Руси завелись другие, которые, наоборот, полагают, что полубог не Толстой, а Маркс и Ленин. И этим обеим фигурам вместе, а то и порознь — служат форменные молебны, акафисты и так далее…

Когда Александр Великий из Индии прислал в Грецию заявление, что отныне он — бог, то спартанцы заявили:

— Если он желает называться богом — пусть называется!

Я тоже ничего не имею против того, чтобы господин Духнин называл Толстого или кого там ещё — полубогом, чтил их и даже милостиво прощал Пушкину «его камер-юнкерский кафтан» — какое преступление! Это частное дело господина Духнина. Но я решительно против того, чтобы мой оппонент мешал мне думать, как я думаю, и подымал вопли:

— Подумайте! Он против Толстого! Да он властей не признаёт!

То есть, разумеется, я ничего не имею против того, чтобы господин Духнин доказывал публично свою точку зрения,

развивал её на основах общего человеческого разума. Но я решительно против того, чтобы мне заявляли:

— Тут и дышать не моги! Там сам Лев Николаич писали… Они — полубог-с.

Должен решительно сказать, что нам надоели эти полубоги, эти мистики, вроде Мережковского, эти утончённые мыслители, вроде «софианцев»…

Один полубог — Толстой — отрицает всякое государство, призывает не платить налоги, забирать землю и сознательно ходить в лаптях…

Другой полубог, напротив того, — учреждает такое государство, где шкуру дерут с правого и виноватого, отбирают у мужика не только землю, а и зерно, заставляют верить в нелепый материализм и чтить разных милстгосударей за великих людей, слушая их бесконечное враньё…

И самое главное в этих обоих полубогах то, что не бывало в них никогда, как в действительно святых русских людях:

— Милости, терпения и любви к своему младшему и заблудшему брату… Они полны человеческой гордыней и надоедливостью. Идолы, жестокие и несправедливые…

— «Нацию, государство, религию и культуру» — нельзя, господин Духнин, отвергать с лёгкостью необыкновенной, словно бросая на землю кожуру со съеденного апельсина… Эти ценности человеческого духа создавались не восемнадцать лет, не десять лет, а целые тысячелетия. А главное то, что эти ценности не валяются на большой дороге, а они кому-то *принадлежат.* И если иной владелец плюёт на них тогда, когда у него их «отвергают», то обычный-то человек должен протестовать против этого, протестовать за себя, за своё религиозное, культурное, национальное и прочее достоинство, а не смотреть на «титанов», раскрыв от изумления рот, и не валиться им в ноги:

— Слава тебе, полубоже, слава тебе! Ты у меня отнял семью, отнял моих предков, отнял моё отечество — всё то, что радует меня в этой жизни, а другого мне иметь не дано, ты выкинул меня в холод, слякоть, неуют, революцию осенней погоды, ты питаешь меня в очередях паршивым хлебом, делаешь моих детей туберкулёзными хулиганами, а мою жену — ещё хуже; и при всякой попытке к честному и полному достоинства сопротивлению — ты сажаешь меня в кутузку… Слава тебе!..

Покорно благодарю.

Нас, евразийцев, обвиняют в том, что будто бы мы чтим нагайку Чингиса…

Но такой татарской низкопоклонности перед «полубогами», да даже не пред полубогами только, а перед «профессорами»,

«учёными», писателями, вождями и прочее — не видано нигде как у русского современного общества!

Это моральное подхалимство.

Бог наш, Иисус Христос, говорил:

— Не разрушить Я пришёл, а построить.

А «полубоги» только разрушают, и, наконец, разрушив всё, сами, как одержимые бесами, бегут в темноту и слякоть осенней дороги, падают на ней, выказывая свою сущность.

Довольно этого истерического преклонения пред людьми только за то, что они мешают жить… Каждый волен над своим телом делать, что ему угодно, но нас, современников, пусть они оставят в покое, или современники должны указать им надлежащее их место…

Известно ли господину Духнину, что писал про людей, подобных Толстому, один великий писатель, но не полубог, а просто воплощение здорового русского ума — Иван Андреевич Крылов в басне «Сочинитель и Разбойник»?

Не полубоги это, а лжебоги!

Гун-Бао. 1928. 31 августа.

Работа Троцкого

В июле месяце только что вышла в Америке на английском языке книга Л. Троцкого, озаглавленная «Действительное положение в России»[30]; книга эта содержит в себе подлинные обличения Троцкого против Сталина и, таким образом, ярко рисует всю сущность «оппозиции».

— Оппозиция! — сколько чувства вкладывалось в это слово, сколько надежд этой зимой… Во многих ждущих глазах Троцкий уже являлся чуть ли не защитником частной собственности, гражданских свобод и прочих прекрасных вещей. Однако эта подлинная книга сосланного в Верный Троцкого должна многих и очень сильно разочаровать: положение не столь просто.

Оппозиция Троцкого — есть *внутрипартийная оппозиция,* и это прежде всего. Троцкий порочит тот путь, по которому повёл компартию, а вместе с ней и Россию, Сталин. Мистер Истмен, переведший и комментировавший книжку Троцкого, прямо пишет в своём предисловии, что существует разница между подлинным рабоче-крестьянским правительством и тем путём, которым пошла «диктатура пролетариата» стиля Сталина. «Сталин, — пишет Троцкий, — это сплошное объединение самых антипролетарских элементов — нэпманов, кулаков и постепенно кристаллизующегося класса промышленных и торговых бюрократов, каковые последние всё более и более попадают под влияние нэпманов и кулаков, то есть первых двух групп».

Поэтому — в этом уверен комментатор Троцкого, — Сталин, без всякого сомнения, при дальнейшем развитии ленинизма в будущем для революционных историков явится играющим роль реакционной базы. Только Троцкий — настоящий носитель доктрины Маркса и Ленина, а Сталин, говоря коротко, «подавитель пролетарского зародыша, соглашатель с соглашателями всех стран, капитулянт пред лицом мировой буржуазии».

Свои обвинения против Сталина Троцкий поддерживает цифрами, этим лучшим видом доказательства.

— Общее число рабочих в государстве рабочих, — пишет Троцкий, — в настоящее время (написания книги) представляет собой только 63 % довоенного числа; в апреле месяце 1927 года безработных числилось там ни более ни менее как 1 478 000.

— Вознаграждение, получаемое ими, — пишет Троцкий, — ни в какой мере не соответствует должному; один на десять рабочих ежегодно получает повреждения; рабочие конфликты разрастаются и разрастаются, и они ликвидируются

насильственными мерами более, нежели путём соглашения; индивидуальные цифры потребления промышленных материалов на душу — согласно сталинской программе, хотя и возрастают, но очень медленно: даже в 1931 году, если Сталин останется у власти, потребление каменного угля будет в семь раз меньше потребления угля на душу Германии в 1926 году и в 17 раз менее такого же потребления угля Америкой в 1923 году. Положение крестьян ухудшается и ухудшается — богатые богатеют, а кто был бедным — таковыми и остаются.

Соответственно этому — и сами Советы всё больше и больше отходят от масс. Все эти «дискуссии на съездах — всё больше показные дискуссии». Всем правит советская бюрократия. Эта бюрократия уже не прежние революционеры, воспитанные царским террором, а новые люди, «выделяющиеся своей необычайной покладистостью и подхалимством».

«Реальные права одного партийца во много раз больше прав рядового обывателя». Эти люди далеко отошли от настоящего марксизма и в конце концов приведут своими действиями к неизбежной войне против Советов со стороны империалистов. И Троцкий для примера сетует на неумелое действие коммунистов в Китае.

Троцкий торжественно заявляет, что все заявления о том, что он, Троцкий, разошёлся с Лениным, — ни на чём не основаны. Они с Лениным — как «рука и перчатка» (английское выражение). Это Сталин разошёлся с Лениным, а не Троцкий…

* * *

Таковы нападки Троцкого на Сталина. Чем же отвечает Станин? Борьбой против самого Троцкого и его оппозиционеров.

Расправа оказалась довольно крута:

— Троцкий и некоторые с ним, тот же Радек, который в Стокгольме покупал едущему в Россию Ленину сапоги, — оказались разосланными по местам — «не столь отдалённым»…

Но мы бы ошиблись — если бы сказали, что действия Сталина этим бы и ограничились. Троцкий слишком большая и известная фигура. Теперь что-то не слышно об оппозиции, но равно и не слышно о поблажках нэпманам и крестьянам-кулакам, о которых шла речь. Наоборот! Сталин отлично пользует старое правило мудрого Макиавелли; демонстративно жестоко он удаляет возмутителя Троцкого, но у его обвинений старается вырвать зубы, устраняя их предметы. На территории Совреспублики сейчас, конечно, идёт процесс, который может

быть назван «коммунистической реакцией», — вроде «реакции католической». Шахтинское дело, многочисленные процессы против бюрократических работников соввласти, наконец — беспощадная политика в отношении крестьян, мало-мальски мочных, — всё это доказывает справедливость нашего предположения.

Троцкий — сидит в Верном, но, очевидно, у него много сторонников, если его ортодоксальные жалобы на нарушение чистоты ленинского учения приняты во внимание.

Но — увы! Положение не стало легче; вместо одного затруднения — как вместо отрубленной головы дракона — вырастает второе. Эти вырастающие трудности — не прибавят лавров в венок Троцкого, доказывая на практике, что ортодоксальность — всегда губительна; с другой стороны, то обаяние и те надежды, которые успел возбудить своей деятельностью Сталин, создавая, как он сам говорил, «наряду с процессом развития социализма — процесс развития начатков капитализма, дабы у этого второго процесса брать то, что нужно для усиления процесса социалистического», эти обаяния — должны тоже исчезнуть. И налицо должна остаться опять ортодоксальная, начётническая коммунистическая партия, которая пред лицом всего мира доказывает свою главную слабую сторону:

— Неумение без Ленина выходить из трудных положений. На буйный напор зелёных ростков жизни, на требования момента, на явственный отход масс от вождей — она ничего не находит другого, кроме пересмотра старых пыльных партийных заповедей.

А может быть и другое; удар, нанесённый Сталину ловкой рукой Троцкого, — оказался верным; чижей ловят на крупу, а марксистов на ортодоксальность. Упрекнули Сталина в том, что он недостаточно правоверен, и готово:

— Фиат юстициа, переат мундус. Да здравствует буква, долой живую жизнь!..

И кто знает, может быть, сторонники всё не сдающегося Троцкого негласно уже заручились его обещаниями о том, что если ему удастся свергнуть Сталина, то он надаёт и нэпов, и свобод побольше, нежели Сталин…

Лишь только бы получить власть… Если Париж стоит обедни, то тем более — Москва — «капитала».

Гун-Бао. 1928. 4 сентября.

Ленин
(*фрагмент*)

ЛЕНИН И ЛЕНИНИЗМ

Итак, историческим фактом является, что Ленин взял общую власть над Россией.

Отметим это совершенно отчётливо; до сих пор это обстоятельство как-то плохо сознаётся в эмиграции.

Выведем отсюда некоторые следствия.

Ясно, что какой-то своей стороной власть Ленина соответствовала самосознанию русского народа, если он пошёл за Лениным.

Несомненно, и сам Ленин тоже подметил какую-то русскую, народную струнку, почему он и достиг успеха. Это качество Ленина — подмечать «струнку», дало, между прочим, тому же Милюкову основание называть Ленина — «реалистом». Ленин с точностью, достойною Макиавелли, ещё в 1915 году отмечал:

— Война возбудит в народе буйственность, и нужно иметь в виду эту буйственность!

Сообразно этому точному пониманию русской массовой психологии, что опять-таки объективно доказано успехом 25 октября 1917 года, Ленин, конечно, может почеться *русским* вождём; в нём встали времена *русских* Разина, Булавина и Пугачёва.

Глубоким заблуждением было старой русской власти, что упомянутые движения она считала *бунтами*; что она проглядела то свойство русского народа, которое привело Россию к Смутному времени, к Тушинскому лагерю.

То, что просмотрела власть, — подхватил Ленин. В самой душе русского народа, конкретного, наличного, этого собрания Иванов, Василиев, Петров, Степанов и т. д. — и заложены были условия возможности Ленина; Ленин русскому народу не чужой, он *национален.*

Ленин — большая и сильная личность, которая в описанный нами период времени достигла больших, реальных успехов и взлетела на гребне войны, разрухи, недовольства, бесталанности правителей, вызывающей, провокационной нестеснительности высшего слоя, который *провоцировал* своей отчуждённостью поход народа против буржуев.

Но мы этим только и ограничимся в оценке Ленина; правда,

он талантливо попал к власти, он понял тайну руководства массами в смутные времена, он, как-никак, из разраставшейся анархии, при не умевшем регулировать массами эссерском правительстве Керенского сумел создать какое-то подобие власти и избежать анархии.

Но *кто может поручиться за то, что Ленин окончательно и досконально вызнал свойства русского народа,* что в широком и вольном русском море не оставалось ещё каких-нибудь неуловленных жемчугов?

Была ли у самого Ленина полная объективность? Нет! Он в своей структуре государства набрасывал на русский народ схему *марксизма.*

— А разве марксизм — не объективность?

— Нет!

Только разве для Бухарина и для других бездарных эпигонов «хвоста Ленина»…

Марксизм — никак не объективность для свободной научной мысли; марксизм — не объективность даже для революционного действия Ленина. Мы уже видели выше, Ленин говорил, что нельзя держаться марксизма, «аки слепой — стены». Что марксизм — даёт только известное направление, а знание того, *как* достигнуть поставленных задач, — может дать только коллективный опыт народа.

Мы видели, Ленин больше всего понимал и умел оценить объективную обстановку: вся его деятельность была различными степенями объективности. Но вся «Эрфуртская программа» Маркса и Энгельса в коммунизме оказывается воплощённой целиком. И мы можем поставить себе вопрос:

— До *каких же* пределов простиралась эта ленинская объективность и с какого предела она оказывается поглощённой марксистским, бухаринским начётничеством?

В своей современной исторической актуальности Ленин неразрывно связан с партией: Ленин умер, а ленинизм жив. И если Ленин был подобен стальной игле, легко пронзавшей действительность, то в ленинской партии мы имеем бесконечный хвост нитки, тянувшейся за этой иглой. Конечно, Ленин ответственен за ленинизм, за то, что его именем делается партией. А партия в настоящее время — это те случайные люди, которые оказывались случайно возле Ленина, те, кто перечил ему в его дерзаниях, те, кто искал в субъективных ощущениях «объективной» истины, те, кто искал нелепого, хозяйственным образом построенного эстетического божества, одним словом, «хвост Ленина» — это маленькие жадные и грубые люди, эпигоны большого человека, вертящиеся около него, его именем

толкующие авторитетно вкривь и вкось его слова, не обладающие его духом.

Этих своих наследников Ленин протащил к власти, в азарте борьбы не думая совершенно, годятся ли они для этой власти или нет, и маленькие люди — жадно держатся за власть.

Мы видели, как Ленин мгновенно отрёкся от тех меньшевиков, которые упорствовали в канонических формах борьбы; и он отрёкся бы и от тех большевиков, образ действий которых пахнул бы безоглядным буквоедством. Ленин смотрел в корень вещей, не боясь расслаивать первичные «классы», чтобы добиться правильного действия и овладения ими, обостряя специфические интересы этих расслоённых частей; его эпигоны меньше всего думают об обострённых интересах классов, при помощи которых можно бесконечно далеко идти в реальное течение истории, а заботятся о проведении в жизнь своих теорий, прежде всего.

Современные споры сталинцев и троцкистов похожи на споры в пьесе Л. Андреева «Похищение сабинянок», где ограбленные сабинские мужья бессильно аргументируют при помощи огромных томов сводов законов.

До болезни и смерти Ленина — тот революционный путь, которым он шёл и вёл за собой массы — представляет из себя непрерывный подъём в гору — вспомните весёлое весеннее нэповское чириканье разных «попутчиков» и «сменовеховцев». *Будь жив Ленин — не имела ли бы Россия в нём своего Наполеона?* Вполне возможно!

Но Ленин умер, и ленинизм упёрся в сплошную, мёртвую схоластическую стенку…

Гражданской войны, правда, больше нет. Но классовой ненависти стало гораздо больше. Ленин пользовался всяким буржуем, подчас играя на его слабой струнке и при помощи этого буржуйского, классового опыта достигая значительных результатов. Вспомните хотя бы ловкое создание Красной армии в разгар гражданской войны. Ведь она создана руками русских старых офицеров, создана вся целиком; не была ли при этом использована специально даже для патриотического уловления война с Польшей? Тогда Ленин не побоялся национальных призывов, выбрасываемых Брусиловым и направленных только к одному — к торжеству его дела.

Классовой ненависти теперь стало гораздо больше, потому что делом заведует «хвост Ленина». Он, видите ли, строит социализм и должен использовать поэтому весь опыт прежних революций, чтобы не потерять как-нибудь «революционных завоеваний»…

Французская революция дала «хвосту Ленина» знание того, как следует опасаться Наполеона, и потому никаких победоносных войн у соввласти не будет: она не пойдёт в этот лес, боясь Наполеонов-волков. Парижская коммуна 1871 года показала им, как нужно обходиться с буржуями, как нужно не давать им накапливать суммы в банках и т. д. И поэтому — Бухарин с торжеством сообщает, что никакого накопления у несчастного советского частника нет и что все граждане России по-прежнему потомственные беспортошные пролетарии.

Бездарное эпигонство идёт на дворцовые преступления — оно убивает Фрунзе при помощи нарочитой, якобы нужной операции, и врачи его кончают — «хвост Ленина» боится Наполеонов. Бездарное эпигонство — режет нэпмана, ведёт электрификацию: «хвост Ленина» — боится свободной конкуренции. А между тем Ленин не боялся Брусилова, которого авторитетно и с жаром прочил в Наполеоны тот же Н. В. Устрялов, не боялся он и нэпмана.

Море революции, полное своеобразной революционной соблазнительной романтикой, безнадёжно мелет, обрастает коммунистической тиной; эпигоны талантливо сделали из царского наследия Ленина, доставшегося им, голодную, аморальную, ленивую, бюрократическую государственность, которая живёт в течение 11 лет уже лишь только бронзовыми векселями на рай в будущем.

Марксистская одёжка, наброшенная на матушку-Россию, — оказалась короче современных дамских платьев, и поневоле мужик мимо рекламных тракторов тянется по старинке к матушке-сохе, к овчинному навальному тулупу, которым покрывались деды.

Кроме того, теперь, когда изжит грохот гражданской войны, когда протекло 11 лет с того времени, как выданы до сих пор не оплаченные векселя на социалистическое благополучие, — многие блестящие перспективы представляются не столь блестящими сейчас. И многие ранее не замеченные жемчужины то и дело выбрасываются в яве на берег русского моря.

* * *

Возьмём хотя бы судьбы православия. Православие оказалось гораздо сильнее, чем предполагал Ленин, а главное — его эпигоны. Революция, сбросившая господствующие классы, — ничего не может сделать с православной церковью, которая только укрепляется и по-прежнему несёт в народ свой извечный,

безнасильный идеал *правды.*

Чем сильнее становится брак эпигонского, нелепого безбожия в *принципиально* свободном государстве — тем сильнее начинают сиять лампадами уставленные иконостасы, где лики святых людей, действовавших *по правде.* Правдой руководится русский мир, в октябрьские дни он был соблазнён тоже *правдой,* и в религиозном освещении понятие правды углублено, укреплено, расширено.

В узкие нормы ленинизма религия, конечно, не войдёт, а она вполне объективна, как наверно теперь убедился уже и сам Ленин в своей загробной жизни.

Далее трудновато оказалось современному ленинизму и без интеллигентной помощи. Революция создалась на армии, на той несложной и основной солдатской выучке, которая столь широко была распространена по России к 1917 году. Драться, воевать, агитировать — можно было и без буржуазного образования, но строить что-либо — оказалось затруднительно. Ленинизм, говоря совершенно объективно, осадил, понизил общий стандартный уровень культуры. Много, конечно, теперь говорится *о смене,* о «молодняке» и т. д., но для того чтобы пришла смена, нужно, чтобы молодняк был обучен. Те миллионы людей, которые в настоящее время находятся за границей в эмиграции, эти русские инженеры, врачи, учёные, студенты и проч., сохраняющие старый стандарт культурности и общественности, — составляют из себя огромный резерв для будущей России. Ленинизм, в своём суеверном, держась за диктатуру, марксизме, не позволит, конечно, свободного сотрудничества с этим резервом, держит в подозрении спецов, и это отражается на неудовлетворительности совдостижений.

Русская сильная, но небольшая литература — всегда отличалась своими высокими моральными качествами. Ныне господствующая теория в литературе — теория *социального заказа* — её обезличила, унизила, лишила её почти всякого значения. Коммунизма всё равно не воплотишь, сколько бы ни писали на эту тему ловкие советские литераторы, только денежки пропадут. А между тем настоящая русская литература ушла в подземелье, в подполье. В СССР, говорят, в рукописях теперь много прекрасных произведений, которым не увидать скоро света, потому что на свет литературная призма социального заказа пропускает только ярко-красные лучи.

Ленинисты до сих пор повторяют ошибку царя Петра, который в коллегиальном начале усматривал гарантии самостоятельности, энергичности действий отдельного лица.

Однако, как известно, это обстоятельство в истории привело

именно к бюрократизму и полной потере чувства ответственности у русского чиновничества. Социалистическая коллегиальность, проповедуемая коммунистами, имеет как раз эти же самые последствия; частная русская инициатива погибла, не культивируется, всё исчезает под серым налётом коллективистической равновеликости…

И поскольку эта коммунистическая ошибка является воинствующей — тем более она вредна. После 11-летнего опыта стало видно совершенно ясно, что обострённые классовые интересы полезны только до той поры, покамест они содержат в себе положительные, утверждающие начала. Поскольку же эти начала выявляются как начала, по преимуществу *враждующие,* получается убогая односторонность в полифонической народной симфонии.

Никто так не понял этого обедняющего начала постоянной гражданской войны и классовой — не живой, а принципиальной розни, как Муссолини. Он — ученик Ленина, но он пошёл значительно дальше Ленина в подчёркивании положительного творческого элемента в народных противоречиях, к чему шёл и Ленин. Он точно так же, как Ленин, вышел из социализма и объявил диктатуру партии, поддерживающей отдельную личность ради блага всего народа. Но он решительным образом выкинул из своего обихода принцип гражданской войны, заменив его принципом государственного национального мира и сотрудничества всех классов. Вместо того чтобы тратить время на уничтожение буржуазных знатоков и специалистов по тому или иному делу, а потом оставаться с полуграмотными пролетариями, которые, при всей их решительности, никоим образом не могут считаться носителями культуры, как не может, положим, конкурировать любой конь тяжеловоз с арабским скакуном, — Муссолини привлёк к работе решительно всех, введя принцип обязательности работы на общее дело и, таким образом, оформив, в высшей степени решительно, государственную волю к поддержанию самого государства.

Результаты — известны. Цветущее состояние государства фашистов, нищенское безобразное состояние государства коммунистов — говорят сами за себя.

И кто знает, не умри Ленин в возрасте всего 56 лет, не перешёл ли бы он, видя тщету идеи о всемирной революции в эгоистичной Европе, — к националистическому устремлению на пользу России?

Но Ленина нет. Его печальные эпигоны, воспитанные на марксистских брошюрках, протащенные случайно Лениным к власти, продолжают своё дело бюрократического властвования и

внедрения тех основ, над которыми смеются уже в каждом кабаре.

В своём упорстве они не замечают того, что русский народ — практический и умный народ, и всеми правдами и неправдами ускользает от этого изуверского преследования. Слишком большие «ножницы» между словами и делом, слишком большое расхождение между «нормальным питанием в калориях», установленным наукой и обещанным коммунизмом, и реальным голодом, выразительная свистопляска некоторых весёлых персов на фоне всеобщего развала — конечно, рано или поздно тоже «заострят противоречия», несмотря на всякие старания по «притуплению» со стороны Лубянки.

И тогда, очевидно, согласно объективному ходу вещей, — понадобится *новый* Ленин, который, учтя все ошибки старого, будет более объективен в свойствах русской души и создаст новый православный национальный всенародный Октябрь.

И этот новый Ленин придёт ещё раз исправить ошибки старого.

Гун-Бао. 1928. 16 октября.

Двадцать пять лет Русско-японской войны

Скромная заметка в нашей газете о том, что скоро исполняется уже 25 лет с начала русско-японской войны, — вдруг обострённо задела сознание. Как, неужели уже 25 лет? Неужели же промелькнуло тому уже четверть века?..

Да, и подведём некоторые итоги этому.

* * *

Как сейчас помню: седьмой класс гимназии, февральская, тихая, снежная зима в спокойном, красивом провинциальном городе…

Величественные, Александровского ампира «присутственные места», великолепная пожарная каланча и тут же орущие гамэны-мальчишки, у которых публика рвёт за две копейки только что выпущенные утренние телеграммы. И я покупаю эту телеграмму… То было внезапное нападение Японии на русскую эскадру в Порт-Артуре.

Тогда, двадцать пять лет тому назад я узнал то волнение, с которым потом столько раз покупал разные телеграммы на улицах городов — то во время войны, то во время революции… Тогдашняя белая, длинная, полосочкой телеграмма в две колонки была для меня первой чайкой, мелькнувшей в волнах февральского снежного моря… Приближалась буря. Ведь это была первая русская война на моей жизни…

Царь Александр ни с кем не хотел воевать, и эта немудрящая истина была необычайно плодотворна по своим последствиям. Прошло десять лет царствования его сына Николая без войны. И вот — война, да ещё где — на Востоке, против государства, которое едва знали по имени, но толком не знали, что оно такое из себя представляет…

Конечно, всеми овладел энтузиазм; бросали в воздух фуражки, кричали ура; у нас в гимназии перестали танцевать «гейшу», как танец, свойственный одним японцам.

А потом стали приходить и иные, тревожные вести. «Русское Слово» как-то с негодованием напечатало, что японский, т. е. в пользу Японии — заём продаётся в Москве и очень успешно раскупился в банках. Выходило, следовательно, что российское общество поддерживало Японию в этом её полезном предприятии — в войне против России…

Правда, на следующий же день недоразумение разъяснилось,

и «Русское Слово» признавалось, что оно село в необыкновенную лужу: правда, заём-то был, и назывался он «японским», но был выпущен русским правительством и специально на войну с Японией…

Всё-таки от этой истории осталось чувство чего-то страшно неприятного, но возможного… И действительно — время японской войны выявило в русском обществе необычайно сильные пораженческие, глубоко пассивные, отрицательные настроения… Ведь посылали же русские студенты одного из столичных императорских университетов телеграмму микадо с пожеланием победы его оружию… Русское общество, не скрывая, радовалось поражениям своих же войск…

Помню газеты того времени — бессмертный до сих пор Василий Иванович Немирович-Данченко был старцем и тогда, и упражнялся в эффектном описании подвигов наших войск. Но несмотря на все описания, несмотря на яркие образы, которые он употреблял, русское общество было в высшей степени мрачно.

Восток был для него всегда чужим, его интересы были прикованы только к Западу, а войну на Дальнем Востоке оно считало «авантюрой»…

И русское оружие, неудачливо закончившее войну 1877–1878 годов, разбитое в войне 1854 года, но носившее на себе отблеск славы войн Кавказских, Отечественной, турецких, Елизаветинских походов — несло поражение за поражением.

Осада Порт-Артура привлекла к себе всеобщее внимание и было возбудила несколько притихнувшие чувства. Но сдача его Стесселем и те писания газет по поводу этого национального бесславия — звучат в моих ушах и поныне…

Шапками закидаем… — писали редкие патриотические публицисты. А дело обернулось так, что с полей и сопок Маньчжурии подул впервые тот ураган, который затем разросся в революцию сперва 1905, а потом и 1917 годов…

На Россию шло великое несчастье, и некому было его отразить…

* * *

У раненых и убитых японцев находили много писем из дому; и каждое письмо из дому — было крепкой поддержкой воина в его долге. «Я горда тобой, — пишет одна японка-мать своему сыну под Порт-Артур, — я счастлива тем, что все меня приветствуют и оказывают уважение, зная, что ты под Порт-Артуром… Я знаю, что я тебя не увижу больше, но в то время

когда твой гроб прибудет в нашу деревню, я буду счастливейшая женщина — мой сын пал под Порт-Артуром!»

Япония ухаживала за своими солдатами — как только нежная мать может ухаживать за своими любимейшими сыновьями…

Россия — не любила ни своих маньчжурских вояк-солдат, ни офицеров…

«Записки врача» Вересаева, прочтённые мною несколько времени спустя после войны, были сплошным преступлением против своей армии… На кресте, буквально на кресте были распинаемы обществом люди, которые дрались за престиж отечества.

А отечество приветствовало врагов. А общество стояло на стороне Европы, которая была на стороне Японии; те броненосцы, те пушки, которыми громились наш флот, наши форты — были, конечно, не изобретены Японией — они были даны ей Европой, в частности Англией…

Тульский инцидент не разобран как следует до сей поры — возможно, что там были действительно японские миноносцы в английских территориальных водах… Против русской армии — был весь мир: Европа, Япония, Дальний Восток, наконец, своё общество…

* * *

Печально кончилась война — престиж России был подорван. С шумом и грохотом, разбивая станции, объявляя «республики», возвращались русские войска домой. Слово «Цусима» с тех пор стало синонимом величайшего военного позорного бедствия. Разразилась революция…

Отшумели военные события, и снова над мирным Китаем — воцарилась тишина. Лицом к лицу очутились многочисленные русские люди здесь — с Востоком, начинают узнавать его, работать с ним, начинают с удивлением распознавать, какая огромная работа ведётся здесь, на Дальнем Востоке, какие старые древние культуры выросли здесь, под сенью культуры китайской… Русские люди узнают, что здесь нужны совершенно другие методы работы и международного политического обхождения, нежели те, что были применяемы двадцать пять лет тому назад, в период западных влияний. Что не силой здесь надлежит действовать, а общими, тщательно разграничиваемыми интересами, и что так нужно было действовать всегда. Что мир Востока, наконец, столь же велик и могуч, как и мир Запада, и что возможно, что катастрофа России была вызвана тем

обстоятельством, что ни она, ни руководители её, ни общество — не знали объективного положения вещей…

Это знакомство с Востоком — увы — началось не с научных специальных экспедиций, не с популяризации таким образом собираемых сведений, не с тщательной и осторожной разведки, а с ловко вызванного посторонними руками толчка. Русская дорогостоящая повадка. И хотя толчок этот был чувствителен, хотя мы о него ушиблись, всё же юбилей русско-японской войны — юбилей знакомства с Дальним Востоком…

Реально доказал этот Восток достойную уважения свою силу, и эта сила более дружественно настроена к России, нежели те страны Запада, которые толкнули эту силу на Россию в 1904–1905 годах. Благодаря этому толчку, благодаря развернувшимся последствиям, в самой истории мира произошли соответствующие большие изменения. Мы присутствуем теперь на Дальнем Востоке при зрелище быстро зреющей силы двух великих держав — Китая и Японии. Покамест Россия лежит на операционном столе коммунистического эксперимента, Восток неудержимыми шагами идёт вперёд и растёт. Уже пустынная Маньчжурия — арена боёв, заселена больше, нежели вся Сибирь. Уже здесь, на Дальнем Востоке, образовываются такие центры культуры и техники, торговли и промышленности, что скоро не в силу тягаться с ними будет пустынной, холодной Сибири.

И если теперь участники русско-японской войны отметят свой юбилей, в своём юбилее они отметят не то, что прошло, не то, что оказалось столь тяжёлым для русского воинства, а то, что до сих пор имеет актуальное, действительное значение:

— Двадцать пять лет тому назад русский человек в своей исторической распространяемости наткнулся на рождающуюся на Востоке силу. Горе ему было тогда, что он не знал этой силы… И горе этому русскому человеку теперь, если это своё знакомство он не использует на благо обоих — России и Востока, создавая здесь новые очаги мировой культуры, своеобразной, красочной и сильной, в противовес лукавому Западу…

Гун-Бао. 1928. 18 октября.

Украинский вопрос в Европе (*по последним данным*)

Пока русская эмиграция Европы и Дальнего Востока занята воспоминаниями об умчавшихся днях былых — русская жизнь не стоит на месте и в своём движении ставит новые и новые проблемы.

Последняя заграничная почта приносит нам много любопытного материала относительно этого движения. Намеченный нами здесь, на Дальнем Востоке вопрос об отделении от СССР некоторых областей бывшей Российской Империи — не празднословие, а актуальная проблема. Области, в которых замечается эта тенденция, отнюдь не стоят на профессионально-эмигрантской точке зрения, по которой в большевизме, выходит, виноваты какие-то «тёмные силы». «Нет, — говорят они, — большевизм — дело рук Москвы, дело рук того народа, который стоял столь долгое время в вершине пирамиды народностей, составляющих Россию, а потому желаемое отделение от неприятностей — есть отделение от Москвы».

Проблема эта, далее, не составляет собой только «пиа дезидериа» небольших кругов; нет, она давно уже вынесена на улицу и представляет собой предмет обсуждения немецкой, английской, французской, чешской, польской, американской, украинской прессы. Украинская пресса иначе и не называет современных хозяев Украины, как «москалями-оккупантами», и соответственно этому выразительному термину ведёт свою дальнейшую линию.

— Время, особенно с 1917 года, требовало переоценки ценностей, — пишет мне один мой корреспондент украинец, — и это необходимо было понять самодержавно мыслящему москалю… Тогда мы все бы были у себя на родине, и не было бы пролито столько крови, и нашей общей родиной не «опанувала бы босічня всього світу»… Но украинцы менее проиграли, чем великороссы, они создали уже свою культуру и теперь углубляют её сетью разных школ… Украинцы свободно ставят по всему СССР свои пьесы национального характера, вроде «Тараса Бульбы», «Гетьмана Мазепы», и смотрят кинопьесы вроде «Тараса Трясыло». Даже в Харбине, в Маньчжурии украинцы-рабочие в рабочих клубах устраивали вечера памяти Шевченко и заканчивали вечер украинским национальным гимном «Ще не вмерла Україна», что равняется русскому «Боже, царя храни»… И так далее.

Из соответственной прессы мы узнаём, что канадская военная украинская организация «Сич» добилась того, что она получила от властей оружие и артиллерию и произвела даже в 1927–28 году манёвры… Равным образом с интересными соображениями по поводу украинского вопроса выступила чешская газета «Самостатность», орган доктора Гайда, которая нашла новый подход к этой проблеме, чрезвычайно неожиданный для сторонников «Единой Неделимой»…

* * *

Доктор Гайда признаёт логическую последовательность в поднятии вопроса об отделении от тирании коммунистической Москвы — Украины, Грузии, казачьих войск Дона и Кубани, Белоруссии, Сибири… Но, спрашивает доктор Гайда, осуществим ли этот план распада, или — как он выражается — *балканизации* СССР?

Отделение Украины означало бы лишение Москвы огромных хлебных фондов… Эта угроза голода привела бы Москву к немедленной ликвидации восстания на Украине из чувства самосохранения…

Такая участь постигла бы и Грузию, если бы та захотела отторгнуть от СССР необходимые ей источники нефти…

«Да, — напоминает доктор Гайда, — к тому и участие в этом деле Украины таких государств, как Польша, привело бы к взрыву национальных чувств в России, результатом чего явились бы моря крови…»

«Густой дым, подымающийся от подземных огней в России, многим мешает видеть истинное положение вещей, — пишет Гайда, — но нужно вспомнить, что Европа долго не могла понять из-за этого дыма сущности большевизма; теперь же она поняла её». Точно так же, предполагает автор статьи, и со временем увидит Европа, что нельзя потворствовать разделению России…

Разделение СССР — есть ослабление России, и этот дым пускается теми, кто хочет ослабления её, и *против* этого разделения должны выступить те, кто заинтересован в единой *сильной* России.

В сильной России заинтересованы, прежде всего, *славянские* государства, и таким образом на первый план выступает вопрос славянского единства — вопрос, в котором и украинцы не могут не чувствовать себя заинтересованными. Украинская, великорусская и белорусская национальности создали великое государство от Балтики и до Тихого океана, и нельзя его

разорять… Правда, украинцы и др. указывают на будущее в известном времени воссоединение, но неблагоразумно делиться славянам тогда, когда искусственно отделённая Австрия хлопочет о воссоединении с Германией…

Нужно возрождать творческие силы страны, и при девизе «свободные народы в свободном государстве» — каждая ветвь займёт место, соответствующее её свободно конкурирующим силам, и *неизвестно, будет ли по-прежнему ведущее место принадлежать великороссам…* От украинцев зависит доказать свои способности и занять первое место на русском форуме… Ведь русская культура родилась в Киеве, и *Киев обязан закрепить за собой эту традицию!..*

Таким образом, эта статья органа доктора Гайды, хотя и протестует против сепарации, но занимает в вопросе о России всё же новое и своеобразное положение. На Западе идёт огромная работа по организации славянства, и в эту работу втянуты и украинцы… Эта работа насыщена идеалами западного славянства, хотя они столь отличны от идеалов славянской великороссийской ветви, как то выразительно показал Константин Леонтьев, указывавший особое, специфическое государственное начало московской ветви и полагавший его определённо в византизме.

Следовательно, чтобы стать на точку зрения чехословацкого типа единения России, — Москве нужно отбросить всю эту византийскую роскошную традицию и передать всё великолепие традиции своей истории в руки современных наследников неудачного, от папы коронованного короля Даниила Романовича Галицкого…

Предложение, могущее немало смутить и возмутить сторонников «Единой Неделимой»…

* * *

Эта чехословацкая схема будущего России — ясно, является схемой, конкурирующей с Польшей в своих домогательствах на правобережную Украину, переходящих границы возможного.

Чехословацкая пресса многозначительно указывает, что даже в том украинском движении, которое из Варшавы возглавляется Андреем Левицким, заместителем Петлюры, украинцы не искренни с поляками… Они-де, украинцы, устроили ответственное совещание по своим делам в Праге, куда и прикатили из Варшавы все вместе. Несмотря на то что в совещании участвовали и иностранцы — венгерцы, поляки,

итальянцы, — чехословаки в нём не участвовали — так как планы этих людей — планы балканизации России, тогда как планы «самостатности» — лишь, так сказать, планы *всероссийской украинизации* и могут быть приняты русскими националистами.

Мы не ошибёмся, если предположим, что и недавно состоявшийся в Белграде съезд русских писателей и журналистов — имеет некоторое прикосновение к этому вопросу. Ведь стало известным о произнесённой на каком-то официальном банкете безобразной речи Мережковского, который указал, что только он теперь понял, что славянство может быть демократично, а этого раньше он и не догадывался, а отрицал как всё славянство, так и славянофила Достоевского, потому что Достоевский был реакционером, а он, Мережковский, подготовлял по мере своих сил русскую революцию и, следовательно, позицию Достоевского отвергал. Демократическую же славянизацию и украинизацию России Мережковский, судя по этому, как будто склонен уже допустить…

Пока чехи развивают такую линию, пока украинцы делают всяческие усилия организоваться против «оккупантов», этот же вопрос вентилируется и в европейской прессе. Немецкая «Гамбургер Нахрихтен» пишет, что Украиной Германия интересовалась уже давно, перед концом войны, но разгром помешал ей использовать связь с Украиной достодолжным образом. «Теперь же, — пишет она, — этим вопросом заинтересовалась Англия, *в связи с вопросом о создании „Великой Польши“,* которая бы явилась противовесом России».

При таком положении английской политики естественна и понятна точка зрения чехов, которым не нужна ни Польша, ни Германия, и которые в создании Великой России видят свою опору, то есть в том, в чём они легкомысленно отказали России в Омске, сняв свои войска с фронта и отбывши на восток. Ещё хуже дело будет обстоять для чехов, если Германия получит в лице Украины своего союзника:

«Дер Таг» пишет просто, что «Украина может стать для нас, немцев, ценным союзником; во-первых, нас с ней объединяет общая неприязнь к Польше. Мы, немцы, должны не только разделять стремления украинцев к независимости, но и должны приветствовать эти „стремления“, особенно работая в области инструкции кооперации в Украине». «Грюне Брифе фюр Капитал унд Витшафт» профессора Зонтага прямо призывают к необходимости соперничать с Англией в деле захвата в своё влияние Украины как «новой силы над Днепром», (так называет Украину французская пресса — «Матэн»). В Германии имеется даже специальный журнал, который носит крайне выразительное

название «Ди Украине унд Дейтшландсцукунф», то есть «Украина и будущее Германии».

* * *

Таким образом, покамест русская эмиграция находится в состоянии унылого «пересмотра прошлых ошибок», причём она высказывает иногда мысли о национальном значении Красной армии, поскольку Красная армия обуславливает единство России, — вокруг подобных вопросов, выдвинутых самой жизнью, везде в Европе «кипит словесная война». И широта этих поставленных и вентилируемых вопросов доказывает, что вопросы эти известным образом назрели и что тот «страх перед Россией» — «террор россикус», который удерживает 10 лет территорию России от различных комбинаций со стороны иностранцев и базировался на связи московских революционеров с домашними ихними революционерами, — постепенно проходит.

Красный лев с пастью, извергающей пламя, оказывается не столь страшным, как казалось в 1918 году… У него можно рвать куски мяса.

И вполне возможно, что отсутствие в политике соввласти национального элемента, хотя и при подчёркнутом федеративном, — принесёт Союзу немало неприятностей…

Во всяком случае — проблема сепарации поставлена, и будет решена тем или иным образом на основании известного соотношения сил…

И как бы она ни была решена — русской эмиграции, прежде всего, необходимо отрешиться от многих своих сладких и туманных грёз, оплакивая неуклюжесть бравых генералов, столь многим располагавших в 1920 году и не сумевших этим воспользоваться к пользе братских российских народов для мирного единства страны.

Гун-Бао. 1928. 25 октября.

О старости

На днях, просматривая объявления о смерти в еженедельном издании лондонского «Таймс», я поразился количеством глубоких стариков в этом недельном отчёте о смерти людей Англии, почему-либо достойных упоминания.

Всего в этом списке было 48 покойников, из которых 12 человек, то есть 25 % было в возрасте свыше 70 лет, наивысший же возраст в этой группе был 95 лет.

Двадцать пять процентов из людей высшего и делового круга Англии живут свыше 70 лет! Это ли не процент долголетия? В чём лежит его причина?

Надо вообще заметить, что в Европе старость очень крепка.

Там в рядах государственных и учёных людей сплошь и рядом мы находим глубоких стариков. Сам я когда-то в Гейдельберге слушал одну из последних лекций глубокого старика, известного историка философии, профессора Куно Фишера. Предо мной на кафедре стояло само воплощение немецкой мысли чуть ли не всего XIX столетия, стоял человек, который видел и слушал великих мыслителей 30-х, 40-х годов. Куно Фишер вскоре умер в весьма преклонном возрасте около 90 лет.

Это долголетие, вообще часто наблюдаемое среди немецкой профессуры, необходимо отнести специально к роду академической жизни и академического быта немецких учёных. Человек, попавший в профессора в Германии, обеспечивался весьма приличной пожизненной государственной рентой для научной работы и весь отдавался своему делу. Он периодически получал отпуска для спокойной работы, которые чередовались с периодами чтения лекций. Когда он становился настолько стар, что не мог читать, он только работал, сохраняя нередко полную ясность мысли до самого преклонного возраста. И убелённый сединой, отягчённый трудами, признаниями, почестями и успехами учеников, учёный спокойно засыпал, наконец, навеки. Это или не завидный конец!

Так умеют в Европе оберегать людей, дать им вести долгую жизнь, а старость всегда ценна и плодотворна. Только недоразумением можно считать отдавание предпочтения «молодости». Правда, молодость шумна, свободна, способна и предприимчива; возьмём хотя бы дела любви: каждому молодому человеку в 20 лет, обнимающему девушку, кажется, что он первый в мире человек, который открывает такое множество прекрасных, бурных ощущений. Как серы и тусклы кажутся ему люди старше

его, какими «отсталыми», неспособными почувствовать всё глубокое кипение жизни являются они ему!

В тридцать лет — подходит углублённость восприятий; хотя бы в делах любви, тридцатилетний судит глубже, чувствует на себе больше ответственности, перед ним раскрыты уже совершенно иные горизонты; и только к сорока годам человек отлично сознаёт в многократном и скучном опыте, что то, что он видит, — всё одно и то же, повторение пройденного, и невольно увлечения молодости вызывают у него лёгкую усмешку. И разве он не прав? Разве не достойны улыбки юноши со столь большим жаром только начинающие предоставленную им природой приятную, но опасную забаву?

То, что происходит в делах любви, — происходит примерно так же в иных областях человеческой жизни. Только в то время как молодость кипит революционностью, вновь и вновь пытается переделать в пять минут весь мир, решить те все вопросы, над которыми потело столько человеческих голов, — зрелый возраст относится к этим предприятиям с значительной дозой полезного скептицизма. Ах, ничего не выйдет у гремучего молодого человека из того, из чего ничего ни у кого не выходило!

Зрелый человек не заблуждается, зрелый человек осторожен, вот почему старые люди с их многолетним опытом — столь важны для политики.

И мы видим — Европой правят глубокие старики. Клемансо, «Тигру Франции», сейчас чуть ли не 90 лет. Какой огромный опыт пережил этот человек, побеждённый крупный политический деятель времени франко-прусской войны 1871 года и победитель реванша 1918-го. Какой силой должно обладать сердце этого старика, какой волей к жизни полно оно до сих пор, какой опыт должны годы оставить в его душе, какой удивительный нюх событий, какое бесстрастие должны они дать его духу!

Врагом Клемансо в 1871 году был князь Бисмарк, человек, который соединил Наполеоном раздробленную Германию в единое целое, которое не нарушено и сейчас. Князь Бисмарк, скончавшийся на нашей памяти, родился во время знаменитых наполеоновских 100 дней в 1814 году. И этот человек, до конца своих дней сохранивший ясность ума при старой помещичьей привычке — любви к сигарам и шампанскому, — в жизни своей, растянувшейся почти на столетие, сделал не одну главу истории; и не был ли прав он, на смертном одре прося своего воспитанника императора не воевать с Россией?

А величайший поэт Германии, один из величайших умов мира, Гёте, про которого Наполеон после свидания с ним сказал, что в Гёте он видел «настоящего человека», в глубокой и

покойной ясности духа прошла его жизнь, и он скончался на девятом десятке лет не в старческом маразме, а в светлом сознании:

— Света, больше света! — были его последние, вполне молодые слова.

А великий политик Англии — Гладстон, министр «эпохи Виктории» — одной из самых долголетних царственных особ, — разве его долголетие не сохраняло его ума для своей страны?

И так далее, и так далее. Европа не пренебрегает своими стариками, и старики с честью правят старым миром, правят так же достойно, как Германией в настоящее время правит 82-летний Гинденбург, проявляя ум, такт и волю, и наравне с этим — обладая в народе полновластным авторитетом, который всегда внушает старость.

Очевидно, строй жизни Европы так организован, что старики там, как, между прочим, и в той же Японии, — не сходят со сцены раньше времени, а имеют возможность вполне чуть ли не столетиями использовать свою долголетнюю мудрость…

* * *

В России, напротив, старикам как-то не везёт; их презирают, относятся к ним примерно так, как дикари, съедающие своих папаш, потому что те уже «отжили». «Люди старого века» стало у нас чуть ли не ругательством. Только новое, только молодое, «молодняк» что-то может сделать; все надежды возложены на комсомольца Шурку, а старикам не вод в СССР, как не вод и в эмиграции за рубежом. Русские цари умирали в молодом сравнительно возрасте, если их не убивали их крамольные молодые подданные. Великие поэты Пушкин и Лермонтов — убиты на дуэлях. Пушкин — в 38, Лермонтов — в 27 лет. Старые профессора не в почёте в русских университетах, потому что есть много молодых милостивых государей, не стесняющихся открывать новые горизонты в неограниченном количестве. Скептический ум стариков никогда не окрашивал своей выдержкой, опытом или широкими горизонтами русской политики — каждый министр в России — и прежний, и настоящий — непременно стремится и стремился к чему-то новому, иначе был не в моде. Старость в русских интеллигентах никак не вызывает почтения, и они относятся к ней примерно так, как лакей Яша в чеховском «Вишнёвом саду» относится к Фирсу: «Надоел ты, старик! Хоть бы ты скорей подох, что ли», — говорит этот приезжий из Парижа «просвещённый» тип.

В то время как на Западе старшее поколение, видя свою нужность и незаменимость, сознавая свой авторитет старших, — держит крепко свой авторитет и в своих семьях в нисходящем поколении, — в русских семьях, даже эмигрантских, родители словно чувствуют себя в чём-то виноватыми перед своим потомством и расшаркиваются перед ним. Они стесняются настоять на своих правах, прижать непокорных; они только с отчаянием разводят руками и представляют жизни идти, как ей угодно: дочкам стричь и брить волосы, танцевать фокстрот и целоваться по углам, в виду того что девушкам «хочется жить», а юношам — с гиканьем шляться по улицам, наводя ужас и трепет.

Что творится в советской России — известно: там на старшее поколение просто плюют, воспевая молодость и красоту жизни, а иногда доносят на него в ГПУ. И только в крестьянстве, не в интеллигенции, кое-где ещё теплится важеватый старинный образ отца.

Удивительно ли, что люди совсем ещё не старого возраста — то и дело падают замертво, схватившись за сердце, которое просто не выдерживает этого всеобщего молодого, фаллического и коммунистического хамства. Паралич сердца — вот болезнь, которая, как мечом ангела Азраила, поражает старых отцов за их же грех — за утрату своего авторитета. Сложная проблема отцов и детей? Но проблемы отцов и детей не существует вовсе там, где уважается вообще возможный, даже постулируемый опыт стариков: отца надо уважать просто за то, что он отец; бывают, правда, случаи, что уважать не нужно, вследствие неблаговидных поступков иного папаши, и тогда можно не уважать именно этого папашу, и именно за эти поступки. Неуважение же ко всем папашам оптом за грехи некоторых и поэтому раннее наслаждение всеми благами жизни вовсе не необходимо.

Равным образом и при былом господстве патриархального начала в семье, где есть девушки, в массе, в статистике дело обстоит благополучнее, нежели там, где девушка «любит свободно». Правда, бывали патриархальные несчастные браки, но несчастных-то браков больше всё-таки там, где девушка сама по своему вкусу ищет «любимого»; конечно, сведущий в людях отец, мать или, наконец, старая русская сваха, всегда судит о женихе вернее с житейской точки зрения, с точки зрения его моральной годности для брака, для семьи как известного института, а не только как предмета для любви. В таких старых браках было счастья, крепкого и дружного, гораздо больше, нежели в современных браках, а если уж и встречались несчастные браки, так это были трагедии, волновавшие и поучавшие всю Россию, грозные молнии жизни, а не грациозное перепрыгивание из одной

кровати в другую.

— *Назад, к старикам!* — вот лозунг, который скоро выставит молодая Россия, которая будет Россией крестьянской.

— Откуда же взять стариков? — спросят меня. — Их ведь нет теперь в России!

— Ничего! Состарятся и те, кто молоды теперь, и тогда они не будут уж с таким азартом истреблять мужиков за то, что те никак не верят в Маркса, а в Господа Бога!

* * *

— Но позвольте, — скажут мне, — вы, значит, отвергаете молодость? Разве Александр Македонский, повоевавший весь мир, не был тридцатилетним молодцом? Разве не тридцати трёх лет от роду закончил Христос свой земной путь?

— Да, — скажу я, — я согласен, чтобы правили молодые, но с условием: чтобы они правили так же мудро, как правили бы старики, и, кроме того, чтобы они уважали стариков, хранили по отношению к ним определённый пиетет…

Пусть правят молодые и энергичные, но пусть они помнят твёрдо, что в душе старика, т. е. человека, который много жил, — лежит какой-то замкнутый круг времени. Опыт такого человека не прельстится на блеск какого-нибудь случайного явления, на что всегда готова молодость; то, что следит среди шума и гула жизни старик, полно особенных вечных ценностей. Старик знает отлично, что эти вечные ценности неизменны, как солнце, и сколько бы ни стремились к ним люди, сколько бы ни приближались к ним, они останутся на месте; и что в то же время они мгновенно даются тому, кто совершил какое-нибудь настоящее дело, полноценное, как золотой самородок, и поэтому старик, говорящий «хорошо», — определяет «хорошее дело» не по своему субъективному критерию, а по тому опыту, который дала ему жизнь, — часто по очень горькому опыту — и потому часто он счастлив лишь в старости.

В старости, как в осени, — прозрачны дали, видны, как на ладони, дела своей молодости; старик смотрит на них, как на театр, и судит их правильным суровым приговором совести. А то, что его непосредственно окружает, он пропускает уже мимо ушей, потому что нет уже в нём страсти, чтобы впитывать ею мир в душу. Только вечное входит в его душу.

Вот почему человеческое воображение рисует всегда Бога, царя, вождя — седым, бородатым, благостным: в этом есть свой октологический смысл. А в сущности, то, что мы называем

культурой какой-нибудь нации, не есть ли это, прежде всего, *страсть* этой самой нации, которая одна даёт нации возможность легко и любовно разобрать все конфликты и столкновения идей, которые встречаются внутри её. И эта страсть — приятна, потому что только старый дом — настоящий дом, и только рука предков поддержит потомков в задорных конфликтах страстной молодости.

Гун-Бао. 1928. 30 октября.

Возврат на родину

Русскую эмиграцию ждёт впереди немало психологических разочарований.

Если когда-нибудь ей придётся возвращаться, что она рассчитывает увидать на своей давно покинутой родине? В её мечтах эта родина — такая светлая, такая ясная, привлекательная и уютная; таким мы всегда воображаем дом, где мы родились, где провели детство, откуда наша память сохранила нам наиболее яркие, наиболее приятные штрихи:

— Я сам, например, так и вижу день именин моего брата.

21 мая, когда мне было не более 5 лет. Какое чудесное ощущение проснуться рано утром в постельке, под портретом деда, лежать с открытыми глазами, наблюдать, как сквозь щели ставень солнце рисует на стене в обратном виде голубое небо, зелень травы, курицу, волшебно прогуливающуюся по траве, всю овеянную радужными тенями, слышать звон в церкви и с завистью наблюдать, как у кроватки брата уже стоят подарки — жёлтая тачка, лопатка, серсо, похожее на меч, и обруч. И даже зависть эта теперь хороша!

А после — в церковь, в новеньких рубашечках, в плисовых штанишках и в сапогах, голенища которых похожи на маленькие барабаны, а лакированная оторочка испускает яркие лучи. Колокола, праздник и рослая фигура матери в светлом платье, идущая под сводами кудрявых зелёных берёз вокруг церкви, и солнечные пятна, играющие по её шляпе с маками и по светлому лёгкому платью.

Воспоминание держит весь мир неизменяемым, и вполне психологически естественно, что в нём сохраняется преимущественно то, что нам приятно. И если когда-нибудь нам придётся предстать на страшный суд, мы высыпем перед Судьёй на огнецветный пол свои воспоминания, в которых неизменным отобразится весь наш мир.

Но случалось ли вам, читатель, возвращаться после долгого отсутствия в места, где вы провели свои ранние годы? Вы жадно *хотите* вернуться туда, и память с угодностью расцвечивает эти места в самые пышные краски. А вы подъезжаете ближе, видите, что этот лесок, в котором вы помните столько зелёной, изумрудной краски, словно посерел, поредел; дорога кажется не столь ярко расцвеченной, как она казалась раньше, речка оказывается узенькой и жалкой, ворота покосились и посерели, и, наконец, лица, которые вы встречаете, — увы, уж не те!

Некоторых из них уже нет просто, они умерли, а те, которые

сохранились, — постарели, поблёкли, ослабли, одрябли, оплешивели…

Вы сидите за гостеприимным самоваром, ведёте разговоры и к удивлению своему замечаете, что вы многое просто-напросто забыли, — а не казалось ли вам, что вы помните всё? И тут-то вы только замечаете:

— Что покамест вы были где-то в чужих местах, вели жизнь шумную и просвещённую, здесь, дома, — произошла убыль жизни. Ваше воспоминание, как палка, воткнутая в дно реки, вам отмечает, что вода времени убыла, и убыла значительно, и что если она убыла тут, значит, она убыла и в вас. И поэтому детские голоса за окном, незнакомые вам, потому что вы ещё не разобрались в новой, буйной поросли, закрывающей ваши старые рощи, — кажутся вам и чужими, и неприятными:

— Здравствуй, племя, молодое, незнакомое!..

Вы неожиданно сами для себя оказались чуть не со старым поколением, а с молодым — вам, увы, нечего делать…

* * *

Не то ли самое ожидает наше беженство и на родине при возвращении?

Как бы человек ни томился в изгнании, он всё-таки должен помнить, что, живя за границей, а не в советской России, он пользуется теми благами, которых не существует там. Ведь не забудьте, господа, что жизнь-то в России отодвинулась примерно эдак к семнадцатому веку, по отсутствию того, что мы считаем завоеванием культуры. Говоря современным словом, культура и те удобства, которые она даёт людям, *сданы в консервацию.*

Я, конечно, говорю не про столицы, где соввласти приходится иметь некоторую декорацию культурности, нет, давно пора бросить эту привычку мерить культуру России по столице. В столице вам и Мейерхольды, и балеты, и ещё кто — наводят вам тень и заставляют думать, что в действительности всё благополучно. Нет, далеко не так; только в провинции ясно виден тот уровень, до которого опустился, усохнув, старый стержень жизни.

Представьте, что вы из того же Харбина, где вы теперь пользуетесь прекрасными мостовыми, электричеством, ярко горящим всю ночь, возможностью купить всё, что нужно для человеческой жизни, дешёвыми кинематографами, чтобы развлечься от однообразия жизни и заменить скучное чтение книги — быстрым лётом созерцаемых на серебряном экране

картин, где вы можете доставать книги, наконец, где вы можете так или иначе заработать малую толику, — вы вдруг вернётесь в какой-нибудь маленький провинциальный городок, вроде Юрьевца на Волге, вроде Читы. Дома не ремонтировались всё это революционное время; улицы, конечно, не мостились, и вообще никакого городского хозяйства не велось; на куполах церквей, волей народа при их построении предназначенных для молитвы, не имеется крестов, а в них самих по замазанной извёсткой и просвечивающей живописи стоит красная надпись:

— Религия — опиум народа!

И куда вы ни обратите лицо ваше, везде будете видеть ясные следы воительства коммунистического Мамая; вы узнаете, что многих ваших родных уже нет в живых; вам скажут безо всякого возмущения, что ваш брат «расстрелян», а бабушка умерла от голода; вас поразит темнота умов, которая будет на каждом шагу и которая с настойчивостью, достойной лучшей участи, будет уверять вас, что международная буржуазия только того и смотрит, чтобы заглотнуть русских трудящихся, которых, между прочим, совершенно не оказывается в этом городке, живущем безо всякого пролетариата и без трудов, а так, как Бог даст… Вас, вместо старого племени, вымершего безвременно от «величайшего в мире» эксперимента, — окружит молодое, невежественное племя, воспитанное на брошюрках, на парадах, не знающее, что делать, не умеющее делать и не воспитанное в привычке к труду. Вас поразит отсутствие тротуаров, сожжённых в печах, невылазная грязь после дождя, темнота по ночам, страшный дрожащий свет в ином покосившемся, бумагой залепленном окне:

— Что это? — спросите вы.

— А лучина, лучина, батюшка! — ответят вам.

И только кое-где, как ещё и до сих пор висят портреты царей, останутся висеть на стенах портреты Ленина, Троцкого и прочих творцов сей величайшей заварухи, да иной раз по улице ветер пронесёт неизвестно откуда вырвавшийся выпачканный листок из марксовского «Капитала»…

И вот тогда-то — вернувшийся эмигрант вспомнит про те страны, которые ему давали приют. *Не только пришют;* они давали ему возможность прожить это лихолетье, не теряя унизительно облика человеческого, не нося самодельных туфель из портьер, платья из мешочины, не варя похлёбки из пшена, и воблы между подушками, не выпекая лепёшек из картофельной шелухи…

Как много имеет сейчас эмигрант в сравнении с теми затурканными, бедными людьми, которыми производится опыт «тяжёлой индустриализации» и от которых отбирают «товарный»

хлеб, чтобы обратить его «в электричество»; только при полном пренебрежении к личности человека, к его нуждам возможно людей принуждать *так* безобразно, безотрадно тратить десятилетия своей жизни, держа их в химерических надеждах на лучшее будущее, обещая построить «другой мир» и покамест заставляя жить в свином хлеву.

Тогда эмигрант поймёт, *как он* счастлив по сравнению с его тёмными собратьями там, на родине. За что, по какому праву у миллионов людей отнята возможность жить по-человечески, по какому праву миллионы людей принесены в жертву дикой идее коммунизма?

* * *

Вот почему русский эмигрант должен спокойнее относиться к тем невзгодам, неприятностям и несчастьям, которые он иногда встречает за рубежом. Каковы бы ни были эти неприятности, они не идут в сравнение с теми, которые испытывает при современном строе население России.

Но это отнюдь не значит, что находящийся в условиях заграницы русский эмигрант должен махнуть рукой на свою страну; нет, перед ним задача — использовать это время самым совершенным образом; вернувшаяся домой эмиграция вернётся домой не для спокойной и мирной жизни по-старому, как психологически воображают это многие политические мечтатели.

Возврата к старому нет и быть, увы, не может. Находящиеся за границей должны ежечасно помнить, что каждая минута их жизни за границей — соответствует многим смертям по ту сторону границы, в России. Эмиграция, по её возвращении домой, встретит не мирный покой, изобилие, солнечный свет и ласку, как «исстрадавшиеся изгнанники», а наоборот — там эмиграцию ждёт тяжёлый крест неблагодарной, чёрной волевой работы по очистке авгиевых конюшен коммунизма.

Много есть разговоров о том, что «эмиграции и не понадобится» и «без неё обойдутся».

Нет, не обойдутся; теперь, при падении в России общенародного образования, при полной затемнённости политического горизонта, при полной неспособности населения объективно разобраться в делах, в обстановке вне коммунистического уклона, эмиграция должна сыграть значительную роль, как отлично знающая тот уровень жизни, которого она достигла вне коммунистических заборов. Если возвратившиеся в 1814 году после парижского похода, видавшие

виды в Европе солдаты и офицеры сыграли потом такую роль в общественной жизни России, они, бывшие только созерцателями из военных рядов чужого быта, то насколько может оказаться активнее та чуть не трёхмиллионная масса, которая принуждена ассимилироваться во многих отношениях с заграничной жизнью, чтобы быть в состоянии устоять в житейском конкурсе.

И для этой массы, вернувшейся из-за границы, глаз которой наметался за 10 лет, конечно, то тинистое, грязное убожество, которое она найдёт в России, должно служить только стимулом для работы. Не для созерцания в старую Россию вернутся эмигранты, когда совершатся сроки, а для того чтобы работать, работать, работать…

Сельскохозяйственное, дорожное, городское, фабричное, речное, морское, торговое строительство вспыхнут полным пламенем; вернувшимся эмигрантам с их торговыми и деловыми связями, с их доказанной лояльностью к Европе и её строю — Европа даст денег, сколько угодно.

И теперь — время заграничного пребывания эмиграцией должно быть использовано для того, чтобы выработать, кроме того, и политическое воспитание. Прежнее интеллигентское безразличие, даже недоброжелательство к власти должно уступить место признанию необходимой сильной власти, вне принципиальных споров относительно её формы; эту форму даст сам народ. А новая власть должна принести в Россию социальный мир, право на продукт труда и на землю и обеспечение возможности работы.

Гун-Бао. 1928. 3 ноября.

Зачарованные петухи

Петуха, как известно, легко загипнотизировать.

Поставить его на чёрном столе, наклонив клювом к столешнице, провести от клюва мелом прямую белую черту, и бедная глупая птица останется в созерцании этой белой черты, как зачарованная.

Политика — искусство превращать людей в зачарованных петухов; вояки и бойцы, спорщики и протестанты — люди обращаются в покорных зачарованных петухов. «Уставясь в землю лбом», они следят за волшебной линией и дыхнуть не смеют вне её. И как крысолов из немецкой сказки, играя на дудочке свои заливистые трели, — правит ими политический деятель…

— Много этих петухов?

— Отнюдь нет! Для того чтобы получить кажущуюся власть над народом, политическому деятелю вовсе не нужно вести за собой *весь* народ. Ясный пример — хотя бы местная русская эмиграция, она — огромная масса, а много ли тех, которые ведут?

И в политике надо только несколько, не очень много петухов, которые изобразят, будучи удачно расставлены при помощи прессы, — «весь народ». Не считать же, сколько их на самом деле? Так ведь одно слово «просим», подчас выкрикнутое самим же ловким кандидатом, предоставляет ему председательское кресло, как избранному всенародно…

Такое же положение находим мы и в современной России; ведут коммунисты, несколько волевых, напористых человек, с хорошо подвешенными языками, уставившихся в свою идею. А народ?

— Народ идёт за ними — кажется нам, а может быть, вообще никуда не идёт. Народ безмолвствует. Если угодно даже знать, то обстоятельство, что коммунизм держится в России столь упорно 11-й год, причиной именно имеет, что народ российский к происходящему не имеет никакого отношения.

Да, вот именно так. Власть сама по себе, а народ русский никогда не любил власти и держался от неё особняком.

Посмеивается и держится.

* * *

В некрасовском «Кому живётся весело, вольготно на Руси» — есть пребезобразнейшая сцена, на которую никто из критиков, кажется, не обращал внимания. А жаль! Сцена, которая

доказывает, что Некрасов знал его величество Мужика с глубиной, переходящей в жуть. Сцена эта заключается в следующем эпизоде:

— Мужики-ходоки подъезжают на лодочке к крестьянскому сенокосу, который в полном разгаре. Они выходят на берег и в это время — видят в народе волнение. Зовут старосту Клима, кричат ему, чтобы поскорее оболокался и встречал господ. Действительно, подплывает с хором музыки косная лодка, из которой является старый барин, помещик, в сопровождении своих двух сыновей с ихними барынями. Пощупав сено, барин приказывает вновь его раскидать по лугу — не просохло достаточно. Мужики и бабы дружно бросаются исполнять это, тогда как один из искателей истины убеждается саморучно —

— сенцо сухохонько.

Барин садится пировать после обхода сенокоса и вообще держит себя так, как будто бы он — полноправный крепостник-помещик. Любопытствующие путешественники справляются у «народушки», и тот со смешком повествует им, что барин — старый самодур, что его сынки упросили крестьян доставлять ему удовольствие, прикидываться крепостными, назначили даже специального старосту Клима, плохонького мужика, но откуда-то выучившегося произносить слова:

— Россия и Атечество!

— и потрафляющего барину своими патриотическими речами. А мужики то и делают, что только глумятся над баринома-старинушкой, произносящим цветистые речи относительно патриархальных преимуществ крепостного строя. И когда вылезает какой-то обличитель, который бросает в глаза старику «всю правду», — мир, хохоча, ославливает его сумасшедшим и утаскивает в сторону. Мир не интересуется ведь «всей правдой». Ему нужна его земля, ему обещанная, а начальство ведь всегда блажит, и на него внимание обращать не следует.

Барин даже сечёт Клима в назидание всем, и Климу приходится провести и эту трудную часть своей роли, что он и исполняет во исполнение мирских директив:

— покорно ложится на конюшне, спустив некоторую часть своего туалета. Эка важность! Зато землицы получишь, мыслит он, как убеждённый реалист.

Здесь некрасовский персонаж таким образом — играет лишь роль зачарованного петуха, издеваясь над своими властителями, которые сами не знают своей слабости. Получается сцена из толстовских «Плодов просвещения»…

Мелодия интернационала играется на всех дудках, а в глубине России — растёт ироническое, смешливое отношение к

коммунизму:

— Новые баре тешатся! Пущай их!..

* * *

Русская народная жизнь идёт в несколько этажей; в одном «проводится программа», в других в известной и разной степени — никакой вообще программы не проводится. Несколько загипнотизированных петухов никак не составляют общеполитической погоды. Вот вам конкретный пример.

Все знают, с какими трудностями сопряжён для известного люда переезд через границу в СССР и оттуда. Учреждаются паспорта, за них гонят страшные суммы, наш брат, публицист, готов писать, что это «неслыханно», что и во времена Николая Павлыча ничего подобного не бывало; одним словом — зачарованные петухи уткнулись носами в линии железной дороги в западном и восточном направлении.

Но, увы! Если паспортные формальности и нужны кому-нибудь, так только небольшому слою горожан, чиновников, бывших и настоящих, и прочим всем «государственно мыслящим» людям. Они, действительно, кланяются в ноги новому барину:

— Батюшка-барин! ваше пролетарское величество… Сделай милость, отпусти на простор за границу!..

А остальные массы? Они свободны.

Ведь, господа, стало же бытовым явлением, что российская граница в соседние страны стала проходима в любом почти пункте, и оттуда «просачиваются» массы народа, которые и принимаются соседними государствами весьма благородно, и им предоставляется право и возможность жить по-человечески.

На днях пил в одном доме чай монах, ну хоть Пансофий; бодрое, весёлое, энергичное русское лицо в истовой бороде, и этот особый неуловимый, необычайно лукавый мужичий русский взгляд.

Никогда этот взгляд не упрётся в ваш взгляд, как упрётся вспыхнувший дерзостью и отвагой взгляд европейца; нет, он если и упрётся, то только когда будет знать всё ваше бессилие, а так в другое время будет скользить мимо, нарочито пустой, лукавый, весёлый и возбуждающий досаду…

Ох, крамолен русский человек, и никак его не ухватишь — ни за какое «чувство долга». Святым быть может, а немецки-честным — никогда!

И мы все, сидевшие за столом, слушали немудрящего этого монашка, буквально затаив дыхание…

Он только что прибыл из СССР. Бродил там по всей земле, был в Москве, заходил во все монастыри и церкви Зауралья, всё видел, везде сам справился, как дело обстоит с верой, хорошо ли блюдут.

И выходило, что блюдут правильно.

— Что-о? — говорил он. — Виза? Какая виза? Да мне весь переход через границу стоил семь рублёв… Почему? А потому что не знают люди, как надо идти. Сто пятьдесят вёрст нужно пройти. Болотом надо идти, вот как, а там *у него* разъезду никакого нету. Нету разъезду, я знаю! Ну и сам я мог пройти, без проводника. Идёт болотом тропка, ни вправо, ни влево, а прямо иди, к рубежу и дойдёшь.

И на меня пахнуло XVII веком; помните, как хозяйка говорит Григорию Отрепьеву в «Борисе Годунове»:

— Ни лысого беса не поймают; будто и нет в Литву другого пути, как столбовая дорога!.. Вот отсюда свороти влево, да бором иди по тропинке до часовни, а там прямо через болото на Хлопино, а там уж всякий мальчишка доведёт до Луевых Гор. А там и рубеж…

— А как же, отец, вещи с вами были или нет, — осведомился я.

— Вещи? Для чо вещи? Я вещи первым делом в Никольске в багаж сдал, а на Пограничной и получил. Провезли в лучшем виде… Предъявил квитанец и получил… Удо-обно!.. А то за визу платить, Господи помилуй, да что ж это, каки деньги. А главное, как идти, нужно вот что помнить — где *у них* штаб? Ну, я сначала-то и распознал: эдак штаб, да эдак штаб, а ты посерёдке и иди, всегда будет аккуратно.

И как раньше царские, так теперь и советские пристава ищут ветра в поле… А монашек в рясе, ходко шагая по русской земле, пробирается к рубежу, зорко смотря туда и сюда, где штаб социалистической власти.

О, идеи никогда не улавливались на штыки, и зачарованных петухов — не может быть очень большого количества. Жизнь бьёт ключом в России — настоящая подлинная жизнь…

— А в Свияжске — вот случай какой вышел, — рассказывал наш путешественник, которому все внимали, затая дыхание. — Лежали там мощи Симеона-епископа, в монастыре-то. Когда царь-то Иван митрополита Филиппа заточил, а после приказал умучить, так Симеон-то на стороне Филиппа вышел. Его этот Малюта Скуратов и задуши, а после мощи открыли, положили во Свияжске. Так приехали из Москвы смотреть доктора разные, живцовские священники и вообще «Гупеу»… И вот, милые мои, как стали вскрывать, а небо было ясное, синее совсем было… И

как раку открыли — ветер и гром ударили. И пошло по церкви шорканье, шум, словно волна народа какого невидимого пришла и стала. Ну, тут один красноармеец и перекрестился. Да! Вот до чего — перекрестился.

Сказки? — Может быть! Но не только сказки. Кто смотрит на это дело с высоты своего интеллигентского величия — тому это сказка; а кто любит народ, кто с народом, тот отлично знает, что народ теперь, вот так же как и в XVII веке — руководится не газетами, что сплошь врут, — а именно вот такими слухами…

Не такими ли народными слухами был приведён в Москву самозванец, несмотря на всю противоположную Годуновскую «информацию»? Не такими ли слухами и ходоками утверждается положение единственного национального института русской церкви теперь?

— Гонение на церковь? — спрашивает монашек. — Нету теперь никакого гонения. Теперь молись, сколько хошь. Налогами душат, это верно. Ну, кой-как народ выручает. А пастыри и народ твёрдо держатся *старой* Тихоновской веры. Теперь хорошо, ясно. Живцов не любят. Нет, теперь свободно — ходи, куда хочешь…

* * *

Несколько зачарованных коммунистических петухов стоят на страх врагам, упершись носами в партийную линию, а в народе — идёт своя особая жизнь. Сильная жизнь, такая, какая всегда была в народе и которой столь мало интересовались в русском обществе. И если посмотреть в народ — то и увидишь, что он тот же, что был всегда; уживался русский отлично с татарами, заимствуя у них самое нужное; жил под поляками, и много мудрости держит в себе народная душа.

И против чарований и мудрований социалистических — ясно сказано спокойным немудрящим монашком:

— Тут штаб, тут штаб, а ты в серёдку и иди! Ниче-е-го!

Гун-Бао. 1928. 4 ноября.

Хвост Ленина

Сегодня 7 ноября, годовщина Октябрьского переворота 1917 года; сегодня по всем городам и весям обширного Российского государства, носящего теперь псевдоним СССР, будут раздаваться громовые хвалебные речи, рисующие достижения и завоевания, что принёс русскому народу Октябрь; сегодня на все лады будут хвалить творцов Октябрьской революции и, конечно, первое место в успехе Октября будет принадлежать памяти Ленина. Но те, кто не обольщается политической шумихой, будут грустно стоять в стороне.

Да, Ленину Октябрь обязан своей удачей, в которую не верили сами другие октябрьские вожди; не будь Ленина — революция оказалась взнузданной каким-нибудь из генералов, и известные народные печальники опять бы жаловались всем, что воля народа не выявлена до конца. Хорошо это или плохо — но Ленин выявил до конца волю народа и вынесен наверх той волной, которую развели разбушевавшиеся народные страсти. Те дремавшие в душе народной исторические, экономические и политические противоречия, подчас поросшие уже быльём, — оказались, благодаря Октябрьской ленинской революции, вынесенными наружу, заострёнными и выясненными до конца. Пользуясь местными образами, — можно сказать, что с Октябрьской революцией был послан на Россию пал.

— Всё, что было нежизнеспособно, — сгорело.

Это было первым и главным успехом ленинской революции; и успех этот был достигнут потому именно, что Ленин в своих действиях опирался не на теории марксизма и противоречивой социал-демократии, а на самые реальные, исторические противоречия, которые не были вскрыты и решены в своё время рукой политических нерешительных русских хирургов. Ленин показал себя человеком, знавшим русский народ так, как не знали его патентованные народники, как из старых дворян, так и из молодых разночинцев. Ленин не побоялся выявить в себе исторический образ Пугачёва, дремавший в русской душе, и показать, что горе тем, которые не знают и не хотят знать, что творит сама народная душа.

В хаосе борьбы и истребления всего, что было против, русские народные свойства выявились во весь рост.

В русской революции, во весь рост, в зареве пожаров, с топором и винтовкой на верёвке в руках встала огромная фигура русского мужика, который рвался на тот самостоятельный путь, на который его долго не пускали, ленились пускать, от которого

его отговаривали либеральным присюсюкиванием, — путём самостоятельным.

Эти успехи русской революции длились до тех пор, пока она была ленинской; попытка военного коммунизма — привела к небывалым бедствиям, к небывалому голоду; тогда не стеснявшийся с «серой теорией» Ленин перешёл «под зелёное дерево жизни»:

— Он объявил НЭП, то есть новую экономическую политику, под эгидой которой стали обнаруживаться не только отрицательные, а творческие стороны русской натуры.

Почтём, что этот НЭП — принёс то, что принёс Французской революции Термидор — свободу индивидуальной работы.

Власть находится в руках самих трудящихся, под их контролем, — какое поле для всевозможной работы! Уж ведь перманентная революция надоела, надоели войны, лозунги, захотелось чистой, уютной и творческой жизни… Казалось бы — перед Россией — бесконечные возможности, при отсутствии бюрократии с её тормозами, при полной демократизации и практизации управления… Казалось, что новые подошедшие к власти слои — способны на всяческие маневрирования.

Но, увы, на этом успехи Октябрьской революции и кончились; дело в том, что Ленин был не один; как у Робеспьера имелся свой «хвост», который вылавливала потом золотая молодёжь Парижа, так и у Ленина остался свой хвост.

Этот ленинский хвост — вся ленинская партия, или, вернее, руководящая головка этой партии, лишённая малейшей доли политического скептицизма. Она состоит, эта партия, — из начётчиков, изуверов марксистской теории, из непогрешимых тупых пап, вещающих от «Капитала», из роя глупых прихвостней большого человека, хранящих букву, а не дух его учения, из случайных спутников и спутниц жизни Ленина, всех этих ленинских Булгаковых, Чертковых, Бирюковых, Сергеенок.

У этих русских интеллигентов, пропитанных русским политическим партийным изуверством, — ни на грош нет любви к жизни; всё принесено в жертву теории. Всё, чем они действительно владеют, — всё это доставлено им Лениным; они взобрались на командные высоты над русским народом — только благодаря тому, что должен же был Ленин иметь около себя кого-нибудь. Они — это пирожники Меньшиковы, парикмахеры Кутайсовы, денщики Ягужинские, которые окружали Ленина, и не потому, что служили и помогали ему, а потому, что разговаривали с ним на марксистские темы, — не по заслугам пожалованы в князья от революции.

У Ренана есть великолепный афоризм о том, что свобода

мысли лучше чувствует себя в присутствии образованных высоких принцев, нежели в присутствии грубых и невежественных демократов.

Русский народ после смерти победителя-Ленина, которого он поднял на щите после победы над контрреволюцией, — попал в лапы к ленинским парикмахерам, начётчикам и пирожникам.

Они оказались более ленинисты, нежели сам Ленин; с тех пор — с момента смерти Ленина и появления хвоста Ленина у власти на ролях бездарной директории — гораздо более жестокой, нежели директория Барраса, поглощавшая золото страны и защищавшая свою бездарную революционность, — Октябрьская революция не имеет успеха.

В прошлогодней своей статье по поводу годовщины Октября я только наметил эту национальную роль, которую имел сыграть Октябрь и не сыграл.

Теперь — положение гораздо яснее, в смысле нарастания указанной тенденции.

Сейчас правит хвост Ленина — компартия. Она проводит свои планы по созданию социалистического единого хозяйства, она поддерживает город против деревни, она стремится низвести мужика на роль рабочего на сельских фабриках зерна, она прёт против тех желаний и чаяний, которые народ явил в полной законной мере, очнувшись от угара революции — хотя бы в отношении к церкви, — ведь неизвестно, по кому больше ударила порвавшаяся цепь — по барину или по мужику.

Вместо того чтобы надеть на мужика-хозяина русский полушубок, дать ему добротного ситцу на рубаху, дать в руки стальной, хорошей закалки топор и удобный лёгкий плуг — эта партия ленинских эпигонов шьёт на одного мужика фрак западно-социалистического образца, не замечая, что другие валятся от холода и голода в очереди, покуда до них дойдёт черёд быть облагодетельствуемыми или пока не вспыхнет безнадёжная мировая.

Нестерпимый режим партии, загоняющий хлеб за границу, чтобы выручать суммы для постройки тяжёлой индустрии, приводит к тому, что целые народности вспоминают своё право самоопределиться и работают *на распад* России.

Партия то и дело обращается к своим братьям с посланиями, умоляя не терять единства, и эти обращения представляют из себя сплошную истерику.

Хвост Ленина неуклонно ведёт Октябрьскую революцию по дорогам, ниспадающим в мрачные ущелья Дантова ада, голода и гражданской, классовой распри.

* * *

Кто же избавит от этой склоки русский народ?

Эмиграция? Мы сейчас не говорим про неё. Иностранцы — им *не нужно* прекращение того, что творится сейчас в России, так как это ослабляет Белого Медведя, а во-вторых, это учит наглядным примером западные народные массы, как опасны подобные эксперименты.

Непобедимая до сих пор организация РКП — перед расколом.

Сталин, соединяясь с правыми течениями партии, — победил Троцкого, уже выступавшего с левой оппозицией и вместе с темпераментным Зиновьевым громившего отхождение от идей Ленина.

Но что же сделал Сталин, запичужив Троцкого в Верный? Он пошёл как раз по той же партийной программе, которую предлагал Троцкий; это безумное заколачивание каждого фунта хлеба, каждого зерна в «тяжёлую» индустрию — что это такое, как не накладывание на весь народ коммунистических тяжких вериг?

Теперь зреет другая оппозиция, правая оппозиция, которая требует прямо прекращения этого безумия, раскрепощения мужика от колхозов, от выжимания с него зерна, от создания промышленности за счёт крестьянства, требует перевода советских предприятий с государственного прокормления субсидиями на хозяйственный расчет; правая оппозиция требует ослабления монополии внешней торговли и усиления свободы и инициативы частного промышленника и торговца.

Одним словом, то, что в 1921 году сделал один Ленин одним росчерком пера, введя НЭП, теперь, в 1928 году подлежит длительным обсуждениям, интригам, борьбе и т. д. Это ли «прогресс»?

Надо сказать, что коммунисты боятся пойти на этот путь, потому что успех, хотя безусловно будет, но от коммунизма-то останутся рожки да ножки…

Стоило ли и огород городить, если на этом огороде вырастет всё тот же купец и фабрикант? А есть что-нибудь консервативней господ коммунистов?

Вот почему мы полагаем, что если даже правая партия, которая теперь укрепляет исподволь в московском районе свои позиции, дабы не сыграть так же, как Троцкий и Зиновьев, — и добьётся успеха, то этот успех будет частичным, неверным, паллиативным. Волк всё равно побежит в свой коммунистический лес.

Во главе правой оппозиции — стоят люди вроде Рыкова и Калинина, то есть правоверные коммунисты; они не отличаются

независимостью и смелостью своих взглядов, от коммунизма не отрекутся, нового слова не скажут. Поэтому надо надеяться, что этот правый уклон расколет РКП по новой, ещё не видной линии и выдвинет к власти простой рядовой партийный состав, который чужд доктринальных ухищрений и который пойдёт просто за национальные интересы. Да кроме того, мало ли в коммунистической партии и просто скрывающегося, приспособившегося, действительно, элемента?

* * *

Итак, на одиннадцатом году соввласти в России мы отмечаем следующие данные:

— Компрометация идеи «коммунизма» на 100 %.

— Раскол в РКП, имеющийся и будущий.

— Укрепление идеи правого, национального уклона.

— Сепаратистское движение на Украине, на Дону, в Сибири и т. д.

— Нарастание сил крестьянства.

— Ликвидация ленинского эпигонства.

И если таким образом все былые исторические противоречия в русском народе, появившиеся в течение истории, — вскрыты и исчезли в ленинской революции, если вышел к власти в ней материковый основной слой народа, — то тем яснее вырисовываются очертания новых лозунгов, которые скоро должна выкинуть вся Россия:

— Гражданский мир по принципу — каждому своё! Мир между народами России! Федеральное объединение! Мир между классами России! Земля крестьянству! Город на службу мужику!..

Гражданский мир всем, война тем, кто хочет войны!..

Гун-Бао. 1928. 7 ноября.

Варяги

Внимательно прочёл и перечёл восторженную статью некоего С. Варшавского в воскресной последней «Заре», под заглавием «Отрадные итоги».

Сколько описано в ней хороших разных впечатлений:

«После долгих лет изгнания, когда отчаяние стало закрадываться в сердце русского эмигранта…», — пишет господин Варшавский.

Что же вдохновило господина Варшавского на столь бодрые строки? Не что иное как «русские дни» в Белграде…

Белградские общественные организации, как известно, пригласили к себе русских писателей и устроили им ряд чествований как сынам Великой России, тем самым отдавая неоплатный старый долг славян России. Конечно, в виду обнаруженной всеми европейскими нациями изумительной способности основательно забывать русские заслуги, а также в виду их склонности существующий в настоящее время в России строй относить к вине не только «большевиков», а вообще всех русских, старательно помогавших успеху революции, подобное трогательное отношение — чрезвычайно редко и поэтому должно быть очень ценимо.

Но — уж русская черта — рявкать «Осанну» так, что потом самим становится неловко.

Этим свойством отличается и господин Варшавский.

Он живописует почести, оказанные русским литераторам, в столь ярких красках, так описывает, сколько им было оказано внимания, что мне, человеку, не бывшему там, представляется, что бедные скрибы просто-напросто растерялись и во время хвалебных речей — переглядывались друг с другом:

— Да мы ли это?

Если по отношению к своему брату, русскому эмигранту, российские писатели держатся настолько независимо, что член съезда господин Мережковский не пожелал принять редактора белградского «Военного Вестника» господина Рклицкого, который пришёл к нему переговорить об устроении участи нищенствующего потомка Ф. М. Достоевского, а разговаривал с ним через лакея, то в отношении чужестранцев — у братьев писателей мягкость спины и позвоночника — изумительная.

Они так благодарили сербский народ за оказанную им честь, что в этих рассыпаниях в любезностях забывали, что нет никакой благодарности на земле, которая была бы достаточна, чтобы отблагодарить Россию за то, что она сделала для славян.

Ведь та несчастная Великая война, которая разрушила Россию и повергла её в столь жалкое современное положение, — была войной из требования России к Австрии не унижать сербского достоинства в суровых требованиях удовлетворений за сараевский инцидент и за выстрел гимназиста.

Со стороны белградских братьев-писателей не раздалось ни одного гордого слова в упоминание сего немаловажного обстоятельства, а в ответ замелькали только усиленные поклоны да речи о «славянской общности».

Давно истлели в гробах кости славянофилов, которых многие из этих самых награждённых орденом св. Саввы писателей обкладывали разными словами, а на заключительном банкете, ад хок, так сказать, тот же неподражаемый Мережковский заявил, что «он теперь только понимает реальность понятия славянства».

В этой изумлённости характерно одно, а именно — глубокое основательное забвение со стороны писателя того, *к какому* государству, с *какой* блистательной и успешной историей принадлежали и принадлежат они. В русском государстве они всегда видели своего врага, который мешал им «писать свободно», как будто для государства самое важное дело — чтобы каждый, кто может скрести пером по бумаге, — мог бы брехать, что ему вздумается. Вся деятельность наших писателей и рождённой ими «литературочки» — это обличение дурных городовых. А оказывается, эти городовые, их начальники, министры, из которых «каждый новый был хуже своего предшественника», — эти офицеры, эти солдаты делали какое-то дело, которое своевременно просмотрели господа литераторы, за которое их столь благодарят; благодарят не за то, что они «писали», а за то, что они тоже русские, как солдаты Шипки, как лейтенанты Шестаков и Дубасов, как «Белый генерал», и если их избрали для приёма этой благодарности, то только потому, что они могут написать об этом.

Если бы Варшавский и прочие зарубежные писатели помнили о той России, которую они представляли, то они не были бы так потрясены; они бы не передавали бы, захлёбываясь, о благодеяниях сербов, о том, что «газету обещали открыть», «журнал обещали основать», где могут снова упражняться «в науках и безверьи профессора», а главное, они не говорили бы, что съезд в Белграде заставил их *вспомнить о* том, что они русские…

— Разве это *можно* было забывать?!

Этот съезд заставил вспомнить их, что они русские, и объединиться…

В современных протекающих событиях так подчас и видишь

повторение пройденного из истории: не угодно ли повторения истории с варягами… Сначала было большое и обильное государство, но в нём царили драки. Позвали варягов — и стал порядок.

Пока не съездили в Белград — в русской эмиграции и журналистике были извечная склока и споры; а как побывали у сербов:

— Атмосфера Белграда была такова, что требовала объединения, — пишет растроганный С. Варшавский.

Всем известно, что для того чтобы русский человек полез в объединительные объятия, непременно требуется некоторая подогретость атмосферы, почему объединения всего лучше удаются на банкетах…

Говорятся речи, хлопают шампанские пробки, звенят поцелуи, а на другое трезвое утро начинается старая волынка с подсиживанием…

Вот почему мы сомневаемся, что из объединения в Белграде — выйдет что-нибудь прочное. Праздники — так быстролётны, так долги скучные будни.

Мы не сомневаемся, что в Сербии образуется газета, что около неё соберётся кружок писучих людей, что они будут говорить «о жизни, о думе, о родине»… что в журнале будут писать длинно и скучно о «принципах и точках зрения»; но всё-таки настоящее объединение воссияет не оттуда: оно воссияет от тех, кто никогда не отрекался от славной истории России, кто не отрекается от неё и сейчас, кто горд тем, что он русский и лучше других сознаёт свои и своих предков заслуги, но не кичится ими, кто не может в пять минут уверовать в звезду славянства, если он никогда не интересовался ею в течение предыдущих каких-нибудь 60-ти лет своей жизни, а главное, кто подозрительным образом относится к разным варягам… Довольно варягов!

На белградском съезде было объявлено, кроме того, что российской эмиграции даруется институт по изучению России… Не будет ли хорошо, если первым предметом, подлежащим изучению в этом институте, будет любопытное свойство русских кричать «ура» всякому чужаку и наоборот, плотно вгрызаясь в горло, валить на землю и грызть до конца своего же…

Не верит сам себе русский человек, не любит он, не терпит самостоятельного мнения, авторитетика требует, подай ему или «всемирную науку», или «просвещённую нацию», или короля, какого ни на есть.

Вот тогда он — руки по швам, «ура» и готов положить жизнь, как свою, так и чужую…

А организоваться так, чтобы своего же брата слушать, — это

он не может… Варяга, варяга ему подай! Варяга!

Гун-Бао. 1928. 8 ноября.

Запад или Восток?

Мы плохо знаем историю и быт русских предков, примерно — до царя Петра; про царя Петра — мы знаем, что он был «западник», что он «просветил» тёмное царство и что с него-де и начался свет на Руси.

Поэтому мы знаем русский быт, начиная, примерно, с царя Петра, причём в изображении его обращаем внимание на черты, сходные с нашим современным бытом, которым жил верхний слой русской интеллигенции в широком смысле.

Всё, что не подходит под этот масштаб, нами относится к «темноте» и «непросвещённости» тех времён и, следовательно, заранее обрекается как бы на умирание и на забвение. Мы не ошибёмся, если скажем, что «тёмное царство» Островского — есть именно этот загодя огулом осуждённый быт старой Москвы, выпирающей из немецкого кургузого платья.

А между тем это русское море быта огромно, и в продолжение всей петровской эпохи оно глубоко лежит в самом русском народе.

Да даже и та французская культура, которая переселилась на Русь в екатерининский блестящий век, приобрела свой грандиозный размах, будучи привита на огромное русское азиатского корня дерево, где она отлично принялась:

— Ведь были некоторые родственные связи между этими культурами; ведь дух утончённой роскоши пришёл во Францию из Испании, после Реконкисты, где христианская вера сливалась с мавританской неистовостью и утончённостью.

* * *

Государыня Екатерина называла Москву «средоточием нескольких миров». Свободно и привольно лежала Москва в своих садах, один из которых, Васильевский — на месте Воспитательного дома, был насажен ещё великим князем Василием, отцом Ивана Грозного.

Правда, в торговых местах — Москва была кучей старых, чёрных срубов, крытых корой, тёсом и соломой, среди которых блестели жестяные главы церквей.

Улицы были завалены вместо мостовых фашинником да сланы брёвнами. Грязь была такая, что в озёрах на улицах плескались гуси да утки, а с улиц брали грязь для удобрения царских огородов. Грязь была такая, что подчас откладывались

из-за неё крестные ходы — не пройдёшь…

Фонарей было мало, и по улице нужно было путешествовать либо с особым листом, либо лишь по крайней нужде, вроде родов; идущий нёс с собой фонарь, тем доказывая свою полную лояльность. Зато без фонарей шныряли шиши, разбойные люди; в ограждение от таковых улицы в десять часов вечера запирались рогатками, которые снимались за час до рассвета. Рогатки охранялись караулами из обывателей с дубинками и трещотками.

Среди этой раскинутости Москвы дворы богатых людей лежали, как усадьбы; они зеленели целыми рощами вековых дерев, блистали прудами, славились плодовыми садами, огородами, ключами, лугами даже.

На улицу от таких поместий выходили только высокие крепкие ворота среди прочного тына; восьмиконечный медный крест был на воротах, из подворотни раздавался лай злобных, лихих псов.

В эту-то обстановку и пришёл из Парижа век «красных каблуков и величавых париков». Если моды Парижа были роскошны, если кафтаны были широки, если камзолы были залиты шитьём и выходили раструбом, — то на Москве всё было ещё роскошнее, кафтаны были ещё шире, камзолы ещё трубачестее.

Там, где верхом на горбоносом кабардинце раньше пробирался в блестящей грязи боярин, бородатый, в бархатной шубе с татарской кривой саблей на золотой цепи, в сопровождении слуг, ударявших в литавры, прикреплённые у сёдел, чтобы народ у питейных, особливо, домов давал дорогу, — показались манерные каретки-эгоистки с гранёными стёклами в стиле рококо, разрисованные во вкусе Ватто, украшенные среди своих ракушек и завитков — трогательными эмблемами, вроде сердца, пронзённого стрелой.

Из этих карет выходили и часто выезжали через грязь на плечах дюжих рабов визитирующие «петиметры» и «вертопрахи» в расшитых голубых и розовых бархатах, блондах, кружевах; на шпаге был пышный бант из лент, манжеты были кружевные, шёлковые тонкие чулки оканчивались узенькими башмаками под названием «стерлядки» или «улиточки», с розовыми каблуками, с золотыми пряжками и бантами.

Только пятьдесят лет прошло со времени Петра, а нравы приняли тот характер, который мы зря называем «западным» и который по существу был падением нравов. Этот петиметр, встав в полдень, садился перед зеркалом, мазал лицо себе парижской мазью, душился и, накинув пудремант, делал причёску при помощи «уборщика и волосочёса» Бергуана, который ему завивал

парик в двадцать буклей, румянил губы, наклеивал мушки, что требовало большого знания дела, чернил брови…

Был ли этот быт действительно «западным» бытом?

Если «вертопрахи» и «вертопрашки» сидели в дедовских рубленых в чащу из векового кондового леса хоромах, уставленных по старинке лавками, скамьями, тяжёлыми столами, крытыми киндячными скатертями, перед лампадами, которые озаряли строгие честные образа, — и «строили куры», то был ли это уже деловой, познавший просвещение и научную работу Запад?

Петиметр бросал на щеголиху «гнилые взгляды», вздыхал, говорил вздор, одним словом, «махался». И красавица, и модница в «шельмовке» и «маньке» от м-ме Виль, владелицы модной лавки, наконец, становилась его «болванчиком»:

— Так смешно наши бабки переводили французское «мон идоль»…

* * *

Те екатерининские вельможи, которых столь много было в тот величавый век, получая отставку или уходя по тем или иным основаниям на покой, жили в Москве; но так как в Москве — богатые дома были похожи на усадьбы, то и подмосковные усадьбы были не чем иным, как городским домом:

— Добрые кони быстро доносили до города тяжёлые кареты, с многочисленными стёклами, похожие на открытый сверкающий веер, с хрустальными фонарями, золочёными ободьями и т. д.

Всё это оставалось той же азиатской роскошью, которая была у вельмож времён царей Михаила и Алексея, но роскошно упивавшейся только чужеземным маниром. Ни один вельможа Франции или Англии не жил таким размахом, как жил, например, вельможа екатерининского времени граф Пётр Борисович Шереметьев, сын героя Полтавской битвы.

Если тишайший царь Алексей иной час баловался смотрением разных комедийных действ, большей части нравоучительного характера, в чём наши историки видят его «западнические черты», то этот вельможа имел к своим услугам уже три собственных театра: один в Москве, два других в Кускове и Останкине, в своих подмосковных, полученных им в придание за княжной Черкасской, принёсшей ему более чем 80 000 душ крепостных.

То, что делал граф Шереметьев в своей роскоши, — было чистейшим большевизмом роскоши. На клочке его родовой

земли, со всех сторон окружённой землями его жены, он выстроил дворец в поместье Кусково. Строил дворец архитектор Валли, который бы никогда не смог заработать так у себя на родине и который широко распускал свой талант под золотым дождём тороватого русского боярина, барина, во что бы то ни стало желающего быть «западником». В этом доме были комнаты, в которых стены в одной были обделаны малахитом, в другой — венецианскими зеркалами, в третьей — драгоценными гобеленами… Всюду громоздились античные бронзы, статуи, яшмовые вазы, редчайший фарфор; была особая картинная галерея, в которой висели Рафаэль, Ван-Дейк, Корреджио, Рембрандт, Гвидо Рени и так далее… В некоторых покоях висели люстры из горного хрусталя…

В парке Кускова было одних прудов 17, карусели, гондолы, руины, китайские и итальянские домики, китайская башня наподобие нанкинской фарфоровой, которую разрушили Тайпинги, — граф называл её неуважительно голубятней…

В этих парках была своя охота, в роще, носившей название Зверинца. И когда сотни гостей графа съезжались к нему на охоту, в множестве блестящих экипажей, на великолепных скакунах, всё это напоминало скорее охоту английских королей в Виндзоре, нежели быт русского, в сущности говоря, — частного лица — помещика…

После смерти жены и любимой дочери старый граф проводил время в Эрмитаже, особом мавританского стиля домике, где он жил один во втором этаже, куда всё нужное подавалось при помощи механизмов, чтобы не видеть лиц слуг… Гости в этом здании тоже подымались наверх на особом диване…

Пребывавшая в Москве по случаю 25-летия своего царствования императрица Екатерина II побывала у графа в гостях; это было 30 июня 1787 года.

При приближении царского кортежа к подъёмному мосту, двадцатипушечный корабль, стоявший на пруду, отдал положенный салют. Пушки гремели по всему пути. Девушки в белых платьях стояли вдоль дороги, рассыпая цветы. «Гениусы» и «Фамы» трубили в рога и выкрикивали приветствия. Старый граф Пётр Борисович показывал свои хитрые сооружения, а затем состоялся парадный спектакль — «Самнитские браки».

Сопровождавший императрицу австрийский император Иосиф думал, что он в гостях у какой-то владетельной персоны. Граф Сегюр свидетельствует, что обед был сервирован на шестьдесят персон сплошь золотой посудой; графа Комаровского поразило лежавшее перед блюдом Екатерины плато чистого золота, оно изображало рог изобилия на возвышении, и вензель

императрицы горел на нём крупными бриллиантами…

Считать этот быт — *западным* бытом — значит просто не видеть сути дела; этот быт — есть русский, чистопородный и чистокровный быт, поскольку чистокровна сама русская порода.

Не надо думать, как пошло думают о нём писаки с Москвы, исполняющие «социальный заказ», что народ не любил этих вельмож и их времяпрепровождения.

Когда доживавший свой век в Москве девятипудовый граф Алексей Григорьевич Орлов выезжал на народные гулянья на своём знаменитом орловце «Свирепом», весь залитый бриллиантами, в сопровождении пышной огромной свиты, то народ приветствовал «нашего Алексея Григорьича»…

Кстати сказать, Алексей Григорьич пустил в ход русскую упряжь вместо модной немецкой.

* * *

В переезде государыни Екатерины II из Санкт-Петербурга в Москву в сентябре 1762 года на коронацию было занято лошадей 19 000 и народу 80 000. При всём том, говорят современники, переезд проходил «почти инкогнито».

Въезд её в Москву состоялся 13 сентября. Все улицы были убраны шпалерами из подрезанных ёлок, везде из домов висели ковры и материи. Выстроено было несколько триумфальных ворот.

После чина коронования, поздно вечером Екатерина вышла одна на Красное крыльцо — Москва горела иллюминацией. На одних триумфальных воротах был, например, изображён пылавший гелиотроп, а под ним гора; надпись гласила: «Ото всего мира видима буду». На других — меч с надписью: «Закон управляет, меч защищает».

На Кремлёвских воротах была сияющая радуга с надписью: «Предвестие вёдра» и т. д.

На шестой день после коронации — был праздник для народа; Красная площадь и Лобное место были его средоточием.

С утра по улицам разъезжали торжественные колесницы, в которых стояли жареные быки, лежала пирамидами жареная дичь, хлебы… За колесницами шли роспуски, уставленные посеребрёнными и золочёными бочками пива и вина.

На Красной площади стояли сплошные столы, уставленные яствами, били фонтаны красного и белого вина… Столы стояли и на перекрёстках всех главных улиц.

Везде ломались акробаты, представляли фокусники, гремели

балаганы. Государыня в продолжение недели объезжала все места народного гулянья и сама принимала в них участие.

Целую зиму этого года провела Екатерина в Москве, и февраль ознаменован был на масленице уличным маскарадом «Торжествующая Минерва», в котором мифология была смешана с ложным классицизмом и тем ядрёным русским здравым смыслом, который всегда отличает русское понимание мифа.

Этот маскарад стоил жизни первому русскому актёру Ф. Г. Волкову, который простудился во время него и помер.

* * *

Если что и взято в этих отрывочных картинах былой русской жизни с Запада, то только одно:

— Новое оформление русской известной страсти к гульбе и к роскоши. Считать же это подлинным проникновением «западной культуры» — это значит не понимать ни западной культуры, ни русского быта…

Прямой, непрерывной линией идёт преемственность русского быта от дней первых Романовых, от дней татарского ига, когда для него была формой, главным образом, церковная условность, и только в народе прорывалась настоящая подлинная струя — вплоть до наших дней, когда совершившаяся революция не носит на себе тоже никаких признаков «Запада», а со своей производственной гульливостью, маскарадами, выдвигающимися фигурами во время переворотов, носит в себе то же русское ядро, некий хмельной и декоративный идеал всеобщего дешёвого нетрудового благополучия и народных радостных покорных плясок там, где всем распоряжаются «чванные, важеватые, русские баре, выпрыгнувшие из дьячков»…

Гун-Бао. 1928. 14 ноября.

Горькая доля

Сначала у автомобиля, круто остановившего свой бег, показалась женщина с не столько старым, сколько увядшим лицом. Она хлопотливо подсаживала в узкую дверь своего спутника.

А спутник её всё своё внимание обращал на ногу; это необходимое приспособление никак не хотело подыматься на ступеньку машины. Он, закусивши нижнюю губу, повернулся к автомобилю боком и с трудом поднял ногу обеими руками. Поставив её на скамейку, он повернулся теперь фронтом и стал втягиваться в узкую дверь.

Наконец, сел… Дама села за ним. Машина тронулась…

Я искоса посмотрел на него. Несомненно — инвалид, ветеран Великой войны. Даже не офицер, неважно, а просто, как пишется в газетах, — «ветеран войны». Ещё не старое, но измученное лицо. Седые глаза с привычным военным взглядом, покрытое сетью жилок, заветренное лицо. Седые усы. Серая шапка.

И при всём том всё его внимание было устремлено на больную ногу. Морщась и вздыхая, он перекладывал её с места на место, морщился на толчках, вздыхал. Нога, очевидно, начала вести своё особое, независимое от остального тела существование, как это всегда бывает при какой-нибудь длительной болезни. Нога эта, несомненно, была центром его существования: ноге легче — всё хорошо, есть улыбка, есть рассказы, есть шутки; ноге хуже — вся жизнь замирает, сосредоточивается в ноющей боли ноги.

* * *

Ветеран Великой войны. Русский её участник. Пожалуй, самый неудачный из её участников.

Россия всегда вела много войн, и всегда старые ветераны и инвалиды были непременным элементом русского общества… Помню своего деда; носило его в венгерскую кампанию 48-го года сажать на престол Франца Иосифа. Помню седого и хромого гимназического дядьку с медалями за турецкую войну 77–78 годов. А «николаевский солдат», прямой, бодрый и весёлый, с подстриженными бакенами на манер Николая Павловича — разве не постоянный персонаж русской литературы? Помню медаль за севастопольскую кампанию, чёрный кавказский железный крест, наконец, медаль с этой знаменательной и неудачной надписью:

Медаль за японскую войну.

Эти старые ветераны, безотносительно их чинов и орденов, безотносительно их должностей — были ферментом патриотического национального воспитания нашего общества…

В Тамбове, на небольшой, садами закрытой от солнца улице, на берегу реки Цны, жило одно семейство старого капитана 1-го ранга. Старик, бодрый и весёлый, хотя и волочивший ногу, постоянно в форменном сюртуке, садился ежедневно в 12 часов за стол, твёрдо соблюдая «адмиральский час», делал рюмку водки и ласково-добродушно покрикивал на своих домашних.

Криков его никто не боялся, потому что руководила всем в доме его супруга, седая приветливая русская дама, а дочка училась на высших курсах, декламировала Бальмонта, перебирала фотографии Художественного театра и вообще — развивалась.

Когда солнце уже садилось за Цной и над степями, окружавшими Тамбов, воцарялась особая чуткая степная ночь, в старом саду дубы и клёны неподвижно думали своими думами, звёзды заглядывали через их кружева, — вечерний стол накрывался на площадке перед террасой. Белела скатерть, озарённая двумя красно-жёлтыми языками пламени в садовых подсвечниках, барыня хозяйничала, а старый морской волк пускался в свои повествования…

Теперь, когда судьба заставила меня повидать почти всё, о чём рассказывал тогда, в дни молодости, старый русский флотский ветеран, — это не кажется таким увлекательным. Но тогда нам, воспитанным в детстве на Жюль Вернах, на Майн Ридах, — эти путешествия были особенно интересны. Ведь это путешествовал не просто какой-нибудь американец или англичанин Кук, нет, тут путешествовал русский человек, плавал на русском судне.

«Вокруг Света», «Природа и Люди» прививали русским детям в своих интернациональных переводных рассказах вкус к заграничному: мы читали и удивлялись, какие-де храбрые люди европейцы…

Это была сытинская пропаганда иностранщины за русский счёт. А вот старик капитан 1-го ранга, полуразбитый параличом, рассказывал про русские дела.

В его рассказах — Япония, например, представлялась какой-то миниатюрной, цветистой вещью. Нагасаки — веяло волшебными огнями гор, синего моря и пёстрых гейш в чайных лёгких домиках, где так весело разворачивались русские морские

офицеры в присаженных на уши чёрных морских картузах с белым кантом и белых кителях…

С каким замиранием сердца слушал я рассказ, как в одной из гаваней приморского побережья, посевернее Владивостока, — лежит на дне затопленный во время войны с Англией гончаровский фрегат «Паллада», очертания которого видны в воде в сильный отлив до сих пор.

Владивосток в его повествованиях был тогда диковинным городом, в котором по улицам бродят тигры, охота на которых тоже доставила моряку несколько острых страшных минут…

Но все эти рассказы про тигров — бледнели перед рассказами о строгих адмиралах, любителях парусного искусства…

В прифронтовом городке Староконстантинове, проходя через него на фронт в 1917 году, я встретился с одним старым отставным полковником, исполнявшим добровольно должность коменданта. Это была типичная фигура ветерана турецкой кампании — серая тужурка, фуражка с огромным козырьком… Он жил на тенистой очаровательной улице этого волынского городка, неподалёку от обставленного пирамидальными тополями белоснежного костёла, против которого в кокетливой позе стояла Мадонна с Младенцем, и на ней была голубая мантия, а над головой — венец из поднятых на проволоке золотых звёзд…

И когда я разговаривал с этим простым, воспитанным, твёрдым старым человеком, который так и не ушёл со своего поста, будучи впоследствии растерзанным солдатской массой, я воочию видел, из какого теста были сделаны старые русские армии… Это была сплошная традиция, но традиция не подчинённости и безответственности, а которая имеет *личный,* персональный характер, которая заставляла старика плакать за обиды, наносимые тогда русской армии её современными командирами…

Жившие на пенсию по всей России в своих маленьких домиках, иногда — в больших поместьях, эти смешные, ворчливые, но добрые и честные старики-ветераны, подчас любящие выпить, пошуметь, а больше всего — поговорить, были свидетелями славных лет русского царства.

Пусть неудачны были последние наши войны, пусть у нас с 1854 года не было ни одной победы, но всё-таки были живы свидетели самоотверженной, всегдашней готовности даже принести себя в жертву долгу со стороны русских людей; что ж было делать, если Господь обидел Россию начальниками, если у людей делался какой-то заскок в голове, как только они становились генералами…

Среди политической раскачки последних лет, среди всеобщей бури противоположных мнений, разброда, разного рода проблем — они, эти ветераны, были всегда верны самим себе и России. Они были убеждены, что они провели свой жизненный путь правильно, и, конечно, в них не было того вихляния, которое было видно в последних деятелях нашей армии.

И хотя их теперь почти уже нет, хотя на них прошёл словно некий мор, и хотя я нёс сам когда-то треуголку перед гробом старого моряка, — но должно сказать:

— Счастлив был их жребий… Они остались самими собой до самого конца.

* * *

Ну, а наш ветеран Великой войны?

Только невежественностью, нечуткостью, небрежностью русской зарубежной политической прессы можно объяснить, что до сих пор не издана книга, которая бы описывала положение ветеранов и инвалидов в других союзных странах.

Не надо забывать, что революция, ошельмовав русскую армию и её дела, ни в коем случае не может пользоваться благодарностью ветеранов. Ветераны — это противники революции.

В то же время — ветераны — это люди, которые делом показали свою верность нации.

В таком разрезе и понял их Муссолини; в то время как выученные большевиками из Кремля итальянские коммунисты на улицах и дорогах Италии избивали ветеранов, срывали с них знаки отличия, — он широко распахнул для них двери своих фаций.

И итальянская фашистская национальная революция была сделана именно в большей мере ветеранами, которые не желали даром отдавать плоды своих трудов на войне.

В результате — в Италии нет голодных инвалидов, какие есть в России; в результате — Италия получила те репарации, которые надлежало ей по праву крови получить с Германии; на эти репарации настроены и дома, и выдаются пенсии для инвалидов.

Прекрасно обставлены инвалиды и ветераны во Франции и Англии; в прошлом году промелькнувшие в газетах суммы на обеспечение ветеранов в Англии — были гомерически велики. Тот из русских военных, который интересуется не только политикой, но и организацией национального русского дела, — отлично сделает, если составит маленькую брошюрку с указанием, что

потеряли с большевиками русские инвалиды и ветераны в сравнении с положением в других странах и сколько на этом деле заработала Германия, уклонившись с Брестским миром от платежей.

Наконец, из последних газет известно, что Америка за каждого своего убитого солдата платила его семье пять тысяч долларов (то есть десять тысяч рублей)…

А наш русский ветеран и инвалид последней войны?

Он — принял на себя весь крест её тяжёлых последствий. Без работы, без квалификации, без рук или без ног, — он несёт на себе весь ужас русской дезорганизации, и, отдавши государству всё, что он имел, — он не получает ни копейки…

Как гражданская война тяжела, потому что на ней «фронт со всех сторон», как в гражданскую войну нет тыла, где стоят уже нейтральные лазареты, где возможна эвакуация, как в гражданскую войну боец предоставлен сам себе, своему счастью, так и положение русского ветерана Великой войны разнится от положения ветерана других войн.

Те — совершили своё дело и с честью почили на лаврах общественного и государственного признания, стали делать своё маленькое дело общественного воспитания, представляя из себя живой музей войны. Эти — выкинуты на улицу с неоплаченными, просроченными векселями от государства, подписанными кровью, которых — увы! — некуда предъявить к протесту.

Допустив развал армии — военнослужащий, прежде всего, ударил по себе, по собственному благополучию. Он потерял право на те средства, которые ему был обязан некоторый государственный порядок.

* * *

Мой инвалид опять руками передвинул неподвижную ногу и полез вон из остановившегося автомобиля.

Дама с измученным, рано постаревшим лицом взяла его под руку и повела; и кто же его поддержит больше, нежели она — нежели женщина, которая выплачивает теперь мужьям те репарации, которые они проспали, когда у них под носом разваливали армию болтливые люди…

— Женщина — вот кто платит пенсии за Россию, поддерживая своих мужей.

Гун-Бао. 1928. 16 ноября.

Золотые табакерки

Вся русская эмиграция подобна сортам известного фарфора «с трещинками», изодрана чёрточками по всем направлениям:

— Но что хорошо фарфору, не хорошо для человеческого общества, да ещё претендующего на национальное значение.

Ведь это показывает, что в русской эмиграции продолжают жить те центробежные силы, которые и привели 11 лет тому назад к революции.

В феврале 17-го года русское общество во всей его ограниченности, во всех его фактически развившихся классах взяло власть; все классы — и аристократия, и торгово-промышленный, и военный — все остались на местах.

Но, оставшись на местах, все эти люди сумели воспользоваться свободой для того лишь, чтобы окончательно и всесторонне развить существовавшие в них противоречия, а не укрепиться самим. Во всяком случае, у них, этих освобождённых от «гнёта» старого режима классов не хватило энергии, чтобы удержать власть в своих руках, не хватило ясности политического сознания, не хватило стремления к объединению и здоровой государственности.

Но отсутствие объединения, которое мы находим в беженстве, явление не последнего дня: вместе со скарбом в дни теплушечного и корабельного исхода — оно вывезено из России как наследие старых дней.

Это разъединение было ясно видно в Омске, и только наличие довольно сомнительной «диктатуры» адмирала Колчака являло какой-то слабый вид власти. Но и телеграфные брани между Читой и Омском — поддерживали эти трещинки вовсю; и кто будет отрицать, что они не умерли до сих пор?

Эмиграция экспортировала из России исконное явление русской розни; в обстановке эмигрантского житья-бытья, в обстановке материальной нужды, оскорблённого самолюбия и проч., эта рознь размножилась, как бактерии в питательной среде, и дала чудовищные формы.

Первым свойством эмиграции является по-прежнему её отрицательное отношение к государственности: по-прежнему мы можем наблюдать характерные случаи, в каком угодно количестве, когда эмиграция выказывает это отношение удивительно, я бы сказал, дисциплинированно.

Есть русская пословица, что «снявши голову — по волосам не плачут». Нет, потерявшая из-за своего нестроения русская буржуазия и аристократия продолжает рыдать по волосам. На

весь мир подымается скандал в Берлине, когда среди продаваемых профершпилившимися большевиками вещей эмиграция находит «свои вещи».

Здесь её действия приобретают чрезвычайно дружный характер; газеты пишут единодушные протесты, все общества выносят единодушные постановления. Но декрет от 8 февраля 1918 года, изданный совластью и объявляющий конфискованными все ценные вещи у всех классов, — разве не известен этой самой эмиграции?

Отлично известен. Закон, как-никак, оформил это дело. Но в случае с продажей вещей идут «по зрячему»… Никто не сознаёт реальности государственного закона (дура лекс, сед лекс), не сознаёт его ужасности как закона, то есть государственного института, а на государство набрасываются, как на частного воришку, укравшего у них эти вещи.

Европейское законодательство даёт этим осенним листьям былой России — неожиданный урок. Государство есть государство, — говорит судебная практика по подобным делам в Англии и ныне в Германии, — какое бы оно ни было, и оно имеет свои творящие закон права. И Европа всегда предпочтёт государство, хотя и нелепо организованное, толпе разрозненных людей, вопящих вразброд о «нарушении справедливости».

Должен сказать, что меня эти вопли о потерянных дедовских табакерках и бабушкиных миниатюрах чрезвычайно пугают. Если они раздаются сейчас на всю Европу, то что же будет тогда, когда в России, наконец, установится известный правопорядок, при котором эмиграция явится туда?

Никто не сомневается, что революция есть революция, и тот, кто не исполнил до конца своих обязанностей по защите своей собственности, должен ею поступиться в пользу победоносного другого. Невозможно думать об изменении положения, например, с землёй.

Но если и теперь к чужим правительствам обращаются за защитой своей собственности, то можно думать, какой вопль раздастся тогда, когда это всероссийское правительство будет «своим»!

У него не будут просить той или иной уступки, у него будут требовать разных компенсаций разные «пострадавшие», ему будут выставлять к оплате различные суммы и в случае неуплаты — будут это правительство ругмя ругать на основании постулируемой «свободы»; а если не будут действовать прямо против него в революционном порядке, что вполне возможно, то уж никогда не создадут плотной и единодушной атмосферы, которая будет поддерживать это новое правительство…

Кому нужны старинные табакерки, а кому — национальная Россия. Это две вещи окончательно разные.

* * *

Центробежные тенденции в российском обществе чрезвычайно велики, и, в сущности, они и поддерживают отсутствием сопротивляемости то правительство, которое в настоящее время стоит у власти, — правительство коммунистов.

Коммунисты едины, спаяны как-никак дисциплиной, имеют известный пафос, имеют вкус к государственности. Если их государство в известный период берёт известного коммуниста и вышвыривает его от привычной работы и от уютной жены «на фронт», даёт ему твёрдые и опасные поручения, то для кого же секрет, что эмиграция-то к таким поручениям не приспособлена.

Назначение на фронт с винтовкой какого-нибудь вождя эмиграции, вроде Н. Н. Горчакова, или поручение ответственной разведки в тылу соввласти А. М. Спасскому, поручение устройства митинга в ударном порядке Н. Л. Гондатти — конечно, поведёт только к конфузу, и страшным обидам, и сильнейшим интригам.

Если каждый захудалый коммунист при каждом удобном или неудобном случае может выступить на трибуну и худо или хорошо произнести речь, в которой не будет блистания элоквенцией, но которая, в общем, сохранит все основные экстраполяции борьбы и будет практически полезна, то сколько среди эмиграции нашлось бы такого народа, способного на это?

Мы, не колеблясь, скажем, что такой подготовки в эмиграции нет, да и быть не может; она представляет из себя род зарубежного либерализма, при котором, в сущности, нет никакой разницы — судит ли данная особь вкривь или вкось. Находясь в пустом воздухе чужой страны, которой нет дела до образа мыслей эмигрантов и которая интересуется ими только с точки зрения гражданского порядка, эмиграция может выдумывать какие угодно положения — ибо они не имеют никакой практической ценности. Из песка верёвки не свить, хотя каждая песчинка и может считать себя свободной и достигать каких угодно высот индивидуального духа.

Между тем для организации правового государства нужно кое-что другое — кроме этой способности к рассыпчатости, приличной лишь в куличе. Нужно техническое овладение массами, нужен пафос, который для этого никак не создашь никакими рассказами о табакерках и былых счастливых днях

Аранжуэца.

В этой области всего яснее становятся известные свойства русской интеллигенции. У неё был пафос революционный, пафос протеста против «несправедливостей», но у неё нет пафоса гражданственного, пафоса государственного.

Никто из русских контрреволюционных генералов, правителей и т. д. — не занимал трибун на площади и не произносил громовой речи, своим прямым психологическим напором утверждая в толпе свою собственную личность, утверждая свою гражданственность, способность обратиться за помощью и поддержкой к каждому из «малых сих», к отдельному гражданину, поднять его до себя, зажечь огнём самопожертвования и, главное, — показать в этом деле свой личный бескорыстный пример.

Странно сказать, но школа этого уменья свойственна в русской действительности только, главным образом, — революционерам.

А так как революционерами являлись только социалисты, то вид гражданственности принял у нас несомненный социалистический не русский оттенок. Националистам же при всём их прекраснодушии и национальности — на долю выпал только раскатистый военный баритон да властные нотки, что далеко нынче не в моде.

Но что же нужно для национальной государственности?

* * *

Для государственности, прежде всего, нужен пафос общественности; нужно, прежде всего, видеть в каждом своём компатриоте не жулика и конкурента, а брата. Нужно приучить себя к мысли, что каждый успех твоего русского брата — есть твой успех, и ему надо радоваться, а не шептать про «брата» гадости кому попало.

Если брат заработал лишний рубль — слава тебе, Господи, потому что становится меньше русских санкюлотов. Нужно приучить себя к мысли, что ты не единственный умный человек на земле и что, как это ни тяжело, надо выслушать, что говорит и что думает и другой, а не сразу же обвинять его в «большевизме».

Нужно воспитаться в том, что революция была, что она должна быть признана и что по ту сторону соврубежа не только «слуги III интернационала», а громадное большинство русских людей, таких же как и ты сам, но только несчастнее тебя, потому что тебе удалось удрать.

Нужно освоить, что революция выделила из себя огромное количество сильных и талантливых людей, которые заняли известные посты и никак этих постов не сдадут, а с ними, с этими людьми, — рано или поздно придётся работать.

Нужно принять во внимание, что страна приучена к речам, к разъяснениям, и поэтому мрачные и пьяные завоеватели, да к тому же любители клубнички, терпимы не будут.

Нужно уяснить, что только тогда, когда будет произнесено настоящее умное, подходящее ко времени, к обстановке, к привычкам вещее слово, только тогда начнёт перестраиваться страна на гражданский лад, при котором не будут продавать дедовских табакерок за границей.

Нужно приучить себя к мысли, что кровь, которая лилась и льётся на Руси, — уже всем достаточно надоела, и хотя много хороших людей погибло, «но их же нам, братие, не кресити», как говорили древние русские люди, и поэтому должен прежде всего проповедоваться гражданский мир, а не гражданская война и гражданское мщение.

Нужно запастись за границей знаниями, чтобы уметь импонировать толпе штучками почище электрификации и Днепростроев, чтобы переплюнуть современных властителей…

Одним словом — как это ни страшно — нужен здоровый демократизм, доброжелательство, твёрдость в суждениях и, прежде всего, здравый смысл для принесения себя в жертву государственности.

А пока этого нет — золотые табакерки, севрские сервизы и мебель «Буль» будет фигурировать на европейских аукционах, возбуждая в иностранцах восхищение тонкостью былой русской культуры, а в эмигрантах — бессильное бешенство.

Гун-Бао. 1928. 20 ноября.

Ганди

1. Два пути

Ослепляюще взбрызнул фонтан материальной культуры и техники в Европе в XIX веке; изобретение шло за изобретением, открытие за открытием. Казалось, что человеческий гений проник в самую сущность естества, овладел природой; казалось, что открыты такие тайны природы, о которых раньше только грезили первые наивные учёные; открытие силы пара с паровозом и пароходом — сократило расстояние между отдельными пунктами земли; открытие электричества — придало особую элегантность человеческому действию, расширив его мощь бескрайне. Авиация — поразила воображение человечества, а весь материальный успех, прежде всего, — дал человеку невиданное могущество, поскольку новые открытия нашли своё главное применение в двух областях:

— В военном деле и в промышленности.

Солдат издавна был товарищем купцу, и если купец с тюком шелков пролагал путь солдату, то солдат пролагал путь купцу к дальнейшим торговым операциям.

XIX век — век открытий и изобретений — отдал всё своё могущество Европе, и она использовала его для себя — в военном деле и в промышленности. Благодаря фабрикам, она оказалась в состоянии дешевле и лучше выделывать всё то, что раньше выделывали домашние хозяйства и что представляло собой необходимые для существования вещи. Благодаря войскам и флотам, Европа сумела распространить так своё влияние, что её купец с выделанными ею товарами прошёл по всему миру, собирая с него дань туземными продуктами, которые обогащали Европу.

Европа своей техникой, своей дешёвкой, своим кажущимся могуществом ослепляла иные дальние человеческие культуры, царила нераздельно, вносила свою «цивилизацию», и в грохоте железных дорог, в свистках пароходов, в шуме создаваемых больших городов — терялись древние и мудрые голоса тех стран, куда она вторгалась.

Под лозунгом, брошенным С. Родсом, — «расширение, расширение, расширение!», прошёл конец XIX века и начало XX. Европейская цивилизация наседала, ослепляла, подавляла, торговала и держала гегемонию во всём мире.

Но по мере того как рассеивался первый её ослепляющий

блеск, по мере того как в странах, куда она приходила, создались социальные затруднения, нарушавшие старый, привычный дотоле и поэтому счастливый ход жизни чужих цивилизаций, по отношению к Европе и к её культуре сам собой вставал вопрос:

— Да как же избавиться от этого нажима со стороны Запада? Какие средства противопоставить ему, для того чтобы лишить вредоносности распространяемый трубами его фабрик дым, для того чтобы избавиться от этого ослепляющего и покоряющего влияния его могущества?

* * *

Этот вопрос должен был быть поставлен странами, находящимися на восток от Европы, странами Азии и, в первую очередь, — Россией. Россия, начиная ещё с тяжёлой руки царя Петра, испытала на себе преображающее значение западной цивилизации. Нельзя сомневаться в том, что только благодаря заимствованной с Запада военной европейской технике удавалось России до сих пор отстоять свои пространства земель и не быть загнанной за Урал расширяющейся Европой, в лице хотя бы Наполеона предпринявшей было это дело.

С другой стороны, чтобы быть объективными, необходимо указать, что в уравнительном огне Запада, а особенно в соблазнительном сиянии его материальных идей русские потеряли весьма многое из того, что отличало собой старую Русь. Они потеряли ту взаимную слаженность социального старого обычая, которая так облегчала народную жизнь, они потеряли источники тех народных идеалов, которые исстари были руководящими для народной старой жизни, хотя и не были фиксированы в определённых понятиях.

В течение XIX века оказался потерян в России старый идеал «русской правды», и поэтому самим народом были предприняты его поиски; и так как западная цивилизация сияла мощью *капитализма* — то эта старая правда случайно оказалась облечённой в форму похода против империалистического капитализма.

В таком же положении и находящаяся в отдалении от Европы Индия. Там тоже новые веяния, новая цивилизация причинила социальные страдания, там тоже зашевелились заглохнувшие было старые вековые народные идеалы. Как и в России, так и в Индии оказалось, что древние, тысячелетние страны не представляют из себя «чистой доски», на которой новый опыт и новые технические достижения пишут что угодно; нет, эти страны

представляют из себя *живые организмы,* которые если и отступают пред новой наступающей средой, но только до поры до времени.

Когда же исполняется это потребное время — эти организмы начинают оказывать известный отпор, при помощи своих внутренних сил.

В России этот отпор приобрёл вид коммунистического разрешения задачи. Руководящие слои уверовали за вожаками, что всё насилие капитализма не в чём ином как только в хозяине — капиталисте, в классе хозяев — в буржуазии. Стоит только выкинуть из индустриальных предприятий хозяев — и дело сделано — рабочий человек обладает своей настоящей, а не буржуазной моралью, справедливость и счастье воцарятся снова.

Таким путём пошёл Ленин. На насилие капитализма — он ответил насилием коммунизма, не меняя, в сущности, механического принципа. Для того чтобы ответить на притеснение западной буржуазной индустриализации — страна должна быть коммунистически индустриализована ещё в большей степени. Если фабрики Западной Европы выделывают оружие — должно выделываться оружие и в России.

Но при схватке насилия с насилием в отвечающем насилии должен быть непременно подчёркнут моральный элемент, иначе оба насилия останутся равновеликими и никакого блага оттуда не произойдёт. Гражданская война даст пролитую кровь, а пролитая кровь не способствует народному счастью. Индустриализация остаётся таковой же, откуда бы она ни исходила; имея хозяев или не имея оных, а будучи обобществлена, — она всё равно несёт на себе элементы разложения, поскольку она не освещена *моральным* сознанием, свойственным данной стране, *не принимается* им, а сплошь материалистична.

Чем больше мы наблюдаем развивающуюся сейчас в России борьбу против Запада — тем больше мы замечаем, что в этой толчее и суматохе, поднятой коммунистами, идёт могучее возрождение истинно народных, истинно национальных элементов. Народ понимает, что его повели не туда, куда он хотел.

Не является простой фразой, что каждое действие для народа должно быть *освящено* сознанием народа, должно быть доступным его моральному пониманию как прямое и непосредственное *благо.* Мы не можем говорить о том, что понятие этого *блага* — относительно, что оно определяется той или иной исторической обстановкой. Нет, этому понятию народного чувствования блага надо приписать некоторое

метафизическое значение, поскольку оно есть известное утверждение, освящение, санкционирование действительности в той или иной её форме.

Чем больше в России развивается шумиха коммунистической индустриализации, призванной дать народу счастье (ибо дело-то в счастье народном!), тем неукротимее развиваются противоречия этого насилия с народной русской душой. Идеалы православия выступают на первый план, потому что они являются подлинным народным религиозным мироощущением, и решительно заявляю, что и для того, чтобы идти путём народным, нужно идти не путём диктатуры, которая имеет в себе нечто временное, а путём согласия с извечным народным религиозным и моральным идеалом.

Ленин пошёл в России первым путём; Ганди пошёл в Индии путём вторым, ставя себе задачу немедленного удовлетворения нужд народных на основе вековой моральной народной традиции. Коммунизм старается решить проблему путём всеобщего *механизирования,* Ганди подымает решительное восстание против механической западной цивилизации, в которой он видит *дело Сатаны.* Коммунизм борется с капитализмом Запада, если, конечно, брать его заявления с чисто формальной стороны. Ганди борется против могущественнейшей державы Запада — Англии, набросившей на Индию сети государственного и экономического рабства.

В лице Ганди Азия получила представителя тех тысячелетних идеалов, которые развились в различных её странах и достигли такой степени совершенства. Моральная философия, религиозные системы Индии, Китая, Персии, Аравии, оправданные своим бесконечно длинным существованием, выступают в философии, в моральном и практическом учении Ганди на первый план, находя в его лице себе достойного представителя. Впервые в лице Ганди Азия нашла язык, чтобы достойно отвечать на те речи, которые с таким самодовольством раздаются из уст торгующих солдат и воинствующих коммерсантов.

Получивший юридическое образование в Лондоне, Ганди действительно является первым *адвокатом Азии,* который являет миру величие её духа и неумирающую силу её религиозных традиций. Ганди является, кроме того, создателем нового национализма, который вовсе не обладает теми чертами, над которыми так смеялся Анатоль Франс:

— Прошёл пастух, играя на свирели марш, — пишет он.

— Какие задорные звуки! — сказал Грациан. — Что это такое?

— Это марш войны против Дельфинов!

— Вы не любите Дельфинов?

— Мы их ненавидим.

— За что?

— Странный вопрос! Ведь они же — наши соседи. Всякий сосед — мой враг. Вон видите поле — рядом с моим. Это поле самого ненавистного для меня человека — моего соседа!

И т. д.

В чём же состоит учение этого человека, который в настоящее время, можно сказать, некоронованно правит Индией?

Его учение — в последовательном и до конца проведённом оправдании национального консерватизма. Консерватизм — есть охранение социальных, моральных, религиозных форм жизни, полученных нами от предков, уже оправданных длительным своим существованием.

Новые времена ставят этим формам и новые задачи, но это не значит, что от них можно отказаться начисто, чтобы пуститься в область абсолютно «нового». Нет, Ганди полон самого последовательного практицизма в социальном смысле — он подлинный социальный реформатор, который, однако, при всех своих реформах — не забывает тройного учения: об «Ахимсе» — то есть совершенства в безгрешности, о «Сатье» — совершенства в истине, о «Брахмачарьи» — совершенства во владении собой, то есть во всём том, что отвергла русская революция, утверждая грех убийства, лжи и необузданности необходимым для спасения революции, для блага народа, утверждая распутинское — спасение через блуд.

Говоря русским языком, — Ганди для Индии является тем, чем был бы для России современный святой православный реформатор, который сумел бы воочию выявить те религиозные чаяния русского народа, которые всё сильнее и сильнее кипят под гнётом механистического нажима в России, не просветлённого тем чутьём Божественности, которое всегда отличало русский народ.

Посмотрим теперь, как строит Ганди своё учение.

Гун-Бао. 1928. 22 ноября.

2. Махатма

Ганди называют — «Махатма», что буквально значит — «Великая душа». Рабиндранат Тагор, первый поэт Индии, даёт объяснение этому слову:

— Слово «Махатма» означает освобождённое «Я», которое находит само себя в других душах.

Махатма — это та душа, которая понимает все другие души.

Махатмой зовёт индийский народ Ганди, весь индийский народ, потому что популярность этого мудреца и тихого реформатора — ни с чем не сравнима. Когда он едет в третьем классе железной дороги или, в одной повязке вокруг бёдер, с палкой в руке бродит из города в город, из деревни в деревню, — десятки тысяч идут за ним, слушая каждое его слово, запечатлевая его облик…

В его честь поются гимны, в его честь раздаются от многочисленных толп победные крики:

— Махатма Ганди — ки-и-джай!

Когда он сидел в тюрьме по приговору английского суда, толпы народа стояли пред его тюрьмой и радостным криком отзывались на звон колокола, по которому народ допускался на свидание…

Толпа окружала его, люди падали ниц, трогали его следы, матери клали младенцев на его колени, и все слушали его поучения.

— Весь народ Индии идёт за ним как слепой, — говорит тот же Рабиндранат Тагор, — идёт, потому что видит в нём святого… Это чудо возможно только в Индии, когда толпа из различных народностей, различных вер — дружно идёт за святым… Самые злобные и сильные страсти и волнения утихают при одном слове — Махатма Ганди запрещает это…

На обеде, устроенном в городе Ахмедабаде, в резиденции Ганди, по случаю «Всеиндийского съезда объединения», на котором председательствовал Ганди, — принимало участие до 50 000 человек самых разнообразных сословий.

Только Ганди мог объединить своей личностью и своей проповедью представителей четырёх главных каст — браманов и париев, магометан и индусов, богатых парсов и бедных фабричных рабочих…

За этим обедом было отброшено прочь правило «о неприкасаемости» по отношению к людям низшей касты, и разные представители этих каст ели не только бок о бок, но часто из одной миски…

Ганди рано выступил против «неприкасаемости». Ещё мальчиком он, сын состоятельных родителей высшего класса, нарочно прикоснулся, ласкаясь, к отверженному чистильщику самых неприглядных мест человеческого обихода. Это прикосновение имело символически-революционное значение как означающее слитность и единство между всеми слоями населения Индии.

Но было бы легкомысленно выводить отсюда, что-де Ганди —

противник кастовой системы. Нет, он признаёт кастовую систему во всей её целости; он отказывается признать справедливость европейской классовой системы, потому что для него совершенно несомненно значение наследственности, которая является законом природы и выражается в кастах.

— Какие бы затруднения возникли, — говорит он, — ежели б каждый стал претендовать на то, чтобы стать судьёй, раздавать награды и наказания, повышать и понижать людей! Кроме того, ведь индусы верят в переселение душ, и для них очень важно быть уверенными, что душа достойного пария переходит постепенно в брамана, а душа недостойного брамана — в парию…

Вообще для Ганди, как и для Тагора, кастовая система — позвоночный столб консервативной Индии, и касаться его — неблагоразумно.

Но это признание объективности аристократических качеств — не заставляет его их связывать со стилем жизни большого круга. Нет, бедность и соответствующий стиль бедности в жизни — вот что проповедует Ганди.

— Мы все воры, — говорит Ганди, — потому что мы берём себе много таких вещей, которые нам не нужны. Природа производит достаточно для наших нужд, если бы никто не брал бы больше, чем ему нужно для непосредственного потребления, не было бы нищеты на земле…

Вот почему в своём доме, «Ашраме», в Ахмедабаде Ганди чрезвычайно прост в своих привычках. Он спит на полу, подложив только под голову что-нибудь. Он ездит только в последнем классе индийских железных дорог. Вышеописанное его одеяние — есть одежда пария, низшего существа, и в этой одежде, почти обнажённый, он предстаёт и перед судом, и перед английским вице-королём.

Вполне ясно, какая популярность приобретена Ганди вследствие этого.

* * *

Однако при всём консерватизме, главная направленность мыслей Ганди — социальная реформа. Он весь в делах социального значения. В любопытном споре о значении искусства, в котором Ганди высказывался как против воззрений английского эстета О. Уайльда, так и против своего соотечественника Р. Тагора, — он выказывает ту черту своего характера, которая близит его со св. Франциском Ассизским и с

лучшими представителями русского духа нищелюбия.

Все культурные формы жизни должны служить одному — социальной жизни человечества.

— Нельзя помочь стихотворениями голодающему человечеству; я знаю только одно стихотворение, которое требуют миллионы человечества, — «сытное питание».

Индия — страна, навещаемая голодом: климатические условия в ней таковы, что если ветры, приносящие летние дожди, запаздывают, — целые области лишаются хлеба. На хлебе и на голоде держится всё благополучие миллионов, которым в остальном предоставлено много свободного времени. Голод в Индии чрезвычайно жесток и дочиста опустошает целые области, превращая людей в привидения, в ходячие скелеты, горами наваливая трупы.

Поэтому индусам нужна работа, которая бы не позволила им умирать с голоду, которая бы сделала их несколько независимее от проявлений природы. И в старой Индии — была эта работа, этой работой была пряжа и тканьё грубой, всеми потребляемой ткани — «хадцар».

— Ещё полтораста лет тому назад, — проповедует Ганди своим бесстрастным ровным голосом, — наши женщины имели работу в своих домах и помогали ею мужчинам. Эта работа была естественной частью в нашем экономическом обороте и давала возможность использовать свободное время самым разумным и рациональным образом… А теперь наши женщины уже не могут выделывать ничего, что поддерживало бы хозяйство, и эта вынужденная бездеятельность — ведёт к обеднению миллионов населения.

Вынужденная? Да, вынужденная. Дело в том, что Индия вывозит сырые материалы в другие промышленные страны и области, в руки английского и японского капитала, и потому закупает уже готовые ткани, сделанные из этих же материалов, необходимые для обихода. Таким образом, в виду того что работают фабрики, освобождается множество рабочих рук — им нечего делать, а главное, заработок пойдёт фабрике, а не этим рукам детей народа.

Из всего этого заработка только небольшой процент достаётся рабочим, большинство же идёт чужому капиталисту.

Капитализм, который в Европе имеет оправдание для этой торопливости в произведении всё больших и больших продуктов, здесь, в Индии, получает вид нелепый. Но Ганди не выбрасывает из игры капиталиста, не обобществляет фабрику. К чему фабрики, к чему освобождающие людей машины, если освобождённым нечего есть!

А между тем за изделия только текстильной промышленности — Индия выплачивает ежегодно капиталистам 600 000 000 рупий. Или не хорошо было бы, если бы эти шестьсот миллионов остались бы в народе?

И Ганди объявляет войну индустриализации; он выбрасывает лозунг — «Свадеши» — то есть хозяйственная независимость Индии; но это отнюдь не бойкот. В этом понятии вовсе нет оттенка мщения. И вследствие проповеди Ганди — на площадях городов Индии начинаются грандиозные, напоминающие Савонаролу аутодафе иностранных материй, не как знак мести по отношению иностранцев — в таком случае материи сжигались бы неоплаченными; нет, как символ раскаяния в увлечении чужеземным, что вредит своему народу; и материи сжигались после того, как счета по ним были оплачены полностью.

— Отдать эти материи нагим и нищим? — спрашивает в ответ на вполне понятные евангельские возражения Ганди. — Нет! Нагие и нищие нуждаются в работе, а не в одежде. Или вы думаете, что только одетым свойственна любовь к отечеству, или вы думаете, что евангелие «Свадеши» имеет значение только для богатых?.. Нет, мы будем продолжать наши сожжения по всей Индии, покамест последний кусок иноземной ткани не обратится в пепел…

И Ганди выбрасывает лозунг для всего народа:

— *К прялкам!* Назад, к прялкам и ткацким станкам! Прялка — вот что становится символом освобождения Индии. Пряжа — национальное богослужение. Назад, к прялкам, то есть, говоря политико-экономически, — к средневековому мануфактурному периоду. Если Ленин хотел перескочить известную неподготовленность России к индустриализации, то Ганди идёт в диаметрально противоположном направлении, идёт к старым привычным формам жизни, ибо ему важен живой народ, а не сухая и отвлечённая доктрина.

Итак, к прялкам! На знамёнах Ганди и его приверженцев — а их многие миллионы — появляется изображение прялки; прялка, простая прялка, за которой сиживали наши бабки. Не в машине избавление человечества, а в прялке; «долой машинизацию!» — вот этот лозунг.

И слово Ганди не осталось лишь звуком; напротив того, оно завертело миллионы прялок по всей Индии. Он сам прядёт в свободное время. Самые аристократические дамы стали носить своё «саари» (головное покрывало) из грубой домотканины, вместо тончайшего японского шёлка.

* * *

Итак, Ганди — реакционер; итак, он против прогресса, против машин?

Нет! В одном их своих заявлений по этому поводу он говорит:

— Я *не против* машин. Ведь и человек — тоже тончайшая, прекрасно сделанная машина. Да и прялка — разве не машина? Нет, я против той химеры, будто машина благодетельно «экономит работу», в то же время заставляя других умирать с голоду. Работа и жизнь не только для рабочих, работа и жизнь для всех… Машинами двигает вовсе не любовь к страдающему человечеству, а жадность и жажда наживы.

Не машина, не связанное с ней построение капитализма и социализма (коммунизма) важны для человечества. Важно благо для всех, важно соответствие жизни известным объективным обстоятельствам жизни народа.

— Техника — это пещера, куда можно идти впотьмах и не зная, где живёт та змея, которая схватит за ногу… А может быть — и сотни змей, — говорит Ганди.

— Бог сотворил так человека, — продолжает Ганди, — чтобы он познавал своим разумом Творца. Но человек так употребляет этот свой разум, что при помощи его позабывает Творца за множеством настроенных им вещей… Человек так устроен, что должен служить окружающей природе; а если он захочет служить вселенной — из этого ничего не выйдет, кроме путаницы… По железным дорогам человек далеко уезжает от Бога…

Но человек — должен и жить «по-человечески»… Ганди издаёт свой «Путь к здоровью», который содержит практические простые максимы:

— как нужно держать посуду в чистоте;

— как нужно дышать носом, а не ртом, и почему;

— как беречься от простуды, как и где стирать бельё, чтобы не загрязнять колодцев и рек; он учит, как врачевать маслом раны, перевязывать их с соблюдением правил асептики, как делать искусственное дыхание и т. д.

Необходимо заботиться о теле, потому что тело каждого человека — обиталище Бога…

* * *

С непоколебимой твёрдостью проводит в жизнь и проповедует 60-летний Ганди то, что нужно для нужд широкого народа; но никогда он не пользовался тем, чтобы этому народу льстить или играть на его дурных инстинктах. И тогда, когда он был привлечён к английскому суду как принадлежащий к

антианглийскому движению «нонкооперейшен», то есть отказа от сотрудничества с англичанами, — то коронный английский судья объявил ему:

— Не много найдётся в Индии людей, которые бы не горевали, что правительство не может вас оставить на свободе… Я сам обязан присудить вас к шести годам тюрьмы, но добавлю, что никто не будет счастливее меня, если мне придётся выпустить вас из тюрьмы до срока, если дальнейшее развитие событий сделает это возможным для правительства…

В чём же секрет обаяния политики Ганди, которого европейские газеты называют «Христом Индии»:

— В том, что Ганди верит, что всякое политическое дело, которое касается политики, то есть судьбы народных масс, должно быть, прежде всего, основано не на «науке», не на сомнительных прогнозах «современного знания», не на честолюбивых личностях, а исключительно на идеях морального порядка — на религии:

— Я не верю, — говорит Ганди, — что религия и политика — области, отдельные друг от друга. Политика без религии — это труп, который должен быть сожжён как можно скорее… Каждый народ должен быть развит в полноте своего существа в своей религии — пусть христианин будет лучшим христианином, магометанин — лучшим магометанином… Я убеждён, что Бог спрашивает нас, кто мы и что мы хотим делать, и вовсе не о тех именах, которые мы прилагаем к нашему существованию, нашей работе…

Гун-Бао. 1928. 24 ноября.

3. Русский плуг

Но повернём вопрос в практическую сторону:

— Что же русским до Ганди? Что общего у затерянной в снегах, в лесах, в лугах бесконечно тихой России и у пламенной, сожжённой солнцем, подтропической Индии, родины страшных зверей и страшных богов?

Несмотря на контрастную разность обстановки — общего всё же много; настолько много, что пример Индии может быть поучителен и для России; настолько, что проповедь Ганди может некоторыми аналогиями помочь разобраться и в русской действительности.

Теперь в СССР полным ходом идёт почитание машин; недаром погибший Сергей Есенин пел об отживающей свой век деревне — его тоска похожа на тоску Ганди. Но эта тоска —

творческая тоска; дело совершенно объективно в том зле, которое творит это машинопочитание. На государственном плане на первое место входит бездушная машина; ради этого деньги, потребные для других нужд, затрачиваются на уплату Европе и Америке за эти машины; тот социализм, который проводится в России, — не построенный, а купленный.

Кто покупает этот социализм? Конечно, крестьянин, который сидит около земли. Ибо только земля даёт те суммы, которые могут «реально» оплачивать все расходы за границей по покупке электрических «установок». Россия продаёт через свои торгпредства последний фунт хлеба, последний золотник масла, последнюю картину Рембрандта, последний секретер, забранный у помещика, чтобы купить в Германии или в Америке подержанную динамо-машину с двигателем средней руки.

Да, средней руки, конечно, потому что ни одна страна не продаст того, что первоклассно, потому что её первоклассная продукция нужна ей самой.

Коммунисты похожи сейчас на былого разорившегося чудака-барина-помещика, который грезит усовершенствованиями и последнюю лошадь продаёт на то, чтобы купить усовершенствованный самодоильный подойник, полагая, что тем самым он спасёт падающее хозяйство.

Что же получается из этого?

Около многомиллионных установок, около всех этих Днепро- и Волховстроев ютится сплочённая масса людей — рабочих, инженеров, спекулянтов и политических маньяков, считающих, что они — первые люди на свете по своей «прогрессивности» и по «высоте техники». Опьянённые шумом машин, блеском заморской мысли, эти люди не слышат сурового молчания русской природы, скорбного молчания сотни миллионов населения.

Эти полторы-две сотни тысяч шумливых людей около демонстрационных установок — объединённые в ядро компартии, и составляют ту видимость народа, который действует сейчас в России. Это они шабаршат в газетах, они мелькают по заграницам, это они покрикивают на «механических граждан Совроссии». И вполне понятно:

— Там, где скапливаются большие капиталы на «установки», легко, понятно, оторвать клочки, изрядные для одиночных людей. Легко получить разные «комиссионные» с заграничных агентов, которым импонирует сконцентрированность государственного аппарата закупки и продажи в одних случайных и не очень чистых руках. Вот почему «коммунизм» многих совдеятелей современья является лишь «надстройкой над материальными отношениями» (К. Маркс).

Но кто же скажет, что такая картина нормальна? Кто же согласится с тем, что диктатура «пролетариата» благодетельна для России?

До сих пор не тронуто положение, что главным признаком народности блага или бедствия является его «массовость», его распространённость. С этой общепринятой точки зрения — коммунизм в настоящее время является настоящим бедствием для русских масс.

Не будем повторять того, что писалось много раз. Поскольку все платёжные русские способности направлены лишь на то, чтобы платить и платить заграницам за разные «Форд-зоны», — крестьянство находится в ужасном положении.

Каждое хозяйство может вынести лишь известный процент мелиорационных расходов. Правда, есть хозяева, которые не едят, не пьют, чтобы заработать копейку и пустить её «в дело». Но ведь таких крестьян — единицы, и можно ли по ним равнять весь народ?

А между тем при настоящем положении вещей — у крестьянина насильно отбирают его продукцию, обрывая тем самым сотни нитей мелких хозяйственных взаимоотношений этого мужика, и взамен притаскивают ему через час по столовой ложке в волость «Фордзон», который продолжает там стоять и ржаветь, потому что организации по его использованию вовсе нет.

Этот «Фордзон» напоминает мне ужасно аргамака Малек-Аделя в унылом хозяйстве разорённого тургеневского помещика Чертопханова. На этом Фордзоне-Малек-Аделе гарцует коммунистическое начальство в дни великих торжеств и празднования «достижений». Но кто же будет на нём пахать и фабричным образом получать хлеб из земли?

Это небывалый в истории случай, когда социализм покупается. Я не сомневаюсь, что в начале русской революции, пока ещё вера в «мировую революцию» не утратила девственной своей свежести, этот вопрос решался в том виде, что де коммунистическая Европа сама бесплатно даст свою технику своей хлебной сестре — России. Но пока сестра Европа требует одного — золота, золота, золота; а так как техника не имеет каких-либо ограничений, то значит, России придётся бесконечно выплачивать золотишко, подтянув живот, и бесконечно за счёт России будет богатеть Европа.

Россия попала в европейскую кабалу с индустриализацией, поскольку главное средство для исполнения поставленных государственных задач находится в чужих руках. Не ткани покупает она, а электростанции. И не 600 000 000 рупий платит русский крестьянин за эти игрушки в год, а значительно больше:

— Все те миллиарды пудов хлеба, которые у него насильно вывозят, — это всё остаётся в руках Европы.

А ему?

— Надвигающийся голод!

* * *

Главное спасение для крестьянина в том, чтобы по всей Руси развеять призрачный и опасный *мираж индустриализации.* Как только народ поймёт, что индустриализация — химера, что многомиллионные установки, на которые уходит весь крестьянский хлеб, — химера, что они только жалкие точки, вкрапленные в необозримые просторы русского горя, — с ней будет покончено, с этим средством к жизни малочисленных групп пролетариата.

Русский пролетариат в настоящем виде — враг крестьянства, и все свои ухищрения производит за счёт крестьянина. Индустриализация — есть ложь для борьбы за своё благополучие городского класса рабочих, есть средство угнетения крестьянина.

И подобно тому как Ганди в Индии развеял миражи капитализма, должно и в России развеять мираж коммунизма. И вместо прялки Ганди — *русский плуг* будет символом освобождения.

Русский плуг является символом многомиллионного труда русского крестьянина, на котором издавно держалась Россия.

Если Россия держится и сейчас, если она не погибла в годы голода 1921–22, то это только благодаря тому, что её спас мужичий плуг, бабий ткацкий станок да овчина, а отнюдь не социализм. Свобода труда русскому плугу; свобода использования продукта этого труда русскому крестьянину — вот что необходимо России, чтобы не терпеть голода, холода, прочих неудобств.

Пять тысяч здоровых комсомольцев, проходящих в параде всесоюзной олимпиады в качестве достижений, — пять тысяч опричников. Только в массовости — залог морального признания социальных благ. Что бы сказали господа социалисты, если в старое время в качестве воспитанных и образованных масс русского народа выступили бы лощёные колонны воспитанников училища правоведения и лицеев!

Должен быть немедленно оздоровлён весь русский народ, которого изгрызает сатана индустриализации. Поле — крестьянину, плуг и коня — на его поле, базар — в город, фабричный продукт — на базар, на свободную конкуренцию —

вот что должно быть требуемо…

Пусть развивается индустрия, но пусть она развивается за её собственный счёт, развивается постепенно, а не в «ударном» порядке, от ударов которого валятся мёртвые тела. Пусть фабрики тогда останутся у рабочих, и пусть они владеют ими, если они сумеют понизить цены и не будут пить пот крестьянина, насильно забирая его хлеб для своих удобств… Тем более что новая рабочая пролетарская буржуазия оказалась куда суровее, жесточе, безобразнее буржуазии старой. Та хоть признавала религию; эта же выкинула гнусное и глупое знамя воинствующего безбожия.

* * *

Подобно тому как в Индии Ганди вышел из глубины религиозного индусского духа, точно так же и это движение *за плуг* должно возникнуть из глубины русского православия.

Пахарь и поп — вот кто были основателями русского царства, протянувшегося на пол-Евразии; плуг удерживал, прикреплял крестьянина (то есть христианина) к земле, монастырь просвещал его, учил справедливости.

Только тогда, когда оседло стало население на Руси, только тогда смогла проявиться княжеская власть без загонных действий дружины; поп и землепашец создали эту власть, и поэтому внимание духовенства должно быть привлечено не к представителям старой власти, не к грёзам о монархии, потому что её-то ведь нет, а к подлинному, вековечному другу и сотруднику — к мужику.

То, что происходит сейчас на Руси, — несправедливо. А когда же церковь отказывалась обличать несправедливость? Над Русью нависла химера механистического материализма как естественного и неизбежного последствия западной руководящей цивилизации. Так пусть церковь заявит, что механистическая цивилизация — опиумный мираж, который распространяется известными лицами из нового господствующего класса с своекорыстной целью. Извека сидел на своём поле крестьянин, извека светило на него солнце, извека лил на него дождь и снег покрывал на зиму тёплой шубой его участок. И какая же сила заставит крестьянина признать то, что эта земля не крестьянина?

Кто это оказался столь хитроумным, что признал контрреволюционным обстоятельством, что крестьянин возделывает сам свою землю…

Русь счастливее Индии. При всём религиозном напряжении

духа Индии — в Индии нет церкви, нет единого организованного общества верующих, которое есть на Руси. И если Церковь призовёт благословение Божие на труд крестьянский, если она станет проповедовать, что только мужик делает подлинное истинное дело строительства и кормления государства, — разве это не поддержит крестьянина в его сомнениях, которые на него, естественно, навевает проповедующий механику город?

Но это благословение не должно быть призывом к борьбе. Внутренний мир в России — вот что мы должны проповедовать, мир со всеми, кто не хочет войны. Благословение, призванное Церковью на крестьянина, — не должно быть проклятием, падающим на пролетариат, потому что нельзя сомневаться, что и там наступит скорое сознание подлинных обстоятельств, отвлёкших от справедливости.

Зато в другом не посчастливилось Руси — у неё нет до сих пор своего Ганди, человека, который бы поднял всенародную моральную проповедь против совершающегося, проповедь, которая была бы не гражданской войной, но которая была бы действительней её. Ей не посчастливилось в том отношении до сих пор, что не было человека, проповедующего Дух; ибо проповедь того или иного гражданского порядка — всегда найдёт противоречия.

Будем надеяться, что такой будет.

Гун-Бао. 1928. 25 ноября.

Дальневосточные перспективы

География — мать политики.

Наполеон

Одним из основных козырей соввласти, который она предъявляла в течение 11 лет своего царствования и который, надо сказать, пользовался известным успехом даже в эмигрантских кругах, — это было то, что этой власти *удалось,* так или иначе, — сберечь единство былой Российской Империи.

Это обстоятельство всегда ставилось в большую заслугу русским политическим деятелям, проводилось ими, и тот же покойный адмирал Колчак гордо не пошёл на некоторые самостоятельные действия, ведшие к «отторжению» от России некоторых кусков её территории, хотя возможно, что имел бы совсем иную судьбу свою, если бы действовал именно так.

Но Колчак не мог согласиться «на раздел России», и поэтому утвердил на ней в значительной степени коммунистический строй своим нежеланием купить известные контрмеры.

Пусть слава останется вместе с памятью адмирала, а то, что живо, — будет жить, а жить — это значит действовать, значит ставить и решать задачи, ставимые жизнью.

Посмотрим, насколько все разговоры о том, что Россия останется *неделимой,* — оправдались в настоящее время. На Западе мы имеем целый ряд государств лимитрофов, про которые никак нельзя сказать, что они остались за СССР. Нет, они отделились от СССР, и это отделение повело только к их выигрышу и пользе. Не раздираемые советским нелепым политическим строем, они живут и, идя по пути общечеловеческого прогресса, — тем самым уходят, возвышаясь от уровня соседних с ними областей. И если Финляндия, которой столько пророчили скорую смерть из-за потери экономической связи с былой Россией, — живёт и благоденствует, тот же Петербург всё более и более напоминает величественные, занесённые песком гранитные египетские города на берегах Нила.

Нам приходилось указывать неоднократно, что и в иностранной политике, и, особенно, в национальном сознании некоторых народностей России, вроде украинской, находящейся сейчас в составе СССР, змеится глубокая трещина, угрожающая отколоть этот плодородный кусок от России, чего бы не было, если бы коммунизм был бы ликвидирован раньше; не будем заниматься гаданием, совершится ли это или нет; укажем только,

что положение на Западе России значительно разнится от положения на Востоке.

Европейская Россия представляет из себя исторически сложившуюся страну, население которой подверглось взаимной, весьма значительной диффузии. Как бы ни вспоминать времена, предшествовавшие 1667 году и приятно щекочущие по нервам Польшу видением Речи Посполитой, ласкающие Украину с милитаризацией населения в гетманщине, но надо заметить, что всё-таки на историческом экзамене в своё время ни та, ни другая не выдержали исторического экзамена, и государственность Московии оказалась сильнее, гибче, умнее и победоноснее Украины и Польши.

Но если и там возможны всё же идеи отделения, несмотря на сплывшиеся, неясные массы разграничивающих былые державы контуров, то тем более такое положение возможно на Востоке.

Восточная, зауральская Россия, Сибирь, в сущности, никогда не была настоящей Россией; сюда не достигала полной силой рука администрации, сюда всегда затрачивалось меньше внимания, нежели на Россию Европейскую. Сибирь стала, с одной стороны, Новой Каледонией, местом для приобретения политического стажа и поправления расшатанного революционной деятельностью здоровья. Россия, с другой стороны, — каким-то земельным резервом, огромным фондом, который придавал Российской Империи столь приятные очертания на географических картах.

Эта огромная земельная масса, целые океаны земли, тянущаяся от Урала до Тихого океана, — чрезвычайно слабо населённая, остававшаяся в пренебрежении при императорском правительстве, остаётся в пренебрежении при современном правительстве, которому решительно нет времени для приведения в порядок и обихаживания столь могучих девственных пространств, так как у него много других сложных хлопот.

Если идея сибирского областничества жила и зрела при царе, тем более она может развиваться сейчас, так как практикуемое коммунистами пренебрежение этими богатствами, данными ей Богом, оставление их втуне — поистине преступно и перед совестью, и перед людьми.

Поэтому возможно отделительное движение и в Сибири, как об этом говорил выразительно профессор Головачёв в одном из своих интервью в местной прессе. Таким образом, мы видим, что и здесь змеится серьёзная трещина, и возможно, что заслуги соввласти в сохранении «довоенной» целостности тоже могут оказаться блефом.

* * *

Всего же серьёзнее положение в смысле целости обстоит на Дальнем Востоке. Положительно, на Дальний Восток вовсе не достигает теперь обескровленная рука центральной власти. Пока шёл суд да дело, покамест Москва занималась революцией, мы видим здесь, на Дальнем Востоке, такие изменения международной политической конфигурации, которая только может иметь последствием изменения территориальные.

Что такое Дальний Восток?

Дальний Восток есть *сила,* как это гениально предвидел и граф Витте, и сила-то не в руках России. Сравните ту огромную работу, которую выполняют в настоящее время создания русских рук — Китайско-Восточная и Южно-Маньчжурская дороги. Сравните с работой той же Забайкальской дороги, которая не провозит ни на запад, ни на восток, и если бы не международный престиж СССР, поддерживающего прямое евразийское сообщение для рекламы, то давно бы эта самая дорога попала на «консервацию», как теперь принято выражаться, т. е. встала бы, а восточные области Дальнего Востока — автоматически попали бы в другие руки, за отсутствием стратегической связи Москвы с Дальним Востоком.

Причина этого возвышения заамурского Дальнего Востока одна — переселение населения на благодатный, свободный Север из более центральных областей, преимущественно из Шаньдуна.

Китайское переселенческое движение в корне отлично от русского, в то время как для русского переселенца привычно пользованное ещё им на родине *экстенсивное,* к большим площадям устремлённое сельское хозяйство, китаец приносит и в новые места с собой *интенсивный,* кропотливый, китайский способ обработки земли. И в то время как на огромных площадях Сибири садились сравнительно редкие русские засельщики, шаньдунцы покрывают Маньчжурию плотной, сотообразной сетью деятельных сильных мелких хозяйств[31]. Интересен и способ организации переселения. Земли, предназначаемые для поселенцев, обычно скупаются мощным, в финансовом отношении, капиталистом, который и сдаёт их в аренду переселенцам, в свою очередь обеспечивая их, в порядке частной инициативы, необходимым первоначальным инвентарём; по истечении же известного срока арендного пользования земли эти могут отойти к севшему на землю новосёлу, ежели он окажется достаточно сильным экономически. *Одним словом, из России на Дальний Восток лились мелкие ручейки поселения, на север же Маньчжурии идёт плотная океанская волна из средины Китая.*

Это огромные пустынные территории, населённые редким населением, — таковы те земли, которые находятся сейчас под владычеством СССР.

Наоборот, Дальний Восток в тех своих частях, которые находятся под китайским и японским влиянием, — это площади, густонаселённые трудолюбивым, сравнительно с СССР, многочисленным населением.

Если в своё время власть Москвы, имевшая в своём историческом происхождении несомненные азиатские традиции, нисходила на эти места как в пустыни и приходила из культурных, населённых, богатых центров Европы — мы теперь наблюдаем обратное соотношение.

Население советского Дальнего Востока, то есть областей Забайкальской, Амурской и Приморской, — насчитывает в себе лишь 1 500 000 человек населения, что на всю территорию выходит в среднем по 1,3 человека (один с тремя десятыми) на кв. километр; в трёх же Восточных Провинциях (Гиринской, Хэйлунцзянской и Мукденской) — 32 человека.

Если вы взглянете на карту Маньчжурии, ограниченную с севера дугой Амура, то этот глубоко врезавшийся в территорию России клин — не напомнит ли вам конфигурацию былой Польши — этого нестойкого русского владения? (К довершению сравнения, по, очевидно, каким-то общим законам государственной политики, — те железные дороги, которые теперь проведены и строятся в Северной Маньчжурии, — напоминают железные дороги Польши.)

Маньчжурия теперь энергично заселяется — вот что должен помнить каждый русский политик. На полтора миллиона человек, живущих в смежных с Маньчжурией областях, — в самой Маньчжурии проживает до 26 миллионов человек. Сравните с этим числом число населения *всей Сибири* в 18 миллионов — и вы увидите, что такое теперь Дальний Восток. Дальний Восток — растущая сила Китая.

Сообразно этому положению, в настоящий год село на землю в Северной Маньчжурии до миллиона человек отборных работников, и прибавление экспортной работы для маньчжурских дорог исчислено в 30 %.

Электричеством залиты города Северной и Южной Маньчжурии, в гаванях Китая и Кореи дымят огромные пароходы, работающие для них. Маньчжурия уподобляется в быстроте роста и развития Северной Америке по своему темпу развития, по возможности приложения здесь огромных капиталов.

Поставим теперь вопрос: сможет ли удержать тоненькая ниточка китайско-русской границы по Амуру от того, чтобы и

туда не переселилась эта могучая волна китайского плотного поселения, чтобы и туда, в амурские пустыни, не распространяла на спинах тружеников-китайцев Япония свой организующий капитал?

Принято говорить, что японцы не выдерживают климата Сибири, но японцы туда, возможно, и не пойдут. В качестве рабочего населения в пустынные русские области — особенно в две, Приморский край и на Камчатку, — могут хлынуть японцы, которые для Японии оставят первоначальный, необходимый им для эксплуатации края рабочий слой.

И разве тогда не может быть поставлено вопроса, на который наталкивает сама коммунистическая, бездеятельная власть Москвы:

— Удержит ли СССР за собой то, чем он не пользуется, когда рядом столько энергии и экономической и сельскохозяйственной экспансии?

Гун-Бао. 1928. 28 ноября.

Старый знакомец

Ежедневные простыни своих «Дней» А. Ф. Керенский переверстал на удобный небольшой размер, вроде «Борьбы за Россию», и приготовился тайно экспортировать в Россию:

— За границей ему не везло на читателя, но трудно надеяться, что повезёт и внутри границы, хотя со страниц его органа раздаются старые и поэтому даже милые речи о демократии.

Всё по-старому: и Александр Фёдорович такой же, как был, в курточке, и демократия как будто та же, да и мы как будто те же:

— Всё как было… Только жизнь прошла!..

Да, жизнь всё-таки прошла, и элегическими воспоминаниями делу не поможешь. Не поможет и А. Ф. Керенский, сладко грезящий о «демократии», как иные военные люди грезят о каком-нибудь строгом, но справедливом начальнике дивизии… Спит давно этот начальник дивизии где-нибудь уже непробудным сном; постарела, поумнела, приобрела опыт русская демократия и едва ли до сих пор помнит об Александре Фёдорыче.

— Что такое демократия? — восклицает Александр Фёдорыч и определяет:

— Свобода! Свобода развивать там разные силы, строить государство…

Но в это старое определение свободы жизнь внесла крупную серьёзную поправку, новое определение:

— Нет! Свобода это то, что *позволяет государство*…

Вот почему, когда Троцкий режущим голосом вопил российским солдатам в Народном Доме Петербурга:

— Мы снимем шубы с буржуев и наденем на вас, товарищи! — И товарищи радостным гулом встречали это вносимое предложение — это возможно было лишь при свободе Керенского.

Это именно свобода Керенского создала дворец Кшесинской, Смольный институт и проч., и проч., и проч. Могло ли позволить такую свободу государство, во главе которого стоял Ал. Ф. со своей эсерской партией?

Нет, и поэтому государство оказалось преданным Керенским свободе, а освобождёнными оказались, главным образом, Ленин и Ко.

Они и задавили керенскую свободу, оставив её единственный вид — свободу коммунистической партии.

* * *

Газета Керенского сейчас похожа на «розу ветров» из старой мореходной лоции, где она дует сразу во все четыре стороны, или на пенсионерку-старушку, недовольную всем миром:

— Она против монархистов, во главе с митрополитом Антонием, против большевиков со Сталиным, против фашистов во главе с местным жителем вятским крестьянином Ф. Горячкиным, автором книжки «П. А. Столыпин, первый русский фашист». К горячкинскому толку А. Ф. Керенский причисляет и такие персонажи, как Вячеслава Новикова и профессора Устрялова.

Всем этим направлениям Керенский вменяет в вину главное обстоятельство:

— Все они — государственники, все они предпочитают утончённо-иронического Макиавелли, громоподобного Гоббса, прусских чиновных государственников — блестящему фейерверку Бенжаменов Констанов.

И большевики, и монархисты, и фашисты — все они выдвигают на первый план *государство,* в то время как Александр Фёдорыч держится за милую свободу 1917 года. Государство, которое имеет быть построено каждым из этих теоретических направлений, — будет обладать лишь относительной свободой. А Керенскому — надо *всю* свободу. Получается конфликт с окружающим.

— И тяжёлый?

— Нет! Пустой!

* * *

Нетяжёлый, потому что жизнь идёт мимо Керенского, причём говоря так, мы берём Керенского как символ довольно значительного ряда русской зарубежной интеллигенции, полагающей, что понятия неограниченной политической свободы и демократии — идентичны. Это — далеко не так.

Народ — реален, народ состоит из личностей, и каждая из этих личностей имеет волю, чего-нибудь *хочет.*

— Я всегда беседую с народом, — говорит итальянский Горячкин — Муссолини, — и всегда слышу о его нуждах… Ему нужны дома, чистая вода, земля… Но никогда я не слышал о желании *свободы!*

Свобода — понятие отрицательное, то есть не имеющее в себе положительных определений. С этой точки зрения она может

быть лишь политическим лозунгом, как протест против насилия, но никак не творческим двигателем масс. Свобода должна быть свободой чего-нибудь — торговли, труда, прессы и т. д.

Одиннадцать лет пронеслось уже над Россией с того времени, как совершилась революция. И за это время было достаточно досуга обдумать кое-что, чтобы заменить одни нужные понятия другими, уточнить, заострить их.

И это имело место в действительности. Пока понятие свободы можно было кроить как угодно, — до тех пор им пользовались разные группы для выкидывания каких угодно лозунгов: народ им всем верил. Но народ понял за это время, что если все эти лозунги не увязать в понятии государства, — все эти лозунги пойдут друг против друга, ведя к анархии.

И большевики от непринуждённого снимания шуб перешли к государственности; пусть-ка теперь кто-нибудь обиженный ноябрьским московским морозом попробует снять шубу у Калинина — он узнает, что такое пролетарская собственность, результат пролетарской работы.

На точке зрения государственности стоят и фашисты, провозглашая благо народное — высшим благом, для которого и нужно работать.

И наконец, монархисты — разве они не воплощение самой государственности, разве они не пламенеют только одним желанием — отдать всю свою волю в одни руки, чтобы оттуда получить нужную и справедливую часть свободы, дающую возможность *работы?*

Работа — вот что теперь стоит выше *свободы.* Костюм либеральной свободы на политическом маскараде современности — не моден и не пользуется никаким успехом.

Русской интеллигенции надлежит сильно подумать о его изменении.

* * *

За эти годы произошло одно чрезвычайно крупное изменение в русской психике.

Раньше она рассматривала государство как нечто тяжёлое, постороннее, тягостное, гнетущее, и не сделанное людьми, а сделанное от века в такой, а не иной форме; русские люди были словно квартирантами в чужой, не принадлежащей им казённой квартире, платили за наём плохо, и, протестуя против хозяина, зачастую обливали стены кофием, исшаркивали ногами, обрывали обои.

Это отношение и было той *свободой,* в которой каждая личность могла развивать как угодно свои вольности.

Но исторический урок уже выучил, что в результате таких разрушительных экспериментов не оказывается места для житья. Вот почему теперь русский народ обуян желанием строить государство по своим желаниям, строить себе *дом* для жительства. Трудно, конечно, сказать, как пойдёт эта стройка, но можно предположить, что, во-первых, будет пущено в ход как можно меньше разрушения уже сделанного, кто бы это ни делал; во-вторых — будет оказано уважение к реальным мнениям реальных групп, без применения взаимного насилия. С этой точки зрения и группа митрополита Антония, и группа Горячкина достойны большего внимания со стороны Керенского и К°, нежели презрительный жест плечами и замечание сквозь зубы:

— Эка серость!.. Эка отсталость!

Адвокатские дипломы, Алексан Фёдорыч, сильно полиняли в буре революции!

Гун-Бао. 1928. 1 декабря.

Министр-коммунист Ван Ань-ши

Нередко приходится слышать, что полное крушение коммунизма в Китае — явилось совершенно неожиданным; что удивительно, как это коммунизм может владычествовать в России вот уже одиннадцать лет и как быстро пропал он в Китае, в какие-нибудь полтора-два года, оставаясь лишь на то время, покамест захватывали своё влияние московские большевики.

Удивительного в этом ничего нет; историческая жизнь Китая, продолжающаяся чуть не пять тысячелетий, таит в своих архивах огромный исторический опыт. Если принимать ту мифическую эпоху — эпоху Сань Хуан, о которой помнит Китай, — за реальную, то существование Китая как страны нужно отодвинуть чуть не на десяток тысяч лет назад до нашего времени; мудрено ли, что ему пришлось испытать так много!

Этот запас исторического опыта Китая включает в себя и чисто большевистский, чисто коммунистический опыт, вполне достоверно известный. Во время его жил знаменитый историк Китая по имени Сы Магуань, составивший не одну сотню томов под общим названием «Общее зеркало».

Этот труд был предназначен для того, чтобы служить руководством правителям Китая. А так как Сы Магуань к коммунизму относился отрицательно и очень его не любил, то нет ничего необыкновенного в том, что великий учёный в своих трудах не только академически изображает эпохи, а и просто предупреждает китайских государственных деятелей от подобных ошибок.

История, таким образом, в нём доказала свою пользу не как «теоретическая наука», во что бы то ни стало старающаяся установить «законы», но просто как накопленная мудрость веков, своей очевидной полезностью прямо доказывающая, что с нею нельзя порывать связи последующим, молодым поколениям.

* * *

Этот поучительный коммунистический опыт в китайской истории относится к тому времени, когда в Китае правила династия Сунов.

Династия Сун является современницей основания русского государства, будучи сама основана в 960 году нашей эры.

Удельные смуты, бывшие в её начале и приведшие было к образованию так называемых «Ши-го», то есть «десяти удельных

государств», уже закончились, и Китай представлял в то время мощное цельное образование, в которое входило по переписи 1013 года 22 миллиона одних только земледельцев-хозяев. Примерно ко времени русского съезда князей в Любече в Китае правит император Шэнь-Цзун (1068–1085), при котором проводит свои социальные реформы его первый министр Ван Ань-ши.

Необходимо отметить высокую культурность к тому времени китайского государства; уже миновал блестящий период династии Тан, оставив блестящее наследие образцов изящной литературы.

Вышеупомянутый историк Сы Магуань доводит свою китайскую историю в 354 томах до времени У-дай (Пяти династий). Другой историк Оу Ян-сю создаёт 225 томов своей истории. В 1040 году изобретён подвижной алфавит, то есть книгопечатание, почти на полтысячелетия предупредив Европу.

Ван Ань-ши, очевидно, имея под собой крепкий административный аппарат, вознамерился провести радикальные реформы государства, которые в корне исключили бы социальные несправедливости. Такой первой несправедливостью ему представлялась торговля, при которой ловкий купец, сам не трудясь, получает большой «нетрудовой доход».

Поэтому он предложил императору, имевшему странный вкус к таким широким преобразованиям, приказать населению вносить подати не деньгами, как это практиковалось раньше, а непосредственно предметами трудовой продукции, минуя, таким образом, момент денежного посредствования. Таким образом, богатые, которые скупали продукты у бедных, которым нужны были деньги для податей, владели большими запасами и, подымая цены, угнетали этих бедных.

Если же годовая продукция земли и мануфактуры оказывалась больше суммы того, что нужно было для уплаты податей, — то императорское правительство скупало все эти излишки и само распоряжалось ими, доставляло их на рынки в те места, где был их недостаток.

Купцы были лишены этим своего нетрудового дохода, а за работу по распределению товаров они получали определённое казённое жалованье, и, таким образом, торговля была национализирована.

Конечно, от этой «госторговли» должны были получаться огромные доходы, которые теперь уже попадали не в частные руки, а в государственную казну и которые предназначались для того, чтобы быть употреблёнными на дела социальной важности — постройки, благотворительность и т. д.

Если, несмотря на это, у некоторых купцов и собирались

капиталы, то в руках администрации были крупные налоги, которые они налагали на богатых, чтобы понизить их финансовую мощность и, следовательно, финансовую опасность.

Следующей реформой Ван Ань-ши была земельная реформа. Были проведены некоторые законы, имевшие в виду достигнуть уравнительного характера землепользования; далее единственным покупателем хлеба у крестьянина являлось государство, как и вообще всей продукции, и казна производила с крестьянином различные массовые кредитные и контракционные операции, имевшие целью поддержать крестьянское хозяйство.

Так крестьянину выдавались ссуды на обсеменение весною, и кредит этот погашался осенью, с наложением 2-х процентов, причём срок уплаты предоставлялся от 6 до 10 месяцев после урожая.

Так как в то время Китаю приходилось много воевать с северными варварами, то большое внимание Ван Ань-ши употребил и на армию. Первым его делом была борьба с интендантами, поставщиками на армию продуктов. Поэтому он обязанность содержать солдат разложил на само население по так называемой «милиционной» системе, которая напоминает систему Аракчеева. Всё население империи было разделено на группы по 10 семейств, и над каждой группой стоял старшина. Далее эти семейства образовывали группы по пятьдесят и по пятьсот семей, во главе которых тоже стояли особые начальники.

В солдаты должны были идти все годные сыновья семейств, в которых более одного сына. Эти молодые люди занимались военными упражнениями по своим организациям, содержались за их счёт, и на счёт же этих семейств содержались потребные лошади и вообще всё необходимое. В случае же нужды — происходила мобилизация, и солдаты выступали в поход.

Но стремясь предоставить народу всё в натуре, избегая предоставить ему денежную свободу и самодеятельность, Ван Ань-ши существовавшую ранее натуральную повинность при исполнении общественных работ отменил; взамен её была произведена перепись населения, и строжайшим образом были определены доходы каждого китайского гражданина. И на эти доходы был установлен, опять-таки декретом императора, определённый пропорциональный подоходный налог.

Если упомянуть, что вышеописанный режим продолжался что-то около сорока лет, то легко видеть, какие цепи надел на себя Китай в реформах Ван Ань-ши и почему он теперь так неблагосклонен к уговорам Москвы.

* * *

Нередко приходится слышать, что та экономическая и политическая свобода, которой пользуются китайские граждане, — представляет собою нечто отсталое, несовершенное, по сравнению с жизнью Запада, где всё подвергнуто строгой регламентировке закона. Там общество связано целой системой постановлений, указаний и так далее, между тем как в Китае всё идёт своим обычаем.

Но давно уже известна истина, что истина никогда не в крайностях, а всегда лежит на золотой середине.

И надо знать, что случилось хотя бы в том же Китае в заключение всех реформ Ван Ань-ши.

Несмотря на то что законодатель заботился о большей авторитетности своего творения, несмотря на то что он приказал составить соответствующие тексты и вставить их в древние книги, чтобы его реформы, таким образом, соответствовали бы науке и авторитету, население, доведённое до отчаяния назойливой его регламентацией и насильственным её проявлением, — восстало и изгнало Ван Ань-ши, который едва унёс ноги и скрылся где-то в Монголии, обычном месте, где укрывались вообще все низверженные фигуры Китая. И все историки имя Ван Ань-ши произносят с глубоким пренебрежением.

Нельзя возражать, что нельзя руководиться одним только напрактикованным древним обычаем, потому что этот обычай всегда будет отставать от рационализирующейся жизни; но в то же время нельзя не признать опасности и губительности крайних рационалистических экспериментов, подобных тем, которые производил над судьбами народа первый министр императора Китайского Шэнь-Цзуна — Ван Ань-ши и какие производят в настоящее время в России революционеры — эпигоны Ленина.

Гун-Бао. 1928. 2 декабря.

Сталин

При полном молчании, царящем в России, оттуда долетают только слова официальные, а барабанные официальные слова, как известно, не способствуют рассеянию молчания. Подобно тому как теперь имеется по российским железным дорогам негласный приказ, чтобы на пути следования поездов нигде бы не было разрушенных или неприглядных строений, что может произвести неприятное впечатление на любого залётного гостя, связанного с какой-нибудь эдакой солидной заграничной группой банков, — так и в речах официальных лиц мы видим те же починенные заборы, подновлённые, подбеленные дома. Пресса СССР сделала всё, чтобы перестать хранить издавнюю традицию русской прессы — быть предстательницей бедных и обездоленных, быть глашатаем правды. Она сделала приятную «ставку на сильных».

И только изредка из этого трагического безмолвия, прерываемого казённым треньканьем экономических гуслей и публицистических балалаек, — прорвётся нечто такое, что заставит сказать:

— Ага! Здесь есть кое-что подлинное!

К такому-то «кое-чему подлинному» принадлежит только что опубликованная в совпрессе речь Сталина на ноябрьском пленуме ЦИК'а; с очевидной ясностью вырисовывается из этой речи трагическая фигура упрямого кавказца, волею судьбы ставшего повелителем русского государства.

Что же такое Сталин? Недавно в заграничной социалистической прессе было опубликовано интересное известие о том, что в интимном московском кругу ответственных работников состоялось заседание, на котором был прочитан доклад о весьма интересующем Москву фашизме. На этом докладе среди дискуссий, открытых в порядке самокритики, с достаточной ясностью было выявлено, чем же, собственно, отличается фашизм как диктаториальная форма политического строя Италии от коммунизма, царящего в России.

Любопытней всего было то, что ни одна ходячая формула этого различия не была принята этими спецами по части коммунизма; установлено было совсем иное различие, а именно:

— Фашизм Италии отличен от коммунизма России тем, что управление страной фашизма находится в одних руках Муссолини, и поэтому фашизм является достаточно гибким строем, чтобы соответствовать задачам текущей жизни.

В противность этого, в коммунизме управление страной оторвано от высшего руководительства, сосредоточенного в

партии. В то время как управление русским государством находится в руках лиц, связанных с непосредственной жизнью и решающих житейские задачи, ставимые жизнью точно так, как эти задачи решаются везде, эти самые управляющие работники в свою очередь являются подчинёнными, управляемыми во имя других интересов партии; нечего говорить, что интересы партии и интересы страны никоим образом не могут почесться сходными, и вот почему работа диктующей свои условия партии режет работу спецов и ответственных работников. Власть Москвы органически раздвоена.

Там, где эта работа партии не выявляется, дело обстоит более-менее благополучно; да и трудно было бы проводить работу партии в каких-нибудь торговых представительствах — социалистическая купля-продажа не отличается от обыкновенной.

В таком учреждении, например, как Китайско-Восточная железная дорога, предприятие коммерческое, — работа партаппарата тоже видна слабо, и мы видим на этой общей работе любопытные симбиозы людей, различных по своим политическим убеждениям. Если здесь и проявляются известные коммунистические уклоны в деле народного образования, например, то эти явления относятся не к политической, а к идеологической стороне, и при всём своём отрицательном характере лишены своего наступательного, аррогантного, ломающего действительность качества, которое одно может характеризовать политическое давление партии в самой России.

В России же коммунистическая партия проводит систематический коммунизм в государстве при помощи своего политбюро, которое представляет из себя ту внутреннюю опухоль, которая давит на нежный нервный узел работы и тем самым производит страшные, невыносимые страдания. И именно Сталин стоит во главе этого политбюро и правит Россией не с линии практической повседневной работы, а с линии неуклонного проведения коммунизма. Сталин — это символ коммунистического гнёта.

* * *

То, о чём говорили на своём собрании ответственные работники по управлению страной и решение которых может свестись к тому, что коммунисты только мешают работать, перестало уже быть секретом для кого-либо.

Недаром правый уклон господствует теперь в политических взглядах русского «актива», недаром молва называет стоящим во

главе этого правого уклона — Рыкова, председателя совнаркома, то есть исполнительного органа.

Но Сталин не стесняется, оставив работу исполнительным органам, принять на себя руководительство охранной силой страны, ГПУ, и своими жестокими расправами над инакодумающими поддерживает своё влияние. Конечно, высылка Троцкого при этих обстоятельствах за политическое преступление не более строга, нежели высылка в своё время в Ташкент политически неблагонадёжного великого князя Николая, щеголявшего потом там красными рубашками; мелкая сошка платится крупнее.

Когда же разговоры о недопустимости такого курса в стране начинают принимать уже массовый характер, когда ссылками в Сибирь рот не заткнёшь, Сталин выступает на трибуну общего заседания ЦИК'а и произносит речь в подтверждение и оправдание своей программы. И в этой речи коммунизм становится на суд России:

— И приговор ему выносится обвинительный.

Пока в России пылала гражданская война — вполне возможно было для коммунизма отодвигать свои реформы до его победы — нельзя же было воевать и строить. Но когда гражданская война прекратилась — строительство коммунизма потерпело полное фиаско. В 1922 году рухнул приморский последний фронт — и что же мы видим: увы, довоенный уровень во многих отраслях русского хозяйства и жизни остался недостижимым до сих пор!

Почему же происходит это? Да потому что в понятии Сталина, а значит и в понятии компартии, — война не кончена; это пустяки, что в России тихо, — но ведь мировой-то революции не было.

— Было бы гораздо легче, если бы была мировая революция, — говорит Сталин.

— Вопрос не стоял бы так остро, — говорит он, — если бы мы были не единственной страной диктатуры пролетариата, а одной из стран пролетарской диктатуры… Вопрос об экономической самостоятельности нашей страны отошёл бы тогда на второй план, мы могли бы включиться в систему более развитых государств…

Что значат эти замечательные слова? Они значат, что если для групп, управляющих работой в России, существуют государственные русские цели, то для Сталина они не существуют. И если советский строй установился бы в другой стране, положим, в Германии, — «вопрос об экономической самостоятельности нашей страны отошёл бы на второй план», то есть надо было бы отказаться от самостоятельности России!

Вот какие мысли бродят в голове секретаря политбюро, недоучившегося семинариста Сталина-Джугашвили, вот как хотел бы он распорядиться русскими просторами, недрами, морями, лесами, золотом, Сибирью и прочее.

Отказаться от самостоятельности и предаться в ведение иностранных коммунистов, которые, конечно, более ловки, настойчивы, энергичны, просвещены и националистичны и которые, конечно бы, не постеснялись взять верх в этой комбинации!

Но, слава Богу, этот бред Сталина далёк от осуществления, и он сам говорит об этом:

— Наша социалистическая промышленность выглядит как островок среди моря!..

Приходится, таким образом, от русской самостоятельности не отказываться и вести самостоятельную работу, причём эта работа распадается на две части:

— На ту, про которую Сталин говорил.

— На ту, про которую он умолчал.

* * *

Так как коммунистическому острову угрожает определённая опасность быть залитым морем капитализма, глухо бьющимся покамест в его берега, то необходимо предпринимать меры. Эти меры, по Сталину, состоят в том, что российские коммунисты должны так расширить этот островок, чтобы морю уже не оставалось и места:

— Для того чтобы добиться окончательной победы социализма, надо ещё *догнать и перегнать все страны,* как в технике, так и в экономическом отношении.

Таким образом, деятельности людей, управляющих государством, ставятся и задачи:

— Обогнать Германию с её Круппом, Англию с её Манчестером и Шеффильдом, Америку с её Фордом.

Если Пётр Великий и сделал когда-то это, то Пётр Великий сам работал с топором в руках; Сталин не работает с топором в руках:

— Он только командует ответственным работникам и беспартийным спецам — а ну-ка, обгони!

И спецы видят, что фабрики все надо построить, а построить не из чего, и фабрик таких нет, чтобы создать оборудование крупной индустрии… И приходится — продавать хлеб за границу и вместо тканей, топоров, нужного продукта — покупать заводы.

То, что Америка и Европа создавали столетиями непрерывного труда, — то Сталин хочет купить у Европы. Русский мужик не может иметь приличной рубахи, должен сидеть с лучиной, зато в счёт этого неслыханного воздержания — он должен укупить и Форда, и Шеффильда, и Круппа! Да, купить, потому что Днепрострой и Волховстрой не делают сами, а заказывают своё оборудование за границей, неся туда русское золото — хлеб.

Мужик со своей конягой и с матушкой-сохой должен засыпать хлебом всё бушующее море капитализма вокруг островка, на котором сидят Сталин и компартия и вьют верёвки нескончаемых речей. Прокормить такого одного пролетария из семинаристов — для мужика потяжеле, чем прокормить двух генералов, как это писал Щедрин.

А чтобы хлеба было больше, нужно мужика согнать с земли и в совхозах и колхозах устроить «фабрики зерна». Вот об этих задачах и говорил Сталин, и эти задачи политбюро приняло единогласно.

А то, о чём Сталин не говорил в своей речи, это касается другого способа воздействия на капиталистический мир, и думается, что на этот способ надежд возлагается больше, нежели на «индустриализацию». А именно — тот же мужик должен будет оплатить подготовку революции в чужих странах.

Коминтерн работает за счёт мужика, и притом работает не на червонцы, а на чистое золото…

Коминтерн обещается устроить неслыханный бум в Европе, и если Европа не идёт к коммунизму сама, то он обещает подтолкнуть её в спину; конечно, такие обещания оплачиваются — кем же?

Да тем же вековечным русским мужиком!

Это и есть пролетарская диктатура, когда платит за всё мужик.

* * *

В этой речи Сталина в ноябрьском заседании ЦИК'а выявилась во всей своей неприкрытости трещина между практикой и маниакальными грёзами русской действительности. Поговорите с кем угодно из совграждан, и никто из них не будет настаивать на том, что предлагает Сталин, и только с отчаянием будет махать руками.

Русская жизнь — есть русская жизнь; а то, что говорит Сталин, — это химерические кошмары, питаемые небольшой

группкой людей, засевших в Кремле, ошалевших от социалистического начётничества, жалкой группкой ленинских эпигонов, только мешающих работать тем, кто хочет и кто может работать.

Гун-Бао. 1928. 6 декабря.

Письмо из деревни

Некий Михаил Кольцов, один из московских нахамкесов, в номере от 27 ноября «Правды» почтил меня длиннющим писанием по поводу посланного в Москву на отзыв отдельного оттиска моих статей о Ленине.

Статьи о Ленине весьма рассердили часть местной эмиграции; по её компетентному мнению, и писать-то не стоило о предмете, заслуживающем столь мало внимания, как Ленин; раздавались далее голоса, напоминавшие старые речи Камилла Дюмулена о том, что-де «человек, пишущий о Ленине, — подозрителен» и т. д.

Но каково же удивление, что в этом кольцовском коммунистическом письме раздражения и гнева было ещё больше, нежели в словах наших националистов! И в видах справедливости, я должен признаться, что, просмотрев только предисловие к моей книжечке, Кольцов заявил авторитетно:

— Автор — идиот и проходимец!

Признаться, я несколько опешил в первый миг, прочитав такой решительный отзыв о своей скромной персоне. Спасибо, Кольцов, что открыл мне глаза! Спасибо и за то, что научил настоящему московскому литературному стилю, как писать… А мы-то придерживаемся здесь ненужных приличий, избегаем таких вольностей, доступных твоему изящному перу, работающему на пользу грядущего человечества.

Но почитав сию статейку дальше, я утешился. Нет, читатели, положение наше ещё не так безнадёжно плохо, как, казалось мне, было сначала. Оказывается, при всей неодобрительности моего труда — «автор его преследует определённые, нисколько не нелепые цели».

И я должен сознаться, что упомянутый нахамкес действительно понял мои заветные желания и определил их довольно верно; и это уже большая заслуга, хотя я неоднократно писал об этом ясно и определённо.

Он пишет: «Иванов сознательно направляет свои строки не к заграничному, оскудевшему деньгами, волей и чувствами эмигранту… Он ищет другого читателя внутри нашей страны…».

Вот это-то обстоятельство и обидело так нашего уважаемого скриба; за 11 лет великой и бескровной, он, дай ему Бог здоровья, серьёзно уверовал, что он и ему подобные писучие молодцы захватили в полон навсегда российскую словесность и расправляются с ней по-свойски. Они и впрямь уверовали, что обывательский и мужичий ум и здравый смысл съел чёрт, и для

подкрепления этого обстоятельства повсюду кажут на палке чучело эмигранта, при всех регалиях, снабжённого особой нагайкой, пугая им честной народ.

Привыкши владеть пришибленной Белокаменной, они и впрямь думают, что русские, счастливо находящиеся за границей, пишут только для собственного взаимоуслаждения и воспоминания о прошлом и генерал Краснов на белом коне есть единственный эмигрантский властитель дум.

Нет, Кольцов! Если вы кое-чему понаучились в истории с революцией 1789 и других годов, если опыт парижской коммуны использован вами, то опыт Бурбонов и нас кое-чему научил; да кроме того, мы, зарубежные писатели, никак не можем понять священности ваших прав на то, чтобы скакать по просторам российским и проповедовать то, что не лезет ни в какие ворота. И мы хотим попасть на российскую территорию и уже проповедовать то, что само лезет в любые мужичьи ворота. Должно быть покончено с монопольностью вашей проповеди!

Это обстоятельство и рассердило Кольцова. Он бы желал полюбовной развёрстки на том основании, что речи эмигрантских журналистов — речи эмиграции, а советских — России; но живёт, несмотря ни на какие революции, старая латинская пословица — habent sua fata libelli pro capite lectoris — имеют свою судьбу книги в зависимости от головы читателя.

Писания Кольцова, конечно, не имеют никакого значения за рубежом ГПУ, а вот моя книжица могла бы найти читателя в России, как об этом компетентно свидетельствует сам Кольцов:

— Его желанный слушатель — притаившийся и сейчас слегка обнаглевающий контрреволюционный обыватель, злостно настроенный интеллигент, мелкий буржуа с нетрудовым доходом, или тот же буржуа на советской службе…

Это уже хорошо.

* * *

Итак, в чём дело, как говорит Харбин.

Дело в том, что Кольцов сердится оттого, что моя книжечка может стать чрезвычайно неприятной для соввласти. И Кольцов произносит знаменательные слова, к которым должна прислушаться русская эмиграция:

— *Харбинский Иванов прокладывает новые пути.* Он нащупывает рынок с другой стороны. Он учитывает реальные обстоятельства… Брошюрку с портретом Ленина на обложке можно спокойно держать на столе и даже в учреждение принести

и, хихикая, прочесть с сослуживцами…

Известная этика готтентотов: если я у тебя съел корову — это хорошо, если ты у меня — это плохо… Если Кольцовы под разными соусами лезут по всему миру, маскируясь в наиболее защитные цвета, то это одно дело… Но Кольцов возмущён, когда — «можно, подмалевав образ Ленина, уцепившись за его величие и превратив в нечто среднее между Петром Великим, Стенькой Разиным и патриархом Гермогеном, разводить черносотенство с видом поклонения перед победами большевизма…».

Слава Богу, Юпитер сердится!.. Значит, и мы кое-чему выучились и кое-что позабыли…

— Ах, Иванов из «Гун-Бао», — продолжает с оттенком крокодильей лирики Кольцов, — где же вы были раньше?.. Догадайся вы насчёт «неслыханных прибылей» (при протекционной системе, при пренебрежении к жизни рабочих. — *В. И.*), убеди вы «молодых русских капиталистов», — чего доброго оскандалился бы Маркс со своими теориями, не нужен был бы Ленин…

— Ах, господин Кольцов из «Правды», — скажу я. — Вашими словами говорит сама истина. Скажите, пожалуйста, положа руку на сердце, если оно ещё у вас осталось и не заменено партбилетом, — скажите, а разве Маркс не оскандалился во всей Европе именно поэтому? Разве там не обошлись превосходнейшим образом без Ленина и, конечно, обойдутся?

Превосходнейшим образом обойдутся! Да и обходятся. А вот мы не обошлись, и в этом есть некоторый род исторической обречённости. Поэтому, пожалуйста, не мерьте на свой собственный «метр», не считайте, что если я так писал о Ленине, то только для того, чтобы соблазнить одного из ваших малых, над которыми вы куражитесь, заткнув им рот; я писал для того, чтобы отметить некоторую степень объективной истины.

Для вас эти кадры «бывших помещиков, жандармских офицеров да бывших фабрикантов, ныне прозябающих в скромных совторгтолстовках», о которых вы пишете, — человеческая пыль, которую вы легко и свободно топчете ногами; для меня — это реальные живые люди, с горячей кровью, нисколько не хуже вас.

Даже больше, они, массы их, должны понять нехитрую штуку, что если одним дано захватить власть так, как захватил её Ленин, то и другим можно проделать тот же эффектный трюк, но не для того же, для чего захватывали те, в хвосте за которыми вы сейчас бежите, не для «эксперимента в планетарном масштабе», а для строительства действительно спокойной, мирной жизни, трудовой, равной, культурной…

И Ленин исторически нужен был для того, чтобы русский народ оценил необходимость правильности устройства государства и пришёл к выводам, отмеченным вашим совпоэтом:

Кто воевал, имеет право
У тихой речки отдохнуть…

Наша народная речка — тиха и прекрасна, насколько ваша размашиста, шумна и бестолкова. Я должен сказать, что то, что делаете вы, — не отличается умом, несмотря на грандиозность.

Что ж, история знает грандиозные глупости!

Был на Руси умнейший человек К. П. Победоносцев; но были и глупые консисторские чиновники. Был умный, хитрый и сумевший захватить власть у нескладного истерика Керенского — Ленин; но вы все — вы хвост Ленина (помните хвост Робеспьера?) — вы только консисторские чиновники, эпигоны, проматывающие то, на что поднялся размах Ленина, над которыми хохочет весь мир.

Да и вами, как его последователями, я, действительно, очень недоволен, как пишете вы. Народ должен иметь возможность трудиться, быть обеспеченным продуктом своего труда, нетрудящийся из трудящихся есть люмпен-пролетариат, и цена ему грош, и нельзя ему отдавать на правёж всего государства — вот наша «речка». И на этой речке сияют тихим светом всегдашние идеалы Руси — покорливость, находчивость, лукавство и благочестие, всё то, на что вы подняли руку и, конечно, не уничтожили, а только затушевали, покрыли, как тончайшая нефтяная плёнка может покрыть иногда глубокие воды нашей Волги.

Вы пишете:

— Всеволод Иванов шепчет такую симпатичную мечту: «Очевидно, согласно объективному ходу вещей, понадобится новый Ленин, который будет более объективен в свойствах русской души и создаст новый православный, всенародный Октябрь…».

Спасибо, Кольцов! Спасибо, что вы сказали эту фразу через несколькосоттысячный тираж вашей «Правды». Эта фраза разнеслась по всей Руси, а помните — Русь состоит из Ивановых. «Трудно бороться с врагом, когда он с крестьянским паспортом или с профсоюзной книжкой осторожно напирает и шевелится внутри страны», — пишете вы. Это шевелятся Ивановы…

И поверьте мне, они теперь знают, чего они хотят, эти Ивановы, и будет время, они прорвут вашу плотину. Это вам не с генералами сражаться.

— По этим грязным лапам, протянутым из-за границы к Ленину и к Октябрю, ничего не стоит ударить, — пишете вы.

Попробуйте-ка лучше, насколько твёрдо стоит под вами ваш редакционный стул. Мне кажется, от него уже идёт некоторое дрожание. Правда?

Да, вот ещё что. Пожалуйста, не бранитесь, что совпочта рассылает по России такие книжки, как моя. Никуда эти книжки ещё не посланы — «груша ещё не созрела». Они посланы только вам, да в «Известия», да Сталину, да Менжинскому.

Народ, кажется, надёжный. Не разболтают, как разбалтываете вы.

Гун-Бао. 1928. 11 декабря.

Финал русской интеллигенции

Недавно появившееся в «Последних Новостях» «Письмо из Москвы» об интеллигенции в эмиграции — наделало много шуму. В этом письме некий автор, скрытый псевдонимом И. А., наговорил эмиграции много неприятных вещей. И не нужна-то эмиграция, и Россия её «не примет», и Россия «её боится», и т. д. и т. д.

Эти разговоры пошли довольно круто и вызвали известные «гадания», которым предаются зарубежные талантливые фельетонисты:

— Любит Россия эмиграцию, не любит, к сердцу прижмёт, к чёрту пошлёт!..

И так далее. Должно, однако, сказать, что, во-первых, это кокетливое одёргивание эмиграцией своих одежд перед возвращением «туда» должно почесться несколько преждевременным. Ощипывание маргариток — дело изящное, но к моменту решительно не подходящее.

В такие времена, как наши, чеховские настроения не годятся.

Какие же подходящи?

А вот какие. Те, которые характеризуются волевой насыщенностью. Серебряковское профессорское (Дядя Ваня) — «ах, господа, дело надо делать, дело!» — не годится для наших дней. Эмиграция должна ясно и отчётливо понять, что в то время, покамест она странствовала по городам и весям, иногда даже не без приятности, — в революционной России-то самой кипела, как никак, а волевая работа.

Революция пробудила волю в самом народе, вот что мы должны помнить. Правда, воля эта манифестировалась чрезвычайно бурно, нелепо, раздражалась в эксцессах, но всё же то были запасы человеческой русской народной энергии, проявлявшиеся тем эффектнее, чем больше были заострены полюсы социальных противоречий.

Большевизм потому именно брал верх, что его руководители умели своими бросаемыми лозунгами раскрывать массивы этой накопившейся энергии.

И если эта энергия была направлена на гражданскую войну, то есть на борьбу против определённых реальных классов, — то только потому, что первичным и основным психологически понятным движением народа всегда является тенденция гипостазировать, воплощать в определённое лицо причину раздражающих неурядиц.

— Долой виновников государственного нестроения! —

кричал бунтовавшийся в 1917 году народ. — Их, «защитников старого режима».

И мы ошибёмся, если в самой этой ярости при этом не усмотрим ещё другого момента — момента справедливости:

— К ответу — потому что этого требует начало справедливости, начало извечной русской правды.

И, собственно, только внутреннее тёмное чудовищное убеждение, что это справедливо, — заставляло русский народ совершить все те жестокости, все те зверства, которые он совершал. Даже матросы, бросая своих офицеров в воду, — были убеждены, что это «справедливо».

Внушил ли это кто им, были ли они в этом убеждены — это уже второстепенно.

* * *

Волевое напряжение первых дней революции осталось в народе в дальнейшем; именно это напряжение характеризует собой большевистский режим. Делать, делать, делать во что бы то ни стало.

Развёртываются грандиозные планы, опьяняющие участников известной поэзией творчества. Планетарные размеры разных электростроев захватывают дух. Индустриализация должна быть такой, что должна переплюнуть все существующие государства. Армия должна быть такая, чтобы быть могучее всех…

Это ли не программа.

Оговорюсь, что я здесь имею в виду не то скрытое лукавство, которое отмечает выбрасывание таких лозунгов со стороны власть имеющих, а народное то убеждение, что власть, действительно, кипит волей и энергией. А такое убеждение, конечно, есть. Как ни как, а надо сознаться в том, что большевистская власть импонирует народу своей кипучестью, которой совершенно не замечалось в контрреволюционных выступлениях.

В контрреволюционных выступлениях до сей поры — замечалось лишь одно:

— Злорадство тому, что у революционеров ничего не удавалось, и затем, при захвате власти, слишком подчёркнутый, рачий ход назад на всех парусах.

А между тем нужно забыть и думать теперь — отнять у народа его волю к действию. Народ, преимущественно крестьянин, — никогда больше не откажется ни от своей воли, которую будил в нём ещё Пётр Аркадьевич Столыпин, ни от своего мужичьего деятеля.

Как сжатая стальная пружина наполнена стремлением расправиться и прыгнуть, так напряжён и натянут мужик стремлением работать, то есть стремлением, которому не может дать удовлетворения никакая диктатура.

И если эта воля — есть сила, то мы стоим перед российской действительной *демократией.* Работать, работать, работать — вот на что направлена воля народа.

* * *

Да, но работать-то не по-серебряковски.

Если эмиграция будет заниматься ощипыванием маргариток — конечно, она может делать это на Лазурном берегу, в садах Версаля, где угодно. Тогда — вывод ясен:

— *Не любит!*

Если эмиграция будет основывать свою работу на старом классовом принципе своего прирождённого превосходства, командирства и руководительства, опирающегося на старый авторитет, на чины, звания и так далее, — то из этого тоже ничего не выйдет.

Но если эмиграция сумеет связаться с подлинными внутринародными линиями, если она, действительно, теперь «пойдёт в народ», что столь неудачно было проделано в 80-х годах, — то она будет принята отлично, да ещё с тем практическим, жизненным опытом, который она приобрела от своих испытаний, от поучительных массовых странствований по чужим странам.

Эмиграция должна поставить себе задачу служить мужику, а не руководить им со стороны. Внутри российского мужика (употребляю это слово в собирательном смысле) — должно прийти то инстинктивное чутьё, которое всегда руководит народом в его соборности.

Народ не может быть увлечён окончательно и бесповоротно в пропасть, и если его государствоведы убежали за границу или служат «чистой науке», — он сам и без них построит то государство, которое ему нужно. Построит по-пчелиному, по-муравьиному — вслепую.

Вот тут-то и понадобится интеллигенция, чтобы устранить эту слепоту, чтобы помочь тому, что должно прийти. Потеряв свои права на руководящее значение своё в качестве теоретической изыскательницы путей, интеллигенция должна напитаться внутриродовым, стихийным русским чутьём, чутьём земли, и через это самое стать *национальной,* потому что

национализм — это внутреннее чутьё, чутьё связи, родства, голос крови и голос жизни, связывающий отдельного человека с его родом и государством.

Мужик и мужичий царь строили российское государство, и духом их строительства, лукавым, смелым, житейски-сильным и в то же время — высоко-благочестивым, должна наполниться русская интеллигенция. Тогда решение маргаритки, оборванной где-нибудь в Люксембургском саду или на берегу Сунгари, будет:

— Любит!

* * *

Интеллигенция должна на себя взять подвиг — идти в батраки к мужику, и должна иметь мужество сознаться — что в своих поисках правды государственной, пробы новых строев, практичности в этих исканиях — мужик далеко превзошёл её. А главное, он превзошёл её в том, что он, мужик, хозяин земли, он, который «сидит» на ней, бродит, озирая любовным хозяйским оком колосящиеся всходы под летним ярким солнцем, который содрогается, когда воля Божья — град бьёт его хлеб и лишает его возможности жить, обрекая на голод зимой. Тут объяснением «явлений электричества» да франклиновских опытов ничего не поделаешь.

И вот этому-то мужику, царственно сидящему на земле, любящему её, молящемуся ей и небу, почитающему Николу Угодника, обходящего поля, — должна служить интеллигенция своими суперфосфатами, тракторами, севооборотами, малыми и большими индустриями, радио и газетами и прочими мудростями, не нарушающими, а усовершенствующими ход природы.

— Смирись, гордый человек! — вот задача интеллигента; смирись и смотри, как справляется покамест без тебя зарубежный житель, покинутый всеми, обманываемый русский мужик, ищущий помощи только у Бога… Смирись и, пока не поздно, — приди и поклонись мужику в ножки и скажи:

— Ваше степенство! Ты, брат, мной командуй — что надо делать, прикажи — чему тебя надо учить, вразуми — как надо говорить… А я тебя научу разным заморским штукам, которыми ты и правь, потому что ты — хозяин!

Кончится тогда городская интеллигенция, выращенная из пыльных известковых Подьяческих улиц Питера, вскормленная бессонными ночами над западными начётниками, и пахнёт землёй, хлебом и медовыми лугами русская, облечённая в разум

воля.

Воля — не свобода, а русская энергия.

Гун-Бао. 1928. 13 декабря.

Власть земли

Вероятно, я никогда не забуду этой сцены.

Я в сообществе некоторых преподавателей Пермского университета бродил с мешком за плечами в окрестностях Перми, взыскуя питания. Было это летом 1918 года…

И вот в одной избе, куда мы зашли с предложением «мены» каких-то остатков одежд, мы смотрели на кипящий на столе самовар, на разные шаньги и ватрушки, лежащие и красовавшиеся вокруг, а разговаривали с невидимым нам хозяином всех этих благ.

Хозяин этот вальяжно лежал на полатях, и нам зримы были только две босые ноги да поднятые колени в штанах «фантази», раньше нас сменивших обладателя визитки на носителя косоворотки.

Мы просили продать хлеба, а лежащий на полатях нам категорически, не стесняясь в выражениях, отказывал:

— Самому нужно! — говорил он. — На что мне деньги — вон две бутылки керенок закопано, куда ко псу ещё!

Мой коллега, профессор В. извлёк из мешка какое-то помятое дамское платье.

— Ну, вот вам вещи! — конфузливо сказал он. — Платье!

На полатях послышалось шевеление, и на секунду показалась лохматая голова:

— Ну, нешто нам сгодится! Нет! Не надо!

— А что ж вам надо? — в голос спросили мы.

— Зерькало, — отвечал голос с печки. И прибавил:

— Большо-о-ое!

Но зеркала у нас не было, мы вышли и побрели дальше, смотря на предуральские прохладные угоры, залитые солнцем и зелёным пихтачом…

О, это был большой удар для нашего самолюбия.

— Мерзавец! — шептал профессор В., милейший, добрейший человек. — Нет, каков тон…

И после небольшого молчания прибавил:

Муж-ж-ж-ик!

* * *

Да, но факт оставался фактом.

Мужик оставался там, в натопленной избе (была уже осень), его ждали шаньги и прочая снедь, а мы, два «барина», или, если

хотите, два интеллигента с мешками на плечах шагали по угорам.

Изба принадлежала мужику накрепко, он жил в ней, а в городе у нас была «квартира», за которую мы платили ничего не стоящими бумажками, были семьи, которые и снабдили нас этими мешками, была «наука» и были фотографии с «итальянских мастеров»…

На пароход в город мы опоздали, потому что не нашли ночью лодки на небольшой речушке, которую нужно было переехать, и потому ночевали в заброшенной барке, которую выбросил на луг разлив Камы, жались от утреннего холода, и хотя милейший В. рассказывал любопытные тонкие анекдоты о рассеянности графа Вильегорского, известного композитора, я никак не мог забыть той иллюстрации к происшедшему в России, которую показала мне жизнь:

— Зерькало бы!

В чём был смысл этой картины?

Да в том, что, несмотря на свою «необразованность», этот мужик оказался в положении лучшем, нежели наше.

Образованность говорила о народной правде, о справедливости, о братстве народов, и в результате крестьянин, ехавший значительно тише, — оказался значительно дальше… Он как-никак, а живёт. Он связан не с переменчивым людским разорённым обществом, с внутриклассовыми взаимоотношениями, которые подвергаются «ломке», а с прочной землёй, на которой он сидит, на которой разложен его очаг, и накрыт кровом. И этот занятый человеком пункт на земле — и есть *собственность,* начало культуры, откуда мы давно ушли и куда мы свалились теперь обратно, разрушив известные «надстройки».

Одним словом, эта ночь двух бездомных интеллигентов в пустой барке — оказалась великолепным семинарием по теории земельной собственности как ячейки гражданской общины, по Фюстель де Куланжу.

О, я завидовал, прямо завидовал этому самому мужику. Вот где хозяин, строгий и грозный. Лежит себе на своей земле.

А мы что?

— Мы — дачники!

* * *

Эмиграция была до некоторой степени единственным следствием невозможности такого положения вещей; и когда интеллигенция ушла — к мужику обратились коммунисты с

рационалистическими предложениями:

— Социализм — это учёт… Всё, что производит мужик, — должно быть переписано (против этого мужик ничего не имел) и должно быть отдано на построение фабрик — этих храмов безбожного общества (это не могло встретить одобрения мужика ни в коем случае).

Мужик встретил отбирающего хлеб коммуниста не более почётно, чем встречал нас, приносивших ему вещи. И если коммунист по своей неделикатности и стаскивал мужика с тёплых полатей, то всё же — это не вело к улучшению отношений.

Интеллигентский город был мягок и простодушен, и от него кое-что перепадало мужику. Коммунистический город стал тем чудовищным поглотителем, которого никак не накормишь, причём он ничего не давал мужику, кроме громких фраз.

Справиться с этим городом было потруднее, потому что свой брат «бедняк» давал ему указания за известный процент, что и у кого можно отнять, но мужик справился:

— И теперь Сталин стоит перед лежащим на полатях мужиком и просит дать хлеба, предлагая «индустрию».

— Зерькало бы я взял! — слышится лениво с этих полатей.

И естественно, что начавший поход против каждого хозяина и хозяйства на земле пролетариат должен уничтожить и этого хозяина:

— Сначала для этого были карательные экспедиции, а потом колхозы и совхозы… Вместо дома, очага, земли проектируется создать «фабрики» зерна, семью заменить клубом, а дом — смрадным логовом для ночёвки земельного лумпен-пролетариата.

Пока что мужик всё же возлежит на своих тёплых полатях, и по-прежнему не топлены квартиры в городских домах, по-прежнему они переполнены, по-прежнему в городе нет ни настоящей жизни, ни настоящей деятельности… Все попытки вертеть мужиком встречают решительный и почти космический отпор:

— Повторяется ещё раз дело Коперника. Не мужик ходит на помочах у интеллигентных социальных мечтателей, реформаторов, революционеров, а все они в своём существовании движутся вокруг мужика.

Земная ось, земная ось
Проникает мир насквозь!..

И тут ничего не поделаешь.
Смирись, гордый человек!

* * *

Разлив революции вымыл фигуру мужика из-под разных напластований исторической чепухи. И из земли стали выпирать очертания его гигантской фигуры, как из какого-нибудь яра могучего Енисея выпирает иногда туша допотопного мамонта.

Оказалось, что та политика, которая создала русское государство и которая состояла в закреплении земли при помощи крестьянства и создании в последующем русского общества на его основе, — приобретает достоверность убедительную и потрясающую. «Крепостное право было теми лесами, при помощи которых была выстроена Россия», — писал Данилевский («Россия и Европа»), Но нужен был опыт города, чтобы убедиться во власти земли и в том, что шатущим пролетаризированным элементом никакого государства не создашь. Мужик всегда прикреплён к земле, как гвоздь, вбитый в землю, и если государство есть, в старом языке, — земля, то это государство и держится на мужике.

И как нам ни обидно было терпеть вышеупомянутое «заушение фактом» в тот сентябрьский ясный день под Пермью, всё же ясно, что тот только правит землёй, кто сидит на земле.

Если возможно было то огромное недоразумение, которое произошло в революцию, то только потому, что слишком далеки были между собой эти два слоя — мы с профессором В. — с одной стороны, и мужик в штанах фантази, задравши ноги возлежавший на полатях.

И если рабочий тоже пришёл к мужику с требованием кормить его, то только потому, что интеллигент спровоцировал на это рабочего, уверив его недалёкий, доверчивый ум, что-де «великие науки» таковы.

Интеллигенция врала на науку, ошалевший от сверкания машин тёмный рабочий поверил интеллигенту, и они «начали творить новую жизнь»…

А жизнь — увы! Стара, стара, как мир! Стара, как Библия…

* * *

— В поте лица твоего будешь есть хлеб! — сказала Библия.

В поте — от земли, от труда над ней. Земля — материя, которую должен преодолеть труд человека. Тогда получится культура. И даже то, что необходимо для индустрии, — то тоже

произведено недрами той же земли. Земля — везде и повсюду. Она неотвратима, как неотвратим голод тех, кто с ней в ссоре, как неотвратим холод тех, над кем нет крова.

Власть земли — страшная власть, власть вседержащая, хотя и тёмная, грубая, нелепая, как ноги в штанах фантази валяющегося на полатях мужика.

Но жизнь — хотя и груба, но права. И когда я слышу по поводу моей прошлой статьи о «Финале интеллигенции» горячие возражения на ту гордую тему, что как-де мол, «я да буду кланяться мужику?» — я могу сказать только одно:

— Немало горьких минут я сам пережил в ту холодную ночь в барке, слушая утончённо-изысканные наивные анекдоты под мерцание крупных звёзд… И я ясно понимал, что прибавь этому человеку, мужику, сидящему на земле и работающему над ней, то, что мы считали только достоянием «интеллигенции», то есть известную долю воспитания, гражданских обязанностей, сознания своей силы и своего долга перед родиной, — прибавь нам загодя больше превалирующего внимания к нему, к его нуждам, а не к красотам «итальянских мастеров», не к «прогрессу демократии на западе», не к «достижениям русского балета», не к «Руссо и Французской революции», — не были бы заострены так противоречия, выбросившие тогда нас с профессором В. на ночёвку под барку, не теряли бы теперь мы бесплодно нашего времени в нудном эмигрантском житье-бытье за то, что мы пренебрегли властью земли.

Гун-Бао. 1928. 16 декабря.

Горячие ключи

Среди тишины временной мёртвости современного растерянного русского сознания вдруг с шумом вылетели два гейзера, выброшенные, очевидно, какой-то накопленной внутри силой. Вот передо мной лежат издания русской европейской диаспоры — «Россия и Славянство», протяжённо-сложенный еженедельник, и коротенькая, плотная, с красным заголовком «Евразия».

«Россия и Славянство» выходит, как то значится под заголовком этой газеты славянским уставом, — под редакцией Петра Струве. Как ловкий конькобежец, этот потомственный эмигрант чертит новый наклонный вольт своей долгой литературной карьеры. Помню одну милую девушку, курсистку, лет двадцать тому назад… На мой банальный вопрос, как поживает её брат, она ответила, поджав губки, очевидно переполненная сплошь сознанием трагедии своего брата:

— Сплошная ломка!

Наблюдая почтенного Петра Бернгардовича на протяжении долгих лет, по чести я мог бы приложить к нему это определение, но только отнюдь не в положительном и скорбном качестве — сплошная ломка! Струве — близкий друг Ленина, состоявший с ним в переписке, Струве — первый насадитель марксизма… И затем длинный ряд «изменений милого лица»…

Конечно, чуткость — вещь хорошая, но изживание в своей собственной персоне целого ряда перемен, сплошная мягкость и гибкость до известной степени всем приелись. Если уж натура такова, то что ж делать. Но когда эта натура совершает свои изменения на глазах почтеннейшей публики, которая с уважением и страхом глядит на это действо, то невольно хочется обратиться с речью к этой почтеннейшей публике:

— Господа, перед вами человек, «ломка» которого стала его стационарным состоянием! А нам нужны люди цельные.

Вот и теперь. Не с чего, так с бубен, говорит Струве и козыряет славянством. Конечно, эта газета — отзвук недавних ласковых событий в Белграде, приёмов, поздравлений и проч. Мы не имеем ничего против использований всяких попутных течений — чтобы идти к одной нашей цели, к национальной России. Идти врозь, а бить вместе — гласил один из добрых революционных старых лозунгов. Да, но надо идти, а не шататься!..

О интеллигентское шатанье!.. Ещё со времён Белинского повелось изживать свои скорби публично и отягощать сердца своих близких собственными сомнениями… Говорят, животные,

когда им плохо, убегают в потаённые места, чтобы не пугать своих мохнатых собратий взъерошенным и страшным больным видом. Но почему в русском обществе пользуются успехом люди, не зовущие к жизни, к действенности, не просто-напросто верные и твёрдые, а люди «сомневающиеся», «ломающиеся» беспрерывно.

— Итак — не с чего, так со славянства! — говорит Струве и продолжает игру Леонтьева, Аксаковых, Хомякова…

Господь наш, пошли свою вечную славу
На наш, на славянский, на западный край…
На Драву, на Лабу, на светлую Саву,
На синий и тихий Дунай…

— примерно так говорил Хомяков.

Но, увы! Боюсь, что ничего не выйдет с неославизмом. Есть у идей особое свойство, которое так часто охотно и прочно забывает русская интеллигенция. Идея, существо живое, идея должна брызгать кровью.

Славянофильство и истекало кровью тогда, в войнах на Ближнем Востоке; кровью напоены, живой, горячей кровью творения московских славянофилов; споры и кипения кружков сороковых годов бурлили в Москве; раздавались в душах славянофилов старые отзвуки стрельцов на кремлёвских башнях:

— Велик город Москва! Славен город Казань!..

То была перекличка земли.

Теперешнее славянофильство — идёт не из Москвы, оно идёт из Белграда. Профершпилившиеся российские марксисты сели на содержание идей, двигавших Русью пятьдесят лет тому назад… Это славянофильство — слабое эхо, идущее из чужих сторон, против которых обрушивался тот же Леонтьев. *Это славянофильство — без Москвы.*

Москва теперь поёт свою собственную песню — пусть страшную; и вместо того чтобы звать к овладению своей столицей, чтобы сгорать в тоске по ней, как сгорают в тоске по матери, — новое славянофильство появляется перед нами в качестве стерилизованного политического хода. Был Маркс, была Дума, был Врангель, был Николай Николаевич, а теперь — братья славяне… Всё на пользу!

И замечательная вещь. В номере втором «России и Славянства» — я так и не нашёл ничего на славянофильские мотивы… Ничего… Нашёл только воду передовой статьи — о терроре, да «Воспоминания» Шульгина…

Оказывается, руководитель газеты П. Струве, аккуратно разобрав, что такое террор, — любезно и благосклонно на него

соглашается. Он до него добрался только теперь, когда в течение 10 лет Россия была в роковой братоубийственной войне объята красным и белым террорами!.. Десять лет он стоял в стороне…

Как жаль, что бесконечные жертвы этой войны, которые пользовались этим средством борьбы — террором и погибли от него, — не дожили до разъяснений Струве… Эти жертвы тогда бы знали, что они, в известной степени, были вправе делать то, что заставляла их делать жизнь…

У Мольера «Мещанин во дворянстве» очень поражён, узнав «научное» открытие, что он «говорит прозой». Конечно, кто боролся сам за то, что он считал «правдой», — тоже будет польщён разрешением Струве.

Не идеи, а идейки, слабые, маленькие, интеллигентские… Кичливость научности, а в главном — просто желание приспособиться…

Обратился я затем к «Евразии». Казалось бы, вот где, наконец, можно найти много реального понимания жизни. Но — увы!

У Струве — славянофильство без Москвы, от Белграда. У «Евразии» — евразийство без Азии, от Парижа. Вместо здоровой и полнокровной идеи реальной общности восточных народов, вместо противопоставления их силы силе Запада — евразийство наших западных собратьев всё больше и больше превращается в человечка в банке, в гомункулуса, ловко сделанного учёным схоластиком.

Просто подчас становится невозможно понять, что говорится на страницах евразийской литературы! Для кого она пишется? Для публики или для собственного самоуслаждения? Сам высочайший теолог Фома Аквинат писал более вразумительно, нежели это делают западные евразийцы. Проповедуя систему «идеократии», то есть систему господства группы, объединённой известной идеей, парижские евразийцы погружаются в какое-то утончённое мечтание, оторванное совершенно от жизни и от масс. Они утоньшились до такой степени, что их лозунги перестали быть боевыми, актуальными… Могут ли быть боевыми лозунги чуть ли не лунатического характера?

* * *

А всё-таки она вертится! А всё-таки — хотя и в куцем, смешном интеллигентском виде — поставлены новые, живые проблемы…

Должны быть поставлены. *Возродилась идея славянства* — пусть даже у Струве. Развивается проблема и Азии — хотя бы в

евразийских тусклых и неясных формах… И в конце концов русское общество чувствует какую-то живейшую потребность освободиться от старого образа мыслей…

Эти два гейзера — взлетели оттуда, из глубин русского сознания, где в раскалённой магме переплавляется жестокий опыт революции… И, раскланиваясь, изощряясь, облекая свои положения всем «учёным аппаратом» своего мышления, академически приседая на каждом шагу, российская интеллигенция идёт к тому, что исстари руководило русским народом в его исторической жизни.

И славянство, и азиатчина — не пустые для нас слова! В них — корень нашего самопознания, начало сознательной и планомерной политической жизни. Та же проблема Запада и Востока, но как они сдвинулись с мест! Удивительное дело. Западники теперь стали славянофилами, а славянофилы — евразийцами… Ещё один период сдвига — и западники перейдут на позицию евразийцев, а славянофилы — на ту позицию, которая возглашает, *что в Азии — мы дома*…

А вместе с этой подвижкой интеллигентского льда — идёт и возрождение старых фигур… Конечно, на роль идеолога и руководителя русской общественной мысли — выдвигается в первых рядах Константин Леонтьев.

Это он ушёл от Запада, он шёл на Восток, но остановился, ослеплённый башнями Константинополя, над зеркалами Босфора, на которых играл ещё радужный свет преемственности от великой Римской империи. И в этом эстетическом созерцании он не заметил, что тот свет, отблески которого он видел, — является светом с Востока.

Нас, наше поколение ждёт великое возрождение Востока, который получит в будущей России, сильной восточной политикой, настоящее отображение своих вековых чаяний и откровений, которое поставит его в ряд со странами Запада. А «Россия и Славянство», «Евразия» — детские шаги в этом направлении.

Гун-Бао. 1928. 30 декабря.

Пути китайской революции

Русский, присматривающийся к событиям китайского государства, в котором он живёт, не может не отметить ряда быстро следующих друг за другом головокружительных успехов этого последнего. Газеты приносят нам известия о том, что, в сущности, неравные договоры стоят перед своим концом, таможенная автономия даст возможность Китаю создавать свою промышленность, приглашать для этого же иностранный капитал, наконец, даст средства центральному правительству для его работы… Главное бедствие Китая — многочисленность разных армий — постепенно изживается в процессе сокращения их численности, доведения их до 700 тысяч, вместе с подчинением их центральному правительству. И таким образом, на наших почти глазах совершается чудо:

— Огромная, древняя страна Китай, страна чрезвычайно высокой духовной культуры и напряжения, страна, народ которой чрезвычайно одарён и работоспособен, — становится государством, обладающим всеми теми возможностями, которыми обладают современные западные государства. Вместо разрозненных, отдельных — правда — могучих частей — перед нами единое государство, с единой волей, с единой армией, признанное в своих правах и стоящее на бесконечной дороге развития и совершенствования, государство, полное сознания своего национального достоинства, своих национальных задач.

И теперь полезно для русских поставить один вопрос:

— Каким же путём удалось Китаю добиться столь важных и благодетельных результатов?

И ответ будет:

— *Через китайскую революцию!..*

Доктор Сун Ят-сен получил теперь то название, которое римляне в своё время давали своим героям, заслуженным перед отечеством, — *Отец Республики.* Да, это доктор Сун Ят-сен, выдающийся китайский деятель, скончавшийся в 1925 году в Пекине, — сделал современную китайскую республику своими умными, практичными, неустанными усилиями.

Как передают газеты, в скором времени состоятся торжества перенесения гроба Сун Ят-сена в Нанкин. Стеклянный гроб под звуки артиллерийской пальбы, под звуки оркестров, в присутствии огромных толп народа будет перенесён в горы неподалёку от Нанкина, где он и будет лежать, созерцая то, что сделал он для отечества.

Это — всё, что в силах сделать для оказания видимого почёта

соотечественники доктора Сун Ят-сена. А другие, невидимые почести будут оказаны ему народом путём усердных трудов на пользу нации…

* * *

Кто такой доктор Сун Ят-сен?

— Он родился 12 ноября 1866 года в маленькой деревушке Сияншан, в Гуандуне. 13-ти лет он переселился на Гонолулу, где учился в миссионерской школе, а потом в Гонконге, в Колледже Королевы… В Гонконге же он получил медицинское образование и начал практику врачом в Макао.

В это время он уже был революционером, смелым, предприимчивым. В 1896 году ему пришлось бежать из Кантона на Гавайи, а потом в Америку и в Англию… Его сотрудники в этом неудавшемся предприятии Чжан Ше-лян и Го Лао-хуай были казнены.

Вся его жизнь полна самыми причудливыми и опасными приключениями, из которых ему удавалось выходить с большим трудом.

Но он ставил на карту всё, вплоть до своей жизни, движимый единственно мыслью об отечестве. С 1906 года начинается его прямая борьба против Пекина в сообществе с некоторыми генералами старой армии. С большими затруднениями идёт эта борьба, и в 1909 году доктор Сун едет в Америку к своим соотечественникам за помощью…

Только десятая попытка его удалась, и в 1911 году революционными войсками был захвачен Ухань (это было 10 октября), и с этого времени одна провинция за другой стали присоединяться к революционерам. 1 января 1912 года Сун Ят-сен был выбран президентом Китая.

Тот самый доктор Сун Ят-сен, за голову которого год тому назад была назначена премия в 500 000 данное.

Движимый национальным чувством, доктор Сун Ят-сен отказался от президентства в пользу Юань Ши-кая, который и объединил Северный и Южный Китай; но Юань Ши-кай объявил себя императором, и снова вспыхнуло восстание.

Доктор Сун Ят-сен тогда, в 1917 году, образовал кантонское правительство, в противовес пекинскому, а после его смерти образованная им партия Гоминдан, то есть *Партия Республики,* многими сложными путями добилась, наконец, того положения и тех успехов, которыми она обладает в настоящее время.

* * *

Жива самсоновская загадка — как из горького вышло сладкое; как из ужасов и свирепствования и расстройств революции вышло, наконец, сильное национальное государство. Одно соединено с другим, положение сочетается со своей противоположностью. И старый доктор Сун умер со словами на устах:

— Мир… И борьба… Спасите Китай!..

Сорок лет он провёл в борьбе, и те, кто раньше считал его революционером, — перешли на сторону его сторонников. Он выдвинул три своих принципа, *Сан — Мин — Цюй,* которые заключаются в следующем:

— Нация! Демократия! Жизнь народу…

Этим трём принципам и была посвящена вся деятельность доктора Суна, и эти три принципа легли в основание теперешнего положения государства китайского. Революция эта не затронула тех основ, на которых лежит жизнь всякого народа, не затронула вечных народных прав.

Доктор Сун боролся за революцию не для себя, а для своего народа…

Его пример — пример для русских и для России.

Мы, живущие в Китае, видели, какими извилистыми тропинками вели свою работу принадлежащие к партии Гоминдан. Мы знали, каким угрозам подвергались они, когда сторонники левых течений умели разжечь в народе самые низменные страсти и превратить его в бушующее пламя… Мы видели, что до последней поры имя Сун Ят-сен было революционным именем…

Но люди, стоявшие во главе китайской революции, — оказались обладающими большой головой… Они отлично знали человеческую психологию, и именно возникавшие затруднения использовали для того, чтобы толкать народ на правильный путь… *Революция в Китае шла туда, куда хотел внутренне и, может быть, бессознательно сам народ;* в исполнившейся реальной воле народной черпала она своё окончание, свой победный конец и начало новых достижений, а вовсе не в какой-нибудь химерической теории, которая, тем не менее, должна была быть воплощена в жизнь во что бы то ни стало. В китайской революции отчётливо сказалось практическое, трезвое свойство китайского ума:

— Не ослепляясь никакими химерами, никакими обольщениями, она шла к реальному — к устроению жизни человека на земле в данной обстановке, в данном времени, в

данных условиях…

Китайской революции — а в ней было много героического, и, несомненно, доктор Сун куда героичнее того же Ленина, — свойственен мирный, человеколюбивый, национальный, истинно демократический характер. Все вожди Гоминдана — просты, и в этой простоте, в близости их к народу они кладут своё главное достоинство.

Китайская революция в своих порывах оказалась спущенной на тормозах властными и умными руководителями, и вот почему она оказалась столь благодетельной.

* * *

Со стороны моих соотечественников, живущих в настоящее время в Китае, желательно было бы внимательное отношение к тем великим и поучительным событиям, которые разыгрываются на их глазах. *Русским надо учиться у Китая и революции, как когда-то, 700 лет тому назад здесь они учились монархии.*

Всякий беспристрастный наблюдатель скажет, что в наличном финале китайской революции он видит только положительные качества таковой, и поэтому он, до известной степени, примирится и с русской революцией и перестанет восклицать знаменитым восклицанием:

— Да может ли быть что-либо доброе от Назарета?

Он увидит, что революция в сущности своей стремится к миру, спокойствию, благосостоянию, национальной зажиточности, к чему вообще стремятся всегда все люди, причём только эти блага должны быть в послереволюционном строе предоставлены *большему* количеству людей.

Он увидит, что революция *права,* поскольку она стремится к этому, и она сбита с толку, когда ей навязывают разные химерические теории некоторые милостивые государи, одни — по глупости, а другие — из хитрых видов.

Он увидит, что можно быть революционером и в то же время горячим националистом, каким был доктор Сун.

Наконец, он увидит, какой энтузиазм, какие силы пробуждает в народе националистически повёрнутая революция.

Он увидит, какие бесконечные пути по укреплению Востока развёртываются сейчас перед Китаем.

И увидав это, всякий русский с тем большей грустью глянет на то, что творится на его родине, которая сбилась с пути национальной революции, столь *радостно встреченной ею в 1917 году.*

Гун-Бао. 1929. 23 января.

Кризис евразийства

— Как, только что началось, и уже кризис?

— Что делать! Должно быть, то судьба русских идеологических устремлений…

Не расцвёл и отцвёл
В утре пасмурных дней…

А между тем скажите, положа руку на сердце, что было за последние годы роскошнее, эффектнее и свежее начала евразийства?.. Начала вообще всегда бывают блистательны — вспомним первые века христианства, вспомним Реформацию, вспомним, наконец, русскую революцию… В идейной игре, как и в шахматах, дебюты очень легки:

— Несколько общих идей, и дело пошло…

Зато очень затруднителен «эндшпиль».

— Порыв должен быть сохранён и всё же облечён в рамки железной рациональности…

Что говорить — в евразийстве были роскошны дебюты. Как всякая удачная мысль, как всякая по существу верная идея — евразийство очень просто… Просто люди подсмотрели то, на что в течение двух-трёх веков никто не обращал должного внимания, просто раскрыли старый, забытый на чердаках завалявшийся сундук… И оттуда блеснула ярко и самоцветно красота старого…

Что такое евразийство в главных чертах?

— Это открытие русской истории, её ренессанс… Сначала русской истории, примерно до Петра — не было, было чёрт знает что:

Хитрость да обманы,
Злоба да насилья,
Грозные Иваны,
Тёмные Василии…

Что тут хорошего?

И только евразийство, в сущности, открыло этот сохранившийся аромат допетровского сундука… Оттуда пахнуло пестротою и изысканностью старой культуры, роскошью русско-восточного быта, пряной, медовой росой широких степей, блеснули переливно самоцветы Кремля и Москвы, усаженной

золотыми церковными главками, широкой волью и негой Волги, переливами её голубых шелков, пахнуло тем, что издавна составляло в непосредственном, безглагольном созерцании душу русской музыки, музыки Мусоргского, Серова, Глинки, Римского-Корсакова, пахнуло тем, что такой прелестью звучит до нашего времени в «Слове о полку Игореве», что звучит в сказании о «Золотом петушке», о «Царе Салтане» — и у Пушкина, и у Римского.

То, что звучит в германской душе, музыкально выявил и оформил гений Вагнера… Но этот трепетный и могучий порыв «Кольца Нибелунгов», эту героическую, добродетельную и сладострастную в то же время силу немецкий гений явил не только в трескучие фанфары и валторны; трепетный полёт Валькирий поняли и осознали не только в музыке — а и в философии — это был Шопенгауэр; его скептицизм исправил в своей философской поэзии вагнерианец Ницше, однажды подслушавший, как упоительно бьют в полночь часы на площади св. Марка в Венеции…

— А радость жаждет вечности!

— Двенадцать!

Евразийство было первой попыткой опознать в понятиях то, что мы давно знали уже в музыке, то, что прельщало русских в народном искусстве…

Одним словом, когда евразийцы начали говорить, когда они, задыхаясь от восторга, — а мы давно уже не слыхали восторга искренности! — заговорили, что запахло кизяком, и слышно стало, как заревели верблюды в степи, — к их речам начали трепетно прислушиваться, осознавать, что то, что говорится в этих речах, — в сущности, давно принято и усвоено нами, массами, — в красоте, в искусстве, в православии, в государственности, наконец.

Переберите по пальцам явления последних лет, и значительнее, красочнее, сильнее, проще движения, нежели евразийство, — вы не встретите… Это был голос осознавшего самого себя в своей сущности немотствующего до той поры великоросса, за которого доселе говорили в негативных определениях дворяне — славянофилы…

Успех евразийства был чрезвычайный. По Западу — это было триумфальное шествие восторгов, с одной стороны, и истошных оскорблённых воплей интеллигенции западнического пошиба — с другой. Не надо этим господам было ни русских Ницше, ни русских Шопенгауэров.

* * *

Тогда уже, с самого начала в евразийстве намечалось несколько направлений, но во имя общего дела и общей воли — ответвления евразийства не высказывали своих претензий. И группа, собразовавшаяся на Западе, в Париже, повела уверенно и плодотворно своё дело до тех пор, покамест не впала в некий первородный грех.

Вместо того чтобы, изув обувь, подойти к идее евразийства и постепенно выкапывать освобождающиеся от многолетних накоплений наносной земли её божественный, хотя и примитивный торс, — эта группа занялась тем, что устроила из евразийства политическую партию. Вместо того чтобы предаваться этой работе в тиши своих кабинетов, ожидая того времени, когда, наконец, настанет пора для всенародного распространения этой идеи, главное — для культурной работы на её основании, — эта группа выступила на арену политической деятельности.

Конечно, нельзя отрицать того, что евразийцы, как люди, изо всех своих сил и способностей старающиеся ощутить этот дух русского исторического бытия, — отметили, что большевизм, в смысле своей стихийности, — национален, потому хотя бы, что ни в одном государстве, кроме России, нельзя было ждать того, что происходит там сейчас, — это повторение в XX веке Разинщины и Пугачёвщины; но отсюда, от этого признания сущности русской революции, свойственной русскому народу, — ещё огромное поле до того, чтобы признать в положительных качествах эту Разинщину и Пугачёвщину.

И в то время как хотя бы пишущий эти строки, примыкавший к системе евразийских идей, во всех своих писаниях отмечал нелепость русского бунта, «бессмысленного и беспощадного», нашлись среди западных евразийцев люди, которые занялись очень соблазнительной и рискованной проблемой:

— Найти смысл у бессмысленного, найти у коммунизма национальные строительные качества.

Эти западные евразийцы, засевшие на парижских асфальтовых бульварах, только на момент получили прекрасное видение далёкого прошлого; они на миг увидали интуитивно прекрасный мираж, скрывшийся за парижскими соборами и дворцами Наполеоновской славы; они отвергли Петра Великого и правдивость эволюции, которую он заповедал России. И очутились у тронов московских современных ханчиков не то в роли митрополита Петра, не то в роли просвещённых конституционалистов-демократов у трона былой империи.

В своём этом сдвиге и угодничестве силам дня сего они из русской истории приняли не её могучий, железный и моральный

смысл, ведший к полному примирению с прошлым и отвергавший ненужную революцию, а только бунт, поражённые и соблазнённые парадоксальностью своих воззрений.

Вот почему, вместо того чтобы стать с русским зарубежным обществом и наукой в деятельные, скромные, но плодотворные отношения, они навлекли на себя бурю негодований, защищая то, что защищать весьма трудно, и мешая моральные устремления великого хана Чингиса с лихими разорительными наездами современных социалистических Тамерланов.

* * *

Пишущему эти строки этот вопрос неизвестен точно, но можно предполагать, что между Москвой и штабом западных евразийцев существовали какие-то меркантильные отношения, вроде даже снабжения средствами.

Возможно, это обычная судьба политических авантюр, в которых одна сторона силится обмануть сторону другую, якобы «для пользы дела».

Но, по слухам, дело доходило до того, что кто-то, на манер Шульгина, даже ездил в Россию, где ему показывали, на манер князя Потёмкина, разные усердно работающие кружки «евразийцев». Соответственно с этим в писаниях евразийцев показались такие тирады, которые навлекли на них негодование всего культурного мира.

Очевидно для того, чтобы избыть этой навязчивой и внимательной толпы, нюхом чувствующей, где есть политическое жульство, евразийцы теперь выпустили вместо «Хроники» и вместо академических «Временников» — еженедельник «Евразию», где все статьи транспонировали на столь высокий и отвлечённый тон, что они оказываются просто в своём большинстве явно невразумительными и рассчитанными не на понимание, а на непонимание публики:

— *Мы приняли,* — говорит передовая в № 8 «Евразии», — *русскую революцию как революцию интернациональную, нужную и благую для всего человечества…*

Таким образом, получается вольт полностью в 180 градусов…

Вместо основания национального самопонимания и самораскрытия, евразийство в западном течении взяло на себя любимую русскую мессианскую идею во вкусе традиций московского университета, не имея для этого ни достаточно сильных фигур, ни достаточно сильных идей… «Всечеловеческий универсализм» их — вещь, которая не по пути для строительства

России ближайших дней…

И поэтому с древа евразийства должно осыпаться всё то живое и непосредственное, что ставит себе на первом плане национальные, а не интернациональные задачи, под какими бы то ни было соусами…

* * *

И листья действительно посыпались. Первый и наиболее значительный в чёткости своей мысли евразиец князь Н. С. Трубецкой письмом в № 7 «Евразии» — заявляет о своём выходе из евразийской организации.

— «Евразия» в своих выпусках отмечала одно течение евразийства… — говорит он, — я признаю невозможность в ближайшее время восстановить внутреннее необходимое единство и равновесие евразийства… Нести ответственность за теперешнюю эволюцию евразийства я не хочу и не могу…

Этот выход из организации, в сущности, главного основоположника евразийства показал, что раскол зашёл слишком далеко, что его скрывать нельзя. Пора заявить о том, что в евразийстве появились ереси.

Место не позволяет мне коснуться этих ересей в настоящей статье, но надо отметить, что это левое примиренческое течение евразийства втянуло в себя самым причудливым образом для основания указанного выше интернационализма — марксизм и федорианство, элементы далеко не одинаково почтенные, но одинаково чуждые евразийству.

Можно считать, что грядущее десятилетие будет десятилетием смерти мифа марксизма как социологической теории истории; что касается федорианства, т. е. учения Н. Фёдорова, бывшего библиотекаря Румянцевского музея в Москве, выраженного в его книге «Философия Общего Дела», то это учение, глубокое и важное по своему содержанию, едва ли так, наспех, может быть употреблено для подкладки евразийству «стиля нуво».

И поэтому мы с прискорбием констатируем:

— Кризис евразийства зашёл слишком далеко, и, вышедшее динамично и чётко из правильных посылок, оно заблудилось в русском интеллигентном бездорожье. Мы резко и определённо отмежёвываемся от него и кладём руль в сторону систематического исследования проблем русской истории и культуры с точки зрении общности судеб Азии и России, думая, что программа эта будет исполнена не в скороспелом «ударном

порядке», а растянется на сотню лет культурной работы русского общества, а главное — будущего национального русского министерства иностранных дел.

Гун-Бао. 1929. 31 января.

Обскурантизм или гуманизм?

В нашей газете уже упоминалась как крайне симптоматичная — статья Н. Бердяева в № 13 «Пути» (изд. в Париже) под заглавием «Обскурантизм». Мы ещё раз возвращаемся к этой теме, ввиду того несомненного значения, которое она обнаруживает.

Итак, Бердяев обвиняет всё русское общество не в чём другом, как в обскурантизме, тем самым бросая ему по старым понятиям едва ли не тягчайшее обвинение.

Что такое обскурантизм?

Бердяев совершенно правильно определяет это понятие, говоря, что «обскурантизм есть принципиальное отношение к знанию, к просвещению»… Сам обскурант может быть просвещённейшим человеком, может быть последовательнейшим и радикальнейшим мыслителем; его обскурантизм начинается тогда, когда он начнёт предупреждать проникновение той или иной просвещённости в массы:

— Для массы надлежит непросвещённое состояние — вот заповедь обскуранта.

Оглядевшись кругом, Бердяев и находит, что это обскурантское (то есть буквально — *затемнительное*) настроение прорезывает теперь все слои русского общества. Обскурантски настроена эмигрантская интеллигенция, не исключая молодёжи, поскольку последняя далека от разных просветительных тенденций для народа и поскольку ею управляет страх революции; обскуранты и сами большевики, поскольку они не пропускают в массу никакого просвещения. Наконец, обскурантски настроена сама церковь православная, поскольку она не больно любит софианистические настроения известной части русского кружка, которой прилежит и Бердяев, и в лице того же митрополита Антония обороняется, и весьма энергично, от этих запоздалых отрыжек утончённого александрийского гностицизма.

Конечно, ситуация, обрисованная Бердяевым, очень страшна; но вопрос позволителен в том смысле, *справедлива ли* сама эта обрисовка?..

Действительно, не встречаемся ли мы в этом определении с некоторой аберрацией, некоторым искажением — пережитком от старых времён русской интеллигенции?..

— Обскурантизм — в русской молодёжи! Обскурантизм — в русской интеллигенции… Неужели тени Аскоченского и Победоносцева и прочих «жупелов» встали и распростёрли свои

крылья над осознанием русской действительности?

В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простёр совиные крыла…

Это было бы чересчур жестоко! Неужели интеллигенция возжаждала просвещения *только для себя* самой? Неужели революция — читает книги только в лице тонких и скептически настроенных вождей? Или впрямь церковь в лице своих пастырей софианна до конца и тщательно огораживает верующих, чтобы туда не проникло зерно утончённого скепсиса или, наоборот, — вдохновенного гнозиса?

* * *

Должно не обинуясь сказать, что *такое* изображение состояния умов русского общества — не соответствует действительности. Это изображение — выцветший дагерротип с прежних счастливых дней.

Как двадцатитысячнопудовая ферма моста незаметно, но неуклонно движется на своё место под натяжением притягивающих её воротов и стальных тросов, так и история движется там, где она кажется неподвижной. Бердяев отметил лишь внешнее явление — привыкнув в продолжение десятилетий быть в центре ведущей русской группы, всегда что-то значить, он вдруг заметил, что вдруг остаётся один.

Оценить это событие, объяснить его только как «обскурантизм», то есть только взять старое понятие, вернее старый полуобраз из прошлого, — значит не оценить его вовсе.

Этот образ приходит как объяснение лишь только в том случае, если оставить неприкосновенной систему старых координат, которыми руководствовалась «довоенная» русская интеллигенция; и главной характеристикой этих координат будет предвзятая мысль об эстетической ценности всякого знания вообще как такового. Бердяев прав, говоря, что в современном подсмотренном им «обскурантизме» *есть элемент страха,* — верно, это есть!.. Но это страх не за то, что знание слишком широко разольётся в массах и массы сделаются могущественны этим знанием; нет, этот страх относится к самому знанию и ставит перед нами вопрос:

— Да абсолютно ли ценно само-то знание в практическом

укладе?

Для того типа обскуранта, который рисует Бердяев, — само знание безусловно ценно, возвышенно, прекрасно, и только *грязная* толпа не может понять его. Соответственный тип старого русского доброго барина, в персидском архалуке, с французским лорнетом, с чеканного дела табакеркой в руках, погружённого в энциклопедичность, — а что характеризует любовь к эстетическому знанию, как не энциклопедичность такового и эрудиция в нём, — в настоящее время исчез; соответственно исчез и один нюанс в обскурантизме — неизбежное соединение обскурантизма с просвещённым абсолютизмом… Никто — ни эмиграция, ни интеллигенция, ни революционная руководящая масса, ни сама, наконец, церковь — не желают более опекать и руководить массами.

Все они требуют одного:

— Самодеятельности самих масс, их соборности, с одной стороны, и известного морального упора в знании — с другой…

* * *

В русской литературе мы видим много образцов описания *такого* знания; возьмём хотя бы Ремизова, эстетический стиль которого весьма высок, или хотя бы Бунина.

В прежней литературе — это почерпание из византийских изборников, все эти «Рафли», «Звездочёты», «Вороногра и», «Шестодневы» и проч., и проч. В новой литературе — это было удивление перед западной наукой, перед достижениями человеческого ума.

Мысль старой интеллигенции была очень напряжённой по существу, тонкой и зачастую доходила до поразительных супранатуральных граней; зато ей недоставало *силы.* При высоком интеллектуальном *вольтаже* — она не имела значительной мощности в своих амперах; эта мысль была мыслью — *единиц,* которые и могли играть роль красочных представителей Екатерининского и Александровского времени господства интеллектуалов-помещиков, типов более литературных, нежели живых…

Теперь настало время ампеража. Разверзшаяся в революции пропасть между образованным и необразованным классами — удивила даже самих революционеров: недаром они бросились засыпать её разным хламом, вроде ликвидации безграмотности…

И в этой разрозненности, в господстве этих средних веков, которые лежали, притаясь, где-то во мраке деревень и полей

России, встал во весь рост обвинительный акт такому знанию:

— *Толпа оказалась некультурной!*

Культура сходна по характеру своему с войском — как в войске, для того чтобы оно было высокого качества, каждый солдат должен быть обучен своему артикулу в широком смысле при помощи одиночного обучения, так и в культурном государстве каждый его член должен быть обучен, воспитан так, чтобы знать свои гражданские обязанности. Напряжение духа интеллигенции должно было распространиться и на весь народ; при высоком вольтаже должен бы был быть и соответственный ампераж, широта потока. А этого, как известно, не было.

Ни контрреволюционеров, ни революционеров в современном русском обществе нельзя винить в том, что они что-то знают, а другим не хотят сказать, эстетически развлекаясь знанием в своём одиночестве, как развлекается эстет, пересыпая в чёрной агатовой чаше собрание чудесных опалов… Нет, и контрреволюционеры, и революционеры прежде всего обращаются к массам; правда, это больше свойственно революционерам — контрреволюционеры пока больше говорят, что за ними массы, но и у тех и у других тенденция несомненна:

— Только то знание справедливо и нужно, которое найдёт себе какой-то отклик в массах. Вне его — настоящего знания нет.

Этот момент годности знания для масс — характеризуется его *моральным,* в широком смысле, оттенком, который в нём противостоит эстетическому нюансу, характерному для интеллигентского знания. И то, что этот критерий правильности знания есть *правильный* критерий, явствует из того, что в этих сменяющихся общественных формах наиболее устойчивой является церковь, которая именно издавна усвоила себе моральный массовый — соборный характер знания.

* * *

Что в настоящее время представляют собой Бердяев и та группа, которая с ним?..

Небольшой обмылок прежнего, который уносится прибылой водой настоящего… Бердяев — образец рафинированной русской интеллигенции, голос которой не слышен ни для кого.

Общественный элемент знания, его прагматизм — вот что выдвигают на первый план обстоятельства времени; и в то время как рушились и рушатся построения Бердяевых, в продолжение целых веков живое тело Христа — Церковь стоит и живёт, находя свою силу именно во внутренних моральных устремлениях;

поэтому и русская мысль ищет аналогичной опоры знания в обществе. Нечего говорить, что контрреволюция — религиозна; и ведь сколько исписано бумаги о том, что и революция стремится стать своеобразной религией…

Бердяев, возлагая на плечи себе горделивую задачу — во что бы то ни стало «усовершенствовать» свой разум, не видит новых живых веяний. Русское общество стремится припасть к груди матери — народа своего, чтобы там найти и новые пути, и новые силы.

Бранить это явление обскурантизмом, обижаться на то, что прошло время старых богов, — совершенно не приходится. Наоборот, надо бы готовиться к тому, чтобы отдать ответ на страшном и близком суде народном в том, как легко разные русские литераторы сеяли разные ереси, стремясь за тонкостью и изяществом «заумных» знаний, оскорбляя этим малых сих, нелепо составляя государство из единичных Максимов Ковалевских и многомиллионных Распутиных и удивляясь, что софианство и прочие тонкости уже стали встречать недоверие, а то и здоровый смех Ульриха фон Гуттена, который именно в своих письмах показал, что в старых схоластиках сидят *тёмные* люди, а те, кого схоластики считали тёмными, — приняли главное имя

— Гуманистов!

Гун-Бао. 1929. 21 февраля.

К новой России

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить…

Ну, конечно!

— Старые птицы, старые песни…

«Особенная стать»… Аршином не измерить… Можно только верить…

Сколько рулад мы слышали на эту несложную тему!.. И славянофилы… И западники… И восточники… И евразийцы… И марксисты… И многие им подобные открывали Россию как нечто совершенно небывалое.

В России усматривали особый «русский дух», «русскую стать», «нечто отличное» от Запада. В сущности говоря, в этом уже был некоторый прогресс.

Потому что в старое доброе время никто на Руси не интересовался Западом и подобных проблем не ставил. Русский боярин, выйдя по своим надобностям на свой широкий двор и встречая там приехавшего с визитом иностранца, осведомлялся не очень учтиво:

— Чево тебе здесь надобно?

Россия, или, если угодно, Русь, — стояла тогда нерушимо в своём именно том обличии, которое было ей свойственно… Худо это или хорошо это, «особая ли стать» была тогда у народной толщи, или же нет, — об этом и вопроса не подымалось — средневековье дышит упористо и твёрдо собственным дыханием.

Русский был русским, немец был немцем, татарин был татарином, и взаимоотношения между этими разными индивидами могли быть теми или другими — независимо от теоретических воззрений на существо русского духа:

— Таковые — судьбы нового времени…

Да и теперь положение по существу таково же. Спросите у русского мужика — какая у него «стать»… Едва ли вы получите ответ, достойный Шпенглера, Леонтьева или хотя бы Ленина… Крестьянин, крепкий, как факт.

Особенность русского народа появилась, как появляется

начаток каждого знания, — из сравнения. Из опознанного в этом сравнении отличия:

— Это *не то*… Это что-то особенное…

Вот когда дело дошло до опознавания, что же это особенное, причём процесс этого опознавания был принят на себя интеллигенцией, то тут и пошли известные разногласия:

— Потому что каждый из русских мыслителей — оказался подобным Кювье, который из одного позвонка какого-то там допотопного животного конструировал весь скелет…

Но Кювье был один; а русских Кювье оказалось великое множество… И психологически инертно, пользуясь известной системой полученных ранее общественных, исторических и прочих навыков, — эти господа стали конструировать формы России из глубины своего духа, руководствуясь теми или иными своими теориями, красивыми аналогиями, в которых очень много эстетики, и особой верой, свойственной каждому живому народу, — известного рода верой в мессианскую задачу России…

В России было мало философов, зато, увы! — много философствующих. И в этом опознании сказалось это качество:

— По поводу России все критиковали и философствовали вкривь и вкось…

Возьмите любого нашего публициста и мыслителя; красивые образы, сравнения, вера, порыв, приподнятость чувств… Но его сосед опровергает его не менее пышным фонтаном образов, сравнений, предуказаний, многозначительных намёков…

Пока всё это остаётся хотя бы в сфере искусства — всё это очень хорошо… Но как только эти интеллигибельные построения (или, по-современному, — «заумные») привести на свет науки — обязательно для всех, то от них ничего не остаётся, как от пышного фейерверка днём:

— Потому что все эти построения и гадания о «судьбах» России — есть только фейерверки, в соответствующей им общей тьме сознания. Это — красивый свет, пышный узор, рождённый из света, который, однако, не очертит действительности, а только сместит её очертания.

* * *

В самом деле. В чём отличие России, как известного понятия, от Запада?

Очень просто. В том же, в чём отличие западного курорта от русского пейзажа.

Есть особый род гармонии, который мы чувствуем от тех

вещей, которые нам доставляет культура, сделанное, убранное руками.

Они — нам приятны, эти вещи. Дорожки — прямы, везде стоят скамейки, крашеные, чистые, удобные. Деревья — подстрижены, для бумаг — корзинки, трава не засорена. Люди — все не лохматы, а подстрижены, прилично одеты, не ругают предпоследними словами. Прислуга — на местах, вежлива, каждый охотно и чётко исполняет своё дело. Ворота в парк открываются в известное время, и, обедая, вы не видите в супе волос и мух (что, по существу, совершенно естественно — волос с головы стряпухи, муха, потерявшая сознание, — падают в суп).

Вы ясно чувствуете, что вся окружающая обстановка вокруг вас пронизана рациональностью, легка, не давит вас своей никчёмностью, необузданностью, грубостью, наконец… Совершенно естественно, что с людьми приятнее иметь дело, нежели со зверями, а с культурными и воспитанными людьми — приятнее, нежели с лохматыми детьми природы…

Описывать соответственные русские виды я не буду — они известны всем; так было раньше, так осталось и теперь. Скажу только, что элемент уверенности в будущем при такой постановке дела играет весьма существенную роль. Если вы выставляете сапоги за дверь для чистки в иностранной гостинице — вы *знаете,* что найдёте их чистыми наутро. В русской гостинице у вас их просто сопрут, и, как известно из совпрессы, — их даже надо прятать под подушку…

Никакого элемента рационализации в русской действительности нет, или очень мало — просто сам народ не воспитан в том, что нужно делать так, а не иначе, для его же собственной выгоды и пользы.

Русская действительность при таком положении — не английский парк, где по шнуркам разбиты дорожки, где поставлены стрелки, чтобы не заблудиться, где сделано всё, чтобы облегчить приручить враждебную природу, — а дремучий, заваленный буреломом и валежником лес, через который не продерёшься без трат и в физиономии, и в костюме.

Естественно, что у такого леса — особая стать, которой нет у леса «западного». Живущие в оном лесу — так-таки и уверены, что всё это «естественно». Есть, правда, приходящие из города лейтенанты Гланы, которые наслаждаются такой близостью к природе; но свою эстетику они записывают потом за письменными столами своих удобных комнат и печатают на скоропечатных ротационках.

Что могут гадатели, стоящие на опушке такого леса с его западной стороны или обзирающие его на аэроплане, — знать о

нём?

Разве только, что он — «велик», что он — «могуч», что он полон той глубокой внутренней жизни, которой полна всякая природа, что он страшен, когда загудит в бурю, тих и приятен в вёдро, и так далее, и так далее — всё это, что вы уже найдёте в стихах Кольцова на эту же тему…

Ну, а кто же знает этот русский лес так, как человечество знает популярный лес западный, подчищенный, осветлённый огромной произведённой над ним рациональной коллективной — человеческой культурной работой…

— И никто не может знать, потому что *этой-то работы фактически произведено не было*…

В этом-то всё отличие «Руси» от «Запада».

* * *

Западная наука основательно и чётко, в огромном широком всенародном труде своём проработала свою действительность; какую отрасль западной жизни вы ни возьмите — везде там оформлено, ограничено, заточено в чёткие очертания, подобные пчелиным сотам.

Мы видим, что там проделана большая работа. Лес западного быта — расчищен по дорожкам, по просекам, вполне доступен не только для прогулок, но и для внутреннего дальнейшего исследования.

Потому-то и есть соблазн для многих отечественных современных Петров Великих прорубать в русском лесу просеки, аналогичные тем, которые они видят на приготовленных картах Запада!

Легко! Так рубят теперь лес марксисты… и попадают в неопознанные овраги.

Никакое эстетическое гадание, что-де за этим чёрным лесом стоит золотой дворец Ивана-царевича, где живут разные роскошные Птицы Счастья, — делу не поможет. Поможет только всенародная работа в лесу, повседневная, трудная, настойчивая…

Куда ни сунется отдельно русский человек, у которого широко и свободно вертится голова на плечах и который поэтому видит больше, нежели шоры привычки, быта или окружения, он видит, что везде работы непочатый край.

Русские не знают России, не знают её и до сих пор. Русская экономика, русское сельское хозяйство, жизнь народных крестьянских масс, русские способности и русский национальный характер, национальные характеры полноправных к выражению

их национальных меньшинств, входящих в состав русской державы, русская история — русская религия — всё это покрыто мраком неизвестности…

Хвалёная русская литература большей частью описывала свои собственные индивидуальные переживания, сомнения и печали, и в этой индивидуальщине — проявила большое искусство. Но из-за её деревьев мы не видели всё-таки самого леса, не видели действительности…

И в результате этого — действительно приходилось в Россию *верить, а не знать;* кто же способен аршином вымерять страну, которая идёт огромным валом национального инстинкта, кто же может иметь что-либо, кроме *веры* в неё?

И если такая огромная, всенародная, национальная, опознавательная работа будет проведена, то окажется, что у России имеется свой собственный лик, не требующий никаких сравнений и доказательств, не вызывающий никаких споров. Споры возможны только там, где нет объективности материала, нет объективности науки.

Объективность! Только одна объективность! Расчистка дремучего леса (не предрассудков — ибо и предрассудки народные объективны!) — и мы увидим, где пролагать дороги для строительства государства с ясно, чётко выраженными национальными чертами, государства, удобного для жилья и работы, практичного и приспособленного, чего, конечно, никогда не добиться современным, одержимым марксизмом коммунистам.

Довольно веры, довольно суеверий!

Гун-Бао. 1929. 10 марта.

Приход объективности

Итак, пред нами, прежде всего, задача объективности, задача осветления русского дремучего леса правильно расположенными просеками, дорогами и так далее, всем тем, что относится к так называемой культурной работе.

А такое осветление уже есть. Революция принесла нам такое знание русского народа, каким раньше нельзя было похвастать.

В государственной схеме мысли, которой руководилась дореволюционная Россия, — был набросан как бы известный порядок, не столько объективный, сколько отвечавший практическим нуждам своей эпохи. «Мать Россия», «Русь», «Вера, царь и отечество», а потом — «парламентаризм» и «демократия» — одним словом, все те понятия, которые жили в широких массах русского народа, — всё это было некоторым лозунгом, принимая

который необходимо обязывали себя делать и дальнейшие выводы в смысле «обязанностей гражданина».

Необходимо отметить, что пишущего эти строки интересует не наличие и содержание тех или иных понятий и вопросов у того или другого учёного, а их социально-политическая сторона — поскольку такие понятия были распространены в массах и формовали собой если не активное содействие масс тому, что делали сознательные, высшие слои, то, во всяком случае, их массовое молчаливое приятие и созерцание. Если, положим, такая формула, как «вера, царь и народ» имела известное значение, то не только потому, что её произносили отдельные уста какого-нибудь Пуришкевича, а и потому, что в молчании масс или, наоборот, — в криках «ура» — она находила свой упор именно в народ, в массу.

Наличие революции, конечно, было раскрытием того обстоятельства, что объективность таких лозунгов подверглась большому сомнению. Правда, есть и теперь небольшие группы, которые до сих пор твердят это содержание, но оно уже не соответствует «массовости», не оправдывается массой и представляет из себя просто некий психологический образец консервации мысли, невозможности осознать для некоторых объективность своего положения. Такие личности и группы, сохраняющие старые лозунги в полной их неприкосновенности, — подобны любопытным музейным фигурам, восковым статуям в паноптикуме.

Уже известным достижением русского народа было сознание относительности этих старых лозунгов, сознание того, что эти ведущие лозунги только тогда правильны, когда их восклики отражены тысячекратным народным раскатом. В этой гармонии лозунга и народа лежит объективная сила политической мысли.

И в то время, когда умирали старые лозунги, — в народе проявились новые живые линии и революция оживила национальные осознания русских меньшинств.

* * *

Теперь, после двенадцати лет революции, — нельзя отрицать эти осознания: в результате их — появились и лимитрофы, и известные автономистские тенденции, областной национализм, который, причудливо смешиваясь с заигрыванием Москвы, во что бы то ни стало желающей сохранить старое единство, даёт неожиданные плоды, о чём мы уже неоднократно писали. Никто не сомневается в том, что в будущей России нельзя больше будет

применять к меньшинствам такую грубую нивелирующую политику, как то было до революции. Равным образом этот же факт революции делает предостережение и некоторым слишком большим шовинистам из этих меньшинств, напоминая им весьма вразумительно, что не всегда лозунги, порождённые волей и страстью, обидой, злопамятством, бывают прочны.

Усиление же областных влияний, проявляющееся сейчас в России, — влечёт за собой ещё одно последствие, а именно — утрату влияния столиц России, утрату их преобладания над «провинцией». Провинция выступает теперь на первый план. В будущей России не будет больше этого исступлённого обожания столицы, «где науки и искусства», где почему-то больше всего привлекали публику «театры», словно без этих фальшивых нарядных и фантастических учреждений нельзя жить народу. Театр — это опий прошлой России.

Каждый город новой России, каждый её уголок будет не менее важен, нежели столица, где представляют «на театрах», где стоят университеты, «где упражняются в науках и безверии профессора»… Не будет больше дорогая Чухлома насмешливым именем, а и оттуда придут люди, которые будут требовать отчёта и предъявлять свои нужды «столичным» франтам от фрака и идеи…

Но животворно проливающаяся в тусклое сознание объективность не ограничивается только лишь сознанием текущего момента — хлещет и в прошлое, в русскую историю. Русская история была всегда историей старой условной России и подлаживалась к её лозунгам. Трудно в настоящее время читать без горькой улыбки хотя бы того же В. О. Ключевского, который в свою мудрость и лукавость дьяка XVII века протягивает либеральные формулы, зачастую чрезвычайно приблизительно.

Национальные меньшинства разрабатывают свои истории, и, таким образом, русская история рано или поздно соборно возникнет как свод таких отдельных историй, как возникали старые летописные своды, содержание которых потом переплавлялось на огоньке разных лозунгов момента. Одновременно с этим прежняя мессианистичность русской истории должна будет уступить место упору в землячества, в историю местную… И только тогда станет очевидным тот умный и сложный механизм, которым построено было государство русское — не абстрактным лозунгом, а живой игрой живых сил.

В частности, мы найдём в этой истории русских областей немало поучительных моментов; например интересен мало кому известный порыв Поволжья, в ту пору недавно ещё присоединённого к Русскому царству во время Смутного времени:

отойти и образовать своё Поволжское царство под ферулой Турции или Персии. В то время как Москва была в кипении, когда она присягала и Владиславу, и ворам, Поволжье никому не присягало, держалось в стороне и, в отчаянии от происходящего, возжелало сепарации; и оттуда же, с этой Поволжской Украины, изошло движение, объединившее Русь — не лозунгами, но силой, вдохнувшее новое содержание в московскую форму.

Не из-за дождей долго стояло поволжское ополчение, но из-за несогласия по выработке именно этой новой тактики.

Таким образом, просеки, осветляющие огромное царство Руси, мало-помалу проясняются и располагаются по этнографическим и историческим границам русского населения. И думается, мы не ошибёмся, если скажем, что они идут ещё и по другим линиям:

— По сословным…

* * *

Интеллигенция русская жила в столицах, городах и изображала собой культурную силу, соль земли… Но соль земли потеряла свою солёность и не осолила в один прекрасный день государства… Говоря старым языком, «приказ умер, а осталась земщина».

Крестьянство — земщина, земля — вообще было не в фаворе чиновного приказа. Когда стараются как можно сильнее обругать Распутина за то, что он советовал то же, что советовал Бисмарк, а именно — не воевать с Германией, то наиболее выразительное словцо для этого выбирают — «мужик».

И в подвале, убранном персидскими коврами и серебряной старинной утварью, князь Юсупов, последний боковой отпрыск древнего татарского рода, травит цианистым калием, потом решетит из револьвера — кого же?

Посмотрите его только что вышедшие записки — и вы увидите то же сакраментальное слово:

— Мужика!

— Убита собака! — захлёбываясь, писали газеты.

А образ мужика Распутина своей тенью накрыл Россию; пули, которые летели в его широкую спину, — летели в спину символического мужика. Только мужик Распутин не дал себя обмануть в той свистопляске, которая поднялась в вихре международной политики, в котором очумела чиновная Россия, — и в него стали стрелять, его стали травить…

Есть от чего в отчаяние прийти!

Последующие события вымели высшие классы и то же дворянство из России — и если кто и остался теперь в России не тронутый революцией, прошумевшей в «столицах» и в «городах», то это только мужик.

Ещё Чаадаев говорил, что катаклизм может произойти только там, где есть строение высокое; где стоит деревянная и соломенная Русь — никакого разрушения, катастроф быть не может. Русь может только сгореть, а там быть снова построенной из вековечного материала.

И мужик, действительно, уцелел. Нужна революция, чтобы русская интеллигенция почувствовала так ярко, какая сила — мужик. И пройдёт немного времени, да и теперь уже это ясно видно, и будет ясно новое объективное сознание — достижение:

— В мужика стрелять не годится!.. На него надо ровняться!..

В чём растёт значение мужика? Да в том, что он начинает мало-помалу понимать, что тот, кто кормит страну, тот в ней хозяин… Он кормит её настолько изобильно, что у царей хватало денег ещё на постройку столиц, этих великолепных каменных снов итальянских, французских, русских зодчих… А у нынешних коммунистических мещан, покамест правящих Россией, хватает денег на эстетические постройки разных фабрик… Эстетических — потому что практического значения в них мало…

Новая Россия будет думать мыслью мужика, практичной, ясной и простой, и она отринет всякие театральные представления в столицах, хотя бы построенных из гранита и порфира или же, по-современному, из железобетона…

* * *

Зрелище мужика, становящегося хозяином своей земли, готовит ещё новое откровение старым интеллигентам, любителям старых лозунгов. Оказывается, у этого мужика есть и своя культура, и своё миросозерцание!

А именно — Церковь.

Несмотря на все распоряжения из новых столиц — мужик не отменяет Церковь… Он не устраивает, правда, боёв за неё; на несчастья и гонения священников он смотрит довольно спокойно, как он вообще смотрел всегда на действия власти — молча. Но, тем не менее, православие — стоит…

Это тоже объективная истина, и только самые шальные умы хотели бы выкорчевать все церквушки, в которых висят старые чудотворные иконы… Бесполезное занятие! Вера — легка, как воздух, которого нет как будто под рукой и который, в то же

время, объективно давит с силой тысячи пудов на человеческое тело…

Мы становимся свидетелями любопытнейшего зрелища:

— К вере православной начинают подходить, правда, очень осторожно, разные старые политические грешники, вроде Брешко-Брешковской. Пройдёт немного времени, и мы увидим пункт о православии включённым именно в народнические и социалистические эволюционистские программы… Это ли не объективность?..

А принятие этого пункта в число пунктов программ необычайно тактически сильно:

— Ведь оно снимет главнейший пункт расхождения между правыми и левыми.

И если Хувер, вступая на президентское кресло, произнёс присягу, положив руку на Библию, почему не произнесёт присяги будущий президент России — положив руку на Евангелие и крест?

Подражать Западу, так подражать во всём!..

* * *

Президент?

— Может быть!

— А может быть и царь?..

— Может быть!.. Очень может быть… Но пока неизвестно, в какие одежды оденется русская мысль, объективная народная мысль, одежды, которые теперь хранятся в древних расписных укладах…

Мы жаждем только одного:

— Для того чтобы прекратилась революция, необходимо, чтобы народ получил то, что он сам хочет… Это главное.

Думается, что со смертью великого князя Николая Николаевича положение большевиков несколько ухудшилось в смысле возможности неожиданных политических течений:

— Дело в том, что покойный главнокомандующий, сохраняя свою военную организацию и говоря от имени её, — всё время напоминал всей России эпоху гражданской войны и непримиримость этого остатка белой армии.

Этим и пользовались коммунисты, указывая на эту непримиримость. А со смертью двух вождей, великого князя и Врангеля, — уж новых подобных опасностей не создашь!.. И тут в народе начнёт действовать всесильный дух объективности… Постепенно. Ведь — всё течёт, — возглашал Гераклит…

— К новой России!

Гун-Бао. 1929. 15 марта.

Диалог о старом и новом

— Что за чепуху пишете вы? — встречают меня мои добрые друзья. — Что Россия была неизвестна, что ли, как Центральная Африка, что ли?.. Стэнли Ливингстонов вам надо, Грум-Гржимайло, Пржевальских, Куков? Лес, лес! Но ведь в лесу-то *жили*… И в тайгах живут люди, для которых тайга — не *тайга,* а открытая книга. Почитайте прекрасную книгу Арсеньева, про его изумительные странствования по Сихотэ-Алиню, чудесному приморскому заповедному таёжному урману — разве не изумительна фигура его вожатого — Дерсу Узала?

— Правильно, — отвечу я на эти *буквальные* замечания, — всё правильно… Правда, подобные таёжные следопыты были в русской жизни, и знали они лес тем внутренним нюхом, которым обычно люди постигают природу… Но — знание знанию рознь…

Эти следопыты были единственными в своём роде, индивидуальными; их круг знаний не был широк, он был, напротив, весьма ограничен и узок…

Да, были люди, знавшие в полном смысле русскую действительность, — позвольте назвать среди них хотя бы Мельникова, Щапова, сибиряков Ливанова, с его исследованием религиозной жизни, Шелгунова, с его некоторыми необычайно глубокими статьями по истории России, Лескова и вообще этот сонм мелких, не шумно славных писателей и учёных, судьба произведений которых — долгий сон на полках библиотек, в пыли и в книжных червецах.

Да, эти люди, действительно, знали Россию, и вот почему — при обдумывании путей к России новой — наша мысль упирается в их образы.

Были по Руси раскиданы разные архивные комиссии. Общества изучения таких-то и таких-то краёв — и так далее, которые занимались работой незаметной и плодотворной. Вспоминаю Ярославское древлехранилище, которое так и пахнуло на меня, как свежестью из погреба в пыльный зной, — свежестью исторической… Они — были незаметными следопытами, ползавшими по лицу русского заповедника, они знали Россию — но Россия-то не знала их…

— Не знала? Мельникова-то не знала?

— Ну, Мельникова одного и знала, а других вы и сами не знаете… А Мельникова знала как «бытописателя ушедшего быта»,

вроде любопытного чудака, и ничего актуального в нём не замечалось… А между тем…

— Что между тем?..

— Он мог бы быть вождём, особым, новым, мелким вождём… Не верите? Ну вот… Но оставим сие, потому что подобные вопросы разжигают страсти.

— Ну, в таком случае что же мы знали про Россию, если не сказания следопытов…

— А вот что… Это был целый ряд легенд, сказок, преданий, таких или эдаких, но всё примерно подобранных в одном духе. Эти легенды отнюдь не заключали в себе указаний на карты тайги, ни компаса для её прохождения… Нет, это были взрывы как бы веры, иногда — суеверий… Во-первых, были заявления, что ясность, хорошая жизнь только за пределами русского леса… Карамзин, попав в Швейцарию, — целовал там чужую землю… На кой чёрт она ему? Повоевавшие наши чудо-богатыри 1812 года — стали устраивать масонские ложи, причём названия лож совершенно не оставлявшие никаких сомнений: «К свету», «Новая Заря» и т. д. Если при этом и было какое-нибудь самосознание, то непременно — по контрасту — как, например, это было с господином Радищевым, который столь раскатал весь путь по первой просеке нашей, по дороге из Петербурга в Москву… Радищева, этого трусливого обличителя, прекрасно разыграл и обругал Пушкин — но кто знает это обличение?

Воцарился на Руси потом Фохт, и Молешотт, Бюхнер и «Штофф унд Крафт», и материализм принял воинствующий суеверный характер… Потом пришёл марксизм… Это было не *знание,* а это было воспитание каких-то тоже индивидуальных вождей, опьянённых этими своими знаниями так, как таёжников опьяняет спирт… Интеллигенты не были западниками в том смысле, в котором следует понимать это слово, нет, они просто *шаманили,* эти лесные люди, оборотясь на Запад. Целый век над Россией раздаётся истошный стук то тех, то этих шаманских бубнов, и в этом шуме, как всегда бывает, истина плачет, стоя одиноко в углу…

— Позвольте, если вы изображаете таким образом всё сознание России как одержимое некими лесными туманами, то каким же образом существовала сама Россия? А ведь она стояла и правила в продолжении XIX и начале XX веков нерушимо…

— Не поймите меня неверно, должен я вас предупредить… В камлании, в шаманстве бывают вещи изумительные, и тоже в некотором согласии с природой. Что профессор Штецнер, скептический немец, вылечился камланием шамана от лихорадки, — сам же он рассказывал это в ОИМК. Есть в самом

шаманстве некоторая приспособленность к России, её вдыхание, вчувствование… Возьмите хотя бы одного из таких русских шаманов — Ал. Блока, высочайшего интеллигента и поэта… Его лирические и другие переживания до такой степени насыщены чувством жизни, что он, положительно, в некоторых случаях становится пророком… Человек, который в 1914 году писал:

Испепеляющие годы.
Безумья ль в вас, надежны ль весть?
От дней войны, от дней свободы
Кровавый отсвет в лицах есть…

— значит больше, чем рядовой человек… Он, действительно, слышит «рост трав», и «с ним говорит морская волна»… Это не метафора, как и не метафора, когда Христос в белом венчике из роз идёт впереди красногвардейцев, у которых «горькое житьё, рваное пальтишко, австрийское ружьё»… Конечно, на него обрушились за это все, кто пострадал от лесного вихря, но ведь игра-то ещё не разыграна…

— Но при всём том — при всей их важности, всё-таки такие откровения шаманов — не *знание*… Знание для меня, для вас, для него — ясно, точно и определённо. Знание — математика, дважды два четыре… А шаманы непременно требовали стеариновую свечку! Но шаманы пребывали в некоем лесном, сумеречном сознании, а государственное дело в России — шло помимо, своим чередом… Интеллигентные шаманы в нём-то и не участвовали…

— Как, интеллигенция — не участвовала в русской государственной жизни?

— Интеллигенция преимущественно участвовала в государственных впечатлениях, а государственная работа целиком лежала на плечах чиновников и вообще специалистов дела управления Россией… Среди таких были очень большие люди… А если вы их не знаете, то потому, что русская литературочка в своём камлании не касалась просто их или рисовала их в таких красках, что и не узнать… Одержимые мешали людям с ясным сознанием, а люди с ясным сознанием именно-то и знали, постигали Россию, почему теперь всё чаще и чаще приходят на язык имена деловых чиновных людей России.

— Ну, их было немного!..

— Простите, имя им легион!.. Это все те самые незаметные столоначальники, экзекуторы, статские советники, которые выводятся и обличаются в сатирических стишках и водевилях, это они вывозили Россию и они же вывозят её и теперь. Это им лил

«Сатирикон» помои на голову в образе Симеона Плюмажева, это их теперь жрёт «Крокодил», это их выводил в геометрических абрисах А. Белый в своём «Петербурге»… Конечно, шаманам претят эти геометрические прямые линии Петербурга, претит народ, который живёт не ужасом перед некоторыми древними силами, а, наоборот, почитанием власти и трезвым дневным сознанием долга… Они и бранились… А между тем среди этих «градоначальников», которых мы непременно представляем по неистовству Щедрина, — среди этих экзекуторов (Яичница — помните, у Гоголя?) — были такие фигуры, как Витте, Столыпин, Победоносцев, Катков и др., и др.

— Позвольте, окончательная чепуха. Вы говорите, что мы идём, прогрессируем к *новой России.* Так ведь? Потом вы говорите, что *новая* Россия состоит в *опознании* России, так? Дальше — эти люди, имена которых вы назвали, — они, по вашим словам, *знали* Россию… Так выходит (торжествующе), что Столыпин и Победоносцев вели нас к новой России, то есть были настоящими прогрессистами? Ха-ха-ха!

— Совершенно верно… Именно они строили русское напрочно. Именно так… В этом-то наша и катастрофа… Духовная жизнь народа, которую захватили наши милейшие шаманы, мистики, визионеры, социалистические Торквемады, росла куда-то всегда в бок от государственной жизни, росла так, как растёт сломанный ствол берёзки-двояшки, буйно, кудряво, нелепо… Но «красиво»…

Но главное-то, несущей силой — оставался всё-таки ствол прямой, ствол сознания, который и нёс политическую силу…

— Политическую силу?.. Но разве политика не была достоянием тех, кого вы так презрительно называете шаманами?

— Позвольте оговориться… Почему — презрительно? Я хочу этим образным словоупотреблением указать на резко выдающуюся черту в сознании русского общества, и эта резкость подчёркивает эту черту… Но вся штука-то в том, что *политика* никогда не была достоянием шаманов, и ваше весьма ходячее заявление — не что иное как печальное, хотя и долговременное заблуждение…

— ?!?

— Да, именно заблуждение, и ещё резче — ложь! Политиканство, в котором господствуют чувства и экзальтация, — не есть политика, простите… Политика, как говорит добрый греческий язык, который теперь не принято знать, — указывает нам, что политика — это «городов устроение».

При чём же это устроение и разрушительные тенденции пляшущих шаманов?.. Ерунда… Единственными политиками у

нас были именно государственно служилые чиновники, или, говоря по-современному, настоящая политика в России всегда была национализирована… Государство строило само себя…

— А политические партии?

— Пардон!.. У нас не было *политических партий*…

Была, вернее, единственная — государственная партия, и, до известной степени, — партия тех, кто поддерживал государство… Прочие же «партии», так называющие себя, — не партии…

— А что же?

— Секты, что ли…

Чёрт их знает! Ведь их отличие в том, что они не имели ясного сознания о происходящем, а покоились на догматике… Лесные формы порождали в них туманные грёзы… Одни верили в общину, другие, наоборот, в фабрику, все мечтали эсхатологически о конце мира и о достижении всеобщего благополучия, и в то же время ненавидели друг друга глубоко и страстно…

Разве политическая партия в той же Европе ненавидит своего противника… Нет, она *знает* его, как он знает её, и оба взаимно аккуратно разгораживают свои притязания…

Но наши партии прославляли — каждая своего бога как бога истины, усердно его нахваливала и мечтала о своей диктатуре…

— И что же?..

— Да то же, что и вышло… Диктатура взята одними людьми, которые принялись, первым долгом, уничтожать всё то, что не влезает в их *волю*. Значит, у них господствует *волевое* эмоциональное начало…

Они — шаманы… И от их коммунистических камланий свет не разгорается, а только меркнет… Они сменили только старых шаманов государственности — были и такие, и дело остаётся по-прежнему.

— По-прежнему?..

— Да, по-прежнему, в тех же руках, в которых оно и было. Работают старые комиссии и уездные, ныне получившие другое наименование, выкапывается то, что было предложено «к познанию России» пятьдесят лет тому назад и более, столыпинская реформа проницает общее сознание как очередная задача с уважением взирать на дела Витте, экзекуторов развелось ещё больше, они ещё «смешнее», но что-то все делают, что-то гоношат…

Одним словом, помните — «Всюду жизнь!» — картина сентиментального, но доброго Ярошенки. Революционные шаманы утопаются в своих камланиях, замолкнут обломавшие свои языки российские интеллигенты, и пожалуйте трудиться,

трудиться и трудиться… И знаете, что во всей этой истории самое приятное?

— Да?

— Что новая-то Россия как-то примыкает к старой… Консерватизм, в настоящем живом своём духе, сливается с новыми идеями… Оправдывается этим революция, поскольку с неё снимается обвинение, что она опровергает старое, а с оправданием революции — идёт великое национальное примирение…

— Между шаманами?..

— Нет, между шаманами примирения быть не может… Но кончается наше средневековье и идёт великолепная русская просвещённость…

Новая Россия встаёт, как феникс из пепла, очищенная, осознанная и примирённая…

— Примирённая? Опять то же? Помните, вы уж писали как-то, что видели сон о том, как Ленин, гуляя, беседует с Сергием Радонежским? Не это ли?..

— Не знаю, не знаю, право… Уж вы очень остро ставите вопросы… Скажу только, как некий новый Панглосс, что, устремляя свой взор не на будущее, ещё неизвестное, но в отложенное в памяти прошлое, не могу не установить, что всё к лучшему в этом лучшем из миров… Знание, знание, знание — и остальное приложится…

— А шаманы?

— А шаманы — мы будем держать их в музеях искусства и в своих кабинетах, куда надо уйти время от времени, чтобы освежиться и набраться полёта дум для новой мелкой работы… И знаете, что нужно для России теперь больше всего?

— А ну?

— Крупные мелкие люди. Как грибки по зелёному бору — крепкие, хрусткие и, главное, ровненькие, ровненькие… И чтобы Россия их знала.

Гун-Бао. 1929. 19 марта.

Драма в лесу

Подчас оторопь берёт от неуменья высказать свои собственные мысли до конца — думаешь, утешаясь:

— Что ж, будет же на Руси когда-нибудь великий ум, который сделает сводку того, что передумали и перечувствовали мы. Он ответит за всех! Он даст труд, чёткий, ясный и твёрдый, как бриллиант, играющий своими гранями, а мы — мы дадим пока

фрагменты, записи на полях, «отметку резкую ногтей»…

* * *

Есть в русской революции один момент, который стоит того, чтобы ему посвятить этот фрагмент. А именно.

1917-й год… Нарастание революционного чувства; изображая переход от февраля к ноябрю, принято излагать это как нарастание разрухи, всяческих безобразий; так, по крайней мере, излагают дело контрреволюционеры. Что касается революционеров, то они так бахвалятся, говорят такие пышные хвастливые пошлости, что просто — ну уши вянут! Фразеология — хорошая вещь, но не слишком…

Но есть ещё один путь к изображению этого процесса, путь объективный… Кто работал в этот период торжества революции? Конечно, революционеры всех мастей, и преимущественно социалисты всех мастей. Кадеты — те конфузливо присоединяли свои протестующие и предостерегающие голоса к ликующему хору, но эти голоса погибали в воплях и тимпанах восторга… Это ликовала сама русская интеллигенция, пюр сан…

Были ли у неё основания ликовать? Были! Русская интеллигенция всегда любила изобразительные искусства, в которых она искала настроений… Левитан давал ей их так, как давал Художественный театр… Социализм давал ей эти настроения, как поэзия Якубовича-Мельшина… Дягилев в балете вполне соответствовал Ремизову или Горькому в литературе…

В этих изобразительных искусствах Россия всегда была очень впереди других стран, и интеллигенция — страшно этим гордилась… Впрочем, страны и не интересовались иллюзиями. Даже странно, чем можно было гордиться в этой игре теней, в этом создании цветного хаоса высочайшей изысканности, в этой мятели чувств красочности необычайной…

А между тем гордость была, и гордость была бесовская… Интеллигенция показала высочайшую степень вживания в мировые проблемы, прочувствования их *ин конкрето,* в достижении образов истинно пророческой силы… Один Ал. Блок чего стоит — человек, стихи которого — форменное визионерство, стоящее «Божественной поэмы». Оторванная от своей земли, от своей истории, русская интеллигенция творила сплошное дело своего личного духовного интуитивного опыта, глубоко не интересуясь землёю; напрашивается сравнение этого времени со средними веками в Европе, где Христос и Мария были, действительно, живыми существами, которые входили в

мир и ходили по душам.

Но есть одно крупное отличие, видение русской души от средневековых взлётов романского гения — у русских эти взлёты были безблагодатны… Они были только ослепительно, демонически красивы, кощунственно отождествляя Божество с красотой.

Возьмём плеяду русских последних декадентов, поэтов и так далее, и через эстетов в мохнатых визитках и лиловых галстуках мы прямо пройдём от крепкой жизни «бабищи румяной», пахнущей луком Альдонсы, — к благоухающей Дульцинее…

— *Беру кусок жизни, простой и грубой, и творю сказочную легенду,* — заявил Сологуб, а его слова повторяли все, кому не лень… Эта же неизвестная сологубовская дама — Красота, зачастую выказывала черты, в сущности, — совершенно дьявольские…

И удивительно ли, что интеллигенция в пафосе революции, раскалявшейся с февраля до октября, всё больше и больше всерьёз принимала тягу к сладостной легенде, прочь от жизни — простой и грубой да огрубевавшей всё более и более…

Иллюзия! Иллюзия! Иллюзия! Вот кто царствовал тогда в русском обществе, лесные навьи чары, туманы над болотами, блазнящие красивые русалочьи фигуры на сучьях дерев.

Разожжённая мечта о Божестве в средних веках вылилась в Крестовые походы… Рвань Петра Амьенского в русской действительности была заменена рванью Ленина, и толпы двинулись туда, куда их звала русская интеллигенция, особливо в лице социалистов, то есть «соли русской земли», — «в царство свободы из царства необходимости».

* * *

В разгар нелепостей октября, в разгар гражданской войны и голодовки, в разгар казней и расстрелов, в проклятом 18-м году — один русский интеллигент, кадет, однажды горячо заявил мне:

— Мне не стыдно быть русским человеком!..

Он таким образом подписался под тем, что он принимал стремления коммунизма, хотя принимал их в «идеальном», в русском мессианском смысле… И русская интеллигенция, в сущности, весь свой сознательный век от 60-х годов и до нашего времени — не этого ли и хотела:

— Постановки на мировой сцене своей русской пьесы, изображающей новую, лучшую жизнь всего человечества!..

Поговорите с любым русским интеллигентом даже теперь, и

он признается, что коммунизм — «в идее» — хорош. Хорош — вы слышите, господа?..

Интеллигент не возмутится насилием над личностью, он не будет протестовать в защиту старого порядка вещей, он не обратит внимания на толпы — тех плотников, которым суждено перетаскивать тяжёлые декорации для новой постановки… Ведь его интересует лишь «идея»…

На мировом театре готовится к постановке пьеса русской мечты… Выше Художественного и его «Синей Птицы».

— Ставится — «Красная Птица»…

Разве не это читала эта русская же интеллигенция в книжках о Сен-Симоне, Суэне и Фурье?.. Не «Утопия» ли — издавна привилась её душе?.. Не знакомые ли фаланстеры раскрыли в коммунизме свои стеклянные фасады, о которых столько писали русские беллетристы, русские публицисты?..

Разве коммунизм — «в идее» — в аскетизме, в искании правды, — не наследник прямой и законный именно русской интеллигенции? Не она ли повинна в нём?

Да, он прямой и законный наследник, должны мы сказать, и вот почему все коммунисты — работники Октября, с такой радостью и с такой непоколебимостью развивали свои интернациональные построения перед интернациональной интеллигенцией. Они верили глубоко и страстно, что все — понимаете ли, все силы русского общества придут им на помощь и все отнесутся к ним с участием, все будут им помогать. А больше всех — интеллигенция… Даже рабочие — потом…

В этой своей уверенности — революционеры от Октября проявляли массу наивного простодушия… Отпустили же они русских профессоров и интеллигентов в 1922 году за границу в полной уверенности, что тем там будет плохо, среди «буржуазии»…

— И рыбу бросили в реку…

* * *

И получилась трагедия.

Дремавшие, неоформленные, закопанные инстинкты государственности и консервации возобладали в интеллигенции, указали, где центр её духовной тяжести. Интеллигенция бежала от постановки новой пьесы.

Толпа, покорно сидевшая у ног своих революционных пророков, отхлынула прочь, и пророки остались одни.

Остался с ними один единственный интеллигент — рара авис

ин террис! — знаменитый Максим, рассудку вопреки, наперекор стихиям.

Как при земляных работах рабочие там и сям оставляют в выемках столбики земли, для того чтобы видно было, какой слой снят, подобно такому столбику высится непоколебимо Максим Горький.

Вот чем была прошлая интеллигенция… Но там, где раньше окружал этот столб толстый земляной слой, — уже ничего нет, и сам он, в качестве образца, тоже не очень устойчив… Того гляди, сменит вехи. И вместо инженеров, докторов, учёных, академиков, профессоров — на гигантскую работу постройки нового строя — с советчиками вышли одни неистовые пролетарии, тем твёрже, чем они невежественнее…

Вот откуда эта подозрительность к спецам. Вот откуда эта ненависть к академикам. Вот откуда эта злоба к интеллигенции, которую мы видим со стороны совдеятелей…

Ведь они силой вещей обречены на то, чтобы в век дифференцированного знания работать с полуграмотными «выдвиженцами», с невежественной «сменой»… Представьте, что было бы, если бы Европа вдруг стала бы управляться рабочими, портными и сапожниками…

И эти «выдвиженцы» безграмотны, потому что как только человек становится грамотным — он немедленно отходит от коммунизма, он «разлагается».

Нельзя же, действительно, в наше время сидеть на Марксе и на тому подобной чепухе, и не только сидеть, но и держать на нём целую страну.

А из этой полуграмотности — те самые бессмысленные результаты «работы» пролетариата, которые мы видим в России.

Постановочка «Красной птицы счастья» не удалась, и плотники не могут заменить авторов, хотя у первых «мозолистые руки».

Вот какая забавная история приключилась в русском лесу; революция не удалась, потому что ведущая её интеллигенция бросилась назад немедленно же.

В коммунистической религии остались одни стойкие диковатые Османы, но Магометов там нет, и Бога видеть некому… Революция крахнула ещё в саботаже её 1917-го года…

Но вместе с нею крахнула и старая платформа интеллигенции. Она ещё твердит старые заветы Милюковых и прочих… Она, правда, ещё подменяет задним числом наскоро свои прежние предреволюционные настроения более правыми, консервативными. Она ещё плачет о старых днях — это больше всего.

Но неуспех этой погони за реальной красотой через презрение к «румяной бабище — Жизни» — научил её кое-чему.

А прежде всего тому, что реальна сама жизнь, содружество современников, отечество и старые традиции, наконец, сам народ и его нужды, и только через реальную эту обстановку, вернее, в ней — нужно следить идеальную красоту жизни, а не наоборот. И это сознание — претворённое в понятие, проповедованное социально, педагогически — положит один из камней Новой России…

Интеллигенция сбежала с корабля, идущего в заветную Палестину; она осталась в гаванях Венеции, Греции и Италии. А на кораблях, обречённых на гибель в море, видны только фигуры простых людей, поверивших «учёным»… А те — на берегу, со своим грузом раскаяния и новых задач…

Гун-Бао. 1929. 27 марта.

Наука и религия (*Пасхальное размышление*)

Пасха!

Величайший из православных праздников…

Означение торжества Жизни над Смертью, Жизни над Адом…

Праздник Воскресения Вечного, праздник, по существу своему окрыляющий человечество небывалыми горизонтами:

— Смерти нет!.. Есть Воскресение и Жизнь вечная!..

Праздник — невероятный по своей сущности.

Праздник, утверждающий воскресение, утверждающий жизнь, в то время как весь мир мы видим под аспектом смертности, предельности… «Все люди смертны, Кай — человек, следовательно — Кай смертен» — стало первой образцовой фигурой силлогизма. Мы знаем, что все люди смертны.

Мы знаем… А что сравнится со знанием? Знание — сама гордость… Будьте как боги — сказал Змий Еве и Адаму, будьте как боги, знайте и доброе, и злое!..

И знание утвердило на земле своё могущество. Оно в математике, в естественных науках разграфило весь мир, расчертило небо меридианами, указало, как ходят светила, научилось составлять разные вещества в новое целое, устроило товарный мир техники…

И возгордилось. Возгордилось не без основания:

— Ведь оно немало добра принесло людям… Оно дало им кров, одежду, комфорт, изобретения и силу…

Тот человек, который мудр и прост в душе, — тот отлично знает, что это знание, могущественное и нужное, — могущественно и нужно лишь в известных пределах… Он понимает, что знание не есть воспроизведение действительности, а упрощение её, которое даёт возможность находить законы природы. Он знает, что для знания нужны так называемые «рабочие гипотезы», которые помогают действовать… И поэтому он к знанию относится с полным уважением, однако, понимая всю его структуру и не преувеличивая его значения.

Но мудрецов в жизни мало… Кроме мудрецов — есть толпа, всеми свойствами толпы обладающая… Она легковерна, она панична, она бежит за ведущими её людьми, она жаждет чуда и могущества личности…

И эти отдельные неразборчивые личности стали строить свой авторитет пред толпой на том, что они стали «колдунами от науки»… Они стали объявлять, что они знают насквозь всю

сущность мира, что только наука знает это; рабочие гипотезы (вроде материализма) они объявили действительностью, проповедуют суеверие о материи; зная из знания смерть — они стали проповедовать, что мир смертен; услыхав из астрономии, что небо — пустота, — они стали проповедовать, что Богу негде жить, что, стало быть, Его нет.

Как мальчишки устраивают войну с беззащитными репейниками, скача на палочке, размахивая прутиком и наслаждаясь стоим могуществом, так эти колдуны от науки — стали громить слабые, детские суеверия прошлых лет. Как недалёкий человек, побывавший в городе, подчас начинает презирать родную деревню, так эти научные колдуны стали презирать то состояние человечества, в котором оно находилось ещё вчера…

— Сильнее кошки зверя нет! — говорит бедная мышь на корабле.

— Наука всего сильнее! — восклицают эти бедные люди… И, пользуясь своей «силой», громят прежние младенческие знания.

Для них всякое изобретение — не плод рук человека, такого же, как они, а «плод науки и просвещения». Пред радио они сидят с суеверным восторгом пред человеческим умом. Какое-нибудь приспособление для передачи изображения на расстояние приводит их в суеверный восторг.

И они заявляют:

— Нет силы, кроме силы науки, нет ничего, кроме того, что изобретает она.

И повторяется с точностью история о Вавилонской башне. Построили люди пять, десять этажей — но не удовольствовались этим.

Они стали строить «до неба».

Построили люди радио, но не довольствуются тем, что получают каждый день новости и биржевые курсы…

Разговаривая по телефону из Америки в Англию и Францию, они требуют к телефону самого Господа Бога…

И не слыша Его ответа, они удостоверяют облыжно, что Его нет… Они утверждают, что жизнь — сплошь материальна, и менделеевская таблица и спектральный анализ проницают Вселенную.

И они утверждают, что на земле царит смерть. И они учат, что нужно «ловить момент»:

Да, сладкий горошек достанется нам,
Мы даже стручочки облупим.
А Царствие Божие — мы воробьям

И ангелам Божьим уступим…

Они Небом пытаются управлять с Земли.

* * *

Когда умер король испанский Филипп II, строитель Эскуриала, 30 000 панихид должны были быть непрерывно вознесены за его царственную тёмную душу.

Когда его Непобедимая Армада двинулась на сражение с врагом и от этого сражения зависело положение Испании, — весь народ испанский пел молебны.

Когда Византию осаждали турки, то сражалась на стенах Константинополя какая-нибудь тысяча генуэзских воинов, а 100 000 здоровых мужчин пели молебны, просили, чтобы чудо низошло с небес и прогнало турок.

Непобедимая Армада погибла, несмотря на все моления.

Магомет II влетел по трупам и на коне вскакал прямо в св. Софию.

А что стало с бедной душой владыки Эскуриала от 30 000 панихид — мы не знаем.

Козявки от науки карабкаются на небо и погрязают в суевериях. Козявки от религии делают вид, что они спускаются с неба как его представители — и погрязают в суевериях.

Одни стоят других.

* * *

Но никто — ни истинный служитель Науки, ни истинный служитель Религии — никогда не подойдут с оскорбительными словами один к другому; оттого что математик, вычисляющий размеры будущего моста, его возможную нагрузку и прочее, — не верит в реальность материи, — мост нисколько не станет от этого менее прочен.

Мир религии и мир науки совершенно различны между собой; мир науки — это *мир знания.* Мир религии — *мир веры.* Чем в большей чистоте развивается знание — тем в большей степени оно освобождается от всяких примесей суеверия, вроде материализма, позитивизма и так далее.

С другой стороны, чем больше развивается вера, тем в большей степени она освобождается от элементов научности,

космогоничности и т. д., одним словом, всего, что составляет историческую часть Библии.

Мир науки развивается в бесконечность, всё время усложняясь и уточняясь, в то же время всё больше и больше теряя почву для научных площадных суеверий. И чем больше развивается мир религии, тем больше мы видим, как развивается мир веры. Вера есть тот же род знания, «откровение вещей невидимых», но она совершенно трансцендентна, то есть лежит за гранью естественно научного знания. Вера представляет мир в совершенно другом аспекте, но столь же реальном, как и мир физический. И этот мир веры — реальный мир добра.

* * *

Что же — эти два мира совершенно оторваны, они бывают сливаемы усилиями человека; там, где человек действует, не только опираясь на законы природы, но и стараясь сделать что-нибудь хорошее, он необходимо должен пройти через понятие добра. Добро в материалистической суеверной философии — сплошное недоразумение; сколько бы ни исчисляли «пользу», «количество удовольствия» и так далее — мир науки холоден, как лёд, и из него ничего не построить. Мир душевной теплоты, без которого не может существовать человек, — весь в религии.

В мире добра — царствуют свои законы, имеются свои порядки, свои взаимоотношения. В нём есть свои небеса, своё Солнце, свой Царь. В нём витают ангелы, живут святые, в нём есть всё, чем грезит человечество, отдаваясь своим заветным вещим снам.

Решаясь сделать что-нибудь или не делать — человек всегда пропускает своё решение через огонь морального решения, если он свободен и действительно *человек,* а не игралище страстей, физических сил. И через это решение входит в мир науки — иной мир, мир религии. То, что мы делаем, должно непременно быть признано добрым; при тщательном подборе добрых дел — одно к одному, начинает образовываться как бы град Божий на земле. Правда, возможно, что основой для такого подбора будет взято что-либо доброе и последовательно развиваемое в ряде поступков, — оно даст кажущееся царство кажущегося добра на земле, град не Божий, а град Дьяволов, что даст основание для борьбы.

Но кроме указанных вопросов человечеству надлежит решить ещё один вопрос — о том, какой из этих миров *первее.*

И чуткая душа народа, которая в коллективе своём гораздо

сильнее души отдельной, — говорит:

— Конечно, сильнее и первичнее, основнее — *действующее начало.*

Наука даёт нам мир для того, чтобы в его механизированной картине мы могли действовать. Что же касается веры — то её корни угрузли в подлинное лоно несказанной жизни мира.

И так, как пышный цветок расцветает на отрогах этих тёмных несказанных корней, так расцветает на них вера в то, что Бог стал человеком, пришёл в этот мир, страдал, как человек, испытал на себе всю тяжесть человеческой полунауки в речах мудрецов и осуждателей и всё же — умерев, вскрыл Божественную сущность, как свою, так и мира, поскольку «врата адовы» больше не одолеют церкви, поскольку в основе бытия лежит не Смерть, а Жизнь, Вечная Жизнь.

Незакатный Свет — воскрес.

На протяжении двух тысячелетий разыгрывается эта великая церковная пасхальная мистерия перед миром, и миллиарды людей принимали в ней участие, уходя из загадки жизни за гроб со свечкой яркой веры:

— Буду, буду жив, не буду косен и тёмен, не буду игралищем слепых сил природы…

Есть Бог, и жива душа моя!

Гун-Бао. 1929. 5 мая.

notes

Примечания

1

Иванов Вс. Н. Юность и свобода: Повествование о времени и о себе // Дальний Восток. 1987. № 7. С. 35.

2

Там же. С. 17.

3

Певец на полдне. Этюд Всеволода Иванова, читанный на вечере памяти Гумилёва // Вечерняя газета. 1922. 9 марта. № 243. С. 2. Наст. изд. с. 185.

Иванов Вс. Н. Гул жизни: Повествование о времени и о себе // Дальний Восток. 1989. № 12. С. 110.

5

Иванов Вс. Н. Минуты роковые: Повествование о времени и о себе // Дальний Восток. 1993. № 11. С. 62.

6

Иванов Всеволод. Огни в тумане: Думы о русском опыте. Харбин, 1932. С. 16.

7

Иванов Всеволод. Гул жизни. Из литературного наследия. СПб., 2009. С. 244.

Там же. С. 265.

9

Иванов Всеволод. Троцкий или Россия? // Вечерняя газета. 1922. 23 мая. № 301. С. 1. Наст. изд. с. 234 /В файле — раздел «Публицистика. 1921–1922», статья «Троцкий или Россия?» — *Прим. верст./*.

10

Иванов Всеволод. К Новой России. Диалог о старом и новом // Гун-Бао. 1929. 19 марта. № 674. С. 2. Наст. изд. с. 655 /В файле — раздел «Публицистика. 1928–1929», статья «К новой России. Диалог о старом и новом» — *Прим. верст./*.

увеселительная прогулка (фр.).

страшно сказать (лат.).

13

Ходя, ходи — пренебрежительное название китайцев. *(Прим. ред.)*.

калька с фр. яз. *ci-devant* — прежний. *(Прим. ред.)*.

калька с лат. яз. *pia desideria* — благие пожелания. *(Прим. ред.)*.

16

Калька с нем. яз. *Brander* — корабль, нагруженный легкогорючими либо взрывчатыми веществами, используемый для поджога и уничтожения вражеских судов. *(Прим. ред.)*.

17

ВИКЖЕЛЬ — Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного профсоюза. *(Прим. ред.)*.

калька с фр. яз., *complot* — заговор. *(Прим. ред.)*.

19

Название буквы «м» в старинном алфавите. Выписывать мыслете (разг. шутл.) — то же, что выписывать вензеля. *(Прим. ред.)*.

20

ARA — American Relief Administration, Администрация Американской помощи голодающим в России в 1921–23. *(Прим. ред.)*.

21

Ср. Н. Бердяев, К. Леонтьев, стр. 112.

Ср. «Пермские Губ. Ведомости», № 253, 1899 г.

23

Издано Импер. Геогр. Обществом — Григ. Тер. Хохлов. — «Путешествие уральских казаков в Беловодское царство», то же В. Г. Короленко, том VI.

24

Бессонов Ю. Д. Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков. Париж, 1928.

25

Ср. *Шелгунов Н. В.* Прошедшее и будущее европейской цивилизации. Соч. Т.1, СПб., 1895, с. 78.

Виппер Р. Ю. Коммунизм и культура. Рига, 1925.

Erzberger. M. Erlebnisse im Weltkrieg. Berlin, 1920.

C. 137–158.

29

C. 152.

30

L. Trotsky. The real situation in Russia. Transl. by M. Eastman, p.364. New York, 1928.

31

Ср. прекрасный труд Е. Е. Яшнова «Китайская колонизация Северной Маньчжурии и её перспективы» (Харбин, 1928).